

Ираклий Андроников

3



Ираклий Андроников

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

•

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

●

ТОМ ТРЕТИЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

8Р1
А66

Оформление художника
Н. Крылова

Андроников И. Л.
А 66 Собрание сочинений: В 3-х т.— М.: Худож. лит., 1980—1981.
Т. 3. Лермонтов: Исследования и находки. 1981. 656 с.
В том вошла книга «Лермонтов. Исследования и находки», удостоенная Государственной премии СССР 1967 года.

А $\frac{70202\text{-}106}{028(01)\text{-}81}$ подписное 4702010200 8Р1

Лермонтов.
Исследования и находки

Постановлением

Центрального Комитета КПСС

и

Совета Министров Союза ССР

АНДРОНИКОВУ
ИРАКЛИЮ ЛУАРСАБОВИЧУ

за книгу

«Лермонтов. Исследования и находки»
присуждена
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР
1967 года

От автора

Могут спросить:

— Почему «исследования и находки»? Разве исследования не приводят к находкам, а находки не служат, в свою очередь, материалом для новых исследований?

Такой вопрос, в общем, будет вполне законным.

Дело, однако, в том, что в находке важно не только ее содержание, но и то, как она обнаружилась. Надобно сказать и о людях, которые вам помогли. И тут получается не просто исследование, а, скорее, репортаж или очерк в сочетании с исследованием. А это уже другое.

С каждым годом в нашей стране открываются неизвестные прежде возможности, способные оказывать влияние на технику исторического исследования. Если, скажем, вы ищете человека, у которого хранились когда-то ценные материалы, и не можете найти его в продолжение многих лет, обратитесь по телевидению к зрителям — и назавтра вам будет известна или его судьба, или адрес. Посвятите в свои затруднения радиослушателей, и снова — результат не замедлит. В наше время в работе исследователя могут принять участие сотни и тысячи людей разных профессий, которые с величайшей охотой найдут для литературной науки те материалы, обнаружить которые не под силу не то что одному человеку, а, порою, и целому коллективу.

В этой книге рассказано, в частности, о том вкладе в наше лермонтоведение, которое в самое последнее время сделали читатели, телезрители, радиослушатели. Вы прочтете здесь о старом альбоме, подаренном медсе-

строй из города Серпухова, о неизвестном лермонтовском рисунке, который был открыт в Москве после телевизионной передачи о Лермонтове, о неизвестных автографах поэта, сообщенных сотрудницей Ленинградского института физиологии. Но кроме того, и о мемуарах, найденных с помощью французского хирурга, о лермонтовских реликвиях, хранившихся у мюнхенского искусствоведа, о неизвестных лермонтовских стихах, уцелевших в средневековом замке в Баварии, об изображении, обнаруженном в Швеции.

Из этих находок возникли работы «Утраченные записки», «Командировка в Западную Германию», «На помощь приходит TV», «Пакет из Стокгольма», «Дар медсестры Немковой», «Неизвестная нам Мария», «Строки из писем 1841 года», «Лермонтов и его парт...». Заново написана глава о стихотворении «Бородино». Остальные печатались прежде в моих книгах «Лермонтов» («Советский писатель», 1951) и «Лермонтов в Грузии в 1837 году» («Советский писатель», 1955, «Заря Востока», 1958), но дополнены, пересмотрены, обновлены. Кроме последней, итоговой по характеру, решительно все главы построены на материалах, обнаруженных в продолжение ряда лет самим автором в архивах, музеях и библиотеках Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Киева, Баку, Пензы, Тамбова, Казани, Свердловска, Перми, Иванова, Горького, Саратова, Астрахани, Ставрополя, Пятигорска, Грозного, Нальчика, Орджоникидзе, Казбеги, Телави, Зугдиди...

«Когда роют клад,— писал Александр Блок,— прежде разбирают смысл шифра, который укажет место клада, потом «семь раз отмеривают» — и уже зато раз навсегда безошибочно «отрезают» кусок земли, в котором покоится клад. Лермонтовский клад стоит упорных трудов».

Советские ученые создали почву для исследования Лермонтова, «отмерили» ему место в истории литературы и, разгадывая зашифрованные страницы его жизни и творчества, продолжают «отрывать» лермонтовский клад.

Эта книга — попытка внести новое в наше представление об одном из величайших поэтов мира.



«Лермонтов и его парт...»

1

За несколько часов до смерти, испытывая невыносимые страдания, Пушкин спросил, кто находится в его доме.

— Много людей принимают в тебе участие,— сказал ему друг доктор Даль,— зала и передняя полны [1].

— Ну, спасибо,— отвечал Пушкин.

— Мне было бы приятно видеть их всех,— добавил он, обращаясь к своему секунданту Данзасу,— но у меня нет силы говорить с ними [2].

Дом, где умирал Пушкин, был атакован публикой в такой степени, что друзьям пришлось обратиться в Преображенский полк с просьбой поставить у ворот часовых, чтобы соблюдать хоть какой-нибудь порядок. На набережной Мойки стояла густая толпа, загораживая все пространство перед соседними домами и перед квартирой поэта. К дверям почти невозможно было протиснуться.

Когда Пушкин скончался, тело стояло в доме два дня. Жуковский считал, что мимо гроба прошло более десяти тысяч. Другие утверждали, что двадцать тысяч прошло

---

[1] В. И. Даль. Смерть А. С. Пушкина.— «Пушкин в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1950, с. 460.

[2] К. К. Данзас. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина.— Там же, с. 502.

за день. Один из этих безвестных почитателей, проходя мимо гроба, сказал:

— Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народность: она вся тут, но он ее искал не там, где сердца ему отвечали [1].

Другой, когда послали узнать его имя, ответил:

— Пушкин меня не знал, и я его не видал никогда, но мне грустно за славу России [2].

В эти дни оправдались слова Пушкина, что имя и честь его принадлежат не ему одному, но принадлежат всей стране.

По словам современников, возле дома поэта в общей сложности перебывало в те дни около пятидесяти тысяч человек. Принимая во внимание численность тогдашнего населения столицы, нетрудно представить себе впечатление, какое произвели на правительство Николая I эти десятки тысяч — чиновников, офицеров, студентов, учеников, купцов, людей в нагольных тулупах и даже в лохмотьях. Такого в Петербурге еще не бывало. Напротив Зимнего дворца стояли на этот раз не войска, выведенные на площадь восставшими офицерами, а оскорбленный и возбужденный народ. В толпе слышатся злоба и угрозы по адресу Дантеса и Геккерена. Раздаются голоса, что во время перевоза тела в Исаакиевский собор почитатели Пушкина отпрягут лошадей в колеснице и повезут ее на себе. Что в церковь явятся депутации от мещан и студентов и будут сказаны речи. Эти проявления горя и гнева кажутся «странными» не только царским агентам, но даже иностранным послам. Шеф жандармов готов видеть в этом манифестацию скрытых общественных сил. Вот почему гроб с телом Пушкина тайно, ночью, под конвоем жандармов препровожден в придворную церковь. Вот почему мертвого Пушкина отправляют из Петербурга в Михайловское тоже тайно и ночью и тоже в сопровождении жандарма.

Одному из ближайших друзей императора — графу Орлову вручено анонимное письмо. В нем сказано, что никакое самое строгое наказание Дантеса «не может удовлетворить Русских за умышленное, обдуманное убийство Пушкина» [3],— вот как расценил неизвестный

---

[1] «Тагильская находка».— «Новый мир», 1956, № 1, с. 190.
[2] Там же.
[3] А. С. Поляков. О смерти Пушкина. Пг., ГИЗ, 1922, с. 39.

автор обстоятельства гибели национального поэта России! Он жалуется на угрожающее политическое положение в стране, на «открытое покровительство и предпочтение чужестранцев», которое «день ото дня делается для нас нестерпимее» [1]. «Мы горько поплатимся за оскорбление народное и вскоре» [2],— предупреждает сановника аноним, прося довести содержание письма до сведения императора.

Орлов немедля переслал документ Бенкендорфу. «Это письмо очень важно,— надписал Бенкендорф,— оно доказывает существование и работу Общества» [3].

Тайного общества не существует. Но способ борьбы с общественным мнением предложен. Берутся под наблюдение пушкинские друзья. Все события трактуются как результат деятельности тайной партии, которую-де возглавлял Пушкин.

Обвинив друзей Пушкина — Жуковского, Вяземского, Александра Тургенева — в организации заговора, Бенкендорф получает возможность заранее пресекать любые проявления протеста, объявляя их действиями «либеральной» или «демагогической» партии.

— Вы считали меня если не демагогом, то какой-то вывеской демагогии, за которую прячутся тайные враги порядка,— оправдывается перед Бенкендорфом Жуковский [4].

— Мне оказали честь, отведя мне первое место,— жалуется Вяземский брату царя [5].

Друзья Пушкина стараются доказать, что никогда не замышляли против правительства, что устраивать Пушкину народные похороны не собирались, что Пушкин не был ни либералом, ни демагогом, а в зрелые годы стал человеком благонамеренным и умер, как подобает христианину и верноподданному. «Он был глубоко, искренне предан государю» [6],— стремится уверить царскую фамилию Вяземский. Ему вторит Жуковский. В своем известном письме о последних минутах Пушкина он изобра-

---

[1] А. С. Поляков. О смерти Пушкина. Пг., ГИЗ, 1922, с. 39.
[2] Там же.
[3] Там же, с. 41.
[4] П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е, М.— Л., ГИЗ, 1928, с. 252.
[5] Там же, с. 267.
[6] Там же, с. 268.

жает благостную кончину поэта, примирившегося с престолом и с богом.

Цель Бенкендорфа достигнута. Друзья поэта, лучше других угадывающие тайных виновников его гибели, сами невольно помогают создать образ официозного Пушкина. В своей переписке они соблюдают предельную осторожность. И хотя Вяземский говорит, что Пушкина положили в гроб «городские сплетни, людская злоба, праздность и клевета петербургских салонов, безыменные письма» [1], он вынужден тут же напомнить, что это «не полная истина» [2].

Полную истину во всеуслышание объявил человек, не принадлежавший к числу друзей Пушкина и даже лично с ним незнакомый. Это — Михаил Лермонтов, двадцатидвухлетний поэт, в ту пору еще почти никому не известный, вдохновенный ученик Пушкина, который относится к нему с благоговением и больше всего на свете любит «Евгения Онегина».

Журналист Андрей Краевский; писатель, ученый и музыкант Владимир Одоевский — сотрудники Пушкина по журналу. Лермонтов с ними на «ты». От этих людей он знает о Пушкине все, что говорят о нем в литературном кругу и в салонах, знает, каким горячим ядом облили благородное сердце Пушкина подлые анонимные письма...

Он не только знает — он не боится сказать, что был заговор против Пушкина, и пишет элегию — «Смерть Поэта». Нет, он не прибегает к метафорам, когда называет Пушкина «невольником чести», когда уверяет, что Пушкина погубили мнения завистливого и душного света. Ничтожные клеветники, насмешливые невежды испытывали жестокую радость, видя, какое действие произвел на Пушкина анонимный пасквиль, нарочно разосланный его друзьям и знакомым. И хотя ненавистники маскируют лицемерными фразами и выражением фальшивых чувств свое истинное отношение к нему,

---

[1] Письмо П. А. Вяземского к А. Я. Булгакову от 5 февраля 1837 года.— «Пушкин в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1950, с. 130.

[2] Там же.

Пушкин насквозь видит их и угадывает, что исполнители гнусной интриги — старый Геккерен и Дантес.

Этого наглого, самоуверенного француза Лермонтов встречал в компании, где собирались молодые кавалергарды Б. Перовский, князь А. Трубецкой и кирасир князь А. Барятинский — приближенные царской фамилии и закадычные приятели Жоржа Дантеса [1]. У Лермонтова достаточно ясное представление о нем: пустое сердце карьериста и презренье ко всему русскому.

Рукою этого любимца придворной знати, заброшенного в Петербург взрывом французской революции 1830 года, убит величайший поэт России, Европы, мира. Поэт, восхищавший Лермонтова гражданским мужеством, смелой проповедью свободы. Он назвал его «дивным гением», «нашей славой».

Он писал, и образы «Онегина» неотступно следовали за его мыслями. И прежде всего сцена дуэли:

«Ну, что ж? убит»,— решил сосед.
Убит!..

И тотчас возникли строчки. Не о Ленском — о Пушкине.

Один как прежде... и убит!
Убит!..

А уж затем пришло сравнение Пушкина с Ленским:

...и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой [2].

Размышляя о трагических событиях последних дней, он подумал, что каждый шаг Пушкина был известен жандармам, и безотчетно нарисовал в рукописи профиль начальника штаба жандармского корпуса Дубельта [3]. Потом переписал стихи набело и отдал Святославу Раевскому, который жил у него,— тот занимал должность столоначальника в департаменте. Наутро были изготов-

---

[1] Э. Найдич. Пушкин и художник Г. Г. Гагарин. По новым архивным материалам.— «Литературное наследство», т. 58. М., Изд-во АН СССР, 1952, с. 274.

[2] М. Ю. Лермонтов. Сочинения в 6-ти томах, т. II. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1954, с. 85. (Далее сокращенно: Лермонтов.)

[3] И. Фейнберг. Рисунок поэта.— «Литературный критик», 1940, № 2, с. 151—156.

лены копии, и стихотворение прокатилось по Петербургу,— как эхо речей, которые раздавались в толпе, осаждавшей пушкинскую квартиру.

Чувство глубокого горя, сознание национальной утраты выражены во многих стихотворениях, посвященных в те дни памяти Пушкина. Но голос протеста, обвинения по адресу света звучат только у Лермонтова.

Могут сказать: аноним, написавший графу Орлову, смело квалифицировал выстрел Дантеса как преднамеренное и обдуманное убийство. Но там вместо подписи выставлены инициалы. А фамилия «Лермонтов» прогремела на всю Россию. Там адресат один — граф Орлов. У Лермонтова — многие тысячи. Там пишет человек, оскорбленный в своем национальном достоинстве, который, однако, опасается народного гнева и хочет предостеречь императора через сановника с русской фамилией. Лермонтов ощущает национальную потерю еще острее, но он выступает от лица противоположного лагеря как обличитель придворной знати. Один пишет «мы», другой «вы»: «Мы горько поплатимся...» — «Не вы ль... так злобно гнали...» Стихотворение написано взволнованно, смело. Но это еще не все...

Гроб с телом Пушкина уже увезен в псковскую глушь и уже похоронен. А разговоры в Петербурге не умолкают. Распутываются нити интриг. Выясняются новые лица, повинные в гибели Пушкина. Пушкина нет. А покровители Дантеса не унимаются. И тогда Лермонтов добавляет к стихотворению строфу. В ней сказано, что гения убили палачи свободы и славы. Палачи декабристов сделались палачами Пушкина. Они окружают императорский трон. Им потакает царь, их защищают законы. И Лермонтов, обращаясь к ним, уже не говорит. Он кричит:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов...
Таитесь вы под сенью закона!

О, эти строки воспринимались тогдашним читателем куда более конкретно, чем нынешним! В мои руки попал список лермонтовского стихотворения, сохранившийся в собрании Н. С. Дороватовского, научного сотрудника Московского университета, исходящий из круга лиц, близких к Герцену. Список относится к тем временам,

когда создавался текст. На последней странице сделано интересное добавление, поясняющее, кого имел в виду Лермонтов, говоря о «наперсниках разврата» и о «надменных потомках». «Любимцы Екатерины II,— отметил для себя современник, переписавший лермонтовские стихи: — 1) Салтыков, 2) Понятовский, 3) Гр. Гр. Орлов (Бобринский их сын, воспитанный в доме истопника, а потом камергера Шкурина), 4) Высоцкий, 5) Васильчиков, 6) Потемкин, 7) Завадовский, 8) Зорич — 1776.

— У Елизаветы и Разумовского дочь кн. Тараканова. Убийцы Петра III: Орлов, Теплов, Барятинский. У Романа Воронцова 3 дочери: 1) Екатерина, любовница Петра III <ошибка: любовницей Петра III была Воронцова Елизавета>, 2) Дашкова, 3) Бутурлина... Любовница Павла Софья Осиповна Чарторыжская, у нее сын Симеон — 1796. Убийцы Ивана Антоновича Власьев и Чекин, заговорщик Мирович».

Вот чьи потомки преследовали Пушкина! Их отцы достигли высокого положения при российском дворе и причислены к знати не за гражданские доблести, не за победы в сражениях и не заслуги перед историей. Они достигли этого путем искательства, любовных связей, дворцовых интриг. Это — темные убийцы, готовые на все ради положения, богатства и власти.

Но о каких обломках говорит Лермонтов? Что значит «обиженных родов»? Про какую «игру счастья» сказано в стихотворении?

...Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!

А вот про какую!

Пушкины и другие древние фамилии, в продолжение многих веков служившие России верой и правдою, в 1762 году остались верны Петру III и со дня восшествия на престол Екатерины II впали в немилость, отстранены от государственных дел. А новая надменная знать — потомки временщиков, удушивших Петра III шарфом, а через сорок лет пристукнувших табакеркой Павла I, унижает и попирает тех, кто в грозный час проливал кровь на полях сражений, трудился на государственном поприще.

Попытки продажных писак унизить и умалить его род Пушкин ощущал не только как сословное, но и как

национальное себе оскорбление, ибо Россию в правительстве Николая I представляли Нессельроде и Бенкендорфы, Клейнмихели и Сухозанеты, Дубельты и Адлерберги. И в своем стихотворении Лермонтов напоминает дворцовой клике о способах ее возвышения и о ее безродном происхождении. А кроме того, в стихотворении прозвучал протест человека, оскорбленного и в своем национальном достоинстве,— чужеземец убил Пушкина, проходимцы и чужестранцы подстрекали его.

Не только почитатели Пушкина поняли этот смысл лермонтовского стихотворения. Эти строки поняли те, кто ободрял Дантеса. Они узнали себя — графы Орловы и Бобринские, Воронцовы и Завадовские, князья Барятинские и Васильчиковы, бароны Энгельгардты и Фредериксы.

Узнали и поняли, чем угрожает им Лермонтов!

Вот почему такое значение приобретает вопрос, возникший снова несколько лет назад, как печатать строки:

Но есть, есть божий суд, наперсники разврата,
Есть грозный *судия:* он ждет; —

или:

Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный *суд*: он ждет; —

ибо вслед за словами «божий суд» «грозный судия» невольно ассоциируется с «судией небесным». А

...есть и божий суд...
Есть грозный суд...—

предполагает другое понимание — понимание в том смысле, в каком употреблялась поговорка «глас народа — глас божий» и который становится окончательно ясным из предпоследней строки:

И вы не смоете всей вашей черной кровью...

О чем говорит тут Лермонтов? О муках ада, где, по церковным представлениям, грешники горят в вечном огне?

Нет, он говорит не об огне,— он говорит о кровопролитии. А между адом и кровью нет никакой связи. И Лермонтов собирается сказать не о том, что гонителей Пушкина ждет кара «на том свете», он говорит о грядущем суде истории, о народной расправе, о революции, о часе, когда польется черная кровь убийц! Вдумайтесь:

бог будет карать палачей свободы? В этом нет никакого смысла! В стихах другой смысл: убийц Пушкина покарает народ! Что же? — Лермонтов, давно уже угрожавший царям земным судом («Есть суд земной и для царей»), предрекавший их гибель («Погибнет ваш тиран, как все тираны погибали») в стихах, где с такой конкретностью говорится о жадной толпе придворных искателей, окруживших императорский трон, от прямых угроз перейдет к напоминанию о наказании загробном? Нет! Это редактор П. А. Ефремов в 1873 году предложил чтение «судия», сославшись ошибкою на письмо однокашника Лермонтова по юнкерской школе А. М. Меринского, видевшего автограф, тогда как в письме Меринского к Ефремову никаких указаний насчет «судии» нет [1].

Совсем не так понимали эти строки современники Лермонтова. Приятель поэта Павел Гвоздев, юнкер, сочинивший «Ответ М. Ю. Лермонтову на его стихи «Смерть Поэта» вскоре после гибели Пушкина — 22 февраля 1837 года,— писал:

Не ты ль сказал: «есть грозный суд!»
И этот суд — есть суд потомства [2].

«Суд потомства», восстание, революция... Толкование этих строк могло быть только одно. И Николай I с Бенкендорфом именно так их и поняли:

«Бесстыдное вольнодумство, более чем преступное»,— написал про эти стихи шеф жандармов. «Приятные стихи, нечего сказать,— отвечал ему император.— ...Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону» [3].

И судьба поэта предрешена!

Никогда ни в одной из литератур мира не бывало примера, чтобы один великий поэт подхватил знамя поэ-

---

[1] Сочинения Лермонтова с портретом его... и статьею о Лермонтове А. Н. Пыпина, изд. 3-е... под редакцией П. А. Ефремова, т. I. СПб., 1873, с. 45 и 366. Текст «Смерти Поэта», восстановленный Г. А. Лапкиной, см. в изд.: Лермонтов, т. II, с. 84—86.

[2] П. А. Гвоздев. Ответ М. Ю. Лермонтову на его стихи «На смерть Пушкина».— «Русская старина», 1896, № 10, с. 132.

[3] С. Шостакович. Лермонтов и Николай I.— «Литературная газета», 1959, № 126, с. 3.

зии, выпадавшее из руки другого, чтобы он нес его по завещанному пути и сам пал бы на поединке с теми же силами. Смерть Пушкина и рождение Лермонтова-трибуна неразделимы.

2

Удивительное стихотворение! По силе, смелости, злободневности, исторической значимости, новизне формы!

Первые строки — мысли вслух, раздумье, попытка осознать совершившееся. Затем — внезапное обращение:

Не вы ль сперва так злобно гнали?..
Что ж? веселитесь...

Обращение — к кому? Кто это «вы»?

Читатель должен сам угадать, о ком и о чем идет речь, кто «он», кто «они». *Он* не мог понять, на что *он* подымал руку. И *он* убит. *Он* вступил в свет. *Они* надели на него терновый венец. *Его* последние мгновенья отравлены. *Он* умер... И опять: «*Вы*...»! Но теперь это обращение уже развернутое: потомки подлецов, рабы, жадная толпа, царедворцы, палачи, наперсники разврата, черная кровь.

Ни одного имени! Предыстория предполагается известной. Обстоятельства, при которых погибает поэт,— тоже. И тем не менее все понятно! Не только современникам, но и нам, хотя уже идет второе столетие. Вот что такое — значимость темы!

Существует распространенное мнение, что вещь, новаторская по существу и по форме, недоступна восприятию современников, что правильно может оценить ее только будущее.

«Смерть Поэта» не согласуется с этой концепцией. Лермонтову не пришлось ожидать одобрения потомства. Современники, разделившие с ним скорбь о Пушкине, высоко оценили эти стихи в те самые дни, когда они стали распространяться по городу. Уже через несколько дней строки из «Смерти Поэта» входят в повседневную речь, цитируются в дружеских письмах, экземпляры стихотворения пересылаются из Петербурга в Москву, в Псков, в Симбирск, в Казань, в Париж, в село Михайловское... Это те, что знаем мы: адресов было неизмеримо больше...

«Стихи Лермонтова прекрасные»,— записывает в дневник А. И. Тургенев 2 февраля 1837 года [1].

«Из появившихся стихов на его смерть,— уведомляет Н. И. Любимов М. П. Погодина 3 февраля в письме о Пушкине,— замечательнее прочих Лермонтова» [2].

«Я сейчас получил стихотворение на См<ерть> Пуш<кина>, написанное одним из наших однокашников, лейб-гусаром Лермонтовым,— сообщает М. И. Ханенко неустановленному лицу.— Оно написано на скорую руку, но с чувством. Знаю, что будешь рад, и посылаю его тебе, прочтите с Петром Д<емьяновичем> и вспомните нас» (5 февраля) [3].

«Для чего не последовал он влечению своего сердца»,— обращается А. И. Тургенев к П. А. Осиповой 10 февраля, вернувшись из Михайловского, куда ездил хоронить Пушкина. И перефразирует строчку Лермонтова: может быть, *«звуки чудных песен»* еще бы не замолкли! «Я уверен, что они и вам так же понравятся, как здесь всем почитателям и друзьям поэта» [4],— добавляет он, прилагая к письму стихи.

«...многоглаголанье и многописание,— отвечает ему П. А. Осипова,— все выйдет *к чему теперь рыданья и жалкий лепет оправданья.* Но ужас берет, когда вспомнишь всю цепь сего происшествия» [5].

«Они так хороши по своей правдивости и по заключенному в них чувству, что мне хочется, чтобы ты их знал» [6],— обращается С. Н. Карамзина к брату Андрею Карамзину 10 февраля, направляя в Париж стихи Лермонтова.

«Посылаю стихи, кои достойны своего предмета,— уведомляет А. И. Тургенев псковского губернатора

---

[1] П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е. М.—Л., ГИЗ, 1928, с. 293.

[2] «Памяти П. Н. Сакулина. Сборник статей».— М., «Никитинские субботники», 1931, с. 313. Публикация М. А. Цявловского.

[3] «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина».— Пг., «Атеней», 1924, с. 115—116. Публикация М. А. Цявловского.

[4] Б. Л. Модзалевский. Поездка в с. Тригорское в 1902 году.— «Пушкин и его современники», вып. I. СПб., 1906, с. 53—56.

[5] А. А. Фомин. Новые материалы для биографии Пушкина (из Тургеневского архива).— «Пушкин и его современники», вып. VI. СПб., 1908, с. 80.

[6] «Тагильская находка».— «Новый мир», 1956, № 1, с. 194.

А. Н. Пещурова 13 февраля.— Ходят по рукам и другие строфы,— продолжает он,— но они не этого автора и уже навлекли, сказывают, неприятности истинному автору» [1].

Заметим: первое упоминание о прибавлении к стихам находится в письме от 13 февраля. 17-го о нем пишет Александр Карамзин, сообщая, что читал стихотворение «гусара Лерментова», «по-моему прекрасное,— замечает он,— кроме окончания, которое, кажется, и не его» [2].

28 февраля стихотворение направляется в Париж — декабристу Н. И. Тургеневу, с присовокуплением «преступной» строфы, которую А. И. Тургенев узнал «после самих стихов» [3].

«Как это прекрасно, Катишь, не правда ли,— восклицает подруга Е. Ф. Тютчевой, М. Степанова, вписывая ей в альбом стихотворение Лермонтова.— Но, пожалуй, чересчур вольнодумно» [4].

Первоначальный текст стихотворения встречает единодушное одобрение. Прибавление к стихам настораживает читателей, даже таких, казалось бы, независимых в своих мнениях о верхушке великосветского общества, как Александр Николаевич Карамзин. Но ни у кого решительно не возникает разноречия в том, кому адресована строфа, получившая наименование «преступной».

«Мишынька по молодости и ветрености,— убивается бабка поэта Е. А. Арсеньева,— написал стихи на смерть Пушкина и в конце написал не прилично на щет придворных» [5].

«Здесь носится слух,— вписывает в дневник саратовский гимназист А. И. Артемьев,— будто какой-то капитан написал стихи на смерть А. С. И зацепил там вельмож» [6].

Всем ясно — Лермонтов бросил вызов именитой знати, самым высокопоставленным сановникам в государстве, любимцам царя.

---

[1] «Пушкин и его современники», вып. VI, с. 113.

[2] «Тагильская находка».— «Новый мир», 1956, № 1, с. 195.

[3] «Пушкин и его современники», вып. VI, с. 89.

[4] Ив. Розанов. Пушкин в поэзии его современников.— «Литературное наследство», т. 16-18. М., Жургазобъединение, 1934, с. 1037.

[5] А. Н. Михайлова. Лермонтов и его родня по документам архива А. И. Философова.— «Литературное наследство», т. 45-46. М., Изд-во АН СССР, 1948, с. 672.

[6] «Пушкин в неизданной переписке современников».— «Литературное наследство», т. 58, с. 142.

3

Но от кого знает Лермонтов о ненавистниках Пушкина, об анонимных письмах, о душевных страданиях поэта, которые отвлекают его от занятий поэзией?

Арестованный за распространение стихов Святослав Афанасьевич Раевский пытается объяснить возникновение стихов городскими слухами о безыменных письмах, возбуждавших ревность Пушкина и...

Тут следует обратить внимание на удивительную осведомленность автора показаний:

«...мешавших ему заниматься сочинениями в октябре и в ноябре (месяцы, которые, по слухам, Пушкин исключительно сочинял)» [1].

Нет, не по слухам известно все это Лермонтову, а через него Святославу Раевскому. Это известно из разговоров с людьми, хорошо знавшими Пушкина, постоянными его собеседниками. Мы назвали Краевского и Владимира Одоевского.

Да. Несомненно. Но, кроме них, были другие.

Прежде всего надо назвать знакомую Лермонтова, имя которой в лермонтовской литературе упоминалось — только однажды — в одной из моих газетных статей. Хотя сведения о ее знакомстве с Лермонтовым появились в начале века.

Это Екатерина Алексеевна Долгорукая (1811—1872) — дочь историка и археографа Алексея Федоровича Малиновского, директора московского архива иностранных дел, у которого служили «архивные юноши», упомянутые в «Евгении Онегине».

«Княгиня получила отличное книжное образование,— пишет о Е. А. Долгорукой издатель исторического журнала «Русский архив» П. И. Бартенев.— ...Впоследствии она подружилась с Лермонтовым, товарищем ее мужа князя Ростислава Алексеевича по службе их в Царскосельском лейб-гусарском полку, и с Пушкиным, супруга которого была московскою подругою ее молодости. Лер-

---

[1] «Дело по секретной части Военного министерства... о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермантовым, и о распространении оных губернским секретарем Раевским. На 44-х листах».— ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 9. Далее: «Дело о непозволительных стихах...»

монтов раскрывал перед ней тайны души своей, а от умиравшего Пушкина не отходила она по целым часам и, стоя на коленях у его ложа, слышала его последние заветы жене и друзьям... Под очарованием ее беседы пропадало впечатление внешней невзрачности, и с нею можно было проводить целый ряд часов достопамятных» [1].

«Женщина необыкновенного ума и многосторонней образованности,— добавляет П. И. Бартенев в другом примечании,— ценимая Пушкиным и Лермонтовым (художественный кругозор которого считала она шире и выше пушкинского)» [2].

И снова:

«Покойная княгиня Е. А. Долгорукая, женщина отличного образования и душезнания, передавала мне, что Лермонтов в запросах своих был много выше и глубже Пушкина» [3].

Это суждение современницы очень существенно: у нас больше характеристик, оставленных врагами поэта. И не так уж много в мемуарной литературе о нем таких смелых и восторженных отзывов.

От этой женщины, так высоко его ставившей, с которой разговаривал он столь откровенно, Лермонтов мог знать решительно обо всем, что происходило с Пушкиным. Ибо стихотворение обнаруживает не только любовь его к Пушкину, не только глубочайшее понимание общественной трагедии и трагедии самого Пушкина, но и точное знание всех обстоятельств дуэли и преддуэльных дней. Не зная Пушкина лично, Лермонтов и его приятель Раевский принадлежат к числу его лучших друзей!

Множество нитей протянуто между Лермонтовым и его любимым поэтом. В лейб-гусарском полку вместе с ним служит брат жены Пушкина Иван Гончаров. С Пушкиным постоянно встречаются другие его сослуживцы — лейб-гусары Ираклий Баратынский, Абамелек, Герздорф, граф Васильев [4]. Однокашник Пушкина по Лицею Сергей Ломоносов — посланник в Бразилии — навещает своего брата, лейб-гусара Ломоносова Александра. Лермонтов

---

[1] «Русский архив», 1912, кн. III, с. 86—87.
[2] «Русский архив», 1908, № 10, с. 295.
[3] «Русский архив», 1911, кн. III, с. 160.
[4] «Тагильская находка».— «Новый мир», 1956, № 1, с. 170; П. Б[а р т е н е в]. Из записной книжки.— «Русский архив», 1912, кн. II, с. 516.

даже изобразил их обоих на своем рисунке «Бивуак лейб-гвардии Гусарского полка под Красным Селом»... [1]

Пушкина знает полковник Н. И. Бухаров [2], которого мы, в свою очередь, знаем по стихотворным портретам Лермонтова:

Мы ждем тебя, спеши, Бухаров,
Брось царскосельских соловьев...—

и:

Смотрите, как летит, отвагою пылая...

С Пушкиным знаком ветеран лейб-гусаров генерал М. Г. Хомутов. «Я уважаю, люблю его»,— говорил Пушкин о Хомутове, вспоминая дни, когда лицеистом он проводил время в Царскосельском гусарском полку, который, по словам поэта, «был его колыбелью», Хомутов же в ту пору был его «ментором» [3].

Хомутов вступил в полк, когда в нем еще служили П. Я. Чаадаев, П. П. Каверин, Н. Н. Раевский, с которыми Пушкин дружил, А. Г. Чавчавадзе...

Для Лермонтова — все это живая история: имена ветеранов полка являются в разговорах, старшие офицеры вспоминают прежние годы. Недаром Лермонтов в «Герое нашего времени» повторил поговорку «одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным». Это была поговорка Каверина [4].

И не случайно упоминание Пушкина в лермонтовской поэме «Монго», адресованной читателям — лейб-гусарам:

Тут было шуток, смеху было!
И право, Пушкин наш не врет,
Сказав, что день беды пройдет,
А что пройдет, то будет мило...

Вообще, тема «Пушкин в его связях с лейб-гусарским полком и Лермонтов» никем не обследована. А между тем и она может в известной мере осветить малоизученное время — от перехода Лермонтова в военную службу до

---

[1] Н. П. Пахомов. Живописное наследство Лермонтова.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 101.

[2] [П. П. Левицкий]. А. С. Пушкин и Н. И. Бухаров.— «Русская старина», 1899, № 9, с. 531—535.

[3] Е. Розе. Анна Григорьевна Хомутова (Биографический очерк).— «Русский архив», 1867, № 7, стлб. 1067—1068.

[4] С. Н. Дурылин. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. М., Учпедгиз, 1940, с. 233.

стихов на смерть Пушкина, когда из глубоко субъективного поэта, понятного до конца только узкому кругу друзей, посвященных в события его внутренней жизни, Лермонтов стал выразителем взглядов и чувств лучшей части целого поколения.

4

Да, нам понятно и вольнолюбие этих стихов, и конкретный их смысл, и необыкновенная форма. Но в какой день они созданы? При каких обстоятельствах? Когда возникло «прибавление» к стихам? Как и через кого распространялось стихотворение Лермонтова? Побывал ли он возле гроба поэта или, как написано в его «Объяснении», не выходил по болезни из дому?

В показаниях Лермонтова и Святослава Раевского точных ответов на эти вопросы нет. И это не удивительно. Молодые люди нового, последекабристского поколения, они учитывают несчастный опыт своих предшественников. Для них уже ясно, что откровенное признание не послужит к смягчению кары,— наоборот, повлечет за собою суровое наказание. Не ложь, а умолчание, общие фразы, помогающие избежать нежелательных вопросов,— вот их новая тактика перед судом.

Ошибка биографов в том, что они воспринимали «Объяснения» по делу о стихах на смерть Пушкина как документы, воссоздающие истинную историю создания и распространения этого удивительного по смелости стихотворения. Между тем ни Лермонтов, ни Раевский не были заинтересованы в том, чтобы комментировать перед всесильным генералом Клейнмихелем и без того очевидный политический смысл стихов, особенно его заключительных строк. Им важно обойтись без имен, отвести правительство от мысли о новом заговоре, ослабить конкретность заключительного шестнадцатистишия. И найти для этого удовлетворительную причину.

«Я был еще болен,— написал Лермонтов в своем «Объяснении»,— когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина» [1].

Про то же написал и Раевский. Но не сразу решил, как лучше определить срок этой болезни: «<В послед-

[1] «Дело о непозволительных стихах...», л. 24.

нее>,— начал и зачеркнул он,— <с К> [Крещения? — *И. А.*]... Нет! <(кажется, с ноября месяца) время, когда Лермонтов по болезни выезжать не мог>» [1].

Перебеляя свои показания, Раевский этот срок увеличил:

«3 месяца, когда Лермонтов по болезни не выезжал» [2].

Возникает вопрос: был ли он болен?

24 декабря 1836 года, как значится в месячных отчетах лейб-гвардии Гусарского полка, Лермонтов простудился и по болезни отпущен домой [3]. Другими словами, живет в Петербурге в квартире, которую снимает его бабка Е. А. Арсеньева и где живут вместе с ним его друг Святослав Афанасьевич Раевский, родственник, воспитанник артиллерийского училища Аким Шан-Гирей, и еще один родственник — поручик Драгунского полка Николай Юрьев, которому следует находиться в новгородских поселениях в полку, чему он предпочитает жизнь в столице.

Судя по всему, болезнь Лермонтова служила только предлогом для получения отпуска. И когда, после его ареста, в лейб-гусарском полку началось расследование порядка выдачи отпусков, выяснилось, что корнет Лермонтов и поручик граф Алопеус проживали в столице «долгое время почти постоянно» и что командир полка об этом не знал и сам «отозвался, что офицеры сии не испрашивали у него разрешения на проживание в столице и он такового им не давал» [4].

Если бы разрешение о поездке в столицу каждый раз отдавалось в приказ, командиру полка оправдаться было бы невозможно. Значит, речь идет об отпусках неоформленных, на которые командование смотрело «сквозь пальцы». Поэтому можно полагать, что и в январе 1837 года Лермонтов болен не был, но сказался больным, чтобы получить освобождение от службы. Во всяком случае, мы не можем пренебрегать рассказами современников, которые вспоминали, что Лермонтов не только выходил в эти дни из дому, но побывал на Мойке, возле квартиры Пушкина.

---

[1] «Дело о непозволительных стихах...», л. 14 об.

[2] Там же.

[3] В. А. Мануйлов. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова.— См.: Лермонтов, т. VI, с. 812.

[4] П. Е. Щеголев. Книга о Лермонтове, вып. I. Л., «Прибой», 1929, с. 261 и 260.

Первое свидетельство крайне неточно. И получаем мы его не из «первых рук», а из третьих. И тем не менее нет никакого сомнения, что нечто похожее было в действительности.

В 1938 году в Ленинграде умер Александр Иванович Никольский. До революции он служил в Генеральном штабе, в советское время состоял членом общества «Старый Петербург — Новый Ленинград», занимался собиранием материалов для биографий артистов петербургских театров и, специально,— историей Моховой улицы, где, начиная с XVIII столетия, жили многие из актеров.

С поражающей скрупулезностью, бесполезной для целей научных, выяснял он историю каждого дома по Моховой, каждой квартиры, которые занимали в разное время ученые и министры, литераторы и актеры, чиновники и банкиры. Жилую площадь записывал точно, с соблюдением сотых частей квадратного метра, отмечал перепланировки комнат.

Дойдя до дома № 11 (по старой нумерации № 6 Литейной части 2-го участка) на углу Моховой и Пантелеймоновской (ныне улицы Пестеля), А. И. Никольский выяснил, что тут жила солистка петербургского балета Варвара Волкова, что родилась она в 1816 году, обучалась танцам в театральной школе, по выходе из которой определена в балетную труппу петербургского Большого театра и вскоре зачислена на положение солистки.

Волкова отличалась выдающейся красотой и сложением, была изящна и грациозна. Ее заметил Николай I. С тех пор она неизменно пользовалась царским расположением. Наконец, она увлеклась поручиком лейб-гвардии Гусарского полка Дмитрием Якимовичем Пономаревым, поселилась на Моховой и жила с ним очень открыто, принимая у себя большое общество.

29 января 1837 года Волкова пригласила гостей на «вишни и землянику», которые были доставлены ей из-за границы в мальпостах. В числе приглашенных находились великий князь Александр (будущий Александр II) и братья его — Константин и Николай Николаевичи. «В разгар вечера,— сообщает Никольский,— приехал бывший тогда больным поэт М. Ю. Лермонтов (тоже был приглашен) и сообщил печальное известие о смерти А. С. Пушкина. Сообщение это произвело на всех присут-

ствующих такое впечатление, что тотчас же разъехались»[1].

Дальнейшая судьба Волковой нам уже не так интересна. После смерти Д. Я. Пономарева (он утонул, катаясь вместе со своими гостями по озеру около своей ярославской усадьбы) она вернулась в балет, прибегнув к протекции императора, к каковой и впоследствии обращалась неоднократно: по миновании срока службы на сцене учила балетных воспитанниц и, наконец, в 1858 году, выйдя на пенсию, поселилась в семье известной петербургской танцовщицы Марии Соколовой-Ковальковой. Умерла Волкова в 1898 году. Погребена на Смоленском кладбище[2].

Эту биографическую справку Никольский составил на основании дел театральной дирекции, хранящихся в Ленинградском историческом архиве, и «личных воспоминаний» дочери М. П. Соколовой-Ковальковой — Александры Александровны Галумовой.

А. И. Никольский был человек одинокий. Его бумаги после смерти его доставила в Пушкинский дом знакомая с ним О. И. Лешкова, сотрудница Некрополя Александро-Невской лавры, скончавшаяся во время ленинградской блокады. Адрес А. А. Галумовой, воспоминаниями которой воспользовался Никольский, отмечен в книге «Весь Петербург на 1917 год»: «Конногвардейский переулок, д. № 3». Но ни самое Галумову, ни воспоминаний ее в ленинградских архивах отыскать мне не удалось. Но после выхода в свет первого издания этой книги ленинградка К. П. Ремезова сообщила мне, что А. А. Галумова умерла в 1928 или в 29-м году. О судьбе архива ее ничего не известно,— вероятнее всего, он погиб. Неизвестно также, писала ли она свои мемуары. Фраза Никольского: «личные воспоминания» — скорее говорит о том, что эти сведения были записаны с ее слов. Но независимо от того, записаны были воспоминания или сообщены Никольскому устно, есть все основания считать, что сведения, которые касаются личной жизни Варвары Волковой, идут от нее самой. В доме родителей А. А. Галумовой Волкова прожила ровно сорок лет — с 1858 по 1898 год. И все, что

---

[1] ИРЛИ, ф. 593.
[2] Там же.

Галумова пересказала Никольскому, она слышала от Волковой, разумеется, не один раз.

Итак, надо думать, что перед нами рассказ Волковой в передаче Галумовой, записанный А. И. Никольским. Попробуем оценить этот текст.

Некоторые сведения в рассказе совершенно точны. Другие кажутся мало правдоподобными. Так, на званом вечере Волковой, кроме девятнадцатилетнего наследника (Александра II), присутствуют младшие сыновья Николая I Константин и Николай, которым в 1837 году было всего шесть лет и десять. Проверить, что они делали вечером 29 января 1837 года, трудно. Заглянуть в дневник Александра II и посмотреть в нем запись за это число довольно легко. Я просмотрел и его дневник, и дневник его воспитателя полковника С. А. Юрьевича[1]. В обоих записи о гибели Пушкина сопровождаются «искренним сожалением о невознаградимой потере необыкновенного таланта» (для истории!). Но ради той же истории в дневники внесены только такие факты, которые должны потом послужить материалом для жизнеописания монарха. Записи о посещении танцорки Волковой в дневниках не находим, хотя вечер наследника ничем не заполнен.

Тем не менее гораздо проще предположить, что сыновья императора приезжали к Волковой не в 1837 году, а в совершенно другое время, когда и младшие были уже не детьми, и что здесь произошло характерное смещение событий во времени, хронологическая «контаминация», соединившая два вечера в один вечер,— частая ошибка памяти, в данном случае, вероятно, не Волковой, а Галумовой.

Зато все, что касается Пономарева, передано вполне достоверно. Он был товарищем Лермонтова еще по юнкерской школе, выпущен годом раньше в тот же самый Гусарский лейб-гвардии полк[2]. Юнкера окрестили его «Камашкой»[3] — именем, которое пристало к нему на всю жизнь. Крупный помещик, один из самых богатых офицеров полка, Пономарев в 1837 году снимал квартиру

---

[1] ЦГАОР СССР, ф. 687, № 286, л. 180 и ф. 1132, оп. 32, л. 31 об.

[2] В. Потто. Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища. Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. СПб., 1873, Приложения, с. 59.

[3] «Заметки П. А. Висковатова».— ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 93.

в Петербурге Литейной части в 13-м квартале в доме № 6 по Пантелеймоновской улице, что на углу Моховой[1]. Имение его находилось в Ярославской губернии, умер он, утонув в озере[2]. Этих сведений Никольский добыть из печати не мог — все это находки последнего времени. Да и ссылается он на дела Исторического архива и воспоминания Галумовой.

Что справку свою он построил на мемуарах, видно и по тому, что несколько слов в его записи выделены кавычками, то есть представляют собою дословную передачу чужого текста.

Как отнестись к сообщению о том, что Лермонтов появился на вечере, который устраивал его однополчанин Дмитрий Пономарев?

Думается, что отвергнуть это сообщение было бы так же неправильно, как и безоговорочно принять все подробности. Неточность, а тем более намеренный вымысел со стороны А. И. Никольского исключаются. Достаточно взглянуть в его записи, поражающие и даже приводящие в недоумение своей преувеличенной точностью.

Может быть, это вымысел А. А. Галумовой?

Не похоже! Для этого нужно было знать и адрес Пономарева, и то, что он служил в одном полку с Лермонтовым, и что Лермонтов в январе 1837 года считался больным и все же был приглашен на «землянику и вишни», доставленные из-за границы в мальпостах, как назывались кареты, перевозившие почту и пассажиров.

Может быть, следует допустить, что это неточность Волковой, вспоминавшей на девятом десятке события, происходившие, когда ей было всего двадцать лет?

Тоже возможно. Но кажется, ясно одно: реальное событие искажено передачей, но в основе рассказа лежит действительный факт.

Во всяком случае, нам следует знать, что такое предание существовало.

С гораздо большей уверенностью можно воспринимать другое сообщение — о том, что Лермонтов, узнав об опасном положении Пушкина, приезжал на Мойку, чтобы справиться о его здоровье. Это сведение промелькнуло в печати до революции, но оставлено без внимания. Меж-

---

[1] К. Нистрем. Книга адресов С.-Петербурга на 1837 год. СПб., 1837, с. 1020.

[2] «Заметки П. А. Висковатова».— ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 93.

ду тем оно нисколько не уступает свидетельствам других современников, которые пользуются совершенным доверием.

1 октября 1913 года перед Николаевским кавалерийским училищем в Петербурге, преобразованным из юнкерской школы, в которой учился Лермонтов, состоялась закладка памятника в связи с приближавшейся годовщиной со дня рождения поэта. Во время церемонии слово взял знаменитый ученый — почетный член Академии, географ и путешественник восьмидесятишестилетний П. П. Семенов-Тян-Шанский, обучавшийся некогда в той же юнкерской школе.

«Я единственный из присутствующих,— произнес он, заключая свое выступление,— знавший и видевший Лермонтова. 10-летним мальчиком дядя возил меня в дом умиравшего Пушкина, и там у гроба умершего гения я видел и знавал великого Лермонтова» [1].

Передано все крайне неточно, но сомневаться в том, что это было в действительности, нет никаких оснований.

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский — сын члена Союза благоденствия и литератора Петра Николаевича Семенова — остался сиротой пяти лет [2]. Воспитание мальчика взял на себя его дядя — цензор Василий Николаевич Семенов, товарищ Пушкина по Лицею (он был второго выпуска). Вместе с дядей — В. Н. Семеновым и ездил прощаться с Пушкиным будущий академик.

Вчитываясь в краткий рассказ престарелого сановника и ученого, надо помнить, что перед нами не стенограмма, а репортерский отчет, писанный кем-то из воспитателей Николаевского училища и напечатанный в юбилейном сборнике. И приписывать выступавшему академику нелепости дежурного офицера мы не вправе. Фразы, конечно, неясные: «Дядя возил меня в дом умиравшего... и там у гроба умершего гения я видел и знавал великого Лермонтова».

В дом к умиравшему Пушкину не пускали. В доме умиравшего нельзя было видеть умершего. «Знавал» слово

---

[1] «М. Ю. Лермонтов. 1814—1914», издание комитета по сооружению при Николаевском кавалерийском училище памятника М. Ю. Лермонтову. СПб., 1914, с. 49.

[2] «Восстание декабристов». Материалы, т. VIII, «Алфавит декабристов». Под редакцией и с примеч. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., 1925, с. 394.

тоже весьма приблизительное, потому что в лучшем случае встреча была однократной. А вернее всего, что слова «у гроба умершего гения» надо понимать как выражение метафорическое и Семенов-Тян-Шанский просто стоял в толпе возле дома.

О закладке памятника великому поэту должны были появиться отчеты в тогдашних газетах. И действительно, записи других репортеров уточняют текст выступления. Газета «Речь» изложила дело несколько по-другому: становится понятным, что это было до смерти Пушкина.

«В первый раз он увидел Лермонтова,— излагает репортер «Речи» выступление ученого,— когда умирал Пушкин. Дядя П. П. Семенова-Тян-Шанского, товарищ Пушкина, взял его с собою, когда поехал узнать о состоянии здоровья поэта. Здесь они встретились с М. Ю. Лермонтовым» [1].

В тех же словах изложила выступление газета «Современное слово» [2].

«Биржевые ведомости» тот же рассказ передали по-своему.

«Интересную речь,— пишет газета,— произнес старейший воспитанник училища, член Государственного совета Семенов-Тян-Шанский. Он вспомнил, что в свое время его отец <Так! — *И. А.*> повез его на квартиру А. С. Пушкина, где познакомил с М. Ю. Лермонтовым» [3].

Из сопоставления всех этих крайне несовершенных записей становится очевидным: В. Н. Семенов возил десятилетнего племянника не прощаться с Пушкиным; ездили справиться о здоровье. И здесь, возле дома Пушкина, видели Лермонтова. Значит, в дни, когда умирал Пушкин, Лермонтов возле дома на Мойке был. Речь записали несколько репортеров: газетной «уткой» это считать нельзя. И хотя внучка ученого художница В. Д. Болдарева не помнит такого рассказа, она решительно заявляет, что дед был «очень строг в передаче фактов и никаких вымыслов не допускал». Таким образом, истина этих слов — вне сомнений. Но главное доказательство даже не в этом, а в том, что Лермонтов, если только он не был болен и

---

[1] «Речь», 1913, № 269.
[2] «Современное слово», 1913, № 2059.
[3] «Биржевые ведомости», утренний выпуск, 1913, № 13781.

выходил из дому, *не мог не побывать* у Певческого моста на Мойке! И это, пожалуй, самый существенный аргумент в пользу рассказчика.

Как в основе былины лежит подлиный факт, изукрашенный народной фантазией, так и в этих откликах, которые мы привели, несмотря на неубедительность передачи, исследователь имеет право угадывать подлинное событие. До сих пор биографы Лермонтова слишком доверчиво относились к версии о болезни, не обращая внимания на факты, противоречившие объяснениям, написанным в расчете на судей. Как-то даже и не подумали, что отлучка из полка без разрешения начальства, о которой стало известно царю, в глазах Лермонтова и Раевского была в тот момент не многим лучше стихов и настолько усугубляла вину, что болезнь казалась единственным удовлетворительным оправданием — и жизни в столице, и «нестройного столкновения мыслей», вследствие чего возникли «непозволительные» стихи, и способом отвести от себя подозрения, что он, Лермонтов, в эти дни виделся с кем-то и выступает в стихах не только от своего имени.

Хорошее правило использовать документы, не внушающие сомнения в их подлинности, и отбрасывать тексты недоброкачественные в данном случае непригодно. Потому что показания, предназначенные для судей, хотя и писаны рукою Лермонтова, не более достоверны в отношении фактов, нежели впечатления десятилетнего отрока. Поэтому будем считать, что до нас дошли искаженные временем и способом передачи рассказы, свидетельствующие о том, что Лермонтов в те дни мог выходить из дому и был в толпе возле дома, где умирал Пушкин. Оценивая документы, на основании которых нам приходится судить о сочинении и распространении стихов на смерть Пушкина с точки зрения их достоверности, мы не можем пренебрегать даже молвой.

А уж если говорить о молве, то нужно помянуть и о тех случаях, которые привел в своем донесении прусский посланник при петербургском дворе Либерман. Народное сочувствие Пушкину он объяснил своему правительству той популярностью, которую поэт приобрел «благодаря идеям новейшего либерализма» [1].

---

[1] П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е. М.— Л., ГИЗ, 1928, с. 407.

«Я знаю положительно,— писал Либерман,— что под предлогом пылкого патриотизма в последние дни в С.-Петербурге произносятся самые странные речи, утверждающие, между прочим, что г. Пушкин был чуть ли не единственною опорой, единственным представителем народной вольности и проч. и проч., и меня уверяли, что офицер, одетый в военную форму, произносил речь в этом смысле, посреди толпы людей, собравшихся вокруг тела покойного в доме, где он скончался» [1].

На эти строки обратил внимание покойный профессор Б. В. Казанский и вспомнил при этом Лермонтова. Однако мне кажется, что до Либермана дошел искаженный слух. На самом же деле в толпе пришедших проститься с Пушкиным говорили, что какой-то офицер прославляет его как поэта «вольного сердца». Не поняв, что дело идет о стихах, Либерман или тот, кто рассказывал ему, превратил стихи в речь, которую офицер произнес в доме Пушкина.

Для нашей темы в этом донесении важно другое.

Если мы примем, что в этом донесении от 2 февраля 1837 года искаженно отразилась молва о стихах, у нас будут основания считать, что 30 и 31 января, когда гроб с телом Пушкина стоял в квартире на Мойке, стихотворение Лермонтова было уже известно.

5

Еще в 1939 году литературовед И. А. Боричевский, автор содержательнейшей статьи «Пушкин и Лермонтов в борьбе с придворной аристократией» [2] обратил внимание на хранящуюся в деле о стихах на смерть Пушкина неопубликованную копию черновика «Объяснения» Раевского. Документом этим исследователи не пользовались, а между тем в нем оказались сведения, не попавшие в окончательный текст, который Раевский подал генералу Клейнмихелю. Однако и Боричевский не отметил всех фактов, которые устанавливаются из сопоставлений беловика и черновика. Поэтому, внимательно их сличая, можно будет извлечь из них кое-что новое.

---

[1] П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, с. 407.

[2] И. Боричевский. Пушкин и Лермонтов в борьбе с придворной аристократией.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 323—362.

С величайшей осторожностью формулирует Раевский каждый пункт своего «Объяснения». Кроме себя и Лермонтова, он упоминает только родственника поэта Николая Аркадьевича Столыпина. Это брат Монго Столыпина — друга поэта, чиновник министерства иностранных дел, сотрудник графа Нессельроде и завсегдатай салона графини Нессельроде, женившийся впоследствии на ее незаконной дочери [1].

Столыпин — враг Пушкина — разделяет отношение к нему придворной аристократии. Заключительные строки лермонтовского стихотворения возникли в ответ на суждения Столыпина. Раевский подчеркивает в своем «Объяснении», что разговор касался не конкретных личностей, а возможности применения к иностранцам русских законов, носил, как бы мы сказали теперь, принципиальный характер.

Юрист по образованию и по шестилетнему опыту службы, Раевский, сочиняя свои показания, исключает из них решительно все, что может повлечь дополнительные вопросы. Он пишет, что, узнав о гибели Пушкина, Лермонтов в тот же вечер написал элегические стихи, которые оканчивались словами:

И на устах его печать.

Новость о смерти Пушкина была сообщена ему «в Генваре» «вечером 29 или 30 дня». В беловом экземпляре слово «вечером» вычеркнуто.

Вдумаемся. Раевский предлагает поверить, что о смерти Пушкина Лермонтов узнал только на другой день — 30-го. При этом слово «вечером» 29 из беловика исключил. Почему?

Читая показания Раевского, можно понять так: Лермонтов пишет стихи, Раевский при этом присутствует. Дальнейшее изложено кратко: «Стихи эти появились прежде многих и были лучше всех, что я узнал из отзыва журналиста Краевского, который сообщил их В. А. Жуковскому, князьям Вяземскому, Одоевскому и проч.».

В черновом было иначе:

---

[1] ИРЛИ, Рукописный отдел. Дополнения М. Я. Тюлина к «Родословному сборнику русских дворянских фамилий» В. В. Руммеля и В. В. Голубцова, т. II, Столыпины, № 26, Р. I, оп. 45, №№ 1—7.

Черновой автограф «Смерти Поэта» с профилем Л. В. Дубельта.
ЦГАЛИ СССР. Москва

«<Стихи эти как новость гостиных были сообщены> <распущены мною повсеместно и преимущественно к журналисту Краевскому...> что <узнали мы> узнал я из отзыва журналиста Краевского, который по его словам передавал их В. А. Жуковскому, кн. <Вяземс> князьям П. А. Вяземскому, Одоевскому и проч.>».

Выходит, что Краевский участвует в раздаче экземпляров. Поэтому Раевский смягчает: Краевский «не передавал» стихи, а «сообщил их». Лермонтова в процедуру раздачи стихов тоже не стоит вмешивать. Слова «что узнали мы» переправлены в «что узнал я».

Надо найти оправдание раздаче стихов. Раевский ссылается на пронесшуюся молву, будто Жуковский читал стихи наследнику и тот «изъявил высокое свое одобрение».

Выходит, они введены в заблуждение молвою. Последующее объясняется тем, что успех стихов «вскружил голову Лермонтову из желания славы», а ему, Раевскому, из любви к Лермонтову.

Труднее оправдать появление шестнадцати заключительных строк. Раевский объясняет это горячностью молодого поэта. Далее черновик заключает подробность, еще неизвестную:

«<Между тем вскоре (которого дня не помню, а кажется, воскресенье) приехал к Лермонтову...>»

«Вскоре», «воскресенье» — все это вычеркнуто — излишние подробности не нужны.

«К Лермонтову приехал его брат камер-юнкер Столыпин. Он отзывался о Пушкине <весьма> невыгодно, говорил <как вел он себя в виду большого света>, что он себя неприлично <вел> <среди> людей большого света, что Дантес обязан был поступить так, как поступил и т. п.».

Далее выброшен значительный кусок текста:

«<Лермонтов будучи обязан Пушкину, которого он знал только по печатным сочинениям, ибо когда были в ходу письменные его сочинения — Лермонтов был еще дитя (ему теперь 22 года от роду, а Пушкин начал писать 20 лет назад)>...»

Нет, все это может привести к обратному результату, внушить мысль, что Лермонтов знаком с вольной поэзией Пушкина по спискам и что, нелегально распространяя лермонтовское стихотворение, арестованные учитывают агитационный опыт декабристов и Пушкина. Нет, напо-

минание о противоправительственных стихах Пушкина здесь не к месту...

«Лермонтов,— переправляет Раевский,— будучи, так сказать, обязан Пушкину началом <некоторой> своей известности, невольно сделался его партизаном и по врожденной пылкости повел разговор горячо. Он доказывал между прочим...»

Тут Раевский вписывает сверху фразу, на которую справедливо обратил внимание И. А. Боричевский:

«Он и его парт доказывал между прочим...» ...Вычеркнул «его парт» и <на>писал «и половина гостей доказывали между прочим, что <всякий> <даже иностранец> <должен> даже иностранцы должны щадить людей, замечательных в Государстве».

Как ни старается Раевский изобразить спор как спор двух родственников, становится понятным, что общество многолюдно, что оно разделилось на два лагеря или две «партии», что Столыпин олицетворяет группу, враждебную Пушкину, а от имени его почитателей и защитников говорит Лермонтов. В гостиной Арсеньевой продолжается спор, расколовший петербургское общество в эти дни на два лагеря. «Разговор шел жарче,— продолжал Раевский,— <Столыпин, недавно <причислен> пожалованный в камер-юнкеры и находившийся в большом свете>...»

Не стоит впутывать «большой свет», придавать спору оппозиционный по отношению к свету характер. «Молодой камер-юнкер Столыпин <и еще кто-то не помню> <передавал> сообщал мнения, рождавшие новые споры,— и в особенности настаивал, что иностранцам дела нет до Поэзии Пушкина, что Дипломаты свободны от <силы> влияния законов, что <он буду> Дантес и Геккерн, будучи <знатного происхождения и> знатные иностранцы, не подлежат ни законам, ни суду Русскому».

«Разговор принял было <пол> юридическое направление, но Лермонтов прервал его словами, которые после почти вполне поместил в стихах <и> <тирады> монолог его заканчивался словами,—<над> <мне памятными>: если нет над ними <суда и> закона и суда земного, <так> если они палачи Гения, так есть божий суд».

«<Столыпин уехал,> разговор прекратился и <на другой день> к вечеру у Лермонтова, <возвратясь от

должности,> я нашел известное прибавление, в котором явно выражался весь <вчерашний> спор».

Это место снова не удовлетворило Раевского. Получилось, что Лермонтов пишет эти шестнадцать строк слишком долго: это уже не вспышка, не опрометчивость, а продуманный шаг... Надо переписать. Раевский переносит сочинение «с другого дня» на «вечер». Но если оставить «к вечеру, возвратясь от должности», получится, что спор происходил днем в его отсутствие, когда он, Раевский, находился в департаменте и самого спора слышать не мог. Поэтому Раевский остановился на фразе: «вечером, возвратясь из гостей, я нашел у Лермонтова известное прибавление».

Совершенно очевидно, что версия, изложенная в показаниях Раевского, никак не отражает истинного хода событий. Это становится еще более понятным, если прочесть следующую страницу черновика:

«<Это прибавление> несколько <времени>часов не думали <об этом> сообщать <ли> это прибавление в публику, оно лежало без движения,— потом среди разговоров <я сказал> сказано по неосторожности, что таковое есть,— его выпросили, потом <я для полно> лесть Лермонтову увеличивалась, экземпляров <требова> просили полных, я раздавал и с прибавлением <более и более> стихи требовали>».

Этот текст обнаруживал, что экземпляров было неограниченное количество — и с прибавлением и без прибавления, что «требовали полных» и их раздавали... Это место Раевский переделал: «несколько часов» превратились в «несколько времени», остальное же свелось к тому, что «по неосторожности», «объявлено» и «дано для переписывания». В беловом варианте Раевский уже не «раздает» экземпляры, а только дает «переписывать» их.

Сравнивая черновик и беловик показаний, окончательно убеждаешься, что Лермонтов и Раевский хорошо понимали опасность своего предприятия. И Раевский не скрывает этой тревоги. Но делает это лишь для того, чтобы уйти от разговора о содержании стихов. «Однажды,— пишет он,— еще в начале раздачи, мы разговорились, чтобы Лермонтов за славу не заплатил карьером по службе».

Их беспокоит, что «стихи темны и можно всячески

толковать их». Тем не менее они приходят к выводу, что «бранить врагов Пушкина можно».

Что же привело их к этому выводу?

Оказывается, причиною этого заблуждения были милости императора по отношению к семейству Пушкина и поведение тайной цензуры — то есть III Отделения, которое не остановило раздачу стихов. И только когда бабку Арсеньеву стали беспокоить вопросы о ее внуке и она, еще не зная о прибавлении, стала плакать даже от тех стихов, где Дантес назван беглецом, то «раздача стихов с прибавлениями прекращена» и стихи раздаются снова без прибавления.

Далее в черновике высказана догадка, что стихотворение было известно императору, но никаких действий не последовало. Затем глухо разъясняется смысл эпиграфа, в котором автор «обращается к его величеству и просит у него правосудия, а не сам его ищет». И наконец, Раевский винит себя в том, что мог «удержать распространение экземпляров, по крайней мере, может быть, их разошлось бы не столько».

Удивительный документ! Всем действиям придается обратное значение. Раевский оказывается виноват не в том, что раздавал стихи, а в том, что не задержал их распространения. Лермонтов не угрожает судом, а просит правосудия у государя (в этом смысле и должен был работать эпиграф!). Наследник хвалил стихи, царь осыпал семейство Пушкина милостями, III Отделение не препятствовало раздаче стихов,— выходит, что молодые люди введены в заблуждение действиями правительства, а распространение стихов, которые разлетаются, как прокламации, и выражают настроение десятков тысяч людей, оказывается следствием горячности и неопытности.

«Мыслей о политических переменах и волнениях у нас не было никаких»,— написал Раевский в черновике. Но так как эта фраза, наоборот, могла навести на подозрение, что разговоры о волнениях и политических переменах были, чтобы таковое не возникало, Раевский выразил это иначе:

«Политических мыслей, а тем более противных порядку, установленному вековыми законами, у нас не было и быть не могло».

К этому Раевский счел нужным прибавить, что они с Лермонтовым «русские душою и еще более вернопод-

данные», и привел в показаниях другие стихи Лермонтова, в ту пору еще неизвестные, из которых правительству должно было стать ясным, что Лермонтов «не равнодушен к славе и чести своего государя». Не преминул прибавить, что стихи эти в свое время раздавал всем своим знакомым «по одному экземпляру», что, дескать, раздача стихов во славу монарха не показалась предосудительной, хотя сделано это было тоже без разрешения. И что раздача стихов для него, для Раевского, дело как бы привычное!

Так выглядит история сочинения и раздачи стихов в показаниях Раевского.

Совсем по-другому изложил ее Лермонтов. Он не делит создание стихотворения на два этапа. Судя по его словам, оно возникло сразу, как ответ на спор о гибели Пушкина, возникший в их петербургской квартире.

«Я был еще болен,— начинает он свои показания,— когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли ее и ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни — приверженцы нашего лучшего поэта — рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и наконец сделал шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света. Другие — особенно дамы — оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собою,— они говорили также, что Пушкин негодный человек, и прочее...»

Итак, по Лермонтову, в комнате собралось многолюдное общество. Тут присутствуют приверженцы Пушкина, тут и защитники Дантеса. Общество разнородно. Присутствуют дамы. Разгорается спор.

«Когда я стал спрашивать,— продолжает поэт,— на каких основаниях так громко восстают они против убитого? — мне отвечали... что весь высший круг общества такого же мнения».

Прошу обратить внимание на слова «против убитого»!

Обдумывая, как изложить дело в общих чертах, не

вникая в подробности, Лермонтов не обратил внимания, что противоречит себе: спор происходит в тот вечер, когда Пушкин еще умирает в своей квартире. Ибо в следующей фразе поэт написал:

«Наконец, после двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкин умер».

Да, спор о Пушкине и Дантесе был не только в тот день, когда к Лермонтову приехал Столыпин, но и в тот вечер, когда было написано стихотворение в его первоначальной редакции. «Большая половина известной элегии,— писал Раевский впоследствии в письме к Шан-Гирею,— в которой Мишель после горячего спора в нашей квартире высказал свой образ мыслей, написана им была без поправок в несколько минут (Мишель почти всегда писал без поправок), и как сочинение было современное, то и разнеслось очень быстро».

Раевский совершенно определенно говорит здесь не о прибавлении к стихам, а о *«бóльшей половине»* известной элегии, то есть о первоначальной редакции «Смерти Поэта» из пятидесяти шести строк, кончавшейся словами: «И на устах его печать».

Таким образом, из показаний Лермонтова следует, что спор происходил в день, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина, а из письма Раевского к Шан-Гирею, что «большая половина элегии» написана непосредственно после спора и что стихи «были отражением мнений не одного лица, но весьма многих».

В копии стихотворения, приобщенного к делу о «непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтовым, и о распространении оных губернским секретарем Раевским», стоит дата: «28 Генваря 1837», тогда как Пушкин умер 29-го.

Можно ли допустить, что Лермонтов сел сочинять стихи на смерть Пушкина, зная, что Пушкин жив?

Разумеется, этого быть не могло! Но если Лермонтов думал, что Пушкин уже погиб, в то время как Пушкин еще не умер, это случиться могло.

Слухи о Пушкине поминутно сменялись. Видимо, кто-то из вновь пришедших гостей сообщил, что Пушкин скончался. «До нас беспрестанно доходили известия,— подтверждает вдова писателя В. И. Карлгофа,— противо-

б) 2.

«Объясненіе Губернскаго Секретаря Раевскаго о связи его съ Лермантовымъ и о происхожденіи стиховъ на смерть Пушкина.

Отношенія семейства Раевскаго къ Арсеньевой, бабкѣ Лермантова.-

Бабка моя Киркова во младенчествѣ воспитывалась въ домѣ Столыпиныхъ, съ дѣвицею Е. А: Столыпиною, въ послѣдствіи по мужу Арсеньевою, (: данного 64-хъ лѣтъ, родною бабушкою корнета Лермантова, автора стиховъ на смерть Пушкина.:)-

Моя личная связь съ Арсеньевою и Лермантовымъ.

Эта связь сохранилась и въ послѣдствіи между домами нашими, Арсеньева крестила меня въ г. Пензѣ въ 1809 году и постоянно оказывала мнѣ родственное расположеніе, по которому и потому что я, видя отличныя способности въ молодомъ Лермантовѣ, коротко съ нимъ сошелся — предложены были въ домѣ ихъ столъ и квартира.-

Первая страница «Объяснения губернского секретаря Раевского о связи его с Лермонтовым и о происхождении стихов на смерть Пушкина». Копия из «Дела о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтовым и о распространении их губернским секретарем Раевским». Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград

речащие одно другому: то говорили, что рана не опасна, то, что нет надежды, сказали уже, что он умер, немного погодя услышали, что он жив и чувствует облегчение. Переходя от страха к надежде, мы томительно провели день 28 и утро 29» [1].

Почему же в таком случае Раевский указал в своем «Объяснении», что стихотворение было написано «<вечером> 29 или 30 дня»?

Да потому, что поступок Лермонтова он мотивирует тем, что «государь император осыпал семейство Пушкина милостями, след<овательно> дорожил им» и что, «стало быть, можно было бранить врагов Пушкина». Но нельзя было говорить о «милостях» раньше, чем они были оказаны.

Таким образом, дату, стоящую под стихотворением в копии «Дела», которую, в частности, я отвергал очень усердно, следует, видимо, считать верной. В таком случае стихотворение в основной его части до слов «И на устах его печать» написано в квартире Арсеньевой на Садовой улице после горячего спора многочисленных гостей, пришедших к Лермонтову и к его другу вечером 28 числа. Это вполне согласуется с указанием Шан-Гирея, что Лермонтов «под свежим еще влиянием истинного горя и негодования... в один присест написал несколько строф, *разнесшихся в два дня по всему городу*» [2]. (Курсив мой.— *И. А.*)

Действительно, 30 января днем, с копии, принадлежавшей улану Владимиру Глинке, стихотворение уже списал журналист В. П. Бурнашев. Этого не могло быть, если бы Лермонтов написал «Смерть Поэта» 30-го и даже 29-го вечером: Владимир Глинка не принадлежал к числу лермонтовских знакомых, следовательно, должен был списать сам у кого-то другого. Для этого нужно было хотя бы немного времени. Весь вопрос только в том, можно ли верить словам Бурнашева.

---

[1] [Е. А. Карлгоф-Драшусова]. Жизнь прожить — не поле перейти. Записки неизвестной ***.— «Русский вестник», 1881, № 9, с. 154.

[2] А. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов.— В кн.: Е. Сушкова. Записки. 1812—1841. Редакция, введение и примечания Ю. Г. Оксмана. Л., «Academia», 1928, с. 378. (Далее сокращенно: Е. Сушкова. Записки.)

6

Владимир Петрович Бурнашев в 1837 году служил в военном министерстве и занимался литературным трудом. Сын орловского вице-губернатора, красивый и способный молодой человек, получивший бессистемное домашнее образование, он начал с того, что в 1828 году напечатал в «Отечественных записках» П. П. Свиньина статью «Цветок юноши-поэта на гроб императрицы Марии Федоровны», был «обласкан» здравствующей императрицей и получил доступ в дома некоторых крупных сановников [1]. С этого времени его стали охотно печатать разные периодические издания, в том числе «Северная пчела». Бурнашев поступил на службу, но долго на одном месте не засиживался и переходил из министерства в министерство, с такою же легкостью меняя и литературных заказчиков. Он сочинял статьи об Эрмитаже и о табачном фабриканте Жукове, о портных и кондитерах, о выделке овчин и мануфактурных выставках, о сельском хозяйстве и путешествиях, писал «для народа», для домашних хозяек и получил прозвище «Быстропишев» [2]. Это был беспринципный ремесленник, готовый и бранить и хвалить по заказу. Одна из его книжек, выпущенная под псевдонимом «Виктор Бурьянов»,— «Прогулка с детьми по С.-Петербургу и его окрестностям» вызвала уничтожающий отзыв Белинского (1838) [3]. Не составив себе доброго имени, Бурнашев нажил массу врагов.

Он хорошо знал журнальный мир и, несомненно, был наделен дарованием мемуариста — умел занимательно рассказывать о людях, наделяя их живыми характеристиками, рельефно воспроизводя быт и нравы отошедшего времени. Дело становилось за малым: людей по-настоящему интересных он видел в жизни издалека. Это не помешало ему приступить к сочинению мемуаров, в которых собственные скудные впечатления восполнялись рас-

---

[1] [В. Бурнашев]. Мой литературный формуляр и нечто вроде acquis de conscience. Кто такой в литературной петербургской братии Владимир Петрович Бурнашев.— «Исторический вестник», 1888, № 6. В статье Н. Лескова «Первенец богемы в России», с. 535—557.

[2] Там же, с. 539.

[3] В. Г. Белинский. Полн. собр соч., т. II. М., Изд-во АН СССР, 1953, с. 378. (Далее всюду цитируется это издание.)

сказами других лиц, близко знавших известных государственных деятелей и писателей, которых сам Бурнашев видел только однажды. Эта система воспоминаний позволила пересказывать сплетни, анекдоты, выдвигать на первый план людей незначительных, которых Бурнашев знал хорошо.

В начале 70-х годов под именем «Петербургского старожила» в различных периодических изданиях один за другим стали появляться отрывки из его воспоминаний или, как говорили тогда, «статьи ретроспективного содержания», в которых предстала литературная и бюрократическая среда 20—40-х годов [1]. Статьи вызвали большой интерес, журналы и газеты печатали их наперебой. Но одна из публикаций «Русского мира» произвела громкий скандал. Поэт А. Подолинский, которого Бурнашев назвал в числе гостей Н. И. Греча, печатно отозвался, что не бывал в доме Греча и автора воспоминаний не знал. Посыпались письма в редакцию. Сын покойного министра финансов Канкрина опротестовал характеристику отца, в которой Бурнашев употребил слово «скряжничество» [2]. Некий А. Р., не отрицая, что изложены воспоминания живо и занимательно, опубликовал указания на пятьдесят две ошибки мемуариста [3]. Так, например, Бурнашев написал, что теща Булгарина называлась «тантой». Нет, не теща, а тетка жены. Стихотворца Якубовича Бурнашев окрестил Лукой. Его звали Лукьяном. Воейков носил не золотые, а черепаховые очки. Бенкендорфа звали Христофоровичем, а не Федоровичем. Бурнашев перепутал неаполитанского посланника с итальянским, гофмаршала с гофмейстером и т. д. В нескольких случаях опередил события, спутал годы. Особенно резко выступил против него журнал Ф. М. Достоевского «Гражданин», писавший

---

[1] «Четверги у Греча».— «Заря», 1871, кн. 4; «Моя служба при Д. Г. Бибикове».— «Русский мир», №№ 89—115; «Мое знакомство с Воейковым в 1830 году».— «Русский вестник», 1871, т. XCV и XCVI; «Воспоминания об эпизодах из моей частной и служебной деятельности» (1834—1850).— «Русский вестник», 1872, и отд. издание (М., 1873); «Булгарин и Песоцкий».— «Биржевые ведомости», 1872, № 284—285; «К истории нашей литературы недавнего прошлого».— «Биржевые ведомости», 1872, № 347—348; «Воспоминания русского старожила» в «Русском вестнике» 1872 г. и др.

[2] «Русский мир», 1872, № 49.

[3] Там же, № 217.

в статье «Современная хлестаковщина», что рассказы Бурнашева «кишат несообразностями, всякого рода анахронизмами, явными выдумками, решительными невозможностями»[1].

Эти единодушные нападки были вызваны, конечно, не одними фактическими неточностями. Они объясняются отношением к Бурнашеву журнальных кругов. Одни третировали представителя рептильной прессы, другие возмущались тем, что репортер, журнальный писака осмелился сочинять «небывальщины» на людей государственных, «выводя при том на сцену... особ царской фамилии и принадлежавших ко двору и к высшему правительству»[2]. Но решительно всех раздражал развязный, самоуверенный тон мемуаров, не внушающая доверия живость повествования, неосторожные и резкие характеристики в одних случаях, льстиво-многоречивые в других. Что оценки эти были небеспристрастны, можно судить по тому, что когда перепуганный Бурнашев стал выступать с такими же материалами под другим псевдонимом, то заслужил похвалы в тех журналах, которые бранили публикации «Петербургского старожила»[3].

Однако репутация недостоверных за мемуарами Бурнашева так и осталась, что небезразлично для нас, ибо Бурнашеву принадлежат воспоминания о Лермонтове, освещающие как раз тот период, когда были созданы стихи на смерть Пушкина.

Эти воспоминания были напечатаны в «Русском архиве» за 1872 год под заглавием «Михаил Юрьевич Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников» (из «Воспоминаний В. П. Бурнашева по его ежедневнику в период времени с 15 сентября 1836 года по 6-е марта 1837 года»)[4].

Это единственное выступление Бурнашева, за которым не последовало опровержений в печати. Тем не менее и оно до сих пор вызывает к себе отношение двоякое. Одни исследователи решительно игнорируют эти рас-

---

[1] «Давнишний обыватель Петербурга. Современная хлестаковщина. Воспоминания старожила».— «Гражданин», 1873, № 3, с. 87—88.

[2] «Гражданин», 1873, № 3, с. 88.

[3] Н. Лесков. Первенец богемы в России.— «Исторический вестник», 1888, № 6, с. 549—550.

[4] «Русский архив», 1872, № 9, стлб. 1770—1850.

сказы, другие широко их используют. В печати, насколько я знаю, они серьезной оценки не получили. Поэтому попробуем выяснить степень их достоверности.

Бурнашев указал, что его «ежедневник» охватывает время с 15 сентября 1836 года по 6-е марта 1837-го. Последняя дата соответствует действительному ходу событий. В это время уже состоялся указ о переводе Лермонтова в драгунский Нижегородский полк, стоявший в ста верстах от Тифлиса, и поэт собирается уезжать из столицы. Об этом и рассказывает Бурнашев, но по ошибке приурочил это к вербной неделе, в то время как идет масленая. Таких мелких промахов у Бурнашева достаточно, но ни в чем серьезном, как мы увидим, он с другими свидетелями не разойдется.

С самим Лермонтовым Бурнашев знаком не был. Но знал его однокашников по юнкерской школе — Афанасия Синицына и того Николая Юрьева, который в 1837 году на правах родственника жил с Лермонтовым в одной квартире.

Впрочем, однажды Бурнашев повстречался с поэтом. Это случилось в сентябре 1836 года, когда Лермонтов сбегал навстречу ему по лестнице, уходя от Синицына. Эта краткая встреча дала Бурнашеву право нарисовать довольно живой портрет. Все остальное воспроизводится по рассказам приятелей. Бурнашев передает их не в пересказе, а полностью. Это не отдельные фразы или тирады, а целые монологи. Записать их в то время даже и приблизительно Бурнашев, конечно, не мог, как не мог тридцать пять лет спустя помнить каждую мелочь. Поэтому нет никакого сомнения, что элемент беллетристики в его реконструкциях очень силен. Кстати, к публикации «Воспоминаний» в «Русском архиве» было сделано, с ведома автора, примечание, что за «дословную точность сообщаемых сведений» Бурнашев не может ручаться, но живость и верность воспроизведенной картины заслуживают внимания читателей [1].

Оценивая эти воспоминания, мы должны помнить, что в них называются имена в те годы еще живых знакомых и сослуживцев мемуариста, которые могут опровергнуть его, что живы друзья и знакомые Лермонтова — Раевский, Шан-Гирей, М. Н. Лонгинов, Д. А. Столыпин,

---

[1] «Русский архив», 1872, № 9, стлб. 1770.

А. Н. Муравьев и, наконец, тот самый Николай Аркадьевич Столыпин, который фигурирует в показаниях Раевского и в записях Бурнашева, что если бы этот рассказ содержал существенные отклонения от истины, они опротестовали бы публикацию. Поэтому с фактической основой бурнашевских воспоминаний мы считаться должны.

Описываются, как уже сказано, события зимы 1836—1837 года. Умер сын Греча. Бурнашев был с ним дружен. Похороны назначены на 27 января. Во время речи пастора, около семи часов вечера, по толпе проходит молва: убит Пушкин. Бурнашев отправляется на Мойку, к дому, где живет Пушкин.

Тридцатого января в середине дня он идет прощаться с великим поэтом. Встречает улана Глинку, который дает ему списать лермонтовские стихи. Несколько дней спустя в квартире Синицына Бурнашев знакомится с Юрьевым. Заходит речь о стихах на смерть Пушкина. Юрьев рассказывает о приезде Николая Столыпина, который рекомендуется в тексте: «наш родня Н. А. С., дипломат», «один из представителей и членов самого что ни есть нашего высшего круга» [1]. Далее следует то, что мы знаем из показаний Раевского. Приведем этот текст. Нам надлежит решить вопрос о его достоверности.

Вот как передает Бурнашев со слов Юрьева означенный эпизод:

«По поводу городских слухов о том, что вдова Пушкина едва ли долго будет носить траур и называться вдовою, что ей вовсе не к лицу, С<толыпин> расхваливал стихи Лермонтова на смерть Пушкина; но только говорил, что напрасно Мишель, апофеозируя поэта, придал слишком сильное значение его невольному убийце, который, как всякий благородный человек, после всего того, что было между ними, не мог бы не стреляться. Honneur oblige!.. <Честь обязывает!> Лермонтов сказал на это, что русский человек, конечно, чистый русский, а не офранцуженный и испорченный, какую бы обиду Пушкин ему ни сделал, снес бы ее во имя любви своей к славе России и никогда не поднял бы на этого великого представителя всей интеллектуальности России своей руки. С<толыпин> засмеялся и нашел, что у Мишеля раздражение нервов, почему лучше оставить этот разговор,

1 «Русский архив», 1872, № 9, стлб. 1829.

и перешел к другим предметам светской жизни и к новостям дня. Но «Майошка» наш его не слушал и, схватив лист бумаги, что-то быстро по нем чертил карандашом, ломая один за другим и переломав так с полдюжины. Между тем С<толыпин>, заметив это, сказал, улыбаясь и полушепотом: «La poésie enfante!» <поэзия разрешается от бремени>; потом, поболтав еще немного и обращаясь уже только ко мне, собрался уходить и сказал Лермонтову: «Adieu, Michel!»,— но наш Мишель закусил уже поводья, и гнев его не знал пределов. Он сердито взглянул на С<толыпина> и бросил ему: «Вы, сударь, антипод Пушкина, и я ни за что не отвечаю, ежели вы сию секунду не выйдете отсюда».— С<толыпин> не заставил себя приглашать к выходу дважды и вышел быстро, сказав только: «Mais il est fou à lier» <но ведь он просто бешеный>. Четверть часа спустя Лермонтов <...> прочитал мне те стихи, которые, как ты знаешь, начинаются словами: «А вы, надменные потомки!» — и в которых так много силы» [1].

Может быть, Бурнашев не знал Юрьева, и основой послужили для него показания Раевского?

Нет! Воспоминания Бурнашева напечатаны в 1872 году, а показания Раевского только в 1887-м — на пятнадцать лет позже [2]. Следовательно, неопубликованные показания Раевского Бурнашев в 1872 году знать не мог.

Этого мало: в 1872 году биографические сведения о Лермонтове еще только начинали проникать в журналы. Сверить свои рассказы, соотнести их с показаниями других современников Бурнашев тоже не мог. Заимствовать ему было неоткуда. Между тем со времени публикации, в продолжение столетия без малого, появляются новые материалы о Лермонтове, и ни один документ не приходит в противоречие с версией Бурнашева. Приходится верить, что это идет от родственника, от Юрьева. Следовательно, нравится или не нравится нам стиль Бурнашева, с фактами, положенными в основу его сообщения, мы считаться должны.

Кстати, этот рассказ ни в чем не расходится с показанием Раевского, только яснее и резче означает суть

---

[1] «Русский архив», 1872, № 9, стлб. 1829—1830.

[2] «Сочинения М. Ю. Лермонтова». Под редакциею П. А. Висковатова, т. VI, Биография. М., 1891 (далее сокращенно: В и с к о в а т о в, Биография); Приложение IV, с. 11—13.

Первая страница «Объяснения» М. Ю. Лермонтова по делу о стихах «На смерть Пушкина». Копия из «Дела о непозволительных стихах...». Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград

того спора, смысл которого Раевский старался затушевать и который послужил побудительной причиной для создания дополнительных строк.

«Лермонтов не на шутку озлился,— рассказывает Юрьев у Бурнашева,— когда до него стали справа и слева доходить слухи о том, что в высшем нашем обществе, которое русское только по названию, а не в душе и не на самом деле, потому что оно вполне офранцужено от головы до пяток, идут толки о том, что в смерти Пушкина, к которой все эти сливки высшего общества относятся крайне хладнокровно, надо винить его самого, а не те обстоятельства, в которые он был поставлен, не те интриги великосветскости, которые его доконали, раздув пламя его и без того всепожирающих страстных стремлений» [1].

Если освободить эту цитату от бурнашевского многословия, мы поймем, что Пушкина довели до смерти интриги великосветского общества, которому чуждо все русское. Оставаясь безнаказанным, оно продолжает возводить на убитого клевету. Лермонтов слышит об этом со всех сторон.

И вот приходит камер-юнкер Столыпин, равный по чину с камер-юнкером Пушкиным, и начинает повторять то, что говорится в салоне злейшего врага Пушкина — надменной графини Нессельроде, которой, по общему мнению пушкинских друзей, принадлежит инициатива рассылки анонимного пасквиля; Столыпин, сгибающий спину перед графом Нессельроде, сыном беглого австрийского солдата, «безотечественным» иноземцем, дурно говорящим по-русски, который добрался до высших ступеней российской иерархической лестницы; Столыпин — приятель Дантеса, нашедшего самый ласковый прием в этом гнезде. И он начинает читать потации Лермонтову! Вот почему гнев Лермонтова «не знает пределов»! Вот почему Столыпин не заставляет себя приглашать к выходу дважды!

Можно поверить в рассказ Бурнашева?

Можно!

Кроме Юрьева и Раевского, эту историю рассказывал еще один человек: Лермонтов. Не в показаниях для судей. А приятелю своему Александру Меринскому, с которым

---

[1] «Русский архив», 1872, № 9, стлб. 1828.

учился в юнкерской школе. В 1837 году Меринский служил в Уланском полку и решил навестить Лермонтова как раз в тот самый день, когда возникли заключительные стихи. Мы знаем об этом со слов самого Меринского.

В 1862 году известный библиограф П. А. Ефремов, стремясь установить правильный текст заключительного шестнадцатистишия, обратился к нему с письмом. И Меринский, сообщив верный текст, рассказал со слов Лермонтова всю историю. Упомянув, что стихотворение, кончавшееся стихом «И на устах его печать», уже разошлось по всему городу, Меринский писал:

«Вскоре после того заехал к нему один из его родственников, из высшего круга (не назову его); — у них завязался разговор об истории Дантеза (барон Гекерн) с Пушкиным, которая в то время занимала весь Петербург. Господин этот держал сторону партии, противной Пушкину, во всем обвиняя поэта и оправдывая Дантеза. Лермонтов спорил, горячился, и когда тот уехал, он, взволнованный, тотчас же написал прибавление к означенному стихотворению. В тот же день вечером я посетил Лермонтова и нашел у него на столе эти стихи, только что написанные. Он мне рассказал причину их происхождения — и тут же я их списал; потом и другие из его товарищей сделали то же: стихи эти пошли по рукам»[1].

Письмо, как уже сказано, относится к 1862 году. Цитата из него опубликована П. А. Ефремовым в 1873 году. А «Воспоминания» Бурнашева вышли в свет годом раньше. Совершенно ясно, что «списать» эту историю ни у Раевского, ни у Меринского он не мог. И передал те же самые факты со слов третьего лица — Юрьева.

Сопоставление всех трех рассказов делает версию о визите Столыпина несомненной. И приводит нас к заключению, что в основном (не в характере передачи) Бурнашеву верить все-таки можно. А если так, то следует учесть и некоторые другие идущие к делу подробности.

Так, Юрьев говорил в присутствии Бурнашева, что, как только стихи были готовы, он тотчас списал с них «пять или шесть копий» и немедленно развез их к приятелям, которые, частию сами, частию при помощи

---

[1] Письмо А. М. Меринского к П. А. Ефремову от 3 февраля 1862 года.— ИРЛИ, ф. 524, оп. 4, № 25, л. 134 об.

писцов, изготовили еще «изрядное количество» копий, и дня через два или через три весь Петербург читал и знал дополнение к стихам на смерть Пушкина [1].

Далее рассказывается о беспокойстве бабушки, которая пыталась, «словно фальшивые ассигнации, исхитить их из обращения в публике» [2].

Есть и другие убеждающие подробности: так, например, отзыв брата царя о стихах Лермонтова (о достоверности его слов разговор сейчас не идет!) был сообщен бабке Арсеньевой Шлиппенбахом. Это место в записи Бурнашева раньше казалось совершенно недостоверным (бабке поэта сообщает такого рода известия начальник юнкерской школы!). Но теперь оно выглядит совершенно правдоподобно, ибо мы за это время узнали, что генерал-майор Константин Антонович Шлиппенбах и Мавра Николаевна, жена его,— близкие Арсеньевой люди [3].

Да в конце концов, точность слов Юрьева — Бурнашева подтверждает не только Меринский, но и сам Лермонтов в своих показаниях, где пишет, что «некоторые люди, по родственным связям или вследствие искательства принадлежащие к высшему кругу и пользующиеся заслугами своих достойных родственников», не переставали омрачать память убитого. А люди из высшего общества, ставшие аристократами благодаря «искательству» или родству,— это и есть «надменные потомки известной подлостью прославленных отцов», которых в своем показании поэт вынужден назвать «достойными родственниками». Так даже и официальный документ передает существо спора, который отразился в рассказе Юрьева — Бурнашева.

Правда, Бурнашев допустил важный промах. Он не знает, что за стихи на смерть Пушкина Лермонтов арестован, не упоминает про Святослава Раевского. Упущение такого рода говорит о его неполной осведомленности, но не ставит под сомнение другие факты, внесенные в его «ежедневник». Становится ясным, что у Бурнашева множество недостоверных подробностей, но заведомо ложных сообщений нет.

---

[1] «Русский архив», 1872, № 9, стлб. 1831.

[2] Там же.

[3] «Письма Е. А. Арсеньевой о Лермонтове». Публикация Л. Б. Модзалевского.—«Литературное наследство», т. 45-46, с. 650 и 654.

Итак, сведения его, кажется, можно принять. 30 января, встретившись с Владимиром Глинкой, Бурнашев зашел в кондитерскую Вольфа на Невском и там, в задней комнате, спросив чернил и бумаги, списал копию стихов на смерть Пушкина.

7

Но когда же возникло прибавление к стихам?

Первое упоминание о нем находится, как уже сказано, в письме А. И. Тургенева от 13 февраля 1837 года: «Ходят по рукам и другие строфы,— писал он псковскому губернатору, посылая первоначальный текст «Смерти Поэта»,— но они не этого автора и уже навлекли, сказывают, неприятности истинному автору» [1].

Значит, заключительная строфа начала циркулировать в публике еще в первой половине февраля.

Как скоро появилась она после основного текста стихотворения?

Бурнашев заявляет, что «новые стихи Лермонтова в дополнение к первым» начали ходить по городу после того, как А. И. Тургенев отвез тело Пушкина в Святые Горы [2], то есть после 4 февраля. Однако в данном случае мы легко можем обойтись без помощи Бурнашева.

В черновике показаний Раевского, если вы помните, вымарана строчка о визите Столыпина: «Между тем вскоре (которого дня не помню — а кажется, воскресенье) приехал к Лермонтову...» [3]

Воскресенья в первой половине февраля 1837 года приходились на 7-е и 14-е числа. 13-го прибавление уже ходит по городу, и о нем известно Тургеневу. Стало быть, Раевский имеет в виду воскресенье 7-го числа, но, не желая уточнять день приезда Столыпина, слово «воскресенье» вычеркнул.

Несколько лет назад в Киеве, в Институте литературы Академии наук УССР имени Т. Г. Шевченко литературо-

---

[1] А. А. Фомин. Новые материалы для биографии Пушкина (из Тургеневского архива).— «Пушкин и его современники», вып. VI. СПб., 1908, с. 113.

[2] «Русский архив», 1872, № 2, стлб. 1816.

[3] «Дело о непозволительных стихах...», л. 15 об.

вед Людмила Николаевна Полотай обнаружила список с полным текстом «Смерти Поэта» и с датой: «2 февраля 1837 года».

Как ни существенно это число, новый список следует оценить весьма осторожно.

Вспомним: в «Деле» Лермонтова и Раевского тоже фигурирует текст с «прибавлением», но датированный 28 января 1837 года. Тем не менее никто не относит эту помету к заключительной части стихотворения. Весь спор со Столыпиным и написание стихов в два приема еще до того, как Пушкин умер, каждому представляются совершенно невероятными. И все понимают, что представлено стихотворение в полном виде, но 28-м датирован *основной* текст.

Сконтаминирован и киевский список. Первоначальные строфы были помечены 2 февраля. Позже узнан текст «преступной» строфы и при переписке соединен с основным. Но дата, выставленная в конце, не отброшена, а сохранена и выставлена в конце нового списка. Если 2-го числа создан полный текст «Смерти Поэта», следует допустить, что Владимир Одоевский 10 февраля — восемь дней спустя — еще не знает полного текста, потому что 10 февраля ближайшим друзьям Пушкина Карамзиным он дает списать первые пятьдесят шесть строк. И только 16-го (следовательно, через две недели) Карамзины узнают заключительную строфу. В этом случае следует допустить, что не только Александр Тургенев, но даже и сам Бенкендорф ничего не слышали о ней до 13-го!..

Поэтому, вернее всего, эта помета означает не время создания полного текста стихотворения, а день, когда списана копия с первоначальных пятидесяти шести строк. Во всяком случае, новая копия, о происхождении которой покуда ничего не известно, не имеет преимущества перед той, которая фигурирует в «Деле» и датирована 28 января. Впрочем, к вопросу о времени создания и распространения этой строфы мы с вами еще вернемся.

Стихи на смерть Пушкина и Лермонтов и Раевский сразу же расценили как важнейший общественно-политический документ и отнеслись к нему настолько серьезно, что Лермонтов, ничего еще не печатавший и крайне нерешительный в отношении своего будущего дебюта, без колебаний вступает в литературу в качестве нелегального поэта, ибо совершенно убежден в необходимости громко,

Смерть Поэта.

Стихотворение Лермонтова, которое не могло быть напечатано.

Погибъ Поэтъ! — невольникъ чести —
Палъ, оклеветанный молвой,
Съ свинцомъ въ груди, и жаждой мести,
Поникнувъ гордой головой!...
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочныхъ обидъ,
Возсталъ онъ противъ мнѣній свѣта
Одинъ какъ прежде... и убитъ!
Убитъ!... къ чему теперь рыданья,
Пустыхъ похвалъ ненужный хоръ,
И жалкій лепетъ оправданья? —
Судьбы свершился приговоръ!
Не вы ль сперва такъ злобно гнали
Его свободный, смѣлый даръ,
И для потѣхи раздували
Чуть затаившійся пожаръ?
Что жъ? веселитесь... — онъ мученій
Послѣднихъ вынести не могъ:
Угасъ какъ свѣточь дивный геній,
Увялъ торжественный вѣнокъ.

Его убійца хладнокровно
Навелъ ударъ... спасенья нѣтъ:
Пустое сердце бьется ровно,
Въ рукѣ не дрогнулъ пистолетъ.
И что за диво?... издалека,
Подобный сотнямъ бѣглецовъ,
На ловлю счастья и чиновъ
Заброшенъ къ намъ по волѣ рока;
Смѣясь, онъ дерзко презиралъ
Земли чужой языкъ и нравы;
Не могъ щадить онъ нашей славы;
Не могъ понять въ сей мигъ кровавый
На что онъ руку поднималъ!...

Беловой автограф «Смерти Поэта» (без заключительных строк). С пометой В. Ф. Одоевского. Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград

на всю страну сказать правду о Пушкине: Пушкин казнен рукою Дантеса по приговору аристократии!

Тем не менее вначале не только у самого Лермонтова, но и в литературном кругу была мысль, что стихотворение в первой его редакции можно будет поместить в «Современнике». Недаром на автографе «Смерти Поэта» есть надпись, сделанная рукою В. Ф. Одоевского, одного из продолжателей пушкинского журнала: «Стихотворение Лермонтова, которое не могло быть напечатано».

Значит, надеялись?

Да, мы еще встретимся с указанием не печатать стихи. Но, конечно, с того момента, когда прибавлены шестнадцать заключительных строк, ни Лермонтов, ни Раевский о напечатании больше не думают.

Еще прежде, чем первоначальный текст мог бы появиться в журнале, Лермонтов и его приятель приступают к распространению копий: стихотворение должно быть прочитано тотчас, немедля, пока вереница людей проходит через квартиру, чтобы проститься с Пушкиным. Город ждет слова правды!

Раевский приступает к размножению текста. Делается это организованно и бесстрашно. Один из его сослуживцев потом вспоминал, как Раевский принес на приятельский вечер только что написанные стихи на смерть Пушкина, и они тут же переписывались в «несколько рук» [1].

Копии распущены «повсеместно». Спрос возрастает. «Экземпляры стихов,— свидетельствует Раевский,— раздавались всем желающим, даже и с прибавлением 12 стихов...» [2]

Чем более говорят ему о таланте Лермонтова, тем более охотно Раевский дает переписывать экземпляры.

И снова: «Экземпляры расходились десятками». «Экземпляров просили полных, я раздавал и с прибавлением <более и более> стихи требовали...» [3]

Часть этих признаний осталась в черновике, но все равно — заявление удивительно по смелости и опытной дальновидности. Признавая, что он распространял стихи без счета — десятками, что он раздавал их решительно всем, Раевский снимает вопрос: кому раздавал? Снимает-

---

[1] «Из записок В. А. Инсарского».— «Русский архив», 1873, № 1, стлб. 528.

[2] «Дело о непозволительных стихах...», л. 7 об.

[3] *Там же*, лл. 15, 17.

ся вопрос и о том, кто помогал в раздаче, ибо арестованный решительно заявляет: все это сделано им!

В скольких копиях распространилось стихотворение — не установлено. И. И. Панаев в своих воспоминаниях говорит: «Переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми» [1].

«Десятки тысяч» — это, конечно, гипербола. Но что налаженное Раевским распространение стихов обеспечивало изготовление огромного количества копий, с которых, в свою очередь, снимались новые копии,— это бесспорно.

С момента возникновения дополнительных строк по городу начинают ходить два текста — первоначальный, «элегия», как называют его Раевский и Шан-Гирей, и с добавлением шестнадцати строк. Не исключено, что были копии, в которых отсутствовали последние четыре стиха:

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Нет, Раевский, видимо, не случайно писал, что экземпляры раздавались «с прибавлением 12 стихов, содержащих в себе выходку противу лиц, не подлежащих...» и проч.

И снова — в беловике, один из подзаголовков, разделяющих показания на «пункты»:

«Прибавление 12 стихов».

«Двенадцати»? Может быть, это описка?

Тогда как понимать слова А. Н. Муравьева о том, что Лермонтов прочел ему стихи на смерть Пушкина, в которых он не нашел ничего особенно резкого, потому что «не слыхал последнего четверостишия, которое возбудило бурю против поэта»? [2]

Я допускаю, что «последним четверостишием» Муравьев называет всю заключительную строфу. Тем не менее отметить совпадение в счете стихов у С. А. Раевского и А. Н. Муравьева следует.

---

[1] И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1950, с. 96.

[2] А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871, с. 23.

Это еще не все!

До нас дошли экземпляры стихов с прибавлением шестнадцати строк, но без эпиграфа. И экземпляры с прибавлением и с эпиграфом. Это значит, что эпиграф появился позже самих стихов, когда полный текст «навлек неприятности» автору. Появился для того, чтобы смягчить впечатление от последней строфы.

Текст эпиграфа Лермонтов заимствовал из трагедии французского драматурга XVII столетия, современника Расина Жана Ротру, который, в свою очередь, использовал ситуацию испанского драматурга Франческо де Роксас [1].

Пьеса Ротру называется «Венцеслав». В основе ее сюжета — трагедия ревности. Наследный польский принц Владислав любит кенигсбергскую герцогиню Кассандру, на которой тайно женится его родной брат Александр. Владислав убивает соперника. Вдова обращается к отцу убитого и убийцы, старому королю Венцеславу, с мольбою о правосудии. Чувства отца борются в короле с чувством долга. Наконец побеждает долг. Король посылает сына на казнь. Но в последнее мгновение любовь оказывается сильнее, и убийца помилован, как объявляет монарх, в интересах престола [2].

Эту трагедию переделал для русской сцены приятель Грибоедова Андрей Жандр. Она предполагалась для бенефиса знаменитого Каратыгина. Но цензура не пропустила ее [3]. Отрывок (I действие) появился в альманахе «Русская Талия» (1825). Одоевский, Грибоедов были в восхищении от Жандра, переведшего пьесу великолепными стихами без рифм [4]. «Чудно хорошо!» — восклицал Пушкин, прочитав перевод «Венцеслава» [5].

Вот из этого не пропущенного цензурой произведения и заимствовал Лермонтов текст для эпиграфа:

Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:

---

[1] А. О[доевский]. О трагедии «Венцеслав», соч. Ротру, переделанной г. Жандром.— «Сын отечества», 1825, № 1, с. 101.

[2] Rotrou Jean. Venceslas. Tragédie. Paris, 1774.

[3] «Русский биографический словарь», том «Жабокритский — Зябловский», с. 6—8. Статья о А. А. Жандре.

[4] Пушкин. Письма. Под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалевского, т. I. 1815—1825. М.— Л., ГИЗ, 1926, с. 504.

[5] Там же, с. 161.

Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

(Из трагедии) [1]

Доказательством, что эпиграф приписан после стихов по соображениям политической осторожности и вошел в «новейшие» копии, изготовленные уже после того, как Лермонтову стали грозить неприятности, служит экземпляр, списанный родными поэта для родственницы его А. М. Верещагиной. В этом экземпляре эпиграфа нет, а между тем нет никаких сомнений что уж в их-то руках находился самый достоверный источник полного текста и что эпиграф, тем самым, предназначался для читателей иной категории [2].

Это несоответствие эпиграфа тексту сразу почувствовал Герцен. Публикуя стихи на смерть Пушкина в «Полярной звезде», он решительно отбросил его, а вернувшись к стихотворению в одной из своих статей («О развитии революционных идей в России»), назвал добавление эпиграфа «единственной непоследовательностью» поэта [3].

Именно по этим соображениям,— что эпиграф возник позже стихов и преследовал цели, не имевшие ничего общего с поэтическим замыслом Лермонтова,— современные исследователи исключили его из текста стихотворения и перенесли в примечания. Тем более что он находится в полном противоречии с напоминанием о «божьем суде» и о законе, под сенью которого таится стоящая возле трона толпа палачей.

Но прямо-таки в вопиющем несоответствии находится он с последними четырьмя строчками, которые содержат угрозу, что в день суда польется черная кровь палачей Пушкина. Ибо это уж никак не согласуется с уверением, что автор просит правосудия у царя.

Я думаю, что от этих четырех строк Раевский, в случае дальнейших расспросов, решил отказаться. Потому-то

---

[1] «Дело о непозволительных стихах...», л. 26; «Venceslas», acte IV, scène VI, p. 77.

[2] Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Рукописное отделение, фонд А. М. Верещагиной, № 456, карт. I.

[3] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 224. (Далее всюду цитируется это издание.)

и говорит о «12 стихах». В конце концов, эти четыре строки можно было приписать неизвестному автору. Недаром по городу одновременно с заключительными стихами пошел слух, что они «не этого автора» — то есть не Лермонтова (А. И. Тургенев) [1], что окончание, «кажется, и не его» (А. Н. Карамзин) [2].

Что же касается эпиграфа, то Лермонтову и Раевскому в этот момент было важно любым способом ослабить впечатление от последней строфы.

Цели своей они не достигли: эпиграф вызвал совсем не тот отклик, на который они рассчитывали. Бенкендорф сразу понял уловку — намерение провести правительство и III Отделение призывом к милости императора — и пишет в донесении царю: «Вступление к... сочинению дерзко» [3].

Но к переписке Бенкендорфа с царем мы вернемся. А сейчас попробуем выяснить, что за люди находятся около Лермонтова.

8

Кто присутствует при разговоре Лермонтова с Николаем Столыпиным?

Первая фигура ясна: Святослав Афанасьевич Раевский. В своем «Объяснении» он пишет: монолог Лермонтова окначивался словами, «мне памятными». Он сравнивает фразы поэта, сказанные в пылу спора, с теми, которые вошли в текст заключительных строк. Словом, разговор происходит при нем.

Присутствовал Николай Юрьев.

В комнате четверо?

Нет!

«Столыпин сообщал <и еще кто-то, не помню> передавал,— пишет Раевский,— мнения, рождавшие новые споры»... «Лермонтов и его партия», «Лермонтов и половина гостей»...— И снова в подзаголовке: «Возражение Лермонтова и его парт...» [4]

---

[1] См.: с. 20 наст. изд.

[2] Там же.

[3] С. Шостакович. Лермонтов и Николай I.— «Литературная газета», 1959, № 126.

[4] «Дело о непозволительных стихах...», лл. 16 об., 16, 15, об.

Снова в комнате люди, снова разгорается спор, снова две партии спорящих!

С кем же в эти дни видятся Лермонтов и Раевский? Кто составляет «партию» Лермонтова?

При обыске у друзей отобраны в числе прочих бумаг несколько писем и коротких записок. Их содержание отразилось в жандармской описи. Одна из записок находится в деле.

Это записка некоего Смагина от 11 февраля (четверг) [1837 года]:

«Пришлите, добрейший Святослав Афанасьевич, обещанную Вами докладную записку. Она, верно, уже готова.

Не забудьте также о просьбе моей *касательно* Краевского.

На днях я надеюсь заехать к Вам вечером — посмотреть битву Вашу с Лермонтовым.

Царствуйте благополучно.

весь ваш Смагин» [1].

Отобрана записка к Раевскому некоего Орлова, от 4 февраля. Орлов просит извинить его за невозвращение в срок текста стихов и просит исправить в копии вкравшиеся неточности [2].

Отобрана записка некоего Алексея Попова, извещающего о своем дежурстве в библиотеке и приглашающего туда Раевского [3].

Отобрано письмо к Лермонтову поручика лейб-гвардии Московского полка Унковского с приглашением бывать у него вместе с Раевским и прочими знакомыми по понедельникам. И еще от Унковского — записка к Раевскому с приглашением на вечер для шахматной игры [4].

Кто эти люди?

Прежде чем ответить на этот вопрос, надо напомнить, где и в какой должности служит Раевский.

По выходе из Московского университета, который он окончил со званием действительного студента отделения нравственно-политических наук, Раевский в 1831 году переехал в Петербург и поступил в департамент государ-

---

[1] «Дело о непозволительных стихах...», л. 28.

[2] Висковатов. Биография, Приложение IV, с. 14.

[3] Там же.

[4] Там же, с. 16 и 14.

ственных имуществ, где с осени 1832 года занимал должность столоначальника. В этой должности он прослужил около четырех лет. Весною 1836 года Раевский перешел начальником стола в департамент военных поселений [1].

А теперь обратимся к авторам тех записок, которые отобраны при аресте.

Смагиных в Петербурге несколько. Но судя по тому, что корреспондент Раевского пишет о докладной записке,— это чиновник. Таковым был Смагин Павел Алексеевич, столоначальник Главного управления путей сообщения [2].

Просьба относительно Краевского, содержащаяся в этой записке, позволяет думать, что Смагин пробует силы в литературе: Краевский редактирует «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» и «заведует корректурою» в «Современнике».

Следует заметить, что этот чиновник собирается заехать, чтобы посмотреть на шахматную партию Раевского с Лермонтовым. Это значит: короткий знакомый! Напоминание: «пришлите обещанную записку» — свидетельствует, что недавно виделись. Послана записка в то время, когда по Петербургу расходятся стихи на смерть Пушкина, с прибавлением. Заметим еще, для полноты сведений, что Смагины с Лермонтовым в родстве со Столыпиным.

Орлов, коего записка точно так же отобрана при аресте,— Василий Иванович, коллежский асессор, штаб-лекарь при департаменте военных поселений [3]. Стало быть сослуживец Раевского.

Попов — Алексей Петрович, титулярный советник, экзекутор и казначей департамента государственных имуществ [4]. Следовательно, *бывший* сослуживец Раевского.

Поручик лейб-гвардии Московского полка Александр Никитич Унковский — питомец той самой юнкерской школы, в которой учился Лермонтов. (Унковский — стар-

---

[1] Копия с аттестата С. А. Раевского, полученная мною в 1940 году от внучки его З. В. Трембовельской и правнучки О. В. Раевской.

[2] «Адрес-календарь и Общий штат Российской империи на 1844 год», ч. I, с. 289.

[3] Ср.: К. Нистрем. Книга адресов С.-Петербурга на 1837 год, с. 982. Ср.: К. Нистрем. Адрес-календарь санкт-петербургских жителей, т. II. СПб., 1844, с. 123.

[4] К. Нистрем. Книга адресов С.-Петербурга на 1837 год, с. 1024.

шего выпуска.)[1] Он приглашает Лермонтова бывать у него в понедельники по вечерам вместе с Раевским и «прочими его знакомыми» (не забудем, что это слог жандармской описи!).

Что касается другой записки Унковского — к Святославу Раевскому, то возможно, что это и Унковский другой — Николай, брат поручика и бывший сослуживец Раевского по департаменту государственных имуществ, где он состоит в должности помощника младшего контролера[2]. Кто из братьев автор этой записки, в данном случае почти безразлично, потому что у поручика, который устраивает «понедельники», Лермонтов и Раевский, несомненно, видят обоих.

О стихах упоминает только один из этих корреспондентов. И у нас нет никаких данных, что все они находились в гостях у Лермонтова с Раевским в те дни, когда в квартире шли шумные споры о виновниках гибели Пушкина. Но что письма, попавшие в опись жандармов, в известной мере намечают круг людей, с которыми Лермонтов видится в этот период,— это бесспорно.

Прибавим к этой группе еще одного сослуживца Раевского — столоначальника Василия Инсарского, который, вспоминая о своем знакомстве с Раевским и Лермонтовым, пишет: «Я весьма часто бывал у них»[3].

Здесь следует подчеркнуть, что трое из этих лиц — Алексей Попов, Инсарский, Николай Унковский — не сослуживцы, а *бывшие* сослуживцы Раевского. Другими словами, их объединяют не служебные интересы, а близость интересов духовных, известное сходство взглядов.

Вступив впоследствии в круг высокопоставленной бюрократии, Инсарский писал об этом знакомстве в тоне пренебрежительном и развязном (он был близок к фельдмаршалу А. И. Барятинскому, питавшему ненависть к Лермонтову). Но в данном случае важен не тон, в котором пишутся воспоминания, а факты, которые Инсар-

[1] «Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1836 год», ч. I, с. 269; В. Потто. Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища. Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. СПб., 1873, Приложение, с. 56.

[2] «Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1840 год», ч. I, с. 786.

[3] «Из записок В. А. Инсарского».— «Русский архив», 1873, № 1, стлб. 527.

ский сообщает. Он пишет, что Раевский постоянно приносил в департамент сочинения Лермонтова и даже как-то «навязал» ему «читать и выверять «Маскарад», который предполагали еще тогда поставить на сцену». Мы уже говорили о том, что этот Инсарский вспоминал «один приятельский вечер, куда Раевский принес только что написанные Лермонтовым стихи на смерть Пушкина, которые и переписывались на том же вечере в несколько рук» [1].

Вот кто изготовляет копии — не только для себя, но и для Раевского, обеспечивая его экземплярами, которые раздаются как прокламации.

Коль скоро зашла речь о переписке стихов, вспомним Юрьева, который после ухода Столыпина изготовил «пять или шесть копий», а его знакомые «изрядное количество» новых.

Вечером того же дня (из чего можно заключить, что спор происходит днем, а если так, то действительно в воскресенье, потому что Раевский при этом присутствовал, а не находился при должности) — вечером того дня к Лермонтову заехал уланский корнет Александр Меринский. И, прослушав рассказ о столкновении с Николаем Столыпиным, списал заключительные стихи прямо с автографа. «Потом,— вспоминает он,— списали их многие из товарищей и знакомых Лермонтова, и они пошли по рукам» [2].

Итак: столоначальники, казначей, помощник контролера, штаб-лекарь, товарищи по юнкерской школе, корнеты гвардейских полков, гвардейский поручик, приглашающий Лермонтова бывать вместе с Раевским и другими знакомыми,— вот примерный круг лиц, которые в тревожные дни 1837 года посещают дом на Садовой, списывают стихи, участвуют в распространении их.

Это — не аристократическая молодежь. Это — круг чиновников и военных, довольно демократический по составу. Становится понятным, откуда могла возникнуть в «Княгине Лиговской» фигура Станислава Красинского, молодого чиновника с университетским образованием, который служит столоначальником в департаменте, разбирающем тяжбы казны с князем Степаном Степановичем «о 20 тысячах десятин лесу». Заметим, что дела о тяж-

---

[1] «Из записок В. А. Инсарского».— «Русский архив», 1873, № 1, стлб. 527—528.

[2] Письмо А. М. Меринского к П. А. Ефремову от 3 февраля 1862 года.— ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 25, л. 134.

бах казны входили в компетенцию именно того департамента, в котором служат все эти чиновники и в котором служил Раевский. Фигура Красинского, противопоставленная в романе гвардейскому офицеру Печорину, рождается благодаря знакомству Лермонтова с кругом сослуживцев Раевского.

Все это люди с несомненными духовными интересами. Попов — «яростный любитель пения» [1], причем следует обратить внимание, что он приглашает Раевского зайти в библиотеку во время его дежурства. Очевидно, это библиотека, собранная на средства самих чиновников, занимающихся самообразованием... Смагин? — он ищет связи с журналом Краевского.

Несомненно, что идейно-литературными интересами вызвано и стремление Унковского привлечь Лермонтова вместе с его приятелями на свои «понедельники». И в этом смысле гвардейцев Московского полка нельзя ставить в ряд с гвардейскими гусарами — сослуживцами Лермонтова. В Гусарском полку отношения всего более определяются совместной службой и общим гусарским бытом. Здесь — Лермонтова сводят с гвардейским кругом общие интересы, не имеющие отношения к службе.

С кем встречается он на вечеринках Унковского — этого мы пока не знаем. Но одну фамилию назвать все-таки можем, хотя, кажется, нет оснований придавать этому лицу значение в смысле общности идейных интересов с Лермонтовым.

В лейб-гвардии Московском полку служит однокашник поэта по московскому университетскому пансиону и по юнкерской школе — острослов и повеса Константин Булгаков [2].

Унковский и Булгаков живут в казармах Московского полка на Фонтанке.

Нельзя не упомянуть здесь сослуживца Унковского — штабс-капитана Московского лейб-гвардии полка Федора Печерина и не обратить внимания на близость его фамилии к фамилии лермонтовского героя, гвардейского офицера Печорина, появляющегося на страницах романа «Княгиня Лиговская» в 1836 году. Правда, чтобы оказаться до конца точным, должен сказать, что в 1836 году

---

[1] В. А. Инсарский. Половодье. СПб., 1875, с. 117.

[2] «Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1836 год», ч. I, с. 269.

Печерин, сослуживец Унковского, прикомандирован к штабу гвардейского корпуса и поселяется на Дворцовой площади в доме штаба [1], где живет вместе с Иваном Вуичем — прототипом Вулича в «Фаталисте». Но о Вуиче — речь впереди.

Итак: чиновники и гвардейские офицеры сходятся в одной комнате, спорят, обсуждают общественные и политические проблемы. И естественно возникает предположение, что самый конфликт, положенный в основу «Княгини Лиговской»,— конфликт между гвардейским офицером и департаментским чиновником,— родился из этих споров.

Об идейных интересах кружка, группирующегося в 1835 — начале 1837 года вокруг Лермонтова и его друга Раевского, легче всего судить по направлению интересов самого Святослава Раевского.

Еще А. Шан-Гирей сообщал, что его критические замечания были «не без пользы для Мишеля» [2] и что именно через Раевского Лермонтов познакомился с Андреем Краевским, с которым потом был связан по литературной работе, когда стал печататься в «Литературных прибавлениях» и в «Отечественных записках»,— Краевский редактировал их.

Покойный профессор Н. Л. Бродский в исследовании, посвященном Раевскому, воссоздал образ высокообразованного и независимого человека, «непокорного начальству», как аттестовал себя сам Раевский, одаренного сотрудника «Литературных прибавлений», интересовавшегося народным творчеством и социально-политическими учениями [3].

В одном из своих писем Лермонтов назвал Раевского «экономо-политическим мечтателем». Н. Л. Бродский высказал предположение, что он был увлечен социальными идеями фурьеристов. Теперь выясняется еще одна грань интересов юриста Раевского: он был страстным поборником идеи законности и жарким почитателем графа Сперанского.

---

[1] «Месяцеслов и Общий штат Российской империи па 1836 год», ч. I, с. 269.

[2] А. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов.— В кн.: Е. Сушкова. Записки, с. 378.

[3] Н. Бродский. Святослав Раевский, друг Лермонтова.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 301—322.

Отыскалась статья С. А. Раевского «Памяти графа Сперанского», которую он написал незадолго до смерти — в 1872 году [1]. В ней говорится, что «несмотря на громадность различия гения, власти и сфер деятельности» Сперанского и Петра I, их деятельность представляет «весьма много общего». «То же неустанное самоотверженное стремление к преобразованию, которое у Петра обнимало все стороны народной жизни, у Сперанского все ветви государственного управления» [2].

Сперанский — крупнейший либерал, самый влиятельный сановник в начале царствования Александра I, подготовлял проект конституционного ограничения монархии, исходя из разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную. По мысли Сперанского, законодательное собрание должно было основываться на народном избрании, а постановления этого органа — выражать «желания народа». При этом существует «общее мнение», оберегающее закон, а также система законов. Суд отправляется не монархом, но избранными от народа, коих утверждает правительство. Оно, в свою очередь, ответственно перед законодательным собранием. Сперанский представлял себе, что действия правительства будут «публичны» и в определенных границах установлена свобода печати.

Формально разделение власти произошло, Государственный совет создан. Остальное было приостановлено. Под давлением дворянских кругов, недовольных намечавшимися реформами, Сперанский был отстранен и накануне вторжения Наполеона сослан. Несколько лет спустя началось его постепенное возвышение. Зная о его сочувствии конституционному строю и о размерах его популярности, декабристы намечали ввести его в состав Временного правительства. Именно потому после крушения заговора Николай I назначил Сперанского членом Верховного суда над декабристами, поручив ему обоснование юридической стороны процесса. С 1826 года Сперанский фактически стоял во главе II Отделения императорской канцелярии, занимавшейся кодификацией права. Под его руководством были изданы «Полное собрание законов Российской империи» и «Свод законов Россий-

---

[1] С. Раевский. Памяти графа Сперанского.— «Московские ведомости», 1872, № 3.

[2] Там же.

ской империи», с его именем была связана вся законодательная работа. В это время он выступал уже сторонником «направления неограниченного» [1].

Участие в процессе над декабристами и отказ от либеральных позиций уронили престиж Сперанского в глазах вольномыслящей молодежи. Тем не менее известный ореол вокруг его имени оставался, ибо во взглядах своих Сперанский исходил из идеи законности.

Глубокую оценку его деятельности дал Н. Г. Чернышевский в статье «Русский реформатор», представляющей собою анализ книги барона М. Корфа «Жизнь графа Сперанского» [2]. Чернышевский пишет, что хотя он и далек «от восхищения реформаторской деятельностью Сперанского» [3], но «преобразования были задуманы действительно громадные» [4]. Далее автор статьи говорит о «колоссальности» замысла и соглашается с Корфом в том, что Сперанский «был отчасти приверженцем той политической системы, которая преобразовала Францию, которая провозгласила равноправность всех граждан и отменила средневековое устройство» [5], другими словами, приверженцем Великой французской буржуазной революции 1789 года. Сперанского, говорит Чернышевский, называли революционером. Этот отзыв его врагов «не был совершенно безосновательной клеветою» [6]. Однако, отмечено далее в статье, Сперанский хотел преобразовать государство не «низвержением» царя, а именно его властью. Падение Сперанского произошло вслед за тем, как обнаружилась «неодинаковость» стремлений его со взглядами императора. Тогда-то он и предстал перед Александром как «человек вредного образа мыслей» [7]. В результате

---

[1] «Энциклопедический словарь», изд. Брокгауза и Ефрона, т. XXXI (кн. 61), с. 192. «Большая советская энциклопедия», т. 40, с. 282—283.

«Русский биографический словарь», том «Смеловский — Суворина» (статья С. Середонина); М. Коркунов. Теоретические воззрения Сперанского на право.— «Журнал министерства народного просвещения», 1899, № 9.

[2] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII. Статьи и рецензии 1860—1861. М., Гослитиздат, 1950, с. 794—827. (Далее всюду цитируется это издание.)

[3] Там же, с. 805.

[4] Там же.

[5] Там же, с. 804.

[6] Там же.

[7] Там же, с. 817.

Сперанский успел осуществить лишь некоторые второстепенные части составленного проекта. «Он совершенно забывал,— говорил Чернышевский,— о характере и размере сил, какие были бы нужны для задуманных им преобразований» [1] — намек на невозможность осуществления проектов Сперанского без экономических и политических перемен.

Рассматривая последний период работы Сперанского, уже в царствование Николая I, Чернышевский отмечает, что «внешняя сторона» таланта Сперанского «обнаруживалась и тут с прежним блеском» и что «невозможно не изумляться тому, в какое короткое время успел он составить и обнародовать «Полное собрание законов» и «Свод законов». Но тут,— поясняет Н. Г. Чернышевский,— ему «принадлежало только исполнение, а не дух дела» [2].

Если отметить, как часто называется Сперанский в этой статье «мечтателем» и человеком, стремившимся к «мечтательным улучшениям», и сопоставить эту характеристику с названием статьи «Русский реформатор»,— иронический смысл заглавия становится окончательно ясным, особенно если обратить внимание на фразу, не вошедшую в текст «Современника» в 1861 году, в которой о реформаторской деятельности Сперанского говорится: «мы прямо скажем, что она жалка, а он сам странен или даже нелеп» [3].

Тем не менее статья Чернышевского окончательно убеждает в том, что приверженность Сперанского идеям Великой французской революции в первый период его деятельности и отражение в его проектах передовых идей своего времени — все это хорошо было известно, разумеется, не только Раевскому, но и Лермонтову.

Не возникает сомнения, что Раевский ценил его не только за труды 30-х годов, но, прежде всего, за прежний обширный проект, в котором, как пишет Раевский, Сперанский исходил «из общих предположений реформы» [4].

Эта статья, написанная в начале 70-х годов, не подтверждает фурьеристских взглядов Раевского, ибо на-

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII, с. 811.
[2] Там же, с. 823.
[3] Там же, с. 805.
[4] С. Раевский. Памяти графа Сперанского.— «Московские ведомости», 1872, № 3.

правлена не только против реакционеров, отрицавших необходимость отмены рабства, но и против тех, кто ожидает «наступления в человечестве несбыточной Аркадии» [1], то есть против утопий. Однако прошло тридцать пять лет. И это нисколько не исключает интереса к учению Фурье у Раевского в то время, когда он жил вместе с Лермонтовым.

Для нас эта статья важна как единственный документ, на основании которого можно, хотя бы отчасти, судить о политических взглядах Раевского в 30-е годы. И ясно, что она не была бы написана, если бы в 30-е годы Раевский не почитал ум Сперанского и масштабы предпринятой им работы, направленной на ограничение произвола и беззакония.

Поскольку Раевский говорит в ней о «привлекательной личности» Сперанского, отмечает, что Сперанский любил окружать себя молодыми людьми, обращавшими его внимание расположением к юриспруденции, и что вводил их в круг законодательных работ занятиями «не столько служебными, сколько семейными» [2],— возникает мысль о личном знакомстве Раевского с этим выдающимся юристом и государственным деятелем первой половины прошлого века.

Интерес к деятельности Сперанского дополняет наши представления о широком кругозоре Раевского. Что же касается его политических взглядов в 30-е годы, то сознательное и смело организованное распространение революционного по духу сочинения Лермонтова, содержащего вызов аристократической олигархии и трону самого императора, с необычайной ясностью раскрывают перед нами радикальные взгляды этого человека. Раевский, как и Лермонтов,— наследник декабристов, воспринявший от них не только ненависть к деспотизму и рабству, но и глубокую веру в то, что поэзия должна служить целям политической агитации. И налаженное Раевским распространение «Смерти Поэта», благодаря чему стихотворение в необычайно короткий срок разошлось по Петербургу, попало в Москву и проникло в провинцию и за границу,— составляло выдающийся политический подвиг.

---

[1] С. Раевский. Памяти графа Сперанского.— «Московские ведомости», 1872, № 3.
[2] Там же.

В этих действиях Лермонтов и Раевский проявили глубокое понимание задач политической агитации.

Наладив массовое изготовление и раздачу текста в двух разных редакциях и в третьей, снабженной специальным эпиграфом, не убоявшись выставить имя автора, они намного превзошли агитационную технику декабристов не только по скорости отклика на событие, но, вероятно, даже по тиражу. То, чего достигли Лермонтов и Раевский, представляло в этом направлении очень важный этап, ибо распространение «Смерти Поэта» во многом предвосхищало уже дальнейший период, связанный с нелегальной *печатью*.

Интересна «юридическая» терминология лермонтовского стихотворения: «Суд», «Правда», «Закон»... Можно сказать почти с полной уверенностью, что она отражает разговоры, в которых развивались мысли об ограничении деспотизма в России и о возможных формах правления.

Спор со Столыпиным сразу же принял направление не юридическое, о котором старался Раевский, переписывая свои показания: перо его забежало и вывело в черновике буквы «пол...» — «Разговор принял было пол...», собираясь написать «политическое».

И снова:

«Мыслей о политических переменах и волнениях у нас вовсе не было никаких»,— пишет и вычеркивает Раевский.

Были!

О конституции (о «политических переменах»)!

О революции (о «волнениях»)!

Об ответе, который будет держать перед историей великосветское общество, повинное в гибели Пушкина!

9

Когда события приняли худой оборот, Лермонтов обратился к протекции Андрея Николаевича Муравьева. В эти годы они часто встречались в Царском Селе, где Муравьев подолгу живал, водя компанию с лейб-гусарами и сойдясь особенно коротко с братом Натальи Николаевны Пушкиной — Гончаровым [1]. Постоянно заходя к Му-

---

[1] А. Н. Муравьев. Мои воспоминания.— «Русское обозрение», 1896, № 2, с. 513.

равьеву, Лермонтов, между прочим, написал маслом его очень похожий портрет, на котором изобразил сидящего под деревом долговязого молодого мужчину со взбитым коком русых волос [1].

В 30-е годы Муравьев пользовался литературной известностью; о его двухтомном сочинении «Путешествие ко святым местам в 1830 году» благожелательно отозвался сам Пушкин [2].

Эта книга помогла ему занять место за прокурорским столом Синода и открыла путь в Российскую академию. В 1836 году тридцатилетний Андрей Муравьев был уже камергером [3].

Если в 20-х — начале 30-х годов он выступал как драматург и поэт, то со временем, все больше сближаясь с известным мракобесом митрополитом московским Филаретом, стал писать только по религиозным вопросам и отличался столь нетерпимым и воинственным благочестием, что очень скоро заслужил репутацию крайнего реакционера и отвратительного святоши [4].

Муравьев приходился двоюродным братом управляющему III Отделением А. Н. Мордвинову. Когда положение Лермонтова из-за последних шестнадцати строк стало опасным, он решил использовать связи этого влиятельного сановника и приехал к Муравьеву на Моховую.

В своей книге «Знакомство с русскими поэтами», вышедшей в Киеве в 1871 году [5], Муравьев не называет числа, когда к нему обратился Лермонтов. Но из его рассказа следует, что это было накануне ареста.

«Поздно вечером,— вспоминал Муравьев,— приехал ко мне Лермонтов и с одушевлением прочел свои стихи, которые мне очень понравились. Я не нашел в них ничего особенно резкого потому, что не слыхал последнего четверостишия, которое возбудило бурю против поэта... Он просил меня поговорить в его пользу Мордвинову, и, на дру-

---

[1] Н. П. Пахомов. Живописное наследство Лермонтова.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 85—87.

[2] Незаконченная рецензия на «Путешествие ко святым местам» А. Н. Муравьева (1832).— См.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 11. М., Изд-во АН СССР, 1949, с. 217.

[3] Пушкин. Письма. Под редакцией и с примечаниями Л. Б. Модзалевского, т. III. 1831—1833. М., «Academia», 1935, с. 607—609.

[4] Там же, с. 608.

[5] А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871.

гой день, я поехал к моему родичу. Мордвинов был очень занят и не в духе. «Ты всегда со старыми новостями,— сказал он,— я давно читал эти стихи графу Бенкендорфу, и мы не нашли в них ничего предосудительного». Обрадованный такой вестью, я поспешил к Лермонтову, чтобы его успокоить, и, не застав дома, написал ему от слова до слова то, что сказал мне Мордвинов. Когда же возвратился домой, нашел у себя его записку, в которой он опять просил моего заступления, потому что ему грозит опасность» [1].

Можно ли положиться на память Муравьева?

Можно!

Среди бумаг, отобранных у Лермонтова при аресте, была та записка, о которой говорит Муравьев. И результаты первого свидания с Мордвиновым он излагает совершенно согласно — и в мемуарах, и в этом письме.

Вот как пересказали жандармы содержание отобранного письма в «Описи перенумерованным бумагам корнета Лермонтова»:

«Письмо Андрея Муравьева, писанное в четверток, коим уведомляет, чтобы Лермонтов был покоен насчет его стихов, присовокупляя, что он говорил об них Мордвинову, который нашел их прекрасными, прибавив только, чтобы их не публиковать, причем приглашает его к себе утром или вечером» [2]. (В скобках заметим, что «приглашает к себе» Лермонтова, конечно, не Мордвинов, а Муравьев. Но таков стиль описи!)

«Четверток», или четверг, которым помечено письмо Муравьева, приходился на 18 февраля. Что имеется в виду этот четверг, а не другой, подтверждает родственница Лермонтова Анна Григорьевна Философова, которая 27 февраля 1837 года пишет о Лермонтове:

«Он под арестом 9 дней, в штабе» [3].

Если от двадцати семи отнять девять, получится восемнадцать. Не остается сомнений, что Лермонтов был арестован именно 18 числа.

События развивались так.

17 февраля Лермонтов приехал к Муравьеву с прось-

---

[1] А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871, с. 23—24.

[2] Висковатов. Биография. Приложение IV, с. 16.

[3] А. Н. Михайлова. Лермонтов и его родня по документам архива А. И. Философова.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 672.

бой «поговорить в его пользу Мордвинову». На другой день, то есть уже 18-го, Муравьев отправляется к своему родичу, от которого узнает, что стихи «прекрасные» и что он, Мордвинов, читал их Бенкендорфу, который не нашел в них ничего предосудительного.

18-го Муравьев отправляется к Лермонтову, не застает его дома, оставляет письмо, а вернувшись к себе, находит записку Лермонтова о грозящей ему опасности. И действительно: в этот день Лермонтов арестован.

«Каково было мое изумление вечером,— продолжает вспоминать Муравьев,— когда флигель-адъютант (?! — *И. А.*) Столыпин сообщил мне, что Лермонтов уже под арестом» [1].

Казалось бы, все совершенно ясно!

Нет. Дело в том, что при обыске у Раевского отобрана записка Андрея Краевского, которую жандармы не просто внесли в «Опись бумагам», а нашли полезным процитировать из нее несколько строк:

«Записка журналиста Краевского, от 17-го сего февраля, следующего содержания: «Скажи мне, что сталось с Л-р-вым? правда ли, что он жил или живет еще теперь не дома? Неужели еще жертва, закалаемая в память усопшему? Господи, когда все это кончится!..» [2]

Что? Лермонтов арестован 17-го?

Нет, этого быть не может! Мы уже убедились, что это произошло 18-го! Записка Краевского говорит о другом.

Лермонтов не живет дома — он избегает расспросов, встреч с лицами, которые приезжают к нему за стихами. Он уклоняется, потому что дело приняло плохой оборот. Мы уже цитировали письмо Александра Тургенева от 13-го числа. Уже в тот день было известно, что начались неприятности. И в тот день Тургенев еще не знал «преступной» строфы: он еще не достал ее. Ее дают переписывать с большой осторожностью. А Раевский и Лермонтов прекратили раздачу. Очевидно, что-то случилось?

Случилось!

Стихи дошли до сведения Бенкендорфа.

Бенкендорф не хочет затевать новое дело сразу же после того, как с таким трудом удалось предотвратить

---

[1] А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871, с. 24.

[2] Висковатов. Биография. Приложение IV, с. 14.

взрыв народного гнева, приняв для этого особые меры: обман публики, явившейся в Исаакиевскую церковь в здании Адмиралтейства, оцепление квартиры при выносе тела и придворной Конюшенной церкви в час панихиды, впуск по билетам, вывоз гроба из города ночью, на санях, под рогожей... Бурный отлик всех слоев петербургского населения на дуэль и смерть Пушкина многому научил шефа жандармов. Новый громкий скандал не нужен. Нужны мягкость и постепенный ход.

Бенкендорф предупреждает Арсеньеву, вероятнее всего через своего ближайшего помощника Дубельта, который в свойстве со Столыпиными, а тем самым и с бабкой Арсеньевой, что Лермонтова ожидают серьезные неприятности, если стихи дойдут до царя, чтобы он изъял из обращения стихи, не давал бы их переписывать. Недаром Арсеньева пытается «исхитить» экземпляры из обращения, словно фальшивые ассигнации.

С этого момента начинает распространяться слух, будто прибавление к стихам написал не Лермонтов, а кто-то другой, но что Лермонтов «благородно принял это на себя» (Муравьев) [1]. Версия о том, что прибавление принадлежит другому поэту, очевидно, составляла первоначальный план защиты на случай допроса, но почему-то отвергнута.

Итак, о дальнейшей раздаче стихов не может быть речи. Но знакомые приезжают с требованием «полных стихов». Раевский вручает им прежние копии — без прибавления: так об этом говорится в его «Объяснении». Приехавшие обращаются к Лермонтову, просят продиктовать стихи. И тогда он... съезжает с квартиры, живет не дома. Опасность надвинулась. Это будет новая жертва, «закалаемая» в память «усопшего» Пушкина.

Почему я так думаю?

Я полагаюсь на источник, сомнений не вызывающий,— на рассказ Лермонтова, который слышал Меринский, передавший его Ефремову. Начало его письма к Ефремову я уже процитировал. Вот его продолжение (событие, о котором рассказывает здесь Меринский, происходит после того, как было написано прибавление к стихам).

---

[1] А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871, с. 23.

«...Как-то на одном многолюдном вечере,— вспоминает Меринский,— известная в то время старуха и большая сплетница Анна Михайловна Хитрова при всех обратилась с вопросом к Бенкендорфу (шефу жандармов): «Слышали ли вы, Александр Христофорович, что написал про нас (заметьте: *про нас!*) Лермонтов?» Бенкендорф прежде ее, вероятно, знал о том и не находил ничего в этом важного. Рассказывали тогда, будто он выразился так: «уж если Анна Михайловна знает про эти стихи, то я должен о них доложить государю». Вследствие этого доклада был послан начальник Гвардейского штаба покойный Веймарн, чтоб осмотреть бумаги Лермонтова, в Царское Село, где не нашел поэта (он большею частию жил в Петербурге), а нашел только его нетопленную квартиру и пустые ящики в столах. Развязка вам известна — Лермонтова сослали на Кавказ. О причине прибавления этих окончательных стихов я вскользь упомянул,— заключает Меринский,— в небольшой записке, помещенной в «Атенее» и набросанной мною в 1856 году, наскоро, с недомолвками, еще под влиянием прежней цензуры» [1].

Сомнений не остается: Бенкендорф о прибавлении к стихам уже знает, но не дает делу хода. Петербург еще неспокоен. Дантес еще в городе. Везде разговоры о Пушкине и злоба на Геккерена. Нужно терпение.

Очень важно другое. С рассказом Меринского полностью сходится свидетельство Бурнашева, а Бурнашев, как мы уже говорили, Меринского не читал, так же как Меринский не читал Бурнашева.

Бурнашев уточняет подробности, называет хозяина, в доме которого произошел разговор с Бенкендорфом. Это — австрийский посол Фикельмон. А. М. Хитрова, которую Бурнашев обозначил одной только буквою Х.,— родная тетка хозяйки салона. В передаче Бурнашева Юрьев, так же как и Лермонтов у Меринского, рассказывает, что о стихах с прибавлением «государь ничего не знал, потому что граф Бенкендорф не придавал стихам значения», но что после того, как Хитрова сообщила ему про «новые стихи на всех нас», Бенкендорф на другой день сказал Дубельту: «Ну, Леонтий Васильевич, что бу-

---

[1] Письмо А. М. Меринского к П. А. Ефремову от 3 февраля 1862 года.— ИРЛИ, ф. 524, оп. 4, № 25, л. 134 об.— 135.

дет, то будет, а после того, что X. знает о стихах этого мальчика Лермонтова, мне не остается ничего больше, как только сейчас же доложить о них государю». Но когда Бенкендорф явился к царю,— здесь Бурнашев идет дальше Меринского,— тот уже знал обо всем, ибо только что получил по городской почте экземпляр стихов с пояснительной надписью «Воззвание к революции» [1].

Далее Бурнашев подтверждает, что начальник штаба генерал Веймарн, посланный в Царское Село, нашел нетопленную квартиру и выяснил, что хозяин ее постоянно проживал в Петербурге.

Как видим, никаких расхождений в рассказах нет.

Один записан со слов Юрьева, другой со слов самого Лермонтова. Передают их два разных мемуариста двадцать пять лет и тридцать шесть лет спустя после события. И тождество обоих рассказов говорит в пользу их большой точности.

Еще важнее, что они подтверждаются найденным в 1959 году документом — запиской шефа жандармов с резолюцией императора. Мы уже приводили из нее несколько строк. Теперь внимательно прочтем ее в целом.

«Я уже имел честь сообщить вашему императорскому величеству,— докладывает Бенкендорф царю,— что я послал стихотворение гусарского офицера Лермантова генералу Веймарну, дабы он допросил этого молодого человека и содержал его при Главном штабе без права сноситься с кем-либо извне, покуда власти не решат вопрос о его дальнейшей участи и о взятии всех его бумаг, как здесь, так и на квартире его в Царском Селе. Вступление к этому сочинению дерзко, а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное. По словам Лермантова, эти стихи распространяются в городе одним из его товарищей, которого он не захотел назвать.

А. Бенкендорф».

«Приятные стихи, нечего сказать,— пишет на его письме император.— Я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермантова и, буде обнаружатся еще другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить

---

[1] «Русский архив», 1872, № 9, стлб. 1832—1833.

этого господина и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону» [1].

Этот документ нашел и опубликовал иркутский исследователь С. Шостакович. Он считает решительно невозможным, чтобы накануне Бенкендорф докладывал царю об этих стихах «в успокоительном тоне», и называет мемуары, в которых содержится данное утверждение, недостоверными (имеется в виду Бурнашев) [2]. Однако между этим документом и мемуарами никакого противоречия нет. Во-первых, свидетельству Бурнашева, как мы уже убедились, следует верить. Во-вторых, то же самое утверждает Меринский. И наконец, тактика Бенкендорфа и его истинное суждение о стихах — вещи совершенно различные. И ясно, что доложить царю о распространении стихов он мог «в самом успокоительном тоне», а на другой день дать произведению самую резкую оценку, особенно теперь, когда император о стихах уже знает и негодует и делу дан надлежащий ход. Ведь накануне-то они уже виделись — Николай I и Бенкендорф! И разговор о стихах уже был! «Я уже имел честь сообщить вашему императорскому величеству, что я послал стихотворение гусарского офицера Лермантова...» и проч. Так почему же Бенкендорф снова дает оценку стихам? Очевидно, его вчерашним докладом царь недоволен. И Бенкендорф излагает теперь все, что он действительно думает о стихах.

Это разговор внутренний и в достаточной степени откровенный.

Николай хорошо понимает, что при всем желании объявить Лермонтова сумасшедшим нельзя: за три месяца до гибели Пушкина сумасшедшим объявлен П. Я. Чаадаев. Кроме того, с сумасшедшими по закону не поступают: их изолируют. Николай и не думает ни минуты объявлять Лермонтова лишенным ума. Это — громкая фраза, означающая, что только сумасшедший мог позволить себе такое и что коль скоро окажется, что Лермонтов, напротив, в полном рассудке, с ним будет поступлено по закону.

В этот час, когда император читает докладную записку, начальник гвардейского штаба Веймарн уже выполнил

---

[1] С. Шостакович. Лермонтов и Николай I.— «Литературная газета», 1959, № 126.

[2] Там же.

двойное предписание — и Бенкендорфа, и самого императора — произвести обыск в Царском Селе и на петербургской квартире, препроводить Лермонтова в Главный штаб, поместив отдельно, без права свидания, и допросить о сообщниках. Записка, поданная Бенкендорфом царю, не датирована, но ее без труда можно отнести к 19-му числу. 18-го Бенкендорф докладывал ему на словах о принятых мерах. Значит, впервые сообщил о стихах не раньше 17-го.

18-го, узнав про обыск в Царском Селе, Лермонтов вторично приезжал к Муравьеву, ища его заступничества: опасность надвинулась. И в тот же день арестован.

В первую половину дня 18-го Мордвинов еще ничего не знает об этом. Но 19-го, когда у него обедает Муравьев, Мордвинова спешно вызывают к шефу жандармов, и он узнает, что генерал Веймарн, опечатывая лермонтовские бумаги, нашел между ними записку, в которой Муравьев сообщает, что Мордвинов находит стихотворение прекрасным и тем самым как бы разрешает дальнейшее распространение его.

— Что ты на нас выдумал? — в раздражении кричит Мордвинов на Муравьева, возвратясь от Бенкендорфа.— Ты сам будешь отвечать за свою записку [1].

Почему так испугался Мордвинов? Совершенно понятно: он хвалит стихи, но с прибавлением или без прибавления — этого в записке не сказано. А Веймарн ездил по приказу самого императора. Если записка попадет в руки царя, может пострадать не только Муравьев, но и Мордвинов.

Муравьев всю жизнь оставался в уверенности, что Дубельт оторвал тогда записку от дела и тем спас его от привлечения к лермонтовской истории [2]. Но в действительности записка, исключенная Дубельтом из числа взятых бумаг, фигурировала в «Описи»; однако значения этому факту не придано, ибо делом занимался сам Бенкендорф.

Вернемся к 18-му числу.

Лермонтов препровожден в Главный штаб, в одну из комнат верхнего этажа [3].

[1] А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871, с. 24.

[2] Там же, с. 25.

[3] А. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов.— В кн.: Е. Сушкова. Записки, с. 379.

Имени Раевского он не назвал. Кто распространяет стихи, пока еще неизвестно.

Раевский не арестован.

«Я сначала не говорил про тебя,— писал ему Лермонтов после освобождения из-под ареста,— но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет, и что если я запрусь, то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку... и не смог. Я тебя принес в жертву ей... Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать — но я уверен, что ты меня понимаешь и прощаешь и находишь еще достойным своей дружбы... Кто б мог ожидать!..» [1]

Таким образом, «Объяснение», в котором Лермонтов назвал имя Раевского, писано после того, как поэта «допрашивали от государя», то есть числа 19-го или 20-го.

Только после этого (но не позже 20-го) арестован Раевский. Новый обыск производил уже не генерал Веймарн, а помощник Клейнмихеля — исправляющий должность вице-директора Инспекторского департамента военного министерства полковник Финляндского полка Кривопишин [2]. После второго обыска составлены «Опись письмам и бумагам л.-гв. Гусарского полка корнета Лермонтова» (отобранным в Царском Селе) [3], «Опись перенумерованным бумагам корнета Лермонтова» (отобранным в Петербурге) [4] и «Опись перенумерованным бумагам чиновника 12-го класса Раевского» [5]. Две последние помечены одной датой: «20 февраля».

Весь изъятый при обыске материал препровождается Бенкендорфу.

22 февраля командующий гвардейским корпусом Бистром (начальник Веймарна) отправляет вдогонку список «Смерти Поэта», полученный от Клейнмихеля. На сопроводительном письме сохранилась помета:

«П. Ф-чу Вейм<арну> все препр<оводить> к Клейн-<михелю>.

---

[1] Лермонтов, т. VI, с. 437.

[2] А. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов.— В кн.: Е. Сушкова. Записки, с. 379; «Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1837 год», ч. I, с. 149.

[3] Висковатов. Биография. Приложение IV, с. 15.

[4] Там же, с. 16.

[5] Там же, с. 14.

Показать Ал. Ни. не найдет ли?» [1]

Очевидно, «Ал. Ни.» — А. Н. Мордвинов, управляющий 3-м Отделением,— должен был разгадать, чьим почерком переписаны стихи. И выяснить, кто соучастник. На это напирали и на допросах.

Лермонтов ограничился именем одного Раевского. И существование других соучастников в появлении стихов на смерть Пушкина отрицал.

Соучастников *в появлении* стихов — тайного общества, от лица которого они писаны,— не было. Соучастники *в распространении* стихов были. Мы знаем: это — молодые чиновники, которых иностранный посол назвал в эти дни русским «третьим сословием», отметив, что они «создают апофеоз» Пушкину, человеку, произведения которого являются выражением их собственных чувств [2].

За три года до гибели Пушкин обронил в разговоре фразу, что он «возвращается к оппозиции». Приятель поэта, А. Н. Вульф, записавший эти слова, заметил: «Ее у нас нет, разве только в молодежи» [3].

Лермонтов и Раевский с приятелями как раз и представляют собой этот оппозиционный элемент русского общества. Но в показаниях поэта об этом нет, разумеется, ни одного слова.

«Объяснение» Лермонтова, как теперь можно уразуметь, написано до ареста Раевского. Но Раевский не знает об этом. И, перебелив 21 февраля свое, пытается переслать его Лермонтову.

Раевский посажен на гауптвахту, что у Сенной площади [4], неподалеку от дома (Арсеньева живет на Садовой против 3 Адмиралтейской части в доме княгини Шаховской — ныне № 61). Раевский пишет записку камердинеру Лермонтова:

«Андрей Иванович! Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал эту записку Министру. Надобно, чтобы он отвечал согласно с нею, и тогда дело кончится ничем.

---

[1] «Дело архива 3-го Отделения о стихах корнета Лермонтова «На смерть Пушкина» и о распространении их чиновником 12 класса Раевским».— ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 10.

[2] П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е. М.— Л., ГИЗ, 1928, с. 392.

[3] Л. Майков. Пушкин. СПб., 1899, с. 208.

[4] А. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов.— В кн.: Е. Сушкова. Записки, с. 379.

А если он станет говорить иначе, то может быть хуже»[1].

Записка, переданная часовому, перехвачена вместе с черновиком показаний. В руках Бенкендорфа — два несогласных между собой документа.

Рассмотрев все эти материалы, шеф жандармов отправляет Клейнмихелю «Объяснение» Лермонтова для сличения с «таковым же чиновника Раевского», а также пакет с бумагами, отобранными при обыске. К этому приобщена собственная генерал-адъютанта графа Бенкендорфа секретная записка «О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермантовым, и о распространении оных губернским секретарем Раевским».

В этот день начинается

ДЕЛО
Министерства военного
Департамента военных поселений
<инспекторского> канцелярии <2-го стола>
№ 22.

Может возникнуть вопрос: при чем департамент военных поселений? И при чем тут Клейнмихель?

При том, что в этом департаменте служит Раевский. А директор департамента — граф Клейнмихель[2].

При том, что в здании Главного штаба сидит под арестом Лермонтов. А дежурный генерал Главного штаба — генерал-адъютант граф Клейнмихель[3].

Обложка «Дела министерства военного департамента <инспекторского>». А управляет инспекторским департаментом генерал-лейтенант граф Клейнмихель[4].

Вот почему Клейнмихелю и поручено разобрать дело. Вот почему выпущенный из-под ареста Лермонтов пишет Раевскому, что должен явиться к Клейнмихелю, «ибо он теперь и мой начальник»[5].

Впоследствии, вспоминая «маленькую катастрофу», происшедшую с ним в Петербурге в 1837 году, Раевский уверял, что показания Лермонтова не слагали на него

[1] «Дело о непозволительных стихах...», л. 13.
[2] «Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1837 год», ч. I, с. 187.
[3] Там же, с. 124.
[4] Там же, с. 149.
[5] Лермонтов, т. VI, с. 438.

ответственности и не могли отозваться резко на его служебных делах. «Но к несчастию моему и Мишеля,— писал он в письме к Шан-Гирею,— я был тогда в странных отношениях к одному из служащих лиц» [1].

Профессор Н. Л. Бродский высказал предположение, что это был сенатор Дубенский. Нет, в 1837 году Дубенский в департаменте военных поселений еще не служил. А это был сам директор департамента — Клейнмихель.

Каковы основания так думать?

«Когда Лермонтов произнес перед судом мое имя,— пишет Раевский,— служаки этим воспользовались, аттестовали меня *непокорным* и ходатайствовали об отдаче меня под военный суд» [2].

Ходатайство о предании Раевского военному суду принадлежало Клейнмихелю.

Раевский не назвал в 1860 году его имени, когда в письме, предназначенном для печати, вспомнил историю распространения «Смерти Поэта», по причине весьма понятной: в ту пору Клейнмихель был еще жив.

23 февраля 1837 года, получив документы, пересланные ему Бенкендорфом, Клейнмихель поручил составить специальное сравнение показаний.

Усмотрено, что Лермонтов объясняет возникновение первоначальной редакции стихотворения тем, что собравшиеся у него знакомые порицали память Пушкина.

«Раевский сего не объясняет».

Раевский показывает, что к Лермонтову уже после написания стихов приезжал камер-юнкер Столыпин.

Лермонтов утверждает, что сразу написал упомянутые стихи «вследствие необдуманного порыва, выразив нестройное столкновение мыслей».

Лермонтов говорит, что один его хороший приятель (Раевский) просил у него списать стихи и, вероятно, показал их как новость другому. И так они разошлись.

Раевский показал несогласно, заявив, что распространил стихи во множестве экземпляров.

Лермонтов замечает, что «необдуманность свою в сочинении сих стихов постиг уже поздно».

---

[1] А. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов.— В кн.: Е. Сушкова. Записки, с. 382—383.
[2] Там же, с. 383.

Раевский, напротив, говорит, что стихи сии не были окончены в один раз, к ним сделано прибавление.

Лермонтов называет из прежних своих сочинений драму «Маскерад» и восточную повесть «Гаджи Абрек».

Раевский об этих сочинениях ничего не сообщает, зато пишет о стихах, в которых Лермонтов «сравнивает государя императора с благороднейшими героями древности» [1].

Попытка переслать Лермонтову черновик показаний усугубляет вину Раевского. Но Бенкендорф считает долгом уведомить графа Михаила Андреевича [Клейнмихеля], что «государь император повелеть соизволил о предании чиновника Раевского военному суду приостановить» [2].

Дело началось 23 февраля. 25-го получена «высочайшая» резолюция: «Лейб-гвардии Гусарского полка корнета Лермантова перевесть тем же чином в Нижегородский драгунский полк; а губернского секретаря Раевского за распространение сих стихов, и в особенности за намерение тайно доставить сведение корнету Лермантову о сделанном им показании, выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию для употребления на службу по усмотрению тамошнего гражданского губернатора» [3].

Еще два дня — и 27 февраля 1837 года дело о поступках корнета Лермонтова и губернского секретаря Раевского «повелено считать оконченным» [4].

Что это? Милость?

Нет! Новая тактика!

За шалости, не заключавшие в себе никакого политического смысла, за дуэли, за шумное поведение в театре, за любовные похождения Николай I переводит молодых людей из гвардии в армию, шлет на Кавказ, разжалует в рядовые. А тут за «возмутительные» стихи, направленные против опоры трона — аристократии, стихи, которые гусарский корнет и губернский секретарь распространяют по всему Петербургу во множестве списков, за систематическую отлучку из полка, за попытку обмануть правительство и сговориться между собой следует наказание, которое даже и наказанием не кажется! Ведь на Кавказ

---

1 «Дело о непозволительных стихах...», лл. 32—34.
2 Там же, л. 5.
3 Там же, л. 36.
4 Там же, л. 42.

отправляются по своей охоте, или, как тогда говорили, «охотниками», два офицера от каждого гвардейского полка ежегодно. И вдруг за политическим процессом, осуществленным с беспримерной скоростью, следует перевод тем же чином в один из привилегированных кавказских полков! Конечно, военный министр Чернышев может дать секретное предписание, и посланного не будет в живых. Но император соглашается с Бенкендорфом: торопиться не следует. От наказания Лермонтов не уйдет, если только не переменится. А покуда можно сделать вид перед лицом петербургского общества, всех грамотных русских, перед дипломатическим корпусом, что он, император, не придает этим стихам большого значения и не считает нужным строго наказывать за них.

Месяца не прошло с того времени, как толпы народа теснились у Певческого моста на Мойке, раздавались буйные речи петербургских студентов, поступали доклады о неповиновении гвардейских воспитанников, о возбуждении в училище правоведения, в Лицее, в гимназиях... Николай умело повернул ход событий и обратил в свою пользу. Иностранные послы доносят своим дворам, что русский император благотворит поэту за гробом и, проявляя заботу о славе погибшего и о его осиротелой семье, поступает как мудрый и просвещенный монарх. Возбуждать общественное мнение открытой расправой с новым поэтом несвоевременно. Не надо военного суда, ни строгого наказания, ни долгого расследования дела. Царь, собиравшийся свирепо расправиться с Лермонтовым, решает действовать без шума. На первый раз все стихи на смерть Пушкина — не одного Лермонтова, но даже такие невинные, как Эспера Белосельского и «Норова, что ходит на деревяшке», тайной полиции повелено запретить [1]. И дознаться, почему в Гусарском полку офицерам дозволялось беспрепятственно проживать в столице [2]. Впредь сих послаблений не допускать, объявив по корпусу строжайший выговор командиру полка.

Пусть стихотворения запрещены и началось, как пишет Александр Тургенев, «гонение на Гусарский полк» [3].

---

[1] «Русский архив», 1888, кн. II, с. 301.

[2] «Приказ № 33 по Отдельному гвардейскому корпусу от 28 февраля 1837 года».— ИРЛИ, ф. 524, оп. 4, № 6.

[3] ИРЛИ, Рукописный отдел, «Дневник А. И. Тургенева», запись от 24 февраля.

У исследователей нет оснований считать перевод Лермонтова на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк суровой репрессией. Но у нас все основания видеть в истории стихов на смерть Пушкина не только начало поэтической славы Лермонтова, но и начало его конца.

Четыре года шел Лермонтов по пушкинскому пути, определяя направление русской поэзии. И четыре года готовилась расправа с новым великим поэтом и дискредитация его личности за шестнадцать строк одного из самых сильных и смелых стихотворений, которые когда-либо слагались в России!



«Бородино»

1

Когда заходит речь о 1812 годе, о Бородинской битве, о московском пожаре, мы невольно вспоминаем лермонтовское «Бородино». И, желая точнее и образнее выразить собственные мысли и представления, используем в качестве метких изречений, призывов, заглавий газетных статей чуть ли не половину строк этого замечательного стихотворения: «День Бородина», «Ребята! Не Москва ль за нами?», «Недаром помнит вся Россия», «Уж постоим мы головою за родину свою!»... Много ли в русской поэзии произведений, кроме басен Крылова и «Горя от ума» Грибоедова, строчки которых навсегда вошли бы в повседневную жизнь, как строки «Бородина»?!

Говоря об отношении Лермонтова к Отечественной войне, мы всегда будем отдавать предпочтение «Бородину» перед другими произведениями, потому что не найти у него другого, в котором с такою великой силой и простотой, так обширно была бы выражена любовь к 1812 году, к России, к победе. Сколько ни читаешь «Бородино», каждый раз находишь в нем все новые, не замеченные прежде достоинства. И видишь, как выразилось в нем время, о котором идет рассказ, и напряженный интерес к этой великой эпохе.

Я хочу напомнить строчки, которыми начинаются «Былое и думы» Герцена:

«— Вера Артамоновна, ну, расскажите мне еще разок,

как французы приходили в Москву,— говаривал я, потягиваясь на своей кроватке...»[1]

Так ведь это же герценовское «Скажи-ка, дядя...»! Подобное зачину лермонтовского стихотворения с просьбою вопрошателя подтвердить, что спаленная пожаром Москва отдана завоевателю не даром, а ценою великого сопротивления, с которым было сопряжено его вступление в покинутую жителями столицу.

Что это — случайное совпадение?

Нет, не случайное!

И для Герцена, и для Лермонтова, и для всего поколения, вышедшего из младенческих пелен уже после войны, Бородинское сражение, пожар Москвы, Березина, взятие Парижа были «колыбельной песнью, детскими сказками»[2]. Герцен, слушая подростком рассказы о том, как он на руках у кормилицы оставался в горящей Москве, улыбался, от сознания, что «принимал участие в войне»[3].

Лермонтов был моложе: он родился уже в послепожарной Москве, когда русские войска возвращались из-за границы. Но и того и другого воспитал 1812 год — он определил их понятия, внушил веру в моральную силу народа, в величие его исторической миссии, взлелеял надежду, что, свершив подвиг, какого не было «от начала мира», освободивши отечество, он — русский народ — должен наконец и сам обрести свободу. Нет! Они не видали войны. И тем не менее она была для них реальнее всякой реальности и не менее достоверна, чем окружавшая их очевидность. Слушая старших, они видели события великой войны и заново переживали ее.

«— Смотрим,— передает Герцен в «Былом и думах» рассказ той же Веры Артамоновны,— а по улице скачут драгуны в таких касках и с лошадиным хвостом...»[4]

Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами...—

читаем в лермонтовском стихотворении.

Но ведь ни Герцен, ни Лермонтов не видели своими глазами французских драгун! Это все из рассказов тех, кто сражался на Бородинском поле, оставлял пылающую Москву!

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VIII, с. 15.
[2] Там же, с. 22.
[3] Там же, с. 16.
[4] Там же, с. 15.

2

Этим дело не ограничивается. В стихотворении Лермонтова исторически точно и достоверно решительно все! А для того чтобы убедиться в этом вполне, надо заглянуть в сочинение некоего Николая Любенкова под названием «Рассказ артиллериста о деле Бородинском», объявление о выходе которого появилось как раз в той самой шестой книжке «Современника» за 1837 год, где впервые напечатано лермонтовское «Бородино» [1].

Казалось бы, какая может быть связь между этими фактами? И тем не менее сходство в описаниях Любенкова и Лермонтова просто разительное!

Мы долго молча отступали,—

начинает свой рассказ старый солдат в стихотворении «Бородино».

«Мы с терпением переносили отступление»,— подтверждает Любенков.

Досадно было, боя ждали,—

продолжает «дядя» у Лермонтова.

«Мы жадно ожидали генеральных сражений»,— снова соглашается Любенков.

Прилег вздремнуть я у лафета,—

рассказывает старый служака в лермонтовском стихотворении.

«Облокотясь на одну из моих пушек, я поник»,— вспоминает Любенков [2].

Звучал булат, картечь визжала,—
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел,—

сказано у Лермонтова.

«Мы встретили их картечью... Неумолимая рука смерти устала от истребления... Обе колонны ни с места, они возвышались, громоздились на мертвых телах»,— читаем мы в «Рассказе» Любенкова [3].

---

[1] Николай Любенков. Рассказ артиллериста о деле Бородинском. СПб., в типографии Эдуарда Праца, 1837.
[2] Там же, с. 17—18.
[3] Там же, с. 47, 35, 50.

Кроме этих, и многие другие эпизоды, описанные в книге Николая Любенкова, можно было бы сопоставить со стихотворением Лермонтова. Сопоставить — и прийти к выводу, что Лермонтов написал свое стихотворение по рассказу очевидца Любенкова.

Но этот вывод не получается. Потому что книжка Любенкова вышла в свет только летом 1837 года [1], когда Лермонтов, сосланный за стихи на смерть Пушкина, уже скитался по Кавказу, а «Бородино» было уже давно написано. Друг Лермонтова Святослав Раевский еще в феврале упоминал «Бородино» в своих показаниях перед судом, приговорившим Лермонтова к ссылке за «непозволительные» стихи на смерть Пушкина.

Кроме того, о Бородинском сражении Лермонтов писал не впервые. Лучшие, наиболее удавшиеся строки он, как известно, перенес в «Бородино» из другого своего стихотворения — «Поле Бородина», которое написал еще в 1830 году. А в то время книжки Любенкова не было и в помине.

Любенков, со своей стороны, тоже не мог знать «Бородина». Его книжка вышла в свет несколько раньше «Современника», где было напечатано стихотворение Лермонтова. Да если бы даже и знал, то ему, очевидцу Бородинского дела, незачем было использовать в своем описании стихотворение Лермонтова, родившегося уже после событий 1812 года.

Итак, связи между этими произведениями как будто бы нет. Чем же тогда объясняется это сходство?

«Забил заряд я в пушку туго», «Прилег вздремнуть я у лафета», «Построили редут» — из этих строк становится ясным, что у Лермонтова, так же как и у Любенкова, о сражении рассказывает артиллерист. Поэтому, если мы возьмем воспоминания других артиллеристов, участников Бородинского боя, то поразимся обилию новых деталей: мы найдем упоминания и об уланах со значками на пиках, и о тех же французских драгунах в касках с конскими хвостами, и множество других подробностей. Мы узнаем, что слова: «Ребята! Не Москва ль за нами? Умрем же под Москвой!» — не выдуманы Лермонтовым. С такими словами обратился к армии генерал Д. С. Дохтуров, когда, после ранения Багратиона, получил приказ

[1] «Северная пчела», 1837, № 136, от 21 июня (в разделе «Новые книги» — извещение о выходе в свет сочинений Н. Любенкова).

Кутузова принять на себя командование левым флангом. «За нами Москва,— воскликнул Дохтуров,— умирать всем, но ни шагу назад — ведь все равно умирать же под Москвою!» [1]

Вчитываясь в описания Бородинского сражения, мы понимаем, что Лермонтов изобразил в своем стихотворении самое важное место сражения — центральную батарею, или, как ее называли еще, «редут Раевского»,— укрепление, которым французы пытались овладеть в течение целого дня («Сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут»).

Неприятель, вспоминал очевидец, когда у нас оказался недостаток в снарядах, ворвался в редут с бригадою генерала Бонами. Ермолов и Кутайсов, поравнявшись с центральною батареею, с ужасом увидели штурм и взятие батареи. Они остановили две роты конной артиллерии и, став во главе батальона Уфимского полка, повели в атаку прямо на занятую французами батарею, «меж тем как Паскевич с одной стороны, а Васильчиков с другой ударили в штыки. Неприятель был везде опрокинут и даже преследуем, центральная батарея опять перешла в наши руки уже с штурмовавшим ее французским генералом Бонами, взятым в плен... Дорого французы поплатились за временное завладение этою батареею; тут полегли лучшие их генералы... Их тридцатый полк был тут весь погребен, и вся дивизия Морана была почти истреблена...»

Это описание взято из статьи Абрама Сергеевича Норова, напечатанной в 1868 году [2]. В этой статье и таится разгадка всех совпадений.

3

В числе артиллеристов, командовавших в Бородинском бою артиллерийскими батареями, Норов называет имя своего непосредственного начальника — штабс-капи-

---

[1] «Подвиги генерала Дмитрия Сергеевича Дохтурова».— «Русский вестник», 1817, ч. I, кн. 5, с. 24—25; ср.: Николай Полевой. Повесть о великой битве Бородинской... СПб., 1844, с. 64, 81.

[2] А. Норов. «Война и мир» (1805—1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника (по поводу сочинения графа Л. Н. Толстого «Война и мир»).— «Военный сборник», 1868, т. LXIV, с. 223—224, 230.

тапа Афанасия Алексеевича Столыпина, к которому, в связи с контузией капитана Гогеля, перешло командование «легкой ротой № 2-го», и вслед за тем рассказывает героический эпизод, связанный с находчивостью и мужеством Столыпина.

«Наш батарейный командир Столыпин,—пишет Норов,— увидев движение кирасиров, взял на передки, рысью выехал несколько вперед и, переменив фронт, ожидал приближения неприятеля без выстрела. Орудия были заряжены картечью; цель Столыпина состояла в том, чтобы подпустить неприятеля на близкое расстояние, сильным огнем расстроить противника и тем подготовить верный успех нашим кирасирам... Под Столыпиным убита его лихая горская лошадь» [1].

Доблестное бесстрашие, истинно артиллерийское хладнокровие и распорядительность в самом сильном огне всегда останутся памятными его сослуживцам»,— читаем мы о Столыпине в воспоминаниях другого артиллериста — Рославлева [2].

Афанасий Алексеевич Столыпин — родной брат Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабки и воспитательницы Лермонтова. Со слов родственника Лермонтова М. Лонгинова известно, что Лермонтов «особенно любил Афанасия Алексеевича» [3], который всегда принимал в судьбе его самое горячее участие. Рассказы Афанасия Столыпина о действиях гвардейской артиллерии при Бородине — вот один из источников, откуда Лермонтов почерпнул сведения о ходе исторического сражения и на основе которых создал свои стихотворения «Поле Бородина» и замечательное «Бородино».

Однако было бы непростительной ошибкой утверждать, что Лермонтов потому описал в своем «Бородине» артиллериста, что дед его служил в артиллерии. А если бы Столыпин служил в пехоте? В том-то все и дело, что Лермонтов рассказал о Бородинском бое устами артиллериста,

---

[1] А. Норов. «Война и мир» (1805—1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника (по поводу сочинения графа Л. Н. Толстого «Война и мир»).— «Военный сборник», 1868, т. LXIV, с. 228—229.

[2] П. Потоцкий. История гвардейской артиллерии. СПб., 1896, с. 177.

[3] М. Н. Лонгинов. Заметки о Лермонтове и о некоторых его современниках.— «Русская старина», 1873, № 3, с. 381.

потому что был справедливо уверен в той решающей роли, которую сыграла русская артиллерия в исходе Бородинского сражения. И в стихотворении своем описал, таким образом, самое главное, самое существенное.

Убитый в разгар борьбы за батарею Раевского начальник всей русской артиллерии генерал Кутайсов издал накануне сражения приказ, в котором требовал, чтобы батареи не снимались с места, пока неприятель не сядет верхом на пушки.

«Сказать командирам и всем г.г. офицерам,— велел Кутайсов,— что только отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции; артиллерия должна жертвовать собою. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор. Если б за всем этим батарея и была взята, хотя можно почти поручиться в противном, то она уже вполне искупила потерю орудий» [1].

Русские артиллеристы отлично выполнили приказ своего начальника.

И роль русской артиллерии в Бородинском бою действительно была огромной. Недаром участник Бородинского боя, капитан французской конной артиллерии Шамбре писал о том, что утром следующего дня Наполеон, «объезжая поле сражения, обагренное кровью множества убитых и раненых, велел переворачивать тела убитых, чтобы видеть, от каких они пали ударов. Почти все носили следы артиллерийских снарядов» [2].

«Такова была битва,— пишет известный военный историк В. Ф. Ратч в своих «Публичных лекциях, читанных г.г. офицерам гвардейской артиллерии»,— в которой, по расчету французов, пришлось на каждую минуту по 100 выстрелов с их стороны; а со стороны русских не могло быть менее, если обратить внимание на превосходнейшее число наших орудий» [3].

---

[1] А. Норов. «Война и мир» (1805—1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника (по поводу сочинения графа Л. Н. Толстого «Война и мир»).— «Военный сборник», 1868, т. LXIV, с. 218.

[2] В. Ф. Ратч. Публичные лекции, читанные г.г. офицерам гвардейской артиллерии в 1861 году.— «Артиллерийский журнал», 1861, ноябрь, с. 839.

[3] Там же.

После окончания кампании 1812 года прусский генерал Гнейзенау восторгался русской артиллерией, отмечая ее превосходство над другими родами оружия:

«Российская артиллерия находится в превосходном положении и имеет в себе даже роскошь... Я видел, как маневрировала и сражалась артиллерия в действиях против неприятеля, и я преисполнен удивления высоким достоинством сего рода службы, превосходством механического ее сооружения, легкостию, скоростию и точностию движений, храбростию офицеров и солдат, редкою дисциплиною и правильностию во внутренней службе» [1].

Вникая в подробности действий русской артиллерии, мы узнаем из работы Ратча о том, что при Бородине в частных действиях артиллерии, сравнительно с предшествовавшими кампаниями, нельзя было не заметить влияние статей «Военного журнала».

«Военный», или «Артиллерийский журнал», о котором пишет Ратч, начал выходить в свет в 1808 году. В нем были затронуты и развиты многие существенные вопросы военной теории и практики. В тех же «Лекциях» Ратча мы находим новое, важное для нас сведение: «Первый из наших молодых офицеров, печатно высказавший свое мнение об употреблении артиллерии, был гвардейской конной артиллерии поручик Дмитрий Столыпин» [2].

Дмитрий Алексеевич Столыпин — родной брат артиллериста Афанасия Столыпина и бабки Лермонтова Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Из биографии Лермонтова было известно, что в начале 20-х годов, командуя корпусом в Южной армии, он завел ланкастерские школы взаимного обучения, был дружен с декабристом Пестелем и умер скоропостижно в своем имении Середникове 3 января 1826 года (то есть в тот день, когда через Москву провозили арестованных членов Южного общества, поднявших восстание Черниговского полка). Теперь выясняется, что он был известным в свое время крупным военным теоретиком.

---

[1] «Ответ генерал-лейтенанта графа Гнейзенау неизвестному на письмо его».— «Сын отечества», 1814, ч. XVII, с. 117 и 121.

[2] В. Ф. Ратч. Публичные лекции, читанные г.г. офицерам гвардейской артиллерии в 1861 году.— «Артиллерийский журнал», 1861, октябрь, с. 790.

Как скажешь «брат бабки» — мерещатся старики. На самом же деле Дмитрию Столыпину в 1812 году было двадцать семь лет, Афанасию — двадцать четыре года.

В качестве артиллериста Дмитрий Столыпин проделал кампанию 1805—1807 годов и отличился под Аустерлицем, где с палашом в руках прокладывал путь отрезанным орудиям. После кампании он занялся составлением курса дифференциального и интегрального исчислений и выступил на страницах «Артиллерийского журнала» со статьей «В чем состоит употребление и польза конной артиллерии», где на четырех страничках изложил свое мнение.

«Эта маленькая статья замечательна тем влиянием,— пишет Ратч,— которое она ясностью взгляда и верностью изложения имеет на все последующие статьи «Военного журнала» [1].

Столыпин ввел новое условие — время,— отсутствовавшее в работах других авторов по этому вопросу. После этого уже не вызывают удивления слова Ратча: «Возвратимся к статье Дмитрия Столыпина об употреблении артиллерии и рассмотрим, что было сделано при Бородине». «На статье Столыпина,— продолжает Ратч,— останавливаемся же потому, что все последующие были лишь вариациями на изложенные им темы» [2]. Значение работы Столыпина настолько бесспорно, что Ратч прямо заявляет о том, что в Бородинском сражении, «согласно со статьею Столыпина, конная артиллерия была первоначально поставлена в общем резерве»,— и т. д.[3].

В нашу задачу не входит выяснять специальное значение статьи Столыпина. Для нас важно, что спустя пятьдесят лет крупный военный историк Ратч высоко оценивал статью Столыпина и ее влияние на действия гвардейской артиллерии во время Бородинского боя. Мнение же Ратча нам особенно интересно потому, что он пользовался в своей работе указаниями знаменитого А. П. Ермолова, который в 1811—1812 годах командовал бригадой гвардейской артиллерии, а в Бородинском бою был начальником штаба Первой армии.

---

[1] В. Ф. Ратч. Публичные лекции, читанные г.г. офицерам гвардейской артиллерии в 1861 году.— «Артиллерийский журнал», 1861, октябрь, с. 790—791.

[2] Там же, с. 839—840.

[3] Там же, с. 847.

Из всего этого мы можем заключить, что Лермонтову была хорошо известна роль, которую сыграла русская артиллерия в общем ходе Бородинского сражения,— сражения, где, по словам Норова, «преимущественно действовали орудия».

Были все готовы
Заутра бой затеять новый,—

рассказывает артиллерист в лермонтовском стихотворении. В этих словах выражен не только патриотический подъем русской армии, но и твердая уверенность Лермонтова в мощи русской армии, в ее не израсходованных в Бородинском сражении резервных силах.

Артиллерийский генерал Бонапарт, пришедший к власти при помощи артиллерии, победоносно прошедший со своей артиллерией через Европу, впервые столкнулся в Бородинском бою с сильнейшей русской артиллерией и впервые не мог победить.

Об этом и рассказал Лермонтов в своем стихотворении. Как бы в ответ на частые в 30-х годах споры о том, что помогло русскому народу изгнать французские полчища из пределов России — тактика отступлений, пожар Москвы или морозы,— Лермонтов написал свое «Бородино», в котором просто и безыскусственно, от лица рядового солдата, рассказал о главных эпизодах исторической битвы, о патриотическом подъеме, охватившем русскую армию, и о ее беспримерной доблести.

4

Все вокруг с детских лет говорило Лермонтову об Отечественной войне, все напоминало о Бородинской победе: и еще не отстроенная Москва, взорванные по приказу Наполеона стены Кремля, и пушки, отбитые у неприятеля, грудь ветерана, увешанная крестами, пустой рукав инвалида, карикатура на отступление «великой армии» на стене помещичьей гостиной, пылкие рассуждения московских студентов о значении 1812 года в русской истории, патриотические статьи передовых русских журналистов, а главное, рассказы множества очевидцев — в Москве, в Петербурге, а еще раньше — в пензенских Тарханах и в соседних селах, где жили вернувшиеся из

заграничных походов солдаты и ополченцы. В семье кормилицы Лермонтова Лукерьи Шубениной нашел приют ее свойственник — одинокий солдат, бородинский ветеран Дмитрий Федоров [1].

Мальчик рос среди воспоминаний об Отечественной войне, прежде всего — отца своего, капитана в отставке, который в 1812 году вступил в ополчение [2]. Четверо братьев бабки поэта избрали военную службу — не только Дмитрий и Афанасий Столыпины, но и генерал Николай Столыпин, и Александр Столыпин [3], который служил еще при Суворове [4]. Заходила ли речь про генерала Никиту Арсеньева, проделавшего кампанию 1812 года,— брат деда [5]. Полковник Дмитрий Арсеньев — родственник [6]. Участник Бородинской битвы генерал А. В. Воейков — родственник [7]. Тот самый генерал Д. С. Дохтуров, который после Багратиона командовал левым флангом и крикнул «За нами Москва!..» — родственник [8]. Приезжали к родственнице Е. П. Мещериновой — встречали у нее генерала П. М. Меликова, героя Бородина...[9] Удивляться тому, что Лермонтов с детских лет знал подробности Бородинской битвы, было бы так же странно, как, скажем, недоумевать, откуда советский юноша, рожденный в дни взятия Берлина, знает о великой битве на Волге, разыгравшейся в 1942 году.

Разговоры об Отечественной войне возникали по любому поводу, рассказы перемежались расспросами. И в избранной Лермонтовым поэтической форме нет ничего

---

[1] В. Ермолаев. Пензенский край в Отечественной войне 1812 года. Пенза, 1945, с. 30—38.

[2] Н. Л. Бродский. М. Ю. Лермонтов. Биография, т. I. 1814—1832. М., Гослитиздат, 1945, с. 10.

[3] В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. II. СПб., 1887, № 21, с. 415.

[4] Там же, № 18, с. 415.

[5] В. С. Арсеньев. Потомство Еремия Яковлевича Арсеньева. Рукопись, с. 3.

[6] Там же, с. 5.

[7] В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий. т. II. СПб., 1887, № 22, с. 415. Здесь должен быть указан первый муж Е. А. Столыпиной Александр Васильевич Воейков, брат генерала Алексея Васильевича Воейкова и тоже участник Отечественной войны.

[8] Там же, с. 416.

[9] М. Е. Меликов. Заметки и воспоминания художника-живописца.— «Русская старина», 1896, № 6, с. 645—649.

натянутого. Это — разговор поколений. Но в стихотворении «Бородино» этот обыкновенный диалог поднят до великого обобщения. Ибо между поколениями пролегла незримая грань: старшее мужало в огне Отечественной войны, младшее, разбуженное громом декабрьского восстания, с юных лет слышало о цепях, изгнаниях, казнях и, мешая мечты о вольности со слезами, привыкало таить горькое сознание, что времена, полные славы и великих подвигов,— в прошлом. Отсюда и лермонтовский упрек своему поколению: «Богатыри — не вы», о котором писал Белинский.

Как подумаешь, сколько мыслей и сколько народного опыта воплотилось в девяноста восьми строках лермонтовского стихотворения! И сколько пошло от него! Не много можно насчитать во всем мире стихотворений, которые составили бы собою звено в развитии национального чувства и национальной литературы. И то, что «Бородино» ничуть не утратило ни своей поэтической новизны, ни верности взгляда на ход исторических событий, служит, пожалуй, высшим свидетельством народности этого краткого и одновременно грандиозного по масштабам изображения.

При этом важно иметь в виду, что современниками «Бородино» воспринималось не отдельно, само по себе, а на широком фоне исторических описаний, поэтических прославлений и журнальной полемики.

По существу, события 1812 года снова обрели злободневный смысл с начала 30-х годов, когда затяжные неудачи Николая I в Царстве Польском выявили слабость военного руководства, и все чаще стало вспоминаться имя Кутузова и события великого прошлого.

Открытие Александровской колонны в 1834 году — желание правительства приписать народный подвиг императору Александру, который мешал добывать победу; приближение двадцатипятилетней годовщины Бородина; широкое обсуждение заслуг Кутузова и Барклая де Толли, которым собирались соорудить в Петербурге памятники перед Казанским собором; появление военно-исторических трудов Дениса Давыдова, С. Глинки, А. Михайловского-Данилевского, мемуарной литературы — все это отразилось в поэзии, вызвав в 1835 году гениальный отклик — стихотворение Пушкина «Полководец». Великий поэт воскрешал личность и трагическую судьбу Барклая

де Толли, необоснованно в ходе войны обвиненного в измене отечеству, «испившего до дна чашу самых горьких незаслуженных испытаний» [1] за то, что медлил дать Наполеону решительное сражение.

Этот панегирик забытому полководцу вызвал в печати резкие возражения. Пушкин был обвинен в намерении оскорбить память Кутузова. Печатая в конце 1836 года в своем «Современнике» «Объяснение» по поводу «Полководца», Пушкин воздавал хвалу «спасителю России» Кутузову и в то же время защищал свое право с сочувствием говорить о Барклае. Заканчивал Пушкин это выступление стихотворением, обращенным к Кутузову, написанным еще в 1831 году:

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...

Говоря о Барклае как о высокопоэтическом лице в русской истории, Пушкин не противопоставлял его Кутузову, ибо отчетливо сознавал, что только Кутузов мог предложить сражение у курганов Бородина, затем «отдать Москву» и «стать в бездействии на равнинах Тарутинских», ибо Кутузов «облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал» [2].

Ответ Пушкина вызвал новые нападки: «Северная пчела» выступила с официозно-монархическим опровержением. От имени «отдаленных потомков» Булгарин утверждал, что «великие мужи могут совершать великие подвиги только при великих государях...» [3].

Примерно в это же время Лермонтов написал стихотворение, остававшееся ненапечатанным в продолжение почти сорока лет. В свое время я увидел в нем отклик на стихотворение Пушкина «Полководец» и журнальные споры вокруг имени Барклая де Толли: [4]

Великий муж! здесь нет награды,
Достойной доблести твоей!

---

[1] А. Пушкин. Объяснение.— «Современник», литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным, т. IV. СПб., 1836, с. 295—298.

[2] Там же.

[3] Булгарин. Правда о 1812 годе, служащая к исправлению исторической ошибки, вкравшейся в мнение современников.— «Северная пчела», 1837, № 7, с. 27—28.

[4] Ираклий Андроников. Лермонтов. Новые разыскания. М., «Советский писатель», 1948, с. 91—102.

Ее на небе сыщут взгляды
И не найдут среди людей.

Но беспристрастное преданье
Твой славный подвиг сохранит,
И, услыхав твое названье,
Твой сын душою закипит.

Свершит блистательную тризну
Потомок поздний над тобой
И с непритворною слезой
Промолвит: «Он любил отчизну».

По тексту видно, что стихотворение обращено к человеку, обвиненному в нелюбви к отечеству или даже в измене ему.

Вся терминология Лермонтова — «великий муж», «потомок поздний», «беспристрастное преданье» целиком совпадает с журнальной: в статьях 30-х годов именно в связи с Барклаем употребляются определения «великий муж», «бессмертный муж», «великий подвиг» и т. п.

Но отсутствие имени из-за утраты верхней части листа, на котором стихотворение написано, не дает возможности обставить предположение бесспорной аргументацией. В этой связи назывались имена и П. Я. Чаадаева [1], и К. Ф. Рылеева, и П. И. Пестеля [2], и А. Н. Радищева [3], и даже... П. А. Катенина [4]. Без новых исходных данных — обнаружения полного текста (что вряд ли возможно!),— строк из письма или из мемуаров вопрос этот окончательно решен никогда не будет. Но даже и в том случае, если в нем идет речь о Барклае де Толли, эти строки, оставшиеся при жизни Лермонтова никому не известными, фактом общественной жизни стать не могли. Что же касается «Бородина», то оно напечатано на страницах пушкинского журнала в один из самых важных моментов жизни русского общества и обращено к читающей публике.

---

[1] Б. Эйхенбаум. Основные проблемы изучения Лермонтова.— «Литературная учеба», 1935, № 6, с. 32—35.

[2] Е. Тарле. Книга о Лермонтове.— «Литературная газета», 1951, № 145.

[3] Т. Иванова. Юность Лермонтова. М., «Советский писатель», 1957, с. 269—271.

[4] А. Попов. Загадка «великого мужа».— «Ставрополье», литературно-художественный альманах, 1957, № 16, с. 76—79.

5

В этом стихотворении Лермонтов в открытую полемику не вступает: в «Бородине» нет ни одного имени — ни царя, ни полководцев, только безымянный «полковник-хват». Тем не менее всем своим строем оно направлено против официальной истории Отечественной войны. Ибо Лермонтов утверждает, что истинный герой 1812 года — солдат.

Пушкин в своих творениях передал чувства народной гордости, когда писал о русских победах: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось сердце при слове *отечество...»* И в стихах — о том, как были завоеваны эти победы:

> ...поток народной брани
> Уж бесновался и роптал.
> Отчизну обняла кровавая забота,
> Россия двинулась, и мимо нас летят
> И тучи конные, брадатая пехота,
> И медных пушек светлый ряд.
>
> . . . .
>
> И многих не пришло. При звуке песней новых
> Почили славные в полях Бородина.
> На Кульмских высотах, в лесах Литвы суровых,
> Вблизи Монмартра...[1]

Но еще никогда не выступал в русской литературе солдат с изложением своего взгляда на отечественную историю, с воспоминаниями о ходе величайшего сражения новейшей истории.

Обычным разговорным языком ветеран Отечественной войны, человек уже не молодой — «дядя» начинает по порядку излагать события великого дня, попутно давая им простую, житейскую оценку. Но в этих-то, казалось бы, немудреных суждениях о том, что враг изведал в тот день силу русского рукопашного боя, что армия, обещав умереть, сдержала под Бородином «клятву верности» и была готова к новому сражению, уверенность, что если бы не «божья воля», Москва не была бы сдана,— в эти рассуждения старого солдата Лермонтов сумел вложить собственный взгляд на события Отечественной войны и на ее глубоко народный характер.

---

[1] А. Пушкин. Воспоминания в Царском Селе (1829).

Тут хочется сразу же отвести попытки некоторых комментаторов отыскать этого «дядю» среди родных Лермонтова или, на худой случай, знакомых. Это попытки никчемные. Дядя «ничей». Во времена Николая I солдатская служба продолжалась двадцать пять лет. И в пору, когда писалось стихотворение, в русской армии еще дослуживали свой срок ветераны Отечественной войны. «Дядя» — солдат лет сорока пяти — говорит с солдатом другого возраста. Такой разговор мог происходить и в казарме, и на бивуаке любого полка, в том числе и того, в котором служил сам Лермонтов.

От огромного большинства батальных описаний первой половины XIX столетия, в том числе от юношеского «Поля Бородина» самого Лермонтова, «Бородино» отличается необыкновенной конкретностью, ибо оно написано не только гениальным поэтом, но и профессиональным военным (что впоследствии повторилось и в батальных описаниях офицера Льва Николаевича Толстого!). Лермонтов описывает не сражение вообще, а именно Бородинское. И настолько конкретно, что даже такая, казалось бы, слишком «круглая» цифра, как «залпы тысячи орудий», соответствует действительному числу пушек, стрелявших на Бородинском поле с обеих сторон.

Но главное, что отличает стихотворение Лермонтова от многих других, даже блистательных изображений войны у его предшественников и современников, заключается в том, что он вводит читателя в самую гущу сражения, показывает войну так, как видит ее рядовой солдат. Поэтому такое значение приобретают в его описании детали! До Лермонтова таких описаний не было. Пушкин, гениально изобразивший Полтавскую битву, показывает ее сверху, словно с «командного пункта», крупно «врезая» в эти «общие планы» Петра. Мы видим сражение из-за плеча царя. Лермонтовское описание открыло для русской литературы путь новый — к «маленькому» герою, рядовому человеку, герою массовому, который, выражая чувства и точку зрения народа, есть сам народ. И очень интересно, что лермонтовский солдат почти весь свой рассказ ведет во множественном числе: «уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою!» Это «мы» перемежается с «я» («забил заряд я в пушку туго...») и становится от этого только внушительнее.

Естественно, что, передавая восприятие солдата, лермонтовский герой и говорит языком солдата, уснащая свою речь шуточками и прибаутками вроде: «постой-ка, брат мусью». Все это давно сделало «Бородино» доступным для самых широких демократических кругов. И не удивительно, что уже в 40-х годах «Бородино» вошло в детские сборники, в книги для чтения, составленные для уездных училищ, а с 1850 года — в «Чтение для солдат».

Покойный профессор С. Н. Дурылин писал, что в разговоре с ним Л. Н. Толстой назвал лермонтовское «Бородино» «зерном» своей «Войны и мира» [1]. И это понятно. Толстой намеренно следовал в изображении военных сцен и, в частности, Бородинского боя методу Лермонтова. Его Безухов наблюдает сражение из самой гущи боя с того же редута Раевского. «Курган, на который вошел Пьер,— пишет Толстой,— был то знаменитое (потом известное у русских под именем курганной батареи или батареи Раевского...) место, вокруг которого положены десятки тысяч людей и которое французы считали важнейшим пунктом позиции. ...Входя на этот курган, Пьер никак не думал, что это окопанное небольшими канавами место, на котором стояло и стреляло несколько пушек, было самое важное место в сражении» [2].

Это «важное место» — редут Раевского — и описал Лермонтов в своем стихотворении. Работая над «Войною и миром», Лев Толстой лучше всех в ту пору мог оценить и точность лермонтовских описаний, и всю глубину понимания хода Бородинского сражения, и верность в передаче народного характера Отечественной войны. И даже, вольно или невольно, перефразировал в своем описании строки лермонтовского «Бородина»: «Кто кивер чистил, весь избитый, кто штык точил, ворча сердито...». «Кто, сняв кивер,— читаем мы у Толстого,— старательно распускал и опять собирал сборки; кто сухою глиной, распорошив ее в ладонях, начищал штык» [3]. Дело здесь не только в упоминании кивера и штыка, но и в конструкции фразы: «кто — кто»...

---

[1] С. Дурылин. М. Ю. Лермонтов.— «Литературная газета», 1937, № 56.

[2] Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 6. М., Гослитиздат, 1962, с. 262—263.

[3] Там же, с. 284.

Не говоря уже о батальных произведениях, «Бородино» отозвалось в творчестве многих замечательных русских писателей. И далекие, косвенные отражения его чувствуются, по-моему, даже в «Василии Теркине».

Искусство Лермонтова так велико, что мы и не замечаем, что сквозь речь солдата то и дело слышится голос поэта. «Леса синие верхушки»... Солдат не сказал бы так: это — Лермонтов. Но строчка: «Французы тут как тут» — это солдат. «Звучал булат», «Носились знамена, как тени» — это опять речь поэта. Но без этой возвышенной лексики Лермонтов не мог бы передать вполне величие этого дня. А «изведал враг» — опять «дядя». Обе языковые струи сплавлены так органически, что мы и не замечаем, что «дядя», оставаясь все время самим собой, говорит как поэт. И все эти строки, в которых «слышны» и медлительность отступления, и стремительные атаки, тишина ночного лагеря и грохот сражения, спаяны такими звонкими рифмами, так нарастает с каждой новой строфой напряжение боя, что это стихотворение двадцатидвухлетнего поэта навсегда останется одним из самых значительных событий в русской литературе.

Десять лет, начиная с пансионской скамьи, Лермонтов писал стихи, поэмы, драмы, прозу. И ничего не печатал: «Хаджи Абрек», помещенный в «Библиотеке для чтения», не в счет — это без его ведома. Он хотел начать по-другому. И вот, написав «Бородино», направляет его в пушкинский «Современник».

Это было в начале 1837 года. События опередили книжку журнала. На смерть Пушкина Лермонтов откликнулся другим, не менее гениальным стихотворением. И сначала разошлись по рукам списки «Смерти Поэта», а затем уже появилось «Бородино».

Французский посол в Петербурге барон де Барант сообщал своему правительству, что общенародное чувство, проявившееся в дни гибели Пушкина в широких демократических слоях русского общества, «походило на то, которым одушевлялись русские в 1812 году» [1].

Эти общенародные чувства Лермонтов выразил и в «Смерти Поэта» — с призывом к ниспровержению «палачей свободы», и в монологе солдата, повествующего о чувствах, которые «одушевляли русских в 1812 году».

---

[1] «Русский архив», 1900, кн. I, с. 395.

В этих откликах на важнейшие события русской истории и современной политической жизни определилась позиция Лермонтова — его отношение к аристократии и к народу, к общественному «разврату» и к подвигу, к великому прошлому и «грозному суду» будущего, определилось литературное направление, которое он избирал, его взгляд на призвание поэта и на задачи поэзии. Все было в этих стихотворениях, с которыми в русскую поэзию навсегда вошло имя «Лермонтов».



Исторические источники «Вадима»

Этот интерес к народной жизни и «грозному суду» истории — революциям, не только к будущим, но и прошлым,— появился задолго до того, как Лермонтов решил нелегально распространить стихотворение на смерть Пушкина и выставить свое имя на журнальной странице.

Советские читатели с огромным интересом относятся к юношескому роману Лермонтова «Вадим», несмотря на его художественные несовершенства и даже видимые противоречия. Так удивительна революционная страсть, с какою писаны лучшие страницы его, и, если можно применить подобное выражение, «пафос сочувствия», с которым описываются эпизоды крестьянского восстания, руководимого Пугачевым.

Долгие годы это произведение воспринималось как подражательное. Исследователи словно даже и не угадывали той эпохи, которая воскрешается в этом романе, ни реальности его описаний. Это не удивительно: в многочисленных книгах, брошюрах, статьях творчество Лермонтова представало как результат сплошных «заимствований» и «влияний», о самобытности не было и помину, об отражении в его поэзии реальной действительности говорилось вскользь, мимоходом. «Вопрос о «влияниях», и в частности влияниях иностранных,— признает автор работы «Творчество Лермонтова и западные литературы»,— ставился применительно к Лермонтову так часто, как он не ставился по отношению ни к одному из выдающихся

русских поэтов и прозаиков» [1]. Этому способствовало то, что жизнь Лермонтова, его умственные интересы, его окружение, его связь с русской действительностью той эпохи долгое время оставались мало изученными.

Советские исследователи показали, что в поэзии Лермонтова претворился, прежде всего, его собственный жизненный опыт: его переживания, наблюдения над русской жизнью, народные предания, легенды и песни, семейные воспоминания, рассказы бывалых людей, споры с друзьями, размышления об исторических судьбах народов, населявших Россию, об их настоящем и будущем. И книги! Книги, которые тоже действительность. Только часть ее, а не целое. Часть, органически входящая в понятие «действительность», но не противостоящая ей.

Русская жизнь — вот что было для Лермонтова источником творчества. В том числе источником незаконченного юношеского романа, о котором так недавно еще было принято говорить как о слабом подражании образцам французской «неистовой» школы.

Но мало-помалу, исследуя факты, удалось выяснить, какой материал был положен в основу «Вадима», и прочесть произведение заново.

1

Впрочем, настоящее название этого незаконченного юношеского романа нам неизвестно. Первый лист рукописи оторван: по уцелевшему краю видно, что на нем было написано посвящение или предисловие. Рукопись была обнаружена только в 1873 году и уже потом озаглавлена по имени героя редакторами [2].

Долгое время считалось, что Лермонтов писал «Вадима» в 1832 году. Эта датировка основывалась на словах

---

[1] А. В. Федоров. Творчество Лермонтова и западные литературы.— «Литературное наследство», т. 43-44, с. 129—130.

[2] Впервые в «Вестнике Европы» (1873, кн. 10, с. 458—577), под заглавием «Юношеская повесть М. Ю. Лермонтова». Висковатов дал ей произвольное название «Горбач Вадим. Эпизод из пугачевского бунта (Юношеская повесть)», Болдаков озаглавил: «Вадим. Неоконченная повесть». Абрамович — «Вадим (Повесть)». Эйхенбаум — «Вадим».

Лермонтова в его письме к М. А. Лопухиной от августа 1832 года. «Мой роман — сплошное отчаяние,— писал поэт по-французски.— Я перерыл всю душу и все это в беспорядке излил на бумагу» [1].

Кроме того, о работе над «Вадимом» известно со слов А. Меринского, учившегося в юнкерской школе одновременно с Лермонтовым. «Раз, в откровенном разговоре со мной,— пишет Меринский в своих воспоминаниях,— он мне рассказал план романа, который задумал писать прозой и три главы которого были тогда уже им написаны» [2]. Меринский помнил, что «какой-то нищий» играл в нем «значительную роль» и что задуманный в юнкерской школе роман был «из времен Екатерины II», другими словами — из времен пугачевского восстания.

Но так как Меринский поступил в юнкерскую школу гораздо позднее Лермонтова, в 1833 году [3], то «из слов его,— как справедливо замечает в комментарии к роману Б. М. Эйхенбаум,— можно сделать вывод, что работа над «Вадимом» продолжалась в 1833—1834 году». На этом основании Эйхенбаум отменяет прежнюю датировку (1832) и предлагает считать, что «Вадим» написан в 1832—1834 годах [4]. Однако при этом редактор не обратил внимания на то, что в конце 1833 года, когда Меринский поступил в школу и когда только и мог состояться его разговор с Лермонтовым, у того были написаны всего лишь три главы. Из этого можно заключить, что работа над романом началась не раньше 1833 года, а в 1832 году Лермонтов писал какой-то другой роман.

Глухое упоминание о другом романе имеется в «Описи письмам и бумагам л.-гв. Гусарского полка корнета Лермонтова», отобранным у него при аресте в 1837 году. В этой описи зарегистрировано обнаруженное при обыске среди прочих бумаг письмо «от девицы Верещагиной

---

[1] Лермонтов, т. VI, с. 414.

[2] А. Меринский. Воспоминание о Лермонтове.— «Атеней», 1858, № 48, с. 300.

[3] Лермонтов — десятого выпуска (1834), Меринский — одиннадцатого выпуска (1835) (В. Потто. Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища. Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. СПб., 1873, Приложения, с. 64).

[4] М. Ю. Лермонтов. Полн. собр. соч. в 5-ти томах. Редакция текста и коммент. Б. М. Эйхенбаума. М.— Л., «Academia», 1937, т. V, с. 447 (далее сокращенно: Лермонтов, «Academia»).

к Лермонтову». «В нем упоминается,— пишет составлявший опись жандарм,— о каком-то романе соч. сего последнего, но он, кажется, не состоялся, Лермонтов, по-видимому, уничтожил его прежде окончания» [1].

Если при этом иметь в виду, что остальные письма к Лермонтову, внесенные в жандармскую опись, относятся главным образом ко времени поступления его в юнкерскую школу, то отсюда можно сделать вывод, что в 1832 году Лермонтов работал над другим романом, который охарактеризовал в письме к М. А. Лопухиной как «сплошное отчаяние». По письму А. М. Верещагиной к Лермонтову жандарм понял, что роман «не состоялся» и что Лермонтов уничтожил его. Сопоставляя все эти данные, следует считать, что во всяком случае это был не «Вадим».

Итак, «Вадима» Лермонтов писал в 1833—1834 годах в юнкерской школе. Поэтому соображения современного исследователя о творческом кризисе, «в который Лермонтов вступил в 1832 году», в пору пребывания в военном училище, утверждение, что «в произведениях... Лермонтова за 1833—1834 годы мы не находим революционных нот» и что «политический интерес у Лермонтова в это время, по-видимому, ослабел», нуждается в пересмотре [2]. Напряженная работа над романом о пугачевском восстании в стенах закрытого военно-учебного заведения во времена Николая I сама по себе исключает мысль об ослаблении политических интересов и революционных нот в творчестве Лермонтова. Ибо, по словам того же исследователя, «Вадим», «со всеми своими слабостями и противоречиями, звучит как произведение революционное, как грозное напоминание о часе народной расплаты» [3]. Таким образом, становится ясно, что разговор об идейном кризисе Лермонтова в годы пребывания его в юнкерской школе был просто результатом неправильной датировки.

Русское дворянство окрестило 1774, пугачевский, год «черным годом». Слово это настолько прочно вошло в обиход помещичьих усадеб и дворянских особняков, что

---

[1] Висковатов. Биография. Приложения, с. 15.

[2] В. Я. Кирпотин. Политические мотивы в творчестве Лермонтова. М., 1939, с. 99 и 113.

[3] Там же, с. 96.

Г. П. Данилевский сто лет спустя назвал так свой роман из времен пугачевщины. «Настанет год, России черный год»,— писал Лермонтов в 1830 году, размышляя о возможности повторения пугачевского восстания, о грядущей народной революции, когда «корона упадет» с головы русских царей. И в юнкерской школе, обращаясь к исторической теме, он принялся за работу над романом, действие которого приурочил именно к пугачевскому году.

Но, несмотря на передатировку, «Вадим» по-прежнему остается самостоятельным опытом исторического романа о пугачевском восстании. И хотя Лермонтов обратился к этой теме одновременно с Пушкиным, но совершенно от него независимо. Припомним, что работа Пушкина над «Капитанской дочкой» в 1833 году не пошла дальше начальных наметок плана, «История Пугачева», которую Пушкин писал в том же 1833 году, в свет вышла только в самом конце 1834 года, а «Капитанская дочка» — в 1836 году, когда работа над незавершенным «Вадимом» была уже в прошлом [1]. «Дубровского» же, о сходстве с которым «Вадима» речь будет ниже, Лермонтов и вовсе не мог знать: этот незаконченный роман, написанный в конце 1832 — начале 1833 года, увидел свет лишь в конце 1841, когда ни Пушкина, ни Лермонтова в живых уже не было.

Следовательно, ни «Истории Пугачева», ни «Капитанской дочки», ни «Дубровского» Лермонтов в 1833—1834 годах знать не мог. Еще менее мог подозревать Пушкин, что в дальних классах юнкерского училища, запираясь от начальства и рискуя быть наказанным, молодой юнкер до поздней ночи пишет свой исторический роман. Тем больший интерес приобретают для нас сюжетные и фабульные совпадения в гениальных прозаических творениях Пушкина и в юношеском, еще незрелом и незавершенном романе Лермонтова,— совпадения, которые подсказаны Лермонтову реальной действительностью.

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 9-ти томах. Под общей редакцией [Ю. Г. Оксмана] и М. А. Цявловского, т. VII. М., «Academia», 1938, с. 846 и 878. Коммент. Ю. Г. Оксмана к «Капитанской дочке» и «Дубровскому». «Путеводитель по Пушкину». Приложение к журналу «Красная нива» на 1931 год. М.—Л., ГИХЛ, 1931, с. 160.

2

Припомним фабулу лермонтовского романа.

Безобразный нищий — горбун Вадим нанимается в слуги к богатому помещику Палицыну, в доме которого с младенческих лет на положении воспитанницы живет Ольга, сестра Вадима. Пользуясь удобным случаем, Вадим становится слугой Палицына, чтобы мстить ему за разорение и смерть отца, за собственную нищету, за унижение сестры.

«Твой отец был дворянин — богат — счастлив,— рассказывает Вадим Ольге,— и, подобно многим, кончил жизнь на соломе... У него был добрый сосед, его друг и приятель, занимавший первое место за столом его, товарищ по охоте, ласкавший детей его,— сосед искренний, простосердечный, который всегда стоял с ним рядом в церкви, снабжал его деньгами в случае нужды, ручался за него своею головою... Однажды на охоте собака отца твоего обскакала собаку его друга; он посмеялся над ним: с этой минуты началась непримиримая вражда — 5 лет спустя твой отец уж не смеялся... Друг твоего отца отрыл старинную тяжбу о землях и выиграл ее и отнял у него все имение; я видал отца твоего перед кончиной...» И отец его представился его воображению, таков, каким он возвратился из Москвы, потеряв свое дело... и принужденный продать все, что у него осталось, дабы заплатить стряпчим и суду...» [1]

«Кто бы подумал! — восклицает уже не Вадим, но сам Лермонтов.— Столько страданий за то, что одна собака обогнала другую...» [2]

Далее описывается, как Вадим старается приобрести доверие и любовь слуг Палицына. Прослышав, что Пугачев приближается к местам, где находится вотчина Палицына, Вадим предвидит удобный случай отомстить своему врагу, он поднимает крестьян Палицына на восстание и становится во главе отряда.

Как видим, фабула лермонтовского романа поразительно совпадает в этой части с историей Владимира Дубровского, который, так же как и Вадим, становится атаманом восставших крестьян из желания отомстить виновнику смерти отца.

---

[1] Лермонтов, т. VI, с. 17—18 и 22.

[2] Там же, с. 19.

Но если даже допустить, что сходство это обусловлено традицией «разбойничьих» сюжетов, то завязка в обоих романах — история с борзой собакой и возобновившаяся затем старинная тяжба о землях — заставляет думать, что в основе их лежит какой-то общий источник.

Известно, что в рукопись «Дубровского» Пушкин просто вшил писарскую копию с подлинного дела козловского уездного суда «О неправильном владении поручиком Иваном Яковлевым сыном Муратовым имением, принадлежащим гвардии подполковнику Семену Петрову сыну Крюкову, состоящим Тамбовской губернии Козловской округи сельце Новопанском» [1].

Дело это началось еще в 1826 году и решилось в козловском уездном суде в 1832 году в пользу Крюкова. Право было на стороне Муратова, но документ, подтверждавший это право, сгорел. Суд не пожелал разобрать дело по существу и вынес решение в пользу Крюкова. Нежелание суда войти в суть дела объяснялось просто: Крюков был важный барин, богатый помещик, владелец трех тысяч душ, а у Муратова было только одно небольшое поместье. Срок, положенный на обжалование судебного решения, Муратов пропустил. Только в октябре 1832 года, когда уже было отдано распоряжение отобрать у него имение, он начал снова хлопотать и для этого явился в Москву [2].

Пушкин, находившийся в октябре 1832 года в Москве, узнал об этом деле от П. В. Нащокина и через его поверенного, Д. В. Короткого, чиновника Опекунского совета, достал копию подлинного судебного решения [3].

Лермонтова в это время в Москве уже не было. В начале августа того же года он переехал с бабушкой в Петербург. Однако эту историю он мог узнать из другого источника.

В Петербурге Арсеньева постоянно посещала дом Лонгиновых. «Я знал ее лично и часто видал у матушки, которой она по мужу была родня»,— вспоминал

---

[1] В. Е. Якушкин. А. С. Пушкин. Из черновых его бумаг.— «Русская старина», 1887, № 9, с. 545—551.

[2] А. С. Пушкин. Соч. в 3-х томах. Общая редакция А. Слонимского, т. III. М.—Л., Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1937, с. 690 (Объяснения Б. В. Томашевского к «Дубровскому»).

[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 9-ти томах. Под общей редакцией [Ю. Г. Оксмана] и М. А. Цявловского, т. VII. М., «Academia», 1938, с. 847.

М. Н. Лонгинов [1]. Мать М. Н. Лонгинова, Мария Александровна, жена статс-секретаря Н. М. Лонгинова, была дочерью тамбовской помещицы Прасковьи Александровны Крюковой, с которой Елизавету Алексеевну Арсеньеву связывала старинная и крепкая дружба. Сохранились письма Арсеньевой к П. А. Крюковой [2]. По этим письмам видно, что в 1834—1837 годах они продолжали поддерживать и по почте откровенные и дружеские отношения, сообщая друг другу последние новости и обращаясь ко взаимным услугам.

В 1835 году, пересылая Лермонтову «мех черный под сюртук», Арсеньева отправляет его к своей соседке П. А. Крюковой в ее тамбовское имение, а та пересылает его в Петербург, в адрес дочери. «Уведомь, часто ли ты бываешь у Лонгиновой»,— спрашивает Арсеньева внука в одном из своих писем» [3].

Постоянно встречаясь и переписываясь с Крюковыми, Е. А. Арсеньева, несомненно, знала от них подробности многолетней незаконной тяжбы их тамбовского соседа и, вероятно, родственника, подполковника Крюкова, с обедневшим Муратовым,— тяжбы, разбиравшейся, кстати сказать, в том самом Козлове, через который пролегал постоянный тракт из Москвы на Чембар [4].

Если же вспомнить свидетельство Меринского о том, что роман Лермонтова был основан «на истинном происшествии, по рассказам его бабушки» [5], становится понятным казавшееся раньше необъяснимым совпадение в «Дубровском» и в «Вадиме»: завязка обоих романов восходит, таким образом, к одному и тому же источнику, о котором Пушкин знал от Нащокина и Короткого, а Лермонтов — через Крюковых, со слов бабки. Недаром в лермонтовском романе упомянута деталь, очевидно подсказанная подлинным фактом: отец Вадима «возвратился из Москвы», проиграв свое дело.

Итак, совпадение с «Дубровским» объясняется общим источником.

---

[1] «Соч. М. Н. Лонгинова», т. I. М., Изд-во Л. Э. Бухгейма, 1915, с. 47.

[2] Л. Модзалевский. Письма Е. А. Арсеньевой к П. А. Крюковой.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 641—656.

[3] Лермонтов, т. VI, с. 741.

[4] Там же.

[5] А. Меринский. Воспоминание о Лермонтове.— «Атеней», 1858, № 48, с. 300.

Припомнив, что Вадим переходит на сторону Пугачева, подобно Швабрину, и зная, что «Капитанская дочка» и «Вадим» задуманы в одно и то же время, мы уже вправе предполагать и на этот раз, что сходство в судьбах героев объясняется общим источником.

Поэтому обратимся к источникам.

3

Первое исследование об источниках «Вадима» появилось в 1914 году. Это три главы в монографии С. И. Родзевича «Лермонтов как романист» [1]. Произведения Лермонтова проанализированы в этой книге «с точки зрения наличности в них элементов западного, по преимуществу французского влияния» [2]. Других задач автор книги перед собою и не ставил. И на многочисленных примерах попытался доказать, что «Вадим» и по теме, и по фабуле, и по образам восходит к произведениям Гюго, Вальтера Скотта, Шиллера, Байрона, Шатобриана, Альфреда де Виньи, Марлинского и Загоскина. Основываясь на ложной предпосылке, что Лермонтов в своей работе опирался на одни лишь литературные источники, Родзевич неизбежно пришел к ложному выводу. По его словам, «Вадим» — это «пестрый узор, вышитый по заимствованной канве».

Что же касается эпохи и места действия, как они изображены в «Вадиме», то Родзевичу кажется, что «колорит эпохи и места действия намечен поверхностными мазками» и что назвать этот роман историческим «вряд ли возможно, если иметь в виду... наличность тех элементов, которые характеризуют исторический роман В. Скотта и его учеников» [3].

Родзевич находит, что «Вадим» не похож на исторические романы Вальтера Скотта и его подражателей. Самобытность и оригинальность лермонтовского романа он принимает за его недостатки. Но мы видим в этом достоинства — и тем большие, что «Вадим» представляет собою первый в русской литературе опыт романа о пугачевском восстании.

Это можно доказать, если обратиться к анализу источ-

---

[1] С. И. Родзевич. Лермонтов как романист. Киев, 1914.
[2] Там же, с. V.
[3] Там же, с. 21.

ников исторических, хотя некоторым и современным исследователям прозы Лермонтова продолжает казаться, что «вопрос об исторических источниках его романа не имеет большого значения» [1].

Но даже и тот исследователь, которому прежде других стало ясно, что «юноша Лермонтов был первый русский автор, нашедший историко-художественный интерес в событиях пугачевского восстания», и тот может только неопределенно заметить, что действие «Вадима» протекает «в одной из местностей Восточной России» [2].

Между тем нам становится окончательно ясным, что в работе над «Вадимом» Лермонтов опирался на материал, связанный исключительно с пензенским краем [3], где находилось имение Е. А. Арсеньевой Тарханы и поместья ее родни — Столыпиных. Легко доказать, что Лермонтов описал как раз те места, где было имение бабки.

Указание на то, что действие романа развертывается в Пензенской губернии, можно найти в самом тексте. В романе неоднократно упоминаются реки Сура и Ока («Дом Бориса Петровича стоял на берегу Суры»). Сура протекает по Пензенской губернии и лишь перед слиянием с Волгой течет в пределах Симбирской. Ока до начала XIX века служила естественной границей пензенской провинции с севера [4]. Кроме этого, целый ряд деталей пейзажа подтверждает, что Лермонтов изобразил в «Вадиме» природу того края, в котором прошло его детство.

Описанные в романе события Лермонтов приурочил к летним месяцам 1774 года. Это подтверждает, что он воссоздал в «Вадиме» эпизоды пензенского восстания.

В июле 1774 года Пугачев, избегая преследования Михельсона, переправился у Кокшайска на правую сторону Волги и через Ядрин, Алатырь, Саранск и Пензу двинул-

---

[1] Б. Томашевский. Проза Лермонтова и западноевропейская литературная традиция.— «Литературное наследство», т. 43-44, с. 481.

[2] С. Н. Дурылин. Как работал Лермонтов. М., «Мир», 1934, с. 100.

[3] И. Андроников. Жизнь Лермонтова. М., Детгиз ЦК ВЛКСМ, 1939, с. 30—31; Г. Нефедов. Пензенский край в творчестве М. Ю. Лермонтова.— «Сталинское знамя», 1939, № 165.

[4] Н. Прозин. Очерки Пензенской губернии.— «Пензенские губернские ведомости», 1862, №№ 6, 7, 8.

ся к югу, на Саратов. И сразу же крестьянские восстания вспыхнули в Симбирской, Пензенской, Саратовской, Нижегородской и Тамбовской губерниях. «Возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции,— писал Пушкин в «Истории Пугачева».— Довольно было появления двух или трех злодеев, чтобы взбунтовать целые области. Составлялись отдельные шайки... и каждая имела у себя своего Пугачева» [1].

Стремительно уходя на юг, Пугачев и его штаб не могли руководить многочисленными отрядами своих сторонников. И восстание пензенских крестьян не прекращалось даже после окончательного поражения Пугачева под Черным Яром.

Лермонтов в своем романе отразил именно эту характерную черту пензенского восстания — «пугачевщину без Пугачева».

Пенза была занята Пугачевым первого августа; к этому времени вся провинция, верст на пятьсот в округе, была уже охвачена восстанием. Центром его стали северные уезды — Краснослободский, Керенский и Нижне-Ломовский.

Сильные отряды крестьян и казаков приступом взяли Краснослободск. Крепостной Евстигнеев, назвавшийся, по примеру Пугачева, Петром III, взял Инсар, Троицк, Наровчат и Керенск, повесил воевод и дворян и учредил свое правление. Верхний и Нижний Ломов сдались крепостному Евстратову. «Дворянство обречено было погибели,— писал Пушкин.— Во всех селениях, на воротах барских дворов висели помещики или их управители». Кто успел — бежали из родовых вотчин и спасались в лесах: Большой Мокшанский лес в Краснослободском уезде «обратился в место кочеванья помещичьих таборов. Здесь в телегах, каретах и кибитках странствовали с места на место целые семьи господ с немногими верными слугами» [2].

Академик А. Н. Крылов, симбирский уроженец, сообщает в своих мемуарах, что отец его, родившийся в 1830 году, «будучи мальчиком, знал еще тех почтенных старцев, которые в молодости видели Пугачева и помнили его

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. IX, ч. I. Изд-во АН СССР, 1950, с. 69.

[2] И. Беляев. Пугачевский бунт в Краснослободском уезде.— «Пензенские губернские ведомости», 1869, № 15.

поход через Симбирскую губернию до с. Исы Пензенской губернии» [1].

Ясно, что Лермонтов, который был гораздо старше отца Крылова, слышал о расправе пугачевцев с помещиками и приказчиками от таких же почтенных старцев. В 20-х годах много было их еще среди крепостной дворни в Тарханах и среди соседей-помещиков. Хорошо помнил пугачевские времена Василий Григорьевич Шубенин — свекор кормилицы Лермонтова Лукерьи Шубениной [2]. Навещая свою «мамушку», Лермонтов, конечно, не раз слышал о том, кого и как убили и чьи усадьбы сожгли пугачевцы. Иначе и быть не могло: по словам саратовского краеведа Андрея Леопольдова, народ еще и в 1840-х годах продолжал вести исчисление годам «до Пугачева и после Пугачева».

Рассказы старожилов легли в основу таких сцен «Вадима», как сцены расправы с женой Палицына, бегства Палицына в лес, казни старого помещика из села Красного.

Наименование села Красного встречается в романе несколько раз подряд, в одном случае оно даже подчеркнуто [3]. Мы знаем, что, подчеркивая в своих рукописях слова, Лермонтов тем самым давал понять, что имеет в виду подлинное наименование или событие. Действительно, среди населенных пунктов Пензенской губернии имеется большое село Красное, а в соседстве с ним, всего лишь в восьми верстах,— село Столыпино, в первой четверти XIX века принадлежавшее сенатору Аркадию Алексеевичу Столыпину, брату Е. А. Арсеньевой [4]. Таким образом, рассказ Лермонтова о судьбе «упрямых господ села *Красного»* [5] восходит, очевидно, к подлинной истории владельцев этого имения.

---

[1] Академик А. Н. Крылов. Мои воспоминания, изд. 2-е. М., 1943, с. 7.

[2] П. Вырыпаев. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова.— «Земля родная», литературно-художественный альманах, кн. 6. Пензенское обл. изд-во, 1950, с. 172.

[3] Лермонтов, т. VI, с. 109.

[4] «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей», под редакцией В. П. Семенова, т. II (Среднерусская черноземная область). СПб., 1902, с. 352.

[5] Лермонтов, т. VI, с. 109.

Мы можем даже высказать предположение, что с этим имением связано имя Акинфовых.

Среди казненных Пугачевым пензенских дворян был саранский помещик майор Василий Акинфов. Двор и винокуренные заводы его за рекой Сурой были разграблены, а крестьяне и дворовые люди «пристали» к Пугачеву [1].

Лермонтов не мог не знать обстоятельств его гибели.

Три дочери Василия Ниловича Акинфова избежали судьбы отца и впоследствии поселились в Москве. Старшая — Елизавета Васильевна вышла замуж за Дмитрия Лужина, вторая — Варвара за Григория Кошелева, третья — Екатерина за Александра Матвеевича Шеншина.

Живя в Москве на Малой Молчановке, Лермонтов часто бывал в семье Лужиных, а внуки Акинфова — Владимир и Николай Шеншины — были его ближайшими друзьями.

Всех трех дочерей Акинфова спасла во время нашествия Пугачева их няня. Старушка была жива еще в 1830 году [2], и Лермонтов — об этом можно говорить совершенно уверенно — слышал этот рассказ из уст очевидицы. Уж слишком конкретны подробности расправы с помещиками из «Красного» и, несмотря на верность автора канонам романтической прозы и романтической живописи, слишком «портретны» изображения! Напомню описание отца и трех дочерей, ожидающих казни от рук пугачевцев.

Караван телег, нагруженных отнятым добром, расположился на отдых. Слышны рассказы восставших про «богатые добычи» и сопротивление господ, которые «осмелились оружием защищать свою собственность».

Взор Вадима упадает на одну из кибиток. Рогожа откинута.

Из кибитки показалась «седая, лысая, желтая, исчерченная морщинами, угрюмая голова старика, лет 60 или более; его взгляд был мрачен, но благороден, исполнен... холодной гордости... большие серые глаза, осененные тяжелыми веками, медленно, строго пробегали картину, развернутую перед ними случайно...»

«Вот показалась из-за рогожи другая голова, женская, розовая, фантастическая головка, достойная кисти Рафаэля, с детской полусонной, полупечальной, полурадост-

---

[1] «Пугачевщина», изд. Центроархива, т. II, с. 392.
[2] «Род дворян Акинфовых». Симбирск, 1899, с. 19.

ной, невыразимой улыбкой на устах: она прилегла на плечо старика так беспечно и доверчиво, как ложится капля росы небесной на листок, иссушенный полднем, измятый грозою и стопами прохожего, и с первого взгляда можно было отгадать, что это отец и дочь...»

Другая кибитка была совершенно раскрыта, и в ней находились две девушки, «две старшие дочери несчастного боярина. Первая сидела и поддерживала голову сестры, которая лежала у ней на коленях: их волосы были растрепаны, перси обнажены, одежды изорваны...» [1]

Далее повествуется о том, как происходило нападение на господский дом, как меньшая дочь, стоя за простенком, заряжала для мужчин ружья...

Желая насладиться видом смерти и мук, Вадим подает мысль сообщникам казнить пленных тут же, не ожидая старшин. Старика и младшую дочь выволакивают из кибитки и растаскивают в разные стороны. Услышав неотвратимый приговор, девушка падает мертвой. Старика вздергивают, но конец веревки взвивается, повешенный падает, ударяется оземь, нога его хрустнула... Два ножа, воткнувшись старику в горло, обрывают его проклятия.

«Божественная, милая девушка! — начинается заключительная сентенция автора,— и ты погибла... один удар — и свежий цветок склонил голову!..» [2]

На эту сцену «равнодушно и любопытно» смотрит Вадим, чье «неуместное слово было всему виною» [3].

Портреты старика и его дочерей «вписаны» в картину грозного веселия восставших, изображенного в живописной манере, напоминающей уже не Рафаэля, а контрасты, характерные для творчества Рембрандта:

«...началась пирушка... Сначала веселый говор пробежал по толпе, смех, песни, шутки, рассказы, все сливалось в одну нестройную, неполную музыку, но скоро шум начал возрастать, возрастать, как грозное крещендо оркестра; хор сделался согласнее, сильнее, выразительнее; о, какие песни, какие речи, какие взоры, лица, телодвижения, буйные, вольные! Какие разноцветные группы! яркое пламя костров, согласно с догорающим западом, озаряло картину пира...» [4]

---

[1] Лермонтов, т. VI, с. 109—110.
[2] Там же, с. 113.
[3] Там же, с. 114.
[4] Там же, с. 111.

Вернемся, однако, от живописного стиля романа и от его звукописи к историческим фактам, которыми располагал Лермонтов.

В селе Родниках Мокшанского уезда Пензенской губернии пугачевцы убили помещика Михаила Киреева «с сыном Киприаном и с верным шутом Вакою» [1].

Дочь этого Киреева, Варвара Михайловна, доводилась родной бабкой другу Лермонтова, Святославу Раевскому, и, как написано в его «Объяснении», «оставшись сиротой во времена Пугачева, воспитывалась в доме Столыпиных, соседей своих по деревне, вместе с Елизаветою Алексеевною» Столыпиной, впоследствии по мужу Арсеньевой [2].

Ясно, что Лермонтов не раз слышал эту историю, которая, таким образом, составляла часть семейной хроники столыпинского дома. Несомненно, что ему был известен рассказ об управляющем имением Тарханы, которое в ту пору принадлежало еще помещику Нарышкину. По словам П. Шугаева, «этот управляющий, Злынин, был... в Тарханах во время нашествия одного из отрядов Емельяна Пугачева, командир которого опрашивал крестьян, нет ли у кого жалоб на управляющего, но предусмотрительный Злынин еще до прибытия отряда Пугачева сумел ублаготворить всех недовольных, предварительно раздавши весь почти барский хлеб, почему и не был повешен [3].

«Штаб-квартира» этого отряда, возглавлявшегося крестьянином села Каменки Иваном Ивановым, находилась в лесу «Малиновом», между Тарханами и Чембаром [4]. Указывают и другие места, где был стан пугачевцев,— возле села Колдуссы, тоже недалеко от Тархан. В Колдуссах пугачевцы расправились с помещиком Барятинским [5]. Впрочем, сохранилось предание, что и в самих

---

[1] «Записки М. Н. Киреева. Мой дед М. М. Киреев. Эпизод из пугачевского бунта».— «Русская старина», 1890, № 7, с. 3.

[2] Н. Л. Бродский. М. Ю. Лермонтов. Биография, т. I. 1814—1832. М., Гослитиздат, 1945, с. 55. Ср.: П. Е. Щеголев. Книга о Лермонтове, т. I. Л., «Прибой», 1929, с. 262.

[3] П. Шугаев. Из колыбели замечательных людей.— «Живописное обозрение», 1898, № 25, с. 501.

[4] С. Петров. Пугачев в Пензенском крае. Пензенское обл. изд-во, 1950, с. 105.

[5] Г. Нефедов. Пензенский край в творчестве М. Ю. Лермонтова.— «Сталинское знамя», 1939, № 165.

Тарханах под полом часовни «господа похоронены и что всех их Пугачев перебил еще в старину» [1].

Известно, что когда Лермонтов был ребенком, то, кроме Акима Шан-Гирея, у бабушки в Тарханах («чтобы Мишенька не скучал») воспитывалось около десяти мальчиков, в их числе, как пишет П. А. Висковатов, Николай и Петр Максутовы [2].

Работающий инженером в Министерстве торговли СССР Виктор Иванович Соловьев, со слов тещи Л. П. Берг — внучки Петра Максутова,— рассказывал мне, что «Елизавета Алексеевна Арсеньева привозила Лермонтова в Нижний Ломов к мальчикам Максутовым», что имение их находилось возле Нижнего Ломова, а недалеко от него сохранились подземные ходы, вырытые еще во времена Пугачева.

Начав свой роман описанием сцены, происходящей на монастырской паперти, Лермонтов, очевидно, имел при этом в виду Нижне-Ломовский монастырь, находившийся верстах в пятидесяти от Тархан и с давних пор славившийся своею «нерукотворенною иконою божьей матери», которую местное духовенство с немалой для себя выгодою возило по городам и деревням Пензенской и даже соседних губерний — Тамбовской и Саратовской.

Монастырь этот расположен на высокой горе, в двух верстах от города Нижнего Ломова, близ деревни Норовка, лежащей под горой, за оврагом. «Обитель обнесена кругом каменною стеною,— повествует историк монастыря,— вход в обитель идет через большие ворота, называемые святыми, с изображением на них величественной картины Страшного суда» [3].

«Нищий стоял сложа руки,— пишет в своем романе Лермонтов,— и рассматривал дьявола, изображенного поблекшими красками на св. вратах...»; «Народ, столпившийся перед монастырем,— читаем дальше,— был из ближней деревни, лежащей под горой...»; «На полусветлом небосклоне рисовались зубчатые стены, башни и церковь...» «...между царскими и боковыми дверьми был не-

---

[1] Н. Рыбкин. Материалы к биографии Белинского и Лермонтова.— «Исторический вестник», 1881, октябрь, с. 373.

[2] Висковатов. Биография, с. 23.

[3] [Архимандрит Гедеон]. Нижне-Ломовский Казанский второклассный мужской монастырь. Н.-Ломов, 1911, с. 6.

рукотворенный образ...» [1]. Видно, Лермонтов действительно описал Нижне-Ломовский монастырь, который в летописях пензенского восстания 1774 года занимает особое и важное место.

Когда отряд восставших крестьян, предводительствуемый крепостным Евстратовым, захватил Нижний Ломов, то «сам архимандрит Нижне-Ломовского монастыря Исаакий с четырьмя иеромонахами и двумя иеродиаконами вышел с крестом и иконами навстречу *царскому полковнику*. С городских колоколен раздавался звон, по улицам толпился народ с непокрытыми головами» [2].

Как видно из показаний самого Исаакия перед судом, он «за страх смертный» о здравии Пугачева «молебен служил, а на эктиньях его, злодея, под именем покойного императора Петра III произносил» [3]. Поэтому, когда правительственные войска подавили восстание, Исаакий был лишен сана и монашества и сослан в Сканову пустынь, где и умер [4]. Но память об этом событии долго еще жила в пензенских помещичьих усадьбах. Долго еще поведение архимандрита Исаакия служило темою для обсуждений, тем более что торжественно встречали пугачевцев не в одном Нижнем Ломове. В Краснослободске пугачевцы «встречены были... с церковною церемониею иеромонахом Паисием» [5], в Саранске — перепуганным архимандритом Александром, в Пензе — иеромонахами Исаией, Германом и Ионой [6].

Теперь становится наконец понятным, почему на полях рукописи «Вадима» Лермонтов нарисовал старых монахов.

---

[1] Лермонтов, т. VI, с. 8, 60, 10, 57.

[2] И. И. Дубасов. Очерки из истории Тамбовского края, вып. II. М., 1883, с. 87. Ср.: Г. Нефедов. Пензенский край в творчестве М. Ю. Лермонтова.— «Сталинское знамя», 1939, № 165.

[3] Г. И. Петерсон. Пугачевщина в городах и уездах Пензенской губернии.— «Справочная книга Пензенской губернии на 1899 год», с. 158.

[4] Архимандрит Евпсихий. Историко-статистическое описание Нижне-Ломовского Казанского второклассного мужского монастыря. Пенза, 1891, с. 35 и 42. Ср.: «Русский биографический словарь», том «Ибак — Ключарев», с. 140.

[5] И. И. Дубасов. Очерки из истории Тамбовского края, вып. II, с. 86.

[6] Г. И. Петерсон. Пугачевщина в городах и уездах Пензенской губернии, цит. изд., с. 163.

Таким образом, выясняется, что изображение пугачевского восстания в лермонтовском романе обосновано строго исторически.

Несомненно также, что Лермонтову были известны обстоятельства убийства капитана Данилы Столыпина, с которым бабка Лермонтова была в близком родстве. Столыпин был убит пугачевцами в Краснослободске [1]. В списке дворян, «убитых до смерти» в 1773—1774 годах, мы, кроме Данилы Столыпина, находим подпоручика Василия Хотяинцова. Сын его «Фома Васильев Хотяинцов» был крестным отцом Лермонтова. Кроме того, в этом списке — имена многих Мартыновых, Мансыревых, Киреевых, Мещериновых, Мосоловых. С Мещериновыми и Мосоловыми бабка Лермонтова находилась в родстве, потомки Киреевых, Мансыревых и Мартыновых принадлежали к числу ее хороших знакомых [2].

Рассказывая о том, как Борис Петрович Палицын решил скрыться от своих восставших крестьян в уединенной пещере, которой «народ дал... прозвание Чертова логовища», Лермонтов необычайно подробно, на трех с половиной страницах, описал местность и маршрут, коими должно было следовать Палицыну. Сообщил, что пещеры и подземные ходы служили прежде убежищами «от набегов татар, крымцев и впоследствии от киргизов и башкир», что последний набег башкир был в 1769 году [3]. Описывая овраг возле деревни Палицына, упомянул, что по дну протекал «гремучий ручей» [4].

Уже само описание это — необыкновенно подробное, с историческими справками, с обстоятельным указанием маршрута — невольно наводило на мысль, что Лермонтов имел в виду какое-то конкретное место. И действительно, выясняется, что он описал местность, находящуюся в девяти-десяти километрах от Тархан, между селами Нижние Поляны и Тархово, которыми владели дальние родственники Арсеньевой, помещики Мосоловы. В лесистом овраге между этими селами доныне сохранилась пещера, около

---

[1] И. Беляев. Пугачевский бунт в Краснослободском уезде Пензенской губернии. Краснослободск, 1879, с. 12 и 19.

[2] «Ложный Петр III, или Жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Емельки Пугачева», ч. II. М., в вольной типографии Федора Любия, 1809, с. 160, 200, 209, 214, 216.

[3] Лермонтов, т. VI, с. 76—82.

[4] Там же, с. 71.

которой протекает «Гремучий» родник. П. Вырыпаев, прежний директор музея в селе Лермонтове (бывшем Тарханы), который установил это, пишет, что «если идти к... пещере от села Полян, то сначала приходится переплыть реку, версты две идти болотистой равниной, поросшей кустарником, затем начинается лес, по косогору тропинка ведет в овраг, где и находится пещера» [1].

Это описание в точности совпадает с лермонтовским: «...должно бы было переплыть реку и версты две идти болотистой долиной, усеянной кочками, ветловыми кустами, болото оканчивается холмом... тропинка... спустясь с него, поворачивала по косогору в густой и мрачный лес» [2].

По преданию, в этой пещере во времена Пугачева скрывались крестьяне. По болоту была проложена гать. Ехал по этой гати помещик на тройке. Скрывавшиеся в пещере крестьяне погнались за ним. Помещик, увидев, что попал в засаду, свернул с гати, поскакал прямо по болоту и утонул в трясине вместе со своей тройкой [3].

Заметим, что в 1774 году владелец села Тархово Федор Мосолов был убит пугачевцами [4]. Сын его, генерал А. Ф. Мосолов, родственник и знакомый бабушки Лермонтова, часто навещавший Тарханы, на всю губернию прославился жестоким обращением с крепостными. Стоит прибавить, что он разделил участь отца: крестьяне убили его. Правда, это случилось уже после того, как Лермонтов оставил работу над романом о пугачевском восстании [5].

Вернемся к описанию пещеры и отметим, что, изображая конкретную местность, а может быть, и конкретные факты из жизни владельцев Тархова и Нижних Полян, Лермонтов при этом представил в своем романе явление распространенное и особенно характерное для картины пугачевского восстания именно в правобережных губерниях. Известны многие случаи, когда симбирские,

---

[1] П. Вырыпаев. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова.— «Земля родная», литературно-художественный альманах, кн. 6. Пенза, 1950, с. 173.

[2] Лермонтов, т. VI, с. 76.

[3] П. Вырыпаев. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова.— «Земля родная», кн. 6, с. 173—174.

[4] Пушкин. История Пугачева. Примеч. к главе восьмой.

[5] В 1841 г.

пензенские, саратовские помещики скрывались от Пугачева и его сообщников в подземных пещерах и норах.

В одной версте от Лесной Нееловки — саратовского имения брата Е. А. Арсеньевой Афанасия Алексеевича Столыпина (где Лермонтов неоднократно бывал), «в западной стороне, в лесу, находятся так называемые «пещерные норы». Старожилы об этих норах говорят разноречиво: одни рассказывают, что в норах этих во время пугачевского бунта спасался местный помещик, другие говорят, что в норах тех в старинное время находилась шайка разбойников» [1].

В XXI главе своего романа Лермонтов описывает, как Юрий и Ольга вползают в пещеру, где скрывается старый Палицын:

«— Явно,— говорит Юрий,— что в пещере есть жители... кто они таковы?.. если они разбойники, то им нечего с нас взять, если изгнанники, подобно нам — то еще менее причин к боязни» [2].

Лермонтов подчеркнул в рукописи название пещеры — признак того, что он использовал подлинное наименование. Очевидно, какая-нибудь из известных ему пещер называлась «Чертовым логовищем» — может быть, та, что сохранилась вблизи от Тархан, или возле Лесной Нееловки, или, как уже было сказано, возле Нижнего Ломова, где Лермонтов бывал у Максутовых. Сохранились такие же пещеры около Пачелмы Пензенской области: там Лермонтов тоже бывал [3]. Много было их и в других местах, по которым прошел Пугачев. Недаром описание этих пещер Лермонтов начал словами:

«До сих пор в густых лесах Нижнегородской, Симбирской, Пензенской и Саратовской губернии... любопытный может видеть пещеры, подземные ходы, изрытые нашими предками» [4].

Все перечисленные Лермонтовым губернии в 1774 году были охвачены огнем восстания. Прослышав о приближении Пугачева, крестьяне вооружались чем попало и подымались на помещиков. И нет сомнений, что разговор

---

[1] Ф. В. Казанский. Село Лесная Нееловка Саратовского уезда.— «Саратовские губернские ведомости», 1879, № 273, с. 5.

[2] Лермонтов, т. VI, с. 98.

[3] Г. Нефедов. Пензенский край в творчестве М. Ю. Лермонтова.— «Сталинское знамя», 1939, № 165.

[4] Лермонтов, т. VI, с. 75—76.

Рисунки Лермонтова на рукописи «Вадима». Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград

крестьян о Пугачеве Лермонтов описал в своем романе в соответствии с теми преданиями, которые любовно хранились в народе.

«— Чай, много с ним рати военной,— спрашивает один из мужиков,— чай, казаков-то видимо-невидимо... а что, у него серебряный кафтан-то?

— Эко диво серебряный,— отвечает другой,— чай, не только кафтан, да и сапоги-то золотые...» [1]

В этом коротком диалоге Лермонтов, безусловно, запечатлел старинные сказы о «крестьянском царе».

Не из книг, а из крестьянских преданий заимствовал Лермонтов и фамилию одного из ближайших сподвижников Пугачева — Белобородова. Оттого-то он, вероятно, и называется в романе Белбородкой.

Внимательное изучение пензенского восстания могло подсказать Лермонтову и судьбу его главного героя: в пугачевском восстании приняли участие несколько пензенских дворян.

При поражении партии пугачевского полковника Каменского под Баландой среди девяноста семи пленных оказались три помещика: «Шацкого уезда с. Рамзы — отставной корнет Василий Дементьев Васильев, Нижне-Ломовского уезда — отставной подпоручик Николай Никитич Чевкин с женой и Александр Львов Евсюков» [2].

Интересно, что Чевкин, подобно Вадиму, примкнул к пугачевцам «из ненависти к соседу», помещику Левашову, из желания отомстить «за обиды и притеснения последнего» [3].

Итак, Лермонтов изобразил в «Вадиме» подлинные исторические события — эпизоды пугачевского восстания в Пензенской губернии. Эту тему подсказала ему русская действительность 20—30-х годов. Бесправное положение крестьян, ужасы крепостного права, чудовищная эксплуатация крестьянского труда, бывшие причиной восстания в XVIII веке, были причиною целого ряда крестьянских восстаний и в 30-х годах. Так же как и во времена Пугачева, помещики секли крестьян розгами и «кошками», пытали раскаленным железом, били батогами, насильничали, били малолетних, били беременных, забивали и за-

---

[1] Лермонтов, т. VI, с. 70.

[2] С. Тхоржевский. Пугачевщина в помещичьей России. М., 1930, с. 130.

[3] Там же, с. 132.

секали до смерти. Лермонтов лично знал извергов крепостников — пензенскую помещицу Давыдову, Мосолова [1].

Основным материалом для романа была хорошо известная Лермонтову жизнь пензенских крестьян и помещиков. Историческими источниками послужила семейная хроника Столыпиных. Рассказы о восстании, о расправах пугачевцев с помещиками и приказчиками, о сопротивлении, оказанном им господами из села Красного и капитаном Михайлой Киреевым, о гибели Данилы Столыпина, о подземных пещерах, о поведении настоятеля Нижне-Ломовского монастыря Исаакия Лермонтов слышал и от бабки, и от деда Афанасия Алексеевича Столыпина, и от Григория Даниловича Столыпина, и от его жены Натальи Алексеевны — родной сестры бабки. Слышал он подобные рассказы и от соседей-помещиков, от крестного отца своего Хотяинцова, от знакомых и от друзей — Лужиных, Шеншиных, Святослава Раевского.

Совсем по-другому рассказывали про «пугачевский год» дворовые и крепостные люди Арсеньевой, передававшие легенды о серебряном кафтане и о золотых сапогах на «батюшке Пугачеве» и наряду с этим подлинные факты о пребывании пугачевцев в Колдуссах, в «Малиновом лесу» и в Тарханах, о хитрости приказчика Злынина.

Следовательно, в распоряжении Лермонтова был богатый фактический и фольклорный материал о пугачевском движении в Пензенском крае.

Если вспомнить, что «История Пугачева» была написана Пушкиным на основании огромного материала, впервые собранного им самим, тем более ясной становится новизна и трудность темы, которая привлекла восемнадцатилетнего Лермонтова.

Обездоленного дворянина Вадима, доведенного до состояния последнего нищего, Лермонтов превратил в сообщника и вдохновителя восставших крестьян.

Получилась ситуация, снова напоминающая «Дубровского». Прямо поразительно, как замысел Лермонтова и в этой части напоминает пушкинский.

Но если в работе над этой темой обнаружились трудности, побудившие даже Пушкина оставить роман о Дубровском незавершенным, то тем большие трудности встали перед Лермонтовым.

---

[1] А. Храбровицкий. Дело помещицы Давыдовой.— «Литературное наследство», т. 57, с. 243—247.

От истории молодого дворянина Дубровского, порывающего со своим классом, Пушкин перешел к истории Шванвича не случайно. Дубровский порывает со своим классом, движимый чувством личной мести, Дубровский — благородный разбойник. Переход Шванвича на сторону Пугачева, обусловленный исторически, превращал его в участника крестьянской революции.

Участие же в пугачевском восстании Вадима объясняется одной лишь жаждой мести. Восстание — самый удобный повод для свершения им казни над своим оскорбителем. Поэтому для того, чтобы оправдать участие Вадима в крестьянском восстании, Лермонтов превратил его в раба, добровольно вступающего в число крепостных слуг Палицына. Цель Вадима — мщение за свое поруганное человеческое достоинство.

В центре романа о пугачевщине оказался не Пугачев, а гордый мститель Вадим, характер которого не наделен ни историческими, ни национальными, ни ясными классовыми чертами. Вадим — одиночка, абстрактный романтический образ.

Любопытно, что, наделив своего героя именем, заимствованным из арсенала декабристской поэзии, Лермонтов не дал ему фамилии. Это понятно, ибо Вадим и Ольга воплощают в человеческих обликах демонское и ангельское начала. А мир реальных людей — Палицыны, крестьяне, казаки, Орленко, солдатка, верный Федосей, слуги, нищие...

Патетическая речь, уместная в монологах Вадима, оказывалась совершенно непригодной, когда нужно было передать живую речь казаков или крестьян. И не случайно Лермонтов ищет для своих массовых сцен новые выразительные средства и, подражая народному языку, вводит в повествование крестьянские речения и поговорки.

Согласовать эти идейные и стилистические противоречия в своем романе Лермонтов так и не сумел и прекратил работу над ним на XXIV главе.

Но в законченных главах, которые по удивительной смелости изображения революционной борьбы крестьян против помещиков и крепостнического строя приближаются к радищевскому «Путешествию из Петербурга в Москву», Лермонтов, опираясь на фольклор и на собранный им исторический материал, первым в русской литературе воплотил тему пугачевского восстания.



Лермонтов и Н. Ф. И.

1

Аким Шан-Гирей, близкий родственник Лермонтова, в пансионскую и университетскую пору живший с ним под одной кровлей, мемуарист, казалось бы, добросовестный и доброжелательный, писал в своих воспоминаниях, что «все стихотворения Лермонтова, относящиеся ко времени его пребывания в Москве, только детские шалости», которые «ничего не объясняют и не выражают» [1].

Всецело приписывая влиянию Байрона трагический характер лермонтовской поэзии тех лет, Шан-Гирей был искренне убежден, что мрачные стихи Лермонтов сочинял, «чтобы казаться интереснее, так как байронизм и разочарование были в то время в сильном ходу», и что «никаких мрачных мучений, ни жертв, ни измен, ни ядов лобзания в действительности не было» [2].

Это наивное и глубоко ложное суждение о юношеской лирике Лермонтова доказывает только, что даже такой близкий к нему человек, как Шан-Гирей, немногое знал о его жизни и еще меньше понимал в его поэзии.

Составляя в 1860 году свои мемуары о Лермонтове, Шан-Гирей не сам, конечно, придумал распространенную легенду о байронизме. Он лишь повторил то, что писали о

---

[1] А. П. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов.— В кн.: Е. Сушкова. Записки, с. 363 и 364.
[2] Там же.

Лермонтове в те годы. «Надо сказать правду,— отмечал в 1861 году некрасовский «Современник»,— в наших критических статьях о Лермонтове гораздо более говорилось о байронизме и о Байроне, чем о нем». И, опровергая эту точку зрения, автор статьи, М. Л. Михайлов, решительно отказался считать Лермонтова за «покорного подражателя Байрона, какого хотят во что бы то ни стало видеть в нем» [1].

Повторяя чужие слова о лермонтовском байронизме, Шан-Гирей не только не прояснял, а, наоборот, всячески затемнял конкретный смысл лермонтовских стихотворений. Мысль же о том, что Лермонтов, старший его на четыре года, просто не хотел посвящать его в то время в свой внутренний мир, очевидно, даже не приходила ему в голову.

С добродушной иронией рассказывает Шан-Гирей случай, когда Лермонтов прочел ему «своего сочинения стансы «К***». «Меня ужасно интриговало,— пишет Шан-Гирей,— что значит слово с т а н с ы и зачем три звездочки? Однако ж промолчал, как будто понимаю» [2].

На самом деле многое он не понимал, а многое просто не помнил и, не располагая впоследствии фактами, объяснял непонятное для него самого происхождение лирических посвящений Лермонтова общими фразами о байронизме.

Шан-Гирей, как и многие современники, ошибался. Он видел в стихотворениях Лермонтова лишь то, что хотел видеть. В свою очередь, его утверждения воспринимались критикой и читающей публикой уже как факт непреложный: «родственник пишет...». И мало-помалу байронизм был объявлен основным, определяющим признаком лермонтовской поэзии.

Отрицать воздействие Байрона на европейскую поэзию, в частности на поэзию русскую, нет никаких оснований. «Властителем дум» молодежи двадцатых — тридцатых годов прошлого века Байрон, конечно, был. И в

---

[1] «Современник», 1861, № 2, февраль, отд. II, с. 318. (Заметка о Лермонтове. По поводу нового издания его сочинений). В кн. И. Ф. Масанова «Словарь псевдонимов» (т. I, М., 1941) на с. 526 указано, что автором этой статьи был поэт М. Л. Михайлов.

[2] А. П. Ш а н - Г и р е й. М. Ю. Лермонтов.— В кн.: Е. С у ш к о в а. Записки, с. 359.

России это засвидетельствовали и Пушкин, и Рылеев, и Кюхельбекер, да и сам Лермонтов:

И Байрона достигнуть я б хотел...

Дело не в отрицании явления, а в определении меры воздействия, ибо оно не лишило поэзию Лермонтова ни самородности, ни самобытности, не лишило своеобразия исторического, национального, личного,— не лишило по той причине, что вся поэзия Лермонтова была порождением не литературы, а прежде всего жизни, что все стихи, в которых Шан-Гирей и многие из его современников хотели видеть только старательные литературные имитации, на самом деле были отражением реальных событий лермонтовской биографии, в которых принимали участие совершенно реальные люди. Но для того чтобы это установить, потребовалось немало труда и времени.

2

Так, среди юношеской лирики Лермонтова уже давно обращал на себя внимание ряд стихотворений 1830—1832 годов, объединенных темой любви и измены. Четыре стихотворения этого цикла озаглавлены инициалами какой-то Н. Ф. И.

Первое из этих стихотворений, обозначенное буквами «Н. Ф. И...вой», относится к 1830 году. «Любил с начала жизни я угрюмое уединенье»,— признается Лермонтов вдохновительнице этого задушевного обращения и делится с ней сомнениями, которые прежде бережно таил от других:

Счастливцы, мнил я, не поймут
Того, что сам не разберу я,
И черных дум не унесут
Ни радость дружеских минут,
Ни страстный пламень поцелуя.

Мои неясные мечты
Я выразить хотел стихами,
Чтобы, прочтя сии листы,
Меня бы примирила ты
С людьми и с буйными страстями...[1]

[1] Лермонтов, т. I, с. 78.

Видно, что отношение Лермонтова к той, которая побудила его написать это стихотворение, было искренним и серьезным.

В стихотворении 1831 года «Романс к И.» молодой поэт снова обращается к этой же девушке, как к верному своему другу, который сумеет, по его мысли, защитить и оправдать его в глазах «бесчувственной» светской толпы:

Когда я унесу в чужбину
Под небо южной стороны
Мою жестокую кручину,
Мои обманчивые сны,
И люди с злобой ядовитой
Осудят жизнь мою порой,—
Ты будешь ли моей защитой
Перед бесчувственной толпой? [1]

Но уже из текста стихотворения, написанного летом 1831 года и адресованного Лермонтовым «К Н. И...», видно, что в их отношениях наступил трагический перелом. Новое посвящение начинается с горестного упрека:

Я не достоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила.

Уязвленный изменой любимой девушки, Лермонтов вспоминает в этом стихотворении о прежнем:

В те дни, когда, любим тобой,
Я мог доволен быть судьбой,
Прощальный поцелуй однажды
Я сорвал с нежных уст твоих;
Но в зной, среди степей сухих,
Не утоляет капля жажды.
Дай бог, чтоб ты нашла опять,
Что не боялась потерять;
Но... женщина забыть не может
Того, кто так любил, как я;
И в час блаженнейший тебя
Воспоминание встревожит!
Тебя раскаянье кольнет,
Когда с насмешкой проклянет
Ничтожный мир мое названье!
И побоишься защитить,
Чтобы в преступном состраданье
Вновь обвиняемой не быть! [2]

---

[1] Лермонтов, т. I, с. 187.
[2] Там же, с. 209—210.

О прощальном поцелуе снова говорится в стихотворении с утаенным обращением «К***»:

Я помню, сорвал я обманом раз
Цветок, хранивший яд страданья,—
С невинных уст твоих в прощальный час
Непринужденное лобзанье [1].

Речь здесь идет все о том же роковом разрыве с Н. Ф. И.

Всевышний произнес свой приговор,
Его ничто не переменит;
Меж нами руку мести он простер
И беспристрастно все оценит.
. . . .
Во зло употребила ты права,
Приобретенные надо мною,
И, мне польстив любовию сперва,
Ты изменила — бог с тобою! [2]

Тема измены и неизбежной разлуки составляет содержание еще одного стихотворения, относящегося к 1831 году, в заглавии которого снова стоит посвящение «К***»:

Не ты, но судьба виновата была,
    Что скоро ты мне изменила,
Она тебе прелести женщин дала,
    Но женское сердце вложила [3].

При внимательном чтении лирики 1831 года видно, что Лермонтов продолжал жестоко страдать от любви и ревности.

Я не хочу, чтоб сновиденье
Являло мне ее черты,—

пишет он в стихотворении «Ночь».

Я в силах перенесть мученье
Глубоких дум, сердечных ран.
Все,— только не ее обман [4].

Глубокое и чистое чувство, отравленное горечью несбывшихся надежд, проходит сквозь длинный ряд стихотворений 1831 года.

Печалью вдохновенный, я пою
О ней одной,—

признается поэт в стихотворении «Я видел тень блажен-

[1] Лермонтов, т. I, с. 190.
[2] Там же, с. 190.
[3] Там же, с. 299.
[4] Там же, с. 300.

ства»[1]. Действительно, прочитанные в новой связи, стихотворения эти раскрывают целую историю любви. В продолжение 1831—1832 годов Лермонтов постоянно обращается к этому драматическому эпизоду и посвящает ему «Виденье», «К***» («О, не скрывай, ты плакала об нем...»), «Стансы» («Не могу на родине томиться...»), «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Измученный тоскою и недугом...», «Когда последнее мгновенье...», «Сонет» («Я памятью живу с увядшими мечтами...») и целый ряд других. Получается стихотворный дневник, в котором Лермонтов отмечает основные события этого горестного романа.

Обращаясь в стихотворении, помеченном датой «Сентября 28», все к той же Н. Ф. И., Лермонтов вопрошает ее о своем счастливом сопернике:

Встречал ли он с молчаньем и слезами
Привет холодный твой,
И лучшими ль он жертвовал годами
Мгновениям с тобой?[2]

Около двух лет мучило Лермонтова неразделенное чувство к Н. Ф. И. И только в одном из последних стихотворений, к ней обращенных, он с упреком напомнил ей о своих «лучших годах», которыми ради нее жертвовал.

Стихотворениями, написанными весною 1832 года, заканчивается история юношеской любви, вдохновившей Лермонтова на создание этого «лирического дневника», посвященного неведомой нам Н. Ф. И.

История отношений с ней оказывается, таким образом, одной из центральных тем лирики 1831—1832 годов.

3

Начало этого цикла находится в так называемой XI лермонтовской тетради, которую поэт стал заполнять в июле. А к этому же времени относится «романтическая драма» Лермонтова — «Странный человек». На обложке ее чернового автографа выставлена дата «1831 года. Кончена 17 июля. Москва».

---

[1] Лермонтов, т. I, с. 225.
[2] Там же, с. 214.

Конфликт, положенный в основу этой драмы, совпадает с историей увлечения Лермонтова и совершенно так же кончается изменой. Лермонтов изобразил в пьесе девушку — Наталью Федоровну Загорскину, которая предпочла молодому поэту Арбенину его друга (в драме он назван Белинским). В одной из сцен студент Заруцкий читает стихотворения Арбенина, посвященные Наталье Федоровне Загорскиной. Это как раз те самые стихи, которые Лермонтов посвятил Н. Ф. И. В черновом варианте пьесы находится стихотворение «Когда я унесу в чужбину...», в отдельном автографе известное под названием «Романс к И...». Все это невольно наводит на мысль, что сходство инициалов Н. Ф. И. с именем Натальи Федоровны Загорскиной не случайно. В предисловии к «Странному человеку» Лермонтов пишет: «Я решился изложить драматически происшествие истинное, которое долго беспокоило меня и всю жизнь, может быть, занимать не перестанет. Лица, изображенные мною, все взяты с природы; и я желал бы, чтоб они были узнаны...» [1]

Таким образом, не остается сомнений, что в 1831 году Лермонтов пережил трагедию, связанную с девушкой, образ которой он воссоздал потом в своей «романтической драме». Предисловие к драме как бы обязывает узнать ее имя и ввести в биографию Лермонтова новое важное лицо. Ибо вывод, добытый путем исключительно литературного анализа, еще не может служить материалом для биографии, пока он не подтвержден фактами нелитературного порядка. Используя литературное произведение в качестве прямого источника для биографии, исследователь неизбежно попадает в порочный круг и часто оказывается в положении П. А. Висковатова, который в целом ряде случаев строил комментарий к произведениям Лермонтова не на фактах его реальной биографии, а на основе биографических догадок, извлеченных из тех же самых произведений.

Исследователи уже прежде отмечали совпадение между циклом 1831 года и текстом «Странного человека» [2]. Но для того чтобы добыть новые факты, надлежало преодолеть целый ряд трудностей. Начать с того, что вплоть

[1] Лермонтов, т. V, с. 205.

[2] Б. В. Нейман. Одна из воспетых Лермонтовым.— «Русский библиофил», 1916, кн. 8, с. 61—70.

до 1880 года стихотворение «Н. Ф. И...вой» в собраниях сочинений поэта печаталось с измененными инициалами: «М. Ф. М...вой», а «Романс к И...» с 1843 года по 1910 год перепечатывался без начальной буквы посвящения: просто «Романс к***».

Буквами «М. Ф. М...вой» стихотворение озаглавил Дудышкин, впервые опубликовавший его в 1859 году [1]. Подлинная рукопись Лермонтова с посвящением Н. Ф. И...вой находилась при этом в его руках. Инициалы Дудышкин переменил не по собственной прихоти, а выполняя, очевидно, просьбу какого-то заинтересованного в этом лица. Следовательно, он знал, к кому обращены стихи, то есть знал имя, отчество, фамилию Н. Ф. И...вой. Может быть, даже знал ее лично. Однако, вместо того чтобы напечатать ее имя полностью, Дудышкин нашел нужным еще крепче зашифровать его. Вероятно, об этом позаботилась сама Н. Ф. И. или кто-нибудь из ее близких, для того, чтобы никто не мог угадать имени той, которая когда-то вызвала в Лермонтове такое истинное и сильное чувство.

В то время как Е. А. Сушкова публиковала «Записки», в которых с увлечением рассказывала о знакомстве с Лермонтовым и о своей отвергнутой им любви, Н. Ф. И., сама так равнодушно покинувшая поэта, тридцать лет спустя старательно вытравляла из его биографии свое имя, чтобы будущие комментаторы «Странного человека» не смогли расшифровать его. Что побуждало ее к этому?

В строфе большого стихотворения, озаглавленного датой «1831-го июня 11 дня», Лермонтов, обращаясь к ней, писал:

Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймет их, удивленный свет
Благословит; и ты, мой ангел, ты
Со мною не умрешь: моя любовь
Тебя отдаст бессмертной жизни вновь;
С моим названьем станут повторять
Твое: на что им мертвых разлучать? [2]

Но для того чтобы повторять название, надо знать это название. Иначе говоря, биограф должен был разгадать инициалы Н. Ф. И. и собрать о ней новые факты.

---

[1] С. Дудышкин. Ученические тетради Лермонтова.— «Отечественные записки», 1859, кн. XI, с. 250.

[2] Лермонтов, т. I, с. 178.

4

Из лермонтовских писем 1831 года до нас дошло только одно. Оно датировано 7 июня и адресовано Николаю Поливанову, другу, уехавшему на лето из Москвы в деревню.

«Я теперь сумасшедший совсем»,— пишет Лермонтов. Сообщая далее Поливанову о предстоящей свадьбе его кузины Лужиной, он посылает к черту все свадебные пиры и восклицает: «Мне теперь не до подробностей... я не могу тебе много писать: болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры.— Source intarissable (неиссякаемый источник.— *И. А.*).— Много со мной было; прощай...» [1]

Письмо состоит всего из нескольких строчек и представляет собой приписку к письму их общего друга Владимира Шеншина, который, сообщая Поливанову московские новости, между прочим упоминает: «Мне здесь очень душно, и только один Лермонтов, с которым я уже пять дней не видался (он был в вашем соседстве, у Ивановых), меня утешает своею беседою».

Итак: в первых числах июня Лермонтов гостил у Ивановых, к семье которых, может быть, принадлежала Н. Ф. И.— Н. Ф. ...Иванова? «Пять дней не видался»,— следовательно, Ивановы эти жили недалеко от Москвы. Это предположение поддерживается текстом одного из стихотворений Арбенина в черновой редакции «Странного человека»:

На берегу другом давно знакомый
Чернеет дом, в одном окне свеча
И чья-то тень проходит — может быть,
Она?.. . . . .
. . . .
. . . .
И различил окно и дом, но мост
Изломан... и несется быстро Клязьма [2].

Клязьма протекает недалеко от Москвы. Еще точнее: в пяти верстах от столыпинского Середникова, где Лермонтов гостил каждое лето в 1829—1832 годах.

Обратимся снова к тексту «Странного человека».

Если верить предисловию и видеть в драме изложение «истинного происшествия», допустим, в качестве рабочей

[1] Лермонтов, т. VI, с. 408—409.
[2] Лермонтов, т. I, «Academia», с. 499.

гипотезы, что в лице Н. Ф. Загорскиной черты Н. Ф. И. и факты ее биографии воспроизведены очень точно.

В этом случае допустим также:

1) Что если в драме указано, что Загорскиной восемнадцать лет, то в 1831 году восемнадцать лет было и Н. Ф. Ивановой.

2) Что если в драме упомянута сестра Загорскиной, то сестра была и у Ивановой.

3) Что если в «Странном человеке» оговорено, что у Загорскиной нет отца (реплика Белинского: «их две сестры, отца нет»), то отец Н. Ф. Ивановой действительно умер до описываемых событий, то есть до 1831 года.

Если же все эти сопоставления правильны, то надо найти такого Федора Иванова, который, так сказать, годился бы ей в отцы. Из текста пьесы о нем известно не много: умер до 1831 года (но не раньше 1813 года — предполагаемого года рождения Натальи Федоровны). У него две дочери.

С этого надо было начинать поиски нового материала.

5

Федор Федорович Иванов родился в 1777 году, а умер 31 августа 1816 года. Судя по этим датам, Н. Ф. И. могла быть его дочерью. Известный в свое время драматический писатель, автор популярной пьесы «Семейство Старичковых» и трагедии «Марфа Посадница» [1], он состоял членом Московского общества любителей российской словесности и был особенно дружен с А. Ф. Мерзляковым и Ф. Ф. Кокошкиным, а также с актерами Померанцевым, Плавильщиковым и Шушериным. Он устраивал в своем доме литературные вечера, на которых, кроме его задушевных друзей, появлялись В. Л. Пушкин, А. Ф. Воейков, кн. И. М. Долгорукий, П. А. Вяземский и К. Н. Батюшков и где проводили время «весело, с пользою и с чашею в руках» [2]. Иванов слыл по Москве занимательным собеседником, весельчаком и записным театралом и сам нередко участвовал в любительских спектаклях на до-

---

[1] «Сочинения и переводы Ф. Ф. Иванова», в 4-х частях. М., 1824.

[2] «Биография А. И. Кошелева», т. I, кн. 2. М., 1889, с. 271.

машнем театре князя С. С. Апраксина[1]. Здесь в начале 1814 года исполнялся гимн сочинения Ф. Ф. Иванова, посвященный памяти Кутузова; он получил распространение и бытовал вплоть до 30-х годов.

В том же 1814 году широкое распространение получила солдатская песня неизвестного сочинителя «В память князя Кутузова-Смоленского», снабженная в печати, вместо подписи автора, указанием на село Загорье, где она была сочинена. Не трудно допустить, что автором этой песни был тот же Ф. Ф. Иванов. И не отсюда ли произвел Лермонтов в своем «Странном человеке» фамилию Наташи Загорскиной? [2]

Иванов был женат на сестре А. И. Кошелева — Екатерине Ивановне. У них были дети, ибо, по свидетельству Мерзлякова, Иванов оставил в «неутешной печали» супругу и «двух милых малюток» [3],— очевидно, Н. Ф. И. и ее сестру. Первой из них в 1816 году, по изложенным выше расчетам, должно было быть около трех лет. Вот и все! Таким образом, изучение биографии Ф. Ф. Иванова помогло установить только то, что у Иванова было двое детей лермонтовского возраста, другими словами — что Н. Ф. И. могла быть его дочерью [4]. Могла быть, но была ли? Никаких сведений в подтверждение этого отыскать мне не удалось.

Не трудно допустить, однако, что в начале 1830-х годов Н. Ф. И. вышла замуж. Тогда ее следовало разыскивать в дальнейшем уже под какой-то другой фамилией. Но прежде надо было узнать: была ли она замужем? А если была, то за кем? Оставалось одно: установить по родословным книгам, кто в XIX веке женился на Ивановых.

Наталью Федоровну Иванову я отыскал в «Родословном сборнике русских дворянских фамилий», составлен-

---

[1] К. Н. Батюшков. Сочинения, т. III, изданы П. Н. Батюшковым. СПб., 1886, с. 674—675.

[2] «Песни, собранные П. В. Киреевским», вып. 10. М., 1874, с. 167 и 184.

[3] «Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете», ч. 7. М., 1817, с. 119.

[4] Имя Ф. Ф. Иванова в этой связи, неизвестно на основании каких данных, в осторожной, вопросительной форме называл В. В. Каллаш («Иллюстрированное полное собрание сочинений Лермонтова», т. I. М., изд-во «Печатник», 1914, с. 272). Гораздо решительнее, ссылаясь на автора настоящей работы, заявил об этом Б. М. Эйхенбаум («Литературная учеба», 1935, № 6, с. 29).

ном В. В. Руммелем и В. В. Голубцовым. Она оказалась женой Николая Михайловича Обрескова. О нем в родословии сказано: «Поручик, за «постыдный офицерскому званию поступок» разжалован (30 мая 1826 года) и лишен дворянского достоинства; уволен из военной службы 14-м классом в 1833 году; в гражданской службе с 1836, титулярный советник (28 декабря 1843 года); 14 февраля 1846 года возвращены ему права потомственного дворянства, надв. советник (1857)» [1].

Ни в «Алфавите декабристов», ни в «Некрополях», ни в картотеке Б. Л. Модзалевского — нигде имени Н. М. Обрескова нет. Зато в «Московском Некрополе» находим имя Обресковой Натальи Федоровны, которая скончалась 20 января 1875 года на шестьдесят втором году от рождения и погребена на Ваганьковском кладбище [2].

Если в 1875 году ей было около шестидесяти двух лет, значит, она родилась в 1813 году. Вспомнив, что это и есть предположенная нами дата рождения Н. Ф. И., мы уже с большой долей вероятия можем утверждать, что Н. Ф. И. и Наталья Федоровна Обрескова — одно и то же лицо.

Но этого мало.

6

Биография Обрескова не только не помогла уяснить,— она еще больше усложнила и без того трудные розыски. Книжные источники были исчерпаны. Оставался последний ход: к ныне покойному Н. П. Чулкову, который своими обширными познаниями в области генеалогии, архивных и историко-бытовых вопросов оказывал важные услуги не одному поколению литературоведов.

Чулков подтверждает:

«Наталья Федоровна — дочь драматурга Ф. Ф. Иванова. В браке с Николаем Михайловичем Обресковым. Их дочь,— продолжает Н. П. Чулков, и здесь внимание мое нарастает,— их дочь состояла в браке с Сергеем Владимировичем Голицыным. Она умерла в 1924 году».

Оказывается, Чулков знал ее лично, знал и внучку — Христину Сергеевну Арсеньеву, которая в 1920-х годах

---

[1] В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. II. СПб., 1887, с. 192, № 47.

[2] «Московский Некрополь», т. II. СПб., 1908, с. 358.

жила в Москве, возле Кропоткинских ворот. Даже бывал у них. Где Х. С. Арсеньева в настоящее время — Чулков не знает. Того дома, где она прежде жила, уже нет, он снесен. Надо узнать новый адрес.

Для этих целей существует адресный стол. Но адресный стол гор. Москвы утверждает, что Христина Сергеевна Арсеньева в Москве не живет. Тогда я обращаюсь к Николаю Владимировичу Голицыну, ибо теперь уже сфера поисков расширилась и нити ведут к Голицыным. Судя по родословной книге [1], Н. В. Голицын — родственник Христины Сегреевны и, может быть, знает ее адрес.

К сожалению, он знает другое: Христина Сергеевна умерла. У нее были сестры — другие внучки Н. Ф. Ивановой, но о них у Голицына нет никаких сведений. Сведения, очевидно, может дать племянник мужа Х. С. Арсеньевой — Сергей Иванович Арсеньев, адрес которого следует узнать в адресном столе.

Наконец, в семье С. И. Арсеньева мне сообщают новые данные: в Москве живет сестра Христины Сергеевны Арсеньевой — Наталья Сергеевна Маклакова. Стоит только зайти в адресный стол.

7

Зубовский бульвар, 12, кв. 1.

Несколько ступенек в маленьком двухэтажном домике. Я постучал. Дверь отворила седая высокая женщина.

— Можно ли видеть Наталью Сергеевну Маклакову?

— Вы ко мне? — переспрашивает она меня.

— Я через адресный стол узнал ваш адрес,— говорю я ей,— я занимаюсь Лермонтовым и хотел бы расспросить вас...

— Ах, наверное, я ничем не смогу быть вам полезной,— с сожалением произносит она.— Вас, вероятно, интересуют стихотворения Лермонтова, которые он посвящал бабушке? Но ведь их нет! Их уже давно уничтожил мой дед — Николай Михайлович Обресков. У нас ничего не осталось.

---

[1] «Род князей Голицыных». Составил князь Н. Н. Голицын. СПб., 1892, с. 229 и 230.

Наталья Сергеевна Маклакова не догадывалась, очевидно, какое важное сообщение содержалось для меня в этом ее ответе. Эта фраза подтверждала автобиографическую точность «Странного человека», вводила новое лицо в близкое окружение Лермонтова, оправдывала, наконец, долгие поиски.

Наталья Сергеевна припомнила все, что слышала от матери и от дяди.

«Что Михаил Юрьевич Лермонтов был влюблен в мою бабушку — Наталью Федоровну Обрескову, урожденную Иванову, я неоднократно слышала от моей матери Натальи Николаевны и еще чаще от ее брата Дмитрия Николаевича и его жены,— рассказывала Маклакова.— У нас в семье известно, что у Натальи Федоровны хранилась шкатулка с письмами М. Ю. Лермонтова и его посвященными ей стихами и что все это было сожжено из ревности ее мужем Николаем Михайловичем Обресковым. Со слов матери знаю, что Лермонтов и после замужества Натальи Федоровны продолжал бывать в ее доме. Это и послужило причиной гибели шкатулки. Слышала также, что драма Лермонтова «Странный человек» относится к его знакомству с Н. Ф. Ивановой. Почему имя Ивановой никогда не было раскрыто в собраниях стихотворений Лермонтова и почему в биографии Лермонтова нет никаких упоминаний о ней — не знаю. Думаю, что из-за ревности мужа Лермонтов сознательно не обозначал ее имени в своих стихах к ней, тем более что отношение к ней могло компрометировать Наталью Федоровну. У нас в семье всегда знали, что Лермонтов был влюблен в бабушку, но не могу сказать, отвечала ли она ему взаимностью или нет. У Н. Ф. была сестра — Дарья Федоровна, которая вышла замуж за Островского Бориса Дмитриевича. Биографию своего деда Николая Михайловича Обрескова я совсем не знаю. Знаю только, что поместья его были в Новгородской губернии, где в старости он, кажется, был предводителем дворянства. Обресковы жили много за границей. Мать моя Наталья Николаевна воспитывалась в Женеве» [1].

Это рассказ Н. С. Маклаковой, собственноручно ею записанный.

---

[1] И. Андроникашвили. К биографии М. Ю. Лермонтова.— «Труды Тифлисского государственного университета», 1936, вып. 1, с. 205—207.

8

Со старинной фотографии вполоборота смотрит на нас полная пятидесятилетняя барыня в нарядном чепце и шушуне. Черты ее еще хранят гордое и спокойное выражение, очевидно, прекрасного когда-то лица. Это фотография Натальи Федоровны Обресковой, на которой она снята вместе со своей шестнадцатилетней дочерью Натальей Николаевной.

На другой фотографии — Н. М. Обресков, представительный старик в бакенбардах, с умными глазами, с выпяченной нижней губой, которая сообщает его лицу выражение брезгливое и высокомерное. Оба эти портрета, сохранившиеся в семейном архиве Н. С. Маклаковой, относятся, по ее расчетам, к 1864 году.

Но Н. С. Маклакова обещает мне съездить за вещами покойной своей сестры. Вещи находятся под Москвой. Быть может, в сундуках Христины Сергеевны сохранились какие-нибудь семейные реликвии: старинный альбом, связка писем, дневник! Наталья Сергеевна долго собирается. Но наконец вещи привезены, распакованы. Среди них обнаруживаются два портрета в старинных кожаных рамках. Это карандашные, процарапанные иглой изображения, подписанные именем известного рисовальщика 30-х годов В. Ф. Биннемана [1]. На обороте одного из портретов — надпись: «Николай Михайлович Обресков». На обороте другого: «Наталья Феодоровна Обрескова, рожденная Иванова». (Портрет дан в т. I наст. изд.)

Молодое лицо ее очаровательно: черты благородны, в уголках красивого рта спрятана любезная улыбка, спокойный взгляд загадочен. Высокая прическа, полнота покатых обнаженных плеч, тонкая шея, украшенная тяжелым ожерельем,— весь внешний облик ее как бы комментирует лермонтовские строчки о ней:

С людьми горда, судьбе покорна,
Не откровенна, не притворна [2].

В другой желтой кожаной рамке — изображение Н. М. Обрескова. Здесь он еще молод и красив. Лицо окружено кудрявыми бачками, в петлице фрака орден:

[1] С. Н. Кондаков. Список русских художников. К юбилейному справочнику Академии художеств (1764—1914). СПб., 1914, с. 17.

[2] Лермонтов, т. II, с. 25.

крест на полосатой ленте,— очевидно, Георгиевский. Итак, Обресков награжден. Когда и за что?

Ответ на это, после долгих поисков, удалось найти в материалах, содержащихся в «Военно-судном деле над поручиком Арзамасского конно-егерского полка Обресковым» [1] и в «Деле о дворянстве рода Обресковых» [2]. Вот история Николая Обрескова, как она отражепа в его формулярных списках.

Николай Михайлович Обресков, сын генерал-лейтенанта Михаила Алексеевича Обрескова, родился в 1802 году в Петербурге и восьми лет был отдан в Пажеский корпус. В 1819 году он вступил корнетом в лейб-кирасирский ее величества полк, из которого через два года переведен в Арзамасский конно-егерский. В 20-х годах этот полк квартировал в Нижнедевицке, невдалеке от Воронежа, и офицеры часто бывали званы на балы воронежского гражданского губернатора Николая Ивановича Кривцова, жепатого на красавице Елизавете Федоровне Вадковской. Обресков считался с нею в близком родстве. В губернаторской гостиной его встречали как своего.

В один из июньских дней 1825 года полковой командир полковник Бердяев получил неприятное уведомление. По окончании последнего бала, на котором присутствовали и офицеры его полка, губернатор обнаружил, что из спальни его супруги похищены золотая табакерка, изумрудный, осыпанный бриллиантами фермуар и двадцать три нитки жемчуга.

На полковое знамя пала позорная тень.

Вскоре нечаянно все вещи были замечены у Обрескова, который сознался в их похищении. Военный суд лишил его прав состояния и разжаловал в рядовые, с написанием в Переяславский конно-егерский полк [3]. Из Переяславского полка Обрескова в 1829 году перевели, по-прежнему рядовым, в Нижегородский драгунский полк, который в то время делал турецкую кампанию. Обресков побывал в по-

[1] Ленинградское отделение Центрального военно-исторического архива. Генерал-аудиториат 1-й армии. 1826, «Дело № 26 судное Арзамасского конно-егерского полка о поручике Обрескове. Начато октября 26 дня. Кончено ноября 16 дня 1825 г.». Ныне в ЦГВИА.

[2] ЦГИА СССР. «Правительствующего Сената департамента Герольдии дело о дворянском происхождении Обресковых, № 2064. Начато 6 ноября 1847 г. Решено Сенатом 7 мая 1848 г.».

[3] «Книга высочайших приказов за 1826 год», с. 515.

ходах, отличился и был награжден знаком военного ордена, с которым и изображен на портрете.

В 1833 году, получив «высочайшее прощение», Обресков был уволен от службы с чином 14-го класса. В 1836 году он определился на службу в канцелярию курского гражданского губернатора. В это время, как гласит его формулярный список, он уже состоял в браке с «дворянкой Натальей Федоровной Ивановой» [1]. Следовательно, она вышла замуж между 1833 и 1836 годами, ибо до 1833 года Обресков тянул солдатскую лямку.

В Курске, постепенно повышаясь в чинах, Обресков прослужил до 1841 года и перевелся в канцелярию губернатора харьковского. Дальнейшая его судьба, не представляющая для нас особого интереса, сводилась, кроме движения на поприще служебном, к заботам о восстановлении в дворянском звании сперва себя самого, а затем своего потомства.

Умер он в 1866 году, в шестидесятичетырехлетнем возрасте [2], в своем новгородском поместье Боровичи, дослужившись до чина надворного советника. В последние годы жизни он на два трехлетия выбирался в предводители дворянства по Демянскому уезду [3].

Почему Наталья Федоровна Иванова, обращавшая на себя внимание в московском светском кругу, вышла замуж за этого опозоренного человека, для которого были закрыты пути служебного и общественного преуспеяния, этого мы, очевидно, никогда не узнаем. Может быть, потому, что у него в Тверской и в Новгородской губерниях насчитывалось около семисот пятидесяти крепостных душ, и он считался состоятельным человеком? А может быть, полюбила.

9

Итак, дальнейшие розыски следовало посвятить изучению семьи Ивановых и круга их ближайшей родни.

Мать Н. Ф. Ивановой, Екатерина Ивановна, после

---

[1] ЦГИА СССР. «Дело о дворянском происхождении Обресковых», № 2064. Формулярный список о службе.

[2] П. П. Голицын. Список дворянских родов Новгородской губернии, внесенных в дворянскую родословную книгу с 1787 по 1 января 1910 года, с приложением списка губернских и уездных предводителей дворянства с 1767 года. Новгород, 1910, с. 324.

[3] Там же, с. XXVII.

смерти Ф. Ф. Иванова, вступила в брак с Михаилом Николаевичем Чарторижским. От этого брака родилась дочь Софья, вышедшая впоследствии за Федора Валерьяновича Панина. Наталье Федоровне Ивановой Софья Михайловна Чарторижская по материнской линии приходилась родной сестрой. Одна тетка Н. Ф. Ивановой состояла в браке со Свечиным, другая — с кн. Горчаковым. Таким образом, кроме Обресковых, надо было обследовать фамилии Паниных, Горчаковых, Свечиных, Кошелевых, но прежде всего Чарторижских [1].

Михаил Николаевич Чарторижский не оставил по себе решительно никаких следов. Хуже того: Наталья Сергеевна Маклакова не знает в Москве ни одного Чарторижского. В московском адресном столе Чарторижские тоже не числятся. Наталья Сергеевна вообще ничего не может сказать мне об этой фамилии. Ей смутно помнится: словно бабка некоей Нины Михайловны Анненковой из рода Чарторижских. С Анненковой Маклакова знакома со времен незапамятных. Еще их матери были знакомы между собой. А может быть, даже и бабки! Нина Михайловна Анненкова живет как раз напротив дома Маклаковой — Зубовский бульвар, 15, в квартире Анатолия Михайловича Фокина. Маклакова знакома и с ним и предлагает мне обратиться к нему от ее имени.

Увы, Нина Михайловна Анненкова не помнит о своей бабке решительно ничего. Поиск можно считать неудавшимся. Поэтому, очевидно желая меня вознаградить как-нибудь, Анатолий Михайлович Фокин на прощание предлагает мне просмотреть альбом 1870-х годов, принадлежащий его жене Марии Марковне. В альбоме этом содержится неопубликованный автограф Апухтина.

Действительно, на первой странице альбома находится неопубликованное стихотворение А. Н. Апухтина «Марии Дмитриевне Жедринской», датированное 2 августа 1873 года. Альбом и принадлежал вдохновительнице этого апухтинского стихотворения. Мария Дмитриевна Жедринская, урожденная Клушина, была женой курского гражданского губернатора А. Н. Жедринского. Их сын — Николай Александрович Жедринский — женился на Нине Егоровне Старицкой. Сестра ее — Анна Егоровна Старицкая, в замуже-

---

[1] Сведения получены мною от Н. С. Маклаковой и Н. П. Чулкова. Ср. также: «Биография Александра Ивановича Кошелева», т. I, кн. 2, с. 270.

стве Любощинская,— мать Марии Марковны Фокиной. А Мария Марковна Фокина решила передать доставшийся ей по наследству альбом Государственному Литературному музею [1].

За исключением апухтинского автографа, остальные стихи этого альбома, по словам А. М. Фокина, никакого музейного интереса не представляют. Аккуратным почерком, очевидно просто из книг или очередных номеров журналов, М. Д. Жедринская вписывала в свой альбом широко известные тексты Пушкина, Баратынского, Некрасова, Майкова, Фета, Тютчева, Огарева, Мея, Алексея Толстого, Голенищева-Кутузова, Тургенева, делала выписки из Шатобриана, из Ламартина, Гюго, Беранже, Барбье, Гейне. Сверх того, в альбоме имеются стихотворения малоизвестных поэтов — Свербеева, Терешкевича, Мих. Стаховича и Н. Жедринского.

И вдруг среди всех этих, аккуратно вписанных Жедринской стихотворений я вижу так же аккуратно вписанные посвящения:

В АЛЬБОМ Д. Ф. ИВАНОВОЙ

Когда судьба тебя захочет обмануть
И мир печалить сердце станет —
Ты не забудь на этот лист взглянуть,
И думай: тот, чья ныне страждет грудь,
Не опечалит, не обманет.

1832 *М. Ю. Лермонтов*

В АЛЬБОМ Н. Ф. ИВАНОВОЙ

Что может краткое свиданье
Мне в утешенье принести,
Час неизбежный расставанья
Настал, и я сказал прости.

И стих безумный, стих прощальный
В альбом твой бросил для тебя,
Как след единственный, печальный,
Который здесь оставлю я.

1832 *М. Ю. Лермонтов*

---

[1] Приобретенный Государственным Литературным музеем из собрания М. М. Фокиной альбом М. Д. Жедринской, на 45 л., в синем бархатном переплете с монограммой «M. G.», ныне находится в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве, ф. 276. Стихотворения Лермонтова на лл. 38, 38 об. и 39.

За посвящениями следует третье стихотворение Лермонтова:

СТАНСЫ

Мгновенно пробежав умом
Всю цепь того, что прежде было,—
Я не жалею о былом:
Оно меня не усладило.

* * *

Как настоящее, оно
Страстями бурными облито
И вьюгой зла занесено,
Как снегом крест в степи забытый.

* * *

Ответа на любовь мою
Напрасно жаждал я душою,
И если о любви пою —
Она была моей мечтою.

* * *

Как метеор в вечерней мгле,
Она очам моим блеснула
И, бывши все мне на земле,
Как все земное, обманула.

1831

М. Ю. Лермонтов

Кроме этих, в ту пору еще никому не известных стихотворений Лермонтова, в альбоме М. Д. Жедринской заключалось стихотворение «На севере диком». Но в нем нет никаких разночтений с печатным текстом, и в данном случае оно никакого интереса для нас не представляет.

10

Итак, поиски привели к литературной находке. Однако достаточно ли оснований для того, чтобы считать вписанные неизвестной рукой в альбом 70-х годов стихотворения действительно лермонтовскими?

Конечно, если бы мы ничего не знали ни о Наталье, ни о Дарье Ивановых, уверенность в принадлежности Лермонтову этих стихотворений, естественно, была бы меньшей. Теперь же обнаруженные в альбоме М. Д. Же-

дринской посвящения Н. Ф. и Д. Ф. Ивановым не вызывают никакого недоумения. Наоборот, они представляют собою новое и самое убедительное доказательство того, что в 1830—1832 годах Лермонтов бывал в семье Ивановых и что лирический цикл, связанный с трагедией «Странный человек», явился следствием увлечения поэта Натальей Федоровной. Мы знаем теперь, что Лермонтов не только *мог* посвятить Н. Ф. Ивановой свои вдохновения, но что он их ей действительно посвящал.

В том, что стихотворения обнаружены в альбоме жены курского губернатора, также нет ничего неожиданного. Как уже сказано, в 1836—1841 годах Обресковы жили в Курске, где Николай Михайлович служил в канцелярии гражданского губернатора. Однако имеются еще более веские аргументы. Со слов Н. С. Маклаковой известно, что Дарья Федоровна Иванова-Островская жила в Курске в продолжение всей своей жизни, после выхода замуж, и умерла в этом городе в 1872 году. В Курске родились и выросли ее дочери — Анна и Екатерина Борисовны. Таким образом, семьи Обресковых и Островских в 1830—1870-х годах были прочно связаны с Курском. Не удивительно поэтому, что стихотворения великого поэта, собственноручно вписанные им в альбомы сестер Ивановых, охотно переписывались их курскими знакомыми и в результате украсили альбом курской губернаторши.

Возможно, что, уничтожив ненавистную ему шкатулку, в которой хранились листки со стихотворными посланиями Лермонтова, Обресков позабыл об альбоме, куда Лермонтов вписал одно из своих прощальных обращений к Наталье Федоровне, и оно, таким образом, уцелело. Во всяком случае, это стихотворение было хорошо известно Дарье Федоровне и текст его М. Д. Жедринская могла получить от членов ее семьи. Что же касается альбома самой Дарьи Федоровны, то у нас нет никаких решительно оснований считать, что он подвергся уничтожению. Поэтому, хотя вполне допустимо, что все стихи, обнаруженные в альбоме Жедринской, переписывались непосредственно с автографов Лермонтова, все-таки вернее всего, что источником послужил для Жедринской альбом Дарьи Федоровны Островской.

Однако наиболее убедительное доказательство принадлежности Лермонтову стихов из альбома Жедринской заключается в тексте третьего стихотворения. Ибо десять

Въ альбомъ Д. Ф. Ивановой.

Когда судьба тебя захочетъ обмануть
И міръ печалить сердце станетъ —
Ты незабудь на этотъ листъ взглянуть,
И думай: тотъ, чья нынѣ страждетъ грудь,
Неопечалитъ, необманетъ.

1832 г.

М. Ю. Лермантовъ

Въ альбомъ Н. Ф. Ивановой

Что можетъ краткое свиданье
Мнѣ въ утѣшенье принести,
Часъ неизбѣжный разставанья
Насталъ, и я сказалъ: прости.

И стихъ безумный, стихъ прощальный
Въ альбомъ твой бросилъ для тебя,
Какъ слѣдъ единственный, печальный,
Который здѣсь оставлю я.

1832.

М. Ю. Лермонтовъ.

Копии стихотворений Лермонтова «В альбом Д. Ф. Ивановой» и «В альбом Н. Ф. Ивановой» в альбоме М. Д. Жедринской, л. 38. ЦГАЛИ СССР. Москва

строк вновь найденных «Стансов» совершенно совпадают с другими «Стансами», автограф которых находится в VI лермонтовской тетради, хранящейся в Институте литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Известные нам по этому автографу «Стансы» датируются 1830 годом, под «Стансами» в альбоме Жедринской выставлен 1831 год. Однако в этом нет никакого противоречия. Обнаруженные нами «Стансы» на три строфы короче известных прежде и по всем признакам представляют собой их окончательную редакцию.

СТАНСЫ

1830

Я *не* крушуся о *былом.*
Оно меня не усладило.
Мне нечего запомнить в нем,
Чего б тоской не отравило! —

Как настоящее, оно
Страстями чудными *облито,*
И вьюгой зла занесено,
Как снегом крест в степи забытый! —

Ответа на любовь мою
Напрасно жаждал я душою,
И если о любви пою —
Она была моей мечтою.

Я к одиночеству привык,
Я б не умел ужиться с другом:
Я б с ним препровожденный миг
Почел потерянным досугом.

Мне скучно в день, мне скучно в ночь,
Надежды нету в утешенье;
Она навек умчалась прочь,
Как жизни каждое мгновенье.

На светлый запад удалюсь;
Вид моря грусть мою рассеет.
Ни с кем в отчизне не прощусь
— Никто о мне не пожалеет!..

Быть может, будет мне о ком
Тогда вздохнуть,— и провиденье
Заплатит мне спокойным днем
За долгое мое мученье.

СТАНСЫ

1831

Мгновенно пробежав умом
Всю цепь того, что прежде было,—
Я *не* жалею о *былом:*
Оно меня не усладило.

* * *

Как настоящее, оно
Страстями бурными *облито*
И вьюгой зла занесено,
Как снегом крест в степи забытый.

* * *

Ответа на любовь мою
Напрасно жаждал я душою,
И если о любви пою —
Она была моей мечтою.

* * *

Как метеор в вечерней мгле,
Она очам моим блеснула
И, бывши все мне на земле,
Как все земное, обманула.

Это сопоставление, несомненно, говорит в пользу принадлежности Лермонтову стихотворений из альбома Жединской, а кстати и о достоверности самих копий.

Все это, вместе взятое, дает нам право с полным основанием приобщить к лирическому циклу 1831—1832 годов три новых стихотворения.

11

Инициалы Н. Ф. И. оставались нераскрытыми в продолжение целого столетия не только потому, что семья Обресковых, по словам Н. С. Маклаковой, «не сочувствовала» упоминанию ее имени в печати, но главным образом оттого, что А. П. Шан-Гирей и П. А. Висковатов не оставили для Ивановой места в биографии Лермонтова, связав всю лирику 1831—1832 годов с именем Варвары Александровны Лопухиной.

«Открытие» Ивановой, естественно, повлекло за собой переадресацию юношеских лирических посланий.

Сразу же, после первых сообщений о ходе работы над загадкою Н. Ф. И.[1], в полном собрании сочинений Лермонтова, выходившем в издательстве «Academia», появилось имя Н. Ф. Ивановой, и стихотворения 1831—1832 годов, которые прежние редакторы относили к Лопухиной, составили новый, обширный цикл [2].

Кроме стихотворений, озаглавленных инициалами Н. Ф. Ивановой: «Н. Ф. И...вой», «Романс к И.», «К Н. И...», «Н. Ф. И.», к ней же, безусловно, относится еще тридцать одно стихотворение: «Я видел раз ее в веселом вихре бала...» (1830), строфа восьмая в стихотворении «1831-го июня 11 дня», «Видение», «11 июля» (1831), «Не ты, но судьба виновата была...», «Ночь», «Душа моя должна прожить в земной неволе...», «Пускай поэта обвиняет...», «Вечер», «Стансы (Не могу на родине томиться...)», «Гость», «*** (Сижу я в комнате старинной)», «К*** (Всевышний произнес свой приговор...)», «Сентября 28», «К *** (Зови надежду сновиденьем...)», «Я видел тень блаженства...», «К*** (О, не скрывай! ты плакала об нем...)», «К*** (Ты слишком для невинности мила...)», «Настанет день — и миром осужденный...», «Силуэт», «Раскаянье», «*** (Она была прекрасна, как мечта...)» (1832), «Время сердцу быть в покое...», «К*** (Я не унижусь пред тобою...)», «Как луч зари, как розы Леля...», «Измученный тоскою и недугом...», «Когда последнее мгновенье...», «Сонет (Я памятью живу с увядшими мечтами...)», «Болезнь в груди моей...», «Послушай, быть может...», «К*** (Прости! — мы не встретимся боле...)». О ней же идет речь в стихотворениях «Стансы к Д***», «К тебе», «7 августа» [3], в посвящении «Последнего сына вольности».

Отнесение к Ивановой такого большого числа стихотворений вызвало, в свою очередь, появление новой работы,

[1] И. Андроникашвили. К биографии М. Ю. Лермонтова.— «Труды Тифлисского государственного университета», 1936, вып. 1, с. 205—207.

[2] Лермонтов, т. I, «Academia», с. 439 и другие комментарии. Ср.: Лермонтов. Стихотворения, т. I. Редакция Б. М. Эйхенбаума («Библиотека поэта»). Л., «Советский писатель», 1940, с. 298.

[3] Лермонтов, т. I, «Academia», с. 261, 173, 200, 281, 294, 296, 299, 301, 304, 315, 320, 184, 186, 211, 213, 223, 225, 226, 240, 247, 257, 330, 331, 338, 340, 348, 349, 353, 354, 357, 369, и три стихотворения, опубликованные в этой работе. Кроме того: т. I, с. 229, 298, 193; т. III, с. 111.

в которой сделана попытка ограничить значение вновь открытого эпизода, так же как и число обращенных к Ивановой стихотворений [1]. Датируя окончание романа с Ивановой и начало увлечения Лермонтова Лопухиной сентябрем — декабрем 1831 года, автор этой работы — В. Л. Комарович — предложил часть стихотворений переадресовать обратно В. А. Лопухиной [2].

Между тем этому препятствует как хронология лермонтовских стихотворений, написанных в IV тетради в начале 1832 года и безусловно обращенных к Ивановой, так и вновь найденное посвящение «В альбом Н. Ф. Ивановой» (1832).

Мы можем с полным основанием считать, что лирические посвящения Лермонтова, создававшиеся в продолжение всего 1831 и в начале 1832 года, обращены к Ивановой либо, даже адресованные другим лицам («К Д.», «Кн. Л. Г — ой»), касаются той же самой драматической встречи.

К началу, а вернее всего — к ранней весне 1832 года относится большое прощальное послание «К***», в котором как бы подведен итог этому мучительному и напряженному чувству. С горестным упреком обратился на прощание поэт к еще недавно любимой им девушке:

Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней.
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
Быть может, мыслию небесной
И силой духа убежден,
Я дал бы миру дар чудесный,
А мне за то бессмертье он?

---

[1] В. Л. Комарович. Автобиографическая основа «Маскарада».— «Литературное наследство», т. 43-44, с. 638—658.
[2] Там же, с. 648.

Зачем так нежно обещала
Ты заменить его венец,
Зачем ты не была сначала,
Какою стала наконец!
Я горд! — прости! люби другого,
Мечтай любовь найти в другом;
Чего б то ни было земного
Я не сделаюсь рабом.
К чужим горам, под небо юга
Я удалюся, может быть;
Но слишком знаем мы друг друга,
Чтобы друг друга позабыть.
Отныне стану наслаждаться
И в страсти стану клясться всем;
Со всеми буду я смеяться,
А плакать не хочу ни с кем;
Начну обманывать безбожно,
Чтоб не любить, как я любил,—
Иль женщин уважать возможно,
Когда мне ангел изменил?
Я был готов на смерть и муку
И целый мир на битву звать,
Чтобы твою младую руку —
Безумец! — лишний раз пожать!
Не знав коварную измену,
Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену?
Ты знала — я тебя не знал! [1]

Возвышенная любовь, ирония над пережитыми чувствами, гордое самоутверждение, мучительное воспоминание о своей неразделенной любви выражены Лермонтовым в этом стихотворении с такой силой, с таким сознанием своего великого поэтического предназначения, что послание «К***» невольно останавливает внимание всякого, кто берет в руки томик юношеских стихотворений Лермонтова. И нельзя не согласиться с исследователем (Н. Л. Бродским), что для биографии поэта оно представляет собою документ первостепенного значения.

Но более широкое значение приобретает теперь весь цикл зашифрованных и безыменных стихотворных обращений к Ивановой.

Теперь уже ясно, что нет никаких оснований зачислять эти юношеские стихи Лермонтова в разряд отвлеченных литературных упражнений в байроническом духе. В свете новых фактов они приобретают новый, совершенно конкретный смысл.

[1] Лермонтов, т. II, с. 21—22.

Постскриптум

Сведения, добытые мною и подтвержденные Н. С. Маклаковой, впервые были опубликованы в 1936—1938 годах и приняты всеми комментаторами Лермонтова. Но прошло около сорока лет, и писатель Е. Д. Люфанов заявил, что «загадка Н. Ф. И.» не разгадана, что по старой орфографии имя Федор писалось через фиту, а в заглавиях стихов, посвященных Н. Ф. И., выставлена буква Ф. Возражение веское, если бы оно подтвердилось. Но дело в том, что во всех своих рукописях Лермонтов пишет Федор через Ф и ни разу через фиту. Опровержение не состоялось [1].

Прошло еще три года, и новые сомнения высказал М. П. Серяев. Поскольку документа, подтверждающего, что Н. Ф. И. дочь драматурга Ф. Ф. Иванова, не обнаружено, а одновременно с Лермонтовым в Московском университете учились Александр и Владимир Федоровичи Ивановы, то Н. Ф. И. могла быть сестрою одного из них. Рассказ Н. С. Маклаковой отвергнут как вымысел, стихи Лермонтова в курском альбоме, адресованные Н. Ф. Ивановой и Д. Ф. Ивановой, даже не упомянуты. «Загадка Н. Ф. И. не разгадана», заключает Серяев свою статью [2].

В то время как писались эти опровержения, исследователь, изучающий окружение Лермонтова, Я. Л. Махлевич обнаружил в архивах ценнейшие сведения. Друг поэта Николай Поливанов, в соседстве с которым жили Ивановы, владел деревней Петрищево в пятидесяти верстах к северу от Москвы. Лермонтов бывал там: два рисунка поэта изображают поливановское поместье.

В двадцати пяти верстах от Петрищева и вдвое ближе его к Москве, на берегу Клязьмы находилось село Никольское-Тимонино, принадлежавшее вдове драматурга Ф. Ф. Иванова, которая в 1818 году вступила во второй брак — с Михаилом Николаевичем Чарторижским. В исповедных книгах сельской церкви за 1828—1832 годы поиме-

---

[1] Е. Люфанов. Вернемся к «Загадке Н.Ф.И.».— «Литературная газета», 1973, № 10. Ираклий Андроников. Загадка: для кого? — Там же.

[2] М. Серяев. Разгадана ли «Загадка Н.Ф.И.»? — «Русская литература», 1976, № 4, с. 107—114.

нованы все члены семьи Ивановых-Чарторижских, в их числе — сверстница Лермонтова Наталья Федоровна Иванова и ее младшая сестра Дарья. Значит, все, тут рассказанное, подтвердилось неопровержимыми документальными доказательствами [1]. Рецензию на эту поразительную по точности и полноте работу Махлевича исследователь Лермонтова Э. Э. Найдич заканчивает словами: «Загадка Н. Ф. И. действительно разгадана, и теперь уже окончательно» [2].

---

[1] Я. Махлевич. Новое о Лермонтове в Москве (Лермонтов, Поливановы и Ивановы-Чарторижские).— «Русская литература», 1977, № 1, с. 102—113.

[2] Э. Найдич. Дописанная страница в биографии Лермонтова. Послесловие к спору.— «Литературная газета», 1977, № 25.



Утраченные записки

1

Если вам придется побывать в Пушкинском доме Академии наук в Ленинграде и пройти сквозь анфиладу комнат тамошнего музея, вы увидите в одной из витрин странную книгу — огромный переплет более полуметра в длину, оклеенный полосами черной и белой бумаги. Поверх этих полос — из голубой бумаги овалы, похожие на две буквы «О». На одном «О» — «Дева», «Близнецы», «Рак», «Козерог» и другие зодиакальные знаки, на втором нечто напоминающее знаки масонские [1].

Эта «книга» — память о публичном выступлении семнадцатилетнего Лермонтова в зале Московского Благородного собрания в ночь под Новый — 1832 — год.

В последний вечер уходящего 1831 года в блещущий, как и ныне, известный теперь всему миру Колонный зал съезжалась московская знать, связанная между собою родством, свойством, кумовством, служебными отношениями или соседством — по Москве, по имениям: сановники, гвардейская и фрачная молодежь, красавицы замужние, и помолвленные, и только вчера надевшие длинные платья; литераторы, студенты знатных фамилий... Оставив лакеям салопы, шубы, шинели, надев домино, капюшоны, маски, они входили в белоколонный простор, теплый от множества горящих свечей и дыханья, блещущий хрусталем люстр, улыбками, нарядами, звездами, лентами, золо-

[1] Музей Пушкинского дома АН СССР, № 2300.

том мундиров, полный сверкающей музыки. И рассаживались за столами, расставленными в кулуарах и за колоннами... Все съехалось, все готовилось к торжественной церемонии!

«Загремевшие на хорах трубы возвестили о пришествии Нового года»,— писал в отчете о празднике «Дамский журнал». После ужина по краям зала было расставлено несколько рядов стульев. Началась мазурка, «которая продолжалась несколько часов». «Маскарад был очень жив и многолюден»,— заключает «Дамский журнал» [1].

В разгар праздника распорядитель объявил о появлении астролога. Вышел гость в маске, в странном костюме, с огромной книгой под мышкой. Остановившись, раскрыл переплет: в качестве кабалистических знаков к каждой странице были приклеены огромные китайские буквы, срисованные с чайного ящика и вырезанные из черной бумаги [2]. Перелистывая страницы, прорицатель начал читать остроумные эпиграммы и мадригалы, адресованные гостям — известным московским красавицам Александре Алябьевой и Анне Щербатовой, Вере Бухариной, Н. Ф. И., молодой поэтессе Додо Сушковой, литератору Николаю Филипповичу Павлову, старшине Благородного собрания сенатору Башилову, известному всей Москве повесе Константину Булгакову, входившей в славу певице Прасковье, или Полине, Бартеневой, поразившей Москву исполнением вариаций Пиксиса,— певице, которую сравнивали со знаменитою Генриэттою Зонтаг. Одна из эпиграмм была адресована редактору «Дамского журнала» князю Петру Ивановичу Шаликову, которому досталось от астролога. Тем не менее журнал благожелательно отметил в своем отчете, что «некоторые маски раздавали довольно затейливые стихи, и одни поднесены той, которая восхищала нас *Пиксисовыми вариациями...* сии стихи заслужили ласковую улыбку нашей Зонтаг» [3].

Но только немногие из гостей смогли угадать, что в маске и в облачении астролога читал свои стихи студент Михаил Лермонтов.

---

[1] «Дамский журнал», 1832, № 3, январь, ч. XXXVII, с. 38.

[2] А. П. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов.— В кн.: «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников». Пенза, Пензенское кн. изд-во, 1960, с. 19—20.

[3] «Дамский журнал», 1832, № 3, январь, ч. XXXVII, с. 38; Лермонтов, т. I, «Academia», примеч. на с. 495—496.

Астролог исчез...

Все ушло, все растворилось во времени и забылось. Только мадригалы остались от того новогоднего маскарада да переплет кабалистической книги, которые вызывают этот праздник из небытия.

2

Не чудно ль, что зовут вас Вера?
Ужели можно верить вам?
Нет, я не дам своим друзьям
Такого страшного примера!..

Поверить стоит раз... но что ж?
Ведь сам раскаиваться будешь,
Закона веры не забудешь
И старовером прослывешь! [1]

С этим каламбурным комплиментом астролог обратился к Вере Бухариной. И будет совершенно естественно, если мы отнесем ее к числу московских знакомых Лермонтова.

Вера Бухарина приехала в Москву в 1830 году и сразу же обратила на себя внимание, как говорили, «взыскательного московского света». Она была хороша собой, высока и стройна, хотя, по мнению стариков и старух, родители ее в свое время были лучше — выдающейся внешности отец Иван Яковлевич Бухарин (1772—1858) и «очаровательная» мать — Елизавета Федоровна, урожденная Полторацкая (1789—1828).

В продолжение долгих лет Бухарин занимал видные административные посты — вице-губернатора Кавказской губернии, вице-губернатора выборгского, финляндского губернатора, рязанского губернатора. Затем несколько лет был не у дел. В 1819 году получил назначение на пост астраханского губернатора, а в следующем году переведен на пост губернатора киевского. С 1822 года находился в отставке, через пять лет принял Архангельскую губернию, а в 1830 году, получив чин тайного советника, назначен сенатором в Москву. Николай I относился к Бухарину неприязненно, обходил вниманием, и назначение сенатором в Москву надо было понимать: «не расположен». Старый сановник считался фрондером.

[1] Лермонтов, т. I, с. 256.

Мать Бухариной приходилась двоюродной сестрой Анне Петровне Керн и племянницей Елизавете Марковне Олениной — жене статс-секретаря и президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина. Смолоду Е. Ф. Бухарина жила в оленинском доме. Бурный успех мужа у женщин довел ее до самоубийства [1].

Вера Ивановна родилась в 1813 году. Детские годы ее прошли в харьковском имении Боброво, где первым учителем ее был автор «Ябеды» — талантливый драматург Василий Васильевич Капнист, а затем в Киеве. Воспитывалась она в Петербурге, в Смольном монастыре, по окончании которого приехала с отцом в Москву и сразу была замечена, окружена успехом и в 1832 году вышла замуж за адъютанта великого князя Михаила Павловича тридцатитрехлетнего полковника Николая Николаевича Анненкова (р. 1799), совершавшего весьма успешное восхождение по ступеням военно-иерархической лестницы. Вскоре он был назначен командиром гвардейского Измайловского полка, затем произведен в генералы [2]. В конце 30-х годов Анненковы жили в Москве. В их доме бывал Лермонтов. В апреле 1841 года, за три месяца до гибели, он писал бабушке: «Был вчера у Николая Николаевича Анненкова и завтра у него обедаю; он был со мною очень любезен...» [3]

В конце 40-х годов Анненков был назначен в Государственный совет и произведен в генерал-адъютанты, после «освобождения крестьян» занял пост генерал-губернатора киевского, волынского и подольского. Умер он в 1865 году [4]. Заслуги его, по мнению вдовы, были умалены, разумные действия заведомо искажались. Это побудило Веру Ивановну рассказать его жизнь, которая в продолжение тридцати трех лет проходила у нее на глазах. Описание его трудов, его службы должно было органи-

---

[1] «Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым». Под редакцией и с примеч. В. И. Саитова, т. III. СПб., 1908, с. 727—728. М. Н. Лонгинов. И. Я. Бухарин. М., 1858; Н. И. Мердер. Люди былого времени.— «Русский архив», 1906, кн. I, с. 109—111.

[2] «Новое время», 1902, № 9435; «Исторический вестник», 1902, № 10, с. 91—96.

[3] Лермонтов, т. VI, с. 459.

[4] «Генерал-адъютант Н. Н. Анненков». СПб., 1862; В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. I. СПб., 1886, с. 61.

чески войти в ее мемуары, в которых она решила вспомнить всех интересных людей, кого ей доводилось встречать, видеть, слышать: Пушкина, Лермонтова, Ермолова, Крылова, Вяземского, Александра Тургенева, Александра Раевского, декабристов, Истомину, Тальони, Тамбурини, Рашель, Фанни Эльслер, Зонтаг, Загоскина, Мятлева, Соллогуба, Хомякова, Рубинштейна, Львова, Венявского...

Свидетельница пяти царствований, Анненкова умерла в Петербурге в мае 1902 года, дожив до восьмидесяти девяти лет.

3

Через месяц после ее погребения в газете «Новое время» появилась большая статья «Памяти В. И. Анненковой», автор которой вместо имени своего поставил в конце три звездочки [1].

По существу вся статья представляет собою краткий обзор содержания записок. К этому можно прибавить напечатанную в «Историческом вестнике» за 1902 год статью-некролог Н. И. Мердер «Воспоминания о Вере Ивановне Анненковой», которые относятся к последним годам ее жизни [2]. Это все, чем располагают комментаторы Лермонтова. Исследователи Пушкина этих записок тоже не видели никогда и только в последнее время ввели в научный оборот факты, пересказанные в статье «Нового времени» [3].

О том, что после В. И. Анненковой остались интереснейшие записки, известно было многим исследователям — В. И. Саитову, Б. Л. Модзалевскому, Д. И. Абрамовичу, Б. М. Эйхенбауму — редактору лучшего и самого полного собрания сочинений Лермонтова («Academia», 1934—1937). И с В. М. Лавровым, который комментировал для этого издания «Новогодние мадригалы и эпиграммы», мы говорили не раз об этих записках (он погиб в сравнительно молодые годы во время ленинградской блокады — был очень серьезный исследователь!).

[1] «Памяти В. И. Анненковой».— «Новое время», 1902, № 9435.

[2] Н. И. Мердер. Воспоминания о Вере Ивановне Анненковой.— «Исторический вестник», 1902, № 10, с. 87—103.

[3] М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., Изд-во АН СССР, 1951, с. 275.

Но ни в «Новом времени», ни в «Историческом вестнике» не содержится даже намека на то, где находится рукопись Анненковой, в каком ее надо искать архиве или у кого из наследников. А между тем автор «Нового времени» их значение понимает очень отчетливо. Этим запискам, начинает он некролог Веры Ивановны Анненковой, «не скоро придется сделаться общественным достоянием ввиду крайней прямолинейности и строгости внесенных ею в анализ характера многих известных сановников и оценки многих событий, для которых не настало еще время обнаружения их истинной подкладки» [1].

1936 год. Я полон энергии и надежд на успех. И приступаю к поискам (как можно предвидеть заранее!) ценнейшего литературного документа.

4

Начнем с родословия Анненковых. У Веры Ивановны и мужа ее Николая Николаевича — сын и четыре дочери. Сын — Михаил Николаевич, генерал, состоящий в свите царя, числящийся по Генеральному штабу. Он — строитель Закаспийской железной дороги. Покончил самоубийством в 1899 году. Все четыре дочери — фрейлины императорского двора. Одна — Нелидова, вторая — Голицына, третья — за русским посланником Кириллом Васильевичем Струве, живет в Токио, в Вашингтоне, в Гааге. Четвертая дочь — за известным французским историком русской литературы графом Мельхиором де Вогюэ: он — секретарь французского посольства в Петербурге.

Никого из них нет на свете.

А где третье поколение? — внуки и внучки Веры Ивановны: фрейлины Мария Михайловна и Вера Михайловна Анненковы, сын Струве и дочери — в замужестве Шевич, Мещерская, Орлова и Мумм? Дочь Голицыной — Галл? Где правнуки Анненковой?

Сведения о детях извлечены из «Родословного сборника», который составили Руммель и Голубцов [2]. О внуках и правнуках, которых в сборнике нет (он выпущен

[1] «Новое время», 1902, № 9435.

[2] В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. I. СПб., 1886, с. 61—62, 64.

в 1886 году!),— узнал от знаменитого генеалога Николая Петровича Чулкова, ныне покойного. Это он помог выяснить мне, кто какое имя носил и кто за кого вышел замуж.

Заполняю один за другим бланки адресных бюро — в Москве, в Ленинграде. Пишу фамилии: Шевич, Мещерский, Галл... Приблизительный возраст...

— Не проживают!

Генеалогическая линия поисков ничего не дает. На данном этапе (конец 30-х годов) ее можно считать исчерпанной.

Кто писал статью для «Нового времени»? Чье имя скрывают три звездочки — так называемый «астроним»?

Обращаюсь к Ивану Филипповичу Масанову — уникальному специалисту, составителю «Словаря псевдонимов».

Спрашивает, как расположены звездочки: так: * * *
так: ***; так: *** ; или, может быть, так: **
*

Объясняю: три подряд, так — ***!

Обещает прислать письмо.

Получаю справку: в 1902 году в «Новом времени» астроним *** никто из постоянных сотрудников под своими статьями не ставил. Некролог В. И. Анненковой написал человек для газеты «Новое время» чужой.

Беседую со старыми ленинградцами, которые знали сотрудников «Нового времени» — с В. Ф. Боцяновским, Н. А. Энгельгардтом... Не знают, кто мог подписаться под этой статьей, разговоров о записках Анненковой не помнят.

Значит, через автора статьи подойти к запискам тоже не удается: имя его неизвестно.

У Бухариной был брат — в свое время генеральный консул в Марселе, одесский градоначальник, женатый на сестре писателя Болеслава Маркевича. Выясняю: у него был сын — племянник Веры Ивановны, Михаил Николаевич, инженер-путеец, член совета министра путей сообщения, писавший «в драматической форме». Он умер в 1910 году. Но с ним, очевидно, линия обрывается — детей у него нет [1].

Обращаюсь в архивы — нету! Ни в Пушкинском до-

[1] «Исторический вестник», 1911, № 2, с. 800—801; «Новое время», 1910, № 12490; «Письма Б. Маркевича к гр. А. К. Толстому и др.». СПб., 1888, с. 119, 176.

ме, ни в Ленинградском историческом архиве — он тогда назывался ЛОЦИА, ни в Московском Литературном музее, ни в Библиотеке имени В. И. Ленина, ни в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), ни в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР), ни в Центральном государственном историческом архиве Москвы (ЦГИАМ), ни в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА). А главное — пришел в Рукописное отделение Государственной Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, к Ивану Афанасьевичу Бычкову, который заведует отделением с 80-х годов — более полувека... Я ему:

— Иван Афанасьевич, у вас нету случайно записок Веры Ивановны Анненковой?

Иван Афанасьевич, по обыкновению своему, схватив посетителя за руку, бежит, стуча каблучками, как ежик, маленький, скособоченный, подслеповатый, седенький, вокруг мраморного Нестора-летописца работы М. М. Антокольского,— и меня влечет за собой:

— Вас интересуют записки Веры Ивановны Анненковой, урожденной Бухариной?.. Как же, как же! Я знаю — интереснейшие записки! Общим числом пятнадцать тетрадей в белых бумажных обертках!.. Их у меня в отделении нет — не поступали ко мне...

И, выбросив мою руку из своей, дает понять, что аудиенция и консультация окончены.

Прошел, кажется, год, прежде чем я решился задать великому архивисту вопрос и пришел за этим к нему в отделение. Я все продумал и полагал, что очень тонко и политично наведу его на воспоминания об этих записках, о поступлении которых в рукописное отделение библиотеки он, по-видимому, просто забыл.

— Иван Афанасьевич,— начинаю издалека,— я однажды вас спрашивал...

— Про записки Веры Ивановны? — как же! — И, послушав любезно и даже слегка хитровато и понимая, к чему я клоню:

— Я был знаком с ней, она читала при мне свои мемуары, которые, кстати, написаны ею по-французски. Была очень интересная собеседница.

И удаляется, гремя связкой ключей, столь тяжкой, что она-то и есть отчасти причина его кособокости.

Не успел уехать из Ленинграда, как в Читальном зале библиотеки получаю записку:

«Прошу пожаловать в Отделение к 11 часам. И. Бычков».

— Могу показать вам материалы об этих записках,— сказал Иван Афанасьевич, крепко ухватив меня за руку и снова таща к летописцу.— Просмотрите письма Надежды Ивановны Мердер к Сергею Николаевичу Шубинскому. Переписка Шубинского переплетена по годам, а письма Мердер читаются очень легко: Надежда Ивановна страдала «пляской святого Витта», не держала пера и печатала сама на «Ремингтоне». Я просмотрел и сделал закладки. Прошу садиться за стол. Я сейчас принесу...

И затопал маленькими шажками — любезный, подслеповатый, седенький, накренившийся несколько вправо — титан познаний, доброжелательства, дружелюбия, щедрости, точный, обязательный, четкий. Отец его, А. Ф. Бычков, принял заведование отделением в 1844 году. Сын, сменивший его, умер в 1944 году, пережив блокаду, каждодневно приходя на работу! Сто лет работы на одном месте — двоих!

Он возвращается, хитровато-радушный, таща пять или шесть толстенных томов в кожаных переплетах с закладками:

— Желаю вам обнаружить записки Веры Ивановны!

Подождал за плечом, покуда я начал читать, и поспешил к своему месту возле окна за огромным длиннейшим столом.

5

Вера Ивановна доживала свой век в Петербурге, на Гагаринской набережной, теряя постепенно связи с эпохами и людьми. Сверстники умерли. Уходило уже младшее поколение. Надвигался XX век. С ним у старухи не было ничего общего. По собственному ее признанию, она не жила — она при жизни только присутствовала.

А ясность ума, память, искусство увлекательного рассказа — все было прежнее. Ушло время. Не было собеседников. Слушали с уважением и с интересом — воспринимали, как далекое и чужое, то, что для нее по-прежнему было живым.

Тут представили ей Надежду Ивановну Мердер — шестидесятилетнюю даму, писательницу, выступавшую на страницах либеральных и консервативных журналов под псевдонимом «Н. Северин». В последнее время она стала усердно сотрудничать в «Историческом вестнике», который редактировал Сергей Николаевич Шубинский. Мердер с ним подружилась. Жила литературным трудом — писала исторические и бытовые романы, драмы, очерки и статьи.

Ее отец — отставной военный и богатый помещик Свечин, овдовев, отдал ее на воспитание свояченице Вере Николаевне Воейковой, дочери писателя и художника, свояка Г. Р. Державина, Николая Александровича Львова. Патриархальная дворянская старина радовала сердце Мердер, составляла ее идеал. Но, вступив в жизнь в 60-е годы, даже она испытала влияние времени — дружила с Ольгой Сократовной, с которой вместе училась в Саратове, знавала самого Чернышевского. С мужем — Мердером — рассталась в двадцать шесть лет и сама, без чьей-либо помощи, воспитала сына, который служил теперь в Петербургской конторе российского банка.

Трудная жизнь, болезнь, недостаток средств утомили ее и рано состарили. Но духовные интересы не угасали. И живее всего был интерес к отошедшим эпохам. Знакомство с Анненковой, воспоминания умной старухи, живые характеристики ее увлекли. Интерес, который выказывала Мердер, воодушевлял талантливую рассказчицу. Весною 1900 года Вера Ивановна выразила желание, чтобы Надежда Ивановна Мердер ехала с нею в харьковское имение Боброво.

Обширный дом, запущенный старый парк, огромная библиотека, которую собирали несколько поколений русских людей, привели старую журналистку в состояние душевного покоя. С помощью «барышень Анненковых» — внучек Веры Ивановны — она стала разбирать семейный архив. Переписка Бухарина с Аракчеевым, Анненкова с виднейшими военными деятелями 20—60-х годов, влюбленные письма Александра Тургенева к семнадцатилетней Вере Ивановне заинтересовали ее. А тут еще Анненкова предложила, что будет вслух читать ей воспоминания.

«Она пишет и про Пушкина, с которым была коротко знакома, и про Жуковского. Ну, про всех, одним сло-

вом,— сообщает Мердер Шубинскому в Петербург, перечисляя вслед за тем имена Паскевича, Горчакова, Волконского, Меньшикова, Адлерберга и Чернышева и других, со многими из которых ее муж находился в долголетней вражде.— Интересны подробности... про декабристов... Но еще интереснее рассказы, которыми она сопровождает свое чтение, и письма, подтверждающие ее слова» [1].

Мердер приходит в голову перевести хотя бы в извлечениях на русский язык эти записки и напечатать их в «Историческом вестнике».

«Но вот беда,— жалуется Мердер на Анненкову,— она хочет отдать свои записки не тем двум внучкам, которые с нею живут и страстно интересуются архивом, а одному из своих внуков, Струве, мальчику, воспитанному за границей и который путного из всего этого не сделает...» [2]

Шубинский предложение Мердер одобрил. И она берется за перевод. Запомним,— это будет иметь значение в дальнейшем,— что пишет она на машинке.

«Посылаю вам все, что мне удалось уже сделать,— сообщает она в том же письме редактору «Исторического вестника».— Крайне интересно, чтоб то, что я вам посылаю, появилось как отрывок в вашем журнале и как можно скорее, пока старуха еще жива» [3].

Сын Мердер получил назначение в Варшаву. Она должна ехать за ним. Но Анненкова так приучила себя к мысли увидеть эти записки в печати при своей жизни, что готова одолжить оригинал даже в Варшаву: пусть переводит. А пока что Мердер высылает Шубинскому пятую часть записок... [4]

Нет, Анненкова заколебалась. Хочет отложить решение вопроса до возвращения своего в Петербург. Ей следует посоветоваться с дочерьми. Она уже говорит, что лучше печатать после смерти ее. «Но по всему видно,— сердится Мердер в письме,— что ей хотелось бы, чтобы это было при ней». «Перевод мой я дарю внучкам Марье Михайловне и Вере Михайловне Анненковым,— продол-

[1] Письмо Н. И. Мердер к С. Н. Шубинскому от 3 сентября 1900 года.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Письмо от 18 сентября 1900 года.

жает она,— и сделаю так, чтобы он находился у вас весь сполна» [1].

В Варшаве Мердер усердно продолжает заниматься этой работой и с первою же оказией посылает Шубинскому 175 страниц, а именно: «последние главы первой части, до 1848 года, и «Киев» — воспоминания 1864 года» [2].

«Многоуважаемый Сергей Николаевич,— пишет она,— завтра посылаю вам почтой рукопись, листов будет на десять печатных... Как я вам писала, мне остается перевести только самый конец да еще несколько глав от 1845-го до 1863 года» [3].

Значит, про Пушкина, про Лермонтова, про детство, про юность Бухариной Мердер перевела!

А еще через три недели сообщает, что, кончив работу, доставит оригинал внучкам Анненковым, а перевод ему — Сергею Николаевичу Шубинскому [4].

Делая перевод без предварительной рукописи — прямо печатая на машинке,— Мердер исправила и перебелила его. Это — два экземпляра. Один послала Шубинскому. Три. Один подарила внучкам — Вере и Марье Михайловнам Анненковым. Это — четыре!

Далее наступает большой перерыв. В письмах Мердер к Шубинскому о записках «старушки» нет ни одного слова. Разговоры о них возобновляются два года спустя. Анненкова перенесла болезнь, которой даже подыскала название: «временное отсутствие». Это уже 1902 год. Февраль [5]. А 16 апреля бедная Вера Ивановна «потеряла надежду, что ей позволят напечатать ее воспоминания» [6]. Дочери — фрейлина Нелидова и графиня де Вогюэ категорически запретили Мердер настаивать на этом и дали понять ей, что ее разговоры пагубно отразились на здоровье их матери. «Ее держат, как заключенную,— жалуется Мердер Шубинскому,— не оставляют подолгу с теми, кого она любит, и она сама сознавалась мне, что должна принимать особенные меры, чтобы отсылать письма, кому ей хочется. Какой ужас, дожить до девяноста лет, оставаясь в полной памяти и имея возможность

---

[1] Письмо от 29 сентября 1900 года.
[2] Письмо от 1 декабря 1900 года.
[3] Письмо от 6 декабря 1900 года.
[4] Письмо от 25 декабря 1900 года.
[5] Письмо от 23 февраля 1902 года.
[6] Письмо от 15 апреля 1902 года.

сознавать всю мерзость окружающей жизни» [1],— пишет Мердер в отместку за те упреки, которыми осыпали ее Вогюэ и Нелидова.

«Вот и дорогой моей старушки нет на свете»,— начинает она письмо от 12 мая 1902 года. И обещает Шубинскому продолжить работу — перевести последнюю часть, «если попросят».

«У Бухарина коротенький некролог появится в «Новом времени» [2].

Каков Масанов! И что значит библиография! Какая точность астрономическая при выяснении вопроса об «астрониме»! Бухарин один только раз выступил в «Новом времени», и под его статьей поставили звездочки, которыми в этот момент никто из постоянных сотрудников не подписывался!

«Вдовствующая» императрица — мать Николая II — спрашивала у «барышень Анненковых» про записки покойной и просила ей дать их прочесть. Но ужас! Барышни пишут Мердер в Варшаву:

«Оригинал еще у нас, но мы должны по завещанию бабушки передать его нашему двоюродному брату Борису Струве» [3].

Борис Струве увозит его за границу!

Юридически оригинал принадлежит Струве,— волнуется Мердер.— А перевод? Он сделан по желанию Веры Ивановны и подарен, с ее ведома, внучкам. Однако им кажется, что издание записок уже невозможно. А ведь они обмышляли, какой из портретов бабушки приложить к мемуарам... [4]

На этом переписка об издании интереснейших этих записок кончается.

В 1904 году Мердер поселилась в Москве. Дружила с Петром Ивановичем Бартеневым. Имела возможность пользоваться «богатейшей библиотекой Румянцевского музея», откуда ей все присылали на дом. Она умерла спустя две зимы — в марте 1906 года. Между прочим, после нее тоже остались воспоминания [5].

---

[1] Письмо от 15 апреля 1902 года.
[2] Письмо от 26 мая 1902 года.
[3] Письмо от 6 июня 1902 года.
[4] Там же.
[5] «Исторический вестник», 1906, № 3. Некролог Н. И. Мердер.

6

Надо искать архив Мердер. Он мог попасть в Румянцевскую (ныне Ленинскую) библиотеку.

Не попал.

В Пушкинском доме... В Публичной библиотеке... В Литературном музее в Москве... В Историческом музее...

Нет.

Извлечения из записок Анненковой мог взять Петр Иванович Бартенев...

Не взял. Во всяком случае, подтверждения мы не находим.

Значит, два экземпляра машинописи — черновой и перебеленный — нам недоступны или, еще вернее, пропали. А где два других?

Экземпляр, принадлежавший внучкам старухи, хотела читать «вдовствующая» императрица. Надо искать в дворцовых архивах.

Не нашел. Стало быть, читать, очевидно, не дали, а увезли с собой за границу.

Экземпляр, посланный Шубинскому, предназначался в набор. Архив «Исторического вестника» не сохранился. Личный архив редактора — С. Н. Шубинского — цел. Он распался на части. Одна — в Пушкинском доме. Другая была в Библиотеке Академии наук в Ленинграде и поступила оттуда в тот же Пушкинский дом. Часть — в Публичной библиотеке, часть в Историческом архиве Ленинграда. Машинописных копий перевода там нет. Очевидно, никому в голову прийти не могло, что это — ненапечатанный оригинал ценнейших записок. Подумали, что какая-то копия. И как дóлжно не отнеслись.

Все перерыл! Знаю, о чем записки. Знаю, как интересны записки. И все, кто слышат про них, думают то же самое. А найти не могу!

Ехал как-то «Стрелою» из Ленинграда в Москву в одном купе с Цявловским Мстиславом Александровичем и с женою его Татьяной Григорьевной — крупнейшими пушкинистами. Рассказываю им про Мердер, про Анненкову, про то, как Пушкин, встретив ее (в ту пору еще Бухарину) в Москве, на балу, в доме Голицына, напомнил ей эпизод ее детства.

Когда его выслали из Петербурга в 1820 году и он оказался в Киеве, где ее отец был губернатором, он, принятый в доме их, «как родной», часто спасался от гостей в детскую, где она — Вера Бухарина — с братом учила уроки. И там, следя за тем, как они повторяли по французской книжке урок географии, Пушкин был поражен названием сибирской реки, о которой прежде не слышал: «Женисеа»?.. [1]

Я говорю очень громко. Цявловский вполголоса бурно меня поощряет, Татьяна Григорьевна сконфуженно уговаривает нас не шуметь и пожалеть четвертого пассажира. В пятом часу ночи сосед свесился с полки:

— Товарищи! У меня будет к вам просьба! Нельзя ли говорить погромче? Я не расслышал про Пушкина!

А записок нет, как и не было! А главное, там про Лермонтова! Ведь Анненкова хорошо знала его. Лермонтов навещал их. Могут оказаться совершенно неизвестные факты...

Спросил как-то году в тридцать восьмом у писателя генерал-лейтенанта Игнатьева Алексея Алексеевича:

— Вы Анненковых в Париже не знаете?

— Кого, Веру и Марью? Да, были такие: знакомили когда-то еще в Петербурге. А что тебе от них надо, Андроников?

Объясняю.

— Нет, не могу сказать, живы ли даже. Кажется, умерли. А ты что? Писать им собрался? Во Францию или на тот свет? По-моему, сейчас не момент!

Время идет. Нет-нет да и принимаюсь снова за поиски. То в Ленинграде ищу, то в Москве. Не выходят из головы фамилии лиц, причастных к этим запискам. Пойду к каталогу в архиве совсем по другому делу — рука тянется к карточкам: Анненкова, Струве, Нелидовы, Мердер, Бартенев, Шубинский...

Одна из «барышень Анненковых», как значится в адресной книге «Весь С.-Петербург на 1917 год»,— вице-президент трудолюбивого общества «Муравей». Где архив «Муравья»? Где бумаги Нелидовых? Где архив Вогюэ? Он занимался русской литературой... Французского оригинала я не ищу. Он где-то за рубежом. Но где? Борис Кириллович Струве, которому записки достались,

---

[1] «Новое время», 1902, № 9435.

скончался в 1912 году молодым. К кому перешли его бумаги, сидя в Москве, не выяснишь.

Не было года, чтобы прекратил поиски. Четверть века перебирал в памяти и воображении, как залежалые зерна, фамилии, искал новых путей к утраченной рукописи.

1961 год. Путешествую с писательской делегацией по Лондону. Спрашиваю у парижанки, которая теперь живет в Англии,— она сопровождает нас и ездит с нами в автобусе:

— Не знаете ли вы каких-нибудь Струвé — не в Соединенных Штатах; там печатает выпады против советской литературы Глеб Струве. Нет, других, живущих где-нибудь в Голландии, Франции, Бельгии...

— Да, в Париже живут. Только я не знаю их адреса.

7

Летом 1962 года еду в Москву из дачного городка Переделкино. Один известный писатель останавливает, просит подвезти его гостью:

— Пожалуйста!

Дорогою выясняется, что гостья преподает в Париже русский язык.

— А вы, случайно,— спрашиваю,— там Струве не знаете?

— Ну еще бы: Петра и Никиту. Давайте я запишу вам адрес. «Рю Клод Дэкаэн.., доктор Пьер Стрюве...» На всякий случай и телефон, если попадете в Париж — сможете ему позвонить... Впрочем, зачем вам адрес и телефон, когда есть возможность поговорить с Петром Алексеевичем лично. Он — крупный хирург, прибыл в Москву на Онкологический конгресс и живет сейчас в «Ленинградской» гостинице. Между прочим, сегодня он, кажется, уезжает. Позвоните ему — вы успеете выяснить все вопросы.

А я как раз направлялся в Иностранную комиссию Союза писателей. Рассказываю там.

— Зачем звонить,— говорят,— поезжайте немедленно. Пропустите случай.

Ожидаю в холле на этаже. Господин Стрювé еще не пришел.

Наконец появляется — приятной внешности, невысо-

кий, неторопливый, обстоятельный, лет под сорок, со светлой русской бородкой чеховского фасона.

Называю себя. Здоровается очень приветливо. Оказывается, даже читал мою книжку.

— Неужели,— удивляется он,— мы тоже становимся персонажами ваших историй?

— Это будет зависеть от вас.

— В чем же дело?

— Была такая Вера Ивановна Анненкова...

— Бабка моей двоюродной тетушки, урожденной Струве,— уточняет Петр Алексеевич.

— После нее остались интереснейшие записки...

— Знаю. То есть я их не читал, но знаю, что они существуют.

— Существовали... Она завещала их своему внуку Борису Струве.

— Борису Кирилловичу? Это мой дядя, вернее, двоюродный брат моего деда... Но ведь он... давно умер.

— Он умер в двенадцатом году?

— Да, совершенно верно.

— А куда же делись записки?

— Об этом лучше всего могла бы сказать Мария Кирилловна Шевич.

— Мария Кирилловна?

— Именно. Это родная сестра Бориса Кириллыча — моя тетка.

— Простите... а разве Мария Кирилловна...

— Жива в высшей степени! Бодра, обладает незаурядной памятью, несмотря на преклонный возраст, сохранила живой интерес ко всему... Я спрошу у нее. И почти убежден, что вы получите эти записки. Если только они уцелели и принадлежат действительно ей, я вышлю их вам с ближайшею почтой!.. На всякий случай давайте я запишу все это и справлюсь...

— У внучек Веры Ивановны — Анненковых,— продолжаю я свою песню,— был русский перевод извлечений из этих записок...

— Понимаю: речь идет о двоюродных сестрах Марьи Кирилловны... Вернее, может идти об одной: Марья Михайловна умерла, если не ошибаюсь, в сорок втором году. Что касается Веры Михайловны, то она, насколько я знаю, более или менее утеряла рассудок, и думаю, разговор с ней вряд ли к чему-нибудь приведет. Впрочем,

по приезде в Париж я выясню все, что интересует вас, и тотчас сообщу.

— Буду вам очень обязан.

Через несколько времени получаю письмо:

«Имел сегодня длинный телефонный разговор с Марьей Кирилловной Шевич, из которого выяснил:

1. Французский оригинал воспоминаний В. И. Анненковой *остался в России*. Борис Кириллович Струве скончался не за границей, как вы предполагали, а в Петербурге, в 1912 году. Рукопись воспоминаний была помещена его старшей сестрой, Верой Кирилловной Мещерской, в сейф. Что касается точного местонахождения сейфа, Мария Кирилловна точных данных не имеет, но как будто существуют только три возможности:

а) Государственный банк. Самое вероятное местонахождение.

б) Международный банк.

в) Сейф Елены Кирилловны Струве (в замужестве Орловой), на Галерной, 75.

2. Об извлечениях на русском языке М. К. Шевич никогда не слыхала.

Боюсь, что розыск сейфа будет более чем трудной задачей, т. к. 45 лет тому назад с сейфами обращались не очень бережно».

Кладу письмо — снимаю с полки описание фондов Центрального государственного исторического архива СССР в Ленинграде. Открываю на слове «Банки».

Неплохо! Около двухсот тысяч единиц хранения в разделе «Государственный банк», около ста тысяч в разделе «Международный банк», а кроме того, частные банки...

Лечу в Ленинград. Прошу разрешения ознакомиться с описью материалов, извлеченных из банковских сейфов в 1917—1918 году. Ищу французский оригинал записок — оригинала-то я не искал!..

Нет оригинала.

Собрали работников ленинградских архивов, рассказываю, жалуюсь, призываю помочь...

Нету!

Вернулся в Москву — на столе письмо из Парижа. От Струве!

«На днях навестил Веру Михайловну Анненкову. Она доживает свой век в старческом доме под Парижем —

ветхая и совсем больная старушка. Соображает она весьма худо. Рукописи у нее нет, но... может быть, и была. Одна наша общая знакомая помнит, как несколько лет назад Вера Михайловна предлагала ей прочесть воспоминания бабушки. Это чтение так никогда и не состоялось. В то время она жила на собственной квартире в Париже. В старческий дом она переехала приблизительно три года назад. По всей вероятности, все ее бумаги перешли к одному из ее племянников. Может быть, среди них находился русский перевод мемуаров... Не кажется ли Вам забавным, что Вы ищете французский оригинал в России, тогда как я во Франции ищу его русский перевод?!»

«Вы ищете»!.. А я даже не знаю, как приступить к поискам. Хоть и уверен, что записки лежат где-нибудь без движения. И кто-то знает о них, но не имеет представления ни о том, что они нужны мне, ни о том, что написано в них.

Решаю рассказать по телевидению эту историю, а по ходу передачи спросить: «Не знает ли кто-нибудь из вас, товарищи телезрители, о судьбе этих записок?»

Однажды я уже обратился за помощью к телезрителям, получил двадцать шесть советов — по телефону и в письмах, и следы человека, которого искал четырнадцать лет, нашел в один день.

Звоню редактору Литературно-драматического вещания Наталье Николаевне Успенской.

— Сколько времени понадобится вам для рассказа? — спрашивает она, уже согласившись.

— Точно не знаю. Сегодня встречаюсь с читателями и сотрудниками Исто́рической библиотеки и, рассказывая им эту историю, буду глядеть на часы. А завтра сообщу.

Приехал в библиотеку. Начинаю рассказывать... Еще не кончил — директор, рядом со мной сидящий, кладет на стол развернутую записку:

«Не уходите, я знаю, где мемуары Анненковой».

Встреча окончилась — знакомят: Шифра Абрамовна Богина́ — лет тридцати с небольшим, очень скромная, очень интеллигентная.

— Эти записки в ЦГАДА,— говорит она, взволнованная не меньше меня.— Я работала там по договору — обрабатывала документы из сборных личных фондов самого разного времени. И несколько лет назад описала

рукопись Анненковой. Она жена генерала? Французская рукопись?.. Там!

В ЦГАДА?! В архиве древних актов, где хранятся столбцы времен Ивана Грозного и Алексея Михайловича?! Куда я ходил много раз — в 30-х годах и в 40-х! Хотя там их и быть не могло и ходить туда было незачем. А ходил! В последний раз, кажется, в 51-м году! Непостижимы судьбы архивные! Кто мог подумать!

Приехал на Пироговскую, дом 17. Сколько раз входил я в этот подъезд!

Меня уже ожидают сотрудники, ожидают записки — Богина предупредила по телефону. Вот они — в белых бумажных обложках. Пятнадцать. Твердым почерком. По-французски: «La verité, rien, que la verité» — «Правда, и только правда» [1].

Вы думаете, я обрадовался? Нет! Я так привык искать эти записки, что мне показалось, будто у меня что-то отняли.

Но мало-помалу эта пустота стала заполняться содержанием записок.

Они интересны. Очень. Очень обширны. В них более семисот листов. Привести их здесь полностью невозможно. Даже в пространных выписках. Это придется сделать отдельно. А сейчас в переводе Л. В. и Н. В. Классен я процитирую те страницы, на которых Анненкова ведет рассказ о Пушкине, о Лермонтове, о Москве начала 30-х годов, об атмосфере, в которой возникли те новогодние мадригалы и эпиграммы, с которых мы начали этот рассказ.

8

Прежде всего остановимся на эпизодах, связанных с именем Пушкина, которого, как уже было сказано, Вера Бухарина впервые увидела в Киеве, в доме отца своего, занимавшего пост губернатора.

«...возвращаюсь к воспоминаниям детства, связанным с Киевом,— пишет она.— Из смутных воспоминаний прошлого полнее всего сохранилось впечатление от пре-

---

[1] ЦГАДА, из коллекции «Сборный личный фонд». Фонд В. И. Анненковой.

красной Андреевской церкви, расположенной на горе и более поэтичной, чем в настоящее время: тогда она одна выделялась на небесной лазури и казалась устремленной ввысь; ее не принижало еще соседство дома Попова, новой «Десятинной» церкви и дачи Андрея Муравьева — этого «Андрея Незваного», который явился заменить «Андрея Первозванного», как об этом сказал с насмешкой один злой шутник.

Губернаторский дом находился на Липовой улице — более прекрасных лип я на свете не видела; их заставил срубить безжалостно один губернатор. Я никогда не могла постигнуть этот акт вандализма со стороны человека, оказавшегося цивилизованным варваром,— это граф Левашов [1].

Мой отец и мать широко принимали, киевское общество в эту пору было очень приятное, и я хорошо помню некоторых постоянных посетителей нашей гостиной.

Это — предводитель дворянства граф Олизар, граф Ходкевич, братья Муравьевы-Апостолы (тот, который был повешен, и другой, которого сослали в Сибирь по делу 14 декабря). В ту пору оба они были переведены в армию, когда прежний Семеновский полк раскассировали и они служили в полку, расположенном в Белой Церкви.

Молодой поэт Пушкин был сослан за стихи в Киев, и он говорил, что «язык его довел до Киева и, может быть, даже за Прут» (эта фраза в подлиннике по-русски.— *И. А.)* .

Мой отец, обязанный за ним наблюдать, просил его для облегчения этого дела считать губернаторский дом своим. Молодой поэт поймал его на слове и проводил свою жизнь у нас.

Бестужев-Рюмин, князь Волконский, прозванный «Бухна» (в подлиннике по-русски.— *И. А.)*, Капнист, сын поэта, наш сосед по деревне, с которым мои родители были близко связаны, тоже очень часто приходили в салон, где в дни больших приемов встречали элегантных, красивых полек.

Между ними особенно вспоминаю мадам Ганскую, урожденную Ржевускую (Анненкова по ошибке написала ее фамилию «Ржеванская».— *И. А.*), которая была

---

[1] Впоследствии эта улица называлась Левашовской.— *И. А.*

«Лилией Долины» Бальзака и на которой знаменитый романист женился впоследствии, когда она находилась уже на склоне лет, а в пору первых моих впечатлений ей, красивой, как ангел, было 17 лет.

Она была женой человека малоприятного, с мрачным расположением духа.

Из наиболее близких к нашему дому вспоминаю Раевских — семью командира корпуса, командующего войсками генерала Николая Николаевича Раевского. Сад губернаторского дома был у нас общим для двух домов, и мы часто видели генерала. Сын генерала Раевского несколько раз приходил присутствовать на моих уроках; это он — «Демон» Пушкина, о котором поэт сказал:

На жизнь насмешливо глядел
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел...

(стихи в подлиннике по-русски.— *И. А.)*.

В ту пору мне было около восьми лет...» [1]

Время, о котором пишет здесь В. И. Анненкова, определено очень точно.

В первый раз сосланный на юг Пушкин прибыл в Киев в середине мая 1820 года, остановился у Раевских и через день или два отправился дальше в Екатеринослав — к месту ссылки [2].

Мог ли он за такой короткий срок пребывания в Киеве познакомиться с губернатором Бухариным и даже зайти в детскую комнату, где восьмилетняя девочка старалась запомнить название сибирской реки «Женисеа»?

Много времени на это не требовалось, тем более что дома Раевских и Бухариных стояли в одном саду. Во всяком случае, утверждение Веры Бухариной, что это было в 1820 году, опровергнуто быть не может.

Второй раз Пушкин побывал в Киеве «на контрактах» — то есть во время киевской ярмарки, в конце января — начале февраля 1821 года [3].

Вот в эти-то две недели, остановившись опять у Раевских, Пушкин и «проводил свою жизнь» у Бухариных. «В ту пору мне было около восьми лет»,— пишет Анненкова. Она родилась 2 июня 1813 года. В начале февраля

[1] Тетрадь 1, лл. 53—59.
[2] М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., Изд-во АН СССР, 1951, с. 220.
[3] Там же, с. 275—277.

1821 года ей было около восьми лет. Все совершенно сходится!

Анненкова вспоминает Эвелину Ганскую, урожденную графиню Ржевускую, ставшую впоследствии женой Оноре де Бальзака, которой было в то время семнадцать лет.

Эвелина Ржевуская родилась в 1803 году. В 1820-м, когда Бухарина назначили киевским губернатором, ей было семнадцать лет. Все очень точно!

Среди тех, кто посещал салон ее родителей, Анненкова выделила (вероятно, видела их чаще других!) крупнейших деятелей декабристского движения, руководителей Южного общества — Сергея Муравьева-Апостола и его «неотступного приятеля» Михаила Бестужева-Рюмина. В 1821 году оба служили в Полтавском пехотном полку в Белой Церкви, переведенные из раскассированного Семеновского полка [1]. Брат Сергея Ивановича Матвей Муравьев-Апостол, один из виднейших участников Южного общества, жил тогда в Киеве, состоя адъютантом при военном губернаторе Малороссии Репнине [2]. Генерал-майор Сергей Григорьевич Волконский, за которым закрепилось прозвище «Бюхна», накануне второго приезда Пушкина в Киев был назначен бригадным командиром 19-й пехотной дивизии, расквартированной в Умани [3].

Всех четверых или, уж во всяком случае, троих Пушкин знал еще по Петербургу и встречался с ними в продолжение всей южной ссылки.

Новых знакомств Пушкина с декабристами записки Анненковой не устанавливают, но позволяют думать теперь, что поэт встречал их в Киеве — в губернаторском доме.

Анненкова запомнила в салоне отца графа Александра Ходкевича — крупного волынского помещика, отставного генерала польской службы, члена тайной политической организации — Патриотического польского общества [4]. Это общество, преобразованное из Национального

---

[1] «Восстание декабристов». Материалы, т. VIII, «Алфавит декабристов». Под редакцией и с примеч. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. М., 1925, с. 281, 359—360.

[2] Там же, с. 358—359.

[3] «Алфавит декабристов», с. 297—298.

[4] Там же, с. 199—200 и 415.

польского масонства, возникло еще в 1820 году[1] (по другим данным — в 1821 году[2]). К лету 1821 года были созданы ответвления Общества, и глава его «литовской провинции» выехал в Кишинев к генералу М. Ф. Орлову[3]. Это произошло вслед за московским совещанием, на котором М. Ф. Орлов предложил принять радикальные меры для подготовки вооруженного выступления. Связь Южного общества с Патриотическим польским обществом была установлена в 1823 году Бестужевым-Рюминым и Сергеем Муравьевым-Апостолом и именно через графа Ходкевича[4].

По словам Муравьева, в 1823 году они вместе с Бестужевым-Рюминым «предложили графу Ходкевичу свести Южное общество с Польским»[5]. И в следующем — 1824 — году во время «контрактов» в Киеве Ходкевич познакомил их с депутатом Польского общества Крыжановским, который «вошел с ними в переговоры и заключил словесный договор»: Южное общество обещало полякам независимость и уступку некоторых завоеванных областей, а поляки обязывались содействовать революции и «отнять у цесаревича средства возвратиться в Россию»[6]. Эти встречи происходили в Киеве на квартире Ходкевича, на квартире Бестужева и у Крыжановского...[7] Не будем продолжать: уже ясно, что в установлении контакта между декабристами и польскими патриотами графу Ходкевичу принадлежала весьма важная роль.

Не менее интересна фигура графа Густава Олизара — польского поэта, вольнодумца и патриота, как раз в те дни, когда Пушкин находился в Киеве — в начале 1821 года,— прошедшего с успехом на выборах в киевские губернские маршалы[8]. Близкий друг Муравьева и Бестужева-Рюмина, Олизар знал не только о том, что в России

---

[1] И. Беккер. Декабристы и польский вопрос.— «Вопросы истории», 1948, № 3, с. 67.

[2] С. С. Ланда. Мицкевич накануне восстания декабристов.— «Литература славянских народов», вып. 4. М., Изд-во АН СССР (Институт славяноведения), 1959, с. 98.

[3] Там же.

[4] «Восстание декабристов». Материалы , т. IV, «Дело С. И. Муравьева-Апостола». М.—Л., ГИЗ, 1927, с. 401.

[5] «Восстание декабристов», т. IX, с. 95.

[6] Там же, т. IV, с. 401.

[7] Там же, т. IX, с. 95.

[8] С. С. Ланда. Мицкевич накануне восстания декабристов.— Цит. изд., с. 92.

и Польше существуют революционные организации, но и о том, что члены Южного общества и польские конспираторы связаны между собой [1]. И это немудрено: «Бестужев-Рюмин,— показал П. И. Пестель,— познакомившись в Киеве с Гродецким, графом Олизаром и графом Ходкевичем, первый открыл сообщение Русского общества с Польским» [2]. И снова: «Бестужев же был в сношении с Г. Олизаром» [3]. Не отрицал этого и Бестужев-Рюмин, признавший, что в 1824 году он «сносился преимущественно» с Гродецким, Ходкевичем и Олизаром [4].

Оба — и Ходкевич и Олизар — в начале 1826 года были арестованы и доставлены в Петербург, как лица, прикосновенные к заговору [5].

Что, казалось бы, нового могут внести в освещение этих событий несколько строк, написанных Анненковой по воспоминаниям ее, относящимся к восьмилетнему возрасту?

Дату! Год первой встречи!

В своих показаниях братья Муравьевы-Апостолы и Бестужев-Рюмин говорят разное и во многом противоречат даже самим себе. Так, составляя специальную записку о сношениях с поляками, Бестужев писал, что о существовании Общества в Польше узнал от Ходкевича «на киевских контрактах в 1824 г.» [6]. Сергей Муравьев свидетельствует, что он с Бестужевым предложили «свести Южное общество с Польским» в 1823 году, указавши при этом, что предложение это было сделано им вместе с Бестужевым графу Ходкевичу [7]. А из протокола другого допроса следует, что ни с Ходкевичем, ни с Олизаром он — Муравьев — «личного сношения не имел» [8].

Бестужев отрицал политическую связь с Олизаром [9] — что же касается Ходкевича, то он пытался уверить, что Ходкевич «не принадлежал к Обществу с 1814 года»

[1] С. С. Ланда. Мицкевич накануне восстания декабристов.— «Литература славянских народов», вып. 4, с. 92—93.
[2] «Восстание декабристов», т. IV, с. 106.
[3] Там же, с. 80.
[4] ЦГИАМ СССР, ф. 48, ед. хр. 470, л. 7. Цитирую по статье С. С. Ланда «Мицкевич накануне восстания декабристов», с. 100.
[5] «Алфавит декабристов», с. 415 и 368.
[6] «Восстание декабристов», т. IX, с. 72.
[7] Там же, с. 95.
[8] Там же, т. IV, с. 257.
[9] «Алфавит декабристов», с. 141.

(имея в виду польское масонство) [1]. В другой раз показал, что, пользуясь знакомством Ходкевича, «успел найти в нем усердного посредника в сближении обоих обществ» [2]. Матвей Муравьев-Апостол уточнил место встречи — начало сближения произошло, по его словам, в 1823 году в Киеве в доме Н. Н. Раевского [3]. Отсюда возникло представление, что Бестужев и Муравьев и познакомились с Ходкевичем только в 1823 году и что местом их первой встречи был дом генерала Раевского [4].

Нет, Анненкова свидетельствует, что все они бывали у губернатора еще до 1822 года, ибо в 1822 году Бухарин покинул Киев и вышел в отставку. Более того: она подчеркнула, что именно Ходкевич, Олизар и братья Муравьевы-Апостолы принадлежали к числу «постоянных» посетителей бухаринского салона, куда «часто» приходит Бестужев. Так что знакомство Муравьевых и Бестужева с графом Ходкевичем и с Олизаром относится не к 1823 году, а, безусловно, к более раннему времени, до 1822 года. На следствии Муравьев и Бестужев сказали не все. Недаром Комиссия пришла к выводу, что «Олизар не знал о существовании тайных обществ в России и в Польше» [5], взгляд, опровергнутый новейшими исследованиями декабризма и биографами польского поэта.

Весьма возможно, что раньше, нежели принято было думать, познакомился с Олизаром и Пушкин. Мы знаем, что они виделись в Кишиневе летом 1821 года [6]. Записки Анненковой позволяют предположить, что знакомство произошло еще в январе — феврале и что Ходкевич тоже входил в число знакомцев поэта.

Первую встречу с госпожой Ганской относят к 1823 году, ко времени, когда Пушкина перевели в Одессу [7]. Но, видимо, и тут имеются основания считать, что с нею

---

[1] «Восстание декабристов», т. IX, с. 43, 88.
[2] Там же, с. 167.
[3] Там же, с. 233.
[4] Л. А. Медведская. Южное общество декабристов и Польское патриотическое общество.— В кн.: «Очерки из истории движения декабристов». Сборник статей. Под редакцией Н. М. Дружинина, Б. Е. Сыроечковского. М., Госполитиздат, 1954, с. 279.
[5] «Алфавит декабристов», с. 141.
[6] М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I, с. 304.
[7] Там же, с. 394.

и с сестрою ее — Королиной Собаньской — дочерьми предводителя киевского дворянства графа Ржевуского Пушкина познакомил киевский губернатор Бухарин, у которого в дни больших приемов гости встречали красивых и элегантных полек. Тем более что с Собаньской Пушкин познакомился именно в Киеве, 2 февраля 1821 года [1]. Кстати, анненковская характеристика Вацлава Ганского: «малоприятный человек с мрачным расположением духа», объясняет данное ему Пушкиным прозвище «Лара»,— по имени мрачного байроновского героя [2].

Капнист, «сын поэта» и «сосед по имению» не только сосед и не только сын автора комедии «Ябеда» — Алексей Васильевич Капнист, но и адъютант генерала Раевского, член «Союза благоденствия», которого Бестужев-Рюмин пытался вовлечь в Южное общество, в чем, однако, не преуспел, потому что с 1821 года Капнист будто бы «совершенно переменил свой образ мыслей». Так было говорено на следствии, когда Бестужева-Рюмина и Муравьева допрашивали насчет арестованного Алексея Капниста. Но как бы там ни было, в 1821 году, когда Пушкин навещал дом Бухариных, Капнист еще держался прежнего образа мыслей [3].

Вот гости, которых Анненкова запомнила в салоне отца. Ошиблась она только в одном, говоря, что Пушкин был сослан в Киев. В Киев он прибыл из Петербурга, по пути к месту ссылки, а второй раз приезжал из Кишинева, куда Инзов, принимая новое назначение, взял с собою поэта и где Пушкин жил, покуда Кишинев не переменили ему на Одессу. Фраза, которую Пушкин сказал в Киеве декабристу М. Ф. Орлову — *«Язык* и до Киева доведет, а может быть, и *за Прут»*,— в пушкинской литературе известна [4].

Обращаю внимание на эти подробности для того, чтобы определить общий характер воспоминаний. Судя даже по одному эпизоду, они обстоятельны и в целом очень точны.

---

[1] М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I, с. 276.

[2] «Рукою Пушкина». Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили к печати и комментировали М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М.—Л., «Academia», 1935, с. 199.

[3] «Алфавит декабристов», с. 91 и 323.

[4] И. Кубасов. П. Л. Яковлев. Очерк жизни и деятельности.— «Русская старина», 1903, кн. VII, с. 214,

9

Пропустим годы, которые Бухарина провела в Институте при Смольном монастыре (первоначально свой мадригал, обращенный к Бухариной, Лермонтов собирался начать словами: «Вас монастырь не научил, как жить с людьми...»)[1]. Из впечатлений этого времени наиболее интересны строки, связанные с домом Олениных, особенно дорогим для нее потому, что в этой семье воспитывалась ее мать.

«Мадам Оленина,— пишет Анненкова,— младшая, самая любимая сестра моего деда, была замужем за статс-секретарем Алексеем Николаевичем Олениным, который в течение долгого времени возглавлял Академию художеств.

Это была добрая, прелестная и любезная женщина — мадам Оленина, тетушка моей матери.

Ее салон, открытый для всего, что было в Петербурге выдающегося, особенно благодаря должности, которую занимал ее муж, служил местом встречи писателей и артистов. Пушкин, Дельвиг проводили там свое время; там моя мать увидела общество в самом приятном виде и представила себе смолоду, что мир полон людей ума: ибо там она видела избранных».

«...Какая у вас прелестная была маменька»,— сказал мне старик Крылов, когда я в первый раз увидела его у Олениных.

Баснописец Крылов был завсегдатаем дома Олениных»[2].

В продолжение двух лет — после выхода из Смольного института в 1830 году до отъезда в Петербург весною 1832 года и замужества — Вера Бухарина вместе с отцом жила в Москве, усердно знакомилась с литературой и посещала дома, где собиралась московская знать. Особенно запомнился ей первый в ее жизни «великолепный бал» у князя Сергея Голицына.

«У меня был очаровательный туалет,— вспоминает Вера Ивановна,— белое платье, украшенное голубыми цветами с названием «не забывай меня» (незабудками).

Я танцевала с поэтом Пушкиным. Встретив в первый

---

[1] Лермонтов, т. I, с. 368.
[2] Тетрадь 1, лл. 3—25.

раз ребенка, которого он носил на руках в Киеве, он говорил мне прелестные вещи о моем отце, о моей матери, обо мне самой, о моих маленьких голубых цветах, совет которых казался ему бесполезным, так как, увидев меня, забыть меня уже никогда невозможно»[1].

Воспоминания об этой встрече Анненкова связывает с известием об июльской революции во Франции. Очевидно, встреча на балу произошла в начале лета 1830 года: Пушкин находился в Москве с середины марта до середины июля, в мае помолвлен был с Гончаровой. Хозяин бала — это, видимо, тот самый, в домовой церкви которого Пушкин хотел венчаться,— крупный сановник Сергей Михайлович Голицын, попечитель московского учебного округа, председатель Опекунского совета, директор и попечитель московской голицынской больницы.

Вслед за известием о революционных событиях во Франции, побудивших брата царя, Михаила Павловича, в предвидении возможного отклика на эти события в Польше, покинуть Москву, где пышные празднества устраивались в его честь, до Москвы дошли слухи о холерной эпидемии. Очень скоро холера достигла Москвы. В числе первых жертв были двое Офросимовых, в доме которых поселился Бухарин с дочерью.

«Прежде всего,— вспоминает Вера Ивановна,— бедствие объявилось в доме, в котором жили мы. Несколько человек из семьи Офросимовых были унесены внезапно, и раньше всех — муж той, которую я называла тетя Софи... Это первое появление холеры вызвало ужас. Город был разделен на части и каждая поручена попечению одного из сенаторов, который следил за госпиталями и соблюдением санитарных мер. На долю отца выпала Таганская часть. Он был очень деятельным, посещал госпитали два раза в день и, досадуя, что женщины не идут туда помогать, в затруднении, как бы достать для больных сиделок, однажды повез меня в госпиталь, говоря: «Надо уметь показывать пример».

Этот героизм многого стоил ему: помню его бледность и страх, когда упавшую в обморок мадам Офросимову перенесли из того крыла дома, где только что угас ее муж, на мою постель в мою комнату, мне не забыть его скорбного стона, когда он воскликнул:

---

[1] Тетрадь 1, лл. 102—103.

«Что же вы делаете, вспомните: у меня одна-единственная дочь!»

Он меня тотчас увел, посадил в экипаж и, остановившись перед домом полицмейстера, просил его немедля предоставить нам другой дом.

Нас поместили «постоем» у богатого купца на Таганке, а когда бедствие стало ослабевать, мы перебрались в другой конец города, на Пречистенку, в дом Облязова (который впоследствии был куплен Михаилом Орловым)» [1].

Мало-помалу эпидемия кончилась, и возобновилось обычное времяпрепровождение московского общества.

С. М. Голицын давал балы только по случаю посещения Москвы членами императорской фамилии; генерал-губернатор Голицын, по свидетельству Бухариной, принимал мало. «Два гостеприимных дома взяли на себя,— пишет она,— миссию оживлять Москву и собирать лучший цвет общества — это были дом Пашковых и дом Киндяковых. Летом и зимой там собирались несколько раз в неделю, танцевали и, редкая вещь! разговаривали!»

Прервем на мгновенье цитату и обратим внимание на то, как похвала этим двум домам аттестует другие собрания московской аристократии!

Между постоянными посетителями этих домов Бухарина особо отмечает появлявшихся здесь в каждый приезд из столицы Александра Тургенева и «очаровательного и умного поэта Петра Вяземского».

«Я находила большое удовольствие в этих собраниях,— продолжает Вера Ивановна рассказ про собрания у Киндяковых и Пашковых,— и свела близкое знакомство с двумя молодыми девушками, каждая из которых украшала собою свой дом. В доме Пашковых это была семнадцатилетняя Додо Сушкова, будущая графиня Ростопчина, поэтический талант которой проявился уже в ее первом стихотворении «Талисман», написанном для меня. В доме Киндяковых — очень любимая мною младшая дочь Екатерина, изящная и крайне восторженная. Она любила одного человека (Ивана Путяту), но его мать запретила ему жениться, и тогда она вышла замуж за поверенного своей любви — Александра Раевского,

---

[1] Тетрадь 1, л. 109, сл.

прожила с «Демоном Пушкина» очень недолго и умерла, родив ему дочь, на которую отец перенес всю привязанность...

С этими молодыми девушками я была хорошо знакома, но сердечной моей подругой была Софья Горскина, самая очаровательная, самая одухотворенная из всех женщин, каких я когда-либо видела. И она вышла замуж за самого ничтожного, самого скверного из людей, князя Петра Щербатова, сделавшего ее очень несчастной. Ее жизнь — это ряд испытаний, которые она переносила с твердостью и удивительным мужеством. ...Красивая, умная, изысканная, образованная, она вытянула плохой билет в лотерее замужества и говорила мне, что чувствует себя созданной для несчастия. Наконец, она изнемогла от мучений и умерла сорока лет, оплакиваемая человеком, который любил ее по-настоящему и чья любовь, до могилы, делала ее жизнь еще более тягостной».

Далее Бухарина пишет, что она испытала восторженное желание отправиться в Сибирь за А. И. Якубовичем. Романтический облик этого декабриста, которого она встречала, будучи еще девочкой, в ее сознании был окружен ореолом. Она мечтала выйти за него замуж или даже за кого-нибудь другого из декабристов — так велик был порыв. При этом Бухарина не сочувствовала им, «участникам революции». Она была твердо убеждена, что эти бедные молодые люди, впавшие в заблуждение, еще обратятся, под влиянием времени, к «здоровым идеям». С Бухариной вместе собиралась отправиться в путь Софья Горскина, чтобы разделить судьбу И. И. Пущина: с ним дружен был ее брат — декабрист Иван Горскин.

Это было мимолетное увлечение молодых девушек, находивших «великую поэзию в мысли об изгнании» (вспомним тут стихи юного Лермонтова!) и о печальной судьбе людей, которых в тот момент они называли своими героями. И тем не менее даже этот — кратковременный и наивный — порыв знаменателен. Он показывает, какой огромный отклик вызвал поступок Волконской и Трубецкой, как он был воспринят молодым поколением.

Дружбу, соединявшую Веру Бухарину с ее лучшей подругой, «воспел князь Петр Вяземский, который ощу-

щал в ней особую прелесть; он сложил стихи о двух подругах Софье и Вере.

Однажды он принес их к нам вечером, когда мы обещали, что будем ждать его у нас, а вместо этого я должна была пойти на спектакль с моим отцом, а Софи отправилась ко всенощной со своей матерью.

Не застав нас дома, князь Вяземский попросил свечу, сжег стихи, пепел собрал на тарелку и приказал слуге вручить ее нам и сказать, чтобы пепел мы разделили поровну. Мы прочли эти прекрасные стихи уже после, когда они появились в одном из тогдашних журналов. Он доставил себе шаловливое удовольствие читать их всем на свете, за исключением нас. Он написал на них маленькую пародию, которую отослал Софи. На нее он досадовал, потому что он и есть тот человек, который ее любил» [1].

Здесь говорится о стихотворении Вяземского «Вера и София» [2]. Строчка из него, в которой Вера Бухарина названа красавицей «с младым раздумьем на челе», стала модной в светском кругу и на некоторое время как бы заменила ей имя.

«Что касается меня,— продолжает Вера Ивановна,— то я победила другое сердце, которое, казалось, принадлежало мне полностью,— это было сердце Александра Тургенева, приближавшегося в ту пору к пятидесяти годам.

Он много рассказывал мне о мадам Рекамье, которую часто видел в Париже, и ставил ее мне в пример, уверяя, что у меня есть решительно все, чтобы стать второй мадам Рекамье, чьим Шатобрианом желал бы стать он. Он предлагал мне руку, сердце и состояние и старался увлечь меня мыслью иметь в Париже самый приятный салон и соединять в нем людей избранных и знаменитостей всякого рода. Но я не дала себя соблазнить, я мечтала о более тихой, о более скромной судьбе».

Я привожу эти обширные выписки из записок Бухариной-Анненковой потому, что это Москва 1830—1832 годов и общество, в котором появляются не только Вяземский и Александр Тургенев, но и Пушкин и Лер-

---

[1] Тетрадь 3, л. 43, сл.

[2] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1880, с. 144—146.

монтов, сравнивший в те годы начинавшую поэтессу Ростопчину с «легким» стихом ее «Талисмана»:

Как в *Талисмане* стих небрежный,
Как над пучиною мятежной
Свободный парус челнока,
Ты беззаботна и легка...[1]

Среди великосветских времяпрепровождений Бухарина замечает наиболее значительных людей тогдашнего московского общества.

В должности астраханского губернатора И. Я. Бухарин постоянно сносился по службе с Алексеем Петровичем Ермоловым; с тех пор они стали друзьями.

«Они обожали друг друга,— пишет Вера Ивановна,— и восхищались друг другом».

«Это была непрерывная игра, сверкавшая остроумием,— свидетельствует она, описывая их «нескончаемые беседы».— Ум знаменитого генерала известен, а что сказать об устроумии моего отца?.. Ермолов говорил, что не знал ума, более очаровательного, чем ум моего отца, и уверял, что на Кавказе для него не было большего удовольствия, более приятного развлечения, чем чтение официальных бумаг, вышедших из-под пера астраханского губернатора, который умел сообщать остроумие и ум даже казенным документам. Но тогда они не были даже знакомы и никогда друг друга не видели.

Мой отец, со своей стороны, глубоко почитал Ермолова и превозносил его до небес. Ермолов не раз говорил мне: «Прошу вас, не верьте ни одному слову из того, что говорит обо мне ваш отец. У него возмутительное пристрастие. А знаете, почему он так меня восхваляет? Он так восхищается мной потому, что я был для него начальником, с которым он ладил, а ни с каким другим начальником он никогда поладить не мог»[2].

Вскоре после появления Веры Бухариной в свет, которое совпало с пребыванием в Москве великого князя Михаила Павловича, ей представили его адъютанта, молодого полковника, на которого семнадцатилетняя «монастырка» не обратила внимания. В следующем году Анненков снова появился в Москве. После отъезда его в столицу кузина его — Е. П. Вадковская (родственница Лермонтова и

[1] Лермонтов, т. I, с. 258—259.
[2] Тетрадь 1, л. 45, сл.

А. М. Верещагиной) стала стараться о том, чтобы открыть Бухариной достоинства своего родственника. Обстоятельства семейные, заставившие и дочь и отца Бухариных весною 1832 года поспешить из Москвы в Царское Село, решили ее судьбу. Навестив в Петербурге переселившуюся туда «кузину Вадковскую», Вера Ивановна встретила у нее Анненкова, увлеклась им. И когда, наконец, он сказал, что любит ее два года и вручает ей свою жизнь, для нее уже не было более сомнений, что она любит его давно и ждала этого объяснения.

Они повенчались в июне 1832 года. С этого времени начался новый — петербургский — период в жизни Веры Ивановны, теперь уже Анненковой [1].

10

В Петербурге — на раутах в великосветском и придворном кругу Анненкова встречала Александра Сергеевича Пушкина. И приводит в своих записках некоторые пушкинские оценки. «Вспоминаю,— пишет она,— суждение Пушкина на счет графини Ростопчиной. Он отдавал должное ее поэтическому таланту, но говорил, что если пишет она хорошо, то, напротив, говорит очень плохо, опьяняется собственными словами и производит на него впечатление Пифии на треножнике, высказывающей самые противоречивые мысли, совершенно лишенные логики, ради единственного удовольствия спорить».

«Воскрешая в своей памяти воспоминания 1837 и 1838 года,— продолжает Анненкова на следующей странице,— я не могу обойти молчанием злополучную дату — 27 января 1837 года, день, когда состоялась дуэль, отнявшая у России самого ее большого поэта. Не могу забыть ужас, мучительное чувство горьких сожалений, которое испытали мы с мужем при этой подавившей нас вести. Нам сообщил ее Александр Тургенев, со всеми подробностями этой кровавой драмы. Я очень любила Пушкина, и смерть его заставила меня пролить много слез. Я была оскорблена тем, что петербургское общество разделилось на два лагеря и было много людей, находивших оправдание поступку иностранца, приемного сына посланника

[1] Тетрадь 1, л. 128, сл.

Голландии, любимца дам, элегантного кавалергарда Дантеса-Геккерна. Я была в негодовании от этого и от всего сердца одобряла прекрасные стихи Лермонтова. Между прочим, эти стихи были причиной изгнания молодого поэта, ссылки его на Кавказ, где он погиб также во цвете лет на дуэли, не преследуемый, однако, как Пушкин, неблагородными анонимными письмами, не быв жертвой любви к своей жене.

Лермонтов пал жертвой собственного характера, беспокойного и насмешливого. Он испытывал терпение Николая Мартынова, ничтожного, неумного, которого он описал в своем «Герое нашего времени» в лице Грушницкого. Он превратил его в козла отпущения, избрав мишенью своих сарказмов и шуток, и Мартынов, доведенный до крайности, не мог поступить иначе, как вызвать его на дуэль».

«Все грустные и раздирающие подробности дуэли Пушкина и последних мгновений жизни великого поэта слишком известны, чтобы я говорила о них,— пишет Анненкова в примечании к этой странице.— Они сохранены в маленькой брошюре, озаглавленной «Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса».

И продолжает:

«В последний раз я видела Пушкина за несколько дней до его смерти на маленьком вечере у великой княгини Елены Павловны. Там было человек десять: графиня Разумовская, m-me Мейендорф, урожденная Огэр, Пушкин и несколько мужчин.

Разговор был всеобщим, говорили об Америке. И Пушкин сказал: «Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единым хлебом».

Это евангельское изречение в устах Пушкина, казалось, удивило великую княгиню; она улыбнулась, глядя на меня с понимающим видом. Я тоже улыбнулась, и, когда несколько минут спустя Пушкин подошел ко мне, я сказала ему, смеясь: «Как вы сегодня нравственны!..»

«Не сегодня, а всегда, с тех пор, как я стал отцом семьи,— ответил он мне.— Не навсегда остаются детьми, чему свидетелем вы, так выросшая после Киева, не всегда сходят с ума, как я в то время, когда строил для вас до-

мик из карт». (Он любил вспоминать о том времени, когда его, сосланного в Киев, мой отец — киевский губернатор просил считать наш дом своим домом.) Кто бы мог мне сказать в тот вечер, что я вижу Пушкина в последний раз»[1].

Все интересно в этом отрывке: и характеристика поэтессы графини Евдокии Ростопчиной, и подтверждение теперь уже широко известного факта, что в дни гибели Пушкина петербургское общество разделилось на два враждебных лагеря и что Анненкова возмущалась сторонниками Дантеса. Но самое интересное — суждение Пушкина о Соединенных Штатах Америки, примыкающее к его мыслям об американской демократии, положенным в основу очерка «Джон Теннер», который незадолго до этого был им написан для «Современника». И следующая реплика — о нравственности, приобретавшая особо важный смысл потому, что в те дни имя Пушкина, имена его жены и свояченицы таскались по великосветским гостиным с прибавлением подробностей, которые должны были уронить в глазах общества нравственность самого Пушкина. Что касается причин гибели двух величайших русских поэтов, то Анненкова повторяет лишь то, что писали и говорили в 60—70-х годах о дуэли Пушкина и о последней дуэли Лермонтова. Это досадно тем более, что она вышла замуж за родственника Арсеньевой и знала Лермонтова лично еще по Москве...

11

Вы будете удивлены! Мы считали Веру Бухарину в числе московских знакомых Лермонтова? Нет! Она не знала его в ту пору! А мадригала не слышала, не читала или просто забыла про него! Или не угадала, не вспомнила, что тот, кто читал мадригалы, и Лермонтов — одно и то же лицо.

Не знаю!

Она увидела его впервые осенью 1832 года. Вот что она говорит об этом в своих мемуарах:

«Между адъютантами великого князя я часто встречала Философова Алексея Илларионовича, Александра Грёссера, Шипова, Бакунина — и решила найти среди них му-

[1] Тетрадь 5, лл. 55—62.

жа для семнадцатилетней хорошенькой кузины моего мужа, которую я вывожу на балы, спектакли и концерты. Это Аннет Столыпина, дочь старой тетушки Натальи Алексеевны Столыпиной. У этой старой тетушки есть сестра, еще более пожилая и слабая, чем она, Елизавета Алексеевна Арсеньева. Это — бабушка Михаила Лермонтова, знаменитого поэта, которому в 1832 году было восемнадцать или девятнадцать лет.

Он кончил учение в пансионе при Московском университете и, к большому отчаянью бабушки, которая его обожает и балует, упорно хочет стать военным и поступил в кавалерийскую школу подпрапорщиков.

Однажды к нам приходит старая тетушка Арсеньева вся в слезах: «Батюшка мой, Николай Николаевич! — говорит она моему мужу.— Миша мой болен и лежит в лазарете школы гвардейских подпрапорщиков!»

Этот избалованный Миша был предметом обожания бедной бабушки, он последний и единственный отпрыск многочисленной семьи, которую бедная старуха видит угасающей постепенно. Она испытала несчастье потерять всех своих детей одного за другим. Ее младшая дочь мадам Лермонтова умерла последней в очень молодых годах, оставив единственного сына, который потому-то и превратился в предмет всей нежности и заботы бедной старушки. Она перенесла на него всю материнскую любовь и привязанность, какие были у нее к своим детям.

Мой муж обещал доброй почтенной тетушке немедленно навестить больного юношу в госпитале школы подпрапорщиков и поручить его заботам врача.

Корпус школы подпрапорщиков находился тогда возле Синего моста; позднее его перевели в другое место. А громадное здание, переделанное снизу доверху, стало дворцом великой княгини Марии Николаевны.

Мы отправились туда в тот же день на санях.

В первый раз я увидела будущего великого поэта Лермонтова.

Должна признаться, он мне совсем не понравился. У него был злой и угрюмый вид, его небольшие черные глаза сверкали мрачным огнем, взгляд был таким же недобрым, как и улыбка. Он был мал ростом, коренаст и некрасив, но не так изысканно и очаровательно некрасив, как Пушкин, а некрасив очень грубо и несколько даже неблагородно.

Мы нашли его не прикованным к постели, а лежащим на койке и покрытым солдатской шинелью. В таком положении он рисовал и не соблаговолил при нашем приближении подняться. Он был окружен молодыми людьми, и, думаю, ради этой публики он и был так мрачен по отношению к нам, пришедшим его навестить.

Мой муж обратился к нему со словами привета и представил ему новую кузину. Он смерил меня с головы до ног уверенным и недоброжелательным взглядом. Он был желчным и нервным и имел вид злого ребенка, избалованного, наполненного собой, упрямого и неприятного до последней степени.

Мы его больше не видели и совершенно потеряли из виду, так как скоро покинули Петербург, а когда мы туда вернулись, мы там его уже не нашли.

Я видела его еще только один раз в Москве, если не ошибаюсь, в 1839 году; он уже написал своего «Героя нашего времени», где в лице Печорина изобразил самого себя.

На этот раз мы разговаривали довольно долго и танцевали контрданс на балу у Базилевских (мадам Базилевская, рожденная Грёссер).

Он приехал с Кавказа и носил пехотную армейскую форму. Выражение лица его не изменилось — тот же мрачный взгляд, та же язвительная улыбка. Когда он, небольшого роста и коренастый, танцевал, он напоминал армейского офицера, как изображают его в «Горе от ума» в сцене бала.

У него было болезненное самолюбие, которое причиняло ему живейшие страдания. Я думаю, что он не мог успокоиться оттого, что не был красив, пленителен, элегантен. Это составляло его несчастие. Душа поэта плохо чувствовала себя в небольшой коренастой фигуре карлика. Больше я его не видела и была очень потрясена его смертью, ибо малая симпатия к нему самому не мешала мне почувствовать сердцем его удивительную поэзию и его настоящую ценность.

Я знала того, кто имел несчастье его убить,— незначительного молодого человека, которого Лермонтов безжалостно изводил <...>. Ожесточенный непереносимыми насмешками, он вызвал его на дуэль и лишил Россию ее поэта, лучшего после Пушкина» [1].

[1] Тетрадь 3, л. 21, сл.

Все верно: Аннет Столыпина вышла замуж за Алексея Илларионовича Философова; верно и то, что сестра ее матери — бабка поэта Елизавета Алексеевна Арсеньева. (При этом мы знаем, что вдова родного брата Арсеньевой Д. А. Столыпина — Екатерина Аркадьевна — родная тетка полковника Анненкова, отсюда и «батюшка, Николай Николаевич!».) Не ошиблась мемуаристка и в том, что с октября 1832 года Лермонтову пошел девятнадцатый год. И что юнкерская школа в Петербурге помещалась на Мойке возле Синего моста, а потом была превращена во дворец великой княгини. Все верно!

Но дальше Анненковой приходится повторять за другими, и тут она сообщает сведения не вполне точные. Упомянув, что Лермонтов окончил в Москве университетский пансион, она ничего не сказала о том, что ему пришлось покинуть Московский университет после двух лет учения, а поступление в юнкерскую школу изобразила как следствие упорного желания самого Лермонтова. Нет, письма поэта говорят о другом. Он не хотел становиться военным. Впрочем, Анненкову винить не приходится: начиная с 70-х годов все это можно было прочесть в любой биографии Лермонтова. Тут она повторяет лишь то, что писали и говорили другие.

Зато совершенно новые сведения сообщает она о детях Арсеньевой. До сих пор мы знали о судьбе ее единственной дочери Марии Михайловны, умершей через два года после того, как она родила сына — Михаила Юрьевича Лермонтова. Но ни в одном, самом подробном родословии Арсеньевых мы не встречали указания на то, что у Михаила Васильевича и Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, кроме Марии Михайловны, были другие дети. Между тем это сведение исходит от Анненковой, следовательно, от родственников. Вспомним, что отец Н. Н. Анненкова — «старик Анненков» в качестве родственника постоянно навещал Арсеньеву, покуда она с внуком жила в Москве (свидетельство А. З. Зиновьева) [1]. Остается предположить, что все эти дети умирали во младенчестве еще некрещенные. Тогда они не могли попасть в родословия. Если все это

[1] В. А. Мануйлов. Новые воспоминания о Лермонтове.— В кн.: «Литературный архив», кн. I. Под редакцией С. Д. Балухатого, Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1938, с. 427.

так — иначе выглядит смерть матери Лермонтова в возрасте 21 года от сухотки спинного мозга.

Облик Лермонтова, воссозданный Анненковой подробно и даже талантливо, поражает резкостью характеристики и тем безоговорочно отрицательным отношением, которое Лермонтов вызвал к себе с первого взгляда. Это — не единственный случай: с людьми ему неизвестными, которые пытались проникнуть в его внутренний мир, Лермонтов не только не искал контакта — напротив: был резок, замкнут, настороже́н, подозрителен. Достаточно вспомнить рассказ его однокурсника П. Вистенгофа, который попробовал подойти и заговорить с ним в университетской аудитории, или первую встречу с Белинским, чтобы убедиться в совершенной достоверности публикуемой нами характеристики. В данном случае обстановка осложнялась присутствием юнкеров, перед которыми Лермонтову предстояло сохранить независимость в присутствии старшего по чину — полковника, да еще родственника, появившегося с высокой и статной девятнадцатилетней красавицей, но узнавшей его, не угадавшей в нем автора поднесенного ей посвящения, да еще разговор при юнкерах о том, как беспокоится бабушка, и родственные советы щадить ее — все это настолько осложняло психологическую среду, что Лермонтов, воспользовавшись правом больного, остался лежать, а рисование во время разговора помогло ему защититься от слишком щедрых забот и попыток завязать дружбу. Анненкова тонко почувствовала, что немалую роль в поведении Лермонтова сыграло присутствие юнкеров: «ради этой публики он и был так мрачен по отношению к нам».

Но при этом надо иметь в виду, что все-таки пишет уязвленная женщина. Мрачное выражение лица, уверенный и недоброжелательный взгляд, которым Лермонтов смерил ее, когда она присела возле больничной койки, не могли не поразить молодую женщину, избалованную успехом и всеобщим вниманием. Поэтому, читая страницы воспоминаний, где Анненкова противопоставляет внешний облик Лермонтова и Пушкина, надо помнить про эти неблагоприятные, осложняющие обстоятельства встречи.

Рассказывая о второй встрече, Анненкова запамятовала: Лермонтов бывал в ее доме в Москве, притом дважды — в апреле 1841 года. Один раз наносил визит, другой раз обедал. Возвращаясь в кавказскую ссылку, за три

месяца до конца, он еще надеялся на отставку: генерал Анненков, родственник, один из ближайших сотрудников Михаила Павловича — командира гвардейского корпуса и брата царя,— мог помочь бабушке в хлопотах. Этим, вероятно, и вызван усиленный интерес поэта к дому Анненкова в продолжение тех нескольких дней, которые он провел в Москве в последний приезд. Но, повторяю, Вера Ивановна этих встреч не запомнила и не пишет о них. Впрочем, может быть, именно с Анненковыми Лермонтов и приехал тогда на бал к Базилевским, который Вера Ивановна отнесла по ошибке к 1839 году. Между тем в 1839 году «Герой нашего времени» не выходил еще из печати, Лермонтов в том году не ездил в Москву и не носил армейского мундира, который надел после вторичной ссылки на Кавказ — в Тенгинский пехотный полк. Восстанавливая в памяти его внутренний облик, Анненкова и здесь не грешит против истины. Ибо, зная, какое впечатление в светском кругу вызывает и внешность его, и его общественная позиция, и пытаясь это впечатление игнорировать, Лермонтов постоянно держался среди этих людей подчеркнуто резко и вызывающе. И нет оснований сомневаться в правдивости анненковских записок. Страницы, где она говорит о своих непосредственных впечатлениях, несомненно представляют значительный интерес. Но не те, где она ведет речь, скажем, о причинах дуэли с Мартыновым. Следует помнить, что писала она записки в то время, когда широко распространилась легенда о Лермонтове, созданная в интересах Мартынова. В частности, в этих кругах возникла версия и о том, что Мартынов послужил прототипом Грушницкого.

Примечательно в записках Анненковой другое. Она дифференцирует впечатления. Несмотря на уверенность, что Мартынова довел до дуэли сам Лермонтов, она не только не оправдывает убийцу, но пишет о его полной ничтожности. Неблагоприятное впечатление, которое оставили в ней встречи с поэтом, нисколько не отражается на ее отношении к поэзии Лермонтова, которую она назвала «удивительной». Насколько же выше она в этом смысле тех современников, которые отрицали поэзию Лермонтова, обиженные его обращением, и оправдывали убийцу, ссылаясь на то, что у Лермонтова был тяжелый характер.

Как и многие ее современники, судившие о людях по тому, насколько в них воплотился великосветский стерео-

тип, Анненкова и Лермонтова и Пушкина воспринимает как нечто даже и внешне чужеродное в этой среде. И в этом не ошибается. На фоне красавцев кавалергардов и флигель-адъютантов, подобранных под стать Николаю I, между которыми она искала своего «Грандисона», Пушкин и Лермонтов выделяются несоответствием своего поведения и облика — мимики, жестов, движений, речи, самого характера разговора. Там, где коней в полки подбирали под масть и под цвет хвоста, а офицеров — по цвету волос и по росту, где высоко ценится «однообразная красивость», они инородны. Отсюда и рассуждения о красоте. Нам Пушкин не кажется некрасивым — в наших глазах он прекрасен. Для Анненковой — женщины умной и, несомненно, талантливой, но разделяющей вкусы, взгляды и предрассудки своего времени и своей касты,— Лермонтов среди гвардейцев на балу мадам Базилевской и «небольшой», и «коренастый», и «карлик». Он и был коренастым и небольшим: но дело в том, что́ видит в нем Анненкова. Он и сам над собою смеялся, говоря, что природа наделила его армейскою внешностью. И тем не менее для всякого, кто видел в нем не офицера на параде императорской гвардии, а поэта Лермонтова прежде всего,— внешний вид его обретал другой смысл, становился очень значительным.

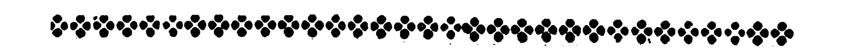
В те же самые дни, когда В. И. Анненкова видела Лермонтова в последний раз на московском балу, его встретил в московском Благородном собрании поэт Василий Иванович Красов. И писал приятелю в Петербург: «Целый вечер я не сводил с него глаз. Какое энергическое, простое, львиное лицо.— Он был грустен — и когда уходил из Собрания в своем армейском мундире и с кавказским кивером — у меня сжалось сердце — так мне жаль его было. Не возвращен ли он?»

Вот два портрета — два описания, возникшие в одно время и в одинаковой обстановке — на людях. Одно принадлежит аристократке, другое — поэту, занимавшему место учителя в московском аристократическом доме. Какие разные оценки и отношения!

Чем объективнее стремится быть Анненкова в своих описаниях, тем трагичнее становится в наших глазах фигура поэта, одетого в армейский мундир, посреди великосветского праздника. Как предсмертное одиночество Пушкина стало особенно ясным после того, как мы прочли письма его друзей — любивших его — Карамзиных, так и

эти беспристрастные мемуары больше говорят о глубокой пропасти, отделявшей Лермонтова от этого общества, и его обреченности, чем открытая злоба его врагов. И это, пожалуй, самое важное из того, что дают нам записки Анненковой.

Читая эти записки, надобно помнить, что писала их женщина, сурово осуждавшая невежественных и бездарных сановников, наносивших урон престижу империи. Но писала во имя утверждения империи, которой верно и преданно служил ее муж генерал-адъютант Анненков. Связанный с ними родством и принадлежностью к одному обществу, Лермонтов глубоко презирал именно то, что составляло предмет ее поклонения. Она умерла шестьдесят один год спустя после того, как прогремел выстрел Мартынова. Но как давно ее нет! И как близко, почти рядом ощущаем мы Лермонтова — «небольшого», «коренастого», и в гвардейском и в армейском мундире, и в студенческой куртке, и даже в костюме астролога, читающего свои новогодние эпиграммы в Колонном зале Москвы.



Командировка в Западную Германию

1

Началась эта история в 1836 году, когда двадцатишестилетняя Александра Михайловна Верещагина или, как звали ее в ту пору, Сашенька Верещагина, одна из московских кузин М. Ю. Лермонтова, уехала с матерью за границу.

События, которые предшествовали этой истории, довольно известны. И тем не менее должны быть сообщены. Ибо без них в этой истории многое покажется непонятным.

В сущности, кузиной она называлась не по родству. Кровного родства не было. Брат бабки и воспитательницы Лермонтова — Е. А. Арсеньевой — Дмитрий Алексеевич Столыпин был женат на Екатерине Аркадьевне, по первому браку Воейковой [1]. Александра Михайловна Верещагина приходилась родной племянницей этой «Катерине Аркадьевне» [2]. Несмотря на то что она доводилась племянницей не родной тетке, она называлась кузиной. По тогдашним понятиям, да еще в московском кругу, это считалось родством, даже близким.

Но дело совсем не в родстве, а в той дружбе, которая связывала Лермонтова с этой талантливой девушкой.

---

[1] В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. II. СПб., 1887, с. 415.

[2] М. Ю. Лермонтов. Полн. собр. соч. (Под наблюдением И. Л. Андроникова), т. IV. Библиотека «Огонек». М., изд-во «Правда», 1953, с. 468, 470, 474 (Примеч.).

Каждое лето, начиная с 1829 года, Лермонтов проводил в столыпинском подмосковном Середникове у Екатерины Аркадьевны. А рядом находилась деревня, принадлежавшая Верещагиной [1]. Так что они виделись с утра и до вечера — Лермонтов и его кузина. И зимою в Москве встречались едва ли не каждый день. Лермонтов с бабкой жил на Малой Молчановке, Столыпины тут же — на Поварской. Напротив Лермонтова жили Лопухины, Мария, Алексей и Варвара, которым Верещагина доводилась не названой, а настоящей кузиной — отец Верещагиной и мать Лопухиных (в те годы уже покойные) были брат и сестра [2]. С семьей Лопухиных Лермонтова до конца жизни связывали глубокая и несчастливая любовь к Варваре Александровне и дружба с ее сестрой и братом.

О том, как часто он виделся с Верещагиной, можно судить по «Запискам» Е. А. Сушковой, которая рассказывает, как Лермонтов, только что окончивший пансион, сопровождал ее и Верещагину на гуляния и вечера.

Верещагина была старше Лермонтова четырьмя годами. И он относился к ней с шутливым почтением и доверчивой дружбой. Аким Шан-Гирей, живший вместе с поэтом (на этот раз нет оснований не верить ему), вспоминал, что «miss Alexandrine, то есть Александра Михайловна Верещагина, кузина его, принимала в нем большое участие, она отлично умела пользоваться немного саркастическим направлением ума своего и иронией, чтоб овладеть этой беспокойною натурой и направлять ее, шутя и смеясь, к прекрасному и благородному; все письма Александры Михайловны,— заключает Аким Шан-Гирей,— доказывают ее дружбу к нему» [3].

Эти письма до нас не дошли. Сохранилось только одно и несколько строчек из другого, посланного, как можно судить, из Середникова в Москву в 1832 году при получении известия, что Лермонтов вызывающе разговаривал с профессорами в университете и те постарались срезать его. Эту новость сообщила Верещагиной другая двоюрод-

[1] Е. Сушкова. Записки, с. 110 и 107.

[2] «Санкт-петербургские ведомости», 1825, № 51, с. 647; «Дело о дворянстве рода Лопухиных».— ЦГИА СССР (Ленинград), ф. 1343, оп. 94, ед. хр. 2894; сведения, полученные в ФРГ, в замке Вартхаузен (Бавария).

[3] А. П. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов.— В кн.: «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников». Пензенское кн. изд-во, 1960, с. 20.

ная сестра ее — Пашенька, или Прасковья, Воейкова [1], которая, в свою очередь, узнала все это от Анны Столыпиной. Вот что дошло до нас:

«Аннет Столыпина пишет Пашеньке,— обращается Верещагина к Лермонтову,— что вы имели неприятность в университете и что тетя [Арсеньева] заболела от этого; ради бога, напишите, что это значит... К несчастью, я слишком хорошо знаю вас, чтобы оставаться спокойною; я знаю, что вы способны резаться с первым встречным из-за первой глупости. Фи, какой стыд! С таким дурным характером вы никогда не будете счастливы» (оригинал по-французски) [2].

Покинув Москву и поступив в столице на военную службу, Лермонтов переписывался с Верещагиной. Именно ей он рассказал в 1835 году об окончании своего романа с Сушковой, начало которого протекало у нее на глазах [3].

В 1830 году Сушкова отвергла любовь подростка и посмеялась над ней. Теперь они переменились ролями. И письмо в нарочито бравурном тоне повествует обо всех обстоятельствах, сопровождавших второй круг отношений. Но вдруг в этот рассказ врывается горькое признание, что он — Лермонтов — давно не писал ни Верещагиной, ни Марии Лопухиной потому, что боялся обнаружить происшедшую в нем душевную перемену: «Причиной... был страх, что вы по письмам моим заметите, что я почти недостоин более вашей дружбы, ибо от вас обеих я не могу скрывать истину; от вас, наперсниц моих юношеских мечтаний, таких чудных, особенно в воспоминании» [4].

Верещагина принадлежала к тем, кто рано разгадал гениальное дарование Лермонтова. Когда они жили рядом, она поощряла его занятия поэзией, берегла его стихи, написанные на лоскутках бумаги. И он охотно вписывал в ее альбомы лучшие свои вдохновенья и украшал страницы альбомов рисунками и карикатурами, дарил акварельные работы, которые она потом туда вклеивала.

Это была не просто одна из московских «кузин». Лермонтова связывали с ней общие друзья, общие интересы, общая юность.

---

[1] М. Ю. Лермонтов. Полн. собр. соч. (Под наблюдением И. Л. Андроникова), т. IV. Библиотека «Огонек», с. 470 (Примеч.).
[2] Лермонтов, т. VI, с. 465—466.
[3] Там же, с. 429—432.
[4] Там же, с. 431.

В 1836 году, узнав, что Александра Михайловна Верещагина и ее мать — Елизавета Аркадьевна собрались в заграничное путешествие, Лермонтов в письме уведомил бабушку: «Лизавета Аркадьевна едет нынче весной... в чужие краи...» [1]

Вот на этом кончается предыстория и начинается то, о чем пойдет речь впереди.

2

В Париже, у графа Поццо ди Борго, Верещагина познакомилась с бароном Карлом фон Хюгель — дипломатом Вюртембергского королевства — и вскоре с ним обручилась. А в следующем — 1837 — году вышла за него замуж [2]. И с тех пор в Россию не возвращалась: сперва жила с мужем в Париже, потом в Германии — то в Штутгарте, то в фамильном замке Хюгелей «Хохберг».

Она бережно сохраняла все, что напоминало ей о России, и прежде всего лермонтовские автографы и рисунки, не переставала интересоваться всеми, от кого была навсегда оторвана. Первое время главной корреспонденткой ее была мать, Елизавета Аркадьевна, вернувшаяся на родину. Потом, когда мать окончательно переселилась к ней в Штутгарт, Верещагина узнавала новости из писем других родных. Ей посылали новые стихи Лермонтова, списывая их из журналов или с автографов, которые Лермонтов для этой цели давал, сообщали о переменах в судьбе поэта [3].

Когда Лермонтова не стало, Варвара Александровна Лопухина, опасаясь, что муж ее Н. Ф. Бахметев из ревности к Лермонтову уничтожит вслед за его письмами и все остальные реликвии,— находясь на одном из германских курортов, встретилась с Верещагиной и все, что имела, отдала ей [4].

Таким образом, рукописи и живописные работы Лермонтова, его рисунки, копии его стихотворений оказались в Штутгарте и в замке Хохберг.

---

[1] Лермонтов, т. VI, с. 435.

[2] Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser auf das Jahr 1861, S. 325.

[3] Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Рукописное отделение, ф. 456, картон 1.

[4] Висковатов, Биография, с. 289—290.

В 1856 году в Штутгарт приехал генерал Алексей Илларионович Философов, совершавший заграничное путешествие с одним из сыновей Николая I — Михаилом. Философов приходился Лермонтову и Верещагиной родственником по жене своей Анне Григорьевне, урожденной Столыпиной. Будучи воспитателем царских детей с 1838 года, он постоянно оказывал Лермонтову услуги, являясь ходатаем за него в Зимнем дворце: опальный поэт часто нуждался в этом.

В том же 1838 году возник план: представить поэму «Демон», которую не пропускала цензура, для прочтения «высоким особам». Посредником был избран Философов.

С этой целью Лермонтов еще раз аккуратно перебелил поэму, чтобы переписчик не допустил ошибок, и отметил чертой диалог Демона и Тамары о боге, чтобы он не попал к «высочайшим» читателям. С этого автографа переписчик и снял копию, которую Философов передал в Зимний дворец (как выяснила Э. Г. Герштейн — для прочтения императрице) [1].

Одобрения из дворца не последовало. Список же по прочтении был возвращен и остался у Философова.

Вскоре после гибели Лермонтова тот же Философов заказал с автографа другой список, но уже без всяких купюр, включая места, перечеркнутые самим поэтом. Так возникли две копии, отличные друг от друга по тексту.

И вот в 1856 году, пятнадцать лет спустя после гибели Лермонтова, Философов отправляется в заграничное путешествие и везет с собой оба списка, с тем чтобы напечатать поэму в Германии в ограниченном количестве экземпляров. Эти экземпляры будут потом разосланы в России влиятельным лицам, дабы способствовать снятию цензурного запрета с любимого произведения Лермонтова.

Штутгарт — резиденция вюртембергской королевы Ольги. Это — дочь Николая I. Философов и его подопечный находятся в «родственном» королевстве.

С помощью проживающего в Штутгарте протоиерея И. И. Базарова — настоятеля русской посольской церкви — Философов договаривается с типографом Баденского двора В. Хаспером и печатает «Демона» в Карлсруэ.

---

[1] Эмма Герштейн. Судьба Лермонтова. М., 1964, с. 66—74.

Поэма набирается по «придворному» списку. Так в 1856 году появляется первое заграничное издание Лермонтова — без диалога о боге: оно предназначено для «высоких особ».

В следующем — 1857 — году издание выпускается снова. «Демон» также печатается в типографии Хаспера в Карлсруэ, но на этот раз по другому списку, снятому для самого Философова: в этом списке оставлен и диалог о боге, и те разночтения, которые возникли при последней переработке поэмы. Так возникает второе издание поэмы, заключающее расхождение с первым.

Впоследствии рукописи, с которых набирались эти издания, исчезли. И разночтения приводили в недоумение решительно всех редакторов до самого недавнего времени. В 1940 году одна из рукописей нашлась в Ленинграде, в архиве, среди бумаг Философова. Но спора о тексте «Демона» она не решила. И только недавно, и теперь уже окончательно, эту сложнейшую историю распутал ленинградский исследователь Э. Э. Найдич [1].

Вернемся, однако же, к А. М. Верещагиной.

В благородном деле, предпринятом Философовым, она принимала живое участие и со своей стороны сделала достоянием публики еще одно творение Лермонтова: напечатала в 1857 году там же — в типографии Хаспера в Карлсруэ — его неопубликованную юношескую поэму. На титульном листе этого издания значится: «Ангел Смерти. Восточная повесть». А ниже сделано примечание: «Печатано с тетради, писанной собственной рукой автора и хранящейся у одной из его родственниц, имени которой посвящена эта повесть. 1831 года Сентября 4-го дня».

«Ангел Смерти» хранился у Верещагиной. До выхода в свет этой книжки поэма оставалась неизвестной читателям. И хотя имя Верещагиной на книге не названо — само появление ее в Германии, по инициативе Философова и Верещагиной, по существу, уже раскрывало имя... Да, они доказали, что Лермонтов не напрасно верил в их дружбу. Для памяти Лермонтова и для его славы они сделали все, что могли.

Умерла Верещагина на шестьдесят третьем году от

---

[1] Э. Найдич. Спор о «Демоне».— «Литературная Россия», 1968, № 27.

рождения, погребена в Штутгарте. На памятнике обозначены даты: «2 июля 1810—4 января 1873» [1].

Через три года после нее там же — в Штутгарте — умерла ее мать Елизавета Аркадьевна [2]. Принадлежавшие А. М. Верещагиной рукописи Лермонтова, альбомы со стихами, рисунки, обширная семейная переписка перешли к наследникам, уже не знавшим русского языка.

3

Прошло несколько лет. И к дочери А. М. Верещагиной-Хюгель — графине Александрине Берольдинген обратился профессор Дерптского университета Павел Александрович Висковатов, приступивший в ту пору к собиранию материалов для жизнеописания Лермонтова и для полного собрания его сочинений. Посредниками в переговорах с графиней Берольдинген он избрал все того же настоятеля русской церкви протоиерея Базарова и служащего при русской миссии в Штутгарте барона Вольфа.

Переговоры были успешными. 2 февраля 1882 года графиня Берольдинген передала Вольфу, как значится в составленной ею описи:

1. Портрет поэта Лермонтова, им самим писанный, в мундире.
2. Альбом для стихов, с 1808 года, на 189 страницах.
3. Альбом в коричневом кожаном переплете, с золотым обрезом — 32 страницы и 17 рисунков Лермонтова.
4. Альбом для стихов в коричневом кожаном переплете «Souvenir», 1833 года, с рисунками, 176 страниц.
5. Французское письмо Лермонтова на 8 страницах, к кузине.
6. То же, на 3-х страницах [3].

Кроме того, барону Вольфу было разрешено скопировать два неизвестных стихотворения «с подлинника руки Лермонтова» — юношескую балладу «Гость» и стихо-

---

[1] Сообщено г-ном Вильгельмом Штренгом (замок Хохберг возле Людвигсбурга).

[2] Висковатов, Биография, с. 205.

[3] Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Рукописное отделение, ф. 456, картон 1, ед. хр. 59.

творение, написанное Лермонтовым по-французски: «Non, si j'en crois mon espérance» («Нет, если бы я верил моей надежде»)[1].

Копии стихов и письма Лермонтова к А. М. Верещагиной поступили в полное распоряжение Висковатова. Что же касается автопортрета Лермонтова и трех альбомов, то они были предоставлены при условии, что будут возвращены в самый короткий срок.

Нет сомнений, что ни госпожа Берольдинген, ни барон Вольф не представляли себе в полной мере, что именно заключается в этих альбомах и какую ценность представляет посылка, которая была вручена профессору Висковатову.

На первой странице альбома в коричневом сафьяновом переплете, заключавшем 176 страниц, Висковатов увидел надпись: «Livre de poésies appartenant à Alexandrine de Wereschaguine. Les dessins par M. Lermentoff. Moscou, 1833» и виньетку: «Fräulein Alex. Hügel, Schloß Hochberg» — «Альбом для стихов, принадлежащий Александре Верещагиной. С рисунками М. Лермантова. Москва, 1883». «Фрейлейн Алекс. Хюгель, Замок Хохберг. В MDCCCLXXV».

В этом альбоме обнаружилось восемь стихотворений Лермонтова, вписанных им собственноручно: «Вверху одна горит звезда», «Ангел», «Когда к тебе молвы рассказ», «У ног других не забывал», «Зови надежду сновиденьем», «Я не люблю тебя», «Отворите мне темницу», «По произволу дивной власти» — стихотворения 1831—1832 годов[2]. Год «1883» на первой странице, смутивший П. А. Висковатова, был выставлен, очевидно, рукой Александрины Хюгель — не Верещагиной, а ее дочери, что вполне согласуется со словами «фрейлейн», написанием фамилии — «Лерментов» и датою «MDCCCLXXV», которая читается как «1875». В 1875 году А. М. Верещагиной в живых уже не было.

Кроме восьми стихотворений, Висковатов обнаружил в альбоме десять рисунков Лермонтова, по преимуществу шаржи, выполненные пером или карандашом,— изображения бытовых сцен, в которых фигурировали, надо думать, лица из ближайшего окружения Лермонтова.

---

[1] ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 524, оп. 2, № 64.
[2] Музей ИРЛИ, № 5020.

Помимо Лермонтова, в альбом Верещагиной вписывали свои стихи и пожелания князь Василий Хованский, Барятинская, князь Алексей Офросимов, Е. С., С. Z., К. ... въ, А. Бистрем, П. Б — а, Д. Гл. к. в, С, S, Карлгоф, С. S., Lise. Все это, хотя и представляет второстепенный интерес, очень важно, потому что это лица, окружавшие Лермонтова.

На внутренней стороне обложки второго альбома надписано было: «avec 32 pages et 17 pages illustrées par M. Lermontoff».

«На 32 листах с 17 рисунками М. Лермонтова».

Стихи Лермонтова Висковатов из альбомов выписал, что же касается рисунков, то, не прибегая к помощи фотографии, которой в 80-х годах для копирования документов почти не пользовались, он решил их скалькировать: наложил папиросную бумагу и обвел твердым карандашом десять рисунков из одного альбома и один из другого. Две висковатовские копии репродуцированы [1].

Третий альбом Верещагиной прежде составлял собственность В. А. Лопухиной. В нем находился исполненный Лермонтовым акварельный портрет Лопухиной в чепце, с накинутой на плечи шалью. И акварельный портрет Ахилла — негра, служившего в доме Лопухиных, тоже работы Лермонтова [2]. Портрет Лопухиной Висковатов поручил скопировать художнику В. Шульцу [3]. Очевидно, из этого же альбома Висковатов вынул и оставил у себя рисунок Лермонтова с подписью «M. Lerma», изображающий скачущего коня. На обороте рисунка — он теперь хранится в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина — надпись рукой Висковатова: «Этот набросок Лермонтова изъят из тетрадей его конца 30-х годов (прин[адлежавших] С. Верещагиной). Лермонтов охотно рисовал несущегося коня... П. В.». В Публичную библиотеку этот рисунок поступил от свояченицы

[1] Н. П. Пахомов. Живописное наследство Лермонтова.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 205. «Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома», т. II, «М. Ю. Лермонтов». М.—Л., 1953. Иллюстрации.

[2] «Сочинения М. Ю. Лермонтова». Под редакциею П. А. Висковатова, т. V. М., 1891, с. 381.

[3] Музей Пушкинского дома АН СССР, № 3195. Ср.: «Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома», т. II, «М. Ю. Лермонтов», с. 121.

П. А. Висковатова Н. И. Утиной[1]. Неясно, почему Висковатов отнес рисунок к концу 30-х годов, хотя подписан он «Lerma», как обозначал Лермонтов работы свои до 1832 года, неясно, почему был «изъят».

Автопортрет Лермонтова в бурке, писанный акварелью в 1837 году, Висковатов поручил скопировать акварелистке О. А. Кочетовой, которая выполнила эту работу, по его мнению, весьма успешно. Он даже удостоверил это, надписав по овалу, на лицевой стороне рисунка: «Копия с собственноручного портрета Лермонтова, сделанного в 1837—1838 году. См. биогр. мою, стр. 290 и 453. Копия сделана в точности г-ею Кочетовою»[2].

Получив два письма Лермонтова, обращенные к А. М. Верещагиной, Висковатов обратился к графине Берольдинген с вопросом об остальных письмах, которые могли содержать сведения об отношении поэта к Лопухиной. Госпожа Берольдинген ответила: «Если бы моя бабушка, умершая в марте 1876 года, успела свидеться с Вами, она все бы могла рассказать Вам, ибо до мельчайших подробностей знала обстоятельства. Мне это не передать... Письма Лермонтова к матери моей бабушка сама уничтожила, они были крайне саркастичны и задевали многих»[3].

По иронии судьбы, из двух дошедших до нас писем, полученных Висковатовым из Штутгарта, одно имеет характер весьма «саркастический», потому что как раз оно и содержит рассказ Лермонтова о разрыве его отношений с Сушковой.

Переписка о верещагинских материалах продолжалась несколько лет. В 1889 году Базаров по просьбе Висковатова снова обращался к графине Берольдинген с просьбой поискать рукопись «Демона», одолженную Столыпиным. «Я ее все ищу и ищу в нашей библиотеке,— отвечала графиня П. А. Висковатову,— может быть, она най-

---

[1] Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Рукописное отделение, Лермонтовский фонд, № 57 (по описанию А. Михайловой).

[2] Музей Пушкинского дома АН СССР, № 2401. Ср.: «Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома», т. II, «М. Ю. Лермонтов», с. 43.

[3] Висковатов, Биография, с. 205.

дется в конце концов в доме Столыпиных» [1]. Базарову она предложила «когда-нибудь летом приехать к ней в ее замок Хохберг, чтобы вместе поискать в ее библиотеке, не найдется ли там этой рукописи» [2].

Но ни «бахметевский» список, ни автограф разыскать так и не удалось. Кроме того, Висковатов писал, будто в его руках находился обнаруженный среди бумаг Верещагиной единственный полный список лермонтовской поэмы «Каллы» [3]. Однако в переписке по поводу верещагинских материалов о нем нет и единого слова, и эта рукопись остается нам неизвестной.

Энергия Висковатова, инициатива его в собирании неизвестных текстов Лермонтова и фактов его биографии — удивительны. Результат его изысканий и, прежде всего, весьма обстоятельная *первая* биография Лермонтова — все это заслуживает признания и уважения. Но постоянное стремление «поправлять» факты, чтобы они его слушались, поразительная неточность приводили к тому, что Висковатов легко приписывал Лермонтову от себя, что хотел. Скажем, баллада «Гость». «Посвящается А. Верещагиной»,— приписывает П. А. Висковатов [4]. В копии Вольфа фамилии Верещагиной нет. Французское стихотворение «Non, si j'en crois mon espérance» — «На прощание А. Верещагиной» печатает он в «Сочинениях М. Ю. Лермонтова» [5]. В копии Вольфа заглавия нет... Но может быть, я ошибаюсь, и Висковатов сам побывал в замке Хохберг? сам видел эти автографы? «Клочок рукописи, найденный мною в Штутгарте»,— пишет он в «Биографии» Лермонтова [6]. «Письмо Лермонтова, найденное мною в бумагах покойной А. Верещагиной» [7]. Нет, не одно: «два письма нам удалось разыскать в оригинале...» [8].

---

[1] А. Н. Михайлова. Последняя редакция «Демона».— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 14.

[2] Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Рукописное отделение, Лермонтовский фонд, № 35 (по описанию А. Михайловой).

[3] «Сочинения М. Ю. Лермонтова». Под редакциею П. А. Висковатова, т. III. М., 1891, с. 137.

[4] Там же, т. I. М., 1891, с. 159.

[5] Там же, с. 235.

[6] Висковатов. Биография, с. 449.

[7] Там же, с. 138.

[8] Там же, с. 205.

Впрочем, мы отвлеклись. Был или не был — это не главное. Главное в том, что автопортрет Лермонтова и все три альбома — с рисунками и стихами — пришлось возвратить. Что содержали те два, которые составляли собственность А. М. Верещагиной, мы знаем только из описаний, составленных библиотекарем Лермонтовского музея при Николаевском кавалерийском училище в Петербурге Н. Н. Буковским. Описание альбома Лопухиной почему-то сделано не было.

4

Прошло около тридцати лет. Приступая к изданию полного собрания сочинений Лермонтова под редакцией профессора Д. И. Абрамовича, «Разряд изящной словесности Академии наук» обратился через русское посольство в Берлине к наследникам графини Берольдинген (скончавшейся в 1903 году) с просьбой представить фотокопии лермонтовских автографов [1]. Судя по тому, что фотокопии получены не были, обращение оказалось безрезультатным. Тут вскоре разразилась первая мировая война. В годы революции, гражданской войны об этом, естественно, никто из историков литературы не думал. В начале 30-х годов, в связи с подготовкой нового издания сочинений Лермонтова, профессор Б. М. Эйхенбаум хотел поставить этот вопрос перед Народным комиссариатом иностранных дел СССР, чтобы установить, цел ли архив Верещагиной. Но в Германии произошел фашистский переворот, дело снова было отложено, и надолго.

Начиная с 1934 года я собирал все упоминания о Верещагиной, о ее родне, о протоиерее Базарове и о его родне, о чинах русской миссии в Штутгарте. А по окончании Отечественной войны, решив, что время пришло, стал просматривать «Готские генеалогические альманахи баронских домов» (потому что Хюгели носят титул баронов), «Готские генеалогические альманахи графских домов» (потому что Берольдингены — графы), составлял родословия, устанавливал имена, адреса, листал «Готский дипломатический ежегодник», альбомы «Штутгарт и его окрестности», путеводители по Вюртембергу...

[1] Сообщено мне Н. О. Лернером в 1933 году.

В 1946 году я подал докладную записку с предложением осуществить поиски материалов, которые были в свое время в руках Висковатова. Состоялось решение. Но тут снова изменилась международная обстановка — вопрос о поздке в Штутгарт и в замок Хохберг был снят.

К 1955 году в международных отношениях произошли перемены, снова сел я писать докладную записку. Но тут мне передали, что член-корреспондент Академии наук СССР В. Н. Лазарев имеет сообщить мне что-то по поводу лермонтовских материалов за рубежом. Я позвонил. И профессор Лазарев сказал мне, что в Стамбуле, на конгрессе византологов познакомился с мюнхенским искусствоведом профессором доктором Мартином Винклером. И тот передал ему два цветных диапозитива с принадлежащих ему акварельного автопортрета Лермонтова и другой акварели, изображающей девушку в одежде испанской монахини. И что он — В. Н. Лазарев — подарил эти диапозитивы лермонтоведу Н. П. Пахомову.

Не зная точного адреса, я написал профессору Винклеру в Мюнхен, на адрес Пинакотеки. Как выяснилось потом, письмо мое до него не дошло.

Вскоре «Международная книга» известила меня, что в Москву приехал библиограф Колумбийского университета мистер С. Болан, в руках которого находятся подлинные стихи Лермонтова и множество лермонтовских рисунков. Я встретился с мистером Боланом.

— У меня очень много рисунков поэта Михаила Лермонтова,— заявил мистер Болан.— Кроме того, есть стихи. Это очень ценные рисунки и манускрипты.

Я выразил предположение, что в его руках находятся верещагинские альбомы, назвал число автографов и рисунков и сообщил, что стихи напечатаны.

— Хей! — воскликнул мистер Болан.— Почему вы знаете это? Вы никогда не видели эти альбомы! Я купил их — это другая страна... С вами можно разговаривать о деле...

Он показал фотографии. Сомнений не оставалось — восемь автографов и двадцать семь лермонтовских рисунков. Да, это были не беспомощные копии Висковатова, а зарисовки, полные жизни и юмора, с французскими репликами, которые изрекают изображенные Лермонтовым девушки и военные, сановники и старухи. Увы! Эти

фото я видел в продолжение каких-нибудь двух или трех минут.

Мистер Болан застегнул портфель. На мои расспросы отвечал несколько неопределенно, впрочем сказал, что в его руках три верещагинских альбома и что к ним имел отношение профессор-искусствовед Мартин Винклер из Мюнхена.

— В одном альбоме есть автограф Пушкина,— заметил мистер С. Болан.— Альбом принадлежал Арсеньевой...

Он говорил, конечно, об альбоме Лопухиной. В нем за подписью Пушкина есть стихотворение Ивана Козлова «С португальского». Висковатов даже опубликовал его в качестве пушкинского.

Речь зашла о передаче этих уникальных ценностей в какое-нибудь из научных учреждений нашей страны или в архив. Мистер Болан уезжал в Ленинград. Я связался с Пушкинским домом, известил ленинградских лермонтоведов. Встреча состоялась. Болан предложил обменять альбомы на редкие журналы и книги прошлого века, интересующие американских ученых. Предложение приняли. Но, как любят выражаться американцы, мистер Болан выдвинул нереалистические условия — передал список книг необъятный. Литературу подобрали, но разговаривать уже было некогда: срок его пребывания кончился. Болан уехал. Лермонтовские альбомы поступили в Колумбийский университет...

...Прошло несколько лет. В июле 1962 года ответственный работник Комитета по культурным связям с зарубежными странами при Совете Министров СССР Григорий Зармаирович Иоаннесян — да продлится его здоровье! — говорит, что меня разыскивает секретарь советского посольства в Бонне Владимир Ильич Иванов, приехавший в отпуск на родину.

— Он хочет что-то сообщить про лермонтовские материалы в Мюнхене.

Кабинет заведующей отделом стран Западной Европы Ксении Сергеевны Проскурниковой:

— Знакомьтесь...

— Иванов...

Серьезный и очень артистичный молодой человек, приветливый, деловой, заинтересованный и задумчивый. Он говорит, что в наше посольство в Бонне обратился мюнхенский профессор Мартин Винклер. И предложил

передать в Советский Союз принадлежащие ему лермонтовские реликвии.

По поручению посла А. А. Смирнова Иванов ездил к нему. И ученый, показав ему лермонтовские автографы и рисунки, вынес целую охапку документов верещагинского архива — семейную переписку, копии лермонтовских стихов, деловые бумаги, отчеты по русским имениям и попросил познакомить с ними Андроникова, сказав при этом, что приглашает меня приехать в ФРГ в качестве его гостя.

— А где же все документы?

Оказывается, В. И. Иванов отправил их в адрес Министерства культуры СССР. А Министерство переслало их в Государственный Литературный музей.

Побывал в Литературном музее. Просмотрел материал. Это еще не главное, но и в этих бумагах содержатся ценные сведения.

В письме ко мне профессор Винклер писал, что хотел бы получить в обмен на «лермонтовиану» книги по русской истории, ибо в настоящее время завершает большой труд о русском искусстве, начиная с древних времен, кончая смертью Ивана Грозного. Книги, которые он перечислил, представляют собою издания столь редкие, что нечего думать приобрести их когда-нибудь в магазине. Но лермонтовские реликвии — тоже не шутка. И книги выделяет из своих фондов Государственная библиотека имени В. И. Ленина, они есть у нее в нескольких экземплярах.

Опустим время, посвященное переписке, хлопотам, расспросам, наставлениям и сборам.

Визы получены. И вот настает день, когда я лечу на Амстердам и на Кёльн, оттуда еду до Бонна. А еще через два дня вместе с секретарями посольства Владимиром Ильичом Ивановым и Николаем Сергеевичем Кишиловым сажусь в машину, чтобы отправиться в Мюнхен.

5

Профессор Мартин Винклер живет в сорока километрах от Мюнхена в городке Фельда́финг, арендует нижний этаж уютного особнячка. Из окон виден зеленый луг, сбегающий к речке, купы деревьев. Квартира ученого

напоминает музей: гравюры с видами старого Петербурга, портреты, писанные безыменными русскими мастерами, футляры от мумий, привезенные из Египта, соломенные зонты из Замбези, афиши балетных спектаклей Дягилева, в спальне — фотографии в цвете: хозяин дома снимает с большим искусством — золото на фотографиях блещет, тускло мерцает серебро. Войдете в кабинет — великолепная русская библиотека по истории, по искусству, сочинения русских классиков, редкие книги, собиравшиеся в продолжение долгих десятилетий. В свое время — в 1928 и 1930 годах — профессор Винклер побывал в Советском Союзе, встречался с А. В. Луначарским, знакомился с Новгородом и Киевом, Ленинградом и Ярославлем, Москвой и Кавказом. Показывает удостоверения, фотографии, справки...

Профессор Мартин Винклер или, как он сам предложил называть себя: Мартин Эдуардович,— немолодой человек могучего телосложения и роста, с добрым круглым лицом, с длинными волосами — умный, тонкий, широкообразованный ученый, крупный специалист в области восточноевропейских культур. Хорошо знает русский язык. В прошлом он — профессор Кенигсбергского университета. В 1933 году, с приходом к власти нацистов, он был отстранен от преподавания. Его пригласили в Австрию, в Венский университет. Но в 1938 году, сразу же после аншлюса, он лишился и этого места. И с тех пор до конца войны не имел постоянной работы. Его жена — Мара Дантова-Винклер, балерина, с успехом выступавшая в берлинской государственной опере, как и он, пострадала от нацистского произвола.

Тема эта волнует их.

Профессор приносит в гостиную лермонтовские сокровища, которые в 1934 году купил на аукционе в замке Хохберг после смерти последнего владельца — графа Эгона Берольдингена. Из рук в руки передаются по кругу:

Автопортрет Лермонтова в бурке. Подлинник.

Портрет Варвары Лопухиной в образе испанской монахини. Подлинник.

Неизвестная картина Лермонтова (масло), изображающая нападение горцев на едущих в арбе женщину и мужчину.

Копия стихотворения Лермонтова «Могила бойца». С разночтениями. Здесь оно называется «Песнь».

«Один среди людского шума». Автограф Лермонтова, хранившийся в собрании профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг), Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва

Автограф поэмы «Ангел Смерти». На двадцати двух страницах.

Письмо к Александре Михайловне Верещагиной ее матери Елизаветы Аркадьевны Верещагиной. А в этом письме — неизвестный экспромт Лермонтова, продолженный несколькими словами привета и снабженный крохотным изображением коленопреклоненного человека.

Автограф стихотворения Лермонтова «Глядися чаще в зеркала». С разночтениями. И посвящением: «К С. С.....ой».

Стихотворение Лермонтова на обороте того же листка. Неизвестное.

— Вы знаете эти стихи? — спрашивает у меня профессор.

— Нет.

— Тогда я прошу: прочтите!

Один среди людского шума
Возрос под сенью чуждой я.
И гордо творческая дума
На сердце зрела у меня.
И вот прошли мои мученья,
Нашлися пылкие друзья,
Но я, лишенный вдохновенья,
Скучал судьбою бытия.
И снова муки посетили
Мою воскреснувшую грудь.
Измены душу заразили
И не давали отдохнуть.
Я вспомнил прежние несчастья,
Но не найду в душе моей
Ни честолюбья, ни участья,
Ни слез, ни пламенных страстей.

Рядом с текстом стихотворения — помета Лермонтова: «1830 года в начале». Стихотворение писано в пору, когда Лермонтову не исполнилось еще и шестнадцати лет. Тут чувствуются отзвуки пушкинского послания к Керн («И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь»). И в то же время это нисколько не подражание, а вполне оригинальное и очень лермонтовское по духу произведение [1].

Сверх этих лермонтовских сокровищ, профессор передает нам рисунок Репина — эскиз к картине «Не ждали» и полотно Айвазовского.

---

[1] Ираклий Андроников. Сокровища замка Хохберг.— «Известия Советов депутатов трудящихся», 1962, № 296.

Отложив эти вещи, профессор Винклер приносит мне три альбома. Два маленьких и один большой. Нет, это не те альбомы, в которых рисовал Лермонтов. Как жаль! Но те — в Колумбийском университете.

Профессор кладет альбомы на стол:

— Это — сюрприз!



Рисунок Лермонтова (перо). Собственность барона доктора Вильгельма фон Кёнига (ФРГ, замок Вартхаузен)

Не торопясь, начинаю переворачивать старинные листы... Стихи начала XIX столетия... Жуковский... Пушкин!.. Но рука не его... Снова Пушкин!

— Его рука?

— Нет.

Берусь за большой альбом. И почти сразу: Лермонтов! — не вызывающий сомнений почерк! И подпись: «М. Л.». «Послание»! Неизвестное стихотворение Лермонтова!.. Еще несколько страниц... Рука Лермонтова! «Баллада»...

Листаю дальше: неизвестная запись «На смерть Пушкина»... Нет, глаза меня не обманывают! — лермонтовская рука!

Листаю... Рисунок пером, характерный для Лермонтова. Какой-то егерь.

— Эти альбомы не принадлежат мне,— поясняет профессор Винклер.— Они принадлежат правнуку Верещагиной. Его зовут доктор Вильгельм фрайхерр фон Кёниг фон Вартхаузен. Мы с женой были у него недавно, и я просил его разрешения показать вам эти альбомы. Он думал, что здесь есть автографы Пушкина...

— А есть у него что-нибудь еще Лермонтова, ну, например, рисунки, картины?..

— Да, да! Акварель. Рисунок. Висит на стене в его фамильном замке Вартхаузен. Он не хотел его снять.

— А нельзя ли поехать туда?

— О да. Но для этого надо говорить с владельцем замка по телефону. Надо узнать, когда вы можете его видеть.

— Это далеко отсюда?

— Нет, нет! Это не больше как сто шестьдесят километров!

По нашей просьбе профессор Винклер дозванивается до владельца альбомов, выясняет, можем ли мы посмотреть акварель.

— Можно.

Мы благодарим профессора и его супругу за все — за гостеприимство, доброжелательство, за помощь в работе, за желание передать лермонтовские материалы в Советский Союз. Стремление помочь нам превзошло ожидания: ученый показал альбомы, принадлежащие другому лицу, ездил к нему для этого,— как это характеризует его заинтересованность в деле, научную добросовестность, широту!

Прощаемся. Хозяева объясняют дорогу. Это в отрогах Шварцвальда, надо ехать на Ландсберг и Мейнинген и, минуя Ульм, сворачивать на Биберах.

6

...Замок Вартхаузен, как и полагается старинному замку, стоит на горе. На темном небе проступают черные очертания зубчатой стены и стрельчатых башен. По из-

вилистой горной дороге машина въезжает в ворота. Сквозь темный парк идем к темному замку. Человек, отворивший тяжелую дверь, отправляется доложить о нас. Ждем в скудно освещенном сводчатом помещении. На стенах и вдоль уходящей вверх лестницы — алебарды, латы, шпаги, гербы. В углу — ящики с яблоками из сада...

По широким каменным ступеням спускается хозяин замка — изящно одетый, предупредительно вежливый человек лет сорока пяти, как бы несколько утомленный. Ведет нас наверх. Шагаем по галерее, увешанной портретами владетелей замка, начиная с XVII столетия. Довольно прохладно, довольно темно... В конце галереи дверь — жилые комнаты, свет, тепло, уют, низкая современная мебель, торшер, на стене — акварельный рисунок Лермонтова: стычка французских кавалеристов с русским обозом.

— По семейному преданию,— подтверждает господин Кёниг,— считается, что это нарисовал Лермонтов... Если угодно, можно осмотреть библиотеку, собрание русских икон, приемные залы.

В библиотеке, расположенной в круглой башне, сумрачно. Но шкафы, уходящие ввысь, видны снизу доверху: старинные книги — XVII, XVIII век, XIX...

Небольшое, но первоклассное собрание русских икон. Тут фамильные — верещагинские иконы, XVI—XVII веков... Рассматриваем их при свете карманного фонаря. Потом переходим в залы.

— Вот портрет «Александрин Верестшагин»!..

Умное русское лицо, серьезный, даже печальный взгляд... Но это уже старушка — чепец с оборками, ленты, темная тальма. Лермонтов знал ее не такой...

— Вот сам министр — Карл фон Хюгель,— продолжает хозяин.— Это графиня Берольдинген, о которой вы говорили... И моя бабка — фрау фрайхерр фон Кёниг — Элизабет, старшая дочь... А вот родители Верещагиной!

Господин Кёниг предлагает снять со стены и хорошенько рассмотреть эти работы русского крепостного художника, завезенные в замок германских рыцарей. Сняли. На обороте портрета, изображающего длиннолицего черноглазого человека с черными баками, в стоячем белом воротничке, наклейка с аннотацией по-немецки: «Bojar Михаил Петрович Верещагин, Heer auf Ilinsky, офицер гвардии, коллежский асессор, сенатский секретарь. По-

следний в роду. Род. в 1785 — умер в 1817». И на другом — черноглазая, черноволосая женщина с красивыми крупными и мягкими чертами лица, волевого, полного скрытых страстей. Этикетка на обороте гласит, что эта владелица костромского имения Листовское родилась в 1788 — умерла в Штутгарте в 1876 году — Елизавета Аркадьевна Верещагина, урожденная... Анненкова!

Вот когда я узнал наконец девичью фамилию матери Верещагиной и сестры ее Екатерины Аркадьевны! Тридцать лет не мог выяснить! Надо было заехать в Баварию, а потом в Вюртемберг, чтобы понять всю систему родства. Генерал Анненков, женатый на Вере Бухариной, двоюродный брат Верещагиной!

Портреты повешены на свои места. Господин Кёниг разрешает сфотографировать их, если это нам интересно. Фотограф живет возле магазина внизу, у начала подъема в замок Вартхаузен.

Возвращаемся в жилые покои и знакомимся с супругой и сестрою хозяина. На столе сервирован чай.

На наши вопросы следуют разъяснения весьма обстоятельные. Хозяин замка недавно закончил биографию своего прадеда — барона Карла фон Хюгель. В 1855—1864 годах Хюгель занимал посты министра вюртембергского двора и министра иностранных дел Вюртембергского королевства. Это был убежденный противник союза Вюртемберга и Пруссии. Но когда восторжествовала концепция канцлера Горчакова,— а вюртембергская королева Ольга приходилась сестрою императору Александру II,— Хюгель вынужден был уйти с дипломатического поста, оставить поприще, на котором трудился всю жизнь. Верещагина встретилась с ним в салоне русского посла графа Поццо ди Борго в Париже. В 1838 году там же, в Париже, он заказал прекрасный портрет Александрины фон Верестшагин фон Хюгель... Литографию делал известный парижский литограф Леон Ноэль. Они поженились в июле 1837 года, но помолвка произошла еще раньше. Я же считаю, что в 1836-м...

— А где тот портрет, который изображает Александрину Верещагину в первый год ее брака? — спрашивает супруга хозяина.

— Я сейчас принесу.

Хозяин удаляется в кабинет. Жду с нетерпением. До сих пор мы не знали ни одного изображения Верещаги-

Literatur

(Lenau)

Solche Lieb' ist selten auf der Erde,
Daß ihr Bild die Welt nicht ganz verläßt,
Hielt am Kreuz das Schicksal heilig fest,
Jesus, deine liebende Gebärde!
Zum Andenken *Lenau.*"

„Gedichte" II. 57. Mit zwei Änderungen gegen den Druck.

184 — 3 E. Br. m. U. O. O. u. D. 1 S. 4° u. 2¼ S. 8°. 2 Briefe mit Adressen. (120.—)
An seinen Freund, den Grafen Alexander von Württemberg, persönlichen und poetischen Inhalts („*Die Faustische Mordscene ist fertig*" usw.). Die Briefe sind unterschrieben mit: „*Niembsch*", „*Niembschulus*" und „*Miklos*".
Kerner über Lenau s. Nr. 143.

185 — SCHURZ, Anton Xaver, Schwager und Biograph Lenaus, 1794 bis 1859. E. Br. m. U. Wien 4. V. 1851. 1¼ S. 8°. (20.—)
An eine Dame. „*Sie haben mir durch Ihre gütigen Mittheilungen über unseren nur zu bald entschwundenen Lenau eine ungemeine Freude gemacht . . .*" Zitiert die Worte, die Lenau im Wahnsinn über den Grafen Alexander von Württemberg gesprochen hat.

186 LERMONTOW, Michail Jurjewitsch, 1814—1841. E. Gedichtmanuscript (russisch). ⅝ S. quer-folio. (160.—)
„*Ballade*" auf die Hochzeit des Barons von Hügel. Das Manuscript umfaßt im Ganzen 2½ Seiten quer-folio; der größte Teil (2 S.) ist aber von anderer Hand (B. Annenkow) geschrieben. Deutsche Übersetzung liegt bei.
Die Hochzeit des Barons von Hügel mit Lermontows Cousine A. M. Wereschtschagina, aus deren Besitz diese und die folgenden Nummern stammen, fand im Juli 1836 statt.

186a — E. Gedichtmanuscript (russisch). 4 S. 4°, halbseitig beschrieben. (200.—)
„*Der Gast (eine Sage)*". Deutsche Übersetzung liegt bei.

Гость. (быль)
(посвящается . . . . .)

Клариссу юноша любил
Давно тому назад.
Он сердце девы получил . .
А сердце — лучший клад.
Уж громкой колокол гудёт
И в церкви поп с свечами ждёт.

«Гость». Баллада. Репродукция автографа Лермонтова в каталоге аукционной фирмы «Карл унд Фабер» (Мюнхен). Местонахождение оригинала неизвестно

ной, а тут целых два! И один из них — молодой Верещагиной!

Господин фрайхерр фон Кёниг несет фотографию:

— Прошу!..

Удлиненное умное лицо, высокий лоб, высокий разлет бровей, в разрезе глаз что-то татарское... Видно, что литографированный портрет был вставлен в старинную овальную рамку.

— Если вас это интересует — я могу вам преподнести фото,— любезно предлагает хозяин.

— А где может быть оригинал? — спрашивает у мужа хозяйка.

Начинаются припоминания, предположительно называются города — Штутгарт, Гейдельберг, Мюнхен...

— Об этом может знать оберлерер херр Штренг в Шлосс Хохберг!

— Нет, лучше позвонить в Тюбинген фройлейн Энберг,— вставляет сестра хозяина.— Она говорила о переписке Лермонтова с Александриной Верещагиной-Хюгель...

— Нет, эти письма уже напечатаны в России. Не думаю, чтобы она располагала неизвестными текстами...

— Я хотел показать вам,— хозяин кладет на стол каталог.— В тысяча девятьсот пятьдесят первом году я передал на аукцион мюнхенской фирме «Карл унд Фабер» два манускрипта Лермонтова. В этом каталоге воспроизведен небольшой фрагмент...

Он разворачивает тетрадь каталога... «Гость»!.. Факсимиле лермонтовского автографа! Которого ни один исследователь не видел даже на фото!..

Беру каталог в руки:

ГОСТЬ

(быль)

(посвящается *****)

Клариссу юноша любил
давно тому назад.
Он сердце девы получил.
А сердце — лучший клад.
Уж громкой колокол гудёт
И в церкви поп с венцами ждет.

Кому же посвящается это? Висковатов печатал: «А. Верещагиной». А Лермонтов умолчал. Почерк зрелой

поры. Может быть, это даже не юношеское стихотворение, а, скажем, связанное с замужеством Лопухиной? Бумага, на которой оно написано, могла бы решить дело. Но автограф продан. Куда?

— Вот еще,— говорит хозяин,— стихотворение Лермонтова, написанное им по-французски.

Действительно, в каталоге под № 186 b значится Gedichtmanuscript (französisch) 1/2 S. 4° «Non, si j'en crois mon espérance, J'attends un meilleur avenir» — «Автограф стихотворения (по-французски), 1/2 листа. «Нет, если б я верил моей надежде, я ждал бы лучшего будущего».

— А это?.. номер 186?

«...Gedichtmanuscript (russisch), 2/3 S. quer folio.

«Баллада» на бракосочетание барона фон Хюгеля. Рукопись занимает в целом 2 1/2 страницы в четверку; большая часть (2 страницы) написана другой рукой (В. Анненковой).

Свадьба барона фон Хюгеля с кузиной Лермонтова А. М. Верещагиной, собственность которой составляют этот и следующие номера, состоялась в июле 1836 года»[1].

— Это вы видели у профессора Винклера,— говорит господин фон Кёниг.— Он показал вам. А о других манускриптах вам следует справиться в Мюнхене, на Каролиненплатц, 5а...

7

Утро следующего дня в Мюнхене начинается с посещения аукционата. Это — просторное помещение, обведенное вокруг полками, на которых красуются редкие книги. Все остальное пространство — между окнами, над проемами дверей — завешано литографиями, гравюрами, начиная от старых листов, кончая репродукциями рисунков Пабло Пикассо.

Ответ получаем буквально через минуту.

— «Гость» через посредство господина Лаутера продан в Женеву фирме «Вайс унд К°». Автограф французского стихотворения... сейчас посмотрю... господину

---

[1] «Autografen aus schwäbischen Adelbesitz. Auktion 5/6 Oktober 1951 in München. Karl und Faber. Karolinenplatz, 5a», München, 1951, SS. 34—35.

Штаргарду в Марбург. Он выставлял его на аукционе тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года [1].

Отсюда же — из помещения фирмы «Карл унд Фабер» звоним в Марбург, в антиквариат Штаргарда. Французское стихотворение ушло в Вюстемберг... Рукописи других русских писателей? Да, конечно!.. Рисунок Пушкина продан в Бад-Годесберг. Фрагмент «Капитанской дочки» — автограф — в Лондон. В ближайшее время на аукционе будут продаваться письма Гоголя, Тургенева, Горького, автографы Рубинштейна, Рахманинова... Фирма вышлет вам каталог. Кроме того, вы можете написать письма владельцам без обращения и переслать эти письма мне,— говорит г-н Штаргард,— я сам отправлю. Просите уступить автографы или выслать вам фотографии. Я не имею права без разрешения называть имена.

Первые сведения о лермонтовских автографах, принадлежавших фон Кёнигу, собраны. Разговор продолжался пять или шесть минут.

Остается невыясненной судьба автографа «Демона» и списка Лопухиной.

Советуемся с г-ном Хартунг — прокуристом фирмы «Карл унд Фабер», в которой находимся.

— Стоит ли ехать в Карлсруэ? Цел ли архив типографии Хаспера?

Рекомендует позвонить в «Бёрзенферейн дес дойтшенбухандельс» — «Торговый союз немецких издательств» во Франкфурт-на-Майне.

Звоним. Трубку берет фройлейн Ашмутц.

Излагаем ей дело... Лермонтов... «Демон»... Поэма печаталась в Карлсруэ...

— Я вижу,— отвечает нам фройлейн,— поэма издана у Хаспера дважды — тысяча восемьсот пятьдесят шесть и тысяча восемьсот пятьдесят семь. Но типографии нет. Она была основана в тысяча восемьсот тридцать пятом и прекратила существование в тысяча восемьсот девяностом. Издательского архива у типографии не было. Думаю, ее выбрали потому, что у Хаспера был русский шрифт. Передо мной справочники. Какое-то отношение к этому делу должен был иметь книгоиздатель Фердинанд Шнайдер. Судьба его издательского архива в настоящий

---

[1] «Autografen aus verschiedenen Besitz. Auktion am 3. November 1954 in Marburg. Katalog 517. J. A, Stargardt», Marburg, 1954.

момент мне еще неизвестна. Позвоните через два с половиной часа.

В полдень снова набираем Франкфурт-на-Майне.

— Архив Шнайдера пострадал во время войны,— отвечает нам фройлейн,— но часть материалов сохранилась. Более подробные справки следует получить по адресу: Унтер-ден-Линден, девятнадцать, Берлин. С. Шнайдер унд К°... Если вас интересует библиография немецких изданий Лермонтова, отраженных в картотеке «Ферейна»,— запишите, прошу...

Из Мюнхена едем в Штутгарт. Оттуда — в замок Хохберг за Людвигсбургом. Предки барона Хюгеля выбрали великолепное место: судоходный Неккар, зеленые луга, дали, живописные городки и селения. Возле замка — в местечке Хохберг живет сейчас около полутора тысяч.

Главный учитель господин Виллем Штренг дает урок в частном доме. Узнав, зачем мы приехали, откладывает все дела и ведет нас показывать замок.

В 1934 году, после смерти графа Эгона Берольдинген, замок разделили на изолированные комнаты и квартиры. Но проходные помещения пустуют. И в них до сих пор видны остатки прежнего быта — где мраморный бюст, где гравюрки на стенах, старинная тарелка, лепные гербы...

Много картин с аукциона купил владелец соседней виллы господин Хоршер. Учитель ведет нас на виллу. Но он должен предупредить: управляющий покажет нам только те вещи, которые висят на лестнице. Самые ценные картины заперты в комнатах. Как знать: может быть, случайно туда попало какое-нибудь полотно Лермонтова.

Управляющий объясняет, что его хозяин живет в Испании, приезжает сюда раз в году, в день рождения покойной матери.

— Если прибудете двадцатого июля утром, вы сможете увидеть его. Писать ему надо в Мадрид, ресторан Хоршера, самому господину Хоршеру.

Выходим. Выясняется, что господин Штренг пишет историю замка и населенного пункта Хохберг, изучил родословия, собрал обширный материал, снимки со старых портретов. Если у нас есть время, он хотел бы отвести нас к себе — он живет отсюда в нескольких километрах.

...Сидим, попиваем рейнское вино, я проглядываю переписанные на машинке главы «Истории», посвященные Верещагиной-Хюгель, вношу какую-то незначительную

поправку. В свою очередь, получаю ряд уточнений, касающихся Верещагиной и ее немецкой родни. Господин Штренг достает каталог вещей, продававшихся в замке: мебель, мрамор, фарфор [1]. Книги, рисунки, автографы составляют вторую тетрадь каталога, но второй тетради у него нет. Надо отыскать в Штутгарте фирму, которая проводила аукцион. Кажется, эта фирма не существует, но, очевидно, дела перешли к другой. Он согласен: не может быть, чтобы Лермонтов не прислал Верещагиной своего романа «Герой нашего времени» и книжки стихов. Если в Штутгарте позвонить...

История, начавшаяся в 1836 году, продолжается. За одним фактом обнаруживается десять других. А это внушает надежду, что верещагинские материалы еще не исчерпаны.

8

Командировка окончилась. Материалы, полученные от профессора Винклера, привезены в Советский Союз и поступили: рукописи — в Государственную библиотеку имени В. И. Ленина, изобразительный материал — в Государственный Литературный музей.

Наконец-то мы имеем возможность подробно рассмотреть тетрадь, заключающую автограф «Ангела Смерти».

На обложке рукою Лермонтова надпись:

Ангел Смерти
Восточная Повесть
1831 года Сентября 4-го дня
М. Лермантов.

В верхней части обложки полосой черной бумаги заклеена какая-то надпись.

На обороте обложки:

«Посвящается». Далее три начальных буквы имени, отчества и фамилии зачеркнуты пером столь тщательно, что вместо второй буквы образовалась чернильная клякса.

---

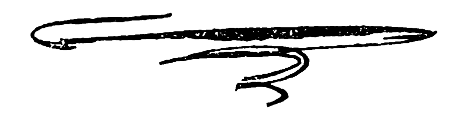
[1] «Einrichtung Schloß Hochberg bei Ludwigsburg... aus dem Nachlaß des Reichsgrafen Egon von Beroldingen». Stuttgart, 1934. Kunstauktionshaus Paul Hartmann, Stuttgart, Königstrasse, 5».

Посвящается [redacted]

Тебе — тебе мой Ангел хранитель,
Мой труд небрежный и простой,
Не пламенный, но вдохновенный
Воспоминаньем и — тобой!

Я дни мои влачу тоскуя;
И в сердце образ твой храня,
Лишь об одном тебя прошу я:
Будь Ангел смерти для меня! —

Явись мне в страшный час страданья,
И поцелуй пусть будет твой
Залогом близкого свиданья,
В стране любви, — в стране иной.



Посвящение к поэме «Ангел Смерти». Автограф Лермонтова. Из собрания профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва

Остатки очертаний первой буквы напоминают «А», третья сквозь штриховку читается довольно отчетливо: «В.........й». И девять точек, соответственные недостающим буквам фамилии Верещагиной.

Лаборатория Ленинской библиотеки удалила приклеенную к обложке черную бумажную ленту. Обнаружилась строка, писанная рукою Лермонтова: «Посвящается А. М. В.», им же зачеркнутая нетерпеливыми круговыми штрихами. Мотивы, по которым оба посвящения вымараны, остаются неясными. Возможно, что Лермонтов кому-то давал читать эту поэму — тогда же, в 1831 году. И намеренно вычеркнул посвящение. Впрочем, мы с этим встречались уже в посвящении к трагедии Лермонтова «Menschen und Leidenschaften». В остальном текст соответствует воспроизведенному в карлсруэском издании, если не считать нескольких самим Лермонтовым переправленных слов разночтений, не учтенных издателем Хаспером. Поэтому данная рукопись интересна, главным образом, как автограф.

На обороте листка, на котором написано уже приведенное выше неизвестное прежде стихотворение «Один среди людского шума», находится другое, известное по автографу, который пятнадцатилетний поэт вписал в тетрадь, заполнявшуюся в 1829 году. В тетради Лермонтова стихотворение читается так:

К***

Глядися чаще в зеркала,
Любуйся милыми очами,
И света шумная хвала
С моими скромными стихами
Тебе покажутся ясней...
Когда же вздох самодовольный
Из груди вырвется невольно,
Когда в младой душе своей
Самолюбивые волненья
Не будешь в силах утаить:
Мою любовь, мои мученья
Ты оправдаешь, может быть!.. [1]

В новом автографе строка 6-я выглядит иначе:

Когда ж в то время вздох крамольный

Строка 9—10

Самолюбивого волненья
Не будешь в силах укротить

[1] Лермонтов, т. I, с. 62.

Но дело не в двух разночтениях: в новом автографе, сохранившемся в бумагах А. М. Верещагиной, вместо трех звездочек выставлены инициалы.

К С. С.....ой.

Эти инициалы, так же как и строку «Мою любовь, мои мученья», мы должны сопоставить с припиской Лермонтова, сделанной им возле другого стихотворения 1829 года,— «К гению»: «Напоминание о том,— пояснил поэт,— что было в ефремовской деревне в 1827 году — где я во второй раз полюбил *12 лет — и поныне люблю»* [1].

Назван 1827 год. Запись — 1830 года. «Поныне люблю»,— значит, в продолжение трех лет!

Биографы и комментаторы уже давно ломали головы над тем, кто был предметом этой отроческой любви, волновавшей Лермонтова целых три года. Теперь, зная инициалы, мы можем назвать и самое имя. Как ни странно, но ответ содержится не только в новом автографе, но и в... полном собрании сочинений Лермонтова, а стихотворение, в котором фамилия вдохновительницы названа полностью, печатается начиная с 1882 года. Вот его текст, в котором я выделяю курсивом две строчки:

Как? вы поэта огорчили
И не наказаны потом?
Три года ровно вы шутили
Его любовью и умом?
Нет! вы не поняли поэта,
Его души печальный сон;
Вы небом созданы для света,
Но не для вас был создан он!.. [2]

Нет сомнения, что Лермонтов говорит здесь о себе. Это он не для света созданный поэт — тема, проходящая сквозь всю юношескую лирику.

Стихотворение 1831 года. Из числа новогодних мадригалов. Обращенное к Сабуровой. Сабурову звали Софьей. То есть — С. С. Она была дочерью Ивана Васильевича Сабурова, писателя по сельскому хозяйству [3], и жены его — Веры Петровны, племянницы известного поэта М. М. Хераскова, принимавшего деятельное участие в учреждении Московского университетского благородного пансиона. Все

---

[1] Лермонтов, т. I, с. 387.
[2] Там же, с. 260.
[3] А. Н. Нарцов. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Тамбов, 1904, Приложение III, с. 73.

Къ С. С...ой.

Глядися чаще въ зеркала,
любуйся милыми очами,
и свѣта шумная хвала
Съ моими скромными стихами
тебѣ покажутся лѣнивой;
Когда жъ въ то время вдругъ крикливой?
Изъ груди вырвется невольно,
когда въ младой душѣ твоей
Самолюбиваго волненья
не будешь въ силахъ укротить;
Мою любовь, мои мученья
ты оправдаешь, можетъ быть!.

«К. С. С... ...ой». Автограф. Лермонтова. Из собрания профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва.

братья Сабуровой — их было трое: Сергей, Михаил и Владимир — учились в этом пансионе одновременно с Лермонтовым, а один из них — Михаил, одноклассник поэта,— принадлежал к числу его самых близких и самых любимых друзей [1]. Ему посвящены стихотворения 1829 года «Посвящение NN» (с позднейшей припиской 1830 года: «(При случае ссоры с Сабуровым)»), «Пир» (приписано: «К Сабурову (Как он не понимал моего пылкого сердца?)»), «К NN» (с припиской «(К Сабурову — наша дружба смешана с столькими разрывами и сплетнями — что воспоминания об ней совсем не веселы.— Этот человек имеет женский характер.— Я сам не знаю, отчего так дорожил им)») [2].

Сабуровы были пензенские помещики с большими связями и, очевидно, принадлежали к числу знакомых Арсеньевой [3]. Одновременно они были приписаны к тульскому дворянству и владели землями в Белевском уезде Тульской губернии [4], где находилась «ефремовская деревня» — другими словами, имения отца Лермонтова Юрия Петровича, и Арсеньевых, родственников поэта со стороны матери, и где двенадцатилетний Лермонтов мог встретить семью Сабуровых.

Софья Ивановна Сабурова была настолько хороша собой, что выделялась даже среди первых красавиц Москвы [5]. В 1832 году она вышла замуж за Дмитрия Клушина и уехала с ним в Орел [6]. Ее дочь — Мария Дмитриевна Клушина (1833—1914) вступила в брак с Александром Николаевичем Жедринским [7]. А дальнейшее мы уже знаем: Мария Дмитриевна Жедринская жила в Курске,

---

[1] Ф. Майский. Новые материалы к биографии М. Ю. Лермонтова.— См.: «Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова». Сборник 1-й. Исследования и материалы. Под редакцией Н. Л. Бродского, В. Я. Кирпотина, Е. Н. Михайловой, А. Н. Толстого. М., ГИХЛ, 1941, с. 641.

[2] Лермонтов, т. I, с. 15, 385, 16, 386, 41, 390.

[3] А. Н. Нарцов. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Тамбов, 1904, Приложение III, с. 73.

[4] В. И. Чернопятов. Дворянское сословие Тульской губернии. Родословец, вып. III. М., 1909, с. 143; Л. М. Савелов. Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию тульского дворянства. М., Изд-во М. Т. Яблочкова, 1904, с. 222—223.

[5] «Записки А. В. Кочубея. 1790—1873». СПб., 1890, с. 279.

[6] Там же.

[7] Со слов Н. П. Чулкова.

у нее был альбом, в этом альбоме обнаружились неизвестные стихи Лермонтова, обращенные к сестрам Ивановым.

Похоронена Софья Ивановна Сабурова-Клушина рядом с А. Н. Жедринским — в Орле, на кладбище мужского монастыря. Надпись на могиле сообщает, что она умерла в 1864 году, сорока восьми лет [1]. Стало быть, родилась в 1816 и была на полтора-два года моложе Лермонтова.

Что касается записи в 8-й тетради Пушкинского дома Академии наук СССР,— записи, которую принято связывать с «ефремовским» воспоминанием,— то она, по-моему, не имеет никакого отношения к трехлетнему увлечению Лермонтова. Это — запись ироническая по отношению к себе, и к бисерному снурку, и к увлечению девушкой, «которой было 17 лет и (выделяю курсивом.— *И. А.*) *потому безнадежно любимой мною»*.

Вот эта запись:

«1830 (мне 15 лет). Я однажды (три года назад) украл у одной девушки, которой было 17 лет и потому безнадежно любимой мною, бисерный синий снурок; он и теперь у меня хранится.

Кто хочет узнать имя этой девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей.— Как я был глуп!» [2].

Речь идет о какой-то приятельнице старшей кузины, о последующих трех годах любви здесь ничего не сказано (а Лермонтов про это не умолчал бы!). А главное, запись сделана в начале 1830 года одновременно с припиской к стихотворению 1829 года, в которой не просто написано, а подчеркнуто: *«И поныне люблю»*. Это «поныне люблю» и «как я был глуп», приписанные в один день, когда Лермонтов пересматривал свои поэтические тетради, заполнявшиеся до середины 1830 года, как-то не согласуются между собой. И вряд ли он стал бы так говорить о трехлетнем чувстве.

Мне кажется, все основания — связать этот эпизод в жизни Лермонтова с именем С. И. Сабуровой, разгадать которое помог новый автограф из верещагинского архива.

Но, пожалуй, самый значительный документ из собрания профессора Мартина Винклера — письмо Елизаветы

---

[1] Со слов Н. П. Чулкова и по картотеке Б. Л. Модзалевского («Жедринский А. Н.»).

[2] Лермонтов, т. VI, с. 386—387.

Аркадьевны Верещагиной к дочери Александре Михайловне Верещагиной-Хюгель из Петербурга, посланное в ноябре 1838 года. Это может показаться на первый взгляд странным. Только что речь шла о неизвестном стихотворении Лермонтова и об автографе, который вносит коечто новое в понимание его ранней лирики. Но письмо матери Верещагиной интересно во многих отношениях как документ бытовой, как рассказ о семейном окружении Лермонтова в самый блестящий период его жизни после возвращения из ссылки, как живая характеристика самого поэта. Но главное, интерес представляет оно потому, что в письме Е. А. Верещагиной рукою Лермонтова вписан его неизвестный стихотворный экспромт на французском языке, продолженный шутливым приветствием.

Поначалу Елизавета Аркадьевна ведет речь о предстоящих А. М. Верещагиной родах. Сама Елизавета Аркадьевна после замужества дочери вернулась в Россию и не будет присутствовать в Штутгарте в этот важный для них обеих момент. Она посылает ей пять тысяч рублей ассигнациями и сообщает о доходах с костромского имения и с подмосковного Ильинского. Далее идет описание жизни Игнатьевых — то есть «Пашеньки», или Прасковьи Александровны Воейковой — племянницы Елизаветы Аркадьевны и двоюродной сестры «Саши» Верещагиной; Воейкова вышла замуж за Алексея Дмитриевича Игнатьева [1]. Они не расчетливы. Притом каждый год дети.

Важное место в письме занимает рассказ о дальнейшем продвижении по службе Алексея Илларионовича Философова. Он назначен воспитателем к «великим князьям» — младшим сыновьям Николая I, к Николаю и Михаилу. В связи с этим жена Философова «Анюта», или Анна Григорьевна Столыпина, только что родившая сына, получила «за крестины» бриллиантовые серьги и завтракает то с императрицей, то с великой княгиней (очевидно, Еленой Павловной). Все это лишний раз — прибавим мы от себя — помогает понять, почему Алексей Илларионович Философов так долго мог помогать Лермонтову, заступаясь за него и выхлопатывая у лиц царской фамилии «облегчения» его участи. Через Философовых Е. А. Верещагина имеет возможность прежде других узнать, что

---

[1] П. Долгоруков. Российская родословная книга. Т. 4. СПб., 1857, с. 111.

Николай I с «Люхтенбергским», а вернее, с Лейхтенбергским принцем — женихом своей старшей дочери — уехал в Москву и останется там на несколько дней.

От описания жизни Философовых Елизавета Аркадьевна переходит к рассказу о женитьбе Алексея Лопухина на княжне Варваре Оболенской (ей в 1838 году девятнадцать лет). Лопухин написал «Мише» — Лермонтову, что хочет приехать зимой в Петербург. Сестра Лопухина — «Машенька», то есть Мария Александровна,— тяжело восприняла женитьбу брата: сестры замужем, она одна, ей тридцать шесть лет. «Сестрица» Елизаветы Аркадьевны Екатерина Аркадьевна, переехавшая для воспитания детей в Петербург, приглашает Машу Лопухину к себе погостить, Елизавета Аркадьевна уговаривает ее ехать вместе с собою в Штутгарт...

Далее пошли соображения о дальнейшей службе барона Хюгеля. Вернутся ли Хюгели в Париж — это еще неизвестно. На всякий случай Елизавета Аркадьевна считает нужным говорить, что они находятся в Штутгарте в отпуску. Все эти сведения о служебных перспективах Хюгеля Елизавета Аркадьевна сообщает дочери со слов княгини Екатерины Ивановны Гогенлоэ — жены вюртембергского посланника в Петербурге князя Генриха Гогенлоэ-Кирхберга. Он в «восхищении» от Верещагиной, которую только что видел в Париже. Елизавета Аркадьевна придает большое значение суждениям вюртембергского дипломата, аккредитованного при русском дворе. И это совершенно понятно: он хорошо осведомлен, а кроме того, коль скоро Александра Михайловна Верещагина вышла замуж тоже за вюртембергского дипломата, знакомство с князем Гогенлоэ и с княгиней, его женой (она русская, урожденная Голубцова), становится особенно важным и для самой Верещагиной, и для ее петербургской родни. Вероятно, через Философовых, к которым «приезжала княгиня», познакомился с посланником Гогенлоэ и Лермонтов, посещавший в 1839 году балы в вюртембергском посольстве...

А теперь познакомимся с текстом письма:

«St. Petersbourg, *November*[1] 16/28. Среда [1838]

Друг мой милый, Саша.

Письмо твое от 6-го ноября я получила, благодарю

[1] Со слова «November» — рукой А. М. Верещагиной.

тебя, мой друг, что ты меня успокаиваешь, хорошо пишешь, не ленишься, одна моя радость твои письма, ежели бы возможно было чаще, но довольно каждые две недели мне радостные минуты; пиши, мой друг, не ленись, господь тебя вознаградит детьми твоими за меня. Когда тебя бог благословит быть матерью, ты почувствуешь тогда мои чувства и какие бывают беспокойствия и радости матери, и так, мой друг милый, я теперь в ужасном положении, все воображаю тебя, что ты родишь, мучиешься, и ни что меня не развлекает, все в волнении, ни что меня не занимает, и одно меня успокоивает: надежда на милость бога и пресвятой его матери. Новый сделала образ, и у меня возле постели; что просыпаюсь, перьвая мысль ты, и прошу заступницу тебе быть покровительницею и меня утешить. Прилагаю тебе пять тысяч ассигнациями. Не могла иначе сделать, как взяла четыре тысячи из капиталу, что у Алеши, а тысяча из доходных, а в декабре будут доходы из Костромы, не весь еще оброк за нынешний год прислали. Пишут, что пришлют, и на дорогу мне будут деньги. Нынешний год потому должна была взять из капиталу, потому что прошлого году лишнее сверьх доходов забрали у сестрице, но я ей заплатила нынешним доходом и до сих пор ничего ей не должна. Мне совестно было ей не отдать, потому что она процентов не берет с меня, а очень бы мне хотелось заплатить, хотя весной, Игнатьевым. Теперь они не бедны, хорошее место, но, кажется, не разбогатеет, и Николай Петрович, который его комиссии делает, мне сказал, что жалко, как не расчетлив, накупает все вздору и ему перевозки вещей в Казань, верно, дороже стали, чем тебе из Парижа. Жалки они мне, всякой год ребенок. Я надеюсь, что сими пятью тысячами рублями вы можете расплатиться с Парижем, а в генваре я вам еще пришлю; из Ильинского неотменно перьвая половина получится оброку монетою 4500 в перьвых числах генваря, у нас так договор по продаже хлеба. И так теперь весь будущий оброк с обеих деревень впереди у нас будет в руках. Одно молю бога, чтобы ты была только здорова, а на нужное достанет; вы оба благоразумны, не промотаете, а только, чтобы жить хорошо, хотя не по-барски, а по-дворянски. И для своего спокойствия и здоровья не жалей; непременно, чтоб был у тебя при муках акушер и бабка. Акушер всегда куражнее, но, мой друг, чтоб не спешил, и лучше потерпеть

лишнее, помучиться, но без нужды сильных средств не употреблять. Господь бог поможет. Я надеюсь, что немец-доктор — не шарлатан и прежде подумает хорошо. Ты вспомни, что и я, тебя родя, долго мучилась, но господь бог помиловал и тебя, и меня; и с терпением и с надеждою на бога будет хорошо. И я так уверена в твоем муже, что он за тобою будет ходить девять дней, успокоивать и чтоб доктор всякой день тебя видел. У нас Анюта Философова совершенно оправилась и похорошела, только очень толста. Всякой день выезжает, и часто с царскою фамилиею, и утро у государыни была, с ней завтракала. То у великой княгини, потом на балах, в театрах. Теперь все переехали из Царского, то Алексей Ларион[ович] приезжает домой ночевать в 10-ть часов, а в 8-мь утра уезжает на целый день к малинким вел[иким] князь[ям]; дан ему помощник — барон Корф, который просто дятька, и обедают вместе, и много ему хлопот. Государь император с принцем Люхтенберским уехал третьего дня в Москву, ему показать город, а его рекомендовать, как жениха Москве, и только на три дни, а полк Киевской Гусарской, который ему дан, в Москве, и все там будет стоять, и так все веселы. Анюта за крестины получила прекрасные брилиантовые серги. От Машиньки Лопухиной получила на днях письмо: пишет, что Алеша влюблен страстно в жену, не нарадуется, что она брюхата. А к Мише Алеша пишет, что он будет зимою в Петербурге, жене хочется, а Маша ко мне сего не пишет, а только все просит заранее непременно уведомить, ежели я поеду к вам. Она мне так жалка, Маша, как я все узнала. И как она переменилась, и вдруг постарела: очень скучает. Я ее даже подговаривала ехать со мною, и мне так кажется, что ежели бы не бабушка, ей совестно ее оставить, за счастье бы почла с тобою быть. Даже я заметила, когда про это говорит, у ней слезы, и ко мне что-то она очень ласкова и откровенна стала. Ее положение ужасно. Всех старей и должна покоряться глупой молодой бабенке и что она ей говорит — этого описать невозможно, и в последнем письме ко мне пишет, что Алеша почитает себя совершенно счастливым и проч. и так, кажется, что ему ни до кого дела нет. Сестрица очень звала Машу к себе, в Петербург, с ними пожить. На днях посылала узнать о приезде m-lle Hain, еще нет. Княгиня Гоенлое приезжала к Анюте, но не застала дома, а ви-

дели ее Голицыны и много говорили о тебе. Она тебя очень хвалит и говорит, что ужасно велико ваше семейство, и тебя все любят, а князь от тебя [в] восхищении: говорил Философ[ову], что как ты достойна уважения, и он сказал Голицыной, что ты всем очень понравилась, но иначе и не могло быть, как ты достойна, хотя он очень любит все семейство. И он говорит, что ничего не знает, куда вас определят. Я всем говорю, что вы в отпуску считаетесь, и для родин твоих гораздо покойней в Штутгарте, чем в Париже; и точно, ежели уже угодно было богу мне не быть с тобою в таком случае, то я благодарю создателя, что не в Париже. Мне так кажется, что в Штутгарде доктора займутся — и тише, и спокойнее. Чем так болен Жюль? — мне его жаль».

Тут в письмо Е. А. Верещагиной вторгается Лермонтов:

«Ma cousine,
je m'incline
A genoux
à cette place!
qu'il est doux
de faire grâce!

———

Pardonnez
ma paresse, etc. etc.
— Vraiment je n'ai trouvé que
ce moyen pour me rappeler
à votre souvenir, et obtenir
mon pardon; soyez
heureuse, et

ne m'en voulez pas; demain je commence une énorme lettre pour vous... Ma tante m'arrache la plume.......ah!..

M. Lermontoff»

«Дорогая кузина,
Преклоняю колена
На этом месте *.
Как сладостно
Быть милостивой!
Простите
Мою лень и т. п. и т. п.

* (здесь Лермонтов нарисовал коленопреклоненную фигуру в умоляющей позе)

— Право, я не нашел ничего другого, чтобы напомнить о себе и вымолить прощение. Будьте счастливы. И не сердитесь на меня; завтра я приступаю к длиннейшему письму к Вам... Тетя вырывает у меня перо.......ах!..

М. Лермонтов»

Лермонтов ушел.

Перо берет Елизавета Аркадьевна:

«Разгляди фигуру рисованную»,— лепит она строчку сбоку написанного им французского текста. И продолжает:

«Не переменился ничего, сию минуту таскает и бесится с Николинькою Шангирей. Он довольно часто у нас. Близко живет Елиз[авета] Алексеевна. Я к тебе писала, что Катя Сушкова у нас довольно часто жила, у Дмитрия Сушкова [в]верху у нас, с дядей Беклешовым. Но уже хотела ехать в Псков, как вдруг появился некто господин Хвостов, приехал из Америки, там жил четыре года, увидал Катю — рассказывают, что шесть лет все [в] нее был влюблен, а Миша говорит: «десять лет» — и она, и он; и так помолвились, послала за теткой Беклешовой, а он, Хвостов, за матерью своей в деревню новгородскую, и только неделю были помолвлены, и вчера была свадьба у нас в приходе. Елиз[авета] Алек[сеевна] Арсеньева у жениха — посаженою матерью, и Миша Лерм[онтов] на свадьбе. Женихова мать — Арсеньева, племянница Елиз[аветы] Алек[сеевны.] Жених назначен chargé d'affaire [1], в Америку, в Соединенные Штаты, 40 или 50 тысяч жалованья, что-то на дорогу, и говорят, что умней и ученей его нет человека, камер-юнкер, но очень дурен собой, и скоро едут в Америку. И Миша велел тебе все сие описать, и что у невесте был посаженый отец Сенковский, и много было смешнова и странностей было много. Нельзя все пис[ать]».

Интересно, что весь эпизод описан по просьбе Лермонтова: «Миша велел тебе все сие описать».

Тут упоминаются имена, хорошо знакомые нам хотя бы по «Запискам» Сушковой: Николай Сергеевич Беклешов — псковский помещик, муж ее тетки Марии Васильевны, двоюродный брат — Дмитрий Сушков...

Лермонтов на свадьбе Сушковой — это как бы эпилог к письму 1835 года, в котором поэт рассказал Верещагиной о развязке своего романа. Теперь Сушкова выходит замуж за его родственника — молодого дипломата Александра Васильевича Хвостова (это — родной племянник П. Н. Ахвердовой). И можно поверить в казавшийся неправдоподобным рассказ Е. А. Сушковой, записанный

[1] Поверенным в делах.

М. И. Семевским: Лермонтов был шафером на ее свадьбе [1]. Очевидно, шафером жениха.

Венчание происходит в Симеоновской церкви на Моховой, возле которой живет Екатерина Аркадьевна Столыпина и тут же, по соседству, возле Цепного моста на Фонтанке, в доме Венецкой — Арсеньева.

Лермонтов особо просит сообщить, что у Сушковой посаженым отцом Сенковский и что «много было смешнова и странностей было много. Нельзя все писать» — намеки, которые, минуя внимание Елизаветы Аркадьевны, может понять одна Верещагина.

Елизавета Аркадьевна берет новый листок. В семейном и бытовом отношении это продолжение письма так интересно, что весь его текст следует привести целиком. Тут пойдет речь и о поездке к придворному банкиру барону Штиглицу, и о том, как наряжают посольских кучеров в Петербурге, о выступлении в Павловске хора московских цыган, привезенных туда для поднятия доходов первой в России железной дороги, о широких прививках оспы.

Но особенно интересно упоминание имени композитора А. С. Даргомыжского. То, что Е. А. Верещагина пишет о нем, как о «племяннике Станкерши», свидетельствует, что тетка А. С. Даргомыжского Анна Борисовна Козловская (по мужу Станкер) принадлежала к числу столыпинских и верещагинских знакомых. А это позволяет предположить, что и Лермонтов мог встречать Даргомыжского — и не только в салоне Карамзиных.

Еще в 1833 году двадцатилетний Даргомыжский произвел своею игрой впечатление на М. И. Глинку, с которым потом в течение двадцати двух лет был в самых коротких, самых дружеских отношениях. Уже в ту пору Даргомыжский был известен в петербургском обществе как сильный пианист, читал ноты как книгу и участвовал во многих любительских концертах. Интерес Е. А. Верещагиной к семейству Даргомыжских-Козловских поддерживается еще и тем, что дядя композитора, князь Петр Борисович Козловский,— русский посланник в Штутгарте. Следовательно, живя в этом городе и вращаясь в кругу дипломатов, А. М. Верещагина постоянно встречается с ним.

---

[1] Е. Сушкова. Записки, с. 226.

Страница письма Е. А. Верещагиной к А. М. Верещагиной от 6 ноября 1838 года со стихотворным экспромтом Лермонтова. Из собрания профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва

Елизавета Аркадьевна пишет о выступлении Даргомыжского в салоне великой княгини. Это — Елена Павловна, жена великого князя Михаила, которая слывет покровительницей искусств.

Богач, сын рязанского откупщика, Василий Гаврилович Рюмин — литератор, из московских студентов, женатый на Шаховской,— постоянно живет за границей и принадлежит к числу парижских знакомых А. М. Верещагиной. Елизавета Аркадьевна считает необходимым уведомить дочь, что в салоне великой княгини поет родственница Рюмина — Шаховская. В письме упоминаются имена — кузины А. М. Верещагиной Марии Дмитриевны Столыпиной, Натальи Алексеевны Столыпиной (сестры Е. А. Арсеньевой). Сын Натальи Алексеевны — Алексей Григорьевич Столыпин, ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка (брат А. Г. Философовой), женится на фрейлине княжне Марии Васильевне Трубецкой. Аркаша — сын Екатерины Аркадьевны и брат Марии Дмитриевны, воспитанник Артиллерийского училища в Петербурге,— обратил на себя внимание великого князя. Все сведения о том, что происходит во дворце великого князя Михаила и жены его Елены Павловны, Е. А. Верещагина получает через Наталью Алексеевну Столыпину, а та — через чету Философовых.

Вот что пишет Елизавета Аркадьевна:

«Я сама ездила к Штиглицу деньги отдавать, и как счастливо попала: курс высок и так отдала 5000 тысяч ассигнациями, а получила 5860 франков, а бывало прежде только по 11-ти centimes. Жаль, что не могла больше переслать. И так я разделила на два векселя. Ты можешь, я думаю, векселем в Париж послать, только пожалоста, расплатитесь с Парижем, а я тебе еще пришлю в генваре, не прежде, на житье. И не думай, мне на дорогу будет, я здесь ничего почьти не трачу, шляпу купила. Выезды мои по родным, и то редко, все у нас больше сидят.

Я с неделю была нездорова, мое [1] все обыкновенное временем меня тревожит, нужно мне больше ходить и воздух, а здесь невозможно: время было сырое, и что всего ужаснее — ветры страшные. Несколько раз начиналось наводнение, и перед михайловым днем один день очень было напугало целою ночь, и пушки палили, и, говорят,

[1] В тексте: мои.

на полвершка были от наводнения, но ветер вдруг переменился. Нам не страшно — на нашей улице никогда не бывало, и в самое большое наводнение только мостовую полило. А с михайлова дня у нас прекрасная зима, и все в санях, и чюдесно нарядны все сани у послов, я вчера видела франц[узского], кучер весь в золотых голунах. Также видела я англин[скую] посланницу в магазейне: екипаж чюдесный — из Англии четвероместная карета, пренарядная и очень богата, кучера все голуны по швам, а два лакея превысокии, лошади у всех ямские и кучера по-русски одеты, только с голунами на шляпах и на ковтанах, а сама посольша неважно и одета нехорошо — шлюховата, не по екипажу; покупала токи богатые. Много очень видно парами ездют здесь, особливо иностранцы. Императрицу я видела в четвероместных санях с двумя княжнами и с Конст[антином] Никол[аевичем], четверней большие сани. У[1] великой княгини музыкальные вечера: Шеховская, что была в Париже у Рюминых, приехала и у великой княгине поет, и Доргомыцкой, племянник Станкрерши, там часто играет. Ты пишешь, что у вас оратории, но и я имела терпение сидеть освящение лютеранской церкви. Нам достали только два билета, сестрица побоялась тесноты, то я с Машей Дмит[риевной] отправилась — я сие, кажется, тебе описывала. У вас было две тысячи, а у нас с лишком пять, и не тесно было. Парад большой, без цветов у немцев нельзя, вся церьковь украшена была цветами, и все в парадных мундирах, и несколько немецких проповедей сказали.

Железная дорога было здесь доходом остановилась, как переехала царская фамилия из Царского Села, но умно придумали: выписали из Москвы цыган на два месяца три раза в неделю петь в Павловске. Компания железной дороге платит им 15 тысячь на месяц с договором в Петер[бурге] не петь никак, а кому угодно их слышать, но в Павловске даже и всякой день платя им особливо, а приехать все надо по железной дороге. И ты себе представить не можешь, что туда ездить — местов не добьешься, что там ресторан получает обеды, ужины, и теперь все удовольствия и катаньи там будут.

Я опять к деньгам, чтоб не забыть тебе сказать: я сказала Штиглицу, что я хочу на Турнезейна и в Париже.

[1] В тексте: и.

Он спросил: там ли будете получать. И тут один из его конторы сказал, что баронесса Гюгель, он знает, получила в Штутгарде. То на это я ему сказала, что выгоднее даже и в Штутгарде получить по парижскому векселю, он сказал — я удивляюсь, что [то] такое подумал и посмотрел что-то в большой книге, нашел, когда к тебе послано, и потом сказал мне — все равно, как хотите, но издерживать в Германии советую вам и по сему векселю брать немецкими деньгами. А потом опять повторил: и франками можно, то вы сами там рассчитывайте, как хотите, а курс теперь для нас хорош. И они в конторе мне сказали, что нельзя лучше, как теперь, и сами не знают, сколько это продолжится и что будет. Теперь и здесь ассигнации подымаются, а в Москве 20 руб. на сто, а здесь 8-мь на сто, а золото все в Петерб[урге] в одном положении, а в Москве дороже, а доходы мы все получаем монетою, а банкиру должны отдавать ассигнациями. Потом опять они сказали мне в конторе: нам не известно щеты в Штутгарде, это дело тамошних банкеров. И так, мой друг, ежели, чего боже нас сохрани, не случится ничего неожиданного убытку по деревням, мы на будущий год можем считать вес полный доход, потому что я очистила щоты за прошедший и теперешний. Счеты были вперед забрано у сестрицы и так, что я летом получила, ей отдала. В ломбард не нужно уже более будет платить. Долг наш Баташеву и Бахметьевым просют не платить. Хотя проценты неприятно, но Николай Петровичь с чувством мне говорил, что он это чувствует и принимает за подарок. И я ему заплатила проценты за сей год и еще дала ему тысячю монетою, нельзя иначе. И он мне сказал, как скоро он уплатит долг за свою купленную деревню, и это будет, я думаю, скоро, то он нам будет служить также из благодарности даром. Он чувствует, что наше семейство его состояние и Петруши устроили, и просил меня, чтобы к тебе написать, чтоб ты и барон были покойны, ежели что и со мною случится, что он вам также предан всегда будет. Теперь по пути он поедет в Костром[ские] деревни, межеванье, и посмотрит, нельзя ли прибавить нам оброку хотя малость, не вдруг. Церьковь строют, хорошо, грех их прижимать многим. Увидим, как ильинские заплатют, обещают верно платить 9000 монетою, а променя на ассиг[нации], выдет меньше 9000 франков. Так как теперь не будут возить хлеба из Ильинского в Листовку,

то хочет стараться Николай Петров[ич], чтоб Листовка могла прокормить народ наш, который не может достать по пашпортам. Когда они у нас в услугах, то все желают по пачпорту, а дают и отпускают — не хотят. Андрей наш только хорошо очень живет на воле, а Марфа несколько мест переменила, все говорит — тяжело и много требуют, никто даром денег не платит. Ежели бы возможно было в Листовке иметь немца и завести по-иностранному больше скота, продажу сыров и масла, скотом улутчивать землю, засевать овощами, так близско от столицы все бы можно было возить продавать, а просто рожь и овес не много тут дает. Травы у нас для прокормления довольно, и нынче всю не убрали, отдали в наймы, а нынче очень худой год для трав, и ежели бы не осталось от прошлого года у нас сено, нужно бы было даже убавить скота, нечем прокормить было, а ежели бы хороший присмотр за скотом, то больше бы давал скот доходу, можно бы было нанимать работников убирать больше сена, и тем бы лучше удобривалась земля. И так, мой друг, авось со временем все устроится, бог милостив.

Тебе, я думаю, мои письма очень странны кажутся. Пишу я в несколько приемов, как время есть, начинаю всегда за два дни до отправления, и что в голову приходит, мне с тобою не церемонится, и все бы хотела тебе перезсказать, что вижу и что слышу, и ежели бы возможно было все говорить, очень много интересного и смешного я вижу и слышу. Одна Нат[алья] Алекс[еевна], у которой решительно болезнь в полной силе,— большой свет, хотя сама все так же сидит в своем месте, карты в руках, гран пасианс и теперь, как Анюта стала выезжать много, она вечера, Ната[лья] Алек[сеевна], к нам приходит сидеть, и все рассказывает новости, и в восхищении от свадьбы Алексея Григорьевича. Невеста привила себе воспу, и все хотят прививать, и Анюта Филос[офова] и все молодые дамы и девицы, потому что молодая коменданша в воспе, и будет ряба. Во многих корпусах всем привили, и у многих принéлась. Аркаша совершенно оправился, но доктор Галичь не велел еще на службу ходить неделю. И лошадь околела, две тысячи заплачено было, и очень жалко, и славная выезжана была лошадь. Другой испортил, берейторы сказали. А Аркаша сам очень хорошо ездит. Жалко мне на него смотреть: по службе молодец, все хвалют, решительно нигде не манки-

рует, ездит славно, и везде полковники его выставляют, и великой князь его хвалит, а в комнате все такой — разиня рот. И лишняя доброта его погубит. Пороков нет, слава богу, Галичь очень смотрит, да и наша молодежь говорит все, что все знают, что он и не игрок, и не пьяница, и учился бы и серьозно, хорошо, учителя хвалют, но товарищи мешают. Так как не у всех есть столько денег, то все к нему збираются — завтрики, а [в] вечеру чай, и ты себе не можешь вообразить, как много так разтресет. Вот уже испытал доброту, давал свою лошадь офицерам парадировать, и испортили, и меня это очень огорчает. Сестрица чувствует и понимает, и старается сие переменить, но духу не достает. И так, мой неоцененный друг Саша, прощай, цалую тебя и Eugena, Христос с тобою, да буди мое над вами благословенье.

мать твоя».

Не найдя места на последней странице письма, Елизавета Аркадьевна возвращается к первой и приписывает с краю:

«Миша Лерм[онтов] велел написать, что он с нетерпением будет ожидать ответу на его приписку, хотя в моем письме. А я тебе спишу его новые сочинения. Он обещал дать».

9

К рукописным материалам, которые вручил мне профессор Винклер, относится копия одного из лучших стихотворений Лермонтова ранней поры — «Могила бойца».

До сих пор мы знали два источника текста — автограф в 8-й тетради Пушкинского дома и копию в тетради 20-й, снятую с другого автографа, нам неизвестного. В руках Верещагиной был третий автограф, отличающийся по тексту и озаглавленный «Песнь».

Первые строфы не отличаются от общеизвестного текста. Разночтения содержатся в строках:

13. Вм.	И бледны щеки мертвеца
	И бледны щеки у него
20. Вм.	Ползет через чело
	Ползет через него
23. Вм.	Слетались на курган его
	Слеталися на холм его

25—28. Вм.

Хотя певец земли родной
Не раз уж пел об нем,
Но песнь — все песнь, а жизнь — все жизнь!
Он спит последним сном,—

в копии Верещагиной:

Певец из стран богатыря
Уж пел не раз об нем,
Но песнь его не вокресит,
Он спит последним сном.

Подпись — «Михаил Лермонтов». Под нею — приписка по-французски: «Copie de l'autographe que j'ai donnée à Mr. Fernand Schickler. Je ne crois pas que cette poésie soit imprimée», то есть: «Копия с автографа, который я отдала г-ну Фернану Шиклеру. Я не думаю, что это стихотворение было напечатано».

Судя по характеру разночтений, в руках Верещагиной был первоначальный текст, впоследствии усовершенствованный Лермонтовым. Но для нас, не менее чем варианты текста, интересен самый факт, что уже ранние стихи, написанные в пору, когда Лермонтов даже и не думал печататься, существовали во многих копиях и что копии эти различались по тексту. Отчасти это объясняется тем, что Лермонтов продолжал исправлять их, а иногда и тем, что просьбы любительниц поэзии записать им стихи он выполнял на память...

Мы думали, что раз Висковатов писал: «клочок... найденный мною в Штутгарте», «письмо... найденное мною в бумагах покойной А. Верещагиной»,— значит, он в Штутгарте был?! Не был! Это становится ясным из писем, переданных профессором Винклером:

1. Из письма барона Вольфа, на немецком языке, от 2 февраля 1882 года, на двух страницах, к графине Александрине Берольдинген. В нем содержится просьба вручить «подателю этих строк г. Сидоренко» автопортрет Лермонтова, альбомы и списки стихотворений (на 2-м листе — написанный рукою г-жи Берольдинген перечень предметов, переданных ею для Висковатова);

2. Из письма П. А. Висковатова, на немецком языке от 17 января 1884 года из Дерпта, на двух страницах, к графине Берольдинген, из которого видно, что он не встречался с ней. Обращаясь с просьбою извинить его за медлительность и невозвращение в срок «драгоценных предметов», он, между прочим, задает вопросы относи-

тельно рукописи «Демона» и рисунка с изображением «испанской монахини».

В результате этой акварели Висковатов так и не видел. Берольдинген не смогла отыскать ее. А что это Варвара Лопухина, известно опять же со слов Висковатова, который писал: «Графиня Берольдинген (дочь Саши Верещагиной) сообщает нам, что мать ее ей говорила, что рисунок испанская монахиня, рисованный Лермонтовым, есть портрет той девушки, которую поэт любил потом всю жизнь» [1].

Теперь акварель нашлась.

Документальных подтверждений, что это именно Варвара Лопухина, у нас нет. Однако нам известны две другие акварели Лермонтова, которые Висковатов тоже признавал за портреты Лопухиной. Одна акварель поступила в Пушкинский дом от потомков родственницы поэта Е. П. Петровой-Жигмонт в 1941 году: поясное изображение женщины, повернутое на $^3/_4$ влево, с тяжелым узлом волос на затылке, которое Висковатов видел и даже удостоверил, что рисунок сделан поэтом и является портретом Лопухиной [2]. И другое изображение, тоже несколько влево,— женщина, в розовом чепце, в синей шали, сидит, подперев подбородок рукой. Это — копия в Пушкинском доме, снятая с акварели Лермонтова из третьего верещагинского альбома [3]. Надо думать, что оригинал находится сейчас в собрании Колумбийского университета, в США.

Портретов Лопухиной, исполненных другими художниками, мы не знаем. Но поскольку один из портретов, сделанных Лермонтовым, находился в лопухинском альбоме и на всех трех воспроизводится одно и то же лицо — будем по-прежнему считать эти три акварели портретами Варвары Лопухиной.

Теперь, когда мы своими глазами увидели оригинал «испанской монахини» Лермонтова, стало окончательно ясно, что это одна из его лучших акварельных работ. Стоит только взглянуть на чуть склоненную голову и потупленные глаза, на бледное лицо под черным покрыва-

---

[1] Висковатов. Биография, с. 275.

[2] Музей Пушкинского дома АН СССР, № 57944. Ср.: «Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома», т. II, «М. Ю. Лермонтов», с. 123.

[3] Там же, № 3195, с. 121.

лом и крестик на нежной, чуть приоткрытой шее, чтобы убедиться в достоинствах рисунка, сохранившегося в собрании профессора Винклера.

Еще более существенно возвращение на родину лермонтовского автопортрета — акварели, представляющей одно из лучших и достовернейших изображений поэта и — одновременно — одну из самых удачных его вещей.

На обороте паспарту, которое кто-то уже пытался открыть в надежде обнаружить надпись на тыловой стороне рисунка, наклейка. И немецкая надпись почерком г-жи Берольдинген: «Michel Lermentoff, russischer Offizier u[nd] Dichter, von ihm selbst gemahlt».— «Михаил Лерментов, русский офицер и поэт, им самим рисованный».

Изобразив себя на фоне Кавказских гор в форме Нижегородского драгунского полка, в котором он отбывал ссылку, Лермонтов послал портрет в подарок Лопухиной. Поскольку мундир — кавказский и на фоне Кавказские горы, портрет принято датировать 1837 годом. Однако вовсе не исключается, что он писан в Москве, когда Лермонтов в этом самом мундире возвращался в столицу в начале 1838 года.

Получив штутгартские реликвии, Висковатов, как уже было сказано, заказал акварелистке О. А. Кочетовой копию с автопортрета. С этой копии портрет воспроизводился, начиная с 1889 года вплоть до 1961-го, когда Н. П. Пахомов по цветному диапозитиву, полученному от В. Н. Лазарева, вместе с «испанской монахиней» воспроизвел его в «Огоньке» [1]. К сожалению, по техническому недосмотру обе вещи напечатаны в «перевернутом» виде — лица на репродукциях обращены вправо.

Теперь мы наконец увидели оригинал, несравнимый с копией Кочетовой, которая не сумела передать выражения лица, а главное, печально-задумчивых глаз. Так что даже эта, казалось бы, известная вещь воспринимается нами по-новому и восполняет наши представления о внешности Лермонтова.

---

[1] Н. П. Пахомов. Подруга юных дней.— «Огонек», 1961, № 31, с. 9.

10

Но если автопортрет мы знали хотя бы в копии, а об «испанской монахине» слышали, то картина из замка Хохберг — совершенная новость.

К переправе через шумную горную речку съезжает арба. С трудом удерживая ее напор, пригибаясь под нарастающей тяжестью ярма, с крутого берега сбегают волы. Ухватившись за ярмо, помогая волам, бородатый мужчина в заломленной назад барашковой шапке обернулся, чтобы успокоить сидящую в арбе молодую женщину, окутанную с головы до ног белым покрывалом. Скрытые от их глаз растущими возле поворота дороги деревьями и кустами, у реки притаились два всадника и договариваются, как лучше напасть на ничего не подозревающих путников. События еще нет — оно вот-вот совершится!.. Справа и слева, замыкая долину, уходят вдаль два горных хребта.

Полотно не подписано. Однако принадлежность его кисти Лермонтова не вызывает сомнений. И не только потому, что оно было куплено профессором Винклером в замке Хохберг. Но потому прежде всего, что и сюжет, и живописная манера, начиная от изображения лошадей и кончая кустами в правом углу картины, горы, вода, всадники, грузин в барашковой шапке отчетливо обнаруживают руку Лермонтова, вызывая в памяти другие, известные нам его полотна, его акварели и наброски пером и карандашом.

Мы знаем, что некоторые рисунки Лермонтова завершал и раскрашивал художник Григорий Гагарин: есть даже такие, на которых рукою Гагарина сделаны подписи: «D'après Lermontoff», то есть «По Лермонтову». Другими словами, Гагарин перерисовывал для себя некоторые лермонтовские наброски. И привлекала Гагарина в них прежде всего динамика, умение передать движение, бой, скачку, преследование.

Картина, составлявшая собственность Верещагиной, подтверждает эти высокие динамические свойства лермонтовских работ: бегущие волы, один из которых выгнул от напряжения голову, откинутый корпус погонщика, напряженная поза женщины, упершейся рукою в подостланное для нее сиденье, горец, склонившийся к своему собеседнику, конь горца в черной черкеске,

словно беседующий с белым конем,— эти позы и положения как бы предвосхищают то, что должно случиться. Возникает «двухмоментная» композиция, то, что так характерно для Лермонтова и что побуждало такого великолепного рисовальщика, как Григорий Гагарин, выступать в соавторстве с ним. Ибо при всех своих великолепных достоинствах рисунки Гагарина по природе своей статичны.

Когда и где написана картина, доставленная из Мюнхена, положительно утверждать невозможно. Ясно только одно: что Лермонтов соединил в ней впечатления, полученные во время путешествия по Кавказу и Закавказью в 1837 году. Это становится очевидным, если сравнить аробщика на этой картине со всадником и с проводником на картине «Развалины близ селения Карaагач в Кахетии» или женщину в арбе с той, что едет верхом на ослике на другой картине поэта, изображающей Военно-Грузинскую дорогу близ Мцхета [1].

«Узнать» место, изображенное на картине, как это удалось сделать со всеми остальными кавказскими пейзажами Лермонтова, затруднительно: на ней нет ни одного безусловного ориентира — ни башни, ни крепости, ни селения. Но, зная, что Лермонтов почти во всех случаях использовал в своих полотнах натуру, мне кажется несомненным, что и здесь изображено какое-то совершенно конкретное место. Что это — Терек? Но Терек переехать вброд невозможно. Арагва? Может быть, Алазанская долина в Кахетии? С уверенностью можно сказать только одно: в арбе едет грузинка, потому что у этой женщины не закрыто лицо,— мусульманка в прежнее время выйти за порог своего дома, не закрыв лица чадрой, не могла. В Армении, где ходили с открытым лицом, Лермонтов не бывал.

Надо думать, что кроки местности Лермонтов сделал с натуры, «на скорую руку», карандашом. А «действие» — фигуры, кони, волы вписаны в пейзаж потом, в процессе создания картины. Вероятнее всего, что картина исполнена в 1838 году, в Петербурге, по возвращении из ссылки. И послана Верещагиной уже после отъезда ее из России. В подарок. На память. В знак старой дружбы.

---

[1] См. иллюстрации в конце книги.

11

Мы внимательно рассмотрели рукописи и живописные работы Лермонтова, полученные от профессора д-ра Мартина Винклера, составляющие отныне достояние советских хранилищ. Теперь обратимся к автографам, принадлежащим д-ру Вильгельму фрайхерр фон Кёнигу, которого мы посетили в замке Вартхаузен.

В альбом размером 26,5×21,5 сантиметра, облеченный в коричневый кожаный переплет с золотым тиснением на крышке «Souvenir», Лермонтов, как уже сказано, записал «Послание», «Балладу» и какой-то непонятный, на первый взгляд, текст, связанный с гибелью Пушкина.

Начнем с этой записи, сделанной рукою поэта:

НА СМЕРТЬ ПУШКИНА

Стояля в шистом поле
Как ударил из пистолетрум
Не слишал как гром загремил.
всю маладсов офисерум
упаля на колен, палакал слозом,
Не боле по нем, кроме по нея.

Ашиль

Если бы не вызывающий сомнения почерк Лермонтова, невозможно было бы поверить, что автор «Смерти Поэта» мог написать эти строки.

Однако дело объясняется просто. Лермонтов *не написал, а записал* их. «Ашиль» — это Ахилл, слуга в московском доме Лопухиных. Узнав о гибели Пушкина, он выразил по-русски, как умел, свои чувства, а Лермонтов увековечил этот своеобразный отклик на смерть поэта. То, что строчки написаны как стихи, позволяет думать, что Ахилл диктовал свое поэтическое произведение. Таким образом, автограф, казалось бы незначительный, дает представление о том, сколько разговоров в доме Лопухиных было о Пушкине и о наказании Лермонтова, когда он, высланный на Кавказ, в конце марта — начале апреля 1837 года, остановившись в Москве, бывал, а может быть, даже и жил в доме Лопухиных.

Запись изречения Ашиля осталась неизвестной барону Вольфу и Висковатову потому, что они имели дело с графиней Берольдинген, а этот альбом достался после смерти Верещагиной другой ее дочери — баронессе Элизабет фон Кёниг, бабке нынешнего владельца замка Вартхаузен.

На смерть Пушкина

Стоялъ въ чистомъ полѣ
Какъ ударилъ изъ пистолетрумъ
Не слышалъ какъ громъ загремилъ.
Всю маладсовъ офисерумъ
Упалъ на колънъ, палакалъ слозомъ,
Не былъ по немъ, кромъ по нея.

Ашилъ.

«На смерть Пушкина». Автограф Лермонтова. Слова слуги Лопухиных — негра Ахилла, записанные рукою Лермонтова. Из альбома А. М. Верещагиной. Собственность барона доктора Вильгельма фон Кёнига (ФРГ, замок Вартхаузен)

«Баллада» («До рассвета поднявшись, перо очинил...». Автограф Лермонтова из альбома А. М. Верещагиной. Собственность барона доктора Вильгельма фон Кёнига (ФРГ, замок Вартхаузен)

Сейчас мы листаем альбом с конца. Так легче атрибутировать записи Лермонтова и понять, в какое время он их вносил.

Три листа отделены от альбома и вновь в него вложены. Почерк Лермонтова.

БАЛЛАДА

До рассвета поднявшись, перо очинил
Знаменитый Югельский барон,
И кусал он и рвал, и писал и строчил
Письмецо к своей Сашеньке он.

И он крикнул: «Мой паж! мой малютка, скорей!
Подойди — что робеешь ты так!»

И к нему подошел долговязый лакей,
Тридцатипятилетний дурак.

«Вот, возьми письмецо ты к невесте моей
И на почту его отнеси.
И потом пирогов, сухарей, кренделей —
Чего хочешь в награду проси».

[Я письма не возьму] «Сухарей не хочу, и письма не возьму,
Хоть расплачься, высокой барон;
А захочешь узнать — я скажу почему!..»

На этом запись Лермонтова обрывается. Рядом возле последней строки, справа по-русски чьей-то рукой приписано: «Лермантов». Слева возле той же строки — по-немецки: «Bis hierher Lermontoff's Hand» — «До этого места рука Лермонтова».

Продолжение баллады писано другим почерком и занимает две с половиной страницы, заключая в себе еще 29 строк. В конце вместо подписи, той же рукою, что указала «границу» лермонтовского текста: «В. Анненкова». А ниже две строки по-французски: «Composé pendant que je lisais une lettre de mon fiancé par Michel Lermontoff et Barbe Annenkoff» — «Сочинено Михаилом Лермонтовым и Варварой Анненковой в то время, когда я читала письмо от моего жениха».

Впервые эта баллада под названием «Югельский барон», пародирующая знаменитую балладу Жуковского «Смальгольмский барон», была напечатана в 1844 году в Москве, в сборнике стихотворений Варвары Анненковой

«Для избранных»[1]. В середине 39-й строки Анненкова поставила знак тире и сделала сноску. «Начало Лерм[онтова] до знака — конец мой».

Сейчас мы имеем возможность убедиться в том, что она приписала Лермонтову двадцать шесть с половиной собственных строк. И это понятно: те пять с половиной строчек, которые она объявила своими, ничем не отличались от обширного текста, приписанного ею Лермонтову.

Но, может быть, написанное почерком Анненковой представляет собою плод коллективного авторства? И, скажем, Лермонтов диктовал, а писала она?

Нет, в тексте, записанном рукой Варвары Анненковой, не имеется ни одной помарки: ясно, что он был сочинен отдельно, потом аккуратно вписан в альбом в виде продолжения баллады. К тому же, написанное ее рукой намного слабее начала («Мелких птиц, как везде, нет в орлином гнезде» и т. п.). Поэтому, мне кажется, автограф раз и навсегда выясняет степень участия Лермонтова в сочинении баллады.

Варвара Николаевна Анненкова (1795—1866) — малодаровитая поэтесса, автор нескольких стихотворных сборников[2], в свою первую книжку «Для избранных» включила стихи, написанные под сильным влиянием Лермонтова; некоторые даже связаны с ним: «К памяти М. Ю. Лермонтова», «К Е. А. Арсеньевой», «К М. Ю. Лермонтову». Видно было, что она хорошо знала Лермонтова и его бабку, и тем не менее факт ее участия в создании «Югельского барона» оставался необъяснимым, неизвестно было, какое отношение могла иметь она к Верещагиной и к ее мужу Хюгелю (название «Югельский барон» образовано Лермонтовым от его имени). Все это объяснилось в тот миг, когда, сняв со стены в замке Вартхаузен портрет матери Верещагиной, я увидел, что она была урожденная Анненкова и что, таким образом, ее родная племянница Варвара Анненкова приходится двоюродной сестрой «Сашеньке» Верещагиной.

Начиная с 1891 года «Югельский барон» входит во

---

[1] «Для избранных». Стихотворения Варвары Анненковой, в типографии А. Семена. М., 1844, с. 193—195. Баллада. Югельский барон. Ал. М. В-ой.

[2] Н. Н. Голицын. Биографический словарь русских писательниц. СПб., 1889, с. 10.

все полные собрания сочинений Лермонтова, в раздел «Dubia» — «второй раздел», произведений предположительных, коих автор документально не подтвержден. Альбом, которым владеет д-р Вильгельм фрайхерр фон Кёниг, решает вопрос: отныне начало баллады следует вводить в раздел бесспорных посвящений Лермонтова, заглавие «Югельский барон» заключать в прямые скобки, а продолжение, представляющее плод творчества Варвары Анненковой, использовать в примечаниях.

Сочинять эту балладу Лермонтов мог только в начале 1837 года, по пути в кавказскую ссылку, когда в последний раз виделся в Москве с Верещагиной, уже помолвленной с бароном Хюгелем и уезжавшей навсегда за границу. Варвара Александровна Лопухина была в это время замужем. В ее альбом писать стихи Лермонтов в ту пору не мог. Тем самым еще раз подтверждается, что альбом принадлежал Верещагиной. А это помогает понять обнаруженное в альбоме «Послание» — самый интересный из всех, найденных в ФРГ, текстов Лермонтова.

ПОСЛАНИЕ

Катерина, Катерина!
Удалая голова!
Из святого Августина
Ты заимствуешь слова.

Но святые изреченья
Помрачаются грехом,
Изменилось их значенье
На листочке голубом.

Так, я помню, пред амвоном
Пьяный поп отец Евсей,
Запинаясь, важным тоном
Поучал своих детей;

Лишь начнет — хоть плачь заране...
А смотри, как силен Враг!
Только кончит — все миряне
Отправляются в кабак.

М. Л.

Посвящение, неожиданное для стиля Лермонтова, полное иронии, и даже более, злой насмешки, построенной на сопоставлении «греховного» поведения «Катерины» и ее благочестивых речей, на сравнении выспренних изречений, заимствованных из писаний священного Августина, и проповедей пьяного попа.

Посланіе

Катерина, Катерина!
Удалая голова!
Изъ святаго Августина
Ты заимствуешь слова.

По святымъ изреченьямъ
Погружаешься въ грѣхахъ,
Изъясняешь иль значенье
На листочкахъ голубыхъ.

Такъ я помню: предъ амвономъ
Сѣденькій попъ отецъ Евсей
Запинаясь, хриплымъ тономъ
Поучалъ своихъ дѣтей.

Самъ начнетъ — хоть плачь заранѣ!
А смотри, какъ силенъ врагъ!
Только кончитъ — всѣ миряне
Отправляются въ кабакъ.

«Послание» («Катерина, Катерина!..»). Автограф Лермонтова из альбома А. М. Верещагиной. Собственность барона доктора Вильгельма фон Кёнига (ФРГ, замок Вартхаузен).

Почти с полной уверенностью можно сказать, что Лермонтов подразумевает Екатерину Александровну Сушкову. Именно для нее характерны разговоры, полные экзальтации, пристрастие к цитатам, неумеренные переживания над книгами: «Я плакала навзрыд над смертью Виргинии»,— вспоминает она о чтении романа Бернардена де Сен-Пьера. «Я не могла сохранить обычного спокойствия, говоря о Ламартине...», «С его минутным отсутствием, как глубоко поняла я значение стиха графа Рессегье...». Эти строки из «Записок» Сушковой, так же как и эпиграфы, заимствованные ею из д'Арлинкура и Бланвейе, и пересказы собственных маргиналий на полях романа Деборд-Вальмор, хорошо согласуются с текстом лермонтовского послания [1]. А то, что «Послание» записано в альбом Верещагиной, только подкрепляет предположение. По порядку в альбоме — оно стоит первым. И может относиться к 1835 году. Именно в 1835 году Лермонтов сообщил Верещагиной об окончании романа с Сушковой. И в конце 1835 года приехал в Москву, где, встретившись с Верещагиной, без всякого сомнения, разговаривал с ней о попытках Сушковой завлечь Алексея Лопухина, о своей в этом деле роли, и, наконец, внес в альбом Верещагиной это сатирическое послание. А возвратившись в Петербург, приступил к созданию романа из светской жизни, в котором под именем Негуровой фигурирует та же Сушкова. Скромная подпись в альбоме «М. Л.» должна скрыть от непосвященных, о ком идет речь, и в то же время возбудить любопытство. Очевидно, Сушкова так оскорбила самолюбие Лермонтова какой-то переданной ему после первой разлуки фразой, что эти слова продолжают язвить поэта даже в 1838 году, когда двадцатишестилетняя Сушкова, используя последние шансы на замужество, идет под венец со своим давним поклонником А. В. Хвостовым.

Но как бы то ни было, «Послание» открывает новую грань сатирического дарования Лермонтова и хотя бы отчасти заполняет непостижимую брешь между стихотворениями 1832 и 1836 годов.

Таковы итоги командировки в Федеративную Республику Германию и первые скромные результаты изучения разысканных материалов.

---

[1] Е. А. Сушкова. Записки, с. 64, 272, 189, 165, 86, 209.

Я уехал. Но поиски продолжаются. Владимир Ильич Иванов вместе с советником посольства Михаилом Михайловичем Деевым снова побывал в замке Вартхаузен. Получил разрешение на публикацию автографов и рисунков, составляющих собственность д-ра Вильгельма фрайхерр фон Кёнига, за что я хочу выразить господину фон Кёнигу и его супруге глубокую благодарность.

Самого г. Кёнига они не застали — он был в отъезде. Зато его вторая сестра, с которой нам в тот раз познакомиться не пришлось, показала им еще один альбом Верещагиной. Правда, рисунков и автографов Лермонтова Иванов и Деев в этом альбоме не обнаружили.

Через несколько дней господин фон Кёниг прислал в посольство письмо. Он сожалеет, что отсутствовал и не встретил гостей. Относительно передачи нам подлинников обещает подумать — он не решил еще для себя этот вопрос. Зато хочет подать нам совет: у одного из графов Берольдинген, живущего за пределами ФРГ, могут быть лермонтовские автографы. Фрайхерр фон Кёниг рекомендует ему написать, сообщает нам адрес... А тем временем открылось другое.



На помощь приходит Т. V.

Это было вскоре после возвращения из Федеративной Республики Германии.

Выступаю по Центральному телевидению. Рассказываю о командировке, демонстрирую лермонтовские автографы и рисунки, говорю телезрителям, что в замке Вартхаузен мне посчастливилось получить вот этот неизвестный портрет...

И с этими словами показываю фото с той литографии, на которой представлена Верещагина...

Могу ли я знать, что происходит в этот момент в Москве на Кутузовском проспекте, 11?!

Восемнадцатилетняя телезрительница — Наталья Константиновна Комова видит это изображение и... узнает в нем литографию, такую же точно, которая висит в окантовке над постелью ее бабушки — Инны Николаевны Солнцевой, по мужу Полянкер! Бабушка живет отдельно, в другом районе Москвы.

Комова хватает телефонную трубку:

— Ты телевизор смотришь?

— Смотрю.

— Видела?

— Да, это тот самый портрет.

Наташе Комовой не надо спрашивать, откуда у них литография. Она была вмонтирована в огромный семейный альбом, который хранится у них на Кутузовском. В этот альбом с водяными знаками на бумаге «1835» любители поэзии с 30-х годов прошлого века вписывали стихи

Пушкина, Веневитинова, Бенедиктова, Ростопчиной, Ламартина, Гюго, Барбье. Но больше всего в этом альбоме Лермонтова. Все это вписывалось в разные годы, разными почерками, под стихами и под рисунками даты «1838», «1842», «1843»... Но главное, в этом альбоме есть карандашный рисунок. И под ним подпись: «М. Лермонтов»!

Чтобы выяснить тайну изображений — того, что хранится в Баварии, и его двойника над постелью московской бабушки,— Наталья Комова и ее брат — молодой скульптор Олег Константинович Комов привезли ко мне и литографию и альбом. Сличаем. Литография полностью совпадает с фото, полученным в ФРГ. Начиная от лица и одежды, кончая датой «1838». Никаких колебаний — Верещагина это или не Верещагина — возникнуть не может: ведь в замке Вартхаузен висит ее другой — живописный портрет, относящийся к поздним годам ее жизни и сомнений в сходстве не оставляющий. Что касается альбома Солнцевых-Комовых, то и здесь все абсолютно ясно. Как это ни удивительно, неправдоподобно почти, но это новый, неизвестный доселе лермонтовский рисунок, изображающий какую-то молодую женщину. Показываю я этот рисунок Пахомову Николаю Павловичу,— а уж он художественное наследие Лермонтова знает! — он тоже признает руку Лермонтова. Хоть и не относит этот рисунок к числу самых зрелых его работ.

Чтобы не оставалось сомнений, скажу: в этом альбоме есть рисунок с подписью Шан-Гирея — троюродного брата поэта. И датирован рисунок тем же самым 1838 годом, когда, по словам матери Верещагиной, Лермонтов «таскает и бесится с Николинькою Шангирей». И литография Верещагиной 1838 года. Очевидно, к тому же году относится и лермонтовский рисунок.

Кому принадлежал альбом — неизвестно. Но, думается, ответ на это дает странная запись на одном из его листов:

Я буду любить вечно,
Буду помнить сердечно.

.....(подпись неясна)

А строчкой ниже:

Очень нужно.

Мария Ловсйко.

Да мне все равно, будете ли вы меня любить или нет.

Потом в первые строки кто-то размашисто вставил отрицание «не», благодаря чему запись приобрела обратный смысл:

Я не буду любить вечно,
Не буду помнить сердечно.

Надо думать, что подобное объяснение могло возникнуть на странице альбома только самой Марии Ловейко.

В одном из писем, принадлежавших профессору Винклеру (оно сперва поступило в Литературный музей, потом в Ленинскую библиотеку), Екатерина Аркадьевна Столыпина упоминает имя «Машиньки Ловейко». Письмо без полной даты, но, по всей видимости, 1838 года. Судя по тексту, Ловейко живет в Петербурге в доме Столыпиных.

По словам Комовых, Мария Ловейко была женой владимирского помещика Солнцева — деда Инны Николаевны Солнцевой, по мужу Полянкер. И, следовательно, им самим приходится прапрабабкой. Что Солнцевы — одного круга с Лермонтовым и с Верещагиной, в этом уже нет никакого сомнения. Сестра Валериана Гагарина, однокашника Лермонтова по Московскому университету — ее звали Варварой Павловной,— вышла замуж за Дмитрия Петровича Солнцева, впоследствии — знаменитого нумизмата [1]. В одном из старинных альбомов, который видел покойный профессор Н. Л. Бродский, было даже стихотворение за подписью Лермонтова, озаглавленное кем-то впоследствии: «Графине («княжне».— *И. А.*) Варваре Павловне Гагариной (потом замужем за Солнцевым)». Бродский привел, хотя и не полностью, несколько строк, не вызывающих сомнений в авторстве Лермонтова:

Львица модная, младая,
Честь паркета и ковра,
Что ты мчишься, удалая?
И тебе придет пора...[2]

Кому принадлежал этот альбом в прежнее время и до

---

[1] П. Долгоруков. Российская родословная книга, ч. 1. СПб., 1855, с. 247.

[2] Н. Л. Бродский. Лермонтов-студент и его товарищи.— В кн.: «Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Исследования и материалы». Сборник 1-й. Под редакцией Н. Л. Бродского, В. Я. Кирпотина, Е. Н. Михайловой, А. Н. Толстого. М., ГИХЛ, 1941, с. 67.

войны, когда его видел профессор Н. Л. Бродский, выяснить пока что не удалось. Но во всяком случае, на примере с альбомом Комовых видно, как один документ приводит к новым документам, особенно если поиски начинают распространяться на другие страны, а после этого в них включается такой мощный инструмент для обнаружения неизвестных еще исторических материалов, как Центральное телевидение.

Остается сказать, что Комовы предоставили мне выбрать место хранения альбома, и от их имени я подарил его Дому-музею в селе Лермонтове Пензенской области.



Рисунки из американских альбомов

Прошло немало времени, прежде чем мы смогли увидеть репродукции лермонтовских рисунков из альбомов А. М. Верещагиной, отделившихся от коллекции профессора М. Винклера и ставших собственностью Колумбийского университета.

В 1973 году в Ленинград, по приглашению Пушкинского дома Академии наук СССР, приехала из США г-жа Антони Глассэ и показала лермонтоведам слайды — листы верещагинских альбомов. Пошли переговоры о совместном их изучении и публикации, продолженные в 1974 году и позже.

Тем временем в Нью-Йорке, в 1975 году в специальном издании, предпринятом Карлом Р. Проффером и Элендеа Проффер, «Russian Literature Triquarterly», посвященном публикации исследований и материалов по истории русской литературы, появилась статья американского автора Елены Михайловой, которая опубликовала краткое описание всех трех альбомов и 27 рисунков.

Прежде всего г-жа Михайлова подтверждает, что один из альбомов принадлежал матери Александрины — Елизавете Аркадьевне. Второй составлял собственность самой Верещагиной. Третий — Варвары Лопухиной. Это вносит известную ясность.

Е. Михайлова публикует 10 рисунков из альбома А. Верещагиной, 17 — из альбома Лопухиной. У меня не вызывает сомнения принадлежность Лермонтову 21 ри-

сунка. Это определяется не только манерой, но в ряде случаев удостоверено почерком Лермонтова. Из 10 рисунков, сохранившихся в альбоме Верещагиной, шесть снабжены русскими или французскими текстами, написанными рукою Лермонтова; возле рта каждого персонажа читаем: «Я покупаю дом». Или: «Ни одной новой мысли». Или еще: «Давай кутить, а потом в школу».

Задача исследователя трудна: полтора века спустя (рисунки датируются 1830—1831 годами) нам предстоит определить, кого изобразил Лермонтов. Это потребует кропотливой работы и долгого времени. Но ведь это карикатуры на общих знакомых Лермонтова и Верещагиной — окружение поэта.

Серию лермонтовских карикатур в альбоме Верещагиной открывает фигура военного, показанного со спины,— в эполетах, в шляпе с плюмажем, со шпагой. А ноги — тонкие и кривые. Фигура так выразительна, что убежден, знакомые Верещагиной, глядя на эту спину, узнавали этого человека в лицо (рисунок 1).

Другой лист. Какой-то седовласый военный, сидя на низком диванчике (ноги подкашиваются!) в подобострастной позе перед растерянной девушкой (может быть, Верещагиной), объясняется ей в любви (рисунок 2).

Еще один лист (рисунок 3). Высокий франт в очках, с модной в ту пору бородкой, окаймляющей овал лица, гуляет (очевидно, по бульвару), горделиво закинув голову и выпятив грудь.

Он же (рисунок 4). Стоит за стулом, на котором, закинув ногу на ногу, сидит старый модник с цилиндром в руке, устремив куда-то сладострастный взгляд. С его губ срывается слово: «J' passerai» — то есть «сойдет».

Обратим внимание на следующий рисунок (рисунок 5) — тот же субъект в цилиндре, с лорнетом, в накидке с меховым воротником, говорит по-французски стоящему перед ним толстопузому человечку в очках: «Такого я еще никогда не видел». А сверху — надпись тою же — лермонтовской — рукою, по-русски: «адоратор» — слово, производное от латинского «адорация», что значит: «поклонение», «обожание»,— другими словами, адоратор — «обожатель», «поклонник». Чей? Очевидно, хозяйки альбома.

Все эти рисунки вызывают в памяти лермонтовское сатирическое стихотворение 1830 года «Булевар», в кото-

ром представлена целая галерея завсегдатаев Тверского бульвара в Москве:

Подалее на креслах там другой;
Едва сидит согбенный сын земли.
Он как знаток глядит в лорнет двойной;
Власы его в серебряной пыли...

Тот же господин встречается нам еще раз в альбоме Лопухиной, в сценке, написанной акварелью (рисунок 15). Мы снова видим его с цилиндром в руке, извивающегося в поклоне. В другой руке у него афишка, извещающая о концерте приезжего музыканта де Грасси.

Очень важно — это даст нам ключ к целому ряду загадок: на трех рисунках Лермонтова изображено одно и то же лицо (рисунки 4, 5, 15). Сходство изображений несомненно. Это какой-то неизвестный нам знакомый Верещагиной, а поскольку его рисовал Лермонтов, то знакомец и Лермонтова. Два раза встречается другое лицо — офицера (рисунки 6 и 15).

С давних пор, рассматривая рисунки Лермонтова — их сотни,— мы постоянно видим в них одни и те же, словно преследующие его лица: молодой женщины со скорбным выражением лица, зловещего мужчины в очках, длинноволосого человека с усами... (рисунок 18, в окне). Нет! Это не портреты — это безотчетные очерки, беглые зарисовки, возникавшие в процессе работы над романом или за шахматами (Лермонтов любил эту игру). Такие рисунки я назвал бы невольными спутниками поэтического вдохновения. Но есть и другие — акварели, карандашные и перовые рисунки — портреты, сделанные Лермонтовым старательно. Но в какой мере передано в них сходство с «моделью»?

Рисунки в альбоме Верещагиной дают ответ на этот вопрос и тем самым приобретают значение особое. Раз три изображения одинаково передают черты этого человека, стало быть, они похожи и на «модель». Значит, Лермонтов великолепно передает сходство. Это результат важный.

Почти все рисунки Лермонтова в верещагинском альбоме представляют собой карикатуры, которые должны были напоминать о каких-то забавных случаях и вызывать в кругу Лермонтова веселый смех. Только один рисунок серьезный: горец в мохнатой бурке, с ружьем за

спиной (рисунок 10). Это не портрет какого-то конкретного человека. В нем совместились воспоминания Лермонтова о горцах, которых, будучи еще ребенком, он видел на Тереке и на кавказских водах. В чертах этого человека — ум и печаль. Е. Михайлова связывает этот рисунок с работой Лермонтова над поэмой «Измаил-бей». Я бы сказал, что этот рисунок отражает постоянную мысль поэта о Кавказе и о народах Кавказа.

Совсем иной характер рисунков в альбоме Лопухиной. Карикатур, вернее бытовых сценок, здесь только две, если не считать того акварельного рисунка, о котором мы уже говорили. На семи листах альбома — акварели. Усатый мужчина в красном камзоле (рисунок 11). Горец с суровым лицом (рисунок 12). Изображение двух старых бритых людей перед развернутой книгой, похожих на служителей инквизиции,— один в черной сутане, другой — в красной (рисунок 13). Думаю, что этот рисунок связан с работой Лермонтова над «Испанцами» — его первой трагедией. Е. Михайлова считает, что на рисунке изображены кардинал и монах. Возможно.

Два мужских портрета — погрудное изображение свирепого мужчины и другого — заросшего густой бородой. И еще один персонаж — негр, точнее — гвинеец Ахилл, или Ашиль (рисунок 17), слуга в доме Лопухиных, тот самый, которому принадлежат слова о гибели Пушкина, вписанные под его диктовку Лермонтовым в другой лопухинский альбом, хранящийся в замке Вартхаузен у господина барона фон Кёнига:

Стояля в шистом поле...

Кажется, ни у одного исследователя жизни и поэзии Лермонтова не возникало сомнения в том, что образу Веры Дмитриевны в романе «Княгиня Лиговская» Лермонтов сообщил черты Варвары Александровны Лопухиной. Когда Печорин, войдя в гостиную Лиговских, впервые увидел ее после долгой разлуки: «молодая женщина в утреннем атласном капоте и блондовом чепце сидела небрежно на диване...»

В таком наряде и написана молодая печальная женщина на портрете в лопухинском альбоме (рисунок 14).

В ранней молодости, когда Лермонтов и Лопухина жили в Москве, приятели дразнили ее: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка».

Родинку над левой бровью мы видим и на портрете. П. А. Висковатов, сто лет назад державший этот альбом в руках и заказавший копию этой акварели, определил ее как портрет Варвары Александровны Лопухиной. Теперь, когда опубликована более совершенная репродукция, с ним следует согласиться.

На шестнадцатой странице альбома рисунок пером «Свадьба» — молодая девушка и седой господин с черными усами преклонили колена перед толстым попом в очках, читающим текст из Евангелия. За священником — дьячок и дьякон с кадилом, за спиной жениха и невесты — самодовольный пожилой барин со взбитым коком, в высоких воротничках и старуха в чепце — шарж, в котором, кроме острой характеристики всех действующих лиц, есть нечто печальное. Особенно в фигуре и выражении лица невесты.

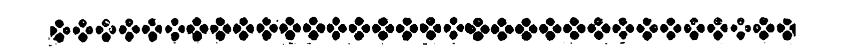
Может возникнуть вопрос: когда Варвара Александровна Лопухина венчалась с Н. Ф. Бахметевым, Лермонтова в Москве не было. Если этот рисунок имеет отношение к ее свадьбе, то как он мог внести в альбом этот рисунок? Объясню: почти все рисунки в этом альбоме вклеены. И Лермонтов мог послать этот подарок ко дню ее свадьбы.

Из 17 рисунков в альбоме Лопухиной г-жа Е. Михайлова три рисунка считает не лермонтовскими. И справедливо. Фигуры, вырезанные из черной бумаги и вклеенные в альбом, лермонтовскими ни в коем случае считаться не могут. То же относится к фигуре мужчины, из кармана которого торчит голова петуха. И к носатому господину со взбитым коком и с цилиндром в руке,— под рисунком инициалы какого-то неизвестного нам приятеля Верещагиной. В этом с Е. Михайловой следует согласиться. Очень хороша сценка, которую она назвала «Кадриль». Несомненно, сопоставление этой картинки с портретами московской молодежи тех лет могут привести к новым уточнениям. Но я полагаю, что и этот рисунок не лермонтовский — другая рука. И еще один рисунок не Лермонтова: виолончелист. Слишком приглаженный, слишком спокойный штрих. Правда, в нижнем правом углу рисунка латинскими буквами написано имя Лермонтова. И почерк дочери Верещагиной — графини Берольдинген. Но я решаюсь оспорить ее указания: фамилию Лермонтова она пишет неправильно: Лерментов. И не

один раз. Среди работ, привезенных в Москву из ФРГ, я уже встречал ее атрибуции: Лермонтов!

Автографы Лермонтова — восемь стихотворений 1830—1831 годов были, как уже сказано, скопированы П. А. Висковатовым и вскоре вошли в собрания сочинений поэта. Кроме лермонтовских, в альбоме Александрины Верещагиной есть стихи Пушкина, Козлова, Баратынского. Но все это тексты, выписанные из журналов или из книг другими лицами. Из числа авторов этого альбома Е. Михайлова приводит имена: князья Василий и Алексей Хованские, Офросимов, Быстрем, Карлгоф. Не будем пренебрегать попыткой выяснить, кто это такие. Кем бы они ни оказались — это знакомые Лермонтова.

Итак, альбомы в 1950-х годах, ушедшие за океан, хотя бы не в подлинниках, а в репродукциях, стали доступны для изучения. Но и тут не обошлось без помощи дипломата — советника посольства СССР в США Каменева Валентина Михайловича. Спасибо ему.



Лермонтов в Грузии

1

Нижегородский драгунский полк, в который в феврале 1837 года был переведен Лермонтов, стоял в Грузии, в ста верстах от Тифлиса, нес охрану кордонной линии и отражал набеги лезгин. Но прибыл поэт к полку только осенью, вскоре последовал приказ о переводе его в гусарский Гродненский полк, квартировавший в казармах близ Новгорода, и в начале следующего, 1838 года Лермонтов возвратился в Россию.

Он возвратился, исполненный удивительных замыслов: «Герой нашего времени», кавказская редакция «Демона», «Мцыри», «Беглец», «Ашик-Кериб», «Дары Терека», «Казачья колыбельная песня», «Тамара», «Свиданье» — все это результат его скитаний по Северному Кавказу и Закавказью в 1837 году. Кавказ оказался для Лермонтова не только источником вдохновенья, но и темой новых произведений. «Любимой темой»,— подчеркнул великий грузинский поэт Илья Чавчавадзе, писавший, что в «своих мощных стихах, преисполненных поэзии, Лермонтов изобразил весь Кавказ и, в частности, Грузию» [1].

В годы, когда советские исследователи, стремясь по-новому осмыслить историко-литературное значение Лермонтова и особенности его художественного метода, обратились к его биографии, оказалось, что такой важнейший период, как пусть и вынужденное, но замечательное по итогам путешествие его по Закавказью, никак не

[1] «Иверия», 1899, № 109, 26 мая, передовая (на грузинском яз.).

изучено. И что, по существу, единственный источник наших сведений — только письмо самого Лермонтова к Святославу Раевскому, написанное из Грузии в конце года, незадолго до отъезда в Гродненский полк, квартировавший в военных поселениях близ Новгорода.

С этого письма и пришлось начинать исследование непродолжительного по времени, но бесконечно важного по значению для Лермонтова жизненного и творческого этапа,— с письма, в котором Лермонтов увлекательно описал свою кавказскую жизнь, рассказал о том, где ему удалось побывать и как приходилось путешествовать. Но даже и своему лучшему другу он ни слова не написал ни о своих замыслах, ни о новых произведениях, ни о том, с кем познакомился, что передумал и перечувствовал в ссылке. В одной только строчке обронил: «Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные».

Перепиской сосланных друзей, видимо, интересовались жандармы. «Либо мои два письма пропали на почте,— осторожно начинает свое письмо Лермонтов,— либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я о тебе знаю только из писем бабушки».

«Наконец, меня перевели обратно в гвардию,— продолжает он,— но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение веселее Грузии.

С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе́, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже...

...Я никогда не был так здоров, зато веду жизнь примерную; пью вино только тогда, когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь...— Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два, три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался: раз ночью мы ехали втроем из Кубы́, я, один офицер нашего полка и черкес (мирно́й, разумеется),— и чуть не попались шайке лезгин. Хороших ребят здесь много, особенно

в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани! — Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь.

Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе,— да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться...

...Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург; увы, не в Царское Село: скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку.

Прощай, любезный друг, не позабудь меня и верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал. Вечно тебе преданный М. Лермонтов» [1].

Других сведений не сохранилось. Нам неизвестны не только имена людей, с которыми Лермонтов познакомился в период службы в Нижегородском полку, но даже точные даты его пребывания в Грузии. Все, о чем будет рассказано и в этой главе и в следующей, пришлось собирать, как говорят, «по крупицам» в течение семнадцати лет.

2

Мы знаем, что по дороге на Кавказ Лермонтов заболел и, приехав в Ставрополь, лег в военный госпиталь. Это было в апреле [2]. В мае его перевели в Пятигорск, «для пользования минеральными водами» [3]. В месяц во-

[1] Лермонтов, т. VI, с. 440—441.

[2] Там же, с. 819.

[3] См.: В. Баранов. Лермонтов в Москве.— «Литературное наследство», т. 45-46. М., Изд-во АН СССР, 1948, с. 727.

ды его «совсем поправили». Генерал Павел Иванович Петров, родственник Лермонтова, бывший в ту пору в Ставрополе начальником штаба войск Кавказской линии и Черномории, посоветовал ему отправиться в отряд Вельяминова, за Кубань, в осеннюю экспедицию против горцев. Это могло послужить удобным поводом, чтобы начать хлопоты о возвращении в столицу.

Однако в связи с ожидавшимся приездом царя на Кавказ осеннюю экспедицию отменили. Лермонтов приехал в отряд, находившийся в Ольгинском укреплении, слишком поздно и, по собственному признанию, слышал только два-три выстрела.

«Во внимание, что ваше благородие прибыли к действующему отряду по окончании первого периода экспедиции, а второй период государь император высочайше повелеть соизволил отменить,— сказано в документе, выданном Лермонтову,— я предписываю вам отправиться в свой полк; на проезд же ваш от укрепления Ольгинского до г. Тифлиса препровождаю при сем подорожную...» [1]

Приказ этот, датированный 29 сентября 1837 года, дает нам основание считать, что в Закавказье Лермонтов прибыл только в первой половине октября. Кроме того, нам известно, что из списков Нижегородского полка Лермонтов был выключен приказом только 25 ноября,— следовательно, до этого времени находился в Грузии [2]. Другими словами, он пробыл в полку около полутора или двух месяцев — до конца ноября или даже до начала декабря. В Прохладной, по дороге в Петербург, его видели 14 декабря [3]. А от Тифлиса до Прохладной было в те времена больше недели езды. От Тифлиса до Владикавказа путешествие продолжалось три, чаще четыре дня. Потом во Владикавказе ожидали «оказии». Так называлась почта, к которой присоединялись экипажи проезжающих и казенные повозки с вещами и провиантом. «Оказия» отправлялась два раза в неделю под охраной вооруженного отряда. Об этом способе сообщения Лер-

---

[1] «М. Ю. Лермонтов». Временник Государственного музея «Домик Лермонтова», I. Пятигорск, 1947, с. 64.

[2] См.: М. Ю. Лермонтов. Полн. собр. соч. Редакция и примеч. проф. Д. И. Абрамовича, т. V. СПб., 1913, с. 15. (Абрамович ссылается на «Месячные отчеты полка».)

[3] См.: Лермонтов, т. VI, с. 826.

монтов упоминает в «Герое нашего времени» («Максим Максимыч»). «Оказия» следовала до Екатеринограда — нынешней Екатериноградской станицы, находящейся в десяти километрах от Прохладной. В Екатериноград путешественники прибывали через четыре дня. Пушкин, следуя в Арзрум, прибыл из Екатеринограда в Тифлис на девятый день [1]. Испанский путешественник дон Хуан ван Гален путь от Тифлиса до Прохладной совершил за восемь дней [2]. Английский путешественник капитан Ричард Уильбрехем следовал от Владикавказа не с обычной, а со специальной оказией [3]. Благодаря этому он прибыл из Тифлиса в Екатериноград на шестой день. Таким образом, выходит, что Лермонтов должен был выехать из Тифлиса около 5—8 декабря. Более точно установить время нахождения Лермонтова в полку, очевидно, никогда не удастся. «Военно-исторического архива полк не только не имеет, но и не имел никогда,— писал один из составителей летописи нижегородских драгун.— Куда девались бумаги полка, никому не известно» [4].

Однако, знакомясь с летописью боевых дел нижегородцев и зная, что строевой службы на Кавказе войска не несли, мы хорошо понимаем выражение Лермонтова в письме к Раевскому: «Здесь, кроме войны, службы нету». Читая историю полка, мы понимаем, что в азербайджанские города — Кубу́ и Шемаху — Лермонтов попал в связи с кубинским восстанием.

Восстание это, поднятое пособником Шамиля Иса-беком, вспыхнуло в городе 5 сентября 1837 года и было поддержано прибывшим из Дагестана большим отрядом лезгин. На выручку осажденному гарнизону Кубы́ русское командование отправило из Кахетии, «с лезгинской линии», отряд генерала Севарсамидзе, в который входили два эскадрона нижегородских драгун. Но, покуда нижегородцы находились на марше, подоспели десять сотен

---

[1] См.: «Хронограф «Путешествия в Арзрум», сост. Е. Г. Вейденбаумом (хранится в Рукописном отделении Государственного музея Грузии имени С. Н. Джанашиа).

[2] См.: «Mémoires de Don Juan Van Halen», par Ch. Rogier, en 2 parties. Bruxelles, 1827, v. II, p. 367.

[3] См.: «Travels in the transcaucasian provinces of Russia... in the autumn and winter of 1837 by captain Richard Wilbraham», London, 1839, p. 250.

[4] В. П. Долгорукий. В рядах Нижегородского драгунского полка в 1826—1830 гг.— «Русская старина», 1882, № 8, с. 143.

ширванской милиции. 11 сентября осада Кубы была снята, и помощь нижегородцев не понадобилась. К 22-му числу они дошли только до Шемахи и были задержаны там на некоторое время «для наблюдения за Ширванской провинцией». И только после этого возвратились в свою штаб-квартиру, в Кахетию. Очевидно, Лермонтов получил в Тифлисе предписание явиться к своему полку в район Кубы, но нижегородцев там не нашел: они остановились в Шемахе. Тогда понятным становится, почему Лермонтов попал в Кубу и Шемаху, почему ночью, вместе с каким-то офицером в сопровождении одного лишь мирного черкеса, ехал из Кубы, почему им пришлось отстреливаться в ночной стычке от целого отряда лезгин [1].

Следуя из Шемахи в штаб-квартиру Нижегородского полка в Кахетии, Лермонтов должен был проехать через Нуху — другого пути из Шемахи в Караагач нет и не было. Между тем в письме Лермонтова упомянута не Нуха, а Шуша, которая находится далеко от Кубы и от Шемахи — близ южных границ Закавказья. Казалось бы, с Лермонтовым незачем спорить. И тем не менее есть основания усомниться в слове «Шуша». Дело в том, что автограф письма до нас не дошел. Текст его, опубликованный впервые в воспоминаниях родственника поэта А. П. Шан-Гирея в «Русском обозрении» 1890 года (№ 8), появился там с опечаткой: «был в Шуме...» [2] В 1890 году Шан-Гирея в живых уже не было, корректуру читать он не мог. Редактор же первого полного собрания сочинений Лермонтова (1891 года) П. А. Висковатов, перепечатывая текст письма, исправил «Шуме» на «Шуше» [3]. Вот откуда взялась «Шуша». Вот почему у нас есть основания думать, что в оригинале у Лермонтова могло стоять и в «Нухе». Окончательно этот вопрос

---

[1] См.: «Заметки неизвестного автора и копии о делах в Кубинской провинции в 1837 году». Центральный государственный исторический архив Грузинской ССР (Тбилиси), ф. 1087/4, д. № 327, неизданная рукопись полковника Исаевича «Обзор военных событий на Кавказе с сентября 1834 г. по 27 декабря 1844 г.».— ЦГИА Грузинской ССР, ф. 1087/4, д. № 269; В. Потто. История 44-го драгунского Нижегородского полка, т. IV. СПб., 1894, с. 77—78.

[2] «Русское обозрение», 1890, т. IV, август, с. 741.

[3] «Сочинения М. Ю. Лермонтова». Под редакциею П. А. Висковатова, т. V. М., 1891, с. 441.

без автографа не решить. Покуда же скажем только одно: независимо от того, упоминал Лермонтов в письме город Шушу или нет, он через Нуху проезжал.

Сопоставляя письмо к Раевскому с историей Нижегородского полка, мы понимаем и то, почему Лермонтов путешествовал в черкесской одежде, с ружьем за плечами: такова была форма нижегородских драгун[1]. В офицерском мундире Нижегородского драгунского полка Лермонтов, глядя на себя в зеркало, нарисовал акварельными красками тот самый автопортрет, на котором изобразил себя в бурке, накинутой на куртку, с красным воротником и кавказскими газырями на груди. Через плечо на кабардинском ремне с серебряным набором перекинута черкесская шашка. За спиной, в чехле, на походе у Лермонтова висело ружье. Таким его видели в Грузии.

Сообщение же Лермонтова о том, что он «снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал», и везет с собой «порядочную коллекцию», подтверждается целой коллекцией его рисунков, сделанных с натуры, и картин. Известно, что по возвращении в Петербург Лермонтов подарил своему учителю рисования, художнику П. Е. Заболотскому, около двадцати кавказских путевых зарисовок[2]. Известно, что кроме него, Лермонтов дарил свои работы и другим.

Но из всех рисунков, привезенных поэтом в 1837 году с Кавказа, уцелело только восемь. Шесть из них сделаны в Грузии: автолитография, снабженная надписью «Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби», карандашный рисунок «Развалины на берегу Арагвы в Грузии» и четыре, названий не имеющие. На них изображены: башня в ущелье (очевидно, Дарьяльском), другое ущелье, с движущейся по дороге арбой, девушки, танцующие на плоской кровле грузинского дома, и тифлисский Майдан с видом на Метехский замок. Картины работы Лермонтова, относящиеся к 1837 году, изображают Эльбрус, какой-то грузинский пейзаж (полотно это известно под названием «Кавказский вид с саклей»), горное ущелье (хранится в Доме-музее в с. Лермонтове, Пензенской об-

---

[1] См.: В. Потто, т. IV, с. 68—69.

[2] См.: П. Заболотский. Письмо в редакцию.— «Голос», 1882, № 350.

ласти), вид Тифлиса со стороны Авлабарского предместья и караван верблюдов возле скалы, находящейся (мы еще будем говорить об этом) недалеко от Царских Колодцев в Кахетии.

Эти рисунки и картины дополняют тот скудный материал — письмо к Святославу Раевскому, несколько косвенных фактов и тексты «Демона», «Мцыри» и «Ашик-Кериба»,— на основании которого нам надлежит выяснить, что это был за период в творчестве и биографии Лермонтова, с кем он встречался за время службы в Нижегородском полку, о чем беседовал, какую наблюдал жизнь,— словом, установить, какое значение имело для него кратковременное пребывание в Грузии.

3

Над «Демоном» Лермонтов работал больше десяти лет. Он начал писать эту поэму еще в четырнадцатилетнем возрасте, когда учился в университетском благородном пансионе. В ту пору он задумал поэму о демоне и ангеле, влюбленных в одну монахиню. Потом Лермонтов изменил замысел: в новом варианте демон влюбляется в монахиню и губит ее из ненависти к ангелу-хранителю.

В этих ранних редакциях действие поэмы происходило вне времени и пространства. Затем. Лермонтов задумал приурочить поэму ко времени «пленения евреев в Вавилоне». Этот библейский вариант остался ненаписанным. По тексту пятой редакции можно догадаться, что действие перенесено в Испанию: появились некоторые детали в описании — «теплый южный день», «лимонная роща», «испанская лютня». Однако общий характер поэмы от этого не изменился. Хотя уже найдены и закреплены отдельные стиховые формулы (в том числе первая строка поэмы, которая пройдет неизменной от первой до последней редакции), хотя некоторые фрагменты и войдут потом в окончательный текст — замысел «Демона» в редакции 1833—1834 годов все еще носит отвлеченный характер, сюжет развивается вяло, образы безжизненны, описания неконкретны, недостоверны художественно, монахиня бесплотна; в этом контексте монологи демона неизбежно кажутся риторическими. Лер-

монтов осознает это и откладывает работу над «Демоном».

Но вот миновал год ссылки, и, возвратившись из Грузии, Лермонтов подвергает поэму капитальной переработке. Горы Кавказа, Казбек, который кажется пролетающему над ним демону «гранью алмаза», «излучистый Дарьял», Кайшаурская долина, зеленые берега светлой Арагвы, угрюмая Гуд-гора оказываются самой подходящей обстановкой для лермонтовской поэмы. В новом варианте появляются развернутые описания грузинской природы и грузинского феодального быта. В этой «кавказской» редакции, созданной в 1838 году, «Демон» становится одним из самых замечательных произведений русской поэзии.

Лермонтов воплотил в этой поэме томившую его жажду деятельности, свое неукротимое стремление к свободе, силу творческой мысли. Поэма проникнута духом критики, пафосом отрицания окружавшей его мрачной действительности — «пребывающего общественного устройства», как выразился один из корреспондентов Белинского. Недаром Белинский писал в 1842 году: «Демон» сделался фактом моей жизни», и находил в этой поэме «миры истин, чувств, красот» [1].

Замысел, для воплощения которого Лермонтов десять лет не мог найти точных жизненных образов, был завершен им по возвращении из ссылки. И это, конечно, не случайно. Прежде всего, продолжал развиваться поэтический талант Лермонтова. Кроме того, сыграла роль ссылка: она усилила активное чувство протеста, содействовала созреванию политической мысли. Но были и другие немаловажные причины.

Лермонтов не мог бы создать новую — окончательную — редакцию «Демона», столь разительно отличающуюся от первоначальных редакций поэмы, если бы не нашел нового, еще не открытого поэзией материала, который помог ему воплотить отвлеченную философскую мысль в конкретных поэтических образах.

В. Спасович, Алексей Веселовский, Н. Котляревский, Дашкевич, Дюшен, а вслед за ними другие утверждали, что поэма Лермонтова представляет собой подражание западным образцам, и называли в качестве источников

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 86.

«Демона» произведения Мильтона, Байрона, Томаса Мура и Альфреда де Виньи. Рассматривая поэму Лермонтова вне связи с конкретно-исторической обстановкой, в которой она возникла, эти исследователи склонны были считать Кавказ неким экзотическим обрамлением образа, заимствованного у западных романтиков. Еще недавно высказывалось мнение, что «Демон» — традиционная восточная повесть, «обильно уснащенная экзотикой пейзажных описаний», что это — «типичная литературная олеография», что «Грузия здесь так же условна и по-оперному декоративна», как «и в «Мцыри».

Такая трактовка кавказских поэм Лермонтова основывалась отчасти на том, что работу над «Демоном» Лермонтов начал задолго до ссылки на Кавказ, а замысел, использованный в «Мцыри», разрабатывал в своих юношеских поэмах — в «Исповеди» и в «Боярине Орше».

Действительно, многое и в «Демоне» и в «Мцыри» подготовлено работой над этими ранними поэмами. И тем не менее можно решительно утверждать, что кавказский материал в «Мцыри» и в «Демоне» — не экзотическое обрамление в стиле традиционных «восточных повестей» романтиков (хотя у Лермонтова «Демон» и назван «восточной повестью»), а органическое претворение непосредственных переживаний и наблюдений, благодаря которым прежние сюжеты приобрели новое качество. И для нас несомненно, что решающее влияние в этом процессе оказали на Лермонтова кавказские и, прежде всего, грузинские народные предания, легенды и песни, знакомство с бытом и нравами новой для него страны.

Еще в 80-х годах первый биограф Лермонтова, П. А. Висковатов, писал о том, что поэт, «странствуя по Военно-Грузинской дороге, изучал местные сказания, положенные в основу новой редакции «Демона» [1]. Однако он не подкрепил своих предположений развернутыми доказательствами, а критика, стремившаяся связать творчество Лермонтова с западноевропейской литературной традицией, естественно, обошла эту статью полным молчанием.

---

[1] П. А. Висковатов. Отражение кавказских преданий в поэзии Лермонтова.— «Кавказ», 1881, № 203.

4

В верховьях Арагвы до сих пор живет еще легенда о горном духе Гуде, полюбившем красавицу грузинку. Впервые эта легенда была записана в 50-х годах прошлого века со слов проводника-осетина [1].

Давным-давно — так начинается эта легенда — на берегу Арагвы, на дне глубокого ущелья, образуемого отвесными горами при спуске с Гуд-горы в Чертову долину, в бедной сакле убогого аула росла, как молодая чинара, красавица Нино. Когда она поднималась на дорогу, купцы останавливали караваны, чтобы полюбоваться красотой девушки.

От самого дня рождения Нино ее полюбил Гуда — древний дух окрестных гор. Хотела ли девушка подняться на гору — тропинка незаметно выравнивалась под ее ножкой и камни покорно складывались в пологую лестницу. Искала ли цветы — Гуда приберегал для нее самые лучшие. Ни один из пяти баранов, принадлежавших отцу Нино, не упал с кручи и не стал добычей злых волков. Нино была царицей гор, над которыми властвовал древний Гуда.

Но вот, когда Арагва в пятнадцатый раз со дня рождения девушки превратилась в бешеный мутный поток, Нино стала такой необыкновенной красавицей, что влюбленный Гуда захотел сделаться ради нее смертным.

Но девушка полюбила не его, а юного своего соседа Сосико, сына старого Дохтуро. Этот юноша во всем ауле славился силой и ловкостью, неутомимо плясал горский танец и метко стрелял из ружья.

Когда Сосико гонялся с ружьем за быстроногою арчви — серной,— ревнивый Гуда, гневаясь на молодого охотника, заводил его на крутые скалы, неожиданно осыпал его метелью и застилал пропасти густым туманом. Наконец, не в силах терпеть долее муки ревности, Гуда накануне свадьбы засыпал саклю влюбленных огромной снежной лавиной и, подвергнув их любовь жестокому испытанию, навсегда разлучил их.

По другой версии, злой дух завалил хижину влюбленных грудой камней. Спускаясь с Крестового перевала

---

[1] См.: Н. Дункель-Веллинг. Любовь Гуда (осетинская легенда).— «Кавказ», 1858, № 30.

в Чертову долину, проезжающие часто обращают внимание на груду огромных обломков гранита, неизвестно откуда упавших на травянистые склоны Гуд-горы. По преданию, их накидал сюда разгневанный горный дух [1].

Наименование свое грозный Гуда получил от Гуд-горы, а Гуд-гора, в свою очередь, от ущелья Гуда, откуда берет начало Арагва. «Подле висящего завала Большого Гуда, именно в Чертовой долине,— как сообщала в 40-х годах газета «Кавказ»,— чаще всего и подстерегали путешествовавших по старой Военно-Грузинской дороге снежные заносы и метели» [2].

А в «Герое нашего времени», в тексте «Бэлы», Лермонтов пишет: «Итак, мы спускались с Гуд-горы в Чертову долину... Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами...»

Значит, Лермонтов знал легенду о любви Гуда и, по-видимому, не случайно перенес действие «Демона» на берега Арагвы. Есть основание полагать, что легенда о любви злого духа к девушке-грузинке оплодотворила первоначальный сюжет. Безликая монахиня превратилась в красавицу Тамару, дочь старого князя Гудала. В новой редакции появился жених Тамары — «властитель Синодала», удалой князь. Его, а не ангела противопоставляет Лермонтов любви демона в новом варианте своей поэмы. Это изменение сюжета могло быть подсказано Лермонтову преданием о ревности горного духа к возлюбленному красавицы грузинки.

Мог Лермонтов слышать и другую легенду о горном духе Гуда. В верховьях Арагвы, по словам П. А. Висковатова, еще в восьмидесятых годах прошлого века были видны развалины монастыря, о котором рассказывали окрестные жители,— говорили, будто дух, рассердившись на монахинь, разрушил монастырь громовой стрелой. Более того: Висковатов утверждал, что эту местность и имел в виду Лермонтов, когда описывал обитель, в которую Гудал отвел свою дочь:

---

[1] Ср.: П. А. Висковатов. Несколько слов по поводу поэмы «Демон».— «Сочинения М. Ю. Лермонтова», т. III. М., 1891, с. 107—131.

[2] См.: «Кавказ», 1846, № 35. См. также: «Кавказский календарь на 1851 год», отд. III, с. 68.

В прохладе меж двумя холмами
Таился монастырь святой [1].

В наше время в Кахетии, в селении Ахмета, была записана любопытная легенда, несколько напоминающая легенду о любви Гуда.

Давным-давно — говорится в этой легенде — жила красавица Тамар, привлекавшая своей красотой не только людей, но и дэвов. Полюбил Тамар один дэви, да так, «что ради нее и жизни не пожалел бы».

Страдал он, мучился и решил наконец проникнуть к ней.

С тех пор каждую ночь являлся к Тамар и до самого рассвета целовал и прижимал к сердцу рассыпанные на подушке волосы.

Мечтает дэви, глядя на спящую: «Дождусь утра — откроюсь ей, а ночью унесу ее с собой в страну дэвов, и сладко заживем с ней». Но думает: «А может ли она жить в стране дэвов? Нет, думает, лучше обещаю ей бесконечную жизнь и богатства несметные и только издали стану ласкать ее».

Но для чего Тамар его богатства?

Так, погруженный в свои думы, сидел он однажды у изголовья спящей Тамар и слышит: поет петух, настало время уйти. Не смог дэви больше терпеть — поцеловал девушку.

Вздрогнула Тамар, очнулась, осмотрелась — никого нет — и заснула. Но сгубил ее поцелуй дэви. Стала она бледнеть, чахнуть и скоро угасла.

Когда узнал дэви о ее смерти, стонами все горы растревожил. С тех пор безутешен живет он, рыданиями убивается. А когда навещает кладбище — ураган проносится над землей; знайте: это дэви оплакивает могилу Тамар [2].

Текст этой легенды записан в 1948 году со слов девяностошестилетнего Исаака Пилашвили. Но, кроме того, она известна в селении Ахмета и другим старым людям.

Опубликовавший эту легенду Амберки Гачечиладзе сообщил мне, что в 1949 году она была записана вторич-

---

[1] См.: П. А. Висковатов. Отражение кавказских преданий в поэзии Лермонтова.— «Кавказ», 1881, № 203.

[2] См.: А. Гачечиладзе. «Демон» Лермонтова и грузинские сказания.— «Литература да хеловнеба», 1948, № 38.

но — в Сигнахском районе. Только красавица называется в ней уже не просто Тамар, а царицей Тамар.

Подчеркивая, что Исаак Пилашвили человек старый, малограмотный, никогда не учившийся в школе, что услышал он это предание в родной деревне много лет назад, А. Гачечиладзе предлагает считать эту легенду в ряду фольклорных источников «кавказской» редакции «Демона», указанных мной в статье, напечатанной в 1939 году [1], Тем более, считает Гачечиладзе, что записана легенда в Кахетии, где Лермонтов, как известно, бывал.

Однако Гачечиладзе упускает из виду, что легенда стала известна фольклористам через сто с лишним лет после создания «Демона»; что еще в прошлом веке поэма Лермонтова была целиком переведена на грузинский язык; что более семидесяти лет подряд на сцене Тбилисского оперного театра идет опера Рубинштейна «Демон».

Поэтому с не меньшим основанием можно допустить, что здесь налицо обратный процесс и что эта легенда представляет собой фольклорную версию лермонтовской поэмы.

Но даже и в этом случае следует признать сходство ее с легендой о ревности Гуда, а тем самым, в конечном счете, снова — и несколько неожиданным способом — обнаружить сродство лермонтовского «Демона» с грузинской народной поэзией.

5

В тех же местах на Военно-Грузинской дороге — в районах Казбека и Пасанаури, в верховьях Арагвы, где записана легенда о духе Гуда,— до сих пор необычайно популярна старинная народная песня о том, как жених погибает в день свадьбы от случайного выстрела. Песня эта поется от лица убийцы по имени Глаха, который готовился быть на свадьбе посаженым отцом.

Сказал Глаха: — Будь проклят
Де́нь моего рождения...
Каждое утро
Приносит мне горе!

---

[1] См.: «Пионер», 1939, № 10, с. 48—66.

Я слышал плач над женихом,
Горе непосильное видел,
От такого горя и у мужчины
Голова пойдет кругом...

Поехали мы в село Хорпи,—
Небо сияло над нами,
Но где ж это слыхано,
Чтоб молния ударяла без грома?
Где ж это видано,
Чтоб жених, войдя в церковь,
Падал ничком на землю?

. . . .

Выстрелило мое ружье —
И убит наповал жених!
Залегла черная туча,
Закрыла собою деревню.
Собрались молодки и девицы,
Толпятся они, как стадо,
Плачут три зятя,
С ума сходят сестры,
Заплакала тетка,
Пораженная горем:
— Он был моей жизнью,
Ушел, нас покинул!

Встала невеста, заплакала,
Припала к нему со стоном.
Девять кос своих расплела,
Распустившейся розе подобна!
— Не оставлю тебя, мой красавец!
Последую за тобою!
Как ходить без тебя одной мне
По горам и долинам?

Песня эта, значительная по объему, приводится мной в выдержках.

Там же, в верховьях Арагвы, со слов жителя селения Думацхо, записана другая песня — плач над женихом,— исполняемая обычно во время покоса:

Кому доводилось видеть,
Чтоб без жениха приходила девушка?
Чтобы жених лежал, упав навзничь,
Чтоб смотрела на него молодая?
— Свекровь, моя матушка!
Не в обиду ли тебе приход мой?
Уйду, как пришла! Я ведь
Только глянула в дом твой!

Поется о гибели жениха еще в одной популярной в Грузии песне — «Имамтазеда, товлианзеда»:

Фиалку на горе на снежной
Посадил я, а выросла роза.
Стало ходить оленье стадо.
Пусть пасется, не топтало бы только.
В лес пошли тесть и зять нареченный.
Выстрелил юноша — убил оленя.
Выстрелил старый — убил жениха.
— Дитя мое, Тамар! Я убил твоего супруга!
— Отец мой почтенный,
Пусть покоя тебе не дает мое горе!
Дай мне топор —
Порублю дорогу в лесу.
Дай свечу —
Освещу себе путь в лесу.
А найду его —
Возьму в мужья мертвого [1].

Можно назвать еще одно произведение грузинского фольклора, повествующее о гибели жениха накануне свадьбы. Это предание «Смерть Сулхая», опубликованное в 1849 году в газете «Закавказский вестник». На него обратил внимание ныне покойный профессор Педагогического института в Орджоникидзе Л. П. Семенов.

Жил в Карталинии, в укрепленном старинном замке Джаниашени, выходец из Белокан, лезгин Ибрагим, принявший христианскую веру. Единственный сын Ибрагима, Сулхай, любил красавицу Паризу и терпеливо ожидал «благословения родителей и священника». Наконец отец Паризы, старый Леон, «положил выдать за Сулхая дочь свою».

В доме невесты идут приготовления к пышной свадьбе. Созвали родственников, друзей и соседей. Гости сидят на богатой тахте. «Шумные звуки димплипито вызывают девиц на пляску буйной лезгинки».

Тем временем жених «с толпою друзей и родственников, одетых в железо», спешит на брачный пир. Конец пути недалеко. Только небольшой лес отделяет нетерпеливого жениха от невесты. Пустив коня вперед, Сулхай оставляет позади свою свиту. Но не успел въехать в лес, как шайка разбойников окружает его. Услышав крики, отставшие всадники скачут... Но поздно! Сулхай плавает в крови, богатое оружие снято, отрублена кисть руки.

Свадебное торжество сменяется скорбью. Маленькая

[1] Тексты этих песен сообщила мне Елена Вирсаладзе.

собачка Сулхая принесла и положила у ног невесты отрубленную руку; вслед за тем сам жених прибыл на свадьбу мертвым.

Не в силах снести горе, невеста идет в монастырь[1].

Можно не сомневаться, что М. Туркистанишвили, изложивший это предание в газете, сюжет его передал без особых прикрас — записал, как сам слышал. Иначе вряд ли он стал бы вдаваться в подробное рассмотрение вопроса о том, как мог лезгин Ибрагим попасть из Белокан в Карталинию.

Близость приведенного здесь фольклорного материала к строфам «Демона», посвященным «властителю Синодала», позволяет нам, кажется, утверждать, что и этот эпизод в поэме возник у Лермонтова в результате знакомства с каким-то произведением народной поэзии, слышанным в Грузии.

6

В ущелье Гуда, и близ Казбека, и у подножия Эльбруса местные жители до сих пор показывают пещеры, в которых будто бы томится в оковах горный дух[2]. Об этом и вспоминает Лермонтов, когда говорит, что плачущей Тамары

. . . . тяжелое рыданье
Тревожит путника вниманье;
И мыслит он: «То горный дух
Прикованный в пещере стонет!»
И, чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит...

Горный дух, прикованный в пещере к скале,— это Амирани, или Амран,— Прометей грузинских и осетинских легенд.

---

[1] См.: М. Туркистанов (Туркистанишвили). Воспоминание о Сулхае.— «Закавказский вестник», 1849, № 41; Л. П. Семенов. Лермонтов и фольклор Кавказа. Пятигорск, 1941, с. 70—71.

[2] См.: Н. Берзенов (Бердзенишвили). Кудианоба (грузинская демонология).— «Кавказ», 1854, № 28; И. Степанов. Поверья грузин Телавского уезда.— «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. XVII. Тифлис, 1893, с. 135—139; «Кавказ», 1882, № 73—74.

В одной из версий этой легенды, известной и у грузин и у осетин, рассказывается о том, как молодой пастух, взобравшийся за козами на неприступные скалы, слышит какой-то необыкновенный звук: не то рев раненого зверя, не то гром. Сделав несколько шагов, он замечает в глубокой пещере богатыря, прикованного толстой цепью к скале.

Вкрадчивым голосом начинает умолять богатырь помочь ему разорвать узы, в которых он томится уже много веков. Для этого пастух должен вернуться в деревню и принести ему толстую цепь. При помощи этой цепи Амирани сможет притянуть к себе лежащий неподалеку тяжелый меч, который никто не в силах поднять: тогда он разрубит свои узы и получит свободу. Но если пастух произнесет до возвращения хотя бы одно слово, Амирани погибнет.

Пастух исполнил желание богатыря, но на обратном пути к пещере нечаянно вступил в разговор с охотниками, которые выследили его, думая, что он отыскал клад. В то же мгновенье раздался страшный грохот, пещера разверзлась, и скала с прикованным богатырем провалилась в темную бездну [1].

«И теперь, если кому-нибудь случится проходить около Казбека,— говорится в одной из версий этой легенды,— он увидит сохранившиеся доселе цепи и веревки, принесенные великодушным пастухом для освобождения непобедимого Амирана» [2].

В другом варианте этой легенды рассказывается, что Амирани наказан за то, что, возгордившись, вызвал помериться силами самого господа бога. Тогда бог вонзил в землю длинный кол и приковал к нему толстой цепью Амирани, а потом надвинул на него горы — Казбек и Гергети. «С тех пор Амиран и мучается в глубине скал и вечных снегов».

Вместе с Амирани в пещере находится гошия — собака-пигмей, которая без устали лижет оковы своего гос-

---

[1] См.: Н. Дункель-Веллинг. Осетинская легенда о Прометее.— «Кавказ», 1859, № 20. Ср.: «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. XVII. Тифлис, 1893, с. 171—173.

[2] А. Тоидзе. Амиран (грузинская сказка).— «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. XXI. Тифлис, 1896, с. 91—95.

подина. С каждым днем цепь становится все тоньше и тоньше. Но утром в страстной четверг кузнецы всей Грузии три раза ударяют молотами по своим наковальням, и цепь приобретает свою прежнюю толщину [1].

Легенды об Амирани бытуют в Грузии повсеместно, но рассказываются по-разному. По одним версиям, Амирани томится в одной из пещер Эльбруса, по другим — на Казбеке. По одним версиям, Амирани — богатырь: он похитил огонь, принес его с небес на землю и осчастливил людей. Он борется со злыми духами — дэвами — и вступает в борьбу с небом за справедливую жизнь на земле. В других вариантах легенды Амирани — богоборец, злой дух, истребляющий людей. Он прикован к скале за то, что вызвал на единоборство своего крестного отца — Иисуса Христа. Освободится Амирани от своих цепей только в день светопреставления.

«В лице его мы имеем два наслоения, по одному из которых Амиран — бог добра, а по другому он злой демон,— пишет профессор А. С. Хаханашвили в своих «Очерках по истории грузинской словесности».— Амиран может восполнить отсутствие бога зла в грузинской языческой религии, отличающейся дуалистическим характером» [2].

В одной из осетинских версий легенды Амирани говорит о себе: «Я — Амиран, из рода Дарезановых, я был притеснителем, не давал покоя людям на земле, спорил с божьими дзуарами и самого бога ни во что не ставил. Вот бог развернулся надо мною, пригнал меня сюда, и вот здесь, привязанный, я стою» [3].

Отверженный, изгнанный демон, над которым тяготеет божье проклятье, дух познания и свободы, затеявший «гордую вражду» с небом, оказался сродни богоборцу Амирани — духу зла из грузинских народных легенд. И несомненно, что легенды о духе зла — Амирани могли помочь Лермонтову органически связать давно возникший замысел поэмы о другом духе зла — демоне — с новым грузинским материалом.

---

[1] См.: Н. Берзенов (Бердзенишвили). Кудианоба.— «Кавказ», 1854, № 28.

[2] А. С. Хаханов (Хаханашвили). Очерки по истории грузинской словесности, вып. I. М., 1895, с. 42.

[3] Вс. Миллер. Осетинские этюды. М., 1881, с. 147.

7

Со станции Казбеги, Военно-Грузинской дороги, на вершине Квенет-мта, одного из отрогов горы Казбек, хорошо виден древний храм святой Троицы — «Цминда самеба»,— полуразрушенный и давно опустевший, о котором Пушкин говорит в стихотворении «Монастырь на Казбеке». Храм этот воздвигнут, по преданию, в XII веке царицей Тамар над могилой отшельника, который, удалившись от мирской суеты, во искупление грехов, долгие годы провел в недоступной пещере на Казбеке и прославился праведной жизнью.

Впрочем, точно так же и в XIX веке путешественникам рассказывали много чудес о пустыннике, который «живет в пещере на крутой, почти неприступной горе» и которого, «кроме пастухов, почти никто не видал» [1].

Если верить народным преданиям, записанным в прошлом веке, пещера или заоблачный монастырь находится где-то на самой вершине Казбека. Добраться до пещеры никто не может, потому что «еще никто из простых людей не был там: оттуда бог прогонит, ангелы не пустят туда: подымется вихрь, пойдет снег — и человек пропал» [2].

Местные осетины объясняют это тем, что на Бешлам Корте (вершина Казбека) обитает гордая фея Мягкинен, или Махкинан, не допускающая к священной горе смертных. Правда, ее никто не видел, зато слышали петушиный крик, которым она пугает тех, кто дерзнет приблизиться к волшебному кругу, начертанному ею вокруг Бешлама. Охотников, посягающих на ее дикие стада, Махкинан сталкивает в пропасть и, когда разгневается, засыпает Дарьяльское ущелье обвалами. При этом она плачет, и слезы ее брызжут в Терек, затопляя ущелье, и тогда в Дарьяльской теснине гремит буря. Когда-то она была добрым гением людей и помощницей самого господа бога, но, влюбившись в сатану, навлекла на себя

---

[1] «Письма Х... Ш... к Ф. Булгарину, или Поездка на Кавказ».— «Северный архив», 1828, ч. 8, с. 232.

[2] В. . .в. «Дорога от Тифлиса до Владикавказа».— Сборник газеты «Кавказ», издаваемой О. Н. Константиновым, Второе полугодие 1847 г. Тифлис, 1848, отд. 2, с. 43.

божий гнев и обречена на вечное пребывание в снегах Бешлама. Дворец ее стоит на самой вершине горы [1].

Рассказывали проводники-осетины еще и о том, что в пещере на Бешламе находится стол, уставленный яствами и питиями, что старики знали дорогу туда, но теперь ее уже никто не может найти [2].

В грузинских легендах таинственный монастырь на вершине Казбека зовется Бетлеми. В этом монастыре стоит будто бы шатер библейского патриарха Авраама, в котором «невидимая рука поддерживает ясли Христа, окруженные несметными сокровищами». Никто из простых смертных не бывал в пещере Бетлеми, ибо проникнуть туда, как утверждает предание, могут только святые люди. А для таких имеется огромная железная цепь, прикованная к отвесной, очень высокой скале, и святые люди проникали в монастырь, пользуясь этой цепью. Будто бы при царе Ираклии и с его разрешения «всходил туда один священник с сыном, совершенно чистые телом и душой; отец погиб, а сын возвратился с кусками дерева от яслей и тряпками от шатра, но без сокровищ».

Популярности этой легенды способствовало то, что ее повторяли не только путешественники, но и официальные путеводители (дорожники); о ней упомянуто даже в таком издании, как «Географическо-статистический словарь Российской империи», составленный П. Семеновым. Пересказывается она в путеводителях и в наше время [3].

Сохранилось об этом монастыре и другое предание, записанное от жителей деревни Гергети, согласно которому в заоблачном монастыре обитали когда-то семеро монахов. Один из них отличался особой святостью жизни. И бог явил над ним чудо: каждый раз, когда луч солнца проникал через маленькую дверь в келью, монах, приго-

---

[1] См.: А. Висковатов (геолог, а не биограф Лермонтова!). С Казбека.— «Русский вестник», 1865, т. 60, кн. 2, с. 408—409; «Махкинан (горная фея)».— «Кавказ», 1895, № 98.

[2] См. там же, с. 411; А. П. Андреев. От Владикавказа до Тифлиса. Военно-Грузинская дорога, изд. 2-е. Тифлис, 1895, с. 53 и 65.

[3] K. Koch. Reise durch Rußland nach dem Kaukasischen Isthmuss in den Jahren 1836, 1837 und 1838. Stuttgart und Tübingen, 1842. B. I, S. 19—20; «Кавказский календарь на 1851 год». Тифлис, 1850, отд. III, с. 66; «Географическо-статистический словарь Российской империи», сост. П. Семенов, т. II. СПб., 1865, с. 427; Сергей Анисимов. От Казбека к Эльбрусу. М.—Л., 1928, с. 51—52.

товляясь к молитве, вешал на луч котомку с книгами, и котомка не падала, словно луч был из чистого золота. Другие монахи завидовали благочестивому брату и, чтобы ввести его в искушение, обратились к красавице из селения Гвилети.

Притворные мольбы ее о помощи заставили отшельника нарушить монашеский обет и впустить в келью женщину. Как бы в поисках защиты у благочестивого старца, она просит позволения прикоснуться к его святой одежде. Вот она уже кладет руку на его тяжелые вериги...

Монах очнулся, когда солнечный луч проник в его келью, он спешит к котомке с книгами и, приготовляясь к молитве, поспешно вешает ее на луч... Но книги с грохотом рассыпались у его ног.

С тех пор заоблачная обитель опостылела иноку, и он покинул ее. Братья последовали его примеру, и монастырь опустел навсегда [1].

Это предание легло в основу «Гандегили» — поэмы замечательного грузинского поэта Ильи Чавчавадзе. В его поэме, как известно, речь идет о монахе, живущем в пещере Бетлеми на склоне Казбека. В пещеру эту можно подняться только по железной цепи.

Но удивительнее всего, что все эти легенды порождены, как оказывается, самой настоящей действительностью.

В 1811 году путешественник Фр. Паррот, совершавший восхождение на Казбек, на высоте 3520 метров обнаружил высокий каменный крест. Около креста была ограда, внутри ее — несколько могильных плит, позади креста сложенная из камней довольно большая пирамида; рядом с ней стоял черный гранитный столб.

С этого места Паррот заметил вверху пещеру, высеченную в совершенно отвесной скале.

«На скалистом гребне,— записал он,— высечена чудесная пещера, называемая здесь монастырем, где, как рассказывают туземцы, хранятся... огромные сокровища» [2].

По словам Паррота, она находилась в 457 саженях выше снеговой линии и примерно в полуверсте от вершины Казбека [3]. Пещеры этой Паррот не достиг.

---

[1] См.: А. Висковатов. С Казбека.— «Русский вестник», 1865, т. 60, кн. 2, с. 413—414.

[2] «Восхождение на Казбек в 1844 году доктора Коленати».— «Отечественные записки», 1845, т. XVI, отд. VII, смесь, с. 116.

[3] См.: «Закавказский вестник», 1845, № 20, с. 196—197.

Прошло сто тридцать шесть лет.

5 октября 1947 года местный альпинист — в ту пору председатель Казбекского сельсовета, а позже мастер спорта СССР Леван Суджашвили,— преследуя тура на одном из склонов Казбека, увидел на высоте четырехсотметровой скалы свисавшую железную цепь и маленькую, обитую железом дверь [1]. Эту же дверь заметил сотрудник высокогорной метеорологической станции на Казбеке Шалва Церетели.

Церетели сообщил об этом в Тбилиси, и в 1948 году правительство Грузии отправило для обследования пещеры Бетлеми специальную экспедицию во главе с известной альпинисткой Александрой Джапаридзе.

Экспедиция действительно обнаружила пещеру в отвесной скале на высоте 4100 метров над уровнем моря, но не нашла никаких следов тропы, которая бы вела к ней.

Внутри пещеры оказался престол, хоругвь XI века, бронзовый подсвечник XII века, деревянные миски, наконечники стрел, грузинские и иранские монеты XV—XVIII веков. Судя по кускам найденной в пещере материи, какой-то человек побывал в ней в первой половине XIX века. Выстукивание показало, что под полом пещеры, возможно, существует еще не открытый тайник.

Это замечательное открытие описал в своем очерке поэт Николай Тихонов [2].

В статьях самой Александры Джапаридзе имеется, однако, еще одна, очень существенная подробность: ниже этой пещеры виднеются развалины древнего монастыря [3]. «Около двадцати трех разрушенных построек»,— добавлял писатель Леван Готуа, побывавший в Бетлеми осенью 1957 года.

Царевич Вахушти, составивший в XVIII веке историческое и географическое описание Грузии, знал о существовании пещер Бетлеми. Но, сообщив уже известную нам

---

[1] См.: А. Джапаридзе. Тайник пещеры Бетлеми.— «Побежденные вершины», ежегодник советского альпинизма. М., 1948, с. 231; Е. Симонов. Мастер из Гергет.— «Советский спорт», 1953, № 79.

[2] См.: Н. Тихонов. Тайна пещеры Бетлеми.— «Огонек», 1948, № 16, с. 21—22.

[3] См.: А. Джапаридзе. Тайник пещеры Бетлеми.— «Побежденные вершины», ежегодник советского альпинизма. М., 1948, с. 238.

легенду о колыбели Христа и шатре Авраама, он продолжает: «Сказывают и о других чудесах, но я умалчиваю о них». И заключает свое сообщение словами: «Под ними (пещерами) имеется монастырь, высеченный в скале. Эта пустынь ныне впусте» [1].

О чем умолчал Вахушти?

Вначале он говорит, что в прежние времена монахи, спасая от иноземных захватчиков сокровища Мцхетского храма, скрывали их на Казбеке. Может быть, те, кто скрепил эту тайну клятвой, погибли, никому не сказав о ней, а потом эта тайна была потеряна, как потерян и путь к пещере Бетлеми? Но может быть, Вахушти подразумевает другое?

Потеряна тайна погребения царицы Тамар. О месте ее погребения и до сих пор существует много легенд, но где она погребена — в Гелатском ли монастыре, в Бетани или, может быть, в районе Бетлеми,— мы так и не знаем [2].

Одно из грузинских народных преданий объясняет происхождение этой тайны по-своему.

Среди своих приближенных царица Тамар отличала двух юношей, мужественных и благородных. Незадолго до смерти она призвала их к себе и сказала: «Когда я умру, похороните в разных местах Грузии девять гробов. Но никому не должно быть известно, в котором из них будет находиться мой прах. Не то его отыщут враги».

Она умерла. И юные витязи, выполняя ее последнюю волю, похоронили в разных местах девять гробов, в одном из которых вечным сном спала царица Тамар. Выполнив ее волю, юноши закололи друг друга, чтобы не осталось на земле ни одного человека, кто знал бы тайну ее погребения. Вот почему, поясняет предание, никто не знает, в каком месте покоится ее прах, и каждый уголок Грузии, стремясь разгадать эту тайну, ищет у себя могилу великой Тамар [3].

Сохранилась легенда, что «на одной из вершин Кавказского хребта» находится дворец царицы Тамар, до которого «многие пытались добраться, но никто не мог,

---

[1] Царевич Вахушти. География Грузии. Примеч. М. Г. Джанашвили. Тифлис, 1904, с. 76.

[2] Н. Тихонов. Тайна пещеры Бетлеми.— «Огонек», 1948, № 16, с. 21—22.

[3] Народное предание. Сообщила поэтесса Мариджан (М. М. Алексидзе).

потому что мешали нечистые духи», бросавшие камни в тех, кто пытался добраться туда.

Совершенно так же как в преданиях о заоблачном монастыре на Кавказе и о казбекском отшельнике, и здесь, в этой легенде, сумел достигнуть вершины только «один священник» — монах, который увидел дворец, а рядом с ним церковь.

Войдя в храм, чтобы принести «благодарственную молитву», священник этот слышит голос, исходящий из серебряного шарика, висящего у церковного входа.

Прислушался священник, и голос поведал ему о том, как царица Тамар захотела схоронить от всех утреннюю звезду. Она взяла девять ящиков и, закрывая их, ставила один в другой. В девятом, самом меньшем, была спрятана утренняя звезда. В отсутствие царицы кормилица ее решила поглядеть на звезду и сняла крышки со всех девяти ящиков. Звезда исчезла. А кормилицу Тамар заключила в серебряный шарик.

Легенда помещает этот таинственный дворец Тамар на Гуд-горе. Очевидно, скатывает вниз камни и мешает добраться до заоблачного дворца уже знакомый нам дух Гуда. Девять гробов Тамар превратились в этой легенде в девять ящиков, в одном из которых скрыта утренняя звезда, исчезнувшая так же, как и царица [1].

Очевидно, какие-то предания — о тайном ли погребении царицы Тамар, о ее неприступном дворце, о древнем монастыре на вершине Казбека, о заоблачной пещере Бетлеми или о могильных плитах на кладбище среди вечных снегов — стали известны Лермонтову и побудили его для новой редакции «Демона» избрать местом последнего успокоения своей Тамары «чудный храм» на Казбеке —

На вышине гранитных скал,
Где только вьюги слышно пенье,
Куда лишь коршун залетал.
. . . .
. . . .
И превратилася в кладбище
Скала, родная облакам,
Как будто ближе к небесам
Теплей последнее жилище...

---

[1] См.: Д. Хаханов (Хаханашвили). Предание о царице Тамаре.— «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. XIII. Тифлис, 1892, отд. II, с. 44—45.

Едва на жесткую постель
Тамару с пеньем опустили,
Как тучи гору обложили
И разыгралася метель;
И громче хищного шакала
Она завыла в небесах
И белым прахом заметала
Недавно вверенный ей прах.

Легендами о заоблачном монастыре вдохновлены и заключительные строфы «Демона», сообщающие всей поэме характер старинного предания:

Все дико; нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала,
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!

Но церковь на крутой вершине,
Где взяты кости их землей,
Хранима властию святой,
Видна меж туч еще поныне.
И у ворот ее стоят
На страже черные граниты,
Плащами снежными покрыты;
И на груди их вместо лат
Льды вековечные горят.
Обвалов сонные громады
С уступов, будто водопады,
Морозом схваченные вдруг,
Висят, нахмурившись, вокруг.
И там метель дозором ходит,
Сдувая пыль со стен седых,
То песню долгую заводит,
То окликает часовых;
Услыша вести в отдаленье
О чудном храме, в той стране,
С востока облака одне
Спешат толпой на поклоненье;
Но над семьей могильных плит
Давно никто уж не грустит.
Скала угрюмого Казбека
Добычу жадно сторожит,
И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит.

А разве казбекские легенды о Махкинан, о слезах ее, брызжущих в Терек, о бурях в Дарьяле, которые подымает она в дикой злобе, не вызывают в памяти описания Лермонтова:

Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят...

Нет сомнения: что-то из этих преданий отозвалось и в поэме и в стихах Лермонтова. И вот еще один отголосок этих народных легенд о Казбеке, осыпающем «белогривыми метелями» путников, дерзающих достигнуть неприступного храма,— мы встречаем его в заключительной строфе лермонтовского обращения к Казбеку:

О, если так! Своей метелью,
Казбек, засыпь меня скорей
И прах бездомный по ущелью
Без сожаления развей!

8

До сих пор все проезжающие по Военно-Грузинской дороге через Дарьяльское ущелье обращают внимание на развалины старинной башни, построенной на самой вершине неприступного утеса.

Внизу яростно клубится, кипит и хлещет свирепый Терек, содрогая перекинутый через него мост. И рев Терека, и холодный полумрак ущелья, откуда даже в летний день небо кажется голубой лентой, и причудливые повороты дороги, вьющейся по карнизу отвесных скал, и ниспадающие с них прозрачные нити водопадов, и этот разрушенный замок, в который, по преданию, можно проникнуть только потаенным ходом, прорытым в скале до самой реки,— все это в совокупности придает картине какой-то сугубо романтический вид.

Теперь каждому экскурсанту известно, что башня на вершине скалы — это «Замок Тамары», описанный Лермонтовым в его знаменитой балладе:

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.

В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла.

Однако до Лермонтова никто не называл обитавшую в старинной башне царицу Тамарой. Напротив, все путешественники по Военно-Грузинской дороге в 20—30-х годах упоминают при этом совершенно другое имя.

«По преданию,— пишет автор «Писем о Грузии» Платон Зубов,— в старину обитала тут женщина Дарья, атаман разбойников, наполнявших ужасом окрестные страны»,— и сообщает, что сохранившиеся на скале развалины называются «Дарьин дом» [1].

Другой путешественник точно так же утверждает, что замок принадлежал какой-то Дарье, но называет ее при этом «царицей». «Достойно удивления, каким образом можно было строиться на такой неприступной высоте,— пишет он и тут же добавляет: — Впрочем, туземцы решают это легко: царица была в связи с окаянным: а для последнего нет ничего невозможного» [2].

В книге французского путешественника Гамба говорится: «Если верить местному преданию, Дарьяльский замок принадлежал в средние века какой-то княжне Дарье, которая взимала со всех путников огромную мзду, а того, кто ей нравился, задерживала, чтобы разделить с ним ложе, и приказывала бросать в Терек любовников, которыми была недовольна» [3].

Четвертый путешественник сообщает, что «в замке сем жила молодая царевна» [4].

Пятый уверяет, что это было жилище «волшебницы Дарии» [5].

В действительности никакой княжны, царевны или царицы, а тем более волшебницы Дарьи не существовало. Имя это возникло от самого названия Дарьяла. «Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости,— писал Пушкин в «Путешествии в Арзрум».— Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария,

---

[1] «Шесть писем о Грузии и Кавказе, писанные в 1833 году Платоном Зубовым». М., 1834, с. 41.

[2] «Письма Х... Ш... к Ф. Булгарину, или Поездка на Кавказ».— «Северный архив», 1828, № 8, с. 231.

[3] G. F. Gamba. Voyage dans la Russie meridionale... Paris, 1826, II, p. 21—22.

[4] «Записки Н. Н. Муравьева. 1816 год».— «Русский архив», 1886, № 4, с. 461.

[5] Н... Н... Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году. М., 1829, с. 105.

давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота» [1].

Лермонтов знал легенду о Дарье хотя бы из книги Гамба, которую он упоминает в «Герое нашего времени»: «...переезд через Крестовую Гору (или, как называет ее ученый Гамба, «Le Mont St.-Christophe») достоин вашего любопытства».

Но до сих пор оставалось невыясненным, почему Лермонтов связал в своей балладе легенду о распутнице Дарье с именем исторической царицы Тамар. Летописи и народные легенды сохранили память о ней как о могущественной и справедливой царице, как о женщине чистой и целомудренной. С ее царствованием (XII век) связан расцвет грузинской культуры и государственности, русская устная традиция хранит похвалу Ивана Грозного «премудрой и мужеумной царице Иверской».

Выяснением этого вопроса занимался в свое время Александр Веселовский, который пришел к выводу, что Лермонтов знал легенду о Дарье, но совершенно произвольно заменил ее имя именем царицы Тамар. Но Веселовский не соотнес эти имена с грузинским фольклором. Между тем ответ на вопрос нужно искать в грузинских народных преданиях и легендах и в фактах грузинской истории.

На царицу из лермонтовской баллады похожа отнюдь не Тамар, а, скорее, дочь царицы Тамар — Русудан, «державшая иногда в крепкой башне, в неволе по два случайных любимца одновременно» [2], или царица Дареджан, жившая в XVII веке.

Но у Тамар были не только дочь Русудан и тетка Русудан, но и сестра Русудан [3]. В народной легенде распутной царице нетрудно было превратиться в сестру царицы Тамар. И действительно, в конце прошлого века в окрестностях Душета была записана легенда, в которой фигурирует «беспутная сестра» Тамары. «Когда еще царила в Грузии великая Тамара,— начинается эта легенда,— у нее была развратная, беспутная сестра. Много с ней

---

[1] «Путешествие в Арзрум», глава первая.

[2] Вл. Зубов. По поводу легенды о царице Тамаре.— «Исторический вестник», 1901, № 12, с. 1311.

[3] См.: В. Дондуа. Сестра царицы Тамар — Русудани.— «ЭНИМКИ' с моамбе», V—VI. Тбилиси, 1940, с. 321—328 (на грузинском яз.).

возилась царица, но наконец, боясь срама, заперла ее в Дарьяльскую башню. Кто бы ни проходил по ущелью, все и тут стали зазываться негодницей в крепость, а потом этих несчастных убивали, и поныне их души носятся вереницею по ущелью Дарьяла, а когда там воет ветер в Девдоракском ущелье, это стонут и плачут о своих грехах замученные бедняки Кавказа» [1].

Легенда о башне на Тереке связывалась и с царицей Дареджан. Один из вариантов легенды послужил сюжетом для повести неизвестного автора «Таинственная, или Кавказское мщение» (СПб., 1836), героиней которой является «разбойница Дареджана».

Однако, полная именем Тамар, народная поэзия имени других цариц во многих случаях не сохранила. И легенды о Русудан и Дареджан оказались связанными с именем Тамар — единственной памятной царицы. Если же при этом вспомнить, что народные предания приписывают царице Тамар сооружение почти всех старинных храмов и башен в Грузии, то станет ясным, что в каких-то легендах Дарья, или Дареджан, или «распутная сестра царицы Тамар», неизбежно должна была превратиться в коварную Тамару.

Так и случилось.

В одном из вариантов легенды о Дарьяльской башне историк грузинской литературы А. С. Хаханашвили обнаружил имя «беспутной сестры» Тамары. Ее звали... Тамарой. Предание это повествует о двух сестрах, носивших одно и то же имя. Благочестивая Тамара жила в башне близ Ананури, другая — волшебница Тамара — в замке на Тереке. Эта волшебница, зазывая к себе на ночь путников, утром обезглавливала их и трупы сбрасывала в Терек. Ее убил заговоренной пулей русский солдат. Труп ее был выброшен в Терек, замок развалился, имя чародейки Тамары проклято [2].

Отмечая раздвоение образа Тамары в этой легенде, профессор Хаханашвили первый обратил внимание на сходство ее с той легендой, которая послужила сюжетом лермонтовского стихотворения.

---

[1] А. Грен. В горах Душетского уезда.— «Россия и Азия», 1897, пробный номер от 7 октября, с. 6.

[2] См.: А. Хаханов. Из грузинских легенд. Новая версия сказания о царице Тамаре,— «Этнографическое обозрение», 1898, № 4, с. 140.

9

На создание центрального эпизода поэмы «Мцыри» — битвы с барсом — Лермонтова вдохновила распространенная в горной Грузии старинная песня о тигре и юноше, одно из самых любимых в Грузии произведений народной поэзии.

Молвил юноша удалый:
«Стадо туров я следил,
По тропам, обвившим скалы,
День и ночь с ружьем ходил.

. . . .

Тигр напал на раздорожье
Черной ночью на меня.
Взор, страшнее гнева божья,
Полон желтого огня...»
Тигр и юноша сцепились
Средь полночной темноты.
Камни в пропасть покатились,
Обломалися кусты.
Щит свой юноша отбросил.
Щит в бою не помогал.
Был стремителен и грозен
Тигр горячий — житель скал,
Он на юноше кольчугу
Разорвал до самых плеч.
Вспомнил юноша о друге,
В руки взял свой франкский меч.
Взял обеими руками,
Тигру челюсть разрубил.
Тигр, вцепясь в утес когтями,
Кровью крутизну облил [1].

Эта песня относится к грузинскому средневековью. Тему этой древней песни использовал Шота Руставели в том месте своей гениальной поэмы, где Тариэл рассказывает Автандилу, как он убил льва и тигрицу:

Меч отбросивши, тигрицу я в объятья заключил:
Целовать ее хотел я в честь светила из светил.
Лютый нрав острокогтистой эту нежность отвратил;
Я убил ее во гневе, что сдержать не стало сил.
Тщетно силясь успокоить отвечающую злом,
Я схватил ее и наземь бросил в бешенстве глухом [2].

---

[1] «Стих о тигре и юноше». Перевод с грузинского Вл. Державина.— «Поэзия Грузии». Под редакцией В. Гольцева и С. Чиковани. М.— Л., Гослитиздат, 1949, с. 18.

[2] Шота Руставели. Витязь в тигровой шкуре. Перевод П. Петренко. Под редакцией К. Чичинадзе. М., Гослитиздат, 1939, с. 149.

Единоборство храбрых, жаждущих подвига и победы, воплощенное в народной хевсурской песне, вдохновило Лермонтова на создание одного из лучших мест его поэмы:

Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек...
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!

Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружье... Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.

. . . .

Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз...
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно — и потом
Закрылись тихо вечным сном;
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!..

Не только битва с барсом — каждый день пребывания Мцыри на свободе невольно вызывает в памяти образы богатырей и великанов, воспетых грузинской народной поэзией.

Недалеко от тех мест, где заблудился Мцыри, возвышается отвесный утес Зеда-Зени — наслоение скалистых плит. Эти плиты напоминают ступени уходящей в небеса огромной лестницы. В народной песне говорится, что они «в Зеда-Зени лестницей к небесным вершинам стоят» [1].

По народному сказанию, на вершине этого утеса в давно минувшие времена обитал великан (дэви), сторожививший окрестности Мцхета. Перед заходом солнца он становился на колени и нагибался к берегу, чтобы напиться. И два углубления, видные на поверхности утеса Зеда-Зени, образовались будто бы от колен великана.

[1] С текстом этой песни меня познакомила Н. Г. Хомерики.

Томимый жаждою, Мцыри лежит на краю утеса:

Я поднял голову мою...
Я осмотрелся; не таю:
Мне стало страшно; на краю
Грозящей бездны я лежал,
Где выл, крутясь, сердитый вал;
Туда вели ступени скал;
Но лишь злой дух по ним шагал,
Когда, низверженный с небес,
В подземной пропасти исчез.
. . . .
Держась за гибкие кусты,
С плиты на плиту я, как мог,
Спускаться начал...

Так и кажется, что в этих строках слышны отголоски народных преданий: и предания о зеда-зенском великане, и другого — о богатыре Амирани, поверженном с небес и провалившемся в подземную бездну.

Круг тем и образов поэзии Лермонтова обогащался от соприкосновения с народной поэзией. Он не подражал народным песням, но, вдохновленный ими, создал такие замечательные произведения, как «Песня про царя Ивана Васильевича...», «Казачья колыбельная песня», горская легенда «Беглец», «Дары Терека», «Тамара», «Демон», «Мцыри», «Ашик-Кериб».

Проникновение в дух и характер русских народных песен помогло Лермонтову постигнуть красоту и грузинской народной поэзии.

10

Однако в основу «Мцыри» и кавказской редакции «Демона» легли не одни фольклорные источники. На создание этих поэм Лермонтова вдохновляли прежде всего непосредственные впечатления: и сумрачный Дарьял, и Казбек, увитый «белой чалмой», и Гуд-гора, и дымящиеся туманы в ущельях, и хрустальные водопады, и особенная тишина на перевалах, и увиденная сверху пересекаемая Белой Арагвой и другой, безыменной речкой Кайшаурская долина. «Голубоватый туман,— пишет Лермонтов в «Бэле»,— скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись,

покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую — и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить навеки...»

Восхитили Лермонтова долина Арагвы, с селениями, прилепившимися к скалам, как ласточкины гнезда, и попадавшиеся навстречу караваны верблюдов, и скрипящие арбы, запряженные мохнатыми черными буйволами, и пастухи в черных мохнатых бурках, с длинными посохами, и всадники в темных черкесках, закутанные в белые башлыки, и женщины в национальных головных уборах: лоб облегает бархатный венчик «тавсакрави», нежный овал обрамляют локоны, а на плечи и длинные косы ниспадает «лечаки» — вышитая белым шелком белая вуаль,— словом, Лермонтова восхитило все то, что изображено на его рисунках и картинах, что описано в прозе «Героя нашего времени», в стихотворных строфах «Мцыри» и «Демона».

Не доезжая до Тифлиса, он остановился во Мцхете — древней столице Грузии, основанной за тысячелетие до нашей эры и раскинувшейся у самого слияния Куры и Арагвы. Все помнят начало «Мцыри»:

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.

Над маленькими домиками, крытыми рыжей черепицей, над зелеными виноградниками господствовал, как и сейчас, воздвигнутый в XI веке собор Свэтицховели, что означает: «Животворящий столп».

Лермонтов осмотрел храм. Возле ступеней алтаря возвышались гробницы последних грузинских царей; на медных надгробиях были начертаны русские надписи:

«Здесь покоится царь Ираклий,— читал Лермонтов,— который родился в 1716 году, вступил на престол кахетинский в 1744 г., карталинский в 1762 г. и скончался

Автограф поэмы «Мцыри», л. 2. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

в 1798 году. Дабы оставить в памяти потомства славное 54-летнее царствование сего царя, от имени государя императора Александра 1-го воздвигнут сей памятник в 1812 году главноначальствующим в Грузии Маркизом Паулуччи».

«Здесь покоится царь Георгий,— начертано было на другой могильной плите,— который родился в 1750 г., вступил на престол грузинский в 1798 г. Для благоденствия своих подданных, в 1799 г. уступил Грузию Русской империи и скончался в 1800 г.». И снова: «дабы оставить в памяти... от имени... воздвигнут...» и т. д. [1].

Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.

Из этих строк становится совершенно ясным: в первой строфе своей поэмы Лермонтов описал большой мцхетский собор Свэтицховели и могилы — Ираклия II и «удрученного своим венцом» Георгия XII.

Между тем народная молва давно уже назвала обителью Мцыри другой мцхетский храм — Джварис-сакдари, воздвигнутый в VII веке. Видный отовсюду с далекого расстояния, он высится на скалистой вершине над тем самым местом, где Арагва сливается с Курой. Никаких документальных данных о том, что Лермонтов побывал в этом храме, у нас не имеется. Но стоит только подняться туда — и вы поймете, что поэт побывал, не мог не побывать здесь, что, создавая свою поэму о Мцыри, он вспоминал этот великолепный памятник древнего зодчества, давно уже опустелый, остатки окружавших его когда-то стен и башен, обрушенные столбы ворот, открывающуюся сверху величественную панораму:

Оттуда виден и Кавказ.

Становится понятным, что гробницы грузинских царей привлекли внимание Лермонтова в одном храме, а в другом поразило удивительное местоположение и подлинно

---

[1] А. Натроев (Натрошвили). Мцхет и его собор Свэти Цховели, Тифлис, 1900, с. 322.

романтическая обстановка. В своем описании поэт слил два мцхетских храма.

В пропасти, над которой висит церковь, сверкая, как чешуя, бурно стекались Кура и Арагва. Внизу, у самого их слияния, как и сейчас, высился огромный Мцхетский собор, к которому прилепился маленький городок; на противоположной горе видны были развалины старинной крепости, впереди открывалось узкое ущелье Куры, справа — ущелье Арагвы, поросшее синим лесом, осененное зелеными обрывистыми горами. А там, за голубой мглой арагвинского ущелья:

Вершины цепи снеговой
Светло-лиловою стеной
На чистом небе рисовались,
И в час заката одевались
Они румяной пеленой;
И между них, прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой [1].

На одной из своих картин Лермонтов написал маслом с натуры и Военно-Грузинскую дорогу, и храм Джвари на вершине горы, и слияние Куры и Арагвы, и дальние очертания большого Мцхетского собора, то есть те самые места, которые воспел в своей поэме.

11

С давних пор считается, что в основу «Мцыри» Лермонтов положил рассказ старого монаха, которого встретил во Мцхете. П. А. Висковатов еще в 1887 году, ссылаясь на сведения, полученные от родственников поэта А. П. Шан-Гирея и А. А. Хастатова, писал, что Лермонтов «наткнулся во Мцхете... на одинокого монаха, или, вернее, старого монастырского служку — «бэри» по-грузински. Сторож был последний из братии упраздненного близлежащего монастыря. Лермонтов с ним разговорился и узнал от него, что родом он горец, плененный ребенком генералом Ермоловым (так у Висковатова.— *И. А.*) во время экспедиции. Генерал его вез с собой и оставил заболевшего мальчика монастырской братии. Тут он и вырос;

[1] «Демон», ч. II, строфа IV.

долго не мог свыкнуться с монастырем, тосковал и делал попытку к бегству в горы. Последствием одной такой попытки была долгая болезнь, приведшая его на край могилы. Излечившись, он угомонился и остался в монастыре, где особенно привязался к старику монаху».

«Любопытный и живой рассказ «бэри»,— продолжает Висковатов,— произвел на Лермонтова впечатление. К тому же он затрагивал уже знакомый поэту мотив, и вот он решился воспользоваться тем, что было подходящего в «Исповеди» и в «Боярине Орше», и перенес все действие из Испании и потом Литовской границы — в Грузию» [1].

Достоверность этого рассказа, основанного на воспоминаниях родственников Лермонтова, еще не вызывала сомнений. А между тем в этом рассказе неверно все — от начала и до конца.

Прежде всего, Висковатов упустил из виду, что Ермолов был назначен на Кавказ только в 1816 году. Первые его экспедиции в горы Центрального Кавказа относятся к 1818—1820 годам. Таким образом, взятый им в плен шестилетний мальчик не мог успеть состариться к приезду Лермонтова в 1837 году. Если же монах, которого Лермонтов встретил во Мцхете, был действительно стар, следовательно, он родился в XVIII веке, когда еще не было ни кавказской войны, ни генерала Ермолова.

Если Шан-Гирей и Хастатов даже и слышали что-нибудь подобное про монаха, то потом они читали «Мцыри» и, очевидно, передали этот эпизод Висковатову уже «с поправкой» на лермонтовскую поэму.

Впрочем, вернее всего, что Висковатов сам составил эту неубедительную историю, соединив два их рассказа в один, а может быть, добавив к их воспоминаниям свои собственные домыслы, что, к слову сказать, случалось с ним довольно часто.

Но допустим, что Лермонтов действительно встретил во Мцхете старого монаха. Допустим, что Висковатов прав и в основу сюжета поэмы положен рассказ этого монаха о том, как он в юности бежал из монастыря. И все же творческая история поэмы, даже и в этом случае, оказалась бы сложнее, чем ее изобразил Висковатов. Потому что если бы у Лермонтова стал рассказывать историю

---

[1] П. А. Висковатов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Неизданное юношеское его стихотворение «Исповедь», 1829—1830 гг.— «Русская старина», 1887, № 10, с. 124—125.

своей жизни старик, то тогда нельзя было бы сделать Мцыри пленником генерала Ермолова и в конце поэмы Мцыри не мог бы умереть молодым. И тогда не получила бы развития основная мысль лермонтовской поэмы.

Пленный Мцыри знает только одну страсть: страсть к свободе. Он стремится в родные горы, где сражаются его соотечественники. Он решил узнать, «для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы». И тюрьма, по мысли Лермонтова, не только монастырь, в котором томится Мцыри, тюрьма олицетворяет собой весь окружающий общественный порядок, невыносимый уклад жизни в империи Николая I.

И это уже не «Исповедь», уже не просто поэма о заточенном в монастырь юноше. И не возникший заново в других декорациях «Боярин Орша», основной пафос которого составляет протест против церковных законов, оправдывающих социальное неравенство, карающих за проявление самых чистых человеческих чувств. «Мцыри» — поэма о пленнике российского самодержца, о юноше, лишенном свободы и погибающем вдали от родины. Это поэма о современнике Лермонтова, о его сверстнике.

Допустим, что Лермонтов даже и встретил в действительности старого монаха. И все-таки хронологию событий, замысел поэмы определила не эта встреча, а прежде всего отношение поэта к современности, к кавказской войне, к судьбе своего поколения. А «развалин страж полуживой» — старый церковный сторож — сохранился в первой строфе поэмы лишь для того, чтобы связать судьбу Мцыри с Мцхетом.

Таким образом, творческая история «Мцыри» оказывается несколько сложнее, чем ее изобразил Висковатов, а его мнение, что в «Исповеди», в «Боярине Орше» и в «Мцыри» Лермонтов разрабатывал один и тот же абстрактный сюжет, последовательно перенося действие из Испании, а потом с литовской границы в Грузию, представляет собой, как видим, взгляд совершенно необоснованный, но тем не менее широко распространенный до сих пор.

Сначала Лермонтов предполагал назвать свою поэму «Бэри». Написав это слово на обложке рукописи, он сделал внизу примечание: «Бэри: по-грузински монах» [1].

[1] ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 524, оп. 1, № 13, XIII лермонтовская тетрадь.

Но слово «бэри» не подходит к юноше, еще не давшему монашеского обета. Поэтому в 1840 году, включая поэму в сборник стихов, Лермонтов озаглавил ее «Мцыри». Но и это слово снабдил примечанием: «Мцыри» на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «послушника». Очевидно, оба слова он записал еще в Грузии. Или же должен был в пору, когда писалась поэма, в 1839 году, встречаться в Петербурге с грузинами, факт для нас неизвестный.

Итак, старика, еще в детстве взятого в плен Ермоловым, быть не могло. Но интересно, что в первой половине XIX века не было во Мцхете и действующего мужского монастыря, куда бы Ермолов мог отдать пленного горца. Свэтицховели, о нем уже сказано,— это был кафедральный собор. В Джварис-сакдари монастырь находился с VII века, но уже в X веке он был упразднен. Самтавро — монастырь женский. Антиохийская церковь пустовала. Саркинети — развалины. Был когда-то мужской монастырь в одиннадцати верстах от Мцхета, на горе Зеда-Зени. Но он еще в 1705 году был разорен и в 30-х годах по-прежнему лежал в развалинах. «В развалинах Зеда-Зенского монастыря» — так называется большая статья, напечатанная в газете «Закавказский вестник» в 1849 году, ставившая вопрос о реставрации этих руин [1].

Следовательно, Лермонтов избрал Мцхет местом действия для своей поэмы не оттого, что встретил там старого монаха, и не оттого, что там находился какой-то реальный монастырь, в который Ермолов отдал пленного ребенка. Лермонтов избрал Мцхет потому, что городок у слияния Куры и Арагвы давал ему возможность связать свой замысел не только с природой Грузии, но и с ее историей — с памятниками ее старины, с размышлениями о судьбе ее народа. Недаром в том месте рукописи, где речь идет о могильных плитах,

Которых надпись говорит
О славных би<твах>,—

Лермонтов тут же переправил и написал:

Которых надпись говорит
О славе прошлой... [2]

[1] См.: А. Натроев (Натрошвили). Мцхет и его собор Свэти Цховели. Тифлис, 1900, с. 21; «В развалинах Зеда-Зенского монастыря».— «Закавказский вестник», 1849, №№ 20 и 21.

[2] Лермонтов, т. III, «Academia», с. 620 и 431—432.

Переправил, ибо прошлая слава Грузии — страны с древнейшей культурой, страны Руставели,— была, в его глазах, несравненно больше, чем одни славные битвы, в которых побеждал своих врагов грузинский народ.

12

Судя по тексту «Мцыри», Лермонтов размышлял и об исторической неизбежности присоединения Грузии к России.

Сперва после слов «Молящих иноков за нас» Лермонтов поставил цифру «2» и продолжал:

Тогда уж Грузия была
Под властью Русских, *но* цвела,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков [1].

Так читал первоначальный текст этих строк Б. М. Эйхенбаум. Впоследствии слово «но» во второй строке Лермонтов переправил в «она» («она цвела»).

Редакция последнего — академического — издания Лермонтова считает, что вначале было «и», а не «но» и приводит варианты этой строки:

Под властью Русских, и цвела
Под властью Русских, она цвела [2].

В окончательный текст эта строка вошла в другом виде:

И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков [3].

Как возникли в поэме эти строки, в которых утверждаются выгоды присоединения Грузии к России? Ведь о сочувственном отношении Лермонтова к борьбе народов Кавказа против власти российского самодержавия мы зна-

---

[1] Лермонтов, т. III, «Academia», с. 620.
[2] Там же, т. IV, с. 355.
[3] «Мцыри», строфа I.

ем не только из юношеских стихотворений и юношеской поэмы «Измаил-бей»; лучшее тому доказательство именно «Мцыри». Об этом ребенке, взятом в горах и обретшем в грузинском монастыре тюрьму вместо родины, Лермонтов говорит с любовью и состраданием: поэма исполнена пафоса свободы. Так почему же, сочувствуя пленному горцу, он полагает, что на Грузию после ее присоединения к России должна была снизойти «божья благодать»? Нет ли противоречия между этими строчками о Грузии и остальным текстом поэмы? Как ни читай черновой вариант, по Эйхенбауму или по новому академическому изданию: «Под властью Русских, *но* цвела» или «Под властью Русских, *и* цвела»,— основная мысль, заключенная в этих строках, мысль о том, что присоединение к России содействовало расцвету Грузии, остается все равно неизменной!

Противоречия нет. Здесь сказалось понимание исторической судьбы Грузии и умение Лермонтова отличать Россию — великую страну от Российской империи, славу царских колонизаторов от той роли, которую Россия была призвана сыграть в судьбе кавказских народов.

Строки о Грузии свидетельствуют, что сочувствие кавказским народам не мешало Лермонтову воспринимать продвижение России на Кавказ как явление неизбежное и исторически прогрессивное.

Мы знаем, что перед Грузией стоял тогда вопрос: быть поглощенной отсталыми, феодальными странами — шахской Персией и султанской Турцией — или присоединиться к России. Присоединение к России обеспечивало Грузии безопасность от внешних врагов и представляло собой единственно возможный путь для развития ее экономики и культуры.

Царь Ираклий II, выдающийся государственный деятель Грузии, хорошо понимал, что спасти грузинский народ от полного истребления может только защита России. В 1783 году его представители Иоанн Мухран-Батони и Гарсеван Чавчавадзе, а от имени Екатерины II генерал Павел Потемкин подписали в Георгиевске «трактат», по которому грузинский царь признавал верховную власть и покровительство российской императрицы, российская же императрица, в свою очередь, принимала на себя защиту Грузии от внешних врагов.

В 1798 году Ираклий II умер. Внутреннее и внешнеполитическое положение Грузии все более осложнялось,

но русское правительство не торопилось выполнять свои обязательства. Тогда последний царь Грузии Георгий XII, «предвидя неминуемую гибель Отечества, растерзанного внутренними междуусобиями и угрожаемого алчными соседями, ожидавшими только удобного времени к совершенному истреблению сего обессиленного царства, вручил судьбу Грузии могущественной деснице России» [1].

В 1801 году Восточногрузинское царство было присоединено к Российской империи.

В продолжение следующих десяти лет произошло воссоединение с Восточной Грузией Мегрелии, Имеретинского царства, Абхазии и Гурии. А в результате войн, которые Россия вела в Закавказье с Персией и Турцией в первой трети XIX столетия, была обеспечена безопасность Грузии и возвращена часть отторгнутых от нее территорий. Поэтому, написав, что Грузия

...цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков...—

Лермонтов очень верно передал, в чем именно заключалось положительное значение ее союза с царской Россией, несмотря на утрату государственной самостоятельности.

Нет сомнения, что Лермонтов коснулся в своей поэме взаимоотношений Грузии и России в связи с теми беседами, которые он вел с кем-то во время своего пребывания в Грузии. Висковатов не понял, что на замысел «Мцыри» повлияли и политическая история Грузии конца XVIII — начала XIX века, и ход кавказской войны, и грузинский героический эпос, и впечатления от грузинской природы, что Грузия стала в поэме исходным, органическим ее элементом. В отличие от абстрактной Испании в «Исповеди» и условной литовской границы в «Боярине Орше», Грузия в поэме о Мцыри, совершенно так же как и в последних редакциях «Демона», не условно-романтическая декорация, а реальная страна, необычайно конкретно воспринятая и воплощенная одним из самых передовых людей своего времени.

---

[1] «История Тифлиса».— «Тифлисские ведомости», 1831, №№ 24, 25 и 26.

13

Предположение П. Висковатова, что Лермонтов изучал в Грузии местные легенды, как видим, совершенно правильно. Но вполне согласиться с ним трудно, ибо он утверждает, что поэт изучал их, путешествуя «по ущельям Дарьяла и долине Арагвы... с проводником, а иногда один» [1].

Лермонтов не знал грузинского языка, а из местных жителей в то время еще мало кто говорил по-русски. Если от проводника, а вернее — от какого-нибудь Максима Максимыча, случайного спутника, Лермонтов и слышал несколько легенд, то уже никак не мог через них разносторонне познакомиться с грузинской народной поэзией и феодальным княжеским бытом, так точно воспроизведенным в «Демоне». И тем более не мог он, не зная грузинского языка, вести с проводниками беседы об исторических судьбах Грузии.

Следовательно, вокруг Лермонтова были в Грузии какие-то люди, знавшие русский язык, среди которых он наблюдал быт и нравы страны и знакомился с грузинской историей и грузинской народной поэзией.

Так как в письме к Святославу Раевскому сведений об этом нет никаких, то, следовательно, вопрос, с кем встречался Лермонтов в период службы в Нижегородском полку, придется выяснять на основании косвенных данных.

Нижегородский драгунский полк квартировал в Кахетии, в урочище Караагач, неподалеку от Цинандали — родового имения князей Чавчавадзе. Старшим штаб-офицером полка, а короткое время даже и командиром его, был замечательный грузинский поэт Александр Гарсеванович Чавчавадзе.

«Среди нижегородцев... появился князь Александр Гарсеванович Чавчавадзе, а с ним и возможность сближения с грузинским обществом,— пишет историк нижегородских драгун В. Потто.— С прибытием в полк Чавчавадзе, среди этого дружелюбного грузинского общества, на незатейливых, но радушных пирах его начали появляться и наши нижегородцы... Связующим звеном между

---

[1] П. А. Висковатов. Михаил Юрьевич Лермонтов.— «Русская старина», 1887, № 10, с. 124.

ними становился грузин, и в то же время нижегородец, тот самый князь Чавчавадзе, которого почитала вся Грузия как представителя знатного рода, как одного из своих доблестнейших воинов и, самое главное, как своего великого поэта, не имеющего поныне соперников в родной литературе... Естественно, что первые шаги сближения нижегородцев с грузинами и сделаны были в доме того же Чавчавадзе, в знаменитом имении его Цинондалах...» [1]

После выхода Чавчавадзе в отставку эти связи на некоторое время ослабли, но с 1836 года, с назначением командиром полка С. Д. Безобразова, поездки в Цинандали возобновились [2], и нижегородцы по-прежнему встречали там радушный прием в семье выдающегося поэта, одна из дочерей которого — Нина Александровна — была вдовою Александра Сергеевича Грибоедова.

Все, кому приходилось встречать Чавчавадзе, неизменно отмечают его громадную заслугу в создании прочной связи между русскими, ехавшими служить на Кавказ, и грузинским обществом.

«Прелестное его семейство... было в Тифлисе единственным, в котором заезжие гости с севера и с запада находили начала святого грузинского гостеприимства в полном согласии с условиями образованного европейского общества» [3].

«Все, что приезжало из Петербурга... молодого и старого, составляло, принадлежность гостиной князя». Он «жил... открыто и весело, широкою, беззаботною жизнию достаточного местного помещика и русского генерала» [4].

«Каждый день у него бывало много гостей: кто бы ни приехал из Петербурга в экспедицию — гвардейцы и другие аристократы — все приходили сюда... Флигель-адъютанты, лейб-гусары, преображенцы...» [5].

---

[1] В. Потто. История 44-го драгунского Нижегородского полка, т. II. СПб., 1893, с. 152—154.

[2] См. там же, т. IV. СПб., 1894, с. 50.

[3] Д. Кипиани. Некролог А. Г. Чавчавадзе.— «Кавказ», 1846, № 5, с. 178.

[4] «Воспоминания Андрея Михайловича Фадеева». Одесса, 1897, ч. II, с. 116.

[5] «Воспоминания Григория Дадиани». В статье С. Цаишвили «Материалы для биографии Александра Чавчавадзе».— «Литературис матиане», кн. 1-2, изд. Государственного Литературного музея Грузии. Тбилиси, 1940, с. 395 (на грузинском яз.).

«Это был открытый обрусевший дом: в нем бывал каждый, кто приезжал из России» [1].

Это только четыре из многочисленных отзывов современников о Чавчавадзе.

Называя его «живым проводником полного слияния» грузин с представителями русской культуры, современники отмечали при этом, что Александр Чавчавадзе продолжал тем самым дело своего отца — Гарсевана — полномочного министра царя Ираклия при дворе Екатерины II, подготовившего заключение «трактата» о протекторате России над Грузией.

Александр Гарсеванович Чавчавадзе родился в 1786 году в Петербурге и получил образование в одном из частных пансионов и в Пажеском корпусе. В России он провел многие годы; затем участвовал в заграничном походе 1813—1814 годов, причем к моменту занятия Парижа состоял адъютантом при главнокомандующем Барклае де Толли, был ранен под Лейпцигом и под Парижем. Начиная с 1809 года, в продолжение семи лет, Чавчавадзе служил в лейб-гусарском полку, квартировавшем в Царском Селе.

В 1818 году Чавчавадзе перешел полковником в Нижегородский драгунский полк, стоявший в его родной Кахетии. Таким образом, он был офицером тех самых полков, в которых потом служил Лермонтов.

Покинув полк, Чавчавадзе получил назначение «состоять при Ермолове», а затем, уже в звании генерал-майора, участвовал в персидской и турецкой войнах и был назначен начальником Армянской области.

Не только выдающийся поэт, но и переводчик Вольтера, Расина, Корнеля, Лафонтена, Гюго, Эзопа, персидских лириков, он знакомил грузин и с русской литературой и одним из первых начал переводить на грузинский язык стихотворения Пушкина [2]. «До сих пор поются грузинскими девушками романсы и стансы Пуш-

---

[1] «Воспоминания Кетеван Орбелиани». В статье С. Цаишвили «Материалы для биографии Александра Чавчавадзе».— «Литературис матиане», кн. 1-2, изд. Государственного Литературного музея Грузии. Тбилиси, 1940, с. 390 (на грузинском яз.).

[2] См.: К. Дондуа. Пушкин в грузинской литературе.— «Пушкин в мировой литературе». Сборник статей. Л., 1926, с. 207—208.

кина, переложенные Александром Чавчавадзе на грузинский язык»,— писал в 70-х годах русский чиновник К. Бороздин [1].

В 20—40-х годах гостиная Чавчавадзе являлась, как мы видим, центром культурного и политического объединения грузинского и русского общества, и не удивительно, что в этом доме бывали в разное время и Грибоедов, и Кюхельбекер, и Полонский, и Владимир Соллогуб, и художник Григорий Гагарин.

Желая дать старшей дочери Нине столичное воспитание, Чавчавадзе всецело поручил ее заботам прибывшей из Петербурга Прасковьи Николаевны Ахвердовой, женщине «достойной, замечательно умной и высокообразованной», в доме которой «любовь к знаниям и искусствам соединялась с радушным гостеприимством» [2].

Но об этой женщине надо рассказать подробнее, иначе не будут понятны факты, касающиеся пребывания в Тифлисе Лермонтова.

14

Прасковья Николаевна Арсеньева была тремя годами старше А. Г. Чавчавадзе. Она родилась около 1783 года, провела молодость в Петербурге и получила там отличное образование; успешно занималась живописью и музыкой, была широко начитанна.

В 1815 году она вышла замуж за боевого кавказского генерала Федора Исаевича Ахвердова: одно время он был губернатором Грузии.

В следующем, 1816 году, с назначением в Грузию А. П. Ермолова, генерал Ахвердов вступил в должность командира артиллерии Отдельного Грузинского корпуса. Прасковья Николаевна переселилась с ним в Тифлис и подружилась с семьей Чавчавадзе. Но теперь выясняется, что, кроме дружбы, с домом Чавчавадзе их связывало близкое родство [3].

---

[1] К. Бороздин. Закавказские воспоминания. Мингрелия и Сванетия с 1854 по 1861 год. СПб., 1885, с. 7.

[2] П. Б[артенев]. К биографии Грибоедова.— «Русский архив», 1881, кн. II, с. 177—178.

[3] См. подробнее в моей кн.: «Лермонтов», М., «Советский писатель», 1951, с. 162—164.

Федор Исаевич Ахвердов принадлежал к грузинскому дворянскому роду, который вел свое начало от цхинвальского армянина Папулашвили. В 1739 году отец Ф. И. Ахвердова, Исай Васильевич, выехал из Грузии на Северный Кавказ и вступил в русскую службу — прапорщиком в Грузинский гренадерский полк. В царствование Екатерины II он был вызван в Петербург ко двору и награжден поместьем в Кизлярском уезде [1]. Теперь становятся понятными упоминания о том, что «Ахвердов был кизлярский», и данные формулярного списка, из которого видно, что Федор Исаевич Ахвердов читал и писал по-русски и по-грузински [2].

Овдовев в 1820 году, Ахвердова осталась в Тифлисе, где пользовалась всеобщим уважением. Живя в Тифлисе, Грибоедов был «ежедневным гостем» Ахвердовой. Когда в 1828 году Нина Чавчавадзе стала его женой, говорили, что «к сему способствовала Прасковья Николаевна». Грибоедов питал к Ахвердовой чувства самой искренней дружбы и называл ее второй матерью Нины. «Мы оба любим вас, как нежную мать,— писал он ей из Персии,— ваши приемыши, ваши дети — это она и я» [3].

В начале 20-х годов в доме Ахвердовой часто бывал служивший в ту пору в Тифлисе Вильгельм Карлович Кюхельбекер. Пылкие, дружеские чувства к ней он сохранил на всю жизнь. Отбывая заключение в Свеаборгской крепости, на седьмом году своего пребывания в тюрьме Кюхельбекер с радостью отметил в своем дневнике: «Получил письмо от матушки... Бесценно для меня то, что она тотчас посетила друга моего — Прасковью Николаевну Ахвердову, как только узнала, что Ахвердова в Петербурге» [4].

---

[1] См.: «Список о дворянском роде господина генерал-лейтенанта и кавалера (Николая Исаевича) Ахвердова, жительствующего в городе Кизляре». ЦГИА СССР в Ленинграде, ф. 1343, оп. 16, ед. хр. 3222, л. 90. См. также: картотеку Е. Г. Вейденбаума «Ахвердовы» и кн.: Давид Батонишвили. Новая история, изд. Т. Ломоури. Тбилиси, 1941, с. 44 (на грузинском яз.).

[2] См.: «Воспоминания Кетеван Орбелиани». В статье С. Цаишвили «Материалы для биографии Александра Чавчавадзе».— «Литературис матиане», кн. 1-2, изд. Государственного Литературного музея Грузии. Тбилиси, 1940, с. 390 (на грузинском яз.).

[3] Письмо к П. Н. Ахвердовой от 29 июня 1828 г.— «Русский архив», 1881, кн. II, с. 188.

[4] «Дневник В. К. Кюхельбекера», Л., «Прибой», 1929, с. 38. Запись от 30 января 1832 г.

Убiйцы Петра III. Орловъ, Тепловъ,
Барятинский. У Романа Воронцова
3 дочери: 1) Екатерина любовница Петра
III. 2) Дашкова, 3) Бутурлина. —
На 2м заседанiи коммиссiи (наказъ)
гр. Шереметевъ предложилъ свободу кре-
стьянъ. — Любовница Павла I Софья
Осиповна Чарторыжская у ней сынъ
Симеонъ — 1796. — Убiйцы Ивана
Антоновича Власьевъ и Чекинъ, за-
говорщикъ Мировичъ.

1. Пояснения неизвестного современника
к тексту «Смерти Поэта»



2. Штабс-капитан Афанасий Алексеевич Столыпин



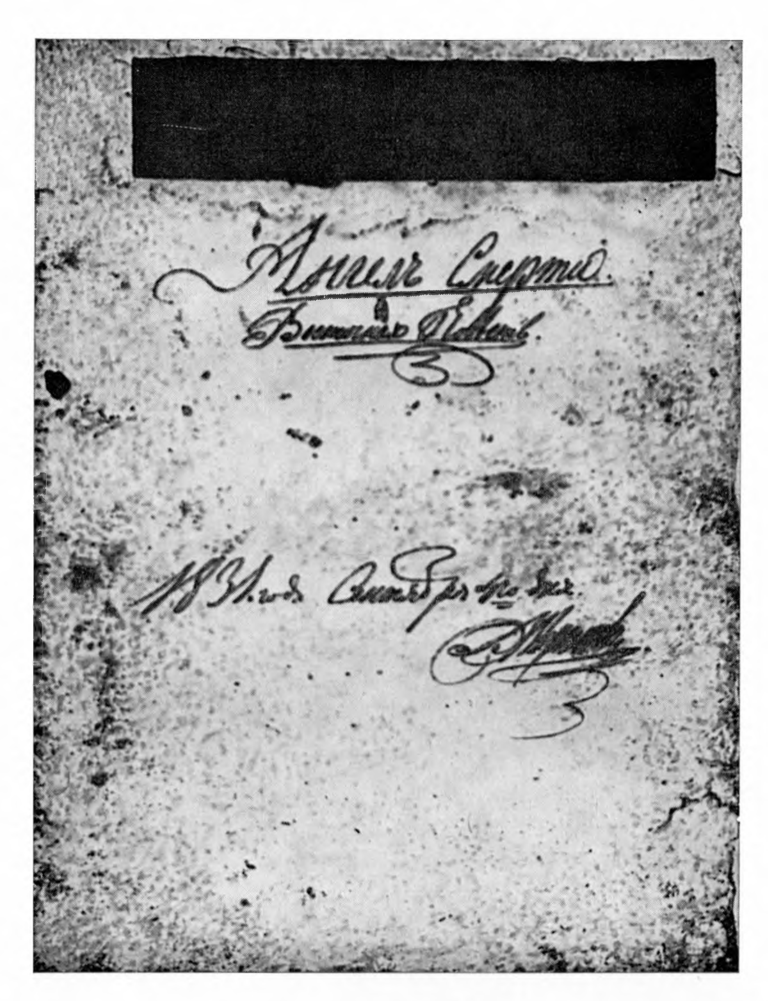
3. Полковник Дмитрий Алексеевич Столыпин



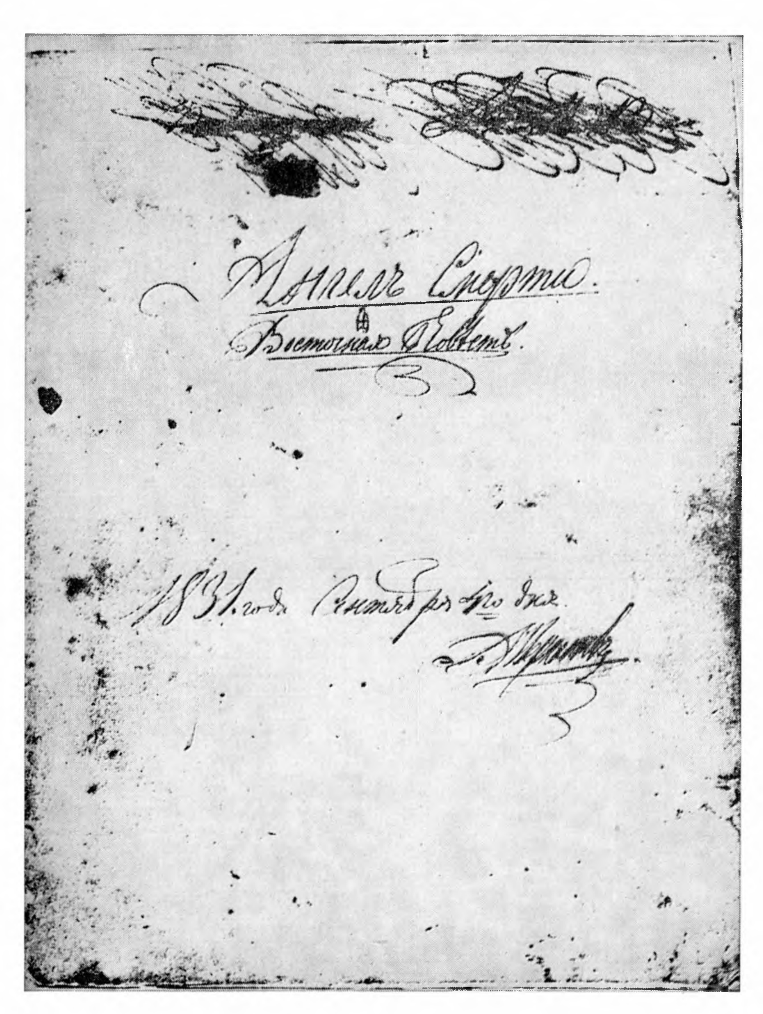
4. Лермонтов — юнкер лейб-гвардии Гусарского полка.
С портрета работы А. Челышева



5. Варвара Александровна Лопухина
в образе испанской монахини. Акварель Лермонтова



6. «Ангел Смерти». Обложка.
Автограф Лермонтова до реставрации



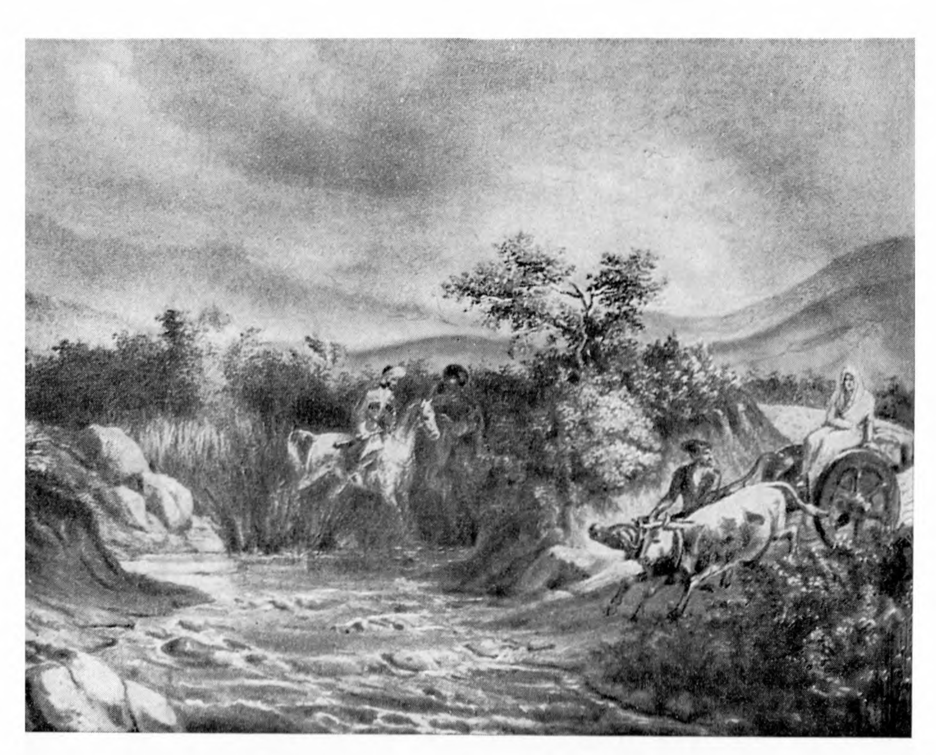
7. Обложка поэмы «Ангел Смерти»
после реставрации



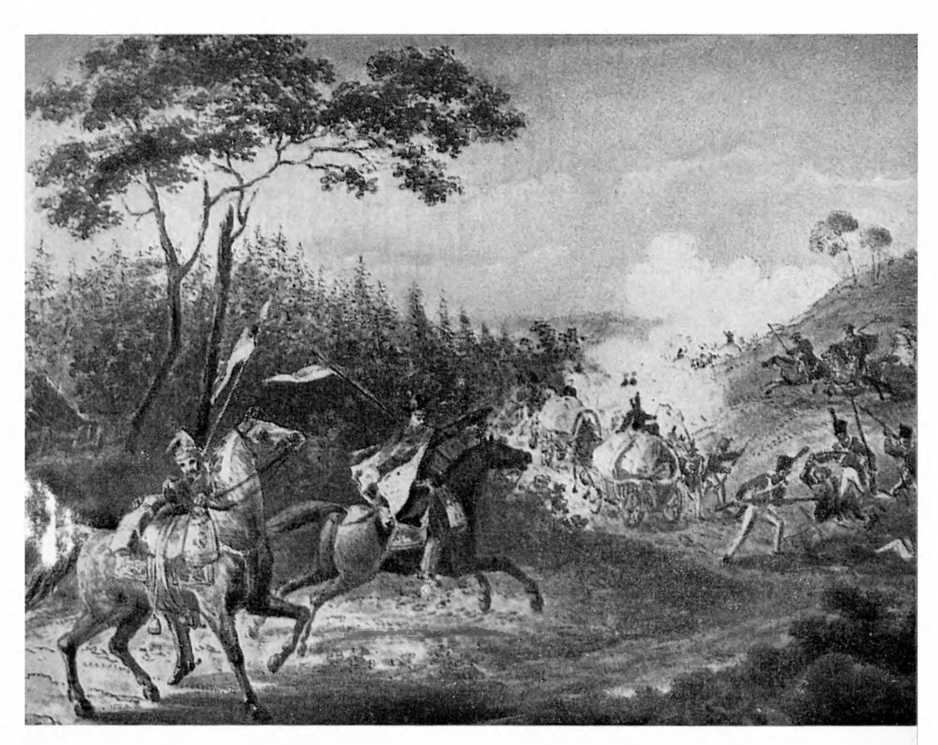
8. Александра Михайловна Верещагина-Хюгель.
С литографии Л. Ноэля. 1838



9. Лермонтов. Автопортрет. Акварель. 1837—1838



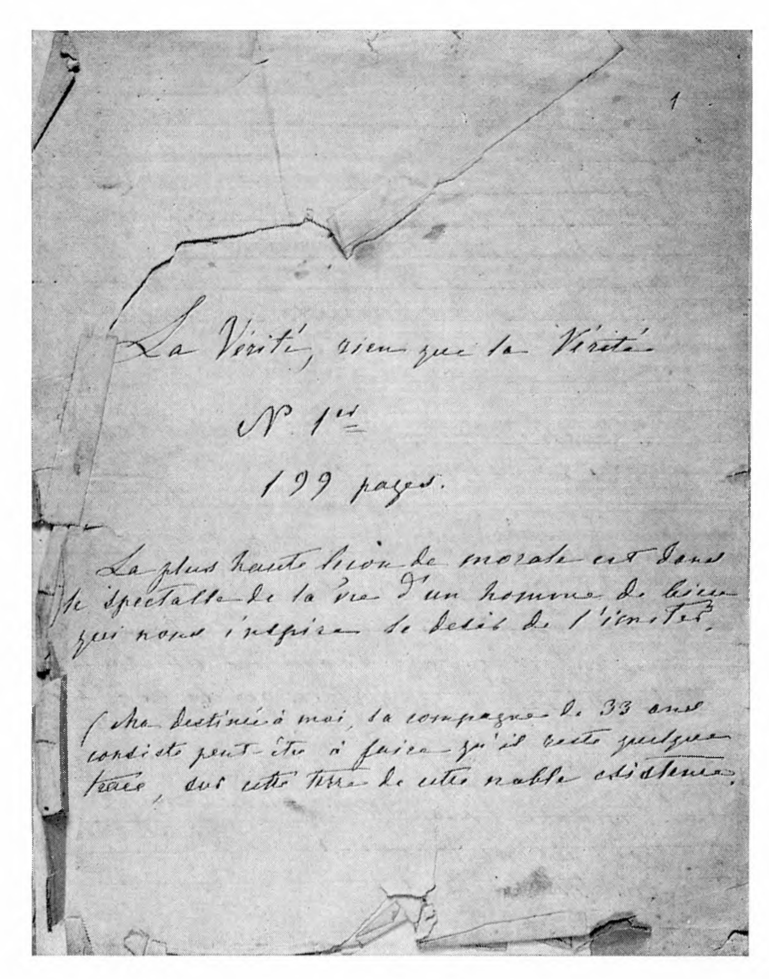
10. Кавказский вид. С картины Лермонтова. Масло



11. Сражение русских крестьян с французами.
Акварель Лермонтова



12. Рисунок Лермонтова. Карандаш. 1838.
Из альбома, принадлежавшего семье Солнцевых


1

La Vérité, rien que la Vérité

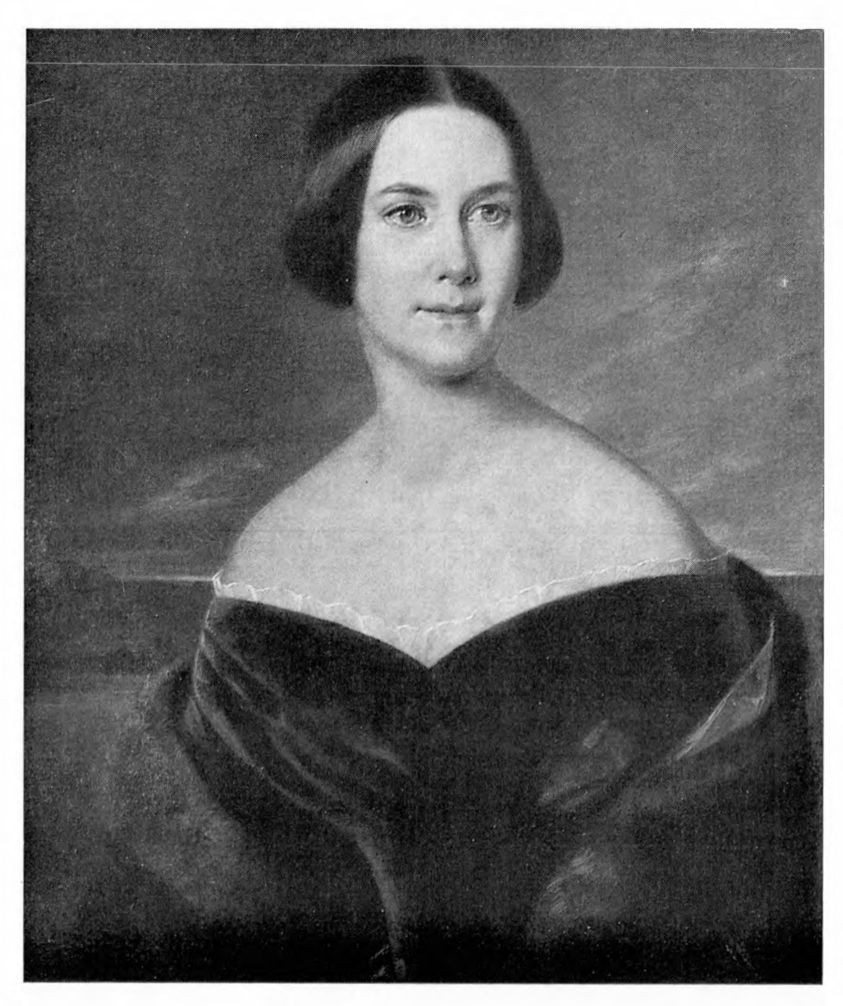
N° 1er

199 pages.

La plus haute leçon de morale est dans le spectacle de la vie d'un homme de bien qui nous inspire le désir de l'imiter.

(Ma destinée à moi, la compagne de 33 ans consiste peut-être à faire qu'il reste quelque trace, sur cette terre de cette noble existence.

13. Обложка рукописи В. И. Анненковой



14. Вера Ивановна Анненкова

22

de sa grand mère qui l'adorait
et le gâtait, il s'obstina à
être militaire et entra à l'
école des porte-enseignes.
VV Un jour nous vîmes entrer
chez nous la vieille dame
Arsenieff toute en larmes
«Батюшка мой Николай
Николаевичъ!» Dit elle à
mon mari. «Мишеньку [illegible]
[illegible] и [illegible] въ
[illegible] Школу Гвардей-
скихъ подпрапорщиковъ!»
Ce Misha si gâté était
l'adoration de cette pauvre
grand mère, il était le dernier
l'unique rejeton d'une
nombreuse famille que la
pauvre vieille avait vu
s'éteindre peu à peu, elle
avait eu le malheur de
voir mourir un à un tous
V ses enfants. VV La cadette et
la dernière de ses filles
Madame Lermontoff était
morte fort jeune en laissant
un fils unique en bas âge
qui devint l'objet de toute
la tendresse de toute sa
sollicitude de la pauvre vieille
elle reporta sur lui toute

15. Страница воспоминаний В. И. Анненковой
с рассказом о ее знакомстве с Лермонтовым



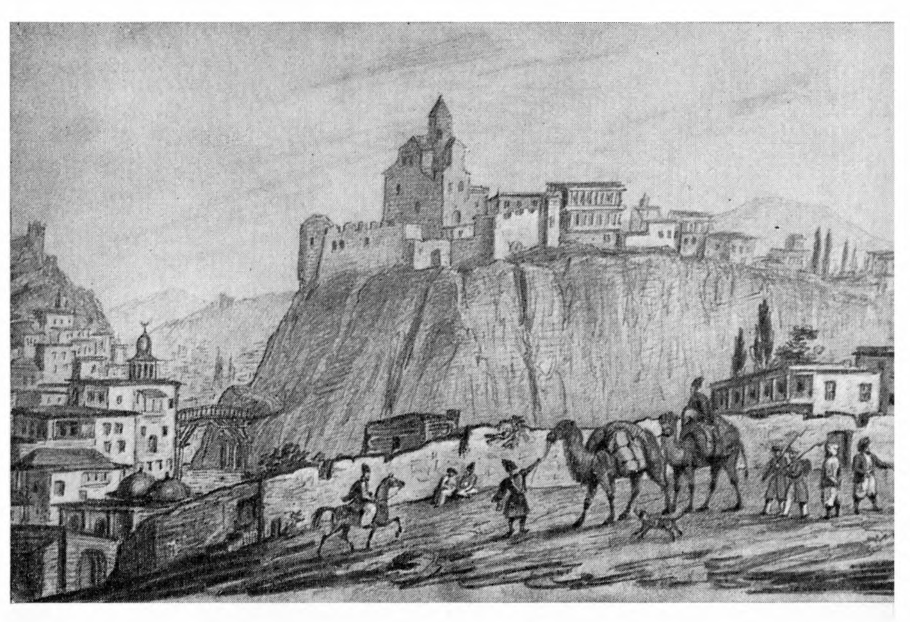
20. Селение Сиони близ Казбека (точнее: между Казбеги и Коби).
Раскрашенная автолитография Лермонтова. 1838



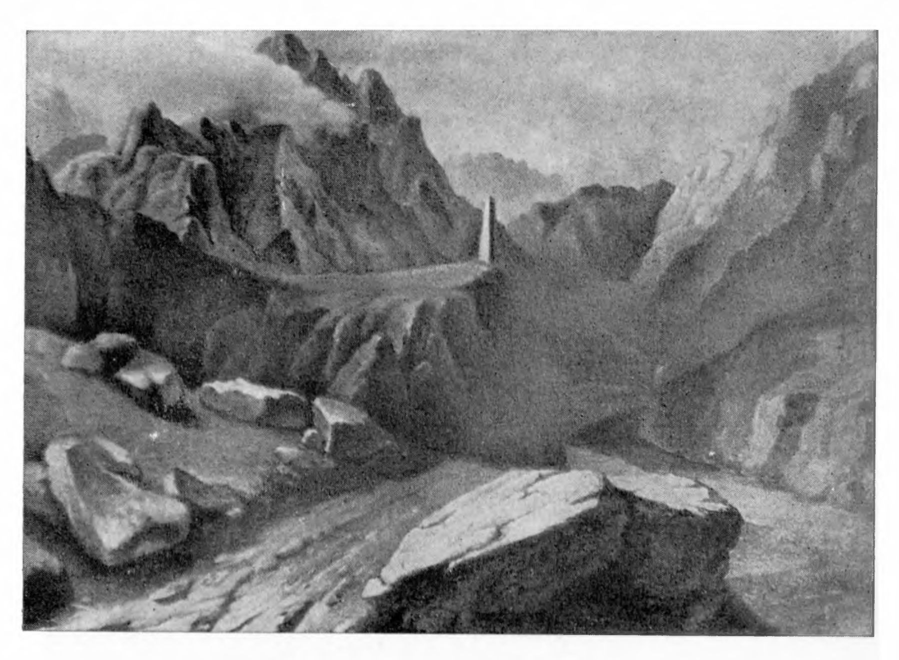
21. Дарьяльское ущелье. «Замок Тамары».
Рисунок Лермонтова. Карандаш. 1837



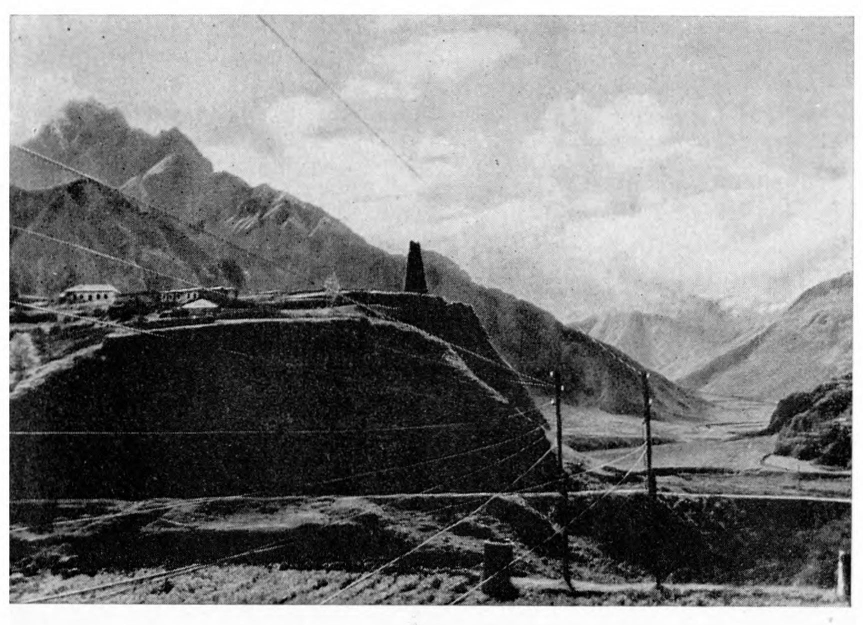
22. Лезгинка. Рисунок Лермонтова. Карандаш. 1837



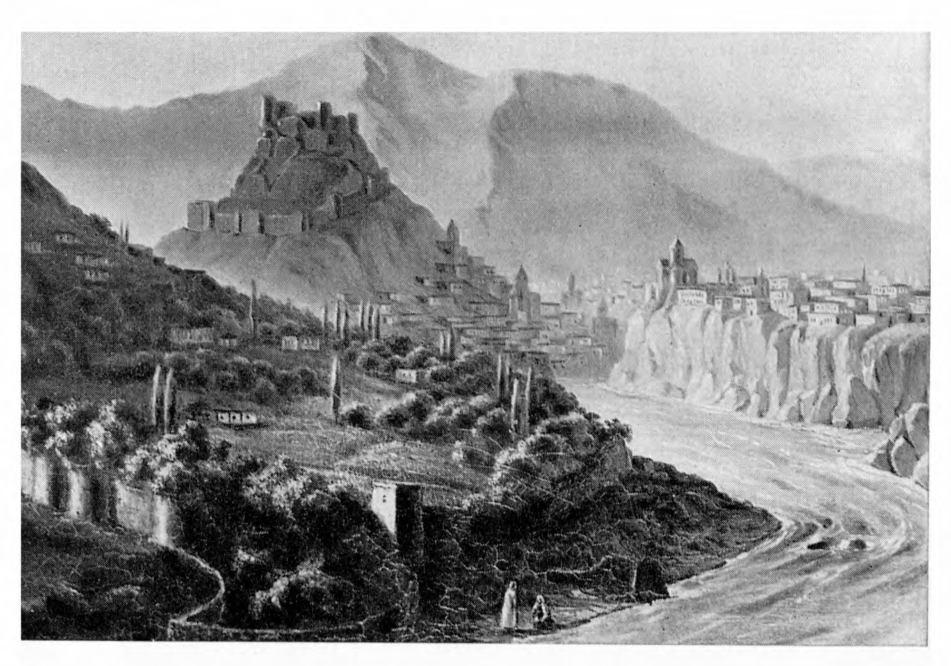
23. Тифлис. Замок Метехи.
Рисунок Лермонтова. Карандаш. 1837



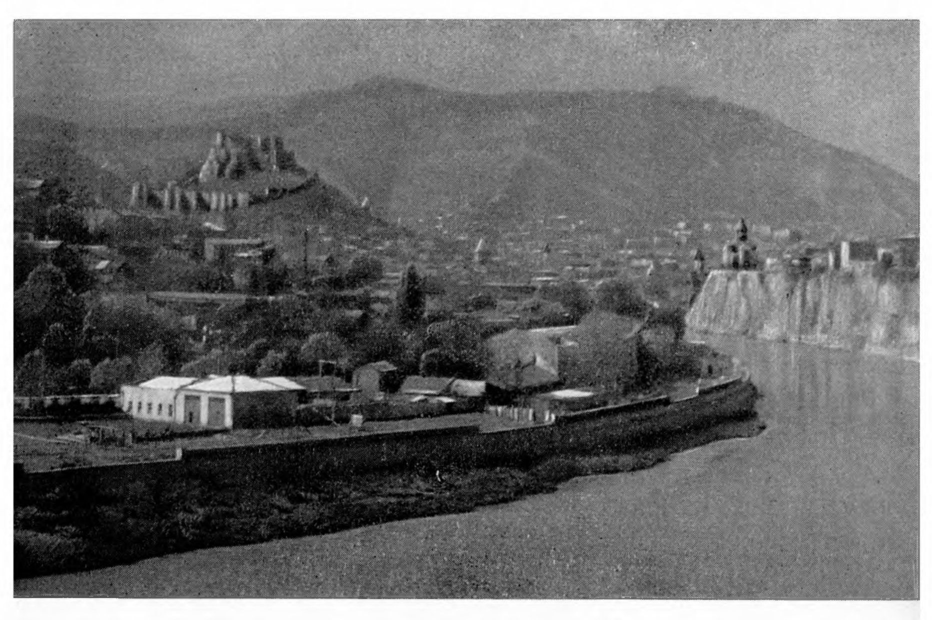
24. Башня в селении Сиони близ Казбека.
Картина Лермонтова. Масло. 1837—1838



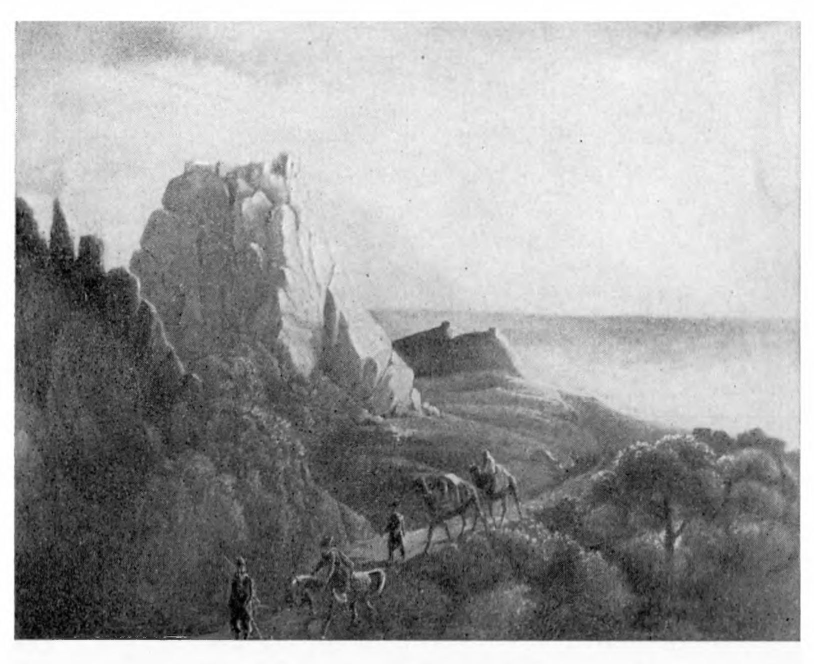
25. Башня в селении Сиони близ Казбеги.
Снимок сделан с той же точки.
Кадр из кинофильма «Загадка Н. Ф. И.»



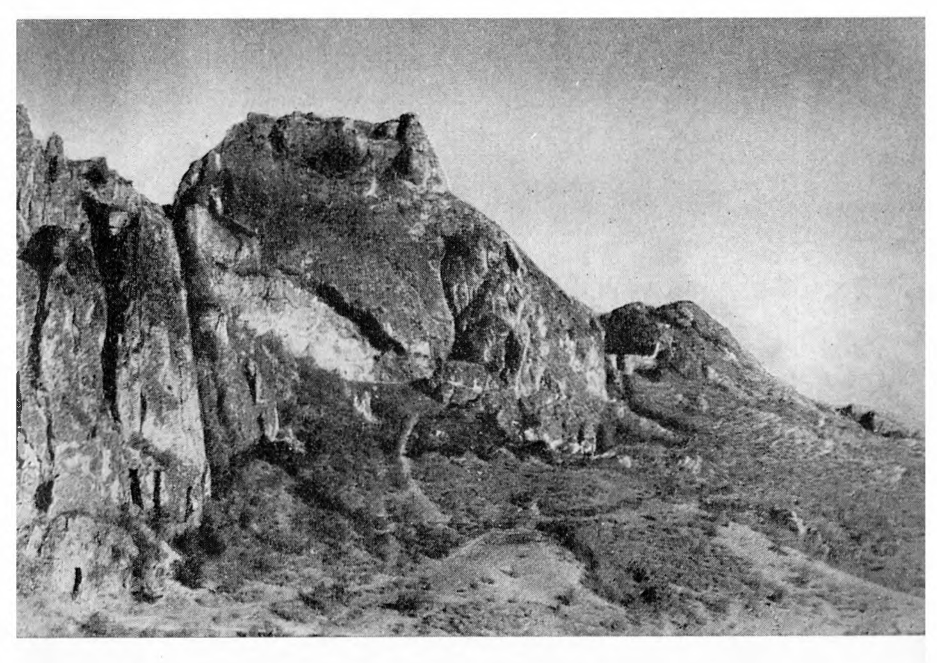
26. Тифлис. Картина Лермонтова. Масло. 1837.



27. Тбилиси. Снимок сделан с той же точки.
Кадр из кинофильма «Загадка Н. Ф. И.»



28. Развалины близ селения Караагач в Кахетии.
Картина Лермонтова. Масло. 1837

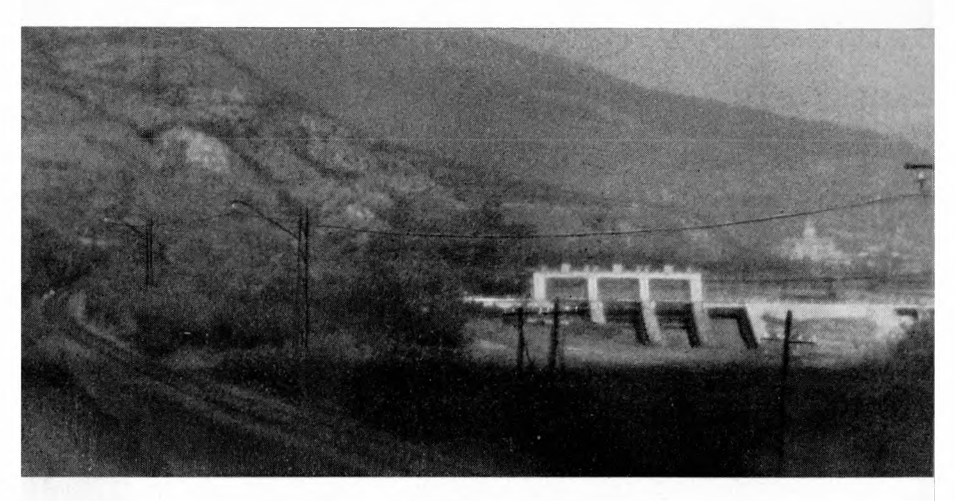


29. Развалины близ селения Караагач в Кахетии.
Фото М. Гунченко. 1961



30. Военно-Грузинская дорога близ Мцхета.
Картина Лермонтова. Масло. 1837.
На горе храм Джвари

31. Храм Джвари над Мцхетом.
Кадр из фильма (начало панорамы)



32. Плотина ЗАГЭС на Куре
и Военно-Грузинская дорога близ Мцхета.
Кадр из фильма (продолжение панорамы)

33. Развалины на берегу Арагвы в Грузии. Рисунок Лермонтова. Карандаш. 1837

34. То же самое место. Кадр из фильма

35. Реконструкция прежнего пейзажа.
Кадр из фильма

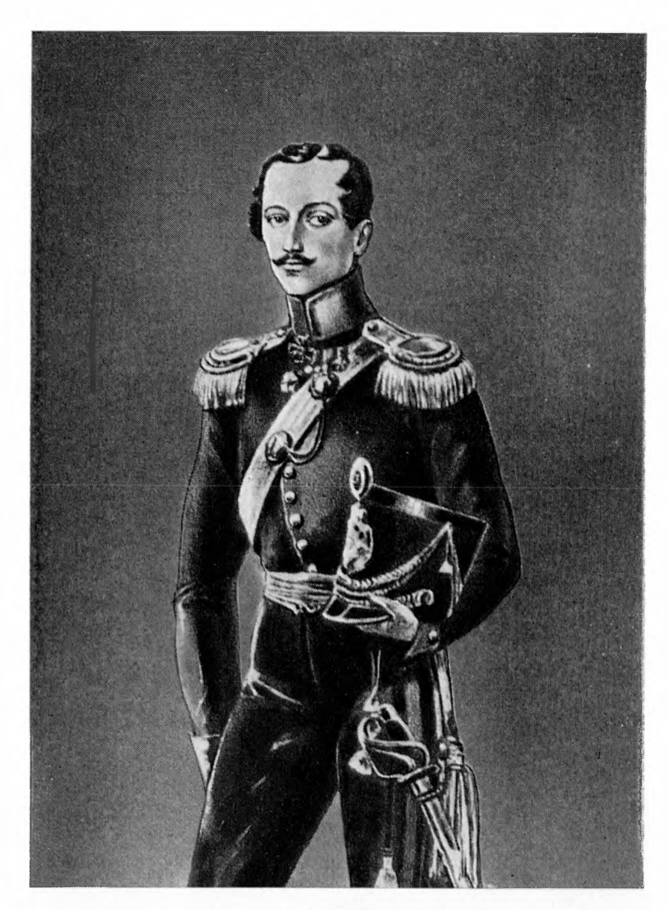
36. Результат реконструкции.
Кадр из фильма



37. Прасковья Николаевна Ахвердова.
С портрета неизвестного художника. Акварель. 1830(?)-е годы



38. Нина Александровна Грибоедова.
С фотографии 1850-х годов



39. Александр Гарсеванович Чавчавадзе.
С портрета неизвестного художника



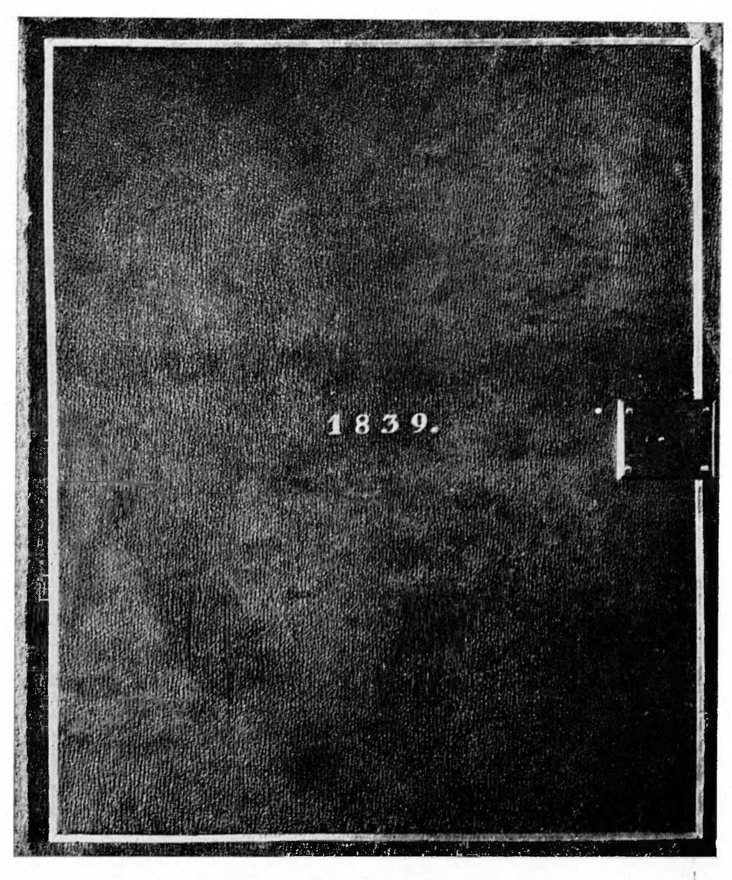
40. Мария Кайхосровна (Маико) Орбелиани.
Рисунок Г. Г. Гагарина. Карандаш. 1840



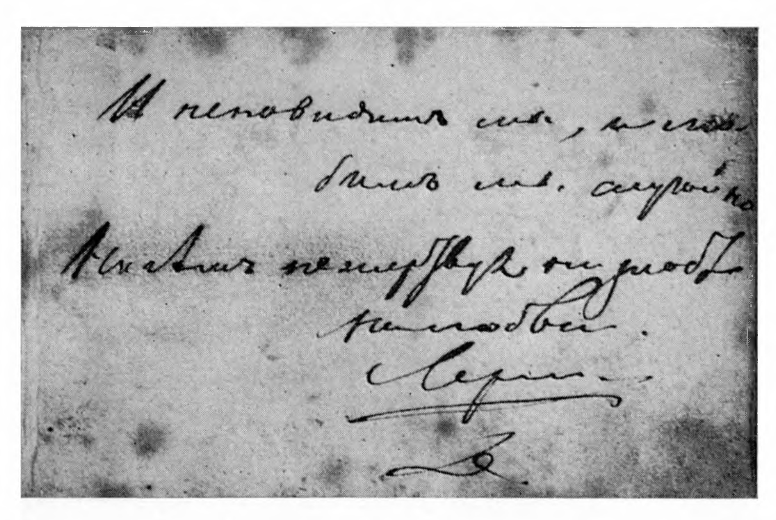
41. Мирза Фатали Ахундов.
С литографии



42. Николай Васильевич Майер. Автопортрет

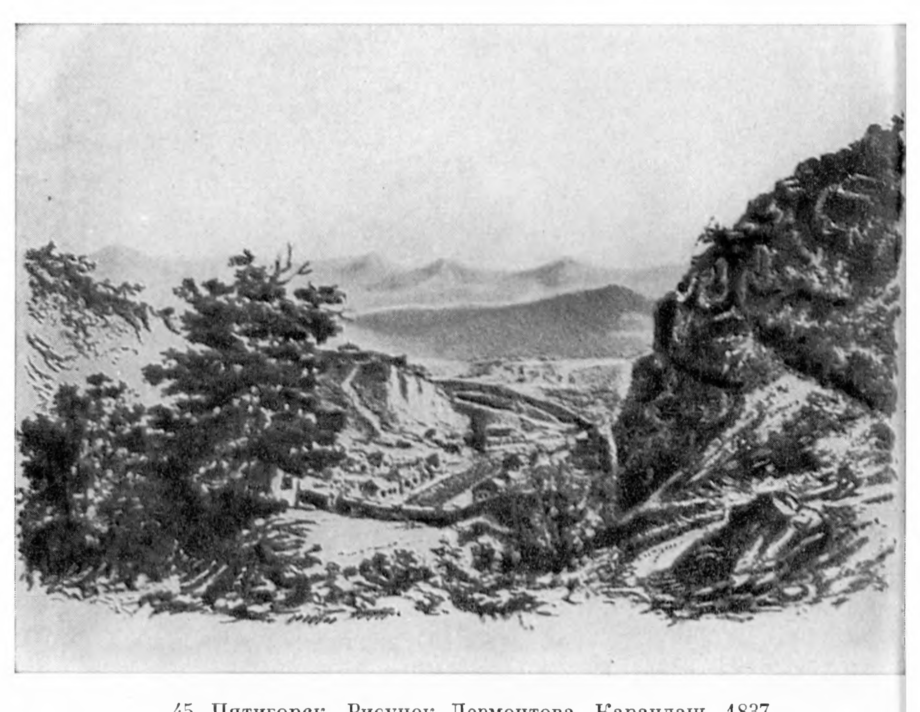


43. Альбом «неизвестной Марии» — М. А. Бартеневой, принадлежавший А. Н. Знаменской

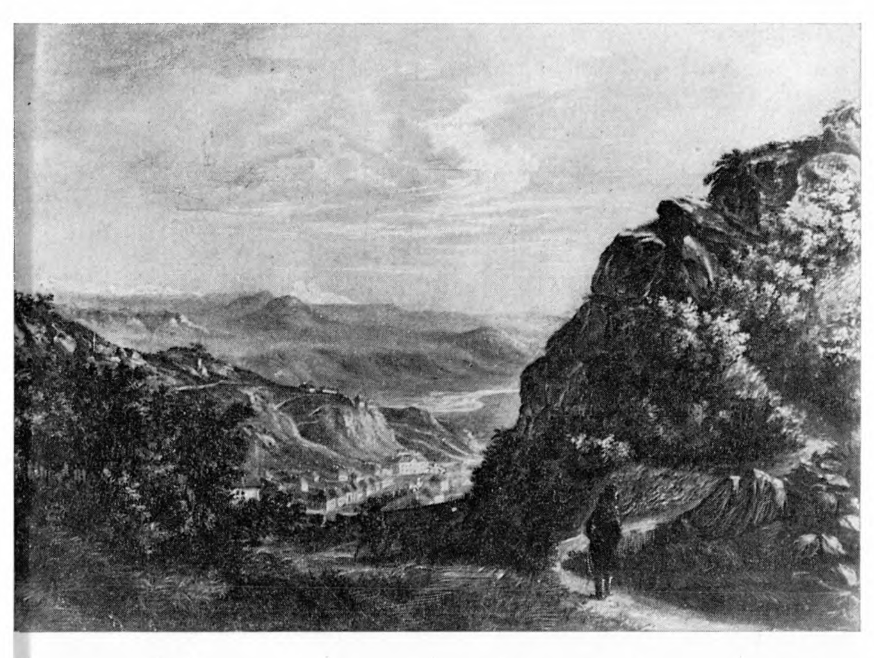


И ненавидимъ мы, и лю-
бимъ мы. случайно
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ
ни любви.
Лерм.

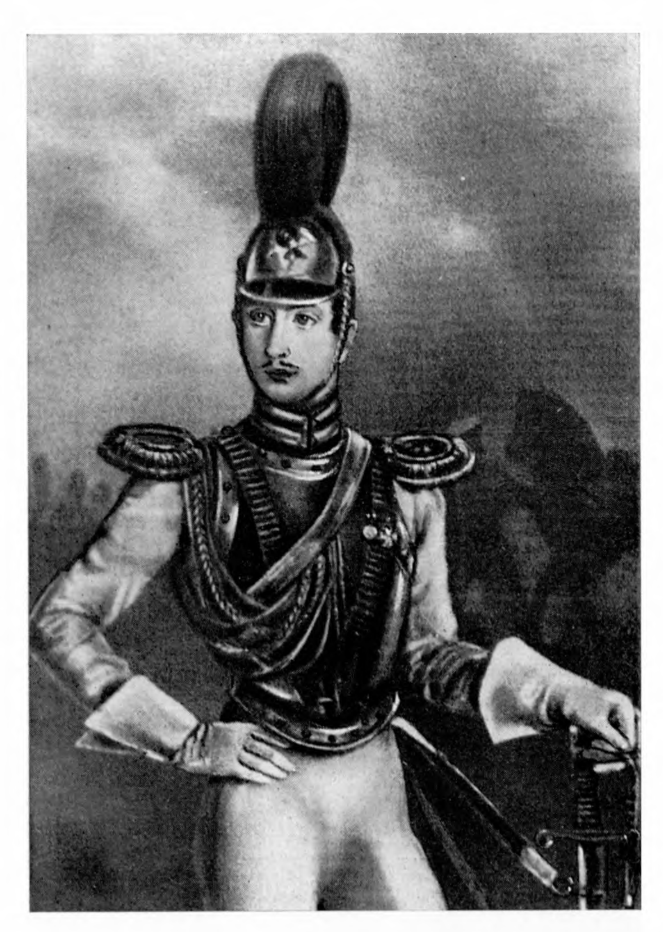
44. Автограф Лермонтова из альбома, принадлежавшего А. С. Немковой



45. Пятигорск. Рисунок Лермонтова. Карандаш. 1837



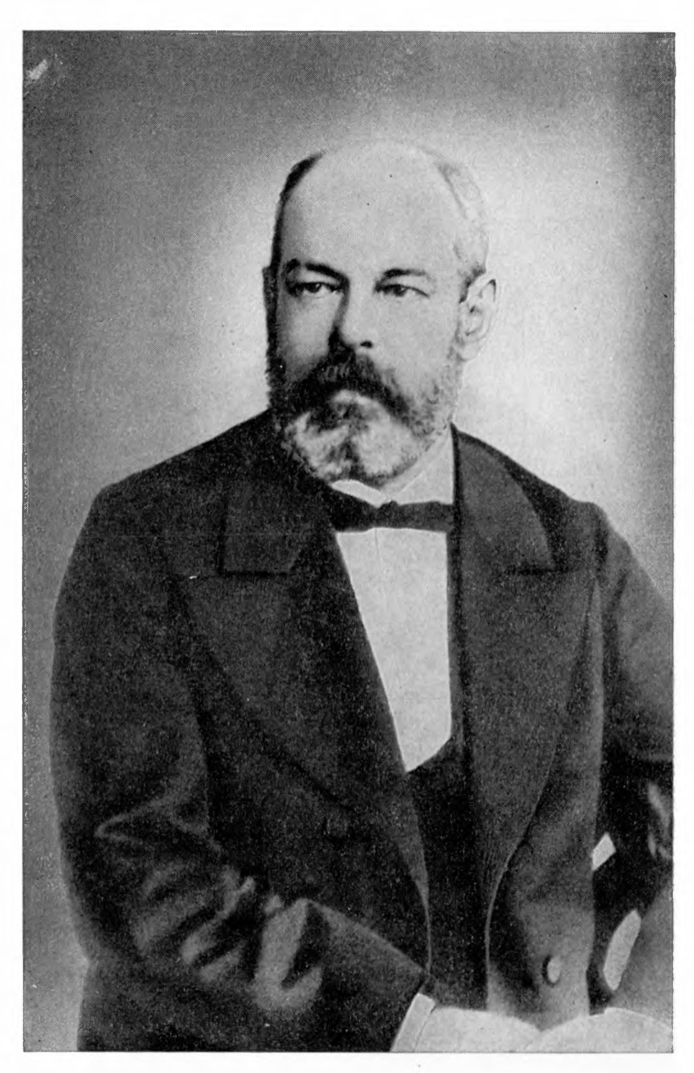
46. Пятигорск. Картина Лермонтова. Масло. 1837—1838



47. Иван Васильевич Вуич.
С портрета 1830-х годов. Масло



48. Алексей Петрович Ермолов. С гравюры Дж. Доу



49. Владимир Харлампиевич Хохряков. Фото.

Вновь найденные рисунки. Из альбомов А. М. Верещагиной и В. А. Лопухиной

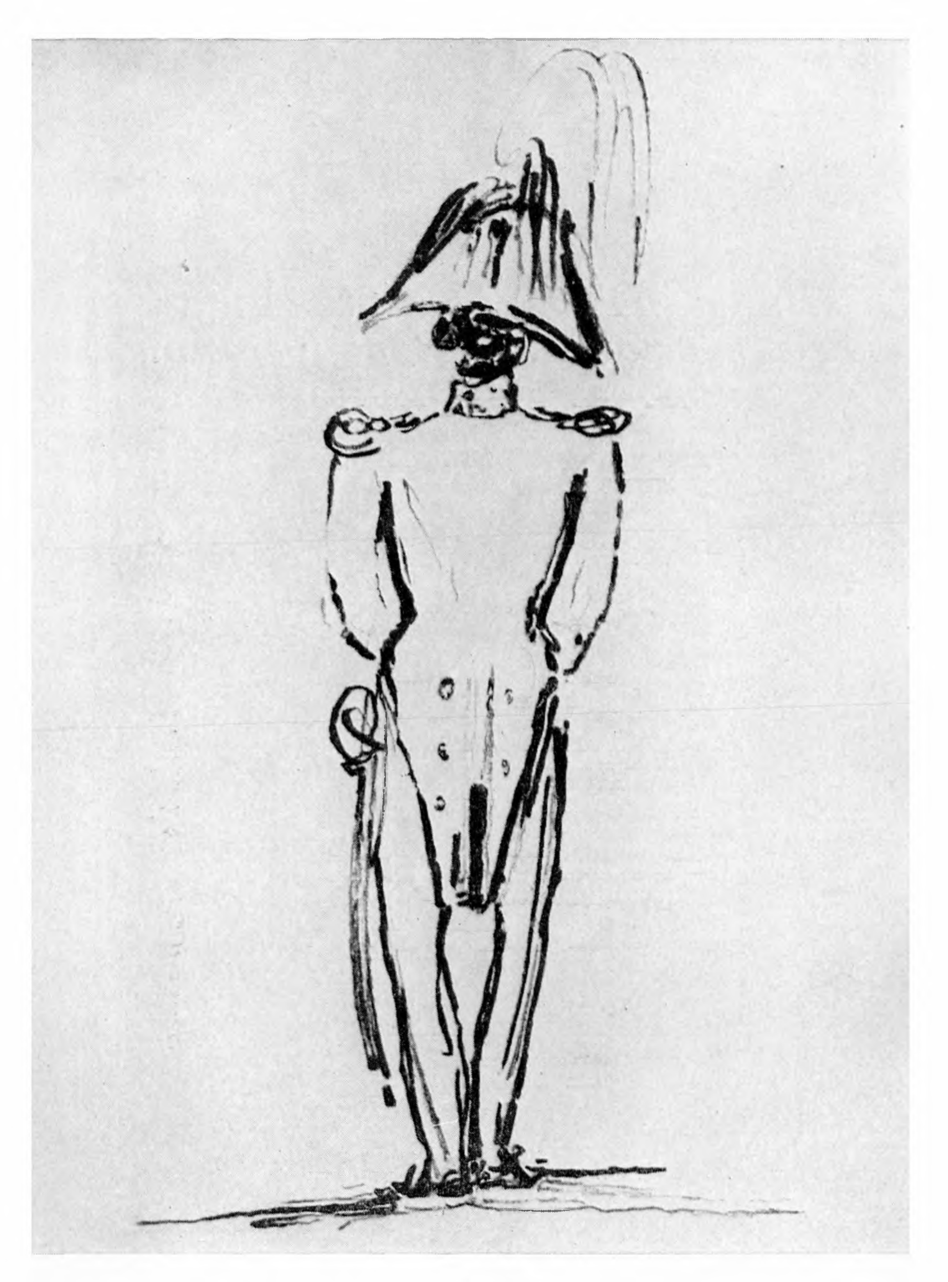


Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 5



Рисунок 6

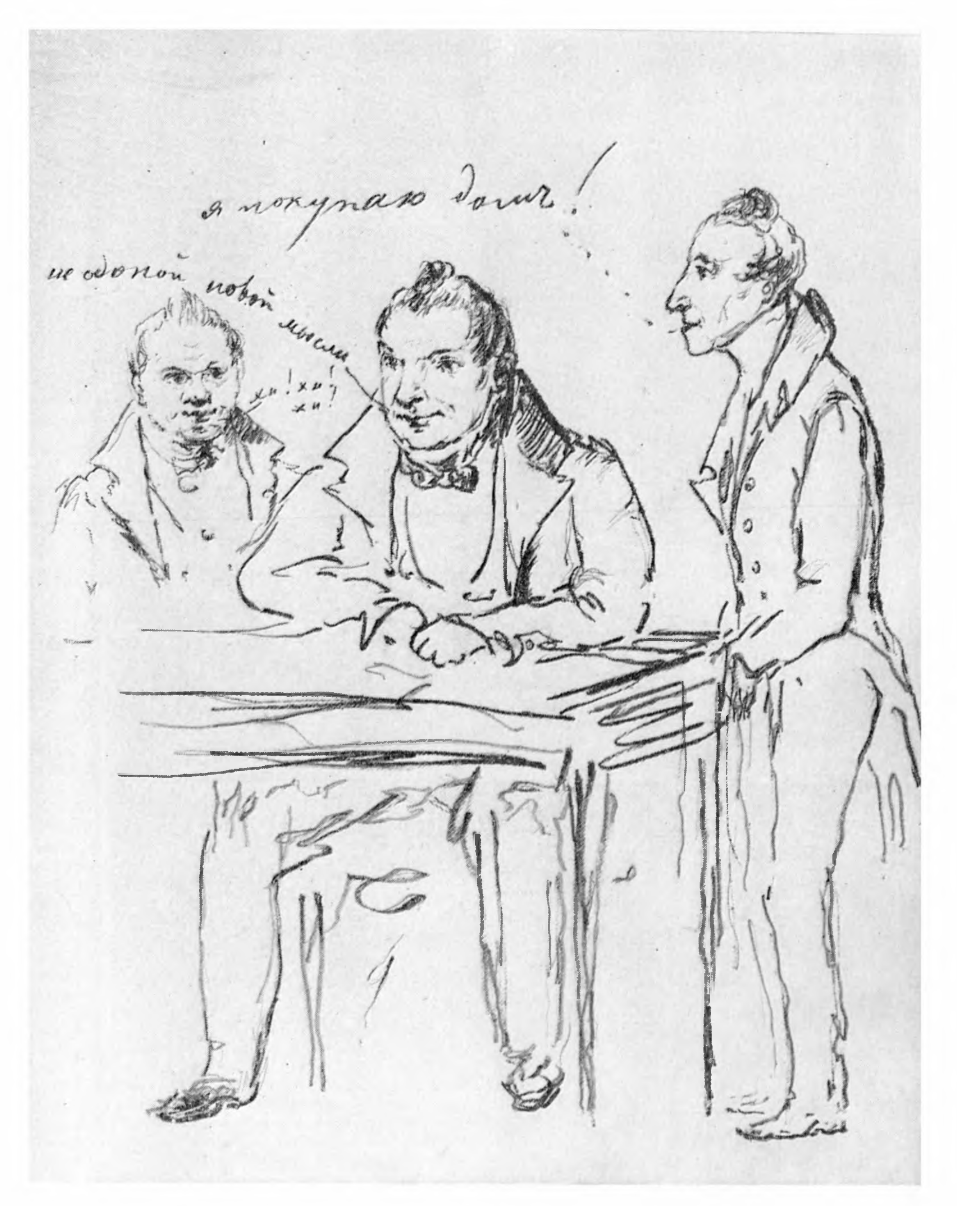


Рисунок 7

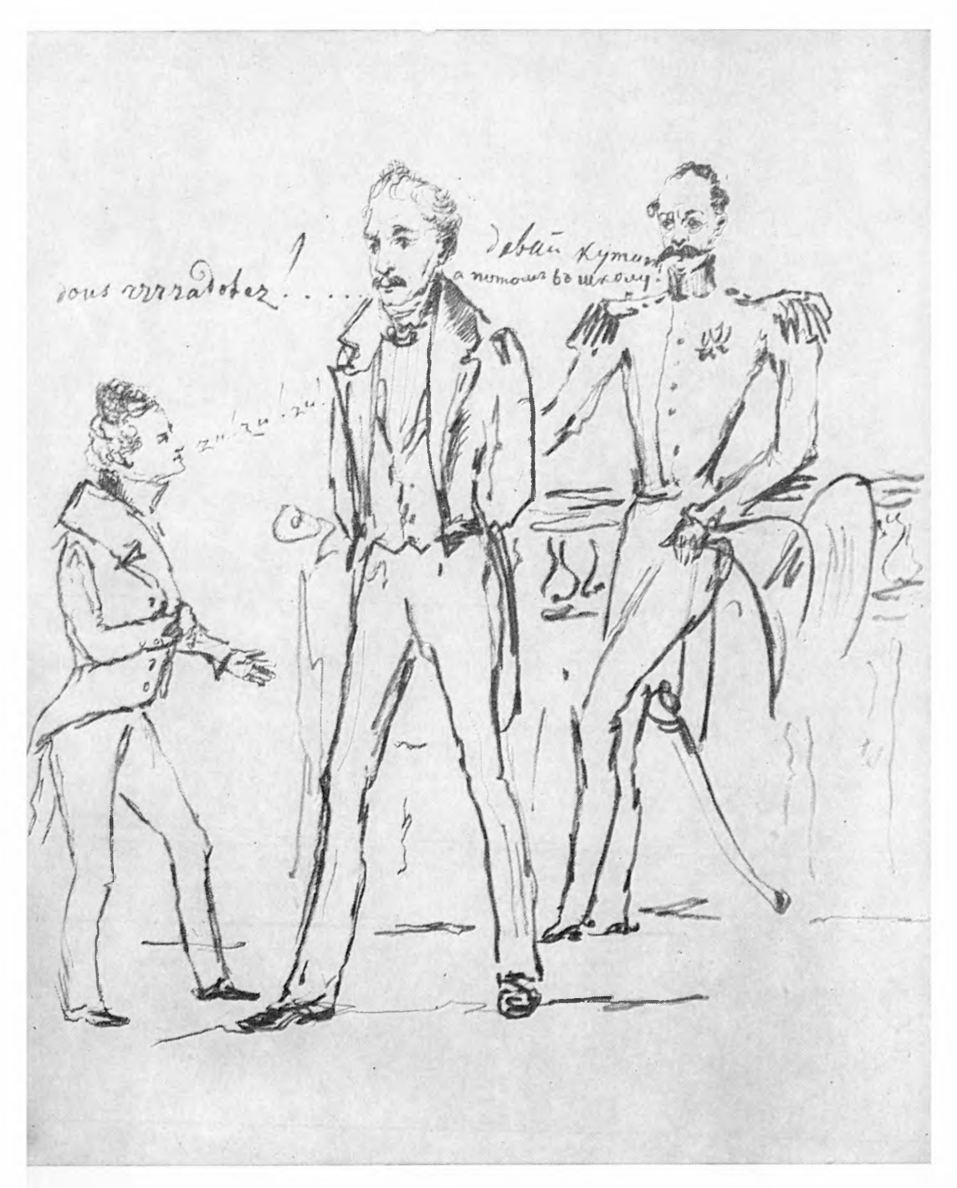


Рисунок 8



Рисунок 9



Рисунок 10



Рисунок 11

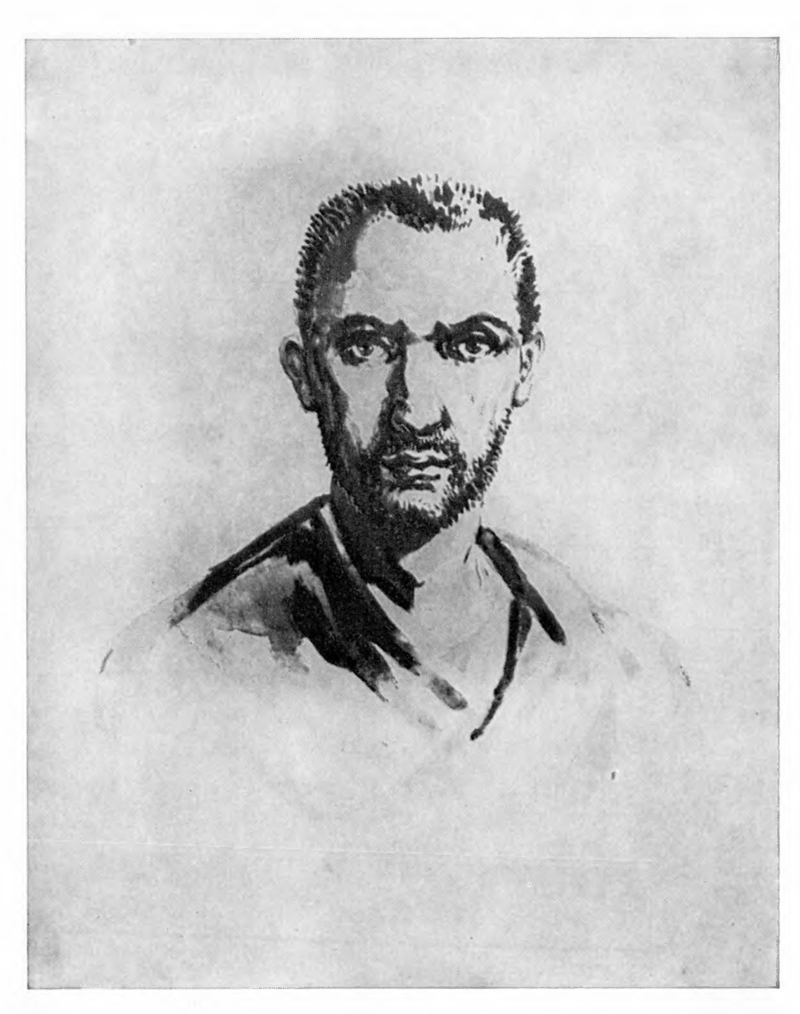


Рисунок 12

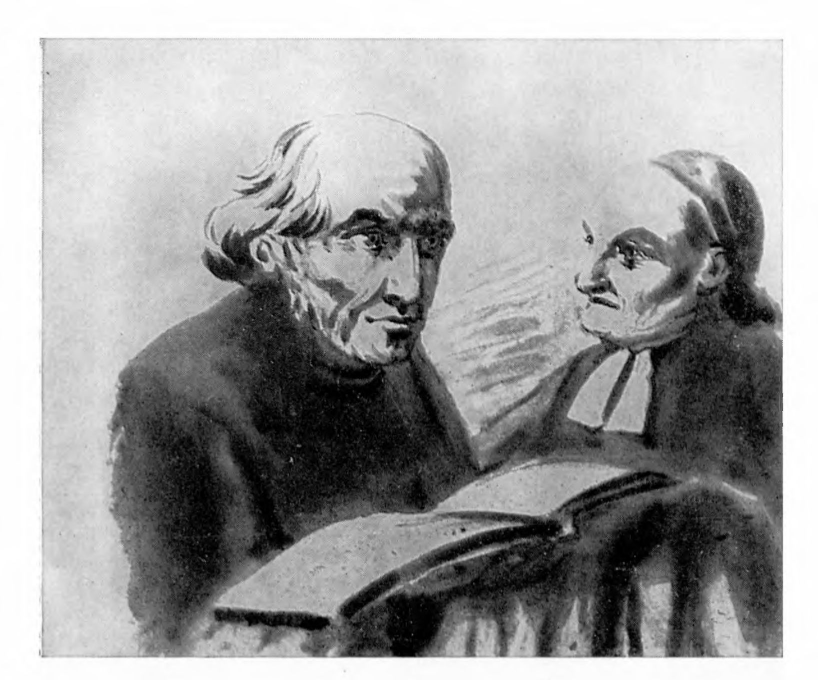


Рисунок 13

Рисунок 14

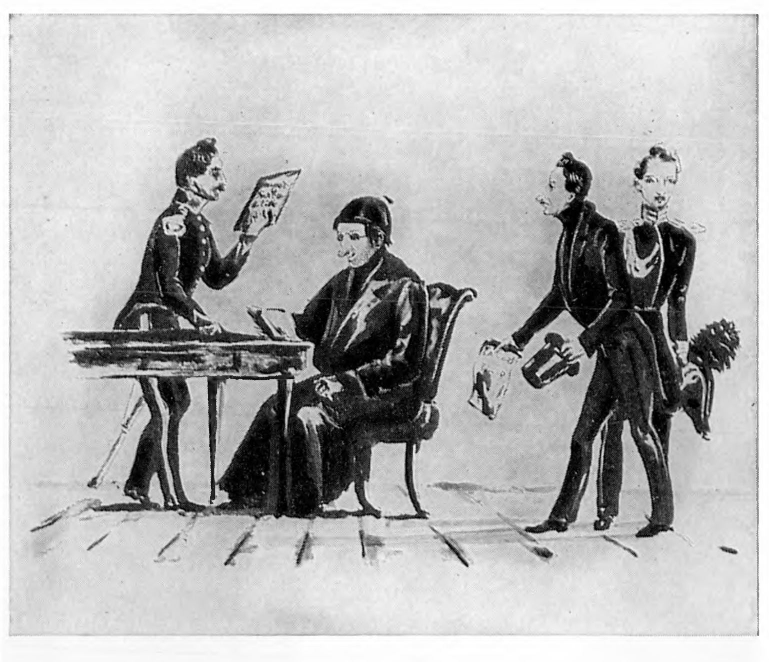


Рисунок 15



Рисунок 16

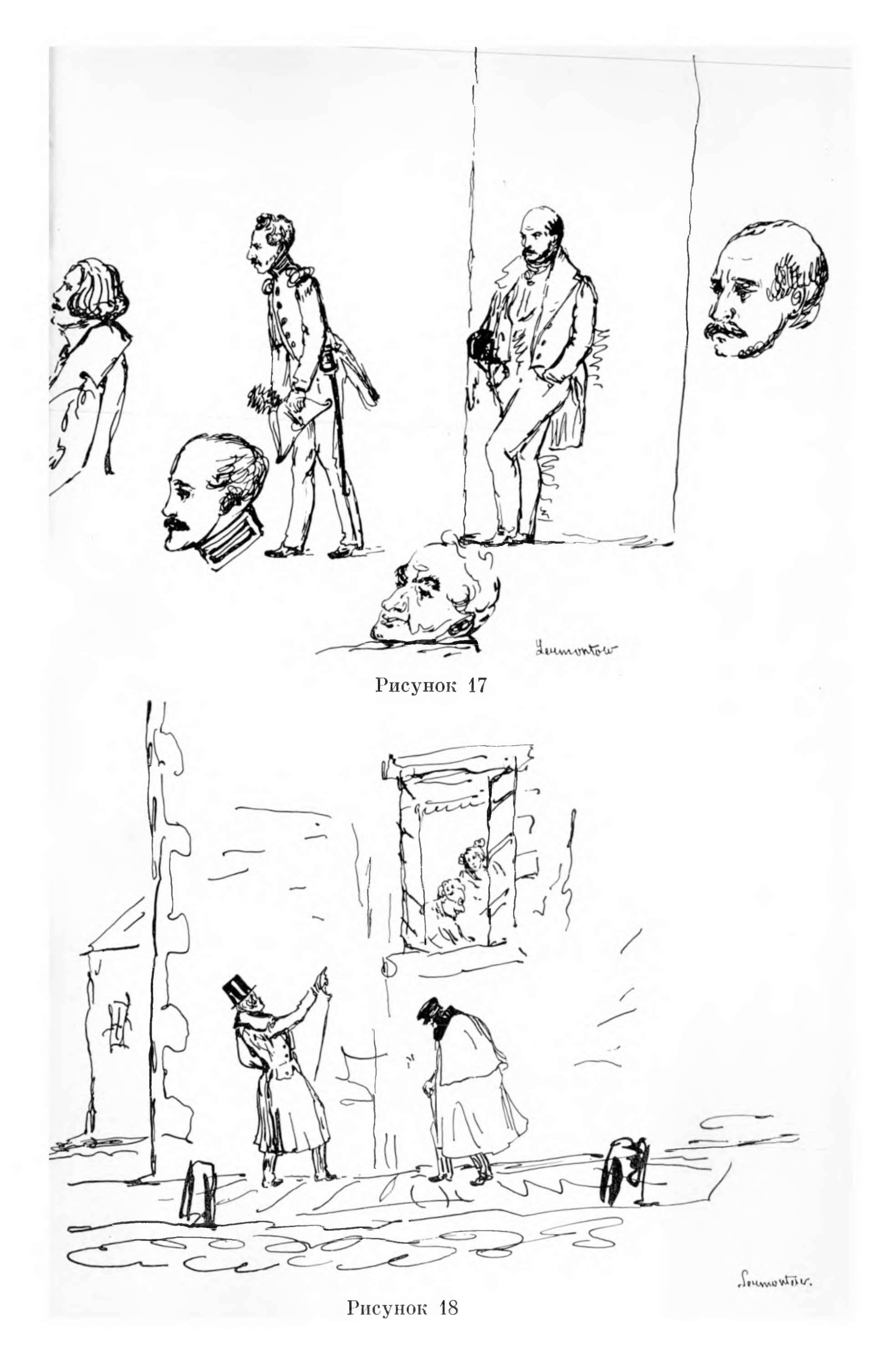


Рисунок 17

Рисунок 18



Рисунок 19

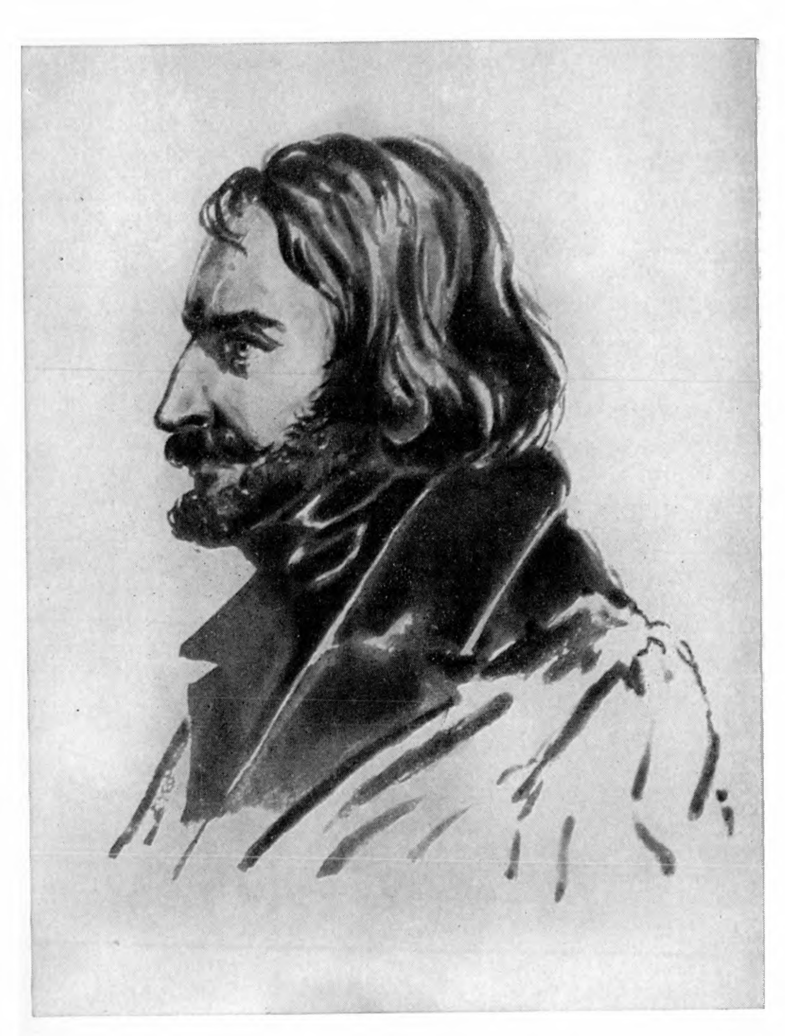


Рисунок 20



Рисунок 21

«П. Ахвердова, кажется, коротко познакомилась с сестрою Глинкиною»,— с удовлетворением отметил он в дневнике в конце 1832 года [1].

Как часто мысли его обращаются к Ахвердовой, можно судить также по письмам 1834 года:

«Хотелось бы мне также что-нибудь узнать о госпоже Ахвердовой...» [2], «Видаетесь ли с Прасковьей Николаевной» [3], «Прасковье Николаевне прошу засвидетельствовать мое почтение...» [4].

В 1881 году единственная дочь Ахвердовой, Дарья Федоровна, по мужу Харламова, та самая маленькая «Дашинька», о которой писал Грибоедов, прося Ахвердову заочно «нежно-нежно» поцеловать ее, передала в Публичную библиотеку в Петербурге девять писем Грибоедова к ее матери. Эти письма П. И. Бартенев в том же году опубликовал на страницах своего «Русского архива», сопроводив их краткой заметкой, составленной со слов Харламовой [5]. Через двадцать лет, в 1901 году, с Харламовой беседовал биограф Грибоедова Н. В. Шаломытов. Полученные от нее сведения он использовал в своей статье «Грибоедов и музыка» [6]. Этими сообщениями, полученными от дочери, в сущности, и исчерпывается то немногое, что известно об Ахвердовой, если не считать нескольких упоминаний о ней в «Записках» Н. Н. Муравьева-Карского, женившегося на ее падчерице.

Между тем в Москве, в Государственном театральном музее имени А. А. Бахрушина хранятся неопубликованные воспоминания Д. Ф. Харламовой на семи листах, озаглавленные «Еще несколько слов о Грибоедове» [7].

Воспоминания эти дополняют то, что Харламова в свое

---

[1] Неопубликованная часть дневника В. К. Кюхельбекера, ИРЛИ.

[2] «Письма В. К. Кюхельбекера из крепостей и ссылки».— «Литературное наследство», т. 59, с. 431.

[3] Впервые опубликовано в кн.: И. Андроников. Лермонтов. М., «Советский писатель», 1951, с. 164.

[4] Там же, с. 165.

[5] См.: «Письма А. С. Грибоедова к П. Н. Ахвердовой».— «Русский архив», 1881, кн. II, с. 177—190.

[6] См.: Н. В. Шаломытов. Грибоедов и музыка.— «Исторический вестник», 1910, кн. VI, с. 865—883.

[7] Д. Х[арламова]. Еще несколько слов о Грибоедове. Рукопись. Государственный театральный музей имени А. А. Бахрушина, шифр ТМ 163494; см.: Ираклий Андроников. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., «Советский писатель», 1955, с. 248—255.

время сообщила о Грибоедове Бартеневу и Шаломытову, но главное — содержат совершенно неизвестные факты об отношениях Ахвердовой с семьей Чавчавадзе.

Записаны эти воспоминания в 1901 году, под диктовку восьмидесятичетырехлетней старухи, рукою ее дочери М. Н. Шмит, так как зрение Харламовой в то время уже ослабело и почерк стал неразборчив. Следовательно, они продиктованы через семьдесят лет после описываемых событий. Это обязывает отнестись к ним с большой осторожностью.

Тем не менее достоверность этого документа не вызывает сомнений. И прежде всего потому, что в части, касающейся Ахвердовой и ее отношений с Грибоедовым, Харламова повторяет в основном те же факты, которые за двадцать лет до этого сообщила Бартеневу и которые еще никем не подвергались сомнению.

Далее важно отметить, что в своих воспоминаниях Харламова описывает только собственные детские впечатления, причем по многу раз напоминает читателю, почему они так ограниченны. «К сожалению,— пишет она,— во время всех этих событий я была совершенно маленькая девочка». «Знаю это только по рассказам». «К сожалению, я принадлежала к младшему возрасту, поэтому помню только то, что относилось к нашему детскому миру, и ничего из разговоров старших передать не могу».

И действительно, из разговоров старших она не передает ни слова. Тем более мы имеем все основания верить ей, когда она рассказывает, что в Тифлисе у Ахвердовых «на склоне горы, близ потока Салылак (то есть Сололакского ручья.— *И. А.*), был дом и чудный, волшебный сад».

«Лучший из виноградных садов здесь почитается,— подтверждает современник, побывавший в Тифлисе в 1828 году,— бывшего начальника артиллерии Ахвердова» [1].

«Князь Александр Гарсеванович Чавчавадзе,— продолжает Харламова,— соопекун моей матери над сестрой Софи и братом Егорушкой, нанимал небольшой наш флигель, рядом с нашим большим домом; в нем жила его мать, жена — княгиня Саломе и дети — Нина, Катенька и Да-

---

[1] «Впечатления и воспоминания покойника»,— «Библиотека для чтения», 1848, т. 86, ч. II, отд. III, с. 52.

вид. Целый день находились у нас девочки, а Катенька и жила у нас, в одной комнате со мной и гувернанткой нашей Надеждой Афанасьевной, той, которой А. С. Грибоедов в одном из писем к матери шлет целый акафист приветствий. Летом ездили мы часто гостить в чудное имение Чавчавадзе Цинандали в Кахетии, совершали путешествие всегда под конвоем не менее 20 солдат, из опасения нападения горцев. Князя я менее других помню, он часто отлучался, а впоследствии, после взятия Эривани, был там губернатором. Но семья его осталась в Тифлисе».

Несомненно, что в двенадцатилетнем возрасте Харламова все это могла отлично знать и запомнить. Кроме того, ее сведения подтверждаются другими косвенными свидетельствами.

В одном месте своих «Записок» Н. Муравьев-Карский вспоминает, как он провожал А. Г. Чавчавадзе до его квартиры, которую тот «нанимал подле дома Ахвердовых», как они верхами «прискакали к горе, под которой стоят дома сии», и как, расставшись с Чавчавадзе, он переехал «мостик через канал, отделяющий оба дома» [1].

Сопоставим этот рассказ с текстом воспоминаний Харламовой. Она упоминает, что после их отъезда из Тифлиса их дом «был приобретен казной для Института благородных девиц». Если же заглянуть в планы Тифлиса, снятые в первой половине прошлого века, то мы увидим, что «Казенный институт благородных девиц» находился на Садовой улице (ныне верхняя часть улицы Энгельса) [2]. И на планах указан не только обширный сад, простиравшийся до нынешней Лермонтовской улицы, на месте которой в те времена протекал Сололакский ручей, но указаны и дома, и даже разделявший оба дома канал.

Из сопоставления планов становится очевидным, что сад и дома Ахвердовых и Чавчавадзе занимали квартал, где в наше время находился Союз писателей Грузии, (ул. Магабели, 13), и сад за домом Союза писателей представляет собой часть бывшего сада Ахвердовых [3].

[1] Н. Н. Муравьев-Карский. Записки.— «Русский архив», 1889, № 9, с. 65.

[2] См.: «План г. Тифлиса с окрестностью». Составлен и гравирован при генеральном штабе Отд. Кавказского корпуса в 1850 г. Приложение к «Кавказскому календарю на 1851 год».

[3] Более подробно об этом см. в моей кн.: «Лермонтов». М., «Советский писатель», 1951, с. 168.

Вот здесь, в доме Ахвердовых «под горой», и бывал Грибоедов «ежедневным гостем» в 20-х годах. «У нас,— пишет Харламова,— родилась и развивалась его любовь к княжне Нине Чавчавадзе, в нашем доме сделался он счастливым женихом, позабыв на время свою ипохондрию».

Вернувшись после долгого отсутствия из Тифлиса, Грибоедов «почти ежедневно» обедал у Ахвердовых, а после обеда играл детям танцы. «А детей нас было много,— продолжает Харламова,— чуть не маленький пансион, двух возрастов. К старшему принадлежали: дочь от первого брака моего отца Софья Федоровна, впоследствии замужем за Н. Н. Муравьевым-Карским, и брат Егор Федорович, бедная племянница моего отца Анна Андреевна Ахвердова, и приходили для совместного ученья знаменитая княжна Нина Чавчавадзе и княжна Мария Ивановна (Маико) Орбелиани. Княжна Екатерина Александровна Чавчавадзе, впоследствии княгиня Дадиан Мингрельская, княжна Софья Ивановна (Сопико) Орбелиани, Варенька Туманова и я составляли младший возраст».

Итак, теперь уже ясно, что не только «тесная дружба» соединяла семьи Чавчавадзе и Ахвердовых, но что обе семьи жили, по существу, одним домом и находились в повседневном общении.

«Либеральная статская молодежь из будущих декабристов,— сообщает Харламова,— тоже наведывалась на Кавказ и бывала у матери, особенно часто, кажется, В. К. Кюхельбекер, давнишний друг нашей семьи».

Это замечание наводит на мысль, что Ахвердова была знакома с Кюхельбекером еще по Петербургу. Если вспомнить процитированные нами письма Кюхельбекера, из которых видно, что отношения с Ахвердовой в его отсутствие поддерживали и его мать и его племянницы — Глинки, то этого никак нельзя объяснить одним знакомством Кюхельбекера с Ахвердовой по Тифлису.

«После 25 года,— продолжает Харламова,— были отправлены проветриться (на Кавказ.— *И. А.)* многие слегка замешанные декабристы». Из них Харламова запомнила фамилии только двоих: Рынкевича и Искрицкого.

В числе друзей матери, почти ежедневно посещавших ее дом в Тифлисе, Харламова называет Александра Аркадьевича Суворова. Хотя она ничего и не сообщает о нем, тем не менее нам понятно, откуда шла эта дружба.

Александр Аркадьевич Суворов приходился внуком великому полководцу, а отец Прасковьи Николаевны Ахвердовой, прославленный генерал-поручик Ник. Дм. Арсеньев, был начальником штаба А. В. Суворова, штурмовал вместе с ним Измаил и участвовал в польском походе. Он умер в 1796 году вследствие полученных ран.

За штурм Измаила Арсеньев носил орден «Георгия» третьей степени. Байрон в своем «Дон Жуане», перечисляя ближайших сподвижников великого Суворова, назвал в их числе имя Арсеньева:

Все же назову иных, чтоб вас пленили
Созвучья этих мелодичных слов
С двенадцатью согласными. Тут были:
Арсеньев, Майков, Львов и Чичагов... [1]

Оказавшись в Тифлисе, А. А. Суворов не мог миновать дом Ахвердовой. Таким образом, мы снова получаем возможность убедиться в достоверности обнаруженных воспоминаний.

Харламова причислила Александра Аркадьевича Суворова к военной «золотой молодежи», которую манили на Кавказ мода и жажда почестей и наград. Она не могла знать в то время, что внук Суворова был в 1826 году отправлен в Кавказский корпус за прикосновенность к тайному обществу декабристов [2].

Харламова называет имена других постоянных гостей Ахвердовой — адъютанта Ермолова графа Самойлова, офицеров Бутурлина, Веригиных, Симборского и Арсеньева. Действительно, все они в тот период жили или постоянно бывали в Тифлисе [3]. Сведения Харламовой оказываются очень точными.

Но вот еще новое важное сообщение:

«Около 1829 года посетил и обедал у нас и Александр Сергеевич Пушкин, я его превосходно помню, хотя это было в смутное для нас время, после смерти Грибоедова».

О том, что Пушкин обедал у ее матери, Харламова рассказывала Шаломытову. Ее слова Шаломытов приво-

---

[1] «Дон Жуан», Песнь седьмая, строфы XIV и XV.

[2] См.: «Восстание декабристов». Материалы, т. VIII, «Алфавит декабристов». Под редакцией и с примеч. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., ГИЗ, 1925, с. 180 и 398.

[3] См.: Ираклий Андроников. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., «Советский писатель», 1955, с. 249.

дит в своей статье. И странно, что это сообщение ускользнуло от внимания пушкинистов. Ни в одной из известных нам работ о Пушкине этот факт не использован, не опровергнут; его не знают, очевидно, даже те авторы, которым принадлежат исследования о связях Пушкина с Грузией.

Понятно, что к этому заявлению Харламовой надо отнестись с сугубой осторожностью. Одно дело, когда она рассказывает, где стоял дом, в котором прошло ее детство, другое — когда через семьдесят лет она делится воспоминаниями о Пушкине.

Но здесь снова обращает на себя внимание деталь, свидетельствующая о достоверности самого факта. Харламова пишет, что Пушкин посетил их дом «около 1829 года». Из этого видно, что время его приезда установлено ею по памяти — не по книгам. Оно связано для нее с еще более важным событием: «это было в смутное для нас время, после смерти Грибоедова». А 1830 годом, как мы увидим, вообще ограничивается тифлисский период ее жизни. Поэтому такая не вполне точная дата — «около 1829 года»— оказывается достовернее в данном случае, чем точная. Тем более что рассказывает Харламова о том, что впоследствии могла неоднократно проверить у матери. А Прасковья Николаевна Ахвердова умерла в 1851 году, в преклонном возрасте, когда самой Харламовой было уже не двенадцать лет, а тридцать четыре года.

К тому ж самая возможность посещения Пушкиным дома Ахвердовой никакими известными нам фактами биографии Пушкина не опровергается. Наоборот, их встреча кажется совершенно естественной и даже неизбежной.

«В Тифлисе пробыл я около двух недель,— пишет Пушкин,— и познакомился с тамошним обществом» [1].

На обратном пути из Арзрума он 1 августа снова прибыл в Тифлис. «Здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе,— отмечает он.— Несколько вечеров провел я в садах, при звуке музыки и песен грузинских» [2].

У кого же бывал Пушкин? С каким обществом познакомился? В «Путешествии в Арзрум» он упоминает толь-

---

[1] «Путешествие в Арзрум», глава вторая.
[2] Там же, глава пятая.

ко редактора «Тифлисских ведомостей» Санковского да генерал-губернатора Стрекалова.

Однако из воспоминаний современника, К. И. Савостьянова, известно, что «всякий, кто только имел возможность, давал ему частный праздник или обед, или вечер, или завтрак» [1].

Как при этом Пушкин мог не встретиться с Ахвердовой, дом которой был «сосредоточием всего культурного общества Тифлиса в продолжение 10 лет»? [2]

Правда, Пушкин приехал в Тифлис после гибели Грибоедова, когда, по словам Харламовой, над их домом «все будто тяготел траур». Понятно, что семье Чавчавадзе было в это время не до званых обедов. Но, оказывается, они в это время уже не жили вместе с Ахвердовыми. «По приезде из Тавриса,— пишет Харламова,— Нина Александровна поселилась со своими родными уже не в нашем флигеле, а в городе».

В «Путешествии в Арзрум» Пушкин не назвал имена людей, в обществе которых провел «несколько вечеров, при звуке музыки и песен грузинских», потому что многие из его тифлисских знакомых оказались впоследствии причастными к заговору 1832 года и в 1836, когда «Путешествие» появилось в печати, находились в опале. Но совершенно правы исследователи, утверждающие, что в те дни, когда овдовевшая Нина Грибоедова и все погруженное в траур семейство Чавчавадзе ожидали прибытия в Тифлис останков Грибоедова, находившийся в это время в городе Пушкин не мог не нанести им визита для выражения своего сочувствия и таким образом должен был познакомиться с тестем и вдовой Грибоедова [3]. Эта мысль принадлежит поэту Георгию Леонидзе.

Воспоминания Д. Ф. Харламовой подтверждают правдоподобие этого предположения и доказывают, что Пушкин, описывая свое пребывание в Тифлисе, в тексте «Путешествия в Арзрум» сознательно, кроме официальных лиц, не упомянул никого. В том числе и Ахвердову. Кстати,

[1] «Рассказ К. И. Савостьянова о встречах с Пушкиным в 1829 и 1833 годах». Сообщил А. Достоевский.— «Пушкин и его современники», вып. 37. Л., Изд-во АН СССР, 1928, с. 146.

[2] Д. Х[арламова]. Еще несколько слов о Грибоедове. Рукопись, л. 1 об.

[3] См.: И. Ениколопов. Пушкин на Кавказе. Тбилиси. «Заря Востока», 1938, с. 87—88; Леван Асатиани. Пушкин и грузинская культура. Тбилиси, «Заря Востока», 1949, с. 32.

в то время, когда Пушкин работал над «Путешествием», она уже не жила в Грузии.

Беседы с ней Пушкин и мог вспомнить в том месте своего «Путешествия», где рассказывал о встрече с телом Грибоедова. Именно от Ахвердовой мог он услышать о тех событиях из жизни Грибоедова, когда, «приехав в Грузию, женился он на той, которую любил...», подробности о «последних годах его бурной жизни» и о смерти, «постигшей его среди смелого и неравного боя». Несомненно, «старая приятельница» Грибоедова должна была рассказывать и о своей воспитаннице и о «князе Чавчевадзеве», как Пушкин называет его в черновом предисловии к «Путешествию в Арзрум» [1].

В мае 1830 года Прасковья Николаевна Ахвердова навсегда покинула Тифлис и возвратилась в Россию. Это тоже совершенно новое для нас сведение. До сих пор считалось (и я повторял эту ошибку), что Ахвердова прожила в Тифлисе до конца жизни. Никому из исследователей и в голову не приходило, что последние двадцать лет своей жизни она провела в Петербурге и что сведения о ней надо собирать в ленинградских архивах [2].

В мемуарах Харламовой для нас, пожалуй, важнее всего упоминание о том, что и после переезда в Россию отношения Ахвердовых с семьей Чавчавадзе не оборвались. Харламова говорит, что она всю жизнь оставалась в самых дружеских отношениях с младшей дочерью Чавчавадзе Екатериной и, хотя не встречалась с ней долгие годы, находилась с ней «в переписке до самой ее смерти».

Таким образом, ясно, что Прасковья Николаевна Ахвердова продолжала поддерживать отношения со своими тифлисскими друзьями. И когда сын Чавчавадзе Давид был отправлен в Петербург для поступления в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров [3]

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 8, ч. 2. Изд-во АН СССР, 1940, с. 1025.

[2] В 1832 году Ахвердова была в Петербурге (дневник В. К. Кюхельбекера). В 1833 году ее навещал приезжавший в столицу Н. Муравьев («Русский архив», 1894, кн. II, с. 511 и 527). Лето 1834 года, судя по письму Кюхельбекера, она проводила в городе, а лето 1835 года — в Царском Селе («Русский архив», 1894, III, с. 375 и 419), где Лермонтов в то время служил в лейб-гусарах.

[3] См.: В. Потто. Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища. Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. СПб., 1873, Приложения, с. 207.

(где, кстати сказать, учился Лермонтов), она должна была встретить его как родного.

Сопоставим эти факты с еще более важными. В 1834—1836 годах в Петербурге находился сам Александр Гарсеванович Чавчавадзе. О том, как и при каких обстоятельствах он прибыл туда, нам еще предстоит говорить подробно. В данном случае отметим только одно: во время пребывания в столице он постоянно виделся с Ахвердовой и по-прежнему поддерживал с ней самые дружеские отношения.

Как прежде в Тифлисе, так и в Петербурге Прасковья Николаевна Ахвердова находилась в курсе всех тифлисских новостей и узнавала многое раньше самого Чавчавадзе. Когда в Цинандали умерла его мать, семья сообщила об этом Ахвердовой: ей было поручено передать Александру Гарсевановичу эту печальную для него весть. Возможно, что на ахвердовский адрес поступала и остальная корреспонденция Чавчавадзе. Это видно из ответного письма поэта тифлисскому гражданскому губернатору Н. О. Палавандову от 22 июня 1836 года. «Вчера,— пишет он,— узнал от Прасковьи Николаевны о постигшем меня несчастье, известия о котором ожидал со дня на день. От нее же получил Ваше письмо...» [1]

Итак, запомним: в годы 1834—1836 Ахвердова и Чавчавадзе постоянно виделись в Петербурге. Зная теперь, как тесно были связаны обе эти семьи по Тифлису, можно с уверенностью сказать, что Чавчавадзе бывал частым гостем в доме Ахвердовой — в доме, где бывал Лермонтов! Впрочем, не будем забегать вперед и расскажем все по порядку.

15

До самого последнего времени никому не было известно, что Лермонтов находился с Прасковьей Николаевной Ахвердовой в родстве. Между тем она — урожденная

---

[1] Письмо А. Г. Чавчавадзе к Н. О. Палавандишвили от 22 июня 1836 года хранится в Государственном музее Грузии имени С. Н. Джанашиа, ф. 8а, № 1826. Опубликовано в кн.: Александр Чавчавадзе. Сочинения. Под редакцией И. Гришашвили. Тбилиси, «Федерация», 1940, с. XII (на грузинском яз.).

Арсеньева — доводилась троюродной сестрой покойной матери Лермонтова, а самому ему — троюродной теткой [1].

О том, что Лермонтов был знаком с ней, мы догадывались уже раньше, на основании записи, сделанной им в 1840 году в одном из альбомов: «Ахвердов[а] на Кирочн[ой]. Г[рафиня] Заводовск[ая] Леон Голицы[н] в доме Ростовцева» [2]. Уже эта запись среди адресов петербургских знакомых Лермонтова давала серьезные основания считать, что он встречался с Ахвердовой. Гипотеза эта была высказана мной еще в 1939 году [3].

Предположение подтвердилось. Ахвердова «жительствовала в С.-Петербурге Литейной части 5-го квартала в доме под № 14» [4]. Дом этот действительно находится на Кирочной — угол Потемкинской улицы, возле Таврического сада. И самая улица называлась в ту пору еще не Потемкинской, а Таврической [5].

Отыскались сведения и поважнее. В 30-х годах, живя в Петербурге и в Царском Селе, Ахвердова постоянно встречалась и поддерживала родственные отношения с бабкой Лермонтова — Елизаветой Алексеевной Арсеньевой. Арсеньева пишет из Петербурга родственнице — тамбовской помещице Прасковье Александровне Крюковой: «Я часто видаюсь с Дарьей Николаевной и Прасковьей Николаевной и всегда об вас говорим» [6].

Дарья Николаевна и Прасковья Николаевна — это Дарья Николаевна Хвостова и Прасковья Николаевна Ахвердова — двоюродные сестры П. А. Крюковой и племянницы покойного М. В. Арсеньева, мужа Е. А. Арсеньевой. Понятно, почему Арсеньева пишет Крюковой: «всегда об вас говорим». Личность их общей родствен-

---

[1] См.: В. Арсеньев. Род дворян Арсеньевых (1389—1901). Тула, Изд-во М. Т. Яблочкова, 1903, с. 65 и 68.

[2] Альбом Лермонтова, на 29-ти листах, хранится в Рукописном отделении Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (л. 1).

[3] См.: «Красная новь», 1939, № 10-11, с. 251.

[4] «Дело о дворянстве Ахвердовой».— ЦГИА СССР в Ленинграде, ф. 1343, оп. 16, ед. хр. 3223.

[5] «Атлас тринадцати частей С.-Петербурга». Сост. Н. Цылов. СПб., 1849, с. 201 (дома по Кирочной улице) и 202 (дома по Таврической улице). По нынешней нумерации это дом № 48/13.

[6] Л. Модзалевский. Письма Е. А. Арсеньевой о Лермонтове.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 650—651 и 655 (примеч., где сказано, что «Дарья Николаевна и Прасковья Николаевна — лица неустановленные»).

ницы Прасковьи Александровны Крюковой, естественно, служила частой темой для разговоров.

Но окончательно вопрос о знакомстве Лермонтова с Ахвердовой решает его письмо к бабке, найденное мной в г. Актюбинске в 1948 году. Хотя ни число, ни год на этом письме не выставлены, по содержанию оно легко датируется второй половиной апреля 1836 года, когда Лермонтов служил в Царском Селе и постоянно наезжал в столицу.

«Милая бабушка,— пишет он.— Так как время вашего приезда подходит, то я уже ищу квартиру, и карету видел, да высока; Прасковья Николаевна Ахвердова в мае сдает свой дом, кажется, что будет для нас годиться, только все далеко...» [1].

На основании этих строк можно считать доказанным, что Арсеньева и Лермонтов встречались с Ахвердовой. И встречались как раз в то время, когда в Петербурге находился Чавчавадзе.

Интересно, что еще задолго до поездки в Грузию — как раз в 1835—1836 годах — Лермонтов, работая над «Маскарадом», в нескольких строках разоблачил одного из тех прожженных дельцов, которые устремлялись в Грузию в поисках легкой наживы:

Арбенин

А этот маленький каков?
Растрепанный, с улыбкой откровенной,
С крестом и табакеркою?..

Казарин

Трущов...
О, малый он неоцененный:
Семь лет он в Грузии служил,
Иль послан был с каким-то генералом,
Из-за угла кого-то там хватил.
Пять лет сидел он под началом
И крест на шею получил [2].

Биография этого Трущова удивительно напоминает карьеры российских советников — коллежских, надворных, статских и тайных,— совершавшиеся «за Кавказом», и подтверждается множеством архивных дел о злоупотреблениях.

---

[1] «Огонек», 1949, № 42, с. 15—16.
[2] Лермонтов, т. V, с. 280—281.

Я не собираюсь утверждать, что Лермонтов беседовал на эти темы с Александром Чавчавадзе. Но обратить внимание на то, что он совершенно правильно представлял себе картину вопиющего произвола и чудовищных хищений царских чиновников в Грузии,— следует. В понятии Лермонтова такой Трущов был одним из самых типичных представителей высшей николаевской бюрократии — иначе он не фигурировал бы в «Маскараде» среди петербургских великосветских картежников. Возможно, что о Грузии рассказывала Лермонтову П. Н. Ахвердова,— во всяком случае, отметим здесь его интерес к грузинским делам именно в это время.

Годы 1834—1836 в биографии Лермонтова изучены слабо, в биографии Чавчавадзе и вовсе еще не изучены. Поэтому нельзя ответить на вопрос — состоялось ли знакомство их в этот период. Для этого нет покуда никаких данных. Хотя теперь, когда мы узнали о том, что Лермонтов как раз в это время постоянно видел П. Н. Ахвердову, встреча его с Чавчавадзе становится вполне вероятной. Но уже во всяком случае — это можно считать несомненным,— в 1837 году, когда Лермонтов пострадал за стихи на смерть Пушкина, оказался в опале и уезжал в ссылку в полк, стоявший недалеко от Тифлиса, а еще ближе от Цинандали, где Ахвердова еще так недавно гостила на правах члена семьи — заботливый друг Грибоедова, Кюхельбекера и Чавчавадзе, она должна была принять участие в судьбе своего племянника, Лермонтова.

Отправляя поэта в Грузию, бабушка, разумеется, заручилась рекомендательными письмами к влиятельным на Кавказе людям: к командиру Отдельного Кавказского корпуса барону Г. В. Розену, с сыном которого Лермонтов служил в лейб-гусарах, к начальнику штаба В. Д. Вольховскому, к А. А. Вельяминову (командовавшему войсками на Линии), с которым вместе воевал в Отечественную войну 1812 года ее брат Афанасий Столыпин. Об одном из таких писем мы узнали недавно. Родственник бабушки, генерал А. И. Философов, оказывается, обращался с просьбой о Лермонтове к генералу Вольховскому [1].

[1] См.: А. Н. Михайлова. Лермонтов и его родня по документам архива А. И. Философова.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 678—680.

Поэтому не подлежит сомнению и то, что Лермонтов уезжал в Грузию, снабженный письмами Ахвердовой к ее тифлисским друзьям — и прежде всего, конечно, к ее воспитаннице. (Сам Александр Гарсеванович Чавчавадзе вернулся в Грузию летом 1837 года.) Таким образом, Лермонтов в дом Чавчавадзе должен был попасть непременно — не только как поэт, прославившийся стихами на смерть Пушкина, но и как родственник женщины, связанной с домом Чавчавадзе долгой и прочной дружбой. И трудно допустить, чтоб он дважды пренебрег возможностью встретиться с прославленным грузинским поэтом, не захотел познакомиться с вдовой Грибоедова.

16

Знакомство, по всем признакам, состоялось. Доказательством этому служат слова троюродного брата и приятеля Лермонтова Акима Шан-Гирея. Вспоминая разговор свой с Лермонтовым по поводу «Демона», он пишет в своих мемуарах:

«Здесь кстати замечу... неточности в этой поэме:

Он сам, властитель Синодала...

В Грузии нет Синодала, а есть Цинундалы (так! — *И. А.)*, старинный замок в очаровательном месте в Кахетии, принадлежащий одной из древнейших фамилий Грузии, князей Чавчавадзе» [1].

Как видим, Шан-Гирею было известно, что мысль назвать жениха Тамары «властителем Синодала» возникла у Лермонтова в связи с пребыванием в Цинандали у Чавчавадзе. Иначе Шан-Гирею и в голову не пришло бы сопоставлять слова «Синодал» и «Цинундалы» и тем более говорить об этом как о неточности [2].

Соображение о поездках Лермонтова в Цинандали должно показаться еще более убедительным, если вспомнить, что Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта, приехавший в Тифлис в начале 1835 года, в ожидании прибытия

[1] А. П. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов.— В кн.: Е. Сушкова. Записки, с. 388—389.

[2] Большего Шан-Гирей не сообщает потому, что рассказывает не вообще о Лермонтове, а только о *своих встречах* с ним и избегает говорить о том, чему не был свидетелем.

командира Кавказского корпуса Розена «провел две недели в усадьбе вдовы Грибоедова». Н. О. Пушкина, получившая от него письмо по возвращении его из Цинандали, сообщала дочери — О. С. Павлищевой: «Он говорит, что это были прекраснейшие дни его жизни, что она — очаровательная женщина, он опять собирается туда» [1].

Он был приглашен туда,— это для нас совершенно ясно,— как брат великого поэта, с которым семья Чавчавадзе познакомилась лично в 1829 году. Но при этом следует помнить и то, что в 1827—1829 годах сам Лев Пушкин служил в Нижегородском полку и, как офицер этого полка, имел достаточное представление о гостеприимном доме грузинского поэта.

Как увидим, Лермонтову просто трудно было миновать поместье Александра Чавчавадзе. Не случайно историк полка заявлял, что в 30-х годах «с Цинондалами у нижегородцев... была кровная связь» и что в поездках к кахетинским помещикам «играли теперь главную роль Цинондалы» [2].

В Нижегородском полку Лермонтов встретил, как он пишет Раевскому, «много хороших ребят». Среди них было немало грузин: в 1837 году в полку служили подполковник Бараташвили, майор Корганашвили, штабс-капитаны Павленишвили и Шаликашвили, прапорщики Андроникашвили, Иосселиани, Эристави, Мачабели, Сакварелидзе-Бежанишвили [3]. Но прежде всего следует назвать ветеранов полка, двух Чавчавадзе — Ясона и Спиридона — братьев знаменитого своим гостеприимством Гульбата Чавчавадзе, жившего в том же Цинандали «по старине самой глубокой» [4].

Как только в Цинандали появлялись нижегородцы, рассказывает Потто, тотчас съезжались гости и «на широком, как степь», дворе Александра Чавчавадзе начиналась джигитовка, потом скачки, стрельба. Оружием щеголяли и русские и грузины: кинжал и шашка в дорогой оправе, пистолет за поясом и винтовка за спиной имелись

---

[1] В. Враская. Пушкин в переписке родственников.— «Литературное наследство», т. 16-18, с. 793.

[2] В. Потто. История 44-го драгунского Нижегородского полка, т. IV. СПб., 1894, с. 50—51.

[3] Там же. Список офицеров, служивших в полку, т. X. СПб., 1895, с. 30, 31, 34, 36, 37.

[4] См. там же, т. IV. СПб, 1894, с. 50.

почти у каждого. Но у нижегородцев кабардинские кони под легкими черкесскими седлами, а у грузин дорогие карабахские жеребцы, под расшитыми шелком персидскими чепраками, увешанные золочеными бляхами, звеневшими при каждом движении [1].

Сохранилось подробное описание одежды и вооружения грузинских всадников: «В высоких персидских шапках из черной мерлушки, в чухах с закидными рукавами, обшитых галуном по всем швам, в высоких коричневых сапогах и шелковых зеленых или красных шароварах, с перекрещенными на груди ремнями, покрытыми серебряными или золотыми бляхами, вооруженные длинными ружьями без чехла, перекинутыми чрез левое плечо, и кривыми персидскими саблями, они,— пишет современник,— казались неотразимыми наездниками. Персидские и карабахские рослые жеребцы, на которых высоколукие персидские седла и стропы узды сверкали серебром, золотом и дорогими камнями, нетерпеливо грызли удила и прыгали под седоками» [2].

Это — описание офицера Грузинского конного полка 30-х годов прошлого столетия. И невольно вспоминаешь, как изобразил Лермонтов «властителя Синодала» — отважного князя:

Ремнем затянут ловкий стан;
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чухи,— кругом она
Вся галуном обложена.
Цветными вышито шелками
Его седло; узда с кистями;
Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти, золотой.
Питомец резвый Карабаха
Прядет ушьми и, полный страха,
Храпя косится с крутизны
На пену скачущей волны [3].

Тому, что Лермонтов претворял в «Демоне» очень конкретные впечатления, полученные во время поездок по Кахетии, мы находим все новые доказательства.

---

[1] В. Потто. История 44-го драгунского Нижегородского полка, т. II. СПб., 1893, с. 156.

[2] Т[орнау]. Воспоминания о Кавказе и Грузии.— «Русский вестник», 1869, т. 79, с. 438—439.

[3] «Демон», ч. I, строфа X.

Незадолго до войны в Киеве отыскалась неизвестная картина Лермонтова, писанная масляными красками: кавказский пейзаж с караваном верблюдов, слева возвышаются скалы, вершина одной увенчана башней. Это так называемый «замок царицы Тамары», но не в Дарьяльском ущелье, воспетый Лермонтовым в балладе «Тамара», а в Кахетии — между селением Караагач и Царскими Колодцами (Дедоплис Цкаро).

Я побывал там — это недалеко от Цители Цкаро — и воочию смог убедиться в том, что Лермонтов изобразил окрестности Караагача, где находилась квартира Нижегородского драгунского полка. Сопоставление репродукции с лермонтовской картины и фотографии, приложенных в конце этой книги, мне кажется, решает этот вопрос. Колхозник Ила Георгиевич Гивишвили, 106 лет, помнил, где стояли казармы полка сто лет назад, когда он был маленьким, и помог мне определить место, откуда Лермонтов писал свое полотно.

Важные уточнения внес работник Цителцкаройского райкома партии М. Гунченко. Таким образом, вопрос о том, что изобразил Лермонтов на своем полотне, можно считать решенным,— крепость, носящую название «Хорнабуджа» или «Тамарисцихе» («Крепость Тамары»). Эта скала, возвышающаяся над Караагачем, видна за много десятков километров из левобережной части Алазанской долины. В лермонтовские времена здесь пролегал торговый путь, и караваны верблюдов из Шемахи, Нухи, Закатал шли мимо Никорацихе на Царские Колодцы и Тифлис.

Н. П. Пахомов, составивший подробный каталог живописных работ Лермонтова, предполагал, что на этой картине изображены окрестности озера Севан в Армении [1]. Это ошибка. Лермонтов в Армении никогда не бывал, а кроме того, на лермонтовской картине нет никакого озера. Задний план ее составляет Алазанская долина, подернутая туманной дымкой.

По дороге, вьющейся у подножия скал, идут навьюченные верблюды; сдерживая горячего коня, едет всадник в высокой бараньей шапке, ветер развевает рукава его чохи. Рядом со всадником вооруженный человек в

---

[1] Н. П. Пахомов. Живописное наследство Лермонтова.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 91—92.

бурке. Это изображение — типичное для Кахетии тех лет. И оно вызывает в памяти строфу «Демона» — описание пышного каравана, который ведет «нетерпеливый жених». В данном случае Лермонтов-живописец очень удачно дополняет Лермонтова-поэта:

Под тяжкой пошею даров
Едва, едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая:
Их колокольчики звенят...
Он сам, властитель Синодала,
Ведет богатый караван...[1]

Правда, на картине изображен не длинный караван, а всадник и два верблюда, сопровождаемые погонщиками. Зато это и не иллюстрация к поэме. Важно, что одни и те же наблюдения Лермонтов запечатлел и в стихах и на полотне и что эти наблюдения связаны с его пребыванием в Кахетии в ту пору, когда он служил в Нижегородском драгунском полку и бывал в Цинандали, у Чавчавадзе.

Высокий дом Чавчавадзе стоял на крутом берегу Кисисхеви. С просторного балкона открывался вид на долину Алазани.

Многое теряет тот, кто не бывал в Кахетии, кому не приходилось наблюдать в Цинандали восход солнца из-за дальних гор Кавказского хребта, заслоняющего Алазанскую долину с востока, когда движется утренняя прохлада, когда, меняя освещение, серо-лиловые облака постепенно принимают перламутровые оттенки, а небо белеет и проникается голубоватой прозрачностью. Но вот над одной из ближних, покрытых серебряным снегом вершин оно вдруг начинает живеть, розоветь, пламенеть, и рыжий диск солнца внезапно выскакивает из-за зубчатого горизонта, и тогда туман, заслоняющий низ долины, распахивается внезапно, как театральный занавес, и перед глазами раскрывается Кахетия — нескончаемый сад, опоясанный серебряным кушаком Алазани.

Вблизи, на переднем плане, раскинулись селения, утопающие в зелени виноградников, осененные могучими кронами ореховых деревьев и чинар. Дальше — развалины старинных башен с бойницами, тополя, нивы, речки, дороги, снова селения, еще дальше рисуется уступами на

[1] «Демон», ч. I, строфа X.

горе древний Телави, десятка за два километров белеет стена величавого собора Алавéрды, и над всем этим, во всю длину долины, далекие, но словно придвинутые к вам, царят живые синие горы с припорошенными снегом вершинами.

Там, где вьется Алазань,
Веет нега и прохлада...

Так начинается написанное в Цинандали стихотворение Грибоедова. И, наверное, там же, в Цинандали, из уст самой Нины Лермонтов слышал рассказы о нем и его трагической гибели в Тегеране.

Семнадцати лет она осталась вдовой, отвергла любовь многих достойных, посещавших дом ее отца, и навсегда осталась верна памяти Грибоедова. Она могла бы сказать о себе словами лермонтовской Тамары:

Напрасно женихи толпою
Спешат сюда из дальних мест...
Немало в Грузии невест;
А мне не быть ничьей женою!..[1]

Она похоронила Грибоедова в Тифлисе, на склоне Мтацминда, в небольшом гроте возле храма св. Давида, и украсила могилу бронзовым изваянием плачущей женщины, упавшей к подножию креста; а на цоколе вывела вдохновенную эпитафию:

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя».

Беседуя с ней и ее отцом, Лермонтов, вероятно, читал им стихи и, вероятно, слушал стихи хозяина и строфы из поэмы бессмертного Руставели, которые под аккомпанемент чонгури запевал кто-нибудь из гостей.

Над пиршественными столами, расставленными в винограднике, в тени столетних чинар слышались приветственные тосты, лились вина в азарпеши, кулы и роги, оправленные в золото и серебро, гремели грузинские застольные песни. Но вот раздавалось тягучее, клейкое пищание зурны, мерный ропот и говор бубна и плеск хлопающих ладоней, и в папахе, надвинутой на брови, загнув назад рукава чохи, поправляя кинжал на ловком стане, в круг вылетал смуглый танцор, вызывая из красавиц красавицу. И Лермонтов восторгался «лекури» — танцем, так удивительно изображенным им в «Демоне»:

[1] «Демон», ч. II, строфа I.

В ладони мерно ударяя,
Они поют — и бубен свой
Берет невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, глядит —
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка... [1]

С огромным вниманием отнесся Лермонтов к этим незнакомым ему дотоле обычаям, выспрашивал, запоминал значения грузинских слов. Впоследствии, как мы уже видели, он широко использовал эти наблюдения в работе над «Демоном» и даже снабдил поэму маленьким грузино-русским словариком:

«Чадра — покрывало.
Зурна — в роде волынки.
Чуха — верхняя одежда с откидными рукавами.
Папаха — баранья шапка персидская, в родеериванки.
Чингар, чингура — род гитары».

А к строке «Привстав на звонких стременах» сделал примечание: «Стремена у грузин в роде башмаков из звонкого железа».

Правда, слова «чоха» и «чонгури» Лермонтов запомнил не совсем точно. Но это дела нисколько не меняет. Теперь уже наконец становится ясным, где мог наблюдать Лермонтов грузинский феодальный быт, так точно воспроизведенный им в «Демоне». И если об этом не сохранилось никаких сведений, то потому только, что все бумаги Александра и Нины Чавчавадзе сгорели.

В 1854 году, когда самого Александра Чавчавадзе уже не было в живых, а Нина Александровна гостила у сестры в Мингрелии, в Цинандали ворвались отряды Шамиля и, захватив в плен семью Давида Александровича, сына поэта, подожгли имение и скрылись. Известили нижегородцев, но лезгины с пленниками были уже далеко, а Цинандали пылало [2]. В огне погиб весь архив семьи. Если бы

---

[1] «Демон», ч. I, строфа VI.

[2] См.: «Пленницы Шамиля». Воспоминания г-жи Дрансе. Перевод с французского Е. Дзюбинского. Тифлис, 1858.

не этот пожар, мы, наверное, давно бы знали о том, что Лермонтов бывал у Чавчавадзе.

В романтической поэме о любви небожителя к красавице грузинке Лермонтов ограничился изображением княжеского быта. Но это вовсе не значит, что он не заметил, как жили грузинские крестьяне, как раз в ту пору, в тридцатых годах, поднимавшиеся на восстания против карталинских помещиков.

В «Герое нашего времени» Лермонтов описал бедную грузинскую саклю на Военно-Грузинской дороге. И этот реалистический эпизод не только один из лучших в путевых записках автора «Бэлы», но одно из первых и самых сильных в литературе изображений бесправной в ту пору жизни грузинских крестьян [1].

17

Десятого октября 1837 года в Тифлисе, на плацу Кабахи, состоялся царский смотр полкам, принимавшим участие в летней экспедиции против горцев. В параде участвовали четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка. Царь остался доволен «нижегородцами», и косвенно это отразилось на судьбе Лермонтова, хотя сам Лермонтов, очевидно, в параде не участвовал. Николаю уже докладывали о хлопотах Арсеньевой, мечтавшей «услышать прощение государя внуку своему». Через несколько дней после парада помянули и о заступничестве Жуковского, говорившего Бенкендорфу о надеждах, которые подавал Лермонтов русской литературе [2].

Наконец 1 ноября в «Русском инвалиде» был опубликован датированный 11 октября «высочайший приказ» о переводе Лермонтова в Гродненский лейб-гвардии гусарский полк [3]. Лермонтов получал возможность вернуться в Россию. Но служба в новом полку, стоявшем в аракчеевских военных поселениях близ Новгорода, не могла радовать его. «Если бы не бабушка,— признавался он в

---

[1] Вано Шадури. Грузия в русской литературе.— В кн.: «Русские писатели о Грузии», т. I. Тбилиси, «Заря Востока», 1948, с. XXVI—XXVII.

[2] См.: «Дневники В. А. Жуковского», с примеч. И. А. Бычкова. СПб., 1903, с. 369.

[3] См.: «Русский инвалид», 1837, № 273, 1 ноября.

письме к Раевскому,— то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что,— осторожно продолжал он,— вряд ли Поселение веселее Грузии».

«Иные говорят, что будет к Николину дню,— писала Е. А. Арсеньева о внуке приятельнице своей П. А. Крюковой,— а другие говорят, что не прежде Рождества, приказ по команде идет» [1].

От Тифлиса «высочайший приказ» шел три недели до Петербурга, и столько же времени шел до Тифлиса «по команде» номер «Русского инвалида» с опубликованным в нем «высочайшим приказом». Следовательно, он был получен в Тифлисе не раньше 22 ноября. До Караагача, где квартировал Нижегородский драгунский полк, этот приказ дошел только на третий день. Теперь понятно, почему Лермонтов оставался в полку до 25 ноября. Тем самым можно считать окончательно установленным, что он провел в Грузии вторую половину октября, весь ноябрь и выехал в начале декабря [2].

Для нас ясно, что он виделся с Чавчавадзе и в Тифлисе. Доказательство этому находится в записи Лермонтова, относящейся к 1837 году, на которую прежде не обращали внимания только потому, что не видели в ней никакого смысла.

На обороте листа, на котором написано стихотворение «Спеша на север из далека», Лермонтов торопливо нацарапал карандашом слова: «маико мая» [3].

Ласкательным именем Маико называли известную красавицу того времени княжну Марию Кайхосровну Орбелиани, о которой Я. П. Полонский писал в 40-х годах в одном из своих стихотворений:

---

[1] Л. Модзалевский. Письма Е. А. Арсеньевой о Лермонтове.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 650.

[2] Автор книги «Путешествие по южной России и главным образом по Закавказским провинциям в 1820—1824 гг.» французский консул Гамба пишет, что «обыкновенная почта приходила в Тифлис из Петербурга и Одессы на 25-й день». См. кн.: М. Полиевктов и Г. Натадзе. Старый Тифлис в известиях современников. Тифлис, Госиздат Грузии, 1929, с. 81. Ответ на запрос, посылавшийся в Петербург с фельдъегерем, приходил на сороковой день («Акты, собранные Кавказской археографической комиссией», т. VIII, с. 395).

[3] Тетрадь автографов Лермонтова («Чертковской библиотеки») в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея в Москве, ф. 445, № 227а, л. 44 об.

Из уст в уста ходила азарпеша,
И хлопали в ладони сотни рук,
Когда ты шла, Майко, сердца и взоры теша,
Плясать по выбору застенчивых подруг.

. . . .

Как после праздника в глотке вина отраду
Находит иногда гуляка удалой,
Так рад я был внимательному взгляду
Моей Майко, плясуньи молодой [1].

Эта девушка была задушевным другом Николоза Бараташвили и усердной его корреспонденткой, когда молодому поэту пришлось покинуть Тифлис и уехать на службу в азербайджанский город Гянджу.

Правда, стихотворение Полонского не дает еще достаточных оснований считать, что «Маико» в записи Лермонтова непременно Маико Орбелиани. Но в том, что здесь нет ошибки и что Лермонтов имел в виду именно ее, убеждает второе имя в записи. Мая — имя другой красавицы, Маи Орбелиани.

«Кто перечтет всех красавиц-грузинок того времени?! — восклицал русский офицер Торнау, побывавший в Тифлисе в тридцатых годах.— Кто не любовался стройною княжной Еленой и ее смуглою тонколицею сестрой Майко... идеально прекрасною Майко Кайхосро... Кто не помнит Марию Ивановну Орбелиани?» [2]

Елена и ее сестра Маико (или, как ее звали, в отличие от другой Маико,— Мая) — дочери Луарсаба Орбелиани, родные племянницы Саломе Чавчавадзе, жены поэта. Маико — дочь Кайхосро Орбелиани — двоюродная племянница Саломе, другими словами, троюродная сестра Нины Грибоедовой [3].

В 30-х годах поэт Соломон Размадзе, находясь в ссылке и вспоминая свою безмятежную жизнь в Тифлисе, воспел двенадцать самых красивых женщин своего круга: Нину и Екатерину Чавчавадзе, Манану, Маико и Софию Орбелиани, Анну Орбелиани, ее дочерей Елену и Маю, Варвару Туманишвили, Меланию и Дарью Эристави и не-

---

[1] Я. П. Полонский. Стихотворения («Библиотека поэта». Большая серия). Л., «Советский писатель», 1954, с. 111, стихотворение «После праздника».

[2] Т[орнау]. Воспоминания о Кавказе и Грузии. — «Русский вестник», 1869, т. 79, с. 434.

[3] Это помогли мне установить Н. Г. Тарсаидзе и Г. П. Моздокели.

известную нам Иакону. Каждой из них он посвятил строфу стихотворения «Пир Дианы»[1].

В 1882 году, уже на склоне жизни, Григорий Орбелиани, сообщая приятельнице Анастасии Оклобжио о смерти Анны Орбелиани, пишет, что она была так же красива, как дочери Александра Чавчавадзе, как Елена, как Манана, как Маико и Мая Орбелиани[2].

Важным доводом в пользу того, что Лермонтов записал имя Маико Кайхосровны Орбелиани, может, наконец, послужить письмо родственника и друга Лермонтова — Монго Столыпина, который в 1840 году писал из Тифлиса о красавицах, «каких не найти в Петербурге». Его тифлисскими знакомыми были: «маленькая княжна Аргутинская», а также Маико и Като Орбелиани — «две нежные жемчужины из тифлисского ожерелья». «И масса других,— продолжает Столыпин,— которых я не заметил, после того как увидел этих трех женщин»[3].

Столыпин находился в Тифлисе одновременно с Григорием Гагариным, который тогда же сделал два портрета Маико Орбелиани: один из них хранится в отделе рисунков Государственного Русского музея, другой был в частном собрании в Тбилиси.

Была в Тифлисе в то время еще одна Маико Орбелиани — Мария Ивановна, которую вспоминает Харламова, рассказывая, как к ним для совместного учения приходили Нина Чавчавадзе и Мария Ивановна (Маико) Орбелиани. Но эта Маико в тридцатых годах была уже замужем, уже побывала в Калуге за участие ее мужа в заговоре 1832 года и, в отличие от Маико Кайхосровны,— русские знакомые (Инсарский, Зиссерман, Торнау) и даже грузин Григорий Орбелиани в своих письмах вспоминают ее как Марию Ивановну.

В одном из писем 1838 года Лермонтов в шутку замечает, что женщины на Кавказе малоразговорчивы: «как,

---

[1] Соломон Размадзе. Дианас меджлиси.— «Цискари», 1858, № 12, с. 205. Более точный текст, с которым меня познакомила Христина Шарашидзе, в Институте рукописей Академии наук Грузинской ССР, шифр А. 1284.

[2] Григорий Орбелиани. Письма. Под редакцией А. Гацерелиа, т. I. Тбилиси, 1936, с. 239 (на грузинском яз.).

[3] ЦГАЛИ, ф. 195, д. № 4517. Сообщено мне научным сотрудником Государственного музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске покойным С. И. Недумовым.

например, грузинки,— добавляет он в скобках,— они не говорят по-русски, а я — по-грузински» [1].

Хотя Маико и Мая Орбелиани, посещавшие официальные приемы и балы в доме главноуправляющего Грузией барона Розена, по-русски, конечно, объяснялись, все же у нас нет оснований считать, что Лермонтов вел с ними долгие беседы. Но в том, что Лермонтов встретил их в семье Чавчавадзе,— в этом мы совершенно уверены. Двери дома Чавчавадзе, вспоминает современник, «всегда были отверсты для бесконечного множества родных, друзей, знакомых, которые в нем веселились, пировали, плясали досыта» [2]. «Каждый день с утра,— пишет другой очевидец,— собирались у него родственники и родственницы грузинские, потом приходили русские, один за другим, кто как освобождался от службы. За стол садились иногда, кроме семейства, по двадцати нежданных гостей» [3].

Офицер Торнау, из воспоминаний которого взяты приведенные строки, рассказывает, что «своей добродушной встречей» на балу Александр Гарсеванович и его жена возбудили в нем «смелость на другой же день явиться к ним на поклон». «Не прошло и месяца, как я стал у них хотя и не домашним человеком,— пишет Торнау,— но таким, который бывал ежедневно, обедал очень часто и просиживал долгие зимние вечера, когда они сами не были приглашены в гости» [4].

Рассматривая и сопоставляя новые факты, мы снова убеждаемся в том, что у Лермонтова была полная возможность встретиться с Чавчавадзе в Тифлисе.

Одиннадцатого октября 1837 года, на четвертый день пребывания царя, главноуправляющий Грузией барон Розен устроил бал, на котором среди гостей современники отметили Нину Грибоедову и Маико Орбелиани [5]. Английский путешественник капитан Ричард Уильбрехем познакомился на этом балу с Екатериной Чавчавадзе, которую

---

[1] Лермонтов, т. VI, с. 444.

[2] «Воспоминания Андрея Михайловича Фадеева». Одесса, 1897, ч. II, с. 116.

[3] Т[орнау]. Воспоминания о Кавказе и Грузии.— «Русский вестник», 1869, т. 80, с. 698.

[4] Там же, с. 696—697.

[5] См.: Б. Л. Модзалевский. Кавказ николаевского времени в письмах его воинских деятелей (из архива Б. Г. Чиляева).— «Русский архив», 1904, № 1, с. 131.

именует в своих мемуарах «княжной Катинькой» (Princess Katinka), и рассказывает о ней, о ее сестре «мадам Гребаидов» и об их отце «князе***», которому он вместе с адъютантом барона Розена К. А. Суворовым нанес визит 13(25) октября 1837 года[1]. Итак, в то время, когда Лермонтов прибыл в Тифлис (а миновать Тифлиса он не мог), Чавчавадзе находились в городе.

Но когда же в таком случае могла состояться встреча в Цинандали?

Имеется точный ответ и на это! «В бытность барона Розена,— пишет Торнау,— Чавчавадзевы провели в городе только одну зиму». С его же слов мы знаем, что это была зима 1831/32 года[2].

Значит, в 1837 году, вскоре после отъезда царя, Чавчавадзе вернулись на зиму в Цинандали. Но, вероятно, Лермонтов познакомился с ними в Тифлисе, в их гостиной встретил красавиц Маико и Маю Орбелиани и записал на листке бумаги для памяти эти не встречавшиеся ему дотоле имена. А потом где-нибудь на станции Военно-Грузинской дороги, достав этот лист из своего чемодана, стал набрасывать на обратной стороне пришедшие в голову строки:

Спеша на север из далека,
Из теплых и чужих сторон,
Тебе, Казбек, о страж востока,
Принес я, странник, свой поклон.

Так до сих пор не расшифровывавшаяся и не использованная запись Лермонтова подтверждает, что он был знаком с Чавчавадзе. А раз подтверждается это, то, следовательно, не исключена возможность знакомства Лермонтова с другим замечательным поэтом — Григорием Орбелиани. Участник грузинского противоправительственного заговора 1832 года, Орбелиани, как мы знаем, несколько лет находился в ссылке в России и служил на Балтийском побережье в Нарвском пехотном полку. Но как раз в 1837 году ему был разрешен годовой отпуск в Тифлис[3].

---

[1] См.: «Travels in the transcaucasian provinces of Russia... in the autumn and winter of 1837, by captain Richard Wilbraham», London, 1839, p. 251, 259.

[2] См.: Т[орнау]. Воспоминания о Кавказе и Грузии.— «Русский вестник», 1869, т. 80, с. 698.

[3] См.: Григорий Орбелиани. Письма. Под редакцией А. Гацерелия, т. I. Тбилиси, 1936, с. 242 (на грузинском яз.).

В доме Чавчавадзе Лермонтов мог видеть среди гостей Николоза Бараташвили, в ту пору юношу двадцати одного года, уже писавшего замечательные стихи.

Может возникнуть законный вопрос: почему об этом никто из современников не упомянул ни словом?

Ответить на этот вопрос нетрудно: представители грузинского общества, с которыми познакомился Лермонтов, виделись друг с другом постоянно, и события их повседневной жизни оставались не закрепленными на бумаге, не отразились в письмах. Даже Григорий Орбелиани, которому в ссылку сообщали все новости, как раз в это время находился в Тифлисе.

Встречался Лермонтов в Тифлисе с Владимиром Дмитриевичем Вольховским — «старинным приятелем Чавчавадзе», так называет его Торнау. Лицейский товарищ Пушкина Вольховский за принадлежность к Союзу благоденствия был удален в 1826 году на Кавказ и с 1833 года до декабря 1837 года занимал в Тифлисе должность начальника штаба Кавказского корпуса. Вскоре после отъезда Николая I из Тифлиса последовал приказ о смещении Вольховского и командира Кавказского корпуса Розена, которыми царь остался недоволен. Впрочем, оба они исправляли свои должности до весны 1838 года [1].

Высказанное мной еще в 1939 году предположение о знакомстве Лермонтова с Вольховским подтвердилось. Обнаружено письмо Вольховского — ответ его Алексею Илларионовичу Философову, с которым он дружен был еще со времен турецкой кампании, что письмо его, Философова, с просьбой посодействовать сосланному на Кавказ Лермонтову получил и с самим Лермонтовым познакомился. «Постараюсь,— сообщал он Философову,— действовать на щет его в твоем смысле» [2].

Перечисленные здесь люди составляли небольшой круг тогдашней интеллигенции Тифлиса, все они чуть ли не каждый день встречались друг с другом, и если в Тифлис

---

[1] См.: Л. С. Исарлов (Исарлишвили). Письма о Грузии, изд. Чичинадзе. Тифлис, 1899, с. 185; А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1900, с. 200, 202.

[2] А. Н. Михайлова. Лермонтов и его родня по документам архива А. И. Философова.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 678—680. Ср.: Ираклий Андроников (Андроникашвили). Лермонтов в Грузии.— «Красная новь», 1939, № 10-11, с. 252.

попадал новый человек, да еще поэт, такой, как Лермонтов, он должен был вскоре перезнакомиться со всем обществом. Вспомним, что не только Грибоедов, Кюхельбекер, Лев Пушкин, Полонский, Гагарин, но и многие другие — и офицеры и чиновники, приезжавшие из России,— свободно посещали дом Чавчавадзе, и нужны были бы какие-то особые обстоятельства, чтобы Лермонтов не познакомился с тифлисским литературным кругом и не попал в гостеприимный дом грузинского поэта. Для нас очевидно, что это знакомство произошло.

18

Но при этом важно помнить, что сам Александр Чавчавадзе только в 1837 году вернулся в Грузию из России, куда был удален в связи с делом о противоправительственном заговоре 1832 года.

Этот заговор возник в 1830 году, когда видные представители грузинской феодальной знати — родовые аристократы, а также грузинские царевичи — потомки династии Багратиони, еще в начале века высланные из Грузии в Россию, задумали путем вооруженного восстания свергнуть в Грузии власть российского самодержавия.

Однако они отнюдь не стремились при этом упразднить монархическое правление. Они собирались лишь восстановить в Грузии старую феодальную монархию, вновь возвести на грузинский престол династию Багратиони.

Александр Чавчавадзе не принял участия в заговоре. Но при той популярности, какой он пользовался в грузинском обществе, молодым людям, строившим планы об отложении Грузии от Российской империи и часто встречавшимся в его доме, важно было вовлечь и его в свои замыслы. «Ваше единое слово может вооружить всю Грузию: все только ждут вашего приказания и готовы подчиниться вам»,— убеждал Чавчавадзе один из организаторов заговора. «Все, которые знали, никто не хотел участвовать без генерала Чавчавадзе»,— подтверждал в своих показаниях другой [1]. Известно также, что, строя свои планы на будущее, заговорщики намечали генерала

---

[1] ЦГИА Грузинской ССР, ф. 1457, VII, 1156.

Чавчавадзе на пост военного министра «независимой» Грузии.

Однако Чавчавадзе отверг предложения заговорщиков и горячо убеждал их самих «оставить вовсе свои замыслы», а одному заявил даже, что в случае восстания «лучше умрет за русских» [1].

Возникает вопрос: почему Чавчавадзе не принял участия в заговоре? Ведь он не был предан и не испытывал чувств верноподданного по отношению к палачу декабристов императору Николаю. Нет! Эти чувства были чужды Чавчавадзе. Более того: друг декабристов, поэт-вольнодумец, один из передовых людей своего времени, он относился к царизму враждебно. А в заговоре 1832 года не принял участия совсем по другой причине: он не разделял замыслов заговорщиков.

Мы имеем все основания утверждать, что разрыв с Россией и ориентацию на помощь шахской Персии, на которую рассчитывали грузинские царевичи, Чавчавадзе считал для Грузии гибельными. «После убийства персами зятя моего благородного Грибоедова,— писал он в своих показаниях,— ничего столько не желаю, как дожить до войны против сих извергов... Желать персов для изгнания русских! Откуда могла во мне родиться такая адская мысль!..» [2]

Искренность этих слов не вызывает сомнений. Тем более что в юности Чавчавадзе сам был замешан в заговоре царевича Парнаоза, отдал тогда дань дворянскому национализму и, осознав свою ошибку, не мог не вспомнить при обращении с заговорщиками этого своего горького опыта.

Он не примкнул к заговору. Но, зная о существовании тайного общества и о его целях, он тем самым оказался косвенно причастным к делу, ибо выдать николаевскому правительству тайное общество он не мог. Отрицая потом перед следственной комиссией свое участие в замыслах заговорщиков, он, между прочим, писал, что «если бы даже и узнал то, что ныне обнаружилось, и тогда бы не унизил себя до того, чтобы сделаться доносчиком подобной безрассудной ветрености» [3].

---

[1] ЦГИА Грузинской ССР, ф. 1457, III, 407, I, 40, «Акты, собранные Кавказской археографической комиссией», т. VIII, с. 406.
[2] ЦГИА Грузинской ССР, ф. ОВД, д. 166, л. 426—427.
[3] Там же.

Однако из показаний других арестованных комиссия заключила, что генерал-майор Чавчавадзе «с давнего времени знал о преступных замыслах своих родственников и единоземцев и, скрыв оные от правительства, нарушил одну из первых обязанностей верноподданного» [1]. На этом основании он был отнесен к категории лиц, «кои знали об умысле, но с тем вместе не изъявили на оный согласия» [2]. В начале 1834 года, после окончания дела, поэт «по высочайшему повелению» был сослан в Тамбов.

Что Чавчавадзе были чужды планы восстановления грузинского престола и «независимой» Грузии, доказывает его стихотворение «Кавказ», в котором он пишет:

И армия Севера в славе железной
Шагнула на кряж и, не дрогнув над бездной,
Кремневую молнию сжала рукой
И склеп раскрошила солдатской киркой.
Гряда великанов на вызов металла
Рыдала отгулами и трепетала.
Но дети Иверии поняли: тут
В их светлое Завтра дороги ведут [3].

Дословно:

Путь открылся, и родились у иверийцев надежды, вера,
Что оттуда <с Севера> войдет в их среду просвещенье.

«Просвещение» здесь надо понимать, конечно, не как синоним культуры вообще: под словом «просвещение» здесь подразумеваются передовые идеи русской и европейской общественной мысли конца XVIII века.

Даты написания стихов Чавчавадзе, в частности этого стихотворения, не установлены. Но несомненно, что он, сын Гарсевана Чавчавадзе, поборника сближения Грузии с Россией, и сам активный сторонник сближения грузинского общества с передовыми русскими людьми, выразил в этом стихотворении не временное, но постоянное, устойчивое свое отношение к вопросу о будущем Грузии. В его представлении это будущее было связано с развитием Грузии под защитой России.

Все это не исключало отрицательного отношения Чавчавадзе к политике российского самодержавия в Грузии.

---

[1] «Акты, собранные Кавказской археографической комиссией», т. VIII, с. 392—393.

[2] ЦГИА Грузинской ССР, ф. ОВД, д. 166, л. 5259.

[3] Перевод П. Антокольского. («Поэзия Грузии», М.— Л., Гослитиздат, 1949, с. 209.)

Наоборот! Установлено, что Чавчавадзе был автором «Краткого исторического очерка Грузии и ее положения с 1801 по 1831 год». Этот глубоко продуманный документ грузинский поэт адресовал самому императору [1].

Сопоставляя «Очерк» Чавчавадзе с грибоедовским проектом экономического и культурного преобразования Закавказья, исследователи отметили сходство во взглядах обоих авторов. Это сходство не ускользнуло уже и тогда от внимания командира Кавказского корпуса. В своем секретном донесении военному министру Чернышеву барон Розен сообщил, что Чавчавадзе, «будучи тестем покойного Грибоедова, имел в нем средство усовершенствоваться в правилах вольнодумства» [2].

В своих суждениях о «вольнодумстве» Чавчавадзе Розен не ошибался. И в заграничном походе 1813—1814 годов, и в период службы в Царском Селе в лейб-гусарах, и по возвращении в Грузию поэт постоянно находился в атмосфере передовых идей эпохи. Чаадаев, Пушкин, Кюхельбекер, Александр и Николай Раевские, кружок прогрессивно настроенных офицеров, служивших при А. П. Ермолове, а после 1825 года декабристы, сосланные в войска Кавказского корпуса,— вот та среда, с которой Чавчавадзе близко соприкасался в десятых — двадцатых годах. И несомненно, что он воспринял при этом некоторые декабристские идеи. Вернее всего мы можем судить об этом по другому его стихотворению — «Горе миру!», которое приводится здесь в прозаическом переводе:

Горе миру сему и его обитателям,
Этим сосудам зла и обмана, что без права хотят
Угнетать добронравие и жить, упиваясь
Ограблением народа, притеснением, разбоем.

Коварные души гнусности похвалу здесь возносят
На того, кто добро совершает, клевещут,
Исполнены зависти. Иные обогащаются, и чем же,
о братья?
Ограблением народа, притеснением, разбоем.

---

[1] См.: В. Шадури. Страницы великой дружбы.— «Литературная Грузия», 1957, № 2, с. 114—120.

[2] Елена Вирсаладзе. Современники Н. Бараташвили.— «Литературули дзиэбани» («Литературные разыскания»), III, 1946, с. 127 (на грузинском яз.; цитированный документ — по-русски).

Властители царств друг другу стараются заговорить зубы,
Подобно зверям, безжалостно терзают людей,
И тот богатеет, кто силой возьмет, и живет, процветая,
Ограблением народа, притеснением, разбоем.

С улыбкой смотрят на поверженных сильные,
Правда ими похищена и сокрыта,
Цветы ее увяли и попраны
Ограблением народа, притеснением, разбоем.

Но и победителю будет отмщенье!
Его злодеяния отольются ему.
Уйдет от него, исчезнет то, что неправо добыто
Ограблением народа, притеснением, разбоем.

Иные, чтобы стяжать больше,
Готовы преступить закон, не задумываясь,
Не щадят подобных себе, добывая сокровище
Ограблением народа, притеснением, разбоем.

Государи, участь которых вызывает в нас зависть,
У них много забот, все время их занято
Стремлением возвеличиться еще более
Ограблением народа, притеснением, разбоем.

Царедворцы, вокруг тронов стоящие,
С братьями враждуют, питают к ним зависть,
Друг друга уничтожают и славятся
Ограблением народа, притеснением, разбоем.

Вы, жизнь бедняков горечью наполняющие,
Вы, без права, без совести сделавшие их своими рабами,
Ждите — вы уподобитесь им!
Не вечно блаженствовать вам, не вечно вам жить
Ограблением народа, притеснением, разбоем.

Жаль, что мы не знаем, когда возникли эти удивительные стихи. Но содержание их от того не меняется. Направленные против тиранов-царей и злодеев-царедворцев, полные угроз по адресу крепостников-феодалов и грабителей-купцов, они отчасти напоминают агитационные песни Рылеева и Бестужева, они сродни заключительной строфе лермонтовского стихотворения на смерть Пушкина. В них нельзя усмотреть никакого намека на идеи грузинских феодалов, мечтавших отложиться от России и восстановить грузинский престол. Они противостоят идее грузинских аристократов, направлены против них.

Становится окончательно ясным, что Чавчавадзе не принял участия в заговоре 1832 года не потому, что решил остаться лояльным по отношению к российскому самодержавию, а потому, что в присоединении к России видел единственное спасение грузинского народа от истребления его персидскими и турецкими захватчиками. Становится ясным, что он не сочувствовал и не мог сочувствовать замыслам заговорщиков и потому, что по своим политическим взглядам был гораздо ближе к республиканцам-декабристам, чем к грузинским царевичам и к их сторонникам.

Стоит обратить внимание на тот факт, что Николай I, крайне заинтересованный в умиротворении грузинского дворянства, отдавший специальный приказ «наказать одних виновнейших и не отягощать участи лиц, сделавшихся прикосновенными» к заговору, тем не менее сослал Чавчавадзе. Надо полагать, что главную роль в этом решении сыграла политическая репутация поэта: известно, что в 1829 году Чавчавадзе уклонился от выполнения приказа об аресте Николая Раевского, который вызвал гнев императора своим вольным, дружеским обращением с сосланными декабристами. Знал царь о дружеском отношении к декабристам и самого Чавчавадзе. Просматривая показания арестованных по делу о заговоре 1832 года, он должен был обратить внимание на смелое заявление Чавчавадзе о том, что он «если бы даже и знал» о заговоре, то никогда бы не довел до сведения царских властей о готовившемся на них покушении. Во всяком случае, показательно, что с некоторыми из самых активных заговорщиков, «злоумышлявших против правительства», он обошелся мягче, чем с Чавчавадзе, который, как считала комиссия, «на умысел не соглашался, оный не одобрял... и убеждал покинуть столь безрассудное предприятие,— так что ему единогласно приписывают оставление заговорщиками своих пагубных намерений» [1].

Часть привлеченных к делу была оставлена под надзором полиции в Тифлисе, другие, подобно Чавчавадзе, высланы на жительство в разные города России или переведены в дальние гарнизоны. Серьезно пострадал только учитель Соломон Додашвили, который, в отличие от других заговорщиков, мечтал об освобождении Грузии от

[1] ЦГИА Грузинской ССР, ф. ОВД, д. № 166, л. 504 об.— 505.

власти российского самодержца «не для того, чтобы кто-нибудь из рода Багратионовых воцарился в оной, но чтобы из Грузии сделался род республики» [1]. При аресте в его бумагах нашли копию предсмертного письма Рылеева к жене. Судя по всему, Додашвили были не чужды политические идеи декабристов. Он не вернулся на родину — умер в Вятке в 1836 году.

Но уже в следующем, 1837 году один из участников заговора, бывший лейб-гусар Георгий Романович Эристави, добился перевода в Грузию, в Нижегородский драгунский полк, где продолжал отбывать наказание одновременно с Лермонтовым [2]. В том же году возвратился в Грузию Григорий Орбелиани. Ссылка Чавчавадзе окончилась еще раньше. Но так как сведений об этом в биографической литературе о нем не имеется, следует, хотя бы коротко, рассказать здесь о том, сколько времени Чавчавадзе находился в ссылке и когда возвратился на родину.

Он был арестован по именному повелению царя 15 января 1833 года, 8 сентября освобожден и отпущен в имение свое Цинандали, где жил под секретным надзором. 18 января 1834 года отправился на жительство в Тамбов [3].

Распространенное мнение, что он был выслан в Тамбов сроком на четыре года, ни на чем решительно не основано. И сейчас мы убедимся, что он провел в Тамбове отнюдь не четыре года, а всего лишь два с половиной месяца.

Прибыв в Тамбов 18 февраля, Чавчавадзе сразу же обратился с письмом к Паскевичу, под начальством которого воевал против турок. Поэт просил фельдмаршала выхлопотать для него разрешение приехать в Петербург для свидания с императором, которому он препровождал докладную записку [4].

Царь уважил ходатайство Паскевича (как это было и в случае с Грибоедовым, арестованным по делу декабристов). 22 апреля 1834 года Чавчавадзе был вызван из

---

[1] ЦГИА Грузинской ССР, ф. 1457, IX, 1567.

[2] См.: В. Потто. История 44-го драгунского Нижегородского полка, т. IV. СПб., 1894, с. 57.

[3] ЦГИА Грузинской ССР, ф. ОВД, д. № 164, лл. 169, 442, 464—467; д. № 166, л. 482; д. № 167, л. 458.

[4] Там же, ф. ВУА, д. № 1121, л. 1—4. Ср.: С. Маглакелидзе. Материалы к биографии Александра Чавчавадзе.— «Саисторио моамбе», 1946, № 2, с. 245—247 (на грузинском яз.).

ссылки в Петербург. Об этом мы узнаем из неопубликованного документа, полученного из Тамбовского областного архивного управления. «Государь император высочайше соизволил разрешить находящемуся ныне на жительстве в г. Тамбове генерал-майору князю Чавчавадзе приехать в С.-Петербург»,— сообщал военный министр тамбовскому гражданскому губернатору.

В первых числах мая Чавчавадзе выехал из Тамбова [1].

Вскоре до Тифлиса дошли слухи, что царь просил Чавчавадзе «позабыть все прошедшее» [2].

Понятно, что «милостивое» обращение императора с опальным поэтом было вызвано не отношением к нему самому, а желанием сделать шаг к примирению с грузинским дворянством. Николая I привлекала огромная популярность Чавчавадзе среди грузин. И судьба его, по мысли царя, должна была послужить образцом «истинно отеческого снисхождения к заблуждающейся части грузинского благородного сословия».

В Петербурге Чавчавадзе провел и следующие два года — 1835 и 1836. Григорий Орбелиани, находившийся тогда в Риге, сообщал в Тифлис последние петербургские новости: он видел барона Г. В. Розена. Тот рассказывал ему, как живет в Тифлисе семья Чавчавадзе, о самом «князе», которого встретил в столице, о приезде в Грузию дочери царя Ираклия II царевны Текле. «Я знаю, что князь очень хорошо принят в Петербурге»,— писал Орбелиани об Александре Гарсевановиче Чавчавадзе со слов Розена.

Это письмо 1835 года [3].

Новые важные сведения о пребывании Александра Чавчавадзе в Петербурге в 1834—1836 годах содержатся в новонайденных записках петербургского чиновника Василия Завелейского — племянника П. Д. Завелейского, того, который в 1829—1831 годах был грузинским гражданским губернатором, а позже привлекался по делу о заговоре 1832 года. Как сообщает В. Завелейский, Чавчавадзе постоянно встречался в Петербурге с Петром За-

---

[1] Тамбовское областное архивное управление, ф. 4, д. 18, лл. 17, 21, 28 и 36.

[2] «Акты, собранные Кавказской археографической комиссией», т. VIII, с. 423.

[3] Григорий Орбелиани. Письма. Под редакцией А. Гацерелия, т. I. Тбилиси, 1936, с. 33 (на грузинском яз.).

велейским и с прежними его сослуживцами по Тифлису — литератором В. Н. Григорьевым, статистиками-экономистами В. С. Легкобытовым и И. Н. Калиновским, с младшим братом П. Завелейского — Михаилом. С тремя последними Чавчавадзе жил в доме купца Яковлева на Фонтанке возле Семеновского моста и держал общий стол с ними.

Осенью 1836 года Чавчавадзе находился еще в Петербурге. 16 сентября датировано прошение, которое он подавал Паскевичу и на котором помечено: «С.-Петербург». Он возвратился на родину в июне 1837 года. Об этом мы узнали из письма его дочери — Екатерины Александровны Чавчавадзе [1]. Немецкий путешественник Карл Кох, встретив его в Тифлисе, в 1837 году записал в своем дневнике: «образованнейший из грузин, приобретший за время долгого пребывания в Петербурге и в Западной Европе такие познания, каких не ищут в далеком Закавказском крае» [2].

Что Чавчавадзе находился в Тифлисе в то время, когда туда прибыл Лермонтов, подтверждается, как мы видели, мемуарами Ричарда Уильбрехема [3]. Английский капитан навестил Чавчавадзе 13 октября 1837 года.

19

Итак, Чавчавадзе возвратился из ссылки. Выдающийся поэт, генерал, прославившийся в персидской и турецкой войнах, один из самых образованных грузин того времени, истинный патриот, человек передовых взглядов, гостеприимный хозяин, в доме которого находили радушный прием сосланные и разжалованные, он, несомненно, был в глазах Лермонтова необыкновенно привлекательной и благородной фигурой. Вот кого мог подразумевать Лермонтов,

---

[1] Я. Балахашвили. О дате возвращения Александра Чавчавадзе на родину.— «Ахалгаздра комунисти», 1959, № 95 (на грузинском яз.).

[2] K. Koch. Reise durch Rußland nach dem Kaukasischen Isthmuss in den Jharen 1836, 1837 und 1838. Stuttgart und Tübingen, 1842. B. II, S. 314, 191.

[3] «Travels in the transcaucasian provinces of Russia... in the autumn and winter of 1837, by captain Richard Wilbraham», London, 1839, p. 250.

когда писал Святославу Раевскому о том, что в Тифлисе «есть люди очень порядочные».

Известно также, что Лермонтов встретился и подружился в Грузии с декабристом Александром Ивановичем Одоевским. В 1837 году Одоевский был переведен из Сибири солдатом в Грузию и «служил в Нижегородском драгунском полку в одно время с удаленным туда Лермонтовым» [1], он числился налицо в полку с 7 ноября 1837 года [2].

Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока и тоску изгнанья
Делили дружно...

Так начинается написанное в 1839 году стихотворение Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского».

Несмотря на кратковременное знакомство, Лермонтов с полным правом мог сказать, что «знал его». Такой глубокой и верной характеристики Одоевского не оставил никто из его друзей [3].

Через год после Лермонтова с ним познакомился Н. П. Огарев: это было в 1838 году, в Пятигорске. «Встреча с Одоевским и декабристами,— вспоминал Огарев многие годы спустя,— возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я — идущий по их дороге, я — обрекающий себя на ту же участь... это чувство меня не покидало. Я написал в этом смысле стихи, которые, вероятно, были плохи по форме, потому что я тогда писал много и чересчур плохо, но которые по содержанию, наверно, были искренни до святости, потому что иначе не могло быть. Эти стихи я послал Одоевскому после долгих колебаний истинного чувства любви к *ним* и самолюбивой застенчивости. Часа через два я сам пошел к нему. Он стоял середь комнаты; мои стихи лежали перед ним на стуле. Он посмотрел на меня с глубоким, добрым участием и раскрыл объятия; я бросился к нему на шею и заплакал, как ребенок. Нет! и теперь не стыжусь я этих слез; в самом деле это не были слезы пустого самолюбия.

[1] А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1900, с. 208.

[2] См.: «Восстание декабристов». Материалы, т. VIII, «Алфавит декабристов». Л., 1925, с. 367.

[3] А. И. Одоевский. Полн. собр. стихотворений и писем. М.—Л., «Academia», 1934, с. 97 (статья И. А. Кубасова «А. И. Одоевский»).

В эту минуту я слишком любил его и всех, слишком чисто был предан общему делу, чтоб какое-нибудь маленькое чувство могло иметь доступ до сердца. Они были чисты, эти минуты, как редко бывает в жизни. Дело было не в моих стихах, а в отношении к начавшему, к распятому поколению — поколения, принявшего завет и продолжающего задачу...»[1]

Это удивительное описание можно было бы и не приводить здесь, если бы в нем не выразилось отношение к декабристам целого поколения, к которому принадлежал и Лермонтов. Герцен имел в виду прежде всего преемственность революционных идей и общее отношение к подвигу декабристов, когда писал о Лермонтове: «Он полностью принадлежит к нашему поколению»[2]. Как и для них, Одоевский был для Лермонтова живым символом декабристского поколения. «Самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе» — это превосходство Одоевского над остальными его товарищами отметил Огарев[3], и отметил именно потому, что ощутил в Одоевском постоянную готовность на мученичество за общее дело, не угасавшее в нем юношеское самоотвержение.

Эти же свойства Одоевского пленили Лермонтова: это видно из текста стихотворения.

Одоевский рассказывал ему, конечно, о дружбе своей с Рылеевым («по пылкости своей сошелся более с Рылеевым»,— написано в его «Показаниях»), с Бестужевым, с которым вместе жил в Петербурге, в одной квартире. В этой квартире у Бестужева и Одоевского на Почтамтской, в доме Булатова, происходили совещания тайного общества, жил Грибоедов, в несколько рук переписывалось «Горе от ума». Рассказывал Одоевский Лермонтову о дружбе своей с Грибоедовым, с Кюхельбекером, который любил его «более чем братской» любовью.

14 декабря Одоевский оказался в самом центре событий. Возвращаясь из караула в Зимнем дворце, он поспешил к своему полку — в казармы Конной гвардии — и горячо агитировал солдат, пытаясь поднять их на восстание. Затем явился на Сенатскую площадь и был назначен начальником заградительной цепи. Недаром Николай I

---

[1] Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения, т. I. М., Госполитиздат, 1952, с. 406.

[2] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VII, с. 225.

[3] Н. П. Огарев, цит. изд., с. 405.

считал его в числе «самых сильных заговорщиков». Одоевский — не вовлеченный в заговор юноша, а пламенный революционер, боец, глубоко убежденный в исторической правоте их дела. «Мы умрем! Ах, как мы славно умрем!» — в этих словах Одоевского, сказанных перед восстанием, не было веры в их победу на площади, но была глубокая вера в историческое значение их подвига. По словам Огарева, он, «несмотря на ранний возраст... принадлежал к числу тех из членов общества, которые шли на гибель сознательно, видя в этом первый вслух заявленный протест России против чуждого ей правительства и управительства, первое вслух сказанное сознание, первое слово гражданской свободы; они шли на гибель,— говорит Огарев,— зная, что это слово именно потому и не умрет, что они вслух погибнут» [1]. «...Их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена» [2],— писал В. И. Ленин. А строчка из ответа декабристов Пушкину, написанного Одоевским, стала эпиграфом ленинской «Искры».

Одоевский до конца оставался верным своим убеждениям. Достаточно перелистать томик его стихотворений:

Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы:
Она нагрянет на царей,—
И радостно вздохнут народы.

(1827)

За святую Русь неволя и казни —
Радость и слава...
Славим нашу Русь, в неволе поем
Вольность святую...

(1830)

Пять жертв встают пред нами: как венец
Вкруг выи вьется синий пламень,
Сей огнь пожжет чело их палачей,
Когда пред суд властителя царей
И палачи и жертвы станут рядом...

(1831)

Из текста лермонтовского стихотворения видно, что в его беседах с Одоевским политическая тема занимала важное место. Одоевский говорил ему, что продолжает верить

[1] Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения, т. I. М., Госполитиздат, 1952, с. 404—405.
[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 261.

в русскую свободу — в «иную жизнь» — и в людей, которые придут, чтобы продолжить их дело.

Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную...

С горечью говорил Одоевский о гибели всех планов тайного общества, которые рухнули в то пасмурное декабрьское утро, говорил о крушении политических надежд своей молодости.

В могилу он унес летучий рой
. . . .
Обманутых надежд и горьких сожалений.

Он рассказывал Лермонтову о друзьях, оставленных им в Сибири:

...он погиб далеко от друзей...—

делился с Лермонтовым замыслами

еще незрелых темных вдохновений...—

читал стихи, большая часть которых так и осталась незаписанной:

...дела твои, и мненья,
и думы,— все исчезло без следов...[1]

Они были на «ты». Это не условное обращение к умершему, нет! Лермонтов звал его «Сашей». Оба — поэты, оба — изгнанники, они вместе мечтали о свободе, во имя которой боролись и творили. Это была настоящая дружба. В самом стихотворении Лермонтов создал портрет вдохновенного поэта и стойкого политического борца[2].

В Нижегородском полку Лермонтов встретился с Николаем Андреевичем Жерве и графом Андреем Павловичем Шуваловым, отправленным царем в войска Кавказского корпуса за проявление оппозиционного духа. Оба были сосланы еще в 1835 году[3].

Штабс-капитан Жерве получил возможность вернуться в Россию одновременно с Лермонтовым, когда в Гру-

[1] Лермонтов, т. II, с. 131—132.

[2] В осмыслении политического облика А. Чавчавадзе и подтекста стихотворения Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского» я многим обязан беседам с М. В. Нечкиной.

[3] См.: Э. Герштейн. Лермонтов и кружок шестнадцати.— В кн.: «Лермонтов. Исследования и материалы». М., Изд-во АН СССР, 1941, с. 88.

зии был получен «высочайший» приказ о переводе их в гвардейские полки, подписанный в Тифлисе 11 октября 1837 года. Юнкер Шувалов провел в ссылке три года, несмотря на тяжелую рану, полученную им в экспедиции. Он возвратился в столицу только весной 1838 года, дослужившись до чина поручика.

Эта встреча положила начало тем приятельским отношениям, которые впоследствии привели всех троих — Лермонтова, Жерве и Шувалова — в «кружок 16-ти» — группу оппозиционно настроенных молодых людей, возникшую в столице осенью 1839 года. Известно, что участников этого кружка объединяла ненависть к николаевскому режиму, а также интерес к историческим судьбам России. Эта общность интересов, не означавшая, впрочем, общности идейных воззрений, не могла не выявиться в то время, когда все трое сосланных оказались в одном — Нижегородском — полку.

Итак, в письме к Раевскому речь шла о декабристах — об Одоевском, о Вольховском — и о представителях грузинского культурного общества, которых связывала с декабристами многолетняя дружба. Речь шла о молодых людях, выражавших оппозиционное отношение к николаевской деспотии.

Теперь становится понятным, почему Лермонтов предпочел отделаться в письме скупой фразой: «Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные». Теперь мы понимаем, кто был «порядочным» в его глазах, и можем предполагать, кого он имел в виду. Особенно очевидным становится это, если вспомнить, что и в «Герое нашего времени» Лермонтов, глухо упоминая об «истинно порядочных людях», подразумевал, как это теперь уже выяснено, сосланных на Кавказ декабристов. Подробнее мы еще скажем об этом. Вспомним, наконец, что и Грибоедов в своих письмах из Грузии в начале двадцатых годов точно так же, не называя имен, писал иносказательно о «порядочных людях». М. В. Нечкина установила, что он разумел при этом «ермоловцев» — русских офицеров, группировавшихся в Грузии вокруг Ермолова и разделявших взгляды декабристов [1].

Терминология Лермонтова совпала с декабристской терминологией.

---

[1] М. В. Нечкина. А. С. Грибоедов и декабристы. М., «Художественная литература», 1977, с. 180.

20

Теперь становится понятным и другое: с кем мог обсуждать Лермонтов политическую историю Грузии и вопрос о выгодах присоединения ее к России. Мы находим теперь объяснение тому, как возникли в рукописи «Мцыри» строки о Грузии, которая

...цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.

Вспомним заключительные строки стихотворения Чавчавадзе «Кавказ», касающиеся проблемы присоединения Грузии к России:

Путь открылся, и родились у иверийцев надежда и вера,
Что оттуда <с Севера> войдет в их среду просвещенье.

Так думал не один Чавчавадзе.

В 1839 году, тогда же, когда была закончена работа над «Мцыри», Николоз Бараташвили написал свою историческую поэму «Судьба Грузии».

Эта небольшая поэма начинается, как известно, изображением Крцанисской битвы и оставления Тбилиси, разграбленного и сожженного кровавым персидским захватчиком Ага Магомет-ханом. Далее Бараташвили показывает, как созревала у царя Ираклия мысль вручить судьбу Грузии покровительству могучего соседа — России, как решается он высказать эту мысль советнику своему Соломону Леонидзе.

«Что стряслось такого до сих пор,
Чтоб отказываться от свободы? —

спрашивает царя пораженный Соломон.—

Кто тебе сказал, что русской двор
Счастье даст грузинскому народу?
Что единство веры, если нрав
Так различен в навыках обоих?
Русским в подчинение попав,
Как мы будем жить в своих устоях?
Сколько пропадет людей в тени
От разлада с чувствами своими?
Не спеши, Ираклий, сохрани
По себе нетронутое имя.
Жизнь, пока ты жив, идет на лад,
А умрешь — тебе какое дело,

Как поправит рухнувший уклад
Будущий правитель неумелый?»
«Это мне известно самому,—
Отвечал Ираклий,— в том нет спору.
И, однако, что я предприму?
Где народу отыщу опору?
Я сужу ведь не как властелин,
Льющий кровь, чтоб дни свои прославить,
Я хочу, как добрый семьянин,
Дом с детьми устроенный оставить.
Для страны задача тяжела —
День за днем всегда вести сраженья,
Сам ты убедился, сколько зла
Принесло нам это пораженье.
Хорошо еще, что Мамед-хан
Только главный город наш разграбил
И по деревням средь поселян
Меру зверства своего ослабил.
Требуется некий перелом.
Надо дать грузинам отдышаться.
Только у России под крылом
Можно будет с персами сквитаться.
Лишь под покровительством у ней
Кончатся гоненья и обиды
И за упокой родных теней
Будут совершаться панихиды».
Не стерпел советник. «Господин,—
Молвил он,— твой план ни с чем не сходен.
Презирает трудности грузин
До тех пор, покамест он свободен».
«Верно, Соломон. Но сам скажи:
Много ли поможет это свойство,
Если под угрозой рубежи
В эту пору общего расстройства?
Я готов молчать, но не забудь,
Я предсказываю, в дни лихие
Сам повторишь ты когда-нибудь:
Будущее Грузии в России» [1].

Дословно:

Но не забудь мои слова,—
Это будет сегодня или завтра —
Грузию защитит государство русских.

Прочтите после этого пять строк из «Мцыри»:

И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.

---

[1] Перевод Б. Пастернака. («Поэзия Грузии», М.— Л., Гослитиздат, 1949, с. 222—223.)

Эти строки кажутся следствием разговора Ираклия со своим советником: это воплощение той же темы, которая волновала Бараташвили.

После одного из посещений Мцхетского собора Бараташвили написал стихотворение «Могила царя Ираклия», в котором, обращаясь к «святой тени прославленного героя», говорит о том, что Грузия постигла его завет и преклоняется перед его гробницей, «возведенной из слез».

Таким образом, размышления Лермонтова об исторических судьбах Грузии совпадают с тем, что думали, что чувствовали в ту пору лучшие люди Грузии — Александр Чавчавадзе и Николоз Бараташвили.

Но не только Лермонтов касался этой темы в своих беседах с грузинами. Ближайший друг Грибоедова, поэт-декабрист Александр Одоевский тоже, вскоре по приезде в Тифлис, познакомился с Ниной Александровной и с Чавчавадзе и стал бывать в их доме.

Тогда, очевидно, и перевел Чавчавадзе стихотворение Одоевского «Роза и соловей» на грузинский язык.

В апреле 1838 года, то есть через несколько месяцев после отъезда Лермонтова в Россию, Одоевский, находясь в Тифлисе, написал стихотворение, в котором аллегорически изобразил Грузию черноглазой, чернобровой красавицей невестой, а Россию женихом — светло-русым прекрасным витязем:

Не томит тебя кручина
Прежних пасмурных годов!
Много было женихов —
Ты избрала исполина.

. . . .

Прошлых веков не тревожась печалью,
Вечно к России любовью горя,
Слитая с нею, как с бранною сталью,
Пурпур-заря! [1]

Рукопись Одоевского сохранилась. Первоначально он озаглавил стихотворение «Брак Грузии с Россией». Потом переправил: «Брак Грузии с Русским царством» [2]. Пере-

---

[1] А. И. Одоевский. Полн. собр. стихотворений и писем. Подготовка текста, биографический очерк и коммент. И. А. Кубасова. Вступ. статья и редакция Д. Д. Благого. М.— Л., «Academia», 1934, с. 225—226.

[2] ЦГАЛИ, ф. 368, ед. хр. 9456/2.

правил потому, очевидно, что слова «Грузия» и «Россия» — женского рода, а в стихотворении речь идет о браке. Понятно, что слово «царство» никак не синоним Российской империи. Исполин у Одоевского — это сказочный русский витязь, олицетворение русского народа-богатыря, гиперболический образ которого встречается и у Лермонтова, скажем, в «Двух великанах». Читая это стихотворение, важно помнить, что декабристы видели будущее Кавказа в объединении со свободной, революционной Россией.

Таким образом, четыре современника — Бараташвили, Александр Чавчавадзе, Лермонтов и Одоевский — одновременно задумываются над историческим смыслом союза Грузии и России и приходят к одному и тому же выводу: в этом союзе заключено единственное спасение грузинского народа от истребления, это объединение — залог будущего процветания Грузии.

Единомыслие грузинских и русских поэтов в этом вопросе объясняется прежде всего общим направлением, общей прогрессивностью их взглядов: все четверо принадлежали к числу самых передовых людей своего времени. Но, кроме того, становится понятным и то, что думали они об этом не порознь, а вместе, что Лермонтов, так же как и Одоевский, обсуждал эту тему со своими грузинскими друзьями. Это не могли быть участники заговора 1832 года — мы знаем, что они держались других взглядов. Все данные подводят нас к единственно вероятному выводу: в число этих друзей входил Александр Гарсеванович Чавчавадзе.

21

Внимание русского, приезжавшего в ту пору в Тифлис, всего более привлекала восточная часть города. Нынешняя центральная часть, носившая тогда название Гаретубани, еще только начинала застраиваться новыми домами и административными зданиями, да и те были расположены на большом расстоянии друг от друга и разделены густыми садами.

За Эриванской площадью, ныне площадью Ленина, где в то время находились самые большие здания: штаб Кавказского корпуса, дом полицейского управления, гим-

назия, ресторация и духовная семинария,— начинался Армянский базар — лабиринт узких и кривых переулков и тупиков, там жили тифлисские ремесленники. За Армянским базаром, за Сионской улицей шли Темные ряды — «Базаз-хана», а за ними «татарский Майдан» — торговая площадь с прилегающими к ней подворьями, «караван-сараями».

В этой восточной части Тбилиси, в Старом городе, целый день двигалась густая толпа. Здесь под открытым небом чеканили серебро, жарили шашлыки, ковали лошадей, брили головы, шили бурки и сапоги, щупали разноцветные шелка, прицениваль к дорогим персидским коврам, опиливали пистолеты, играли в нарды. С утра до ночи раздавался здесь грохот молотов, дыхание кузнечных мехов, стук игральных костей, песни ашугов, крики погонщиков, клейкий писк зурны, рокочущий, веселый грохот барабана, выбивающего такт лекури. И все это тонуло, пропадало, растворялось в общем гомоне, в шумном кипении толпы, в смешении слов грузинских, армянских, русских, азербайджанских с персидскими и турецкими словами. На прилавках и прямо на земле лежали горы сладкого винограда, янтарные початки кукурузы, рыжие помидоры, лиловый лук, белели круги овечьих сыров. Валил чад от жаровен, пахло кожей, свежей рыбой, пряными травами, терпкой прохладой тянуло из винных погребков. Бежали ослики с перекидными корзинами. Изнемогая от непосильной тяжести, блестящий от пота, в лохмотьях, носильщик тащил на спине кованный железом сундук. За ним поспешал купец с огненной бородой и крашеными ногтями, в чалме и халате, в маленьких зеленых туфлях. Вот, грубо оттолкнув ремесленника-азербайджанца, он почтительно уступил дорогу русскому чиновнику в казенном вицмундире, смерил взглядом стройную девушку, окутанную до самых глаз белой чадрой,— девушку провожает «бичо» — босоногий слуга-мальчуган. Навстречу денщик идет за модно одетой дамой, щеголь в черкеске сторонится, чтобы пропустить дрожки, и испуганные кони, косясь, объезжают верблюда. Едет арба, запряженная четверкой волов, покрытая полосатым ковром, под которым уместилось большое семейство, и дети таращат глаза на кивер драгуна.

С базара можно было подняться по вьющимся переулочкам к развалинам Нарикала — крепости, выстроенной

во времена турецких и персидских нашествий, пройти по темным переходам, по изломанным закоулкам, пересечь площадь величиною в небольшую комнату,— и чем выше в гору, тем шире раздвигались зубчатые края образованной горами чаши, в которой лежит город, и становился виден весь «многобалконный Тифлис», с длинными открытыми галереями вторых этажей, с их кружевными решетками, с крохотными двориками, с гладкими кровлями, сбегавшими, подобно ступеням, к ярко-голубой мечети, к зеленым стремительным водам Куры. За Курой, на скалистом обрыве, виднелась, как и сейчас, церковь св. Шушаны и замок Метехи, а вправо, насколько глаз хватал, по самому карнизу этой отвесной стены лепились деревянные домики. И балконы, балкончики, лестничные переходы висели на огромной высоте над самой стремниной реки.

Внизу, под горой, где находятся знаменитые тбилисские бани и дымятся горячие серные ключи, вытекающие из расселин горы, женщины полоскали яркие тряпки; старухи, стоя на плоских кровлях, вели громкий разговор через улицу. За банями простирались тенистые Сеид-абадские сады, где по праздникам отдыхали и пировали тифлисцы. «Что здесь истинное наслаждение,— писал восторженно Лермонтов,— так это татарские бани!»

Не так давно обнаружен его рисунок, изображающий старинный Метехский замок на отвесной скале, и церковь св. Шушаны, и домики над обрывом, и узкий Авлабарский мост, в то время единственный, и строения Старого города, взбегающие на правый берег. На переднем плане верблюды, погонщики. Толстый человек ведет коня в поводу, собачонка бросается под ноги верблюдов; навстречу этой группе едет всадник на горячем коне; за невысокой глинобитной оградой виднеются домики с плоскими крышами, с галереями, висящими на косых упорах, утопающие в зелени сада. Караван движется от «Сумбатовских бань» по направлению к Майдану. «Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал,— сообщал Лермонтов Раевскому,— и везу с собою порядочную коллекцию». Рисунок, о котором мы говорим,— из этой самой коллекции.

С наступлением темноты лавочки и растворы ремесленников в караван-сараях запирались и жизнь на торговой площади и в кривых переулках замирала. Зато оживали

плоские кровли тифлисских домов. Под стук бубна и живые напевы мелькали в полусвете силуэты пляшущих девушек. «В то время дома Старого города,— говорит современник,— были устроены так, что, не касаясь мостовой, а поднимаясь только и опускаясь с одной крыши на другую, можно было обойти целый квартал и открыть себе вход в любой дом» [1].

На другом сохранившемся рисунке Лермонтова изображена характерная сцена: девушки, танцующие лезгинку на плоской кровле тифлисского дома; за домом пирамидальные тополя и остроконечный купол грузинской церкви.

Но вот кончались и танцы, затихали звуки песен, и Тифлис погружался в сон. Изредка проскачут всадники, залают собаки или проскрипят порожние арбы. Потом умолкало все. Луна наводила черноту теней на окрестные горы, на сонные башни, да Кура крутилась и буйно плескалась у скалистых берегов и мчала мутные воды под высоким мостом [2].

Даже через четыре года, когда было написано «Свиданье», в памяти Лермонтова все еще были свежи впечатления тех дней, когда, стоя на мосту над Курой, он наблюдал, как утекает вода, как засыпает город, убаюканный шумом реки.

Уж за горой дремучею
    Погас вечерний луч,
Едва струей гремучею
    Сверкает жаркий ключ;
Сады благоуханием
    Наполнились живым,
Тифлис объят молчанием,
    В ущелье мгла и дым.
. . . .
Внизу огни дозорные
    Лишь на мосту горят,
И колокольни черные,
    Как сторожи, стоят;
И поступью несмелою
    Из бань со всех сторон
Выходят цепью белою
    Четы грузинских жен;

---

[1] Т[орнау]. Воспоминания о Кавказе и Грузии.— «Русский вестник», 1869, т. 79, с. 426.

[2] См. письмо А. А. Бестужева к Н. А. и К. А. Полевым из Тифлиса от 3 мая 1834 года.— «Русский вестник», 1861, т. 32, с. 456.

Вот улицей пустынною
Бредут, едва скользя...
Но под чадрою длинною
Тебя узнать нельзя!..

Незадолго до войны в художественной галерее г. Иванова была обнаружена картина Лермонтова, написанная маслом с натуры и представляющая собой общий вид Тифлиса из Авлабара — городского предместья, расположенного на левом, высоком берегу Куры. Там начиналась слободка Мирзаабат, которая потом называлась «Собачья». Лермонтов «снимал» этот пейзаж, выбрав место на самом краю обрывистого берега, где река делает поворот, чуть выше бани «Гогило». Это нетрудно проверить: стоит только выйти с улицы Шаумяна на берег Куры и, встав на пригорок возле бани «Гогило», сличить репродукцию картины с открывающейся оттуда панорамой. Недалеко от этого места находились выстроенные при Ермолове офицерские казармы, получившие потом название Покровских. Многие офицеры жили около казармы на частных квартирах [1]. Вероятно, Лермонтов побывал у кого-то из живших па Авлабаре военных, его восхитила открывавшаяся оттуда панорама Тифлиса, и в результате возникла одна из его лучших живописных работ.

Вообще эта картина — отличный образец романтической живописи. Справа, на отвесной золотисто-желтой скале, высится Метехский замок. На противоположном берегу, на переднем плане зеленые кудрявые Орточальские сады, голубовато-зеленая, как стекло, вода бурно огибает пологий берег, на котором изображены две фигурки. В центре картины коричнево-серая остроконечная гора, с которой уступами сбегает старая стена Нарикала. А там, за этой «твердыней старою на сумрачной горе» (она упомянута в стихотворении «Свиданье»),— утопающие в прозрачном, напоенном светом воздухе кровли и островерхие купола Тифлиса и, наконец, на заднем плане трактованная в нежно-лиловом цвете, господствующая над городом Мтацминда, на склоне которой, у подножья монастыря св. Давида, находится могила Грибоедова. Это место Грибоедов называл «самой пиити-

[1] «О размещении г.г. офицеров на Авлабаре» — отношение Х. Х. фон дер Ховена к О. С. Осипову от апреля 1834 года.— ЦГИА Грузинской ССР, ф. 6, № 4753, л. 21.

ческою принадлежностию Тифлиса» и выражал желание быть похороненным возле стены этого древнего храма.

В бумагах Лермонтова нет записи, которая говорила бы нам о том, что он побывал на могиле Грибоедова. Возможно, что он и писал об этом кому-нибудь, но такое письмо до нас не дошло: из автографов 1837 года сохранилось всего лишь несколько разрозненных листков. Нет также и среди уцелевших рисунков таких, которые подтвердили бы нам, что он побывал в храме св. Давида. Но дошло-то до нас всего четыре рисунка из целой коллекции, остальные безвозвратно пропали.

Впрочем, теперь и без этих прямых доказательств ясно, что Лермонтов побывал, не мог не побывать у могилы, которая была местом паломничества передовых русских людей, и прежде всего русских писателей.

Находясь в Тифлисе, на обратном пути из Арзрума, накануне отъезда своего в Россию, Пушкин, как пишет очевидец, посетил еще свежую тогда могилу Грибоедова, «пред коей... преклонил колена и долго стоял, наклонив голову, а когда поднялся, на глазах были заметны слезы» [1].

Это было в августе 1829 года.

Через восемь лет, в феврале 1837 года, Бестужев-Марлинский, получив известие о гибели Пушкина, которое застало его в Тифлисе, на рассвете следующего дня поспешил на гору св. Давида, к могиле Грибоедова, чтобы отслужить панихиду. «Когда священник запел: «за убиенных боляр Александра и Александра», я чуть не задохся от рыданий,— писал Бестужев родным,— этот возглас показался мне не только поминовением, но и предсказанием... Да, я сам предчувствую, что смерть моя будет также насильственна и необычайна, и она не далека от меня» [2].

Ему почудилось в ту минуту, что, заказав панихиду по Александру Грибоедову и Александру Пушкину, он, Александр Бестужев, отслужил ее и по себе.

Предчувствие не обмануло его. Через три месяца, 7 июня 1837 года, он был изрублен в куски в сражении

---

[1] Н. Б. Потокский. Встречи с Александром Сергеевичем Пушкиным в 1824 и 1829 гг.— «Русская старина», 1880, т. 28, с. 582.

[2] А. А. Бестужев. Письма к Павлу Бестужеву из Тифлиса (письмо от 23 февраля 1837 г.).— «Отечественные записки», 1860, кн. 4, с. 71 (оригинал по-французски).

с убыхами у мыса Адлер. Предчувствие его не заключало в себе ничего необычного. Это был почти неизбежный конец для него, писателя-декабриста, которому Николай I продолжил сибирскую ссылку солдатской службой в «теплой Сибири», как называли в ту пору Кавказ ссыльные декабристы. Недаром Михаил Бестужев писал о заметном «намерении правительства *вывести его в расход»* [1].

Через несколько месяцев после гибели Бестужева в Тифлис, проездом из Сибири в Нижегородский драгунский полк, прибыл другой декабрист — поэт Александр Одоевский — и поспешил на могилу Грибоедова. «Одоевского застал я в Тифлисе,— вспоминал декабрист Розен.— Часто он хаживал на могилу своего друга Грибоедова, воспел его память, воспел Грузию звучными стихами...» [2]

Через два года, 15 августа 1839 года, не стало и Александра Одоевского. Он погиб в экспедиции на берегу Черного моря от лихорадки, и Лермонтов посвятил ему тогда одно из самых задушевных своих стихотворений.

Когда мы будем говорить о том, что Лермонтов задумал в ту пору роман, который собирался завершить описанием гибели Грибоедова, у нас уже не будет сомнений, что и он стоял возле грибоедовской могилы, размышляя о его трагической судьбе и пробегая глазами надпись над входом в могильный грот:

«Здесь покоится прах Грибоедова. Супруга его Нина, дочь князя Александра Чавчавадзе, воздвигла над ним этот памятник в 1832 году».

Но Лермонтов погиб, так и не осуществив своего смелого замысла.

Это был неизбежный, неотвратимый конец для него, наследника Пушкина и Грибоедова, преемника мятежных традиций декабристской поэзии.

---

[1] «Воспоминания Бестужевых». Редакция, вступ. статья и коммент. М. К. Азадовского. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 223.

[2] А. Е. Розен. Записки декабриста, СПб., 1900, с. 208.



Ученый татарин Али

1

В Историческом музее в Москве, в тетради «Чертковской библиотеки», на листе 45 имеется запись Лермонтова, содержание которой долго оставалось невыясненным. Передаю ее в точности, заключая вычеркнутые слова в ломаные скобки.

«Я в Тифлисе у Петр: Г: — ученый татар. Али и Ахмет — иду за груз. в бани; она делает знак: но мы не входим ибо суббота: выходя она опять делает знак: я рисовал углем на стене для забавы татар и делаю ей черту на спине; следую за ней: она соглашается [...] только чтобы я поклялся сделать что она велит; надо вынести труп. Я выношу и бросаю в Куру. Мне делается дурно. <Я за> меня нашли и отнесли на гауптвахту: Я забыл ее дом наверное. Мы решаемся отыскать; я снял с мертвого кинжал для доказательства. Несем его к Геургу. Он говорит что делал его русскому офицеру. Мы говорим Ахмету, чтоб он узнал кого имел етот офицер. Узнают от деньщика что етот офицер долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью; но дочь вышла замуж; а через неделю он пропал: Наконец узнаем за кого ета дочь вышла замуж, находим дом но ее не видать: Ахмет бродит кругом и узнает что муж приехал и кто-то ему сказал что видели как из окошка вылез человек намедни, и что муж допрашивал и вся семья. Раз мы идем по каравансараю <ночью> — видим идет мужчина с это[й]

женой; они остановились и посмотрели на нас. Мы прошли и видим она показала на меня пальцем, а он кивнул головой; — После ночью <двое> один на меня напали на мосту, <но я с> <как> схватили меня и как зовут: я сказал: — он: Я муж такой-то и хотел меня сбросить, но я его предупредил и сбросил» [1].

Запись эта с 1873 года перепечатывается во всех полных собраниях сочинений Лермонтова, но только нами была сделана попытка истолковать ее смысл [2]. А то не было выяснено даже, является ли этот набросок автобиографической записью или планом какого-то неосуществленного замысла.

Читая эту запись, мы очень реально представляем себе старый Тифлис: и Метехский подъем, где находились лавки знаменитых тифлисских оружейников, «делателей клинков для шашек и кинжалов», и узкий деревянный мост через Куру, возле Метехского замка, и главную гауптвахту на Майдане. Представляем себе и баню с плоской крышей под скалистой горой, и обширный караван-сарай за мостом, возле Метехи,— подворье, вроде пассажа; в нижнем этаже карван-сарая находились лавки и растворы, а наверху жили купцы.

Итак, в этой записи все очень реально. И тем не менее нет никаких оснований относить описанные в этом наброске события к самому Лермонтову. В таком случае надо было бы допустить, что, находясь в Тифлисе, он невольно оказался соучастником какого-то таинственного преступления, вынес из бани и бросил в Куру труп русского офицера, а потом, защищаясь от нападения на мосту, сбросил в Куру и другого неизвестного ему человека. Помимо того что история эта применительно к Лермонтову кажется совершенно неправдоподобной, она не могла пройти без последствий для ссыльного офицера. Кроме того, в описи дел «О происшествиях по Грузии за III треть 1837 года» в Центральном государственном историческом архиве Грузинской ССР вообще нет ничего похожего на эту историю.

Наоборот, как раз сугубо драматический конец этого

---

[1] Тетрадь автографов Лермонтова («Чертковской библиотеки») в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея в Москве, ф. 445, № 277а, л. 45. См. воспроизведение на с. 373.

[2] «Красная новь», 1939, № 10-11, с. 252.

Первоначальный набросок «Тамани». Автограф Лермонтова. Из тетради «Чертковской библиотеки». Государственный Исторический музей. Москва.

приключения — борьба на мосту и гибель противника — заставляет думать, что здесь мы имеем дело с первоначальным планом какого-то произведения, задуманного как повесть от первого лица.

«Я», герой этого наброска, увлеченный женщиной, случайно оказывается в роли свидетеля чужой тайны. Вторгнувшись в чуждый ему уклад жизни, он не понимает законов этой жизни и, спасаясь от гибели, сбрасывает в воду одного из участников этой таинственной истории.

Очевидно, в записи намечен сюжет, использованный потом в «Тамани». Действующие лица этой повести находятся в таких же взаимоотношениях. Недаром и в наброске и в «Тамани» фигурируют старуха с дочерью («офицер долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью»), и в наброске и в «Тамани» в конце появляется человек, за которого эта дочь выходит замуж.

О том, что набросок «Я в Тифлисе» действительно представляет собой план повести, а не автобиографическую запись, свидетельствует характер поправок в автографе. Излагая ночное столкновение, Лермонтов написал: «ночью двое напали на меня на мосту». Потом исправил: «один». Совершенно ясно, что когда он писал эту фразу, то еще не обдумал, сколько должно быть нападающих. Этого не могло быть, если бы Лермонтов описывал действительный случай.

После слов «напали на меня на мосту» Лермонтов начал :«но я с» (хотел написать: «но я сбросил») и вычеркнул: начал «как» (хотел написать: «как зовут») и снова вычеркнул. Вслед за тем написал, уже не останавливаясь: «схватили меня и как зовут: я сказал: — он: Я муж такой-то и хотел меня сбросить, но я его предупредил и сбросил». Отсюда видно, что Лермонтов придумал короткий разговор на мосту, пока писал эту фразу.

В другом месте, после слов: «Мне делается дурно» — он начал: «Я забыл ее дом»,— написал: «Я за», остановился, переправил «я за» на «меня» и продолжал: «Меня нашли и отнесли на гауптвахту». А затем снова вернулся к «Я за»: «Я забыл ее дом наверное». Значит, про гауптвахту он раньше не думал, эта важная деталь сюжета пришла ему в голову в процессе писания [1].

---

[1] Зачеркнутые и исправленные места помог мне прочесть С. М. Бонди.

В этих «описках» лермонтовского автографа отражен процесс возникновения нового замысла: мы словно видим, «как волнуются в отваге» его мысли, как слова, толпясь и тесня друг друга, торопят перо и перо иногда забегает вперед, опережая рождение целой фразы. Ни в одном письме Лермонтова мы не встречаем этого — только в черновиках прозы.

В пользу того, что набросок «Я в Тифлисе» имеет отношение к запискам Печорина, могли бы, пожалуй, послужить доводом и слова Максима Максимыча о том, что месяца через три после смерти Бэлы Печорин был назначен в е...й полк и уехал в Грузию.

Возможно, что Лермонтов собирался начать его записки эпизодом, действие которого происходит в Тифлисе — в серных банях, в караван-сарае, на мосту возле Метехи, в лавке оружейных дел мастера, в кривых переулках и тупиках восточного города, где, остановившись у своего знакомого, герой встречается с ученым татарином Али, случайно знакомится потом с загадочной грузинкой и невольно оказывается втянутым в какую-то таинственную историю. Сохранились свидетельства современников о том, что случай, подобный описанному в повести «Тамань», произошел в Тамани с самим Лермонтовым [1]. Тем больше оснований считать запись «Я в Тифлисе» планом повести, а не автобиографическим документом. Ведь если Лермонтова приняли за тайного соглядатая в Тамани, вряд ли такая же история могла повториться и в Тифлисе.

В Тамани Лермонтов был раньше, чем в Тифлисе. Очевидно, сюжет, подсказанный ему действительным происшествием в Тамани, стал потом обрастать новыми впечатлениями и превратился в замысел «тифлисской повести», более сложной по фабуле, чем «Тамань». Недаром кажется, что в набросках «Я в Тифлисе» заключен сюжет не одной, а целых двух повестей — и «Тамани» и «Фаталиста». Ведь история убитого офицера — это как бы неблагополучная судьба Вулича. Такая же история повторяется и с рассказчиком, но из столкновения с теми же людьми он выходит победителем. На таком же противопоставлении судеб двух офицеров — судьбы с концом

[1] М. Ц[ейдле]р. На Кавказе в 30-х годах.— «Русский вестник», 1888, № 9, с. 138—139. Ср.: С. Н. Мартынов. История дуэли Н. С. Мартынова с М. Ю. Лермонтовым.— «Русское обозрение», 1898, № 1, с. 317.

«плохим» и с концом «хорошим» при одинаковых обстоятельствах — построен и «Фаталист». Вулич, которому предназначено умереть, погибает. Печорин, дерзко испытывающий судьбу, бросается в хату, где заперся убийца Вулича, и тем не менее остается жив. И после короткой схватки с ним оказывается победителем. Мне кажется, что из записи «Я в Тифлисе» родились сюжеты обеих повестей — и «Тамани» и «Фаталиста» — и что эта запись представляет собой самый первоначальный план записок Печорина.

Может возникнуть совершенно законный вопрос: почему Лермонтов связал действие «Тамани» и «Фаталиста» с Северным Кавказом?

Да потому, что в обстановке кавказской войны оба случая становились обыкновенными, с них снимался экзотический колорит.

Сюжет наброска «Я в Тифлисе» с офицером, бросающим в воду по приказанию коварной красавицы труп другого, убитого ею офицера, с финалом, в котором таинственный преследователь падает с высокого моста в бурную реку,— этот замысел имел больше общего с кавказскими повестями Марлинского и с юношеской прозой самого Лермонтова, чем с будущим журналом Печорина. Работая над «Героем нашего времени», Лермонтов не только освободил этот первоначальный замысел от густоты романтических красок, но и пересказал это приключение с иронией по адресу романтических повестей. Заменив столкновение на мосту борьбой в лодке, он подчеркнул необычность этой борьбы иронически: Печорина хочет утопить девушка. Гибель противника и победа офицера оказываются мнимыми: девушка выплывает на берег, а Печорин ограблен. Недаром в «Герое нашего времени» Печорин замечает по адресу Грушницкого, что он из тех людей, «которых просто-прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение»[1]. В безлюдном приморском городке «на Линии» приключение офицера, «странствующего с подорожной да еще по казенной надобности», становилось будничным эпизодом кавказской войны, а основной конфликт повести приобретал новый, очень значительный смысл. Лермонтов получал возможность сказать от лица

[1] Лермонтов, т. VI, с. 263.

Печорина: «И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг *честных контрабандистов* (курсив Лермонтова.— *И. А.)?* Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и, как камень, едва сам не пошел ко дну!»

Эти простые люди, жившие над морским обрывом в Тамани, названы «честными контрабандистами» потому, что они тайно доставляли горцам оружие — «честную» контрабанду, ибо она помогала борьбе свободолюбивых народов Кавказа с царским самодержавием. Наблюдательный и любопытный Печорин показался этим людям опасным врагом, от которого следовало избавиться любой ценой. Таким образом, в маленьком городке на Черноморской линии конфликт этот наполнялся совершенно иным содержанием. Лермонтов сумел показать повседневную жизнь простых людей, олицетворенную в типических образах. Получилась повесть, к которой в полной мере можно отнести слова Белинского, сказанные по поводу «Бэлы»: «...Чтение прекрасной повести г. Лермонтова многим может быть полезно еще и как противоядие чтению повестей Марлинского» [1].

Но существовала, очевидно, еще и другая причина, которая побудила Лермонтова вернуться в «Тамани» к обстановке, связанной с истинным происшествием. В письме к Святославу Раевскому, написанном уже по возвращении с Кавказа в Петербург, летом 1838 года, Лермонтов объяснил причину, заставившую его отказаться от мысли продолжать работу над «Княгиней Лиговской». «Роман, который мы с тобой начали, затянулся,— писал Лермонтов,— и вряд ли кончится, ибо обстоятельства, которые составляли его основу, переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступить от истины» [2].

Эти слова часто цитируются (ошибочно!) как указание самого Лермонтова, что первый — петербургский — роман о Печорине «Княгиня Лиговская» был задуман им вместе с Раевским. Но почему-то никогда не обращают при этом внимания на продолжение фразы, заключающей важнейшее высказывание Лермонтова о своем творческом методе. А между тем совершенно ясно, что в пору, когда вынашивался замысел «Героя нашего времени», Лермонтов отчетливо сознавал, что художественная истина неотъемлема

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. III, с. 188.
[2] Лермонтов, т. VI, с. 445.

для него от жизненных обстоятельств, составлявших основу его романа.

Вот почему действие «Тамани» оказалось связанным с Таманью, а не с Тифлисом. Вот почему на материале «тифлисского сюжета» через несколько лет возникло стихотворение «Свиданье». В обоих случаях Лермонтов не захотел отступить от «истины» — обстоятельств, с которыми были связаны замыслы этих произведений.

2

Но если запись «Я в Тифлисе» — план повести, то кого же имеет в виду Лермонтов в первой строке? Кто эти «Петр:», «Г:», «ученый татар. Али», Ахмет, Геург, который делал кинжал убитому офицеру? Почему имена их обозначены сокращенно?

Нет сомнения, что эти имена Лермонтов зашифровал по тем же причинам, по которым не назвал тифлисских знакомых в письме к Раевскому. В наброске записаны реальные имена: это тифлисские знакомые Лермонтова, прототипы будущей повести. Даже и то немногое, что мы знаем о творческой истории «Героя нашего времени», позволяет нам высказать это с полной уверенностью.

Мы знаем, например, что летние месяцы 1837 года Лермонтов, в ожидании военной экспедиции, проводил в Пятигорске, где в ту пору находились Белинский и Сатин. Годом позже на Минеральных Водах лечился Н. П. Огарев. «Бывшие там,— писал Белинский об изображенных в «Княжне Мери» посетителях кавказских вод,— *удивляются непостижимой верности*, с какою обрисованы у г. Лермонтова даже малейшие подробности» [1].

«Те, которые были в 1837 году в Пятигорске,— подтверждает Сатин,— вероятно, давно узнали и княжну Мери и Грушницкого, и в особенности милого, умного и оригинального доктора Майера» [2].

Не только Сатин,— Огарев, Миклашевский, Торнау, декабристы Розен и Лорер, встречавшие на Кавказе доктора Майера, отмечают высокое искусство, с каким воспроизвел

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 174—175.

[2] «Из воспоминаний Н. М. Сатина». Предисл. Е. С. Некрасовой, «Почин» — сборник Общества любителей российской словесности на 1895 год, с. 239.

Лермонтов в «Герое нашего времени» черты и характер доктора Майера в образе доктора Вернера.

«Его некрасивое лицо было невыразимо привлекательно,— писал о Майере Огарев.— Волосы, остриженные под гребенку, голова широкая, так что лоб составлял тупой угол, небольшие глубокие глаза, бледный цвет лица, толстые губы, мундирный сюртук на дурно сложенном теле, одна нога короче другой, что заставляло его носить один сапог на толстой пробке и хромать... кажется, все это очень некрасиво, а между тем нельзя было не любить этого лица. Толстые губы дышали добротой, глубокие карие глаза смотрели живо и умно; но в них скоро можно было отыскать след той внутренней человеческой печали, которая не отталкивает, а привязывает к человеку; широкий лоб склонялся задумчиво; хромая походка придавала всему человеку особенность, с которою глаз не только свыкался, но дружился» [1].

Неправильные черты лица, «огромную угловатую голову, на которой волосы стриг под гребенку», хромоту, худощавость и небольшой рост Майера отмечает и Филипсон, рассказывая об этой личности, «далеко выступающей из толпы». Он встречал Майера в Ставрополе, в обществе декабристов, которых пересылали из Сибири в войска Кавказского корпуса. «В его добрых и светлых глазах было столько симпатичного,— говорит Филипсон,— в его разговоре было столько ума и души, что становится понятным сильное и глубокое чувство, которое он внушал к себе некоторым замечательным женщинам» [2].

Эти мемуарные характеристики можно дополнить репродукцией с автопортрета Николая Васильевича Майера, предоставленного мне его правнуком — профессором Горьковского государственного университета А. Г. Майером, и сличить словесное и графическое изображение друга Лермонтова с описанием доктора Вернера в «Герое нашего времени».

«Его наружность была из тех,— читаем мы в дневнике Печорина,— которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытан-

---

[1] Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения, т. I. М., Госполитиздат, 1952, с. 403.

[2] «Воспоминания Григория Ивановича Филипсона». М., 1885, с. 106—107.

ной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов. Надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной; оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин».

«Вернер был мал ростом и худ и слаб, как ребенок,— продолжает Лермонтов,— одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противуположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сертук, галстук и жилет были постоянно черного цвета».

Кроме глаз Вернера, которым Лермонтов сообщил черный цвет, в остальных деталях его наружность совершенно совпадает с автопортретом Майера и впечатлениями очевидцев. Но за этими внешними чертами под пером Лермонтова возникает характеристика еще более тонкая и глубокая, чем у Огарева, и уже обобщенная, позволяющая Лермонтову говорить не об одном человеке, но о «людях, подобных Вернеру».

Лермонтов не ограничился описанием внешности Майера, позволяющей угадывать за нею и духовный облик этого человека. Хоть и глухо, он все же упомянул о том, что в его собственных глазах возвышало доктора Майера больше всего,— о дружбе с декабристами. «Его приятели,— написал Лермонтов о людях, составлявших окружение доктора Вернера,— то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе». А несколькими строками ниже в дневнике Печорина сказано: «Я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодежи».

Известно — об этом писал еще П. А. Висковатов,— что под «истинно порядочными людьми», жившими в С., Лермонтов разумел декабристов, живших в Ставрополе.

Но стоит только сопоставить эту формулу с фразой из письма Лермонтова: «В Тифлисе есть люди очень порядочные», чтобы еще раз убедиться в многозначительности этой фразы и важности заключенного в ней смысла.

Конечно, в образе доктора Вернера интересно не то, что он похож на ставропольского врача 30-х годов прошлого века. Важнее другое: Лермонтов создал обобщенный образ скептика и материалиста. И тем не менее, говоря о творческом методе Лермонтова, мы не можем не отметить, что типизировал он образ человека реально существовавшего: проводя характер сквозь сюжет, он «наращивал» его, сообщал ему новые черты, представлявшие органическое его продолжение, показывал характер в развитии, обобщал.

Хотя в предисловии ко второму изданию «Героя нашего времени» Лермонтов счел нужным возразить тем читателям и журналам, которые увидели в романе портрет автора и портреты его знакомых, однако сделал он это для того, чтобы избегнуть новых упреков «в покушении на оскорбление личности» со стороны людей, узнавших себя в романе, а прежде всего, конечно, потому, что после рецензии мракобеса Бурачка ему было важно отвести от себя политические обвинения, предъявленные реакционной критикой «безнравственному» Печорину. Как мы видели на примере с доктором Майером, читатели «Княжны Мери» имели все основания отыскивать в персонажах повести сходство их с реальными прототипами. Впрочем, это касается не одной «Княжны Мери».

Офицер М. И. Цейдлер, тот самый, которому посвящен чудесный лермонтовский экспромт «Русский немец белокурый едет в дальнюю страну...», был в 1838 году командирован на Кавказ и побывал в Тамани. Полвека спустя он описал свое путешествие в очерке «На Кавказе в 30-х годах», в котором упомянул и о соседях своих, живших в маленьком домике на обрывистом морском берегу. Восторженно рассказывает он о красоте молодой своей соседки, описывая ее «античный профиль, большие голубые с черными ресницами глаза, роскошные косы», спадавшие на плечи из-под черной бархатной шапочки. Одета была красавица в шелковый татарский бешмет и в широкие шелковые шальвары. «Вообще вся она была изящна,— пишет Цейдлер,— лицо ее выражало затаенную грусть».

Другой сосед был мальчик с бельмами на глазах, в сермяге, босой, без шапки. «Лицо его выражало сметливость, лукавство и смелость,— говорит о нем Цейдлер.— Несмотря на бельма, ходил он бойко по утесистому берегу». Из расспросов заинтересовавшийся офицер выяснил, что красавица была женой старого крымского татарина, золо-

тых дел мастера, который торговал оружием, сам он не жил в Тамани, а только приезжал туда по делам.

«Сходство моего описания с поэтическим рассказом о Тамани в «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова,— замечает в заключение Цейдлер,— заставляет меня сделать оговорку: по всей вероятности, мне суждено было жить в том же домике, где жил и он; тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне даже помнится, что когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь» [1].

Впечатления Цейдлера записаны в 80-х годах: рассказ его мог испытать на себе влияние лермонтовской «Тамани». Но помимо того, что краеведы уже установили, что над обрывом в Тамани стояла хата казака Федора Мисника, дочь которого в 30-х годах действительно вышла замуж за татарина [2], имеется еще одно, весьма убедительное подтверждение не только правдивости, но и, очевидно, большой точности цейдлеровского рассказа.

В 1919 году в Уфе, среди остатков разгромленного и брошенного белогвардейцами имущества, был подобран рисунок, изображавший скалистый берег, на берегу — белую мазанку, а в море — небольшой кораблик и накренившийся парус рыбачьей лодки. В углу рисунка стояла надпись: «Рисовал М. Лермонтов». Очевидно, это и есть тот рисунок, который Лермонтов набросал во время беседы с Цейдлером.

Словом, персонажи лермонтовской прозы сохраняют сходство со своими реальными прототипами. Здесь уместно вспомнить, что и Пушкин, записывая первоначальные планы своих будущих сочинений в прозе, также вносил в них подлинные имена тех лиц, судьбы или характеры которых должны были послужить для него исходным материалом в развитии замысла. Не говоря уже о начальном плане «Дубровского», где стоит подлинная фамилия белорусского дворянина Островского, или о «Капитанской дочке», в пла-

---

[1] М. Ц[ейдле]р. На Кавказе в 30-х годах.— «Русский вестник», 1888, № 9, с. 138—139.

[2] См.: В. В. Соколов. Лермонтов в Тамани.— «Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии». Симферополь, 1928, т. II, с. 127—128; Л. П. Семенов. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск, 1939, с. 86—87.

нах которой будущий Швабрин носит имя исторического лица — подпоручика Шванвича, перешедшего из императорской гвардии в штаб Пугачева,— вспомним «Роман на Кавказских водах». Среди будущих персонажей мы встречаем декабриста Якубовича (который впоследствии получает имя «Кубович»), представительниц московской знати М. И. Римскую-Корсакову и ее дочь Алину, пятигорскую генеральшу Мерлину и других. А в плане романа, условно названного исследователями «Русский Пелам», под собственными, невымышленными именами проходит уже целая галерея реальных исторических лиц.

Итак, сохранение в начальных планах подлинных имен знакомых, прототипов будущего повествования,— способ, характерный не только для Лермонтова, но и для Пушкина.

В отношении Лермонтова эту манеру — «писать с натуры» — можно продемонстрировать еще раз, и пожалуй, наиболее убедительно, на рукописи «Фаталиста». Выясняется, что не только в первоначальных набросках, но и в процессе работы над вещью Лермонтов сохранял реальные имена.

Филипсон, из воспоминаний которого мы приводили характеристику доктора Майера, описывает в другом месте своего товарища по Военной академии, поручика лейб-гвардии Конного полка, прикомандированного к Гвардейскому генеральному штабу,— Ивана Васильевича Вуича. «Вуич был идеальный юноша,— пишет о нем Филипсон.— Красавец, строгого греческого или сербского типа, с изящными светскими манерами, умный, скромный, добрый и услужливый — Вуич был такою личностью, которой нельзя было не заметить» [1].

«Он был родом серб, как видно было из его имени,— пишет Лермонтов в «Фаталисте».— Наружность поручика Вуича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его,— все это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного...» [2]

---

[1] «Воспоминания Григория Ивановича Филипсона». М., 1885, с. 85.

[2] Автограф в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

В черновике «Фаталиста» Лермонтов так и пишет: «Вуич». Фамилия Вулич появляется уже в беловой рукописи. Вряд ли можно сомневаться после этого, что Филипсон и Лермонтов имели в виду одного человека. Если же при этом вглядеться в портрет поручика Вуича, обнаруженный нами в Ленинграде, в Артиллерийском музее, это становится очевидным.

Таким образом, выяснив, что Лермонтов сохранял даже в рукописях своих подлинные фамилии прототипов, мы вправе видеть в беглой записи «Я в Тифлисе» реальные имена лермонтовских знакомых.

И в самом деле, Геург, о котором говорит в своем наброске Лермонтов,— человек, существовавший в действительности: тифлисский оружейный мастер Геург, или Ягора Элиаров (в официальных документах — Елизаров). Он имел «от правительства привилегию» и славился изготовлением клинков превосходного булата и отличной закалки, не уступавших дамасским [1]. Имя этого Геурга Лермонтов повторяет в черновиках стихотворения «Поэт»:

В серебряных ножнах блистает мой кинжал,
Геурга старого изделье.
Булат его хранит таинственный закал,
Для нас давно утраченное зелье.

Оружейная мастерская Геурга находилась недалеко от Эриванской площади возле дома и сада главноуправляющего Грузией (где ныне Дворец пионеров). Считалось, что Геург и его сын Караман знали секрет закалки булатной стали. Это не подтвердилось. Они только выковывали прославленные тифлисские клинки, самый же булат получали с Востока. Но знали средство, «как делать на манер булата» сварочные клинки из железа и стали, изготовлявшихся на уральских заводах [2].

Элиаровы принадлежали к числу тифлисских армян, но, как часто в ту пору бывало, назывались грузинами. В семье Элиаровых хранилось предание — об этом рассказывала мне в Тбилиси праправнучка Геурга М. И. Несмашная,— что М. Ю. Лермонтов «бывал в его мастерской и подолгу наблюдал за ковкой оружия». Достоверность этого

[1] «Письма Х... Ш... к Ф. Булгарину, или Поездка на Кавказ».— «Северный архив», 1828, ч. 10, с. 233.

[2] «Горный журнал», 1841, № 6, с. 424—426; «Акты Кавказской археографической комиссии», т. VIII, с. 188.

факта подтверждает и другой потомок Геурга — ленинградский ученый-медик профессор Б. Г. Аветисян.

Словом, Геург лицо совершенно реальное.

Исходя из этого, надо попытаться расшифровать имена в «тифлисской записи» и расширить наши представления о закавказских знакомствах Лермонтова.

3

Прежде всего: кто такой «Петр:»?

Биограф Лермонтова В. А. Мануйлов убежден, что это Павел Иванович Петров, генерал-майор, начальник штаба войск на Кавказской линии и в Черномории. «Он приходился Лермонтову свойственником,— пишет Мануйлов,— его покойная жена Анна Акимовна Хастатова была двоюродной теткой поэта. Лермонтов останавливался у Петрова в Ставрополе. В Тифлисе Петров по службе бывал часто, и Лермонтов мог воспользоваться его гостеприимством и в Тифлисе» [1].

До нас дошло письмо Лермонтова к Петрову. До нас дошла картина Лермонтова, подаренная им Петрову. Дошли стихи Лермонтова, посвященные сыну Петрова, и заметка этого сына о том, как, находясь в Ставрополе, Лермонтов ежедневно навещал П. И. Петрова. Но о том, что Лермонтов жил у Петрова в Тифлисе, до нас не дошло ничего. О том, что Петров по делам службы осенью 1837 года находился в Тифлисе,— об этом тоже не имеется никаких решительно сведений. Известно, что царя в Тифлис Петров не сопровождал. Следовательно, в середине октября 1837 года он встречал царя в Ставрополе и никуда отлучиться не мог. Так что ездить в это время по делам службы в Тифлис ему было, пожалуй, незачем [2]. Кроме того, фраза: «Я в Тифлисе у Петр:» отнюдь не обозначает, что Лермон-

---

[1] В. А. Мануйлов. М. Ю. Лермонтов и его запись сказки «Ашик-Кериб».— Сб. «Ашик-Кериб». Л., изд. Малого Оперного театра, 1941, с. 24.

[2] См.: А. П. Берже. Николай I на Кавказе в 1837 году.— «Русская старина», 1884, № 8, с. 381; статья Б. Гарского (Б. Л. Модзалевского) в «Русском биографическом словаре» — «Петров Павел Иванович». Ср. письмо Лермонтова к Петрову (Лермонтов, т. VI, с. 442) и заметку И. Власова «Лермонтов в семье П. И. Петрова» («Литературный сборник», Кострома, 1928, с. 3—10).

тов останавливался у Петрова и пользовался его гостеприимством. Остановиться он мог и в другом месте. Тем более сложно было ему воспользоваться гостеприимством ставропольского генерала Петрова и остановиться у него, тогда как он, если бы даже и приезжал на несколько дней в Тифлис, должен был сам останавливаться у кого-то другого... «Это была личность довольно ничтожная...— писал о Павле Ивановиче Петрове один из его сослуживцев.— На дела, и в особенности военные, он не имел никакого влияния. Вельяминов его не жаловал. Петров почти ничего не делал и только щеголял мундиром Генерального штаба, которого он не имел права носить» [1].

Если уж высказывать гипотезы, то для этого необходимо, чтобы речь шла о человеке, которого Лермонтов действительно мог встретить в Тифлисе.

Нам точно известно, что в это время в Тифлисе находился другой Петров — не Павел Иванович, а Павел Ефимович Петров 4-й, дежурный штаб-офицер штаба Отдельного кавказского корпуса, «начавший долговременную службу свою с юнкерского чина в Закавказском крае» и прослуживший в Тифлисе «до самой смерти» [2].

Этого Петрова Лермонтов скорее мог подразумевать в своей записи. И вот почему:

Если «Петр:» — начальник штаба на Линии, генерал-майор Петров, «любезный дядюшка», который покровительствует Лермонтову, то для чего Лермонтову сокращать его имя?

Если же «Петр:» — это кавказский офицер, с которым Лермонтов впервые встретился в Грузии, то умолчание становится более понятным: имена новых знакомцев он не называет умышленно.

Если «Петр:» — начальник, прибывший на несколько дней из Ставрополя, то в какой связи с ним Лермонтов упоминает и ученого татарина Али, и Ахмета, и оружейного мастера Геурга? И почему в наброске «Я в Тифлисе» все время пишет «мы»: «мы решаемся отыскать», «несем», «мы говорим Ахмету», «узнаем», «находим дом», «мы идем по караван-сараю — видим», «он посмотрел на

---

[1] «Воспоминания Григория Ивановича Филипсона». М., 1885, с. 92.

[2] «Кавказ», 1846, № 19, с. 4. (Павел Ефимович Петров умер в чине полковника, а в 1837 году был подполковником.)

нас», «мы прошли и видим», а потом: «она показала на *меня* пальцем».

Кто это «мы»? Рассказчик и действующее лицо, прототипом которого был генерал-майор из Ставрополя? Вряд ли!

Но если «Петр:» — офицер, проведший полжизни в Грузии, «старый кавказец», то тогда все становится сразу понятным: Лермонтов встречался у него с местными жителями — с ученым Али и с Ахметом, он водил поэта к старому оружейному мастеру, показывая ему достопримечательности Старого города. Такой офицер скорее мог послужить прототипом для будущей повести Лермонтова и получить в ней заметную роль, чем ставропольский генерал, муж тетки. «Старый кавказец», служивший в Грузии еще во времена Ермолова (а иначе быть не могло, если Петров начал службу в Закавказье в юнкерском чине),— такой офицер мог рассказать и показать Лермонтову много для него интересного. Весь вопрос в том: встречался ли Лермонтов с ним?

На этот вопрос можно ответить почти с полной уверенностью: встречался. Должен был встретиться!

К нему, дежурному офицеру штаба, Лермонтов и должен был явиться с предписанием отправиться дальше в полк и с подорожной, выписанной ему до Тифлиса.

Этого мало,— Петров служил при начальнике штаба Вольховском. С Вольховским же, как мы знаем, Лермонтов познакомился летом 1837 года на Северном Кавказе, еще до приезда в Тифлис, и знаем, что Вольховский, по просьбе Философова, ему протежировал. Поэтому надо думать: Вольховский просто поручил ссыльного поэта заботам дежурного офицера.

«Прописное «Г:» расшифровывается как «Геург»,— заявляет В. А. Мануйлов [1]. Он не объясняет при этом, зачем было Лермонтову сокращать имя Геурга, когда дальше в этой же записи имя его названо полностью.

Совершенно ясно, что за буквою «Г:» скрыто имя другого лица.

Попробуем назвать его.

Это Франц Петрович Герарди, штаб-лекарь Тифлисского военного госпиталя, занимавший в ту пору должность старшего медика войск, расположенных в Грузии.

---

[1] В. А. Мануйлов. М. Ю. Лермонтов и его запись сказки «Ашик-Кериб».— В сб.: «Ашик-Кериб». Л., 1941, с. 24.

«Увлекшись романтическим представлением о Кавказе» (так именно и сказано о нем в «Русском биографическом словаре»), он в 1818 году по собственной просьбе был определен на Кавказ младшим лекарем в Ширванский пехотный полк. Потом переведен штаб-лекарем в Навагинский пехотный. Оба полка принимали участие в жарких делах против горцев.

В конце 20-х годов Герарди перешел на службу в Тифлисский военный госпиталь и остальные тридцать лет своей жизни прожил в Тифлисе [1]. Разумеется, весь город знал старшего лекаря, так же как и он, конечно, знал в Тифлисе решительно всех. Такой человек должен был являться украшением небольшого кружка русских офицеров, которых судьба на долгие годы свела за Кавказом.

Жил Герарди в предместье Навтлуги. Один современник пишет, что по приезде в Тифлис в 1828 году тотчас отправился к «старшему лекарю Г***, жившему в военном госпитале на Атлуге» [2].

28 ноября 1837 года Герарди был уволен в отпуск в Воронежскую губернию и, следовательно, выехал из Тифлиса в Россию в те же дни, что и Лермонтов [3].

Я не берусь доказать, что Лермонтов знал Герарди. Для этого недостаточно данных. Но надо вспомнить, что в очерке «Кавказец» сказано, что настоящего кавказца из статских можно встретить в Грузии только между полковых медиков [4] и что Лермонтов не мог бы написать этого, если бы не встречал в Грузии настоящих кавказцев именно из этой среды. Когда мы будем говорить о намерении Лермонтова писать роман о кавказской войне «с Тифлисом при Ермолове», окончательно станет ясным, что Лермонтов встречался в Тифлисе со старыми кавказцами, служившими еще в ермоловские времена.

И, право, нет ничего невозможного в предположении, что в доме старого кавказца Петрова 4-го Лермонтов встре-

---

[1] См.: «Протоколы заседаний Общества русских врачей в С.-Петербурге 1857—1858 годов», год 24-й, № 8, с. 205—207. Ср.: «Русский биографический словарь», том «Гаак — Гербель», с. 466.

[2] «Впечатления и воспоминания покойника».— «Библиотека для чтения», 1848, т. 86, ч. I, отд. III, с. 47.

[3] ЦГИА Грузинской ССР, ф. 548, оп. 2, № 104.— Приказы по Отдельному Кавказскому корпусу, № 100, с. 260—261.

[4] Лермонтов, т. VI, с. 348.

тил военного лекаря Герарди и «ученого татарина Али», который, как мы увидим, был сослуживцем Петрова.

Впрочем, прежде надо сказать несколько слов о сказке «Ашик-Кериб».

4

После смерти Лермонтова среди его бумаг, оставшихся в Петербурге, была обнаружена сказка про странствующего певца Ашик-Кериба. В 1846 году она появилась в литературном альманахе В. А. Соллогуба «Вчера и сегодня», под заглавием: «Ашик-Кериб. Турецкая сказка».

В продолжение девяноста лет рукопись, которой располагал Соллогуб, оставалась неизвестной исследователям, и сказка воспроизводилась во всех изданиях по тексту альманаха «Вчера и сегодня».

В 1936 году автограф Лермонтова поступил из частного собрания А. С. Голицыной в Институт мировой литературы имени А. М. Горького (ныне он передан в Пушкинский дом Академии наук СССР) и стал наконец доступен для изучения.

Но займемся пока изучением самой сказки.

В 1892 году, почти полвека спустя после опубликования сказки Лермонтова, учитель Махмудбеков записал в Азербайджане, в районе Шемахи, со слов народного певца Оруджа историю странствий Ашик-Кериба [1]. После этого стало ясным, что лермонтовский текст очень близок к азербайджанской народной сказке.

Уже в наше время азербайджанский исследователь М. Рафили обратил внимание на то, что в тексте своего «Ашик-Кериба» Лермонтов сохранил азербайджанские слова, в скобках пояснив их значение: ага (господин), ана (мать), оглан (юноша), рашид (храбрый), сааз (балалайка), гёрурсез (видите), мисирское (то есть египетское) вино,— а в наименовании Тифлиса воспроизвел азер-

---

[1] Махмудбеков (учитель Кельвинского земского училища). «Ашик-Кериб». Сказка с приложением татарского текста песен Ашик-Кериба.— «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. XIII. Тифлис, 1892, отдел II, с. 173—229.

байджанское произношение: Тифлиз [1]. «Ашик» по-азербайджански значит «влюбленный», в переносном смысле: «певец», «поэт», а «кериб» значит «странник», «скиталец», «бедняк». Но в то же время это и собственное имя. На этой игре слов построен разговор Ашик-Кериба со слепой матерью: он называет ей свое имя, а она думает, что у нее просит ночлега странник.

Тюрколог М. С. Михайлов в специальной статье «К вопросу о занятиях М. Ю. Лермонтова «татарским» [2] языком» тоже приходит к выводу, что все восточные слова, встречающиеся в сказке «Ашик-Кериб», «могут быть отнесены к азербайджанскому языку», а форма слова «гёрурсез» (точнее «гёрурсюз») наблюдается только в диалектах Азербайджана [3].

Итак, нет никаких сомнений, что сказку эту Лермонтов слышал из уст азербайджанца (в ту пору их называли «закавказскими татарами»).

За последнее время исследователи уделили немало внимания сказке «Ашик-Кериб». Появились работы, в которых лермонтовский текст рассматривается в связи с фольклором народов Закавказья, и прежде всего, конечно, с азербайджанским «Ашик-Керибом» [4].

---

[1] См.: М. Рафили. Лермонтов и азербайджанская литература.— «Бакинский рабочий», 1939, № 237.

[2] Здесь: азербайджанским.

[3] См.: М. С. Михайлов. К вопросу о занятиях М. Ю. Лермонтова «татарским» языком.— «Тюркологический сборник», I. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 127—135.

[4] См.: Л. П. Семенов. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск, 1939, с. 81—82; И. Андронников. Лермонтов в Грузии.— «Красная новь», 1939, № 10-11, с. 254; М. Рафили. Лермонтов и азербайджанская литература.— «Бакинский рабочий», 1939, № 237; В. А. Мануйлов. Лермонтов и его запись сказки об Ашик-Керибе.— В сборнике «Ашик-Кериб». Л., 1941; И. К. Ениколопов. К сказке «Ашик-Кериб» Лермонтова.— В кн.: М. Ю. Лермонтов. Ашик-Кериб. Турецкая сказка. Тбилиси, 1941, с. 11—17; Л. П. Семенов. Лермонтов и фольклор Кавказа. Пятигорск, 1941, с. 75—78; С. А. Андреев-Кривич. Кабардино-черкесский фольклор в творчестве Лермонтова.— «Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института», т. I. Нальчик, 1946, с. 269—275; Ираклий Андроников. Лермонтов. Новые разыскания. М., 1948, с. 145—146; А. В. Попов. Лермонтов в первой ссылке. Ставрополь, 1949, с. 70—79; Ираклий Андроников. Лермонтов. М., «Советский писатель», 1951, с. 221—237; Ираклий Андроников. Лермонтов и его сказка «Ашик-Кериб».— «Пионер», 1951, № 7, с. 38—43; М. С. Михайлов. К вопросу о занятиях М. Ю. Лермонтова «татарским» языком.— «Тюркологический

Но первый, кто обратил внимание на близость лермонтовского текста к азербайджанской народной сказке, был учитель А. Богоявленский, писавший еще в 1892 году о шемахинской сказке, опубликованной учителем Махмудбековым: «Справедливо сказать, что она *отчасти* известна уже читающей русской публике по пересказу ее, сделанному покойным поэтом М. Ю. Лермонтовым» [1].

Это очень точное замечание. Действительно, по лермонтовскому пересказу читатели знали эту сказку только отчасти, ибо лермонтовское изложение значительно отличается от текста сказки, записанной в Шемахинском районе.

Прежде всего, лермонтовская сказка гораздо короче шемахинского варианта. В шемахинском варианте повествовательная форма чередуется с поэтическими импровизациями и заключает в себе восемьдесят семь песен. Ашик-Кериб поет, приближаясь к Тифлису, поет, покидая Тифлис, поет, прощаясь с матерью и сестрой, поет, прощаясь с возлюбленной. И возлюбленная, и мать, и сестра отвечают ему песнями.

«Если господь продлит мою жизнь,— поет Кериб,— не плачь, возлюбленная! — я приду. Если предназначенный мне смертный час повременит,— не плачь, возлюбленная! — я приду».

«Чужеземец (Кериб) проживает на чужбине,— отвечает ему Шах-Санам.— Дикий олень остается в полях. Ты уходишь, а я буду терпеливо ждать тебя. Отправляйся, мой Кериб, и возвратись благополучно!»

«О, розолицая Санам! — поет мать.— Плачь, Санам! Умер Кериб, больше не придет... Кериб, над горем которого дни и ночи горела я, умер, больше не придет...»

Всех этих лирических отступлений в сказке Лермонтова нет.

Совершенно иное, чем у Лермонтова, и начало народной сказки, в котором сообщается история того, как, собственно, Ашик-Кериб стал ашиком. Действие ее начинает-

---

сборник», I, 1951, с. 127—135; С. А. Андреев-Кривич. Лермонтов. Вопросы творчества и биографии. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 97—117; А. В. Попов. Лермонтов на Кавказе. Ставрополь, 1954, с. 89—97.

[1] А. Богоявленский. Предисловие к XIII выпуску «Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа», с. XXIV.

ся не в Тифлисе, а в Тавризе. Сын богатого купца Расул промотал в короткий срок все наследство и решает пойти в обучение к ашикам. Те прогоняют его — у юноши нет музыкальных способностей. И вот во сне является ему пророк Хидир-Ильяс, покровитель ашиков, и говорит: «Отныне ты ашик и должен называться Керибом (чужеземцем)». И он показывает ему во сне образ его будущей возлюбленной — голубоглазой красавицы Шах-Санам, дочери Бахрам-бека тифлисского, назначенной ашику предопределением.

Взяв с собой мать и сестру, Ашик-Кериб отправляется с попутным караваном в Тифлис. Долго бродят они в Тифлисе в поисках пристанища, пока богатый купец не соглашается приютить их. Это, оказывается, Бахрам-бек, отец красавицы Шах-Санам, предназначенной ашику волей пророка. Он приводит странников в свой дом. Шах-Санам сквозь дверную щель видит Ашик-Кериба и узнает в нем того юношу, которого показал ей во сне Хидир-Ильяс.

С тех пор, поселившись возле дома Бахрам-бека, Ашик-Кериб каждый день начинает встречаться в саду с Шах-Санам, а купцу и в голову не приходит, что его дочь — невеста богатого и знатного Шах-Веледа — могла полюбить бесприютного странника.

Ашик посылает мать сватать Шах-Санам, но купец требует большого калыма. Тогда Ашик-Кериб дает зарок семь лет странствовать по свету и заработать деньги в далеких странах [1].

Всех этих событий, занимающих двадцать страниц, в сказке Лермонтова нет. Действие ее начинается прямо в Тифлисе. Бедняк Ашик-Кериб встретил Магуль-Мегери на одной свадьбе и полюбил ее. Девушка советует ему просить у отца ее руки, но Кериб сообщает ей о своем намерении семь лет странствовать по свету, чтобы нажить состояние или погибнуть. «Кто знает,— говорит он,— что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан».

Далее в сказке Лермонтова в основном сохраняется та же последовательность, что и в шемахинском варианте, но целый ряд эпизодов передан в ней по-другому. В лермонтовской сказке соперник Кериба — Куршуд-бек —

[1] «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып, XIII, с. 173—192.

крадет его одежду в то время, когда ашик вплавь переправляется через реку, а прискакав в Тифлис, несет платье к его матери и говорит, что ее сын утонул. В шемахинском варианте Ашик-Кериб встречает в Алеппо соперника своего Шах-Веледа и просит его отвезти в Тифлис письмо к родным. Шах-Велед поручает своему слуге Кель-Оглану убить зайца, смочить в его крови рубаху и сказать матери Ашик-Кериба, что ее сына убили дорогой разбойники.

В сказке Лермонтова нет состязания ашиков, нет тех вопросов, которые предлагает разгадать им Ашик-Кериб, нет у него соперницы Шах-Санам — юной Агджа-Кыз, которая тайно любит Кериба. Отсутствуют и другие подробности. Вполне совпадает у Лермонтова с известным нам шемахинским вариантом только один эпизод — возвращение Ашик-Кериба в Тифлис, от встречи с чудесным всадником до разговора со слепой матерью.

Не совпадают в сказках и имена. В шемахинском варианте возлюбленную Ашик-Кериба зовут Шах-Санам, у Лермонтова — Магуль-Мегери. В шемахинской сказке соперник носит имя Шах-Велед, у Лермонтова — Куршуд-бек. В шемахинской версии отец — Бахрам-бек, у Лермонтова — Аяк-ага. В шемахинской сказке подлинное имя Ашик-Кериба — Расул, у Лермонтова — Рашид. «Как тебя зовут?» — спрашивает Ашик-Кериба ослепшая мать. «Рашид»,— отвечает он, называя свое подлинное имя. Но старуха воспринимает его в его нарицательном значении: «храбрый» [1].

Все эти имена Лермонтов, конечно, не сочинил: этими именами назывались персонажи той сказки, которую Лермонтов слышал и записал. Следовательно, ему был известен другой вариант народной сказки, не тот, который был записан в Шемахинском районе в 1892 году. Какой же вариант слышал Лермонтов?

В 1911 году выходившая в Елизаветполе (нынешнем Кировабаде) газета «Южный Кавказ» поместила начало сказки про Ашик-Кериба — «вольную переделку любимой песни ашиков, записанной в Шемахинском уезде». Но оказывается, что эта публикация представляет собой пересказ все того же, известного шемахинского варианта [2].

Имеется третья запись народной сказки про Ашик-Ке-

[1] Лермонтов, т. VI, с. 199.
[2] См.: «Южный Кавказ», 1911, №№ 26, 27 и 30.

риба, напечатанная в «Антологии азербайджанской поэзии». Но и в этом, сокращенном варианте фабула совершенно совпадает с известной нам сказкой, а действующие лица носят те же самые имена — Ашуг-Гариб, Шах-Сенем, Шах-Велед, Гюль-Оглан [1]. Заметим кстати, что весьма распространенная в Турции повесть о «всеизвестном и знаменитом Ашик-Гарибе» ни по сюжету, ни по именам персонажей (исключая самого «Кериба») с лермонтовской сказкой не совпадает [2].

Между тем не может быть никаких сомнений, что Лермонтов, записав слышанную им сказку, только бережно отредактировал ее и даже оставил в тексте неисправленными некоторые сюжетные несоответствия и шероховатости. Так, например, он пишет по-разному имена: «Кариб», «Кериб» и «Керим», «Хадерилияз» и «Хадрилиаз», «Арзерум» и «Арзрум», «шиндыгёрурсез» и «шинди-гёрузез». Слово «сааз» у него то мужского, то женского рода: «его сладкозвучный сааз», «моя семиструнная сааз», то есть как слышал, так и записал, а потом не мог самостоятельно решить, какую предпочесть форму. Не объяснено, на каком основании Ашик-Кериб объявляет себя владельцем золотого блюда, которое выставлено в лавке тифлисского купца. Неподготовленным и немотивированным остается путешествие Ашика на белом коне за спиной чудесного всадника. Ведь в лермонтовском варианте ни слова не говорится о том, что Хадрилиаз — покровитель ашиков, что он наделил Кериба даром песен, что он предназначил ему в жены красавицу Магуль-Мегери. В конце сказки Ашик-Кериб заявляет, что сабля его перерубит камень, но ничем не доказывает этого. Кстати, ни о сабле Кериба, ни о том, что Хадрилиаз дал ему еще этот новый знак своего могущества — способность перерубать камни,— до этого не говорится ни слова. Ясно, что если бы Лермонтов занялся обработкой народной сказки, то устранил бы все эти шероховатости и мотивировал бы слова и поступки Ашик-Кериба. Из этого следует, что он записал ее именно так, как услышал.

Недавно удалось выяснить, что в Лачинском районе, Азербайджанской ССР, рассказывается другой вариант

---

[1] См.: «Антология азербайджанской поэзии». Редакция В. Луговской. Баку, 1938, с. 346—349.

[2] См.: «Теватур илэ мешгур вэ араф олан Чашик-Гариб хикияйеси». Константинополь, 1880. С текстом этой книги меня познакомила В. И. Аристова.

этой сказки, в котором героиню зовут не Шах-Санам, а Магу-Мехр, соперник же называется Рашид-бек. К сожалению, этот вариант пока еще не записан [1]. Еще ближе к лермонтовской сказке оказывается вариант, записанный в 1935 году со слов восьмидесятилетнего ашуга Адама Суджаяна в районе Зангезура в Армении фольклористкой Р. Р. Орбели. В этой сказке, как и у Лермонтова, невесту Ашуг-Гариба зовут Мауль-Меери, так же как и у Лермонтова, она посылает с купцом на чужбину не кольцо и не чашу, как в других вариантах, а блюдо.

Ашуг Суджаян исполнял эту сказку только в отрывках. Поэтому трудно судить, насколько она совпадает в целом с фабулой лермонтовской записи. Отметим только, что соперника он называл Шах-Валат. Остальные армянские варианты существенно отличаются от лермонтовской сказки и в основном совпадают с шемахинской версией. События начинаются в них задолго до прибытия Гариба в Тифлис, в них содержится эпизод с чудесным превращением юноши в ашуга, наделенного даром песен свыше, все они повествуют о том, как Ашуг-Гариб и его будущая возлюбленная узнают друг о друге во сне [2].

Но имеется еще одна запись, фабула которой в точности совпадает с фабулой лермонтовской сказки. Это грузинский вариант азербайджанской сказки, записанный в 1930 году в Грузии, в селении Талиси, недалеко от Ахалцихе. Рассказывал этот вариант семидесятилетний грузин-магометанин, крестьянин Аслан Блиадзе, причем повествовательную часть передавал по-грузински, а песни исполнял по-турецки. Это не должно удивлять: Месхет-Джавахети, где находится Ахалцихе, как известно, долгое время находилась под турецкой пятой.

Действие этой сказки начинается, как и у Лермонтова, прямо в Тифлисе. Мотивировка разлуки такая же, как и у Лермонтова: «Мне твоих денег не надо,— говорит Ашик-Кериб своей возлюбленной.— Боюсь, не было бы потом упреков».

После этого ашуг уходит в город Алаф (у Лермонтова — Халаф, во всех остальных вариантах — Алеппо).

---

[1] Эти сведения получены мной от Института литературы имени Низами в Баку.

[2] Сведения об армянских вариантах «Ашуг-Гариба» сообщила мне Р. Р. Орбели.

Перед разлукой ашуг дарит своей возлюбленной золотую чашу. Когда настает срок ему возвратиться, возлюбленная отдает эту чашу чалагадару и просит передать ее поручение тому, кто назовет себя хозяином чаши. Чалагадар встречает Кериба в Алафе. «Вот как поется об их встрече в татарской песне»,— сказано в сказке (разрядка моя — *И. А.*). Далее в записи следуют тексты песен на турецком языке, записанные грузинскими буквами и потому не вполне поддающиеся расшифровке. Но прочтенные тексты полностью совпадают с пересказом этих песен у Лермонтова.

Вчера ночью, вчера ночью
В городе Алафе
Бог дал мне крылья,
И я прилетел сюда.
Утренний намаз
Творил я в Арзруме,
Полдневный намаз —
В полях Карса,
К вечернему намазу
Был уже в Тифлизе.

«В городе Халафе,— читаем записи Лермонтова,— я пил мисирское вино, но бог дал мне крылья, и я прилетел сюда... Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда...»

Эти песни, вкрапленные в текст грузинского варианта, оказываются гораздо ближе к лермонтовской записи, чем песни шемахинского варианта. Очень близко к лермонтовской сказке передаются в грузинской записи эпизод встречи с Хадрилиазом, полет на крупе его коня и беседа сестры Кариба со слепой матерью. И кончается сказка так же, как у Лермонтова.

«Не прерывайте свадьбу,— говорит Кариб,— я отдам Шах-Валату в жены мою сестру». «И вправду,— заключает рассказчик,— Шах-Валат женился на сестре Кариба, а Кариб — на своей возлюбленной Шах-Санам» [1].

Но, может быть, этот вариант — вернувшаяся в фольклор лермонтовская сказка? Такую мысль печатно выска-

[1] Текст грузинского варианта «Ашуг-Кариба» сообщила мне Елена Вирсаладзе.

зал покойный А. В. Попов, автор вышедшей в Ставрополе книги о Лермонтове [1].

Нет, как мы видели, собственные имена в грузинской сказке другие: Шах-Санам, Шах-Валат... Уже по одному этому нельзя принять наивное утверждение Попова, что «лермонтовский текст, известный сказителям в устной передаче, лег в основу армянского и грузинского варианта народного сказа». По А. В. Попову выходит, что без Лермонтова грузины и армяне не знали бы народной сказки про Ашик-Кериба, распространенной в Закавказье с древних времен! Нет, вопрос этот гораздо сложнее!

По мусульманскому преданию, душа пророка Хидра переселилась в пророка Илью. Поэтому в этих двух пророках мусульмане видят одно лицо. Однако Лермонтов разъясняет, что Хадерилиаз — «святой Георгий». Между тем уже выяснено, что смешение имени Хидир-Илиаза и святого Георгия встречается постоянно, но не в азербайджанском, а в армянском и грузинском фольклоре [2]. В том грузинском варианте, который был записан в 1930 году близ Ахалцихе, в точности повторяется то же, что и у Лермонтова. О чудесном всаднике сказано, что это был «Хидриэл, или святой Георгий».

Таким образом, становится совершенно ясным, что Лермонтов записал тот вариант сказки про Ашик-Кериба, в котором заметно отразились элементы не только армянского, но и грузинского фольклора.

Взаимопроникновение грузинских, армянских и азербайджанских элементов в закавказском фольклоре очень значительно. Но сильнее всего оно всегда было там, где с давних времен наряду с грузинским языком широко была распространена армянская и азербайджанская речь,— в Тифлисе, в кварталах Старого города. Поэтому надо думать, что в Тифлисе Лермонтов и услыхал эту сказку. А в том, что Лермонтов записал сказку со слов азербайджанца, нет никаких сомнений: по-турецки и ашика должны были бы звать не Кериб, а Гариб, и Кур-

---

[1] См.: А. В. Попов. Лермонтов на Кавказе. Ставрополь, 1954, с. 94.

[2] См.: В. А. Мануйлов. М. Ю. Лермонтов и его запись сказки об Ашик-Керибе.— В сб.: «Ашик-Кериб», с. 28; Н. Ф. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе, т. I, кн. 2. СПб., 1871, с. 25; И. К. Ениколопов. К сказке «Ашик-Кериб» Лермонтова.— В кн.: М. Ю. Лермонтов. Ашик-Кериб. Турецкая сказка. Тбилиси, 1941, с. 16.

шуд-бек назывался бы Куршуд-беем, не было бы в тексте слова «гёрурсез» (турецкая форма «герурсунуз»), ни слова «сааз» (по-турецки «саз») [1].

Между тем, основываясь на том, что версия ашика Оруджа была записана в Шемахинском районе, авторы последних работ о Лермонтове считают, что он слышал сказку про ашика Кериба в Шемахе и записал ее там со слов ашика. «Именно здесь, в Шемахе или в ее окрестностях, поэт и записал и впоследствии обработал эту чудесную сказку, услышав ее из уст бродячего певца-ашуга»,— заявляет А. В. Попов [2].

Действительно, в 1837 году Лермонтов побывал в Шемахе. Но Попов торопился с выводами. Лермонтов не мог записать сказку со слов ашуга: он не знал азербайджанского языка. Следовательно, и узнал он сказку не в форме «дестана» — повествования, чередующегося с песнями,— а слышал ее по-русски, в прозаическом пересказе. Недаром он изложил ее в повествовательной форме. Если бы Лермонтов располагал развернутой записью с полным текстом песен Ашик-Кериба, надо думать, он и в переводе передал бы песни стихами. Ведь даже в «Бэле», где повествование ведется от лица Максима Максимыча, он не удержался и песню Казбича переложил в стихи, пояснив, что для него «привычка — вторая натура». У него поет и пугачевский казак в «Вадиме», и Селим в «Измаил-бее», и девушка в «Беглеце», поют гусляры в «Песне про царя Ивана Васильевича...», поет даже рыбка, убаюкивая Мцыри. А в сказке про певца певец не поет песен: они изложены прозою. Поэтому можно не сомневаться, что историю странствований Ашик-Кериба Лермонтов слышал не в исполнении ашиков и даже слышал не перевод их текста, а пересказ.

Правда, есть сведения, что в Шемахе нижегородские драгуны пользовались гостеприимством азербайджанских беков и агаларов — своих боевых товарищей по турецкой войне [3]. Конечно, эти люди могли пересказать поэту популярную народную сказку. Но мы как раз выяснили, что

---

[1] См.: И. К. Ениколопов. К сказке «Ашик-Кериб» Лермонтова.— Цит. изд., с. 15.

[2] См.: А. В. Попов. Лермонтов в первой ссылке. Ставрополь, 1949, с. 73.

[3] См.: В. Потто. История 44-го драгунского Нижегородского полка, т. IV, СПб., 1894, с. 77.

лермонтовская транскрипция расходится со всеми распространенными азербайджанскими вариантами, в том числе и с шемахинским, и оказывается ближе к грузинским и армянским вариантам. Отождествление Хидрилиаза с христианским «святым» Георгием, совершенно естественное в фольклоре грузин и армян, связанных с христианскою церковью, было бы менее понятным в фольклоре мусульманского Азербайджана. Поэтому предположение, что Лермонтов слышал и записал эту сказку в Тифлисе, не ослабляется, а, наоборот, подкрепляется этими новыми соображениями.

Но почему же сказку, услышанную в Тифлисе из уст азербайджанца, Лермонтов назвал турецкой?

Предположение мое, что название «турецкая сказка» дано не самим Лермонтовым [1], не подтверждается. Хотя на первой странице лермонтовского автографа никакого названия нет, тем не менее слова на обороте последней страницы (в сложенном виде она служила как бы обложкой рукописи), написанные быстрым и крупным почерком, непохожим на почерк Лермонтова, принадлежат все-таки ему самому: «Ашик-Кериб. Турецкая сказка». С этим мнением В. А. Мануйлова и С. А. Андреева-Кривича я уже согласился [2].

Итак, почему же «турецкая»?

Прежде всего потому, очевидно, что это проистекает из ее содержания. В сказке про Ашик-Кериба, пришедшей в Закавказье из Турции и до сих пор распеваемой ашугами в кофейнях Румели и Анатоли, речь идет о Турции и о турках. Об отце Магуль-Мегери Лермонтов пишет: «богатый турок». Следовательно, и сама Магуль-Мегери — турчанка. Путешествует Ашик-Кериб через турецкие города. Через Турцию попадает он в Сирию — в Халаф, или, как назвали его итальянцы, Алеппо. Играет Кериб на саазе — Лермонтов добавляет: «балалайка турецк<ая>». На свадьбах в Тифлисе Ашик-Кериб прославляет «древних витязей Туркестана»...

С. А. Андреев-Кривич, посвятивший специальную главу своей книги о Лермонтове сказке «Ашик-Кериб», полагает, что под Туркестаном следует разуметь здесь Туркме-

[1] См. мою книгу «Лермонтов». М., «Советский писатель», 1951, с. 222—223.

[2] См.: М. Ю. Лермонтов. Полн. собр. соч., т. 4. Библиотека «Огонек». М., 1953, с. 458.

нию[1]. Стремясь найти объяснение слову «Туркестан» в тексте лермонтовской сказки, он привлекает книгу Н. Н. Муравьева «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах...» (М., 1822). В этой книге кратко передано содержание туркменского варианта сказки о любви Шах-Санам и Кариба. «Таким образом,— пишет Андреев-Кривич, сближая текст лермонтовской сказки с изложением Н. Муравьева,— слова Лермонтова о том, что Ашик-Кериб прославлял древних витязей Туркестана, перестают казаться простой случайностью»[2].

Автор полагает доказанным, что слово «Туркестан» в лермонтовской записи восходит к туркменскому варианту.

Но такой выдающийся тюрколог, как академик В. А. Гордлевский, считал, что у Лермонтова идет речь не о Туркмении, а о Турции. Форма «Туркестан» в применении к Турции — указывает он — встречается у турецких народных поэтов, а в литературе — у Намыка Кемаля.

Того же мнения известные тюркологи А. Н. Кононов и М. С. Михайлов. По их мнению, «Туркестан» в данном тексте следует понимать как «страна тюрок», по аналогии с «Дагестан», «Гюрджистан» (Грузия), «Айстан» (Армения) и т. д. («стан» — в буквальном смысле — «стоянка»).

Таким образом, интересное наблюдение С. А. Андреева-Кривича, свидетельствующее о широком распространении сказки про Ашик-Кериба на Ближнем Востоке и в Средней Азии, к изучению лермонтовского текста ничего добавить не может. Нет сомнения, что сказка Лермонтова, заключающая ряд азербайджанских слов и сохранившая следы азербайджанского произношения, записана в Закавказье и не находится ни в какой связи с туркменским вариантом. При этом напомним, что, указывая в скобках значение слова «сааз» («балалайка турецк<ая>»), Лермонтов приводит слово азербайджанское — не турецкое: по-турецки не «сааз», а «саз».

Итак, Лермонтов называет турецкой сказку, записанную со слов азербайджанца. Видимо, тот, кто рассказывал Лермонтову историю любви и скитаний Ашик-Кериба, знал о ее турецком происхождении.

---

[1] С. А. Андреев-Кривич. Лермонтов. Вопросы творчества и биографии. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 107—108.

[2] Там же, с. 107.

Но прежде чем решать вопрос о том, кто мог пересказать эту сказку Лермонтову, следует обратить внимание на маленькую неточность, вкравшуюся в лермонтовский автограф.

В лермонтовской сказке соперника Ашик-Кериба зовут, как известно, Куршуд-бек. Но в самом конце, описывая появление Ашик-Кериба на свадьбе Магуль-Мегери, Лермонтов допустил удивительную описку:

«Селям алейкюм,— говорит Ашик-Кериб, вступая на свадьбу,— вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню».

— Почему же нет,— сказал Шах-Валат (хозяин свадьбы)...» — написал Лермонтов. И, заметив ошибку, исправил: «Почему же нет,— сказал Куршуд-бек» [1].

Откуда взялось это второе имя? Ведь Шах-Валат — это тот же Шах-Велед, который упоминается во всех других вариантах сказки. Как попало его имя в лермонтовский автограф? Может быть, как полагает Мануйлов, Лермонтов знал разные варианты? [2]

Нет, для этого заключения не имеется никаких оснований. Более того: оно кажется совершенно невероятным. Изучать и сводить вместе разные варианты азербайджанской сказки Лермонтов не мог прежде всего потому, что для этого надо было знать азербайджанский язык.

Поэтому «Шах-Валат» в лермонтовской рукописи — это не описка Лермонтова, а обмолвка рассказчика. Отсюда снова можно сделать вывод, что Лермонтов знал сказку не от профессионального исполнителя, а от какого-то образованного азербайджанца, которому она была известна в нескольких вариантах.

Но от кого же мог Лермонтов услыхать азербайджанскую сказку про странствующего певца?

5

В Тифлисе Лермонтов встречался не только с грузинами. Интерес к новой стране не ограничился для него домом Чавчавадзе. «Начал учиться по-татарски, язык,

[1] Лермонтов, т. VI, с. 200 и 561. См. мою статью «Лермонтов в Грузии».— «Красная новь», 1939, № 10-11, с. 254.

[2] См.: В. А. Мануйлов. М. Ю. Лермонтов и его запись сказки «Ашик-Кериб».— В сб.: «Ашик-Кериб». Л., 1941, с. 27.

который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе,— писал он Раевскому,— да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться».

Отсюда следует, что Лермонтов встречался с жившими в Тифлисе азербайджанцами и у кого-то брал уроки азербайджанского языка.

Итак, у Лермонтова был учитель. Но для того, чтобы преподавать ему, сам учитель, кроме азербайджанского языка, должен был хорошо знать и русский. Русский язык в ту пору знали образованные азербайджанцы. Судя уже по одному этому, учитель Лермонтова был образованным человеком. В то время в Тифлисе образованных азербайджанцев было совсем мало. Мы знаем, что Лермонтов встречался в Тифлисе с ученым татарином Али. Ученых азербайджанцев, которых звали Али, было в Тифлисе еще меньше. В начале 1837 года Бестужев-Марлинский, живший в Тифлисе у штаб-ротмистра Потоцкого, брал уроки азербайджанского и персидского языков у высокообразованного азербайджанца. При этом его учителя звали тоже Али: Мирза Фет Али, или просто Мирза Али. Это был замечательный азербайджанский поэт Мирза Фатали Ахундов (1812—1878), в ту пору только еще начинавший свою литературную деятельность. Может возникнуть вопрос: к чему было Лермонтову расчленять его имя и писать отдельно: «Али»? Однако и сам Ахундов так писал свое имя по-русски. Сохранился его русский автограф, на котором имеется подпись: «Мирза Фет Али Ахундов» [1].

«Хорошо обученный языкам арабскому, персидскому, турецкому и татарскому» (как сказано в его служебном формуляре), Мирза Фет Али с 1834 года жил в Тифлисе и состоял в должности переводчика с восточных языков при канцелярии главноуправляющего Грузией барона Розена [2].

Первые стихи, благодаря которым имя Ахундова стало известно за пределами Кавказа, были написаны им в 1837 году. Известие о гибели Пушкина вдохновило Ахундова на создание большой элегической поэмы. Сделав с нее

---

[1] Автограф Мирзы Фатали Ахундова на книге, подаренной им Я. П. Полонскому. Воспроизведен в кн.: Микаэль Рафили. Мирза Фатали Ахундов. Баку, «Азернешр», 1939, с. 96—97. Ср. написание имени в статье: Г. Миназасов. Мирза Али Ахундов.— «Тифлисский листок», 1903, № 249.

[2] А. П. Берже. Восточная поэма на смерть А. С. Пушкина.— «Русская старина», 1874, № 9, с. 76.

подстрочный перевод, молодой азербайджанский поэт отослал его в Москву, в редакцию «Московского наблюдателя», и поэма появилась на русском языке в апрельском номере журнала. «Мы от души желаем успеха замечательному таланту,— говорилось в примечании редакции,— тем более что видим в нем такое сочувствие к образованности русской» [1].

Действительно, выдающийся знаток восточных языков и литератур, Ахундов великолепно знал и русскую литературу. В своей поэме он упоминает имена Ломоносова, Державина и Карамзина, предшественников «главы собора поэтов» — Пушкина. В целом поэма представляет собой замечательное произведение, которое справедливо считают после стихотворения Лермонтова самым значительным из поэтических откликов на смерть Пушкина, принадлежавших перу его современников.

«Разве ты, чуждый миру, не слыхал о Пушкине, о главе собора поэтов? — вопрошает Ахундов.— О том Пушкине, которому стократно гремела хвала со всех концов света за его игриво текущие песнопения! О том Пушкине, от которого бумага жаждала потерять свою белизну, лишь бы его перо рисовало черты на лице ее!..

Ломоносов красотами гения украсил обитель поэзии. Мечта Пушкина водворилась в ней. Державин завоевал державу поэзии, но властелин ее Пушкин был избран свыше.

Карамзин наполнил чашу вином знания — Пушкин выпил вино этой полной чаши.

Разошлась слава его по Европе...

Светлотою ума был он любимцем Севера так, как взор молодой луны драгоценен Востоку...

Будто птица из гнезда, упорхнула душа его — и все, стар и млад, сдружились с горестью. Россия в скорби и воздыхании восклицает по нем: «Убитый злодейской рукой разбойника мира!»

В рукописи Ахундова, не изуродованной царской цензурой, сказано: «Русская земля стонет в трауре и скорби: о, великая жертва безжалостных убийц-палачей!» [2].

---

[1] М. Рафили. Пушкин и Мирза Фатали Ахундов.— «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии». М.— Л., Изд-во АН СССР, 1936, вып. 2, с. 248—250.

[2] А. Григорян, З. Буниятов. Слово о великой дружбе (судьба одной поэмы).— «Литературная газета», 1953, № 45 (3074).

«Итак, не спас тебя от оков колдовства этой старой волшебницы-судьбы талисман твой! Удалился ты от земных друзей своих... Бахчисарайский фонтан шлет тебе с весенним зефиром благоухание двух роз твоих. Седовласый старец Кавказ отвечает на песнопения твои стоном в стихах Сабухия» [1]. (Сабухия — литературный псевдоним Ахундова.)

Мы привели здесь перевод, сделанный при содействии автора Бестужевым-Марлинским.

Бестужев относился к занятиям с Ахундовым очень серьезно. Он считал, что писатель должен изучить «татарский язык Закавказского края», с которым, «как с французским в Европе, можно пройти из конца в конец всю Азию» [2].

Фраза эта поразительно напоминает то, что писал о «татарском» языке Лермонтов: «язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе». И вряд ли здесь можно говорить о случайном совпадении.

Естественным кажется, что Лермонтов услышал эту фразу Марлинского в Тифлисе из уст ученого азербайджанца Али.

Не один Бестужев брал уроки у Мирзы Фет Али Ахундова. Яков Петрович Полонский, поселившись с 1846 года в Тифлисе, тоже вскоре познакомился с Ахундовым и начал изучать азербайджанский фольклор, записывая народные песни, пословицы, поговорки, отдельные выражения и слова. В архиве Полонского сохранились и подстрочные переводы, и азербайджанский текст, записанные по-русски и в арабской транскрипции. Азербайджанский литературовед М. Рафили считает, что в этой работе ему помогал Мирза Фатали Ахундов [3].

Вот почему мы думаем, что Мирза Фатали Ахундов обучал азербайджанскому языку и Лермонтова, что именно он был тем человеком, который помог Лермонтову записать сказку про Ашик-Кериба.

Известие об убийстве Пушкина было встречено в Тифлисе с огромным волнением и негодованием. «Когда я про-

---

[1] А. П. Берже. Восточная поэма на смерть А. С. Пушкина.— «Русская старина», 1874, № 9, с. 79.

[2] А. Б[естужев]. Красное покрывало.— «Тифлисские ведомости», 1831, № 6-7, с. 45.

[3] См.: Микаэль Рафили. Мирза Фатали Ахундов. Баку. «Азернешр», 1939, с. 101—103.

чел твое письмо Мамуке Орбелианову,— писал Бестужев-Марлинский брату,— он разразился проклятиями. «Я убью этого Дантеса, если когда-нибудь увижу его»,— сказал он. Я,— продолжает Бестужев,— заметил ему, что в России найдется достаточно русских, чтобы отомстить за бесценную кровь» [1].

Мамука Орбелиани, «пылкий, храбрый и благородный»,— как пишет о нем современник,— друг и родственник Николоза Бараташвили и Александра Чавчавадзе, выразил то, что думали и чувствовали все передовые люди Кавказа. Поэтому появление в Тифлисе Лермонтова не могло пройти незамеченным, особенно если вспомнить, что в 1837 году Тифлис насчитывал всего лишь двадцать пять тысяч жителей и был не больше нынешнего районного центра [2]. Весь город в ту пору знал в лицо каждого заметного человека. Как же мог поэт, сосланный за стихи на смерть Пушкина, не встретиться в этом городе с другим молодым поэтом, откликнувшимся на это же событие замечательными стихами?!

Мне думается, что это знакомство произошло, что великий русский поэт Лермонтов и великий азербайджанец Ахундов протянули друг другу руки и одними из первых положили начало дружбе и культурной связи двух народов.

Доказательством этому служит запись Лермонтова, в которой упомянут «ученый татарин Али».

6

Между тем тбилисский иследователь И. К. Ениколопов в своей книге «Лермонтов на Кавказе» предложил совсем иное истолкование упомянутых Лермонтовым имен.

«В ту пору,— пишет Ениколопов,— среди мусульманского населения Тифлиса наиболее образованным человеком был Мамед-Али — тифлисский ахунд, уроженец Сальян. У него был племянник Ахмет, занявший в 1852 году

---

[1] Письмо А. А. Бестужева к брату П. А. Бестужеву.— «Отечественные записки», 1860, кн. VII, с. 71—72.

[2] См.: С. Джанашиа. Тбилиси. Краткий исторический очерк.— В кн.: «1500 лет Тбилиси». Тбилиси, «Заря Востока», 1946, с. 28.

его должность. В выходившей в Тифлисе газете «Закавказский вестник» мы встречаем сообщения Мамеда-Али: «Мудрая царевна, восточная сказка», «Встреча казия с ученым вором» и много других» [1].

К сожалению, все эти факты не подтверждаются. Ни одно из сенсационных сообщений в книге Ениколопова (а их много!) не имеет ссылок на какие-либо источники. Потому и это его открытие вызывает невольные недоумения. Означает ли «в ту пору» — «в 1837 году»? Откуда почерпнул Ениколопов свои сведения о Мамеде-Али и об Ахмете? Где доказательства того, что оба они в том году находились в Тифлисе? Можно ли принять на веру, что из всех мусульман, живших в Тифлисе, самым образованным следует считать Мамеда-Али, в то время как ни у кого не возникает сомнений в том, что Мирза Фатали Ахундов принадлежал к самым образованным людям своего времени?

Хотя Ениколопов не указал ни года, ни номера газеты, откуда добывал сообщенные им факты, тем не менее нам удалось выяснить, что автором сказок, о которых он говорит, был Мирза Мамед-Али Сафиев, фельетонист газеты «Закавказский вестник». Причем сказки его печатались совсем не «в ту пору», когда Лермонтов находился в Тифлисе, и даже не в 30-х годах, а гораздо позже — в 1853—1855 годах [2].

Что же касается тифлисского ахунда, то это совершенно другое лицо — молла Мамад-Али-Ахунд Калбалай-Усейн-оглу.

В книге своей Ениколопов и в этом случае не ссылается на источник, из которого почерпнул свои сведения, но сообщил нам, что в его руках было дело, хранящееся в Центральном историческом архиве Грузии,— «Об избрании шейх-уль-ислама на место уволенного в отставку от этой

---

[1] И. Ениколопов. Лермонтов на Кавказе. Тбилиси, «Заря Востока», 1940, с. 30—31.

[2] Мирза Мамед-Али Сафиев. Мудрая царевна. Восточная сказка.— «Закавказский вестник» (далее — «ЗКВ»), 1853, № 38; Встреча казия с ученым вором.— «ЗКВ», 1853, № 44; Мечеть Баба-Самеда.— «ЗКВ», 1853, № 19; Нечто о шахе Гюдджаче.— «ЗКВ», 1853, № 28; Предрассудок.— «ЗКВ», 1853, № 10; Мусульманская свадьба в Ленкорани.— «ЗКВ», 1854, № 12; Исповедь пилигримки. Восточное сказание.— «ЗКВ», 1854, № 10; Щедрый инкогнито.— «ЗКВ», 1854, № 31; Восточные любовники.— «ЗКВ», 1855, № 19, и т. д.

должности Мамада Али»[1]. Перелистаем дело. Оно относится к 1846—1852 годам. Из документов, его составляющих, видно, что тифлисский ахунд Мамад-Али, прослужив более двадцати пяти лет и будучи в преклонных летах, подал в отставку. В своем прошении он сообщает, что намерен вернуться на родину — в город Сальяны (Азербайджан). На свое место рекомендует племянника — ахунда молла Ахмеда Гусейнова, отправляющего должность сальянского главного кадия.

В результате долгих проволочек, вызванных проверкой личности и политической ориентации моллы Ахмеда, которого, как видно из имеющихся в деле прошений правоверных магометан, никто в Тифлисе не знал, молла Мамад-Али оставался на своем посту еще шесть лет — до 1852 года, когда, наконец, его сменил упомянутый молла Ахмед.

Как сказано в одном документе, молла Ахмед состоял главным кадием в сальянском участке «с давнего времени», был членом тамошнего суда — шаро — и смотрителем магометанского училища. Следовательно, он жил в Сальянах, а не в Тифлисе, и потому стремление Ениколопова видеть в нем одного из лермонтовских знакомцев крайне неубедительно. У нас нет никаких данных считать, что в 1837 году молла Ахмед находился в Тифлисе и принадлежал к числу знакомых поэта. Данных же о том, что он жил в это время в Сальянах, достаточно. Что же касается моллы Мамада-Али, то знакомству его с Лермонтовым препятствовало немаловажное обстоятельство: он не знал русского языка. Прошения его, сохранившиеся в архивном деле, переводил не кто иной, как... Мирза Фатали Ахундов. Следовательно, Мамад-Али не мог помочь Лермонтову перевести на русский язык азербайджанскую сказку и давать ему уроки азербайджанского языка. И вообще трудно допустить, что Лермонтову давало уроки лицо духовное. И что тифлисский ахунд рассказывал поэту любовную сказку. Ениколопов, очевидно, даже и не задумывался над тем, почему бы Лермонтов стал называть магометанского священника — ахунда — «ученым», а не «ахундом». По его, Ениколопова, версии, другой священнослужитель —

---

[1] «Дело об избрании шейх-уль-ислама на место уволенного в отставку от этой должности Мамада Али».— ЦГИА Грузинской ССР, ф. 4/30, оп. 5, № 61; «Дело о представленной тифлисским ахундом Алиевой секты Мамед Али книге шариата под названием Шарауль-ислам».— Там же, ф. 4/30, оп. 8, № 117.

Ахмет — выполняет в записи Лермонтова обязанности слуги («Мы говорим Ахмету, чтобы он узнал, кого имел этот офицер...» и т. д.). Ахмет бродит вокруг дома и вызнает, что приехал муж таинственной грузинки.

Итак, гипотеза о знакомстве Лермонтова с тифлисским ахундом, а тем более с его сальянским племянником, лишена оснований. Поэтому мы по-прежнему остаемся в убеждении, что «ученый татарин Али» — это великий демократ, просветитель Азербайджана Ахундов.

7

В 1923 году проживавший в Париже Вл. Ник. Аргутинский-Долгоруков через искусствоведа С. Н. Тройницкого переслал в Пушкинский дом Академии наук СССР в Петрограде принадлежавшие ему рисунки Лермонтова «Развалины на берегу Арагвы в Грузии» и «Лезгинка». До 1918 года В. Н. Аргутинский-Долгоруков жил в Петрограде и принадлежал к числу известных столичных коллекционеров. Впрочем, исследователям Лермонтова эти факты в то время ничего сказать не могли.

В 1950 году, в надежде обнаружить материалы о том, когда и при каких обстоятельствах была наименована Лермонтовской одна из улиц Тифлиса, и пересматривая с этой целью описи дел и протоколы Тифлисской городской думы в Центральном государственном историческом архиве Грузии в Тбилиси, я извлек из них некоторые неизвестные данные.

Оказалось, что в 1891 году, собираясь отметить пятьдесят лет со дня смерти Лермонтова, Тифлисская городская дума поручила городскому секретарю «произвести дознание, как в архивах штаба, так и опросом старожилов», чтобы выяснить, на какой улице Лермонтов останавливался, а если возможно, найти и дом, в котором он проживал [1].

Через семь лет — в 1898 году — один из членов думской исполнительной комиссии по наименованию улиц г. Тифлиса, некий Н. З. Туманов, подал председателю этой комиссии заявление, в котором докладывал, что «многие были заняты изысканием сведений о том, в каком именно доме проживал поэт Лермонтов», и что «со-

---

[1] ЦГИА Грузинской ССР, ф. 192, оп. 5/1898, л. 35—36.

бранные данные свидетельствуют, что Лермонтов жил у родственника своего в 4-м участке по Садовой улице». «Подробные сведения о проживании поэта Лермонтова на Садовой улице,— заключал свое заявление Туманов,— имеются у гласного князя Ник. Вас. Аргутинского-Долгорукова». В связи с этим податель заявления просил отсрочить переименование Садовой улицы в Бебутовскую и разобраться в материалах, которыми располагал Аргутинский-Долгоруков [1].

Однако, ссылаясь на то, что Садовая улица составляет продолжение Бебутовской (так называлась нижняя часть нынешней улицы Энгельса до угла улицы Шалвы Дадиани), комиссия, после восьмилетнего бездействия, поспешила перенумеровать дома на Садовой улице и прибить дощечки с надписью «Бебутовская». А через два года переименовала в Лермонтовскую Нагорную улицу, исторически с именем Лермонтова никак не связанную.

Какими «подробными данными» о проживании Лермонтова на Садовой улице располагал гласный Аргутинский-Долгоруков — этого мы не знаем. Дела о переименовании тифлисских улиц в архиве не сохранились: из старых описей и канцелярских помет на думских протоколах видно, что все материалы, о которых писал Туманов, остались тогда на руках у Аргутинского-Долгорукова.

Но эта думская переписка приобретает иное значение, если учесть, что гласный Тифлисской городской думы Ник. Вас. Аргутинский-Долгоруков был отцом того самого Вл. Ник. Аргутинского-Долгорукова, который переслал из Парижа в Пушкинский дом лермонтовские рисунки, изображающие лезгинку на плоской кровле тифлисской сакли и развалины на берегу Арагвы. Таким образом, у думского гласного имелись вещественные доказательства, подтверждавшие достоверность собранных сведений [2].

От кого могли быть получены эти сведения?

Выяснить это теперь уже невозможно. Аргутинский-отец умер в 1907 году, Аргутинский-сын в 1940-м. Но вернее всего, что сведения были получены от старожилов. Семидесятилетние тифлисцы в 90-х годах могли хорошо помнить Лермонтова. Могли быть получены эти сведения

---

[1] ЦГИА Грузинской ССР, ф. 192, оп. 4, № 61.

[2] Родство Н. В. и В. Н. Аргутинских, а также годы их смерти установлены мной через С. В. Аргутинскую-Долгорукову.

и от тех, у кого в семье хранились лермонтовские рисунки. Не надо забывать, что к кругу людей, с которыми Лермонтов мог встречаться в Тифлисе, принадлежала «маленькая княжна Аргутинская», о которой упоминал в своем письме друг поэта Монго Столыпин. Рисунки, изображавшие ущелье Арагвы и пляшущих грузинок, Лермонтов мог подарить ей: эти реликвии могли храниться в семье Аргутинских. Во всяком случае, к сообщению комиссии Тифлисской городской думы следует отнестись с полным доверием. Тем более что речь идет о Садовой улице, где, как мы знаем, жили Ахвердовы.

Правда, в 1837 году Прасковья Николаевна находилась в Петербурге. Но в Тифлисе оставался ее пасынок — подпоручик Егор Ахвердов [1]. В представлении тифлисских старожилов пасынок тетки, хотя бы тетки и не родной,— это, конечно, родственник. Зная при этом, что офицеры в то время в Тифлисе жили на частных квартирах, можно не сомневаться, что Лермонтов останавливался у Ахвердова.

В 1831 году большой каменный дом Ахвердовых и примыкавший к нему обширный фруктовый и виноградный сад были разыграны в лотерею и достались некоей мадам Кастелас (знакомой Грибоедова), разместившей в доме частный пансион для девиц [2]. В 1840 году этот пансион перешел в казну [3]. Но кроме дома, был, как мы знаем, и флигель, который прежде занимала семья Чавчавадзе. «В смежности с означенным имением находится одноэтажный дом со службами»,— читаем в деле «О разыгрании в лотерею дома и сада... Ахвердова». «Тут же,— сказано дальше,— находится пустопорожнее место, принадлежащее наследникам его, Ахвердова, но не входившее в состав лотереи, как и упомянутый выше дом...» [4]

[1] См.: «Грузинцы в Закавказье. Боевая летопись 14-го Гренадерского грузинского генерала Котляревского полка». Составил штабс-капитан Н. П. Махлаюк. Тифлис, 1900. Приложение, с. 21.

[2] См.: «Тифлисские ведомости», 1831, №№ 2 и 3, с. 16, 24; «Из записок Н. Н. Муравьева-Карского».— «Русский архив», 1894, кн. I, с. 39.

[3] См. Я. П[олонск]ий. Статистический очерк г. Тифлиса. Без года издания, с. 23.

[4] «Дело о разыгрании в лотерею дома и сада, принадлежащего детям умершего генерала-майора Ахвердова». На 305-ти листах.— ЦГИА Грузинской ССР, ф. 2, оп. 1, № 854, л. 42 об. Указано мне И. К. Ениколоповым.

Этот флигель остался собственностью Егора Ахвердова, который к этому времени «достиг совершенных лет» и служил в Грузинском гренадерском полку, квартировавшем в Тифлисе.

В 1833 году имя Егора Ахвердова было внесено в алфавит лиц, прикосновенных к заговору 1832 года. Его называли на допросах в числе тех, на кого, по словам заговорщиков, можно было положиться в момент восстания. Следствие не подтвердило этих предположений, и комиссия оставила Егора Ахвердова «без последствий». Все эти годы он, как свой, по-прежнему гостил в Цинандали и проводил досуг в семье Чавчавадзе [1].

Итак, Лермонтов останавливался на Садовой.

Остается выяснить, что представляла собой в ту пору Садовая улица.

Правильнее будет, если мы скажем, что в 30-х годах она только еще возникала. Как сказано в документе 1831 года, дом и флигель покойного генерал-майора Ахвердова расположены были «в предместье Тифлиса» и «не имели поблизости никаких зданий» [2]. В 1850 году — тринадцать лет спустя после отъезда Лермонтова — на всей Садовой улице значится только шесть домиков. Вряд ли на этой улице в 1837 году мог занимать дом еще и другой родственник Лермонтова!

Поэт жил у Егора Ахвердова. В этом можно не сомневаться.

Может, правда, возникнуть законное недоумение: почему деятели Тифлисской городской думы не назвали фамилию родственника, у которого Лермонтов жил на Садовой?

Хотя у нас в руках нет ни одного документа, кроме упомянутого заявления думского гласного Туманова, понятно, что городская дума не решилась без дополнительных изысканий объявить родственником Лермонтова человека с нерусской фамилией. Потому-то думская комиссия и оставила этот вопрос открытым «впредь до наведения справок» [3]. Теперь можно считать, что эти справки

---

[1] ЦГИА Грузинской ССР, ф. ОВД, д. № 166, л. 61; д. № 167, л. 454—457.

[2] «Дело о разыграпии в лотерею...», л. 86. План г. Тифлиса с окрестностью. Приложение к «Кавказскому календарю на 1851 год».

[3] «Кавказ», 1898, № 143.

наведены: родственные связи Лермонтова с Ахвердовыми установлены.

Выяснен адрес. А главное — найдена еще одна нить, ведущая к Чавчавадзе.

8

В начале 1838 года Лермонтов вернулся в Россию. Кавказская ссылка окончилась. Но скитания по Кавказу и Грузии начали оживать в стихах и поэмах, в прозе «Героя нашего времени». Восьмым сентября помечена шестая — «кавказская» — редакция «Демона». Через три месяца — 4 декабря 1838 года — работа над «Демоном» завершена окончательно [1]. В этой редакции поэма разошлась по России в сотнях списков и стала известна современникам. Это и есть окончательная переработка «Демона», завершенная по возвращении из Грузии [2].

В 1838—1839 годах начата и закончена работа над «Героем нашего времени». Одновременно, в августе 1839 года, написана поэма о Мцыри. В это же время созданы стихотворения «Поэт», «Дары Терека», «Памяти А. И. Одоевского», «Казачья колыбельная песня», очевидно, «Не плачь, не плачь, мое дитя...», темы и образы которых зародились тогда, в путешествиях 1837 года. Но настоящего творческого итога мы представить себе все же не можем, потому что почти все стихотворения, написанные в том году на Кавказе, погибли. «По мере того как он оканчивал, пересмотрев и исправив, тетрадку своих стихотворений, он отсылал ее к своим друзьям в Петербург,— писала в 1858 году поэтесса Ростопчина гостившему в то время в России Александру Дюма.— Эти отправки причиною того, что мы должны оплакивать утрату нескольких из лучших его произведений. Курьеры, отправляемые из Тифлиса, бывают часто атакуемы чеченцами или кабардинцами, подвергаются опасности попасть в горные потоки или пропасти, через которые они переправляются на досках или переходят вброд, где иногда, чтобы спасти себя, они бросают доверенные им па-

---

[1] См.: А. Михайлова. Последняя редакция «Демона».— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 13.

[2] Э. Найдич. Спор о «Демоне».— «Литературная Россия», 1968, № 27.

кеты, и таким образом пропали две-три тетради Лермонтова» [1].

Рассказанная Ростопчиной история гибели лермонтовских тетрадей не вызывает сомнений. Тем более что из стихотворений, написанных на Кавказе в 1837 году, до нас дошло только одно: «Спеша на север из далека...». В пользу датировки этого стихотворения 1837 годом говорит не только самый текст, в котором поэт старается предугадать, что ожидает его на родине, но и записанные на обороте листа имена Маико и Маи. Правда, к стихотворениям 1837 года относят «Кинжал», но «Кинжал» написан, видимо, в следующем, 1838 году: черновой автограф его находится на обороте листа с посвящением к «Тамбовской казначейше», а «Посвящение» к этой поэме написано, безусловно, в 1838 году.

«Если бы не бабушка... я бы охотно остался здесь»,— писал Лермонтов из Грузии Святославу Раевскому.

Это очень важное признание. Значит, еще не выехав из Грузии, Лермонтов уже хорошо представлял себе, как много дал ему этот год, как он расширил его кругозор, как способствовал его созреванию и росту.

Год спустя он уверял того же Раевского: «...если поедешь на Кавказ — вернешься поэтом...»

Это желание снова побывать на Кавказе не оставляло Лермонтова. «Просился на Кавказ,— жаловался он в 1838 году М. А. Лопухиной,— отказали...»

Кавказский материал в произведениях Лермонтова был результатом не случайных наблюдений ссыльного офицера, а результатом никогда не ослабевавшего интереса Лермонтова к Кавказу, к его поэзии, его истории, к судьбам кавказских народов.

Поэтому сообщение поэта о том, что он начал учиться по-татарски, заключало в себе важный смысл.

В условиях кавказской войны это был язык, связующий многие национальности («как французский в Европе»). Писателю, собиравшемуся работать над кавказскими темами, чтобы не ограничиваться внешними наблюдениями, было важно знать именно этот язык. Слова Лермонтова: «жаль, сейчас не доучусь, впоследствии могло бы пригодиться» — доказывают, что еще в 1837 году

---

[1] Е. П. Ростопчина. Записка о Лермонтове.— В кн.: Е. Сушкова. Записки, с. 349.

у него возник какой-то замысел, для которого могло пригодиться знание азербайджанского языка.

Это был замысел романа о кавказской войне.

9

Во второй статье о «Герое нашего времени», явившейся в то же время и некрологом Лермонтова, Белинский с грустью сообщал:

«Он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство...» [1]

Об этих планах Лермонтов рассказывал Белинскому в последний приезд в Петербург.

Продолжал он обдумывать их и в Пятигорске. И по дороге к месту дуэли с Мартыновым с увлечением рассказывал секунданту, корнету Глебову, планы двух задуманных им романов: «одного из времени смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкою в Вене, и другого — из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране» [2].

Замыслы, которыми Лермонтов поделился с Глебовым,— это планы второго и заключительного романа той самой трилогии, о которой пишет Белинский.

Через несколько минут после разговора с Глебовым эти замыслы были убиты. Не осуществилась замечательная эпопея, ибо план только одного из трех романов «из времени смертельного боя двух великих наций» уже в какой-то мере предвосхищал тему «Войны и мира».

Замысел заключительного романа связан с Тифлисом, с именем Чавчавадзе, Цинандали, с Нижегородским полком. Тифлис при Ермолове был бы воссоздан по рассказам Ахвердовой, Чавчавадзе, старых кавказцев, встречен-

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. V, с. 455.

[2] П. К. Мартьянов. Последние дни жизни поэта М. Ю. Лермонтова.— «Исторический вестник», 1892, № 4, с. 90.

ных в Грузии; персидская война — по рассказам однополчан: нижегородцы отличились в этой войне.

О Грибоедове Лермонтов беседовал, конечно, с Александром Одоевским, которого с автором «Горя от ума» связывала жаркая дружба. Слышал он рассказы о Грибоедове от Нины и от отца ее, многое знал от Ахвердовой. От них же были известны ему подробности тегеранской катастрофы. Да и вообще Грибоедова многие помнили в Тифлисе в ту пору, когда туда прибыл Лермонтов. Словом, материал для этого заключительного романа — воспоминания современников, очевидцев — был в его распоряжении огромный.

Можно без преувеличения сказать, что если бы Лермонтов успел осуществить эту трилогию, то не только обогатил бы русскую литературу замечательным произведением, но оказал бы еще более значительное влияние на все дальнейшее развитие русской литературы. Трудно назвать другую эпопею, столь обширную по охвату исторического материала.

В первой части трилогии («века Екатерины II») Лермонтов изобразил бы, вероятно, походы Суворова или вернулся бы к теме пугачевского восстания, над которой работал в юношеском «Вадиме». Вторая часть трилогии была бы романом об Отечественной войне: Лермонтов, видимо, хотел воплотить в ней события, связанные с Бородинским сражением и оставлением Москвы («действия в сердце России»), взятием Парижа и заключил бы ее, очевидно, Венским конгрессом («развязкою в Вене»). Третий роман должен был охватывать события кавказской войны в эпоху, последовавшую за восстанием 14 декабря 1825 года (Ермолов, персидская война, гибель Грибоедова). «Три романа из трех эпох жизни русского общества», о которых Лермонтов говорил Белинскому, были, таким образом, приурочены ко временам пугачевского восстания, Отечественной войны и восстания декабристов. Судя по этому, можно предположить, что трилогия была задумана как эпопея о трех поколениях, принимавших участие в великих событиях, знаменовавших собой три эпохи.

На Кавказе служили многие участники Отечественной войны и заграничных походов, тянули солдатскую лямку разжалованные декабристы-офицеры; служили сотни рядовых — участников декабрьского восстания — матросы

гвардейского экипажа, солдаты полков, вышедших на Сенатскую площадь, и Черниговского полка, поднявшего восстание на Украине; прогнанные сквозь строй, они были отправлены в Кавказский корпус. В Кавказской армии хранились живые предания о славных победах русских войск и о трагедии, разыгравшейся на Сенатской площади в Петербурге. В Кавказской армии не умирали суворовские традиции, имя Ермолова произносилось в армии с уважением, как символ демократизма и свободомыслия.

Работа Лермонтова над кавказским фольклором и кавказской темой связывалась с работой над темой исторической, Кавказ оказывался для него неисчерпаемым источником и вдохновения и материала. Лермонтов совершал путь к историческому повествованию, в котором кавказская тема ложилась в основу большого исторического романа о событиях едва минувшего времени. Вероятно, в свете исторического сопоставления и современность в романе о кавказской войне оказалась бы осмысленной исторически.

Теперь мы понимаем, как значителен был этот замысел и какую большую роль в его зарождении сыграло пребывание Лермонтова в Грузии.

10

В сознании миллионов читателей поэзия Лермонтова издавна и чаще всего ассоциируется с теми портретами, на которых он представлен в мохнатой кавказской бурке или в пехотном мундире без эполет и с кинжалом на поясе.

Этот кинжал сохранился. Многочисленные посетители Пушкинского дома в Ленинграде подолгу склоняются над стеклом витрины, в которой хранится сверкающий клинок с золотой арабской надписью и рукояткой, украшенной замысловатыми узорами.

Эта вещь привлекает к себе такое долгое внимание не только потому, что это личное оружие Лермонтова, с которым он не расставался в боях и изображен на портретах. Нет, кинжал в музейной витрине привлекает прежде всего потому, что образ кинжала живет в лермонтовских стихах, потому что кинжал — один из самых устойчивых атрибутов лермонтовской поэзии.

Как символ тираноборства и свободы он вошел в стихи Лермонтова из поэзии декабристов и Пушкина. Но Лермонтов развил этот образ, сделал его конкретным, «написал его биографию». Его кинжал — символ благородства, чести, силы, независимости и свободы в самом широком смысле. Это товарищ поэта — неизменный и верный, к которому обращены лучшие стихотворения.

Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный [1].

Вступив на путь борьбы с самодержавной властью, всем своим творчеством выражая протест против общественно-политического уклада дворянско-крепостнической России, поэт заявлял о своей твердости, подобной кинжальной стали:

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный;
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.

Кинжал — мерило лучших чувств: возвышенной любви и стремления к «мятежной жизни», к свободе.

За звук один волшебной речи,
За твой единый взгляд,
Я рад отдать красавца сечи,
Грузинский мой булат... [2]

В стихотворении «Поэт» рассказана история этого грузинского кинжала с надписью на стальном клинке:

Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провел он страшный след
И не одну прорвал кольчугу.

Забавы он делил послушнее раба,
Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным.

Он взят за Тереком отважным казаком
На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
В походной лавке армянина.

---

[1] «Кинжал».
[2] «Как небеса, твой взор блистает...».

Теперь родных ножон, избитых на войне,
Лишен героя спутник бедный,
Игрушкой золотой он блещет на стене —
Увы, бесславный и безвредный!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
Никто с усердьем не читает...

Кинжал был для Лермонтова символом высокого служения поэта, его поэтической чести. С клинком кинжала сравнивал он силу слова. Назначение поэзии, общественную миссию поэта видел в том, чтобы уподобить стих оружию — звенящему клинку кинжала. Поэты конца 30-х годов отказывались от общественного служения. И, обращаясь тогда к образу поэта — пророка, трибуна, поэта — гражданина и учителя, вспоминая Пушкина и Рылеева, призывавших народ на подвиги во имя свободы, Лермонтов вопрошал:

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

Новые разыскания советских исследователей показывают, что клинок своего поэтического оружия Лермонтов отточил на Кавказе, после того как смело обличил в своих стихах убийц Пушкина и встал в ряды активных поборников русской свободы и славы.



«Поэтическая апофеоза Кавказа»

1

То, о чем сейчас пойдет речь, прямого отношения к пребыванию Лермонтова в Грузии не имеет. Тем не менее без этого не будет вполне понятно, как использовал Лермонтов кавказские народные предания, песни, легенды, в какой мере преображал он фольклорный источник, что оставлял неприкосновенным.

Произведения грузинского и азербайджанского фольклора Лермонтов знал в пересказе. Поэтому *стиль* их не мог быть усвоен Лермонтовым и оказать влияния на его стиль не мог. Иначе обстоит дело с произведениями, которые будут сопоставлены с фольклором в настоящей главе.

Фольклор был для Лермонтова в зрелые годы объектом не подражания, не стилизации, а мерилом в отборе явлений жизни. И не только в таком произведении, как «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», связь которого с фольклором была очевидна и прежде, но и в «Дарах Терека», и в «Казачьей колыбельной песне», и в «Демоне», и в балладе «Тамара», и в «Бородине». Находятся все новые доказательства «факта о кровном родстве духа поэта с народным духом» (Белинский).

Среди документов, поступивших в Тбилисский исторический архив из Военно-исторического отдела штаба Кавказского военного округа, хранится неизданная рукопись старинных казачьих преданий, проливающая свет на возникновение одного из лучших стихотворений Лермонтова — «Дары Терека».

Но прежде чем перейти к содержанию рукописи, следует рассказать в связи с ней о гребенских казаках, об их песнях и о знакомстве Лермонтова с гребенским казачьим фольклором. Но еще раньше для этого следует заняться некоторыми неизученными эпизодами из жизни самого Лермонтова.

...Впервые Лермонтов увидал Кавказ в раннем детстве, когда бабушка Елизавета Алексеевна возила его на Кавказские воды и в имение своей сестры Екатерины Алексеевны Хастатовой.

Впервые он побывал на Кавказе в 1825 году. Везде стояли казачьи пикеты, переезды совершались не иначе, как под охраной пушки. Мальчик видел черкесов в мохнатых шапках и бурках, скачки джигитов, огненные пляски, хороводы, видел праздник байрама, слышал горские песни, легенды, предания.

Что представляли собой в ту пору Кавказские воды, в общем ясно. И можно считать, что круг первых впечатлений Лермонтова, полученных во время нахождения на Водах, выяснен довольно подробно. Но о поездках его в имение Хастатовой и о самом имении неизвестно почти ничего.

Имение генеральши Хастатовой находилось на границе Чечни, на левом берегу Терека, выше станицы Червленой, и называлось Шелкозаводск, Шелководск, а еще чаще: «Шелковое».

В первой половине XVIII века Сафар Васильев, армянский купец из Кизляра, выстроил на этом месте шелковый завод для переработки шелка-сырца. «К работе из доброй воли» на заводе поселились и построили вокруг него слободу кизлярские грузины и армяне, томившиеся в иранском плену, выведенные оттуда Петром I во время Персидского похода и поселенные им на Тереке. С 1764 года завод стал собственностью обер-директора армянина Хастатова, потом взят в казну. Впоследствии работавшие на заводе грузины и армяне были причислены к государственным крестьянам, а сын обер-директора, Яким Васильевич Хастатов, стал шелкозаводским помещиком [1]. В последние годы царствования Екатерины II он женился

[1] См.: П. Г. Бутков. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год, ч. I. СПб., 1869, с. 159—160. Ср.: В. А. Мануйлов. Семья и детские годы Лермонтова,— «Звезда», 1939, № 9, с. 123.

в Москве на дочери богатого симбирского помещика Екатерине Алексеевне Столыпиной. Умер он в 1809 году в Петербурге [1]. Известно, что Хастатов участвовал в штурме Измаила, в сражениях при Кинбурне, Фокшанах и Рымнике и удостаивался похвал самого Суворова [2]. В измаильском штурме вместе с Хастатовым участвовал Н. Д. Арсеньев — отец Ахвердовой. И почти наверное можно сказать, что Арсеньевы познакомились с Ахвердовыми через Хастатовых.

При Ермолове Шелкозаводское поселение было причислено к казачьим станицам, а жители его обращены в казачье сословие [3].

Но даже и по прошествии полутора веков шелководские грузины не забыли свой родной язык и свои песни. В 1904 году композитор Д. И. Аракишвили, предпринявший специальную поездку на Терек, в станицы грузин-казаков, записал в станице Шелковской, или Сарапани, как называли ее сами жители-грузины, несколько кахетинских мелодий: «Алило» (рождественский гимн), «Перхули» (свадебную), «Супрули» (застольную), «Сатамашо» (плясовую), «Шавлего» (героическую), «Автандил гадвинадире...» («Автандил поохотился...») и любовную «Тетро кало, тетро мтредо» («Белая девица, белая голубка»).

Композитор обратил внимание, что в Шелковской грузины, кроме грузинского и русского языков, знали еще армянский и ногайский.

Станица Александроневская (или Аневская) близ Кизляра называлась вначале Сасоплы, или Саплы (от грузинского слова «сопели» — «селение»), и точно так же была населена грузинами, сохранившими родной язык [4]. Жили грузины и в Новогладковской станице [5].

---

[1] См.: «Записки А. М. Тургенева».— «Русская старина», 1885, № 11, с. 277. «Петербургский Некрополь», т. IV.

[2] См.: С. А. Андреев-Кривич. Кабардино-черкесский фольклор в творчестве Лермонтова. Нальчик, 1949, с. 76—78.

[3] См.: Г. А. Ткачев. Гребенские, терские и кизлярские казаки. Владикавказ, 1911.

[4] См.: Д. Аракчиев (Аракишвили). Поездка к казакам-грузинам в Терскую область.— «Этнографическое обозрение», 1904, № 4, с. 164—168; М. А. Караулов. Говор гребенских казаков. СПб., 1902, с. 2.

[5] См.: «Терские казаки с стародавних времен. Исторический очерк. Сочинение Ивана Попко», вып. 1, Гребенское войско. СПб., 1880, с. 419, примеч. 209.

Теперь понятно, почему пятнадцатилетний Лермонтов, написавший «Грузинскую песню» задолго до того, как в первый раз побывал в Грузии, сделал на полях примечание: «Слышано мною что-то подобное на Кавказе». Он слышал подобное в Шелковской станице, где в те времена, кроме русских казаков, жили около двухсот грузин и более пятисот армян [1].

В 30-х годах военный топограф, обследуя гребенский участок кордонной линии, записал, что в станице Шелковской имеются одна греко-российская и одна армяно-григорианская церкви и спиртокурительный завод помещицы Хастатовой. Занимаясь виноделием и сельским хозяйством на землях, смежных с владениями Гребенского казачьего полка соседней станицы Червленой, генерал-майорша Хастатова получала ежегодно более 6000 ведер вина и 700 ведер виноградной водки. Она владела полутора тысячами десятин удобной земли, на которой работали двести крепостных душ [2].

Небольшой дом Хастатовых стоял возле самой станицы и был укреплен, наподобие казачьих постов, воротами, вышками и малым орудием, направленным в сторону Терека, на противоположном берегу которого виднелся чеченский аул Акбулат-Юрт.

Жители гребенских казачьих станиц, ожидая нападений, день и ночь стояли дозором на своем берегу и часто отражали набеги больших и малых партий «абреков». «Особенно трудно,— пишет историк гребенского казачества,— было трем гребенским станицам: Червленой, Щедринской и Шелковской» [3].

Но Екатерину Алексеевну Хастатову это ничуть не смущало, к ночным вылазкам горцев она относилась с большим спокойствием. Родные рассказывали, что если ее пробуждал ночной набат, она спрашивала только: «Не пожар ли?» И если ей отвечали, что не пожар, а набег, она поворачивалась на другой бок и продолжала прерванный

[1] См.: Г. А. Ткачев. Гребенские, терские и кизлярские казаки. Владикавказ, 1911, с. 229—230.

[2] «Описание Гребенского участка Кордонной линии, сделанное штабс-капитаном Калмбергом в 1834 году».— В кн.: И. Д. Попко. Терские казаки с стародавних времен, вып. 1.— «Сборник общества любителей казачьей старины». Владикавказ, 1912, № 4, с. 33 и 50.

[3] Г. А. Ткачев. Гребенские, терские и кизлярские казаки. Владикавказ, 1911, с. 9 и 14—15.

сон. По всей кордонной линии она была известна под названием «авангардной помещицы» и очень гордилась этим титулом [1].

Чтобы ясно представить себе быт гребенской казачьей станицы, надо только вспомнить повесть Л. Н. Толстого «Казаки», в которой воспроизведена жизнь станицы Старогладковской в начале 50-х годов. Но при этом следует иметь в виду, что Лермонтов впервые увидел все это на тридцать лет раньше, во времена Ермолова, когда линия крепостей на Тереке только закладывалась и казачьи станицы, выполняя роль передовых постов на Тереке, принимали на себя гораздо более сильные удары.

По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал.

В «Казачьей колыбельной песне» Лермонтов воплотил образы, усвоенные им самим с детства. Но выразить это просто и сдержанно, без излишней романтической приподнятости он сумел только тогда, когда стал зрелым поэтом.

Возле станицы Шелковской, на месте обнесенного рвами старинного укрепления, виднелись валы с отверстиями четырех ворот, с остатками тридцати двух больших и двенадцати малых башен и следами водопроводной канавы. Казаки именовали это место «Некрасовской крепостью» или «Мамаевым городищем», ногайцы называли его «Чигим-кала» — «брошенной крепостью» — и уверяли, что в иные ночи, припав ухом к земле, можно слышать подземный гул [2].

Подальше, за станицей Старощедринской, находилось «Суншино городище», выстроенное на том месте, где в старину шел торговый путь, проходивший через Кумыкскую плоскость и хазарское поселение Маджары (где стоит ныне г. Прикумск), связывавший Персию с Крымом.

«Суншино городище» — это развалины первой русской крепости «Терки».

Приняв под свою руку «пятигорских черкасов», Иван Грозный в 1559 году послал на Терек для помощи кабардинскому князю Темрюку царское войско. Воеводы сми-

---

[1] Из рассказов А. Д. Столыпина, записанных П. А. Висковатовым.

[2] Г. А. Ткачев. Гребенские, терские и кизлярские казаки. Владикавказ, 1911, с. 14—15.

рили шахмала тарковского и покорили тюменского князя Агиша.

Женившись на дочери Темрюка Идаровича, княжне Гошаней, в крещении Марии Темрюковне, царь Иван снова послал войско — на этот раз чтобы защищать Темрюка от его подданных. Вот тогда-то русские люди и построили на Тереке, на правом берегу его, против самого устья Сунжи, первый царский городок «во владениях государева тестя».

За два с половиной столетия на крутых скатах валов выросли могучие дубы. Но, забравшись на гребень ската, верст за сорок по течению Терека, описывающего в этом месте крутую дугу, можно было видеть гребенские казачьи станицы.

Еще в 1555 году гребенские казаки послали в Москву, к Ивану Грозному, своих выборных. Царь простил казакам уход из новгородской и рязанской земли и пожаловал им терские земли навечно, подарил их, как поется в казачьей песне, «быстрым Тереком со притоками до синя моря до Каспицкого». И повсюду в станицах пелись и до сих пор поются старинные песни про Ивана Грозного, про Ермака, про Степана Разина, про «каменну Москву».

И в пензенском имении Арсеньевой, и на Тереке у Хастатовых, и в Середникове под Москвой Лермонтов с детства слышал народные песни — колыбельные и хороводные, любовные и величальные, ямщицкие, солдатские, «разбойничьи». Знал исторические песни. Восприняв эту живую историю народа вместе с первыми представлениями об окружающей жизни, сроднившись с ними, он потом с какой-то непостижимой легкостью воспроизвел не только стиль, но и самый дух народных песен в своей «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Но теперь уже незачем удивляться тому, что Лермонтов знал различные варианты исторических песен про царского шурина Мастрюка Темрюковича, когда, можно сказать, жил в его прежних владениях.

С малых лет воображение Лермонтова поражали рассказы о нравах и обычаях горцев, о кровной мести, о кровопролитных сражениях и схватках, о засадах, подстерегавших казаков на каждом шагу, о жителях ближайших за Тереком аулов — Акбулат-Юрта, Нового Юрта, Азамат-Юрта. Не потому ли Лермонтов назвал потом Азаматом брата Бэлы, который похитил ее для Печорина, и Акбула-

том — одного из героев своей юношеской поэмы «Аул Бастунджи»?

В основу всех юношеских кавказских поэм и стихотворений Лермонтова легли эти первые, неизгладимые впечатления, этот виденный им в детстве край войны и свободы, этот подлинный сражающийся Кавказ.

Рассказы о войне, о горцах, об их нравах и быте Лермонтов слышал и от жителей станицы Шелковской, и от Хастатовых — от самой Екатерины Алексеевны, от ее сына Акима Акимовича, приходившегося ему двоюродным дядей, и от двоюродных теток. Одна из них, Анна Акимовна, была замужем за командиром Моздокского казачьего полка Павлом Ивановичем Петровым — тем самым, который дослужился потом до должности начальника штаба войск на Кавказской линии и в Черномории и покровительствовал поэту в дни его первой ссылки. Другая дочь Хастатовой, Мария Акимовна, вышла замуж за «отставного штабс-капитана Павла Петровича Шенгерея из Кизляра». И снова мы утверждаемся в том, что знакомство с «кизлярскими» Ахвердовыми пошло у Столыпиных и Арсеньевых через Хастатовых.

Впечатления, полученные Лермонтовым в ту пору, когда он маленьким мальчиком гостил в Шелкозаводском, пополнялись рассказами Хастатовых потом, когда они приезжали в Москву и в Петербург (Аким Акимович с 1828 года служил в столице, в лейб-гвардии Семеновском полку) и навещали бабушкины Тарханы, саратовскую Нееловку Афанасия Алексеевича Столыпина, подмосковное столыпинское Середниково, а позже пензенское имение Шан-Гиреев Апалиху; Елизавета Алексеевна Арсеньева уговорила племянницу Марию Акимовну переехать с Кавказа в Россию и поселиться с ней по соседству.

Теперь уже становится окончательно ясным, откуда было у Лермонтова такое изобилие кавказского материала в юношеских произведениях и такое точное знание кавказской войны. С. А. Андреев-Кривич на текстах «Измаил-бея» и «Аула Бастунджи» показал, что Лермонтов располагал богатым фактическим материалом. Но при этом не надо забывать, что горцев, их жизнь и нравы Лермонтов описывал не по собственным наблюдениям, а с чужих слов — по рассказам людей, весьма осведомленных, но смотревших на все это разными глазами. И сколько же нужно было воображения, как сильно должна была рабо-

тать творческая мысль поэта, совсем еще юного, чтобы сплавить воедино все эти впечатления и дать кавказской войне новую, совершенно самостоятельную трактовку! В этой связи можно вспомнить слова Пушкина, сказанные им по поводу своего «Кавказского пленника», случайно попавшего ему в руки на станции Военно-Грузинской дороги, по пути в Арзрум. «Признаюсь, перечел его с большим удовольствием,— отметил Пушкин.— Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно». И дальше в рукописи вычеркнутые слова: «Сам не понимаю, каким образом мог я так верно, хотя и слабо изобразить нравы и природу, виденные мною издали» [1].

Если это удивляло самого Пушкина в его «Кавказском пленнике», то еще более должно удивлять нас в юношеских кавказских поэмах Лермонтова. В своих юношеских поэмах он изобразил Кавказ конкретнее, чем Пушкин в «Кавказском пленнике». Даже трудно себе представить, как сумел он с таким правдоподобием, с такой точностью изобразить и природу, и нравы, и историю виденного им издали, да еще детскими глазами. Ведь жизнь по ту сторону Терека была известна ему только со слов других! Это, понятно, не означает, что по художественным своим достоинствам ранние поэмы Лермонтова могут идти в сравнение с пушкинским «Пленником». Нет, хотя многое в «Ауле Бастунджи», в «Хаджи Абреке» и особенно в «Измаил-бее» прекрасно, тем не менее они очень еще далеки от совершенств пушкинской поэмы и зрелых вещей самого Лермонтова.

Но вот в 1837 году Лермонтов снова попадает на Кавказ и, уже возмужавшим человеком, со сложившимися общественно-политическими взглядами, наблюдает быт и нравы кавказских народов, находясь в их среде, из первых рук знакомится с их историей и поэзией и, как поэт и как участник войны, постигает Кавказ во всей совокупности и прежних и новых впечатлений. Он снова побывал там, где, по словам Огарева, «со времени Ермолова не исчезал приют русского свободомыслия, где по воле правительства собирались изгнанники, а генералы, по преданию, оставались их друзьями» [2]. Он соприкоснулся на

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 8, полутом 2. М., Изд-во АН СССР, 1940, с. 1040.

[2] Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения, т. I. М., Госполитиздат, 1952, с. 403.

Кавказе с народом. В казачьих станицах, в провинциальных кавказских городишках, в укреплениях на Линии, в поездках от Кизляра до Тамани, «то на перекладной, то верхом», потом в Закавказье он видел людей совсем иного социального круга, чем тот, в котором прошли в Москве и в Петербурге его юные годы. Ведь наблюдения последних лет ограничивались для него казармами лейб-гусарского полка и светскими гостиными Петербурга. От этого зависели в известной степени и выразительные средства его поэзии. И если, скажем, Лермонтов был очень конкретен в изображении светской жизни в «Маскараде» или в «Княгине Лиговской», то в «Боярине Орше» условно все — и нравы, и костюмы, и гримы, и XVI век, и русско-литовская граница.

Кавказ помог Лермонтову связать с живой действительностью замыслы «Демона» и «Мцыри», вдохновил его на создание «Героя нашего времени», стал важной ступенью на пути его к реализму, определил темы многих будущих сочинений. Вот одна из причин, почему с 1837 года начинается творческая зрелость Лермонтова. Конечно, прежде всего зрелость была следствием необычайно возросшего общественно-политического сознания, причем огромную роль сыграли в этом и гибель Пушкина, и смелое решение выступить с протестом против его убийства, и ссылка, и окончательное решение печататься, то есть перейти от борьбы внутренней к активной борьбе на литературно-общественном поприще. Пожалуй, ни на ком из писателей прошлого так ясно не виден этот переход, как на творчестве Лермонтова. Как возрос и возмужал и окреп он, когда его поэзия стала общественным событием, когда его голос зазвучал на всю Россию, а мерилом в оценке его творений стало для него мнение широких кругов читателей, а не только свое собственное и узкого круга друзей!

Но кроме того, зрелость пришла и потому, что Лермонтов вернулся с Кавказа с запасом новых, богатейших впечатлений. Потому-то Белинский и писал, что Кавказ сделался «его поэтическою родиною, пламенно любимою им», что «на недоступных вершинах Кавказа, венчанных вечным снегом, находит он свой Парнас; в его свирепом Тереке, в его горных потоках, в его целебных источниках находит он свой Кастальский ключ, свою Ипокрену» [1].

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 544.

Белинский имел при этом в виду зрелые, а не юношеские произведения Лермонтова, которых в ту пору не знал. Для него было ясно, что Кавказ сделался «колыбелию поэзии» Лермонтова после ссылки за стихи на смерть Пушкина.

Читая статью Белинского, мы должны помнить, что, говоря о Кавказе, ставшем колыбелью лермонтовской поэзии, великий критик имел в виду не одни «Дары Терека», но прежде всего «Мцыри» и «Демона», по поводу которых он и писал это. Отсюда видно, какое значение придавал Белинский кавказским впечатлениям Лермонтова, а тем самым — можем мы сделать вывод — его пребыванию в Грузии.

2

В 1837 году Аким Акимович Хастатов в чине поручика лейб-гвардии Семеновского полка состоял адъютантом при начальнике штаба войск Кавказской линии в Ставрополе. Там, следовательно, Лермонтов и встретился с ним, когда следовал через Ставрополь в Нижегородский драгунский полк.

Прослужив несколько лет в Семеновском полку, в Петербурге, Хастатов с 1832 по 1835 год находился в отставке, жил в своем Шелкозаводском и, выезжая на Линию вместе с казаками на все тревоги, прослыл отчаянным храбрецом. Гарцевал он под пулями в штатском платье, в круглой соломенной шляпе, без оружия, с одним хлыстиком, немало удивляя своим видом казаков и, очевидно, еще более удивляя чеченцев, для которых он служил отличной мишенью. На своих визитных карточках, гордясь тем, что живет на «переднем крае», Хастатов писал вместо звания: «Передовой помещик Российской империи». Вообще о нем ходило множество анекдотов.

В 1835 году он снова определился в Семеновский полк, но с назначением состоять адъютантом начальника штаба линейных войск в Ставрополе [1]. Эту должность, как мы знаем, занимал в то время генерал-майор Павел Иванович Петров, женатый на сестре Хастатова.

---

[1] См.: П. Дирин. История лейб-гвардии Семеновского полка, т. II. СПб., 1883. Приложения, с. 173; А. Дондуков-Корсаков. Мои воспоминания.— «Старина и новизна», кн. VI, с. 90.

А. П. Шан-Гирей, приходившийся Хастатову родным племянником, рассказывал П. А. Висковатову, что во время первой ссылки Лермонтов гостил у Хастатова в Шелкозаводском. Значит, в 1837 году поэт снова побывал в тех местах, которые видел в детстве. Передавал Шан-Гирей также, что в основу рассказа «Бэла» положено «происшествие, бывшее с Хастатовым, у которого действительно жила татарка этого имени». Говорил, будто бы в «Фаталисте» Лермонтов описал случай, происшедший с Хастатовым в станице Червленой, когда тот ворвался в хату, в которой заперся пьяный казак, вооруженный пистолетом и шашкой [1].

Но даже и без этого ясно, что поэт не мог не побывать в Червленой и Шелковской, раз он начал свое путешествие «вдоль Линии» от Кизляра. Линия, как известно, проходила по Тереку. От Кизляра до Шелковской считалось пятьдесят восемь верст. Путешествуя от Кизляра, Лермонтов неизбежно должен был проезжать через станицы. Мы же знаем, что он там гостил у Хастатова,— очевидно, просто поехал туда вместе с ним.

Эта поездка обогатила русскую литературу «Казачьей колыбельной песней» и «Дарами Терека», а кроме того, дала Лермонтову богатый материал для «Бэлы» и «Фаталиста».

«Мне как-то случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты».

Так начинается «Фаталист» [2].

Пребыванию Лермонтова в Червленой и Шелковской мы обязаны упоминанием в этой повести о казачках, «прелесть которых трудно постигнуть, не видав их», и описанием ночной станицы, когда Печорин возвращается домой пустыми переулками после пари с Вуличем и месяц, «полный и красный, как зарево пожара», показывается «из-за зубчатого горизонта домов».

Казачья станица описана в «Фаталисте» необычайно скупо, а между тем лермонтовское изображение остается в памяти на всю жизнь и другими описаниями не вытесняется.

---

[1] Висковатов, Биография, с. 263.
[2] Лермонтов, т. VI, с. 338.

«Убийца заперся в пустой хате, на конце станицы,— пишет Лермонтов в «Фаталисте».— Мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону. По временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас» [1].

Действие «Бэлы» происходит за Тереком, на левом фланге кордонной линии, «в крепости у Каменного брода».

Это не выдумано: Лермонтов называет конкретное место. Крепость находилась на Аксае, в восемнадцати верстах от Шелковской станицы, за переправой, и называлась «Таш-Кичу», или «Каменный брод». Выстроена она была при Ермолове, одновременно с крепостью «Внезапной», и обеспечивала Линию, шедшую по рекам Аксай и Акташ, от набегов чеченцев.

Все это хорошо известный Лермонтову район гребенских станиц. Недаром Печорин посылает нарочного за подарками в Кизляр («Бэла»), а потом отлучается в казачью станицу («Фаталист»).

Из книг и рукописей по истории гребенского казачества, из воспоминаний участников кавказской войны можно почерпнуть богатый материал, но даже и приблизительно нельзя себе представить, как близко все это одно от другого — Кизляр, Шелковская, Червленая, крепость за Каменным бродом, долины Аргуна и Ассы, описанные в «Измаил-бее», Грозная, откуда Лермонтов в 1840 году отлучался в казачьи станицы. От Шелковской до Гудермеса (бывш. Алхан-Юрт на Сунже) — около тридцати километров, до Хасав-Юрта — около тридцати двух.

Это стало понятно мне после того, как удалось побывать на Тереке, проехать через станицы в Кизляр, послушать рассказы старожилов, особенно доктора Степана Петровича Ларионова в станице Шелковской.

Нынешняя Шелковская стоит не там, где она находилась при Лермонтове. Жители ее отселились на новое место — в четырех километрах от Терека — после наводнения 1885 года. Наследники Акима Акимовича Хастатова продали тогда имение переселенцам, и на землях хастатовской усадьбы возник хутор Харьковский. Но и сейчас в густом лесу можно еще найти места, где было Шелкозаводское поселение, станица, кладбище, усадьба Хастатовых.

---

[1] Лермонтов, т, VI, с. 345.

Идешь через чинаровый и карагачевый лес, обвитый плетями дикого винограда, бесконечной кажется непроходимая чаща, темная зелень, поляны, окруженные терном и ежевичником, заросшие травой дороги, в полтора человеческих роста камыш с сухими метелками. И вдруг — внезапный простор: плавное, быстрое течение Терека, широкого, как в половодье, с глянцевитой поверхностью тяжелой, словно густой воды. А за Тереком — горы, тоже уже знакомые нам через Лермонтова, а потом через Льва Толстого.

Недаром «Шелковое» звалось «земным раем». И понятно, почему Лермонтов так привязался к этим местам на всю жизнь.

Сохранилось предание, что «Казачью колыбельную песню» Лермонтов написал в станице Червленой. Рассказывают, что, войдя в хату, где ему отвели квартиру, он застал там молодую красавицу казачку Дуньку Догадиху, напевавшую песни над колыбелью сына своей сестры. И будто бы эта встреча вдохновила Лермонтова на создание его замечательного стихотворения [1].

Допустим, что в действительности этого даже и не было. А если и было, то все равно мы должны помнить, что, кроме песен, Лермонтов знал нравы и быт гребенских казаков и что его «Песня» не подражание народной, а обобщение самых разнообразных впечатлений. Но бесспорно, что воплощены эти впечатления в духе народной поэзии. Недаром жители Червленой считали, что Лермонтов написал «Казачью колыбельную песню», услышав в их станице подлинные казачьи песни. Если бы они не почувствовали этого внутреннего сродства лермонтовской песни с их собственными, не возникло бы предания о том, как, услышав пение казачки, Лермонтов тут же, пока вносили в хату его вещи, присел к столу и набросал на клочке бумаги свою «Колыбельную песню», да еще, окликнув казака Борискина, прочел ему эту песню, чтобы услыхать его мнение [2].

---

[1] См.: Г. А. Ткачев. Станица Червленая. Владикавказ, 1912, с. 116 и 211—212.

[2] См.: П. Кулебякин. Из местных воспоминаний о М. Ю. Лермонтове.— «Терские ведомости», 1886, № 14, с. 2. Перепечатано: «Петербургская газета», 1886, № 63; Г. А. Ткачев. Станица Червленая, с. 211. Ср.: Л. Семенов. Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914, с. 119, 423—424.

Это предание имеет несколько вариантов,— значит, оно очень устойчиво и основано, очевидно, на действительном случае.

У гребенских казаков весьма популярны песни на слова Лермонтова, в том числе и «Казачья колыбельная песня». Как известно, чуждые слова и книжные обороты в песнях поэтов неизбежно подвергаются в народе замене или переделке, применительно к пению и живому народному языку. Однако составитель сборника «Песни гребенских казаков» специально отмечает, что «тексты лермонтовских стихов в фольклорном бытовании не подвергаются существенным изменениям» [1],— новое доказательство, что образы и эпитеты лермонтовских стихотворений сродни гребенским песням.

Каким же песням гребенских казаков сродни «Казачья колыбельная» Лермонтова?

3

В качестве главного источника «Казачьей колыбельной песни» в примечаниях к полным собраниям сочинений до самого последнего времени называлась «Песнь над колыбелью ребенка вождя» Вальтера Скотта. Первым заявил об этом С. Шевырев в статье, направленной против Лермонтова и напечатанной еще при жизни поэта [2]. С тех пор это «наблюдение» Шевырева путешествовало из книги в книгу в продолжение целого столетия. Французский исследователь Э. Дюшен совершенно уверенно сообщает в своей книге, что «вдохновителем» этой песни Лермонтова «является, главным образом, Вальтер Скотт». Эта оговорка — «главным образом» — прибавлена только потому, что, кроме Вальтера Скотта, Дюшен предлагал считать вдохновителем этого стихотворения и Полежаева [3].

Кроме Вальтера Скотта и Полежаева, в качестве источников «Казачьей колыбельной песни» назывались и «Кавказский пленник» Пушкина, и «Тарас Бульба» Гого-

[1] «Песни гребенских казаков». Публикация текстов, вступ. статья и коммен. Б. Н. Путилова. Грозный, 1946, с. 303, примеч. 79.

[2] См.: «Москвитянин», 1841, ч. II, № 4, с. 534.

[3] См.: Э. Дюшен. Поэзия М. Ю. Лермонтова в ее отношении к русской и западноевропейским литературам. Перевод с французского. Казань, 1914, с. 25. (Французское издание вышло в Париже в 1910 г.)

ля. Последняя вещь — потому, что в ней имеется образ матери-казачки, провожающей на войну сыновей.

В данном случае ссылки на литературные источники особенно неубедительны потому, что в стихотворении воспроизводится то, что заведомо было известно Лермонтову помимо всяких литературных источников. Совершенно ясно, что образ матери-казачки, провожающей на войну сына, возник у кавказского офицера Лермонтова независимо от чтения Гоголя, а тем более Вальтера Скотта. И не из Пушкина, а из самой действительности заимствован им «злой чечен», переплывающий Терек. Как мы уже видели, Лермонтов с детских лет имел еще более точные представления о «злых чеченах», чем Пушкин.

Однако другие исследователи Лермонтова, изучавшие его поэзию в связи с русским фольклором, справедливо считали, что в создании «Казачьей колыбельной песни» более важную роль сыграло знакомство поэта с народными казачьими песнями. Еще в 1914 году Н. М. Мендельсон в очень хорошей статье «Народные мотивы в поэзии Лермонтова» писал, что, «вращаясь среди казаков, верных хранителей старой песни, поэт вновь прикоснулся к чистому роднику народной поэзии и создал «Казачью колыбельную песню» и «Дары Терека» [1]. Тогда же другой исследователь, Л. П. Семенов, в книге «Лермонтов и Лев Толстой» сравнил лермонтовскую «Казачью колыбельную» с гребенской песней, в которой рассказывается о матери-казачке, качающей колыбель сына:

Как у нас-то было па тихом Дону,
Что у нас-то было во зеленом саду,
Что под грушею было, грушею зеленою,
Под яблоней было, яблоней кудрявою,
На цветочках было на лазоревых,
На травушке было на шелковенькой,
На кроватушке было на тесовенькой,
На перинушке было на пуховенькой —
Что мать сына воспородила,
Что белою грудью мать сына вскормила.
Пеленала мать сына в пеленочку камчату,
Что качала мать сына в зыбочке кипарисовой,
Берегла-то мать сына от ветра, от вихоря,
Берегла-то мать сына от солнышка от красного,
Берегла мать сына от сильных дождиков,
Не уберегла мать сына от службицы государевой.

---

[1] Н. М. Мендельсон. Народные мотивы в поэзии Лермонтова. —«Венок М. Ю. Лермонтову». М., 1914, с. 193.

Семенов считает, что «Казачья колыбельная песня» Лермонтова очень близка к этой гребенской песне по содержанию и стилю [1].

С этим согласиться довольно трудно.

Исследователь совершенно прав, когда утверждает, что знакомство с казачьими песнями в создании лермонтовского стихотворения сыграло важную роль. Но пример его совершенно неубедителен.

Прежде всего, едва ли нужно отыскивать какой-то определенный источник лермонтовского стихотворения. Чем больше знакомишься с песнями гребенского казачества, тем более становится ясной близость Лермонтова к этим песням. Но стоит только ограничиться какими-нибудь определенными песнями — и сходство сразу становится неощутимым. Прочитанные подряд песни гребенцов необычайно полно воссоздают их былую жизнь — с военной службой, с разлукой, походами, войнами, героическими подвигами казаков и гибелью вдали от родной станицы. Вот это и сумел уловить Лермонтов в «Казачьей колыбельной» и в «Дарах Терека».

Однако было бы ошибкой полагать, что строки:

Я седельце боевое
Шелком разошью...—

Лермонтов позаимствовал из гребенских песен. Расшитые шелком седла и вороных коней он видел в гребенских станицах собственными глазами. Но важно, что из своих впечатлений он отобрал те же, что отбирает народная песня.

Милый пришлет поклон верный,
Коня вороного.
Коня, коня вороного,
Сиделице ново.
Что сиделице ново,
Зеленого шелку.
Зеленого шелку, шелку,
Гребенского полку [2].

Эта песня поется в Червленой, но верность Лермонтова казачьим песням может быть обоснована только всем песенным обиходом гребенского казачества, потому что «Казачья колыбельная песня» представляет собой художественное обобщение и похожа она не на одну и не на три, а на многие казачьи песни.

---

[1] Л. Семенов. Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914, с. 422. Ср. его же «Лермонтов на Кавказе». Пятигорск, 1939, с. 80.

[2] «Песни гребенских казаков». Грозный, 1946, с. 123, 181—182.

4

Вот что писал уже упомянутый нами Э. Дюшен о «Дарах Терека»:

«Известна склонность В. Гюго одушевлять видимую природу: леса, скалы, реки, горы — все это имеет у него свой голос. Подобное предрасположение всегда было неиссякаемым источником мифов. Через олицетворение,— которое гений В. Гюго предохранил от холодности, свойственной олицетворениям классической литературы,— он выводит на сцену реку, гору и заставляет их говорить... От двух стихотворений Лермонтова — «Даров Терека» (1839) и «Спора» (1841) — не отказался бы и Виктор Гюго: мы полагаем,— делал вывод Дюшен,— что эти два стихотворения написаны под влиянием работы воображения, столь характерной для В. Гюго, и что «Разгневанный Дунай» внушил и подсказал их Лермонтову...» [1].

Из этой похвалы («от «Даров Терека» и от «Спора» не отказался бы и В. Гюго») может следовать только один вывод: что Лермонтов — подражатель Виктора Гюго.

Не опровергая выводов Дюшена, исследователи Лермонтова (Л. П. Семенов, Б. М. Эйхенбаум) утверждают, однако, что источником лермонтовской баллады послужил также и местный фольклор, что «Дары Терека» восходят к песням гребенских казаков [2]. Но при такой постановке вопроса — наряду с Гюго — самый фольклор оказывается одной из разновидностей литературных источников. К тому же остается совершенно неясным, к каким песням гребенских казаков восходит лермонтовское стихотворение, а главное — в чем сказалась эта близость к фольклору. Вопрос этот в специальной литературе поставлен уже давно, но совершенно не разработан.

Н. М. Мендельсон в статье «Народные мотивы в поэзии Лермонтова» привел гребенскую песню о Тереке Горыниче, что «прорыл-прокопал горы крутые» и «упал во синее море, во Каспийское»:

---

[1] Э. Дюшен, цит. соч., с. 139.

[2] Лермонтов, т. II, с. 201—202; М. Ю. Лермонтов. Стихотворения, т. I, Вступ. статья, редакция и коммен. Б. М. Эйхенбаума («Библиотека поэта», Большая серия.). Л., «Советский писатель», 1940, с. 334; Л. П. Семенов, Лермонтов и фольклор Кавказа, Пятигорск, 1941, с. 44.

Ой ты, батюшка, наш батюшка,
Быстрый Терек ты Горынич!
Про тебя лежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая!
Ты прорыл-прокопал горы крутые,
Леса темные;
Ты упал, Терек Горынич, во синее море,
Во Каспийское;
И на устье ты выкатил бел горючий камень.
Тут и шли, прошли гребенские казаки со батальицы,
Что с той-то батальицы со турецкой;
Не дошедши они до белого камушка, становилися;
Становилися они, дуван дуванили.
Что на каждого доставалося по пятьсот рублей,
Атаманушке с есаулами по тысяче;
Одного-то доброго молодца обдуванили:
Доставалась ему, добру молодцу, красная девица,
Как убор-то, прибор на красной девице — во пятьсот рублей.
Русая коса — во всю тысячу,
А самой-то красной девице — цены нетути [1].

Л. П. Семенов указал на другую песню, в которой поминается о том, как

Надевали уздени-князья панцири трехколечные
С налокотниками позлащенными [2].

Но обе песни довольно далеки от лермонтовской баллады, а главное — заключают в себе такие общие признаки, которые могли быть известны поэту помимо песен: кабардинцы не только в песне, но и в действительности носили позлащенные налокотники, у казачек бывают светлорусые косы и в жизни, и Терек впадает в Каспийское море не только в песнях. Судя по этому, Лермонтов мог описать в «Дарах Терека» непосредственные свои впечатления, стихотворение могло бы и не иметь фольклорного источника.

На самом деле предположения исследователей правильны, но в их руках не было достаточно убедительных аргументов. А между тем имеется хоть и косвенное, но все же очень точное подтверждение, что наряду со многими другими наблюдениями Лермонтова вдохновили на создание «Даров Терека» произведения народной поэзии.

Но прежде чем познакомиться с этими произведениями народного творчества, попробуем выяснить, когда и кто их записывал.

---

[1] «Венок М. Ю. Лермонтову». М., 1914, с. 194—195.
[2] Л. Семенов. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск, 1939, с. 79—80.

5

В 1876 году историк гребенского казачества И. Д. Попко, собирая материалы для книги «Терские казаки с стародавних времен», побывал в станице Ессентукской у родовитого гребенца, уроженца станицы Червленой, казачьего генерала Федула Филипповича Федюшкина. Это был большой любитель казачьей старины. В прошлом адъютант Гребенского полка, он много лет собирал копии боевых реляций, приказы, письма кавказских военачальников — словом, все, что касалось истории Гребенского казачьего войска.

В домашней библиотеке Федюшкина Попко обнаружил рукописный сборник казачьих преданий, «оставшийся,— как он пишет,— после человека науки, носившего серую солдатскую шинель и убитого в одной из вельяминовских экспедиций за Тереком, в 1830-х годах».

Эту рукопись Попко получил в свое распоряжение, воспользовался ею в работе над своей книгой и назвал в числе источников в предисловии и в примечаниях [1].

Выпустив в свет первый том своего исследования, он задумал издать записи гребенского фольклора отдельной книгой: подготовил к печати тексты, снабдил их подробными примечаниями, но рукопись по каким-то причинам осталась ненапечатанной, попала после смерти Попко в Военно-исторический отдел штаба Кавказского военного округа в Тифлисе и теперь обнаружилась в фондах Центрального государственного исторического архива Грузинской ССР [2].

В предисловии к сборнику Попко указал, что, кроме книг, он использовал в этой работе «записки г. Раздорского, который в 1843 году занимался собиранием материалов для составления историй гребенских казаков и Тюменской орды, но за смертью его, Раздорского, записки те остались незаконченными и были отправлены в числе прочих его бумаг к его родным».

В примечании указано, что поручик Кабардинского егерского полка Игнатий Раздорский был убит в деле с

---

[1] См.: И. Д. Попко. Терские казаки с стародавних времен, вып. 1. Гребенское войско. СПб., 1880, с. XLI; Г. А. Ткачев. Станица Червленая. Владикавказ, 1912, с. 8.

[2] «Песни гребенских казаков, собранные Попко»,— ЦГИА Грузинской ССР, ф. 1087/4, д. № 727.

горцами на Кумыкской плоскости, близ деревни Андреевой, в 1844 году.

Как будто получается, что в руках Попко был и «рукописный сборник казачьих преданий», оставшийся после «человека науки», носившего солдатскую шинель, и, кроме того, «записки г. Раздорского», занимавшегося собиранием материалов для истории гребенского казачества.

Однако это не так. По всем признакам, в распоряжении Попко были не две таких рукописи, а только одна. Очевидно, вначале он просто не знал, кем был составлен сборник, сохранившийся в библиотеке Федюшкина. А потом, работая над материалами, установил фамилию Раздорского и выяснил, что Раздорский служил не в «серой солдатской шинели», а поручиком в Кабардинском полку, и хотя погиб за Тереком, но не в тридцатых годах, а в начале сороковых. Если при этом учесть, что, изучая гребенское казачество, Раздорский интересовался историей Тюменской орды, которая существовала на Тереке еще до прихода русских казаков, то становится очевидным, что Попко имел все основания назвать составителя сборника казачьих преданий «человеком науки».

Можно считать установленным, что «рукописный сборник преданий» и «записки г. Раздорского», которыми пользовался Попко,— это одно и то же. На рукописи, хранящейся в Тбилисском архиве, имеется помета Попко: «Получено от генерала Ф. Ф. Федюшкина» [1].

Следовательно, эти записки относятся к началу сороковых годов прошлого века. Но даже если допустить, что, кроме записок Раздорского, Федюшкин передал Попко еще и вторую рукопись — сборник преданий, составленный политическим ссыльным в «солдатской шинели»,— то в этом случае записи Тбилисского архива следует отнести к еще более раннему времени — к тридцатым годам.

6

Сборник Попко составляют исторические стихотворные сказы. Один из них — про Червленый городок — начинается с описания гневного Терека, затопляющего казачьи хаты и виноградники:

---

[1] «Песни гребенских казаков, собранные Попко», л. 2.

Терек бурный, Терек страшный
Волны мечет с берегов,
Злобный вид его ужасный
Для казаков гребенцов.

Уже первые строчки невольно вызывают в памяти «Дары Терека» Лермонтова:

Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.

В сказе про Червленый городок, так же как и в лермонтовской балладе, Терек наделен человеческой речью, народная фантазия дала ему характер и образ:

Терек бурный, Терек злобный,
Страшно близко подойти,
Только девицы решились
К нему с просьбою пойти.
И на месте, где теперя
Садик звездочкин стоит,
Там красотки свою просьбу
Так начали говорить:
— Здравствуй, Терек наш Горинич!
Здравствуй, батюшка родной!
Мы пришли к тебе, кормилец,
Просить милости слезой!
Уйми, славушка Горинич,
Страшных волн своих поток,
Что беспощадно сады топят
И родной наш городок!
Ведь мы дети твои, Терек,
И чтем имечко твое,
В песнях хвалим тебя славно,
Как бы счастие свое!

Девы бросают в волны венок и ждут ответа. Но «Терек брови хмурил злобны», и тогда девы предлагают ему подарок:

И за то возьми любую
Из нас деву для себя,
С бровью черной, статну, стройну
И румяну, как заря.

Заметим, что образ красавицы казачки, которую предлагают в дар Тереку, гораздо больше напоминает образы «Даров Терека», чем казаки, что «дуван дуванили», то есть делили добычу.

Терек отказывается от предложенного подарка. Улыбаясь, «ус свой длинный вверх поднял, рукой бороду погладил» и ответил, что венок примет, «а девицы мне не нуж-

но, старику». Он просит казачек, чтобы деды и отцы их пришли послушать его речь.

Потом вновь насупил брови
Суровый Терек на глаза
И смолк, как буря, из которой
Готова хлынуть вновь гроза.

Казаки выходят на берег, становятся полукругом и обращаются к нему со словами почтения.

«Терек был суров и страшен», «исподлобья смотрел грозно». Потом «поднял мрачны брови и глаза свои открыл» и, обратившись к казакам, стал вспоминать им их обиды:

И хазары и авары
Пили мои сладки воды;
Пили ее даже греки,
Скифы, гунны и маджары,
Орда сильна половецка,
И монголы, и татары,
И славяне не раз с битвы
Ко мне в гости заходили
И, воды моей напившись,
Благодарны уходили,
Но когда я называться
Дедом Тереком начал,
Тогда славных ваших предков
На жилье к себе принял.
Они были мне покорны
И довольны были мной,
Я за то их кормил рыбкой
И поил своей водой...
. . . .
Вы, покинув мою воду,
Чихирь пьете каждый день,
И, на смех всему народу,
Предпочли вы труду лень!

С тех пор как гребенцы стали ругаться над ним, что он «старый и горбатый, и смеяться над водой», Терек насылает на них наводнения.

Долгие споры с казаками кончаются тем, что казак Андрон Дмитрич плюнул в Терек.

Терек ахнул, увидавши
Эту дерзость от внучат,
Взволновался и зубами
Начал злобно скрежетать.
Брови хмурил, будто тучи
На глаза он напущал:
В глазах молнии сверкали,
Из уст гром загрохотал,

Когда волны за волнами
Выходили с берегов
Топить город и сады все
Внуков своих гребенцов.
— Затопите! — кричал Терек,—
Весь Червленый городок
И, как жертву, унесите
Его в Каспий, на восток!

Но, «проводивши волны» — топить «внуков городок» и сады их, как бы в жертву, «нести в Каспий, на восток»:

Шапку свою торопливо
Он насупил на глаза,
Чтоб от внуков скрыть, как будет
Литься с глаз его слеза,
И не дать бы им заметить
Чувство скорбное свое...

Заключительная часть песни «Червленый городок» повествует о том, как к Тереку приходит «дедука вековой»:

С страны далекой навестить
Родной Червленый городок,
Какой покинул он тогда,
Как Петр Великий на восток
Послал искать златого дна.

В 1714 году сибирский губернатор донес Петру I о золотом песке, «находимом в Малой Бухарии». В своей незавершенной «Истории Петра» Пушкин писал: «О сем Петр сообщил бывшему тогда в Петербурге хивинскому посланнику. Сей подтвердил тобольское известие и прибавил, что при реке Аму-Дарье находится таковой же золотой песок в б<ольшой> Бухарии. Сие подало повод к исследованию той стороны, а со временем дало мысль о торговле с Индией» [1].

В 1716 году, желая выяснить возможность создания водного торгового пути в Индию, Петр снарядил экспедицию из 500 гребенских казаков, под командованием князя Бековича-Черкасского, к хану Хивинскому. Бековичу поручалось «осмотреть прилежно» течение Аму-Дарьи и «ежели возможно оную воду паки обратить в старый пас; к тому ж прочие устья запереть, которые идут в Аральское море» [2].

---

[1] А. С. Пушкин. История Петра.— Полн. собр. соч., т. X. М., Изд-во АН СССР, 1950, с. 206.

[2] И. Голиков. Деяния Петра Великого, изд. 2-е, т. VI. М., 1838, с. 87—88.

Другими словами, стремясь установить водный путь в Индию, Петр интересовался тем, нельзя ли повернуть воды Аму-Дарьи в Узбой и направить их в Каспийское море.

Экспедиция Бековича-Черкасского окончилась плохо. Самого Бековича, сняв с него живого кожу, хивинцы обезглавили, остальных перебили, но двое гребенцов уцелели — были проданы в рабство персиянам. Только через много лет удалось им бежать на родину.

И вот Червленого городка казак Иван Демушкин дошел «до брега Терека-реки» и не находит своего жилья:

Дед жадно ищет городка,
Он ищет признаков его,
Но, к скорби тяжкой старика,
Не видно было ничего.

Путник обращается к деду Горипичу, просит сказать, «куда девался городочек».

Терек в ответ жалуется на неблагодарных внучат, которых прогнал от себя. Он тешит себя мечтой, что

Из Хивы мои внуки
Скоро придут до меня.

И слышит от старого казака о том тяжком конце, который постиг его «внуков».

Песня подробно передает всю историю Хивинского похода. Описав гибель отряда, старый казак заключает свой невеселый рассказ:

— Вот что видел и что слышал,
Я все тебе передал,
И внучат своих из Хивы
Чтоб ты больше уж не ждал.—
Старик смолкнул и молитву
По убитым стал творить.
А Горинич по внучатам
Слезу начал рекой лить.

Попко ошибочно назвал это произведение песней. На самом деле это стихотворный сказ, в котором, однако, широко использованы образы гребенских песен.

«Червленый городок» заключает в себе более девятисот строк, из которых мы привели здесь около ста. Сложен он в четких традициях солдатского и городского ремесленного сказа, известного еще с XVIII века и проходящего через весь XIX век. Вещь эта подлинная, народная, созданная, видимо, каким-то грамотным казаком, вернее все-

го — из рода самого Ивана Демушкина, который вернулся на родину «вековым дедукой», лет шестьдесят спустя после того, как 500 гребенцов выступили в Хивинский поход.

Незадолго до его возвращения, в 1767 году, внезапное наводнение затопило Червленый городок и сады.

«Сего июня против 10 числа, в ночи,— начиналось официальное донесение,— внезапу от воли божией из реки Терека прибылая вода усиливалась течением через яр в степь в таких местах, где издревле течения и опасности никакой не было и никто не запомнит» [1].

Правда, на новое место червленцы перешли только после наводнения 1813 года, когда «векового дедуки» уже никак не могло быть в живых, но такого рода анахронизмы в народной поэзии — явление частое. Во всяком случае, видно, что сказ возник уже после переселения, которое относится к 1816 году.

Итак, в его основе лежат подлинные события из жизни станицы Червленой, а возник он как раз в те самые годы, когда Лермонтов ребенком гостил у Хастатовых в Шелкозаводском. Легко представить, сколько рассказов слышал он вокруг об этом последнем разливе Терека: несколько станиц отселились тогда на новые места. Следовательно, не только произведения народной поэзии, но и живые рассказы очевидцев были той основой, на которой возникли потом «Дары Терека».

Письменные стихотворные сказы — малоисследованная область народного творчества. Тем не менее выяснено, что они всегда строятся на использовании песенных образов. Заподозрить подделку в данном случае невозможно. Поэты и собиратели стремились подделаться под песни, а этот жанр народной поэзии у литераторов и ученых уважением не пользовался.

Допустим, что текст этого повествования записан неточно. Пусть он даже подправлен собирателем: скифы, хазары и гунны смутили Б. В. Неймана и А. В. Попова. Тем не менее народная основа этого стихотворного предания не вызывает никаких сомнений.

Допустить влияние образов лермонтовской баллады на этот сказ невозможно: хотя он, может быть, и написан в 1843 году, то есть после того, как «Дары Терека» появи-

---

[1] Г. А. Ткачев, Гребенские, терские и кизлярские казаки, с. 53—54.

лись в печати, но стоит только вспомнить его форму, объем, историческую достоверность событий — и сомнение будет отвергнуто.

Но, кем бы ни было создано стихотворное повествование о Червленом городке и каково бы ни было качество записи, безусловно одно: этот сказ основан на местных преданиях и легендах. А это для нас в данном случае самое главное [1].

Действительно, описывая в своей книге «Терские казаки» опустошительные наводнения, Попко отмечает, что народная фантазия передает повесть об этих событиях в поэтических олицетворениях. «Так, в станице Червленой,— продолжает он,— живет рассказ о самом разрушительном наводнении, украшенный всеми чарами эпопеи. В какой-нибудь праздничный вечер его можно подслушать на завалинке от вздыхающей по молодым годам мамуки, уже не грызущей семечек и забытой неблагодарными поклонниками».

Попко напечатал этот рассказ в своей книге под заглавием «Гнев Терека Горынича. (Легенда)» [2].

«С ранней весны,— начинается эта легенда,— начал сердито ворчать Терек Горынич да дуться на своих деток, гребенцов и гребеничек: замайорились, говорит, они, писаных пряников захотели, не по старине святой жить учали. И вот, наконец, вышел он из берегов терпения, порешил прогнать их с глаз долой,— не то чтоб выделить побожьему, с награждением, а просто вытолкать в три шеи. Вскипел, запенился, мечет волну за волной на свой любимый Червленый городок, хлещет в двери и окошки, ломит плетни, ворота, тиной заволакивает виноградники, посягает даже и на скит святой. Пошел войной не хуже чеченского абрека...»

Не будем приводить ее дальше, эту легенду. Последовательность событий в ней и содержание споров Терека с казачками и казаками совершенно совпадают со стихотворным сказом и отличаются от него только в деталях.

Как в стихотворном сказе, точно так же и в легенде Терек очеловечен. Когда девицы отвесили ему поклон и «поклали венки на седую взъерошенную голову Горыни-

---

[1] Ценные разъяснения относительно этого сказа я получил от покойного В. И. Чичерова.

[2] И. Д. Попко. Терские казаки с стародавних времен, с. 223—241.

ча,— страсть какой он был гневный и сердитый, не сказал «аминь» и веночки прочь швырнул».

Интересно, что, желая умилостивить Терек, казаки напоминают ему, что славят его в песне. Далее в легенде идет текст уже известной нам песни:

Ах ты, батюшка наш, батюшка,
Быстрый Терек ты, Горыньевич!
Про тебя лежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая.

Впрочем, изложение легенды остается целиком на совести Попко, тем более что он записывал ее, как сам признается, «через пятое на десятое» [1]. Но и в данном случае качество записи для нас несущественно. Важно, что эта легенда бытовала в Червленой станице, что в произведениях казачьей поэзии — в легенде и в сказе — Терек одушевлен, наделен разумом, человеческим голосом и человеческими страстями. В поэтическом представлении гребенцов он и страшный, и бурный, и злобный, и суровый, то «насупит шапку» на глаза, нахмурит брови, и тогда в глазах его сверкают молнии, уста извергают гром. А то плачет — и из глаз его льются слезы.

Таков же он и у Лермонтова: «дикий», «злобный», «буйный», «сердитый», а с Каспием говорит ласкаясь, «лукаво» и «приветливо». Разгневавшись, он тоже плачет, и тогда слезы его летят брызгами.

Таким образом, мы имеем все основания считать, что аллегорическое изображение гневной реки подсказано не балладами Виктора Гюго, а вдохновлено народными песнями и преданиями.

7

Между тем лермонтовед Б. В. Нейман, познакомившись с текстом «Червленого городка», почему-то решил, что я вижу источник лермонтовской баллады в записи поручика Раздорского, и возражает [2]. Это — сплошное недоразумение. Никто и не утверждал подобного. Понятно, что Лермонтов записи Раздорского никогда и в глаза не видел. Да и сама по себе эта запись в данном случае для нас и не

[1] И. Д. Попко. Терские казаки с стародавних времен, с. 222.
[2] См.: «Советская книга», 1952, № 3, с. 96.

существенна. Она нужна для того лишь, чтобы проследить по ней характерные образы гребенского фольклора. И действительно, мы убедились: в гребенских легендах и сказах Терек одушевлен и очеловечен. А что именно знал поэт — сказ или легенду, в детские ли годы довелось ему услыхать о гневе Терека Горынича или во время скитаний по Кавказу в 1837 году,— это как раз не так важно. Теперь уже окончательно ясно, что поэт воспел старца Каспия и буйный Терек, изобразил их страсти и передал разговор, вдохновленный поэзией гребенского казачества.

И старик во блеске власти
Встал, могучий, как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.
Он взыграл, веселья полный,—
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви.

Если при этом учесть, что в Кизляре и в казачьих станицах жила легенда, так, очевидно, и оставшаяся незаписанной — об утонувшей девушке [1], то сродство лермонтовской баллады с гребенским фольклором станет очевидным еще более.

Я примчу к тебе с волнами
Труп казачки молодой,
С темно-бледными плечами,
С светло-русою косой.
Грустен лик ее туманный,
Взор так тихо, сладко спит,
А на грудь из малой раны
Струйка алая бежит.

За поэтическим образом Терека, несущего свои жертвы дремлющему старцу Каспию, в лермонтовском стихотворении возникали образы свободолюбивых сынов Кавказа:

Я привез тебе гостинец!
То гостинец не простой:
С поля битвы кабардинец,
Кабардинец удалой.
Он в кольчуге драгоценной,
В налокотниках стальных,
Из Корана стих священный
Писан золотом на них.
Он угрюмо сдвинул брови,
И усов его края

---

[1] См.: П. Г. Бутков. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год, ч. I. СПб., 1869, с. 151.

Обагрила знойной крови
Благородная струя;
Взор открытый, безответный,
Полон старою враждой;
По затылку чуб заветный
Вьется черною космой.

Неполной была бы физиономия Кавказа, если бы Лермонтов не воспроизвел в «Дарах Терека» другой богатырский образ, олицетворивший закаленное в боях гребенское войско:

По красотке молодице
Не тоскует над рекой
Лишь один во всей станице
Казачина гребенской.
Оседлал он вороного
И в горах, в ночном бою,
На кинжал чеченца злого
Сложит голову свою.

Лермонтов не перепел народные песни, не пересказал их, не подражал им. Но, соприкоснувшись с жизнью гребенских казачьих станиц, он вгляделся в этих мужественных людей, соединивших в себе черты исконно русские с лучшими чертами кавказских народов, сроднился с их песнями и преданиями, в полном согласии с духом народной поэзии одушевил явления природы и, дав, по выражению Белинского, «образ и личность ее немым и разбросанным явлениям», создал на основе песенных образов свое высокопоэтическое творение.

Недаром Белинский назвал «Дары Терека» поэтическою апофеозою Кавказа.

* * *

Каковы же итоги многолетних разысканий, кропотливого добывания фактов?

Выяснена обстановка на Кавказе в тридцатых годах прошлого века и обстоятельства, сопровождавшие службу Лермонтова в Нижегородском полку. Изучена кавказоведческая литература и следственные документы по делу о заговоре 1832 года, прослежены биографии десятков людей и их генеалогические связи, подняты послужные списки, просмотрены истории полков, приказы по Отдельному Кавказскому корпусу, протоколы Тифлисской городской думы, восстановлены адреса, использованы

записки военных и путешественников, труды геологов, фольклорные записи, литературоведческие исследования, отчеты альпинистов и многие другие источники. Повторены кавказские маршруты Лермонтова. Сопоставлены и приняты во внимание не только сколько-нибудь значительные, но даже и мельчайшие факты.

Изучение замыслов Лермонтова, возникших в 1837 году или по его возвращении из Грузии, заставило обратиться к событиям войны 1812—1814 годов, к восстанию декабристов, к истории кавказской войны и войн русско-персидской и русско-турецкой, к грузинскому заговору 1832 года, к истории Грузии — ко времени ее присоединения к России. Теперь все эти замыслы поставлены в связь с идейной и политической жизнью России и Грузии первых четырех десятилетий прошлого века.

Работа эта была предпринята не для того только, чтобы заполнить пробел в биографии Лермонтова, но для того, чтобы внести новое в изучение его творчества, и прежде всего творческой истории его произведений и творческого облика самого Лермонтова.

В результате всех этих разысканий добыты новые данные об источниках зрелых творений Лермонтова, зародившихся во время его путешествия по Грузии и скитаний по Северному Кавказу,— «Демона», «Мцыри», отчасти «Героя нашего времени», «Даров Терека», «Казачьей колыбельной песни», «Спора», «Тамары», «Свиданья», очерка «Кавказец», сказки «Ашик-Кериб»...

Это, прежде всего, фольклор.

В продолжение долгих десятилетий поэзия Лермонтова рассматривалась, главным образом, в ее связях с произведениями русских и европейских писателей. В число источников лермонтовской поэзии включались сотни сочинений, и многие без достаточных к тому оснований.

Разумеется, неверно было бы умалять воздействие на поэта великих творений русской и мировой литературы. Тем более на Лермонтова — одного из самых чутких и образованных людей своего времени. Но с каждым годом новые факты все более подтверждают, что источник поэзии Лермонтова составляла живая действительность, его собственные переживания и наблюдения, народные предания, легенды и песни, рассказы бывалых людей, споры с друзьями. А в ряду этих живых впечатлений — и журналы и книги: русская и мировая поэзия, философия, со-

циально-экономические труды, история, политика — весь обширный круг чтения Лермонтова, заново им осмысленный и творчески претворенный. Но повторим: прежде всего — окружавшая его жизнь во всем многообразии ее проявлений, в ее развитии, в ее сложных противоречиях.

Теперь, когда пересмотрена творческая история поэтических созданий Лермонтова, замышленных в 1837 году на Кавказе, когда удалось вникнуть в их реальный подтекст,—становится уже окончательно ясным, что и «Мцыри», и «Демон», и «Дары Терека», и «Казачья колыбельная песня», в продолжение целого столетия изучавшиеся в их отношении к предполагаемым западноевропейским источникам, на самом деле напоены темами народной поэзии. В «Демоне» и «Мцыри» претворился грузинский, хевсурский, осетинский фольклор; «Ашик-Кериб» представляет собой запись азербайджанской народной сказки; «Дары Терека» и «Казачья колыбельная песня» возникли на основе гребенских казачьих песен. Теперь уже вряд ли кому-нибудь покажется, что «Бородино» и «Песня про царя Ивана Васильевича...» представляют собой «случайные фольклорные стилизации» Лермонтова, как еще недавно думали некоторые исследователи. Становится очевидным, что фольклор был постоянным, органическим источником лермонтовской поэзии.

Глубокий и напряженный интерес Лермонтова к политической жизни России, к состоянию современного ему общества, с такой поразительной силой выразившийся в его знаменитой «Думе», сочетался у него с таким же постоянным интересом к отечественной истории — к эпохе Ивана Грозного, к пугачевскому восстанию, к событиям Отечественной войны 1812 года, к заграничным походам русской армии, к истории кавказской войны.

Не оборвись жизнь Лермонтова на двадцать седьмом году — в трех романах, которые должны были составить, по его мысли, единое целое, важнейшие периоды отечественной истории оказались бы связанными между собой и предстали бы перед читателем в их развитии. И снова подчеркнем, что замысел этот в известной степени предварял замыслы Льва Толстого.

Мы знаем, какую огромную работу по собиранию исторического материала для «Войны и мира» проделал Л. Н. Толстой, сколько он перечитал многотомных исторических исследований и мемуаров — русских и ино-

странных,— изучил документов, пересмотрел гравюр и литографий, сколько беседовал с историками и с военными,— словом, сколько прочитанного и услышанного он переосмыслил и обобщил. Лермонтов, взявшись за изображение той же эпохи за двадцать пять лет до Толстого, находился в положении неизмеримо более трудном. Многотомные исследования военных историков еще не появлялись, воспоминания и суждения военных людей, собеседников Лермонтова, хотя во многом были и живее, и непосредственнее, и достовернее, но в них лишь косвенно отражался масштаб великих исторических событий, и Лермонтову, в отличие от Л. Толстого, предстояло выполнить работу историка — собирателя фактов — и не столько переосмыслить, сколько впервые во многом осмыслить рассказы о событиях Отечественной войны 1812 года и освобождении русскими войсками Европы в 1813—1814 годах (вспомним, что он собирался описать в одном из своих романов действия и «в сердце России» и «под Парижем»).

Если же вдуматься в замысел заключительного романа из этой неосуществившейся трилогии Лермонтова, в котором он хотел показать Тифлис при Ермолове, ермоловские экспедиции в горы Центрального Кавказа, персидскую войну и гибель Грибоедова, становится ясно, что он собирался изобразить события, происходившие в период подготовки и поражения декабрьского восстания 1825 года, и людей, связанных с декабристами. Об этом свидетельствуют фигуры Ермолова и Грибоедова. Попутно выясняется, что мысль написать такой роман возникла у Лермонтова после личной встречи с Ермоловым и что аллегорическое описание движения русских войск на Кавказ в стихотворении «Спор» было насыщено глубоким историческим смыслом и необычайно острым политическим содержанием.

Замысел этой исторической трилогии до сих пор мало обращал на себя внимание исследователей главным образом потому, что не ставился в связь с общим развитием творчества Лермонтова и не наполнялся конкретным историческим содержанием.

Между тем он свидетельствовал о том, что идейная близость Лермонтова к декабристам и Грибоедову, возникшая еще в годы юности, привела его к мысли создать после «Героя нашего времени» роман о судьбе того поко-

ления, которое возмужало в огне Отечественной войны против Наполеона и было сломлено катастрофой 1825 года. «Уже кипучая натура его начала устаиваться... орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые...» — писал Белинский в рецензии на посмертное издание «Героя нашего времени», в которой рассказал о намерении Лермонтова написать «три романа из трех эпох жизни русского общества».

Нельзя не отметить здесь историческую закономерность: замысел «Войны и мира» Толстого точно так же родился в связи с работой над «Декабристами».

Мысли об исторической судьбе своего народа, любовь к отечеству, которую Лермонтов, по выражению Добролюбова, понимал «истинно, свято, разумно», помогли ему постигнуть достоинства и других населявших Россию народов. На новом материале, собранном в этой книге, мы старались показать живой интерес Лермонтова к поэзии и культуре грузинского народа, к языку и поэзии азербайджанского. В круг знакомых Лермонтова входят новые люди: замечательный грузинский поэт, выдающийся азербайджанский писатель — демократ-просветитель, вдова великого русского писателя, способствовавшая сближению русской и грузинской культуры.

Через них Лермонтов воспринимал Кавказ не как экзотику, не поверхностно, а углубленно и органически.

Кроме Грибоедова, грузинские замыслы которого дошли до нас только в отрывках, пожалуй, никто из русских поэтов прошлого не почувствовал так полно, так органично, как Лермонтов, Грузию — ее пейзаж, ее фольклор, ее исторические памятники. Русская читающая публика издавна связывает представление о красоте Грузии с образом лермонтовской Тамары, той безыменной грузинки, которая, спускаясь с кувшином к студеному роднику под горой и напевая простую песню, пробудила «сладкую тоску» в груди Мцыри. Для русского читателя представление о Грузии неотъемлемо связано с картинами грузинской природы в «Демоне», «Мцыри», в «Герое нашего времени».

Узнав Кавказ еще в детстве, Лермонтов с годами все глубже вникал в исторические судьбы кавказских народов, все больше интересовался их культурой. «Там, на Востоке, тайник богатых откровений»,— говорил Лермонтов

Краевскому, в последний раз покидая Петербург за три месяца до своей трагической гибели. При этом Лермонтову, так же как и Пушкину, было свойственно чуждое всякой национальной ограниченности отношение к народам Кавказа.

Белинский первый заметил, что произведения Лермонтова ознаменованы «печатью какой-то особенности», что они «не походили ни на что являвшееся до Пушкина и после Пушкина». Именно поэтому еще при жизни Лермонтова Белинский заявлял, что «Пушкин умер не без наследника». А вскоре после гибели Лермонтова поставил обоих поэтов рядом как величайшие явления русской культуры.

«Давно ли г. Баратынский вместе с г. Языковым,— писал Белинский в 1842 году,— составлял блестящий триумвират, главою которого был Пушкин? А между тем как уже давно одинокою стоит колоссальная тень Пушкина, и мимо своих современников и сподвижников подает руку поэту нового поколения, которого талант застал и оценил Пушкин еще при жизни своей!..» [1]

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI, с. 464.



По ущельям Терека и Арагвы

Из картин и рисунков, на которых Лермонтов изобразил виды Кавказа, мы «опознали» только «Тамань» — по описанию Цейдлера, а своими глазами — вид Тифлиса со стороны бани «Гогило» да Метехский замок, рисованный со стороны Майдана. Надо определить, что представляют собой остальные: «Кавказский вид с саклей», «Кавказский вид с арбой», «Кавказский вид с верблюдами», «Горное ущелье на Кавказе» — картина, что хранится в Доме-музее села Лермонтова Пензенской области, «Дарьял», «Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби», «Развалины на берегу Арагвы».

Проще всего оказалось установить, что представляет собой «Кавказский вид с саклей». Картина эта поступила в Лермонтовский музей при Николаевском кавалерийском училище в Петербурге от наследников Краевского вместе с другой картиной — «Вид на Эльбрус». «Семья покойного А. А. Краевского,— говорилось в препроводительном письме,— просит принять два пейзажа из кавказской природы, нарисованные М. Ю. Лермонтовым. Принадлежность этих картин кисти знаменитого поэта не подлежит сомнению». При этом упоминалось имя Д. В. Григоровича, который мог бы свидетельствовать, что они точно писаны Лермонтовым [1].

С другой стороны, со слов П. А. Висковатова известно, что Краевскому принадлежала картина, изображавшая

---

[1] В. Л. Бубнова, М. М. Калаушин, П. Е. Корнилов. М. Ю. Лермонтов. Каталог выставки в Ленинграде. М.— Л., 1941, с. 50.

«место действия «Мцыри» на берегу Арагвы», и что картина эта «была снята Лермонтовым с натуры» [1].

Сопоставив эти данные, не так уж трудно было предположить, что Висковатов видел у Краевского ту самую картину, которая поступила потом в Лермонтовский музей и была внесена в каталог под неопределенным наименованием «Кавказский вид с саклей».

На картине этой изображены развалины старинной сторожевой башни — «кошьки», какие можно видеть в Грузии повсеместно. К башне лепится домик с плоской кровлей. За рекой, на горе видны характерные контуры грузинской церкви. Всякий, кто бывал в тех местах, всмотревшись, узнает в этом изображении Джвари — старинный храм, возвышающийся над Мцхетом, над самым слиянием Куры и Арагвы. Постройки самого Мцхета скрыты от нас на картине башней и близлежащей горой. Правее башни виднеются дальние очертания того самого мцхетского собора Свэтицховели, в котором находятся гробницы последних грузинских царей и где на могиле Георгия XII Лермонтов читал надпись, пересказанную им в первой строфе «Мцыри»: «Как, удручен своим венцом, такой-то царь, в такой-то год вручал России свой народ».

Места, где сливаются Кура и Арагва, на полотне Лермонтова не видно за высоким краем берега.

Задний план картины составляет долина Арагвы. Изображенные на переднем плане мужчина и женщина, едущая верхом на ослике, движутся в сторону Тифлиса по Военно-Грузинской дороге. Совершенно ясно, что Лермонтов писал эту картину, путешествуя по Грузии в 1837 году.

Исследователь грузинской литературы В. В. Гольцев, с которым мы вместе рассматривали однажды репродукцию с этой картины, при случае обещал показать на месте остатки изображенной Лермонтовым башни. Таким образом, еще в Москве мы определили, что Лермонтов писал это полотно с возвышенности возле селения Мухатгверди, недалеко от нынешней ЗАГЭС. А когда через некоторое время вместе проезжали по Военно-Грузин-

---

[1] П. А. Висковатов. «Демон». Поэма М. Ю. Лермонтова и ее окончательная, вновь найденная обработка.— «Русский вестник», 1889, № 3, с. 236.

ской дороге, то убедились в правильности этих предположений.

Так удалось установить, что одна из лучших живописных работ Лермонтова связана с замыслом «Мцыри». Нечаянно (а может быть, и сознательно?) Лермонтов выбрал ту самую башню, возле которой за несколько лет перед тем был убит вождь крестьянских восстаний — легендарный Арсен.

Остальные работы можно было «узнать» только на месте. А для этого надо было повторить кавказский маршрут Лермонтова, следуя в машине по тем дорогам, по которым он путешествовал в свое время «то на перекладной, то верхом».

С этой целью летом и осенью 1952 года я побывал в Ставрополе, в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске; через Георгиевск, Прохладный, станицу Екатериноградскую и Моздок выехал на Терек; через терские станицы — Червленую, Щедринскую, Шелковскую, Гребенскую, Старогладковскую,— связанные с именами Грибоедова, Ермолова, Лермонтова, Льва Толстого, проследовал в Кизляр. Поехал обратно — повернул на Грозный, оттуда — на речку Валерик, где в 1840 году происходило сражение, описанное Лермонтовым в его удивительном стихотворении; побывал в Орджоникидзе, несколько раз пересек территории Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, по Военно-Грузинской дороге приехал в Тбилиси, из Тбилиси проследовал в Кахетию, осмотрев Караагач, переправился на пароме через Алазань на территорию Азербайджана и двинулся через Закаталы, Кахи к югу — по направлению к Нухе и Шемахе.

Вот тогда-то в Караагаче — об этом уже говорилось — и был опознан «Вид с верблюдами», оказавшийся развалинами Никорацихе близ прежней квартиры Нижегородского драгунского полка.

Еще раньше, в Дарьяльском ущелье, мне удалось уточнить, что на одном из рисунков, хранящихся в Пушкинском доме, изображен «Замок Тамары», описанный Лермонтовым в балладе «Тамара». Оказывается, поэт рисовал его, сидя на одной из угловых башен стоящего рядом Дарьяльского укрепления. Только оттуда — сверху — он мог увидеть «в одном кадре» и замок, и воду Терека. С дороги в этом месте воды не видно. А если подойти к берегу — башня окажется над головой.

Рисунок Лермонтова не вполне совпадает с тем, что мы видим сейчас. В 1870-х годах какой-то пьяный артиллерист из проходившей мимо части ударил по башне прямой наводкой и разрушил ее почти до самого основания.

Итак, оказывается, этот рисунок тоже может служить иллюстрацией к лермонтовскому тексту, в данном случае — к балладе «Тамара».

Стоишь, смотришь на окрестные скалы, на Терек и удивляешься, как точно сказано:

...роется Терек во мгле...

Именно «роется»!

Смотришь — и радуешься этой точности слова:

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале...

Как передана ночь в этих строчках! Хотя про ночь и не сказано.

Но если развалины «Замка Тамары» обнаружить было не сложно, то «Развалины на берегу Арагвы» найти оказалось гораздо труднее, несмотря на то что на этом рисунке, в нижнем левом углу имеется помета Лермонтова: «Развалины на берегу Арагвы в Грузии». Следовательно, искать эти развалины надо будет в долине Арагвы.

Мы видим на рисунке ущелье, скалистую, поросшую лесом вершину, старинную крепость — зубчатая стена, круглая башня с бойницами, другая — четырехугольная; грузинская — с острым куполом — церковь. На противоположном берегу — поселок и снова башня. Река с двух сторон бурно обтекает утес. За поворотом ущелья поднимаются вершины снегового хребта...

По характеру своему рисунок отдаленно напоминает Ананури. Но ландшафт там совсем не такой. Странно: сколько раз ни приходилось проезжать по Военно-Грузинской дороге ущельем Арагвы, а такое место не встретилось. Между тем дорога идет вдоль Арагвы около ста километров — от Мцхета до селения Млета; там она покидает долину и уходит вверх, к Крестовому перевалу. Кому ни показываешь этот рисунок — не узнают. А ведь Белая Арагва — не одна. Есть и Черная, вытекающая из ущелья Гудамакари. Есть Пшавская Арагва. Есть Арагва в Тушетии. Может быть, Лермонтов побывал там?

Снова выехал из Тбилиси на Военно-Грузинскую дорогу. В Ананури со всех сторон осмотрел старинную крепость — не то! Приезжаю в Пасанаури — как раз полпути между Тбилиси и Орджоникидзе. День был воскресный и утро. Иду на базар. Тем, кто вышел на базар продавать кур, мацони, грецкие орехи, чеснок, показываю фотографию с лермонтовского рисунка: жители арагвинского ущелья должны знать! К продающим присоединяются покупающие. Все говорят: «Похоже на Ананури». Это я и сам понимаю.

Приезжаю в Квешети — селение у подножья Кайшаурской горы. Раньше, когда здесь останавливались Грибоедов, Пушкин и Лермонтов, в Квешети были почтовая станция и резиденция «начальника горских народов». Здесь рождались пушкинские строки:

На холмах Грузии лежит ночная мгла:
Шумит Арагва предо мною...

Здесь стоял тот духан, возле которого офицер, передавший нам историю Бэлы, нанял шесть быков и нескольких осетин, чтобы втащить тележку на Кайшаурскую гору. На Кайшаурском подъеме и произошло его знакомство с Максимом Максимычем. Отсюда начиналась самая трудная часть дороги, шедшей в ту пору прямо, без всяких зигзагов, к Крестовому перевалу, через каждые три километра подымая путешественника на высоту километра: такой крутой был подъем!

Но в 60-х годах дорогу продлили по ущелью Арагвы до селения Млета, а оттуда, взорвав могучие скалы, проложили зигзагообразный подъем, вьющийся, подобно серпантину, по склонам Гуд-горы до самой Крестовой. С тех пор старая дорога заброшена. По ней ходят только те мтиульцы, которые живут на Кайшаурском плато. Потеряв былое значение, станция Квешети еще в прошлом веке превратилась просто в селение Квешети.

На том месте, где в лермонтовские времена стоял духан, теперь находится просторный сельмаг. По случаю воскресного дня народу возле него было больше обычного; под окном стояла «Победа», и несколько оседланных лошадей дремали, привязанные к изгороди.

Выйдя из той машины, в которой приехал, я обратился к собравшимся с просьбой определить, что изображает лермонтовский рисунок.

Фотография пошла по рукам.

— Ананури, наверно,— сказали одни.

— Не знаем,— сказали другие,— в наших местах такой крепости нет.

Перечислили друг другу окрестные башни — нет, не похожи.

Тогда молодая мтиулка — имя ее должно отныне войти в лермонтовскую литературу — Русудан Закаидзе, колхозница из селения Закаткари, попросила передать фотографию ей.

— Послушайте, что скажу,— обратилась она ко мне.— Возьмите хорошую лошадь и отправляйтесь к верховьям Арагвы. Там в осетинском ущелье Гуда найдете, что ищете.

Другие ей возразили:

— Куда ты хочешь послать его — там нет ни церкви, ни крепости. Давно все упало, одни камни лежат...

— Хорошо помню, еще в школе учила,— ответила Русудан Закаидзе,— что Лермонтов, когда почтил Пушкина стихотворением, к нам прибыл и погостил у нас. И это было сто лет назад с лишком. Может быть, когда он ездил к истокам реки, церковь и крепость стояли, а за это время упали и потому одни камни лежат.

— Камнями угостить его хочет,— зашумели ее оппоненты.— Не за этим приехал. А если камнями интересуется, зачем ему далеко ехать? Старая башня и там вон упала — в ущелье, и там — на горе. Туда пусть пойдет...

Я готов был последовать совету Русудан Закаидзе, но выяснилось, что нанимать лошадей и ехать в тот день в верховья Арагвы поздно.

Тогда я решил пройти пешком по старой дороге — подняться на Кайшаурскую гору и выйти на нынешнюю трассу через горные селения Закани и Кайшаури. Машина должна была ожидать меня возле селения Сетури. Я срезал бы по прямой километров десять. А от Сетури можно следовать машиной дальше — за перевал.

Только тут — перейдя через Арагву по бревнышку и поднявшись по этой старой, заброшенной дороге на Кайшаурское плато — смог я по-настоящему оценить необыкновенную точность лермонтовских описаний: «Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с дру-

гой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею».

В селении Кайшаури показывают каменный дом, где, по преданию, останавливался Лермонтов, пил чай из чугунного чайника и в беседе со спутником коротал ночь. Может быть — и даже наверное,— это идет от романа. А впрочем, могло так и быть. Ведь в «Бэле» не происходит никаких удивительных событий: только самые обыкновенные, какие случались тогда на Кавказе. Достоверность психологических характеристик подтверждается в «Герое нашего времени» такой поразительной точностью описаний кавказской природы, обычаев, нравов, всей обстановки, что всякий раз поражаешься каждой новой детали. Мы знаем, например, что Максим Максимыч «с казенными вещами» следует в Ставрополь. На вопрос спутника, давно ли он служит, старый штабс-капитан отвечает, что служил здесь «еще при Алексее Петровиче».

«— А теперь вы?..

— Считаюсь в третьем линейном батальоне...»

Штаб третьего линейного батальона в 30-х годах действительно находился в Ставрополе, роты — в Кисловодске и Железноводске. Для тогдашнего читателя-кавказца созданный воображением Лермонтова штабс-капитан Максим Максимыч был почти что знакомый.

С такой же конкретностью описан у Лермонтова каждый поворот Военно-Грузинской дороги. Пятигорск, Кисловодск, Тамань, казачья станица... Высокая поэтичность соединяется в «Герое нашего времени» с точностью очерка.

Приезжаю в Казбеги и — прежде всего — к директору Казбегского краеведческого музея Алибегашвили Степану Ивановичу. Показываю ему фотографию «Развалины на берегу Арагвы». Он подробно расспрашивает.

— Я думаю,— говорит он,— что это в ущелье Гуда, развалины над Хатис-сопели, выше Ганиси. Что? Девушка из Закаткари думает так же? Вполне с ней согласен.

Рассмотрел и другое фото: ущелье с арбой.

— Это будет на дороге в Орджоникидзе, за селением Чми. Завтра можно поехать и посмотреть.

Вано Вардидзе, шофер, с которым я еду, называет другое место, в восьми-девяти километрах от Казбека, в ущелье Дарьяла.

— Сомнительно, но посмотреть можно будет,— говорит

директор музея.— Пойдем по Дарьялу правым берегом Терека по старой Военно-Грузинской дороге, как ездили Пушкин и Лермонтов. Кстати, посмотрите: ведь они с противоположного берега видели все эти места.

Скажем правду — тот вид был не хуже, а лучше!

Мы теперь проезжаем Дарьяльское ущелье дорогой, вьющейся словно по карнизу скалистой стены. Внизу, в глубокой пропасти, как водопад, шумит Терек. Мы видим пейзаж мощный, суровый и удивительный. Но зато мы не видим той самой стены, по карнизу которой ползут наши машины, если смотреть на них снизу, с самого русла Терека — с правого берега. Эта совершенно вертикальная скалистая стена, уходящая в небо, производит впечатление даже на тех, кто хорошо знает Кавказ и видел реки более бурные, чем Терек, и ущелья более узкие, нежели Дарьяльское. И поэтому, путешествуя по Дарьялу, надо помнить, что Пушкин и Лермонтов видели его не отсюда, а снизу — с противоположного берега.

В связи с этим вспоминается одно место из записок декабриста Розена, на которые я уже ссылался не раз. «Досадно,— писал Розен, вспоминая путешествие свое через ущелье Дарьяла,— что не умею описать картину этого единственного в своем роде пути... Напрасно останавливаю перо, чтобы придумать верное изображение; это не удалось вольному путешественнику поэту Пушкину, ни Грибоедову, ни невольным странникам А. А. Бестужеву (Марлинскому), ни Одоевскому. Всего лучше отрывками нарисован Кавказ поэтом Лермонтовым, который волею и неволею несколько раз скитался по различным направлениям чудной страны и чудесной природы» [1].

И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел,— и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны...

---

[1] А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, с. 225.

В Дарьяльском ущелье вида с арбой не оказалось. Он обнаружился там, где и предполагал директор музея, ближе к Орджоникидзе, между селениями Балта и Чми. Лермонтов нарисовал Военно-Грузинскую дорогу и Терек, стоя спиной к югу на середине каменистого ложа реки. В ту пору течение отклонялось в этом месте к правому берегу. Хотя Алибегашвили привез нас на то самое место, все же пришлось повозиться немало и перелезать через Терек по бревнам, прежде чем отыскалось место, где устроился Лермонтов, чтобы нарисовать этот вид.

На рисунке мы видим арбу, запряженную парой волов, и одну из маленьких осетинских мельниц, которые Пушкин упоминает в «Путешествии в Арзрум». Но главное в этом пейзаже у Лермонтова — могучая белокаменная скала, нависшая над самой дорогой: она первая встречает путешественников у ворот Большого Кавказа.

Нашелся и еще один вид, рисованный Лермонтовым. Это автолитография, которую он отпечатал, вернувшись из ссылки в Петербург. До нас дошли четыре одинаковых оттиска: два из них раскрашены цветными карандашами. Лермонтов дарил их знакомым. Виды Кавказа в ту пору не продавались, художники из России дальше Пятигорска обычно не ездили. Изображение Военно-Грузинской дороги считалось в то время редкостью.

На одном из оттисков, подаренном тому самому М. И. Цейдлеру, о котором уже шла речь в этой книге, имеется собственноручная надпись Лермонтова: «Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби». Однако, несмотря на подпись, обнаружить это место было не так-то легко. Дело в том, что, переводя на литографский камень изображение, Лермонтов не перевернул его. Поэтому перевернутым получилось изображение на оттиске. А кроме того, гора, которую Лермонтов назвал Крестовой, на самом деле называется Кабарджина; она примыкает к Крестовой с севера. Лермонтов изобразил селение Сиони, между Казбеги и Коби. Рассматривая это изображение, надо помнить, что в действительности гора Кабарджина, обрывистый утес, на котором высятся храм Сиони и старинная башня, находятся слева, а Терек справа.

Тот же самый вид Лермонтов воспроизвел на картине, хранящейся в Доме-музее села Лермонтово Пензенской области. Но, в отличие от литографии, на картине нет храма: одна только башня. Это стоит отметить.

До нас дошло десять грузинских картин и рисунков Лермонтова. И на каждом из них — караульная башня или старинная крепость. Просто поражаешься, как верно почувствовал он характерную особенность грузинского пейзажа, от которого неотъемлемы эти безмолвные свидетели былых сражений грузинского народа против иноземных захватчиков, напоминающие о тех временах, когда ночью загорался в ущелье костер на сторожевой башне, потом вдали на другой, на третьей, и огненной эстафетой шла по стране весть о новой грозной беде — о новом вторжении.

Оставив на фоне сурового горного пейзажа одну только сионскую башню — картина написана с другой точки,— Лермонтов романтизировал его, показал еще более суровым, представил таким же, как в «Демоне».

И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы...[1]

Снова выясняется, что карандашом и кистью поэт стремился передать те же впечатления, которые вдохновили его на создание «Демона», «Мцыри», «Героя нашего времени», что описания природы в поэмах и в прозе помогал Лермонтову создавать его глаз художника.

Вглядываясь в его путевые зарисовки, мы читаем по ним дневник его путешествия и снова убеждаемся в том, как верно постигал он характер новой для него страны, как чувствовал ее историческое прошлое. Становится понятным и то, что живописные работы Лермонтова были для него серьезным делом, а не дилетантским занятием.

Изучая лермонтовские картины, можно сделать и еще один важный вывод. Четыре из них сделаны в Казбегском районе. И еще: картина, которую Лермонтов подарил В. Ф. Одоевскому 13 апреля 1841 года, когда заехал к нему, чтобы навсегда с ним проститься. Эту картину обнаружил недавно И. С. Зильберштейн в Париже в собрании известного французского хореографа С. Лифаря. Теперь она в Пятигорске в «Домике Лермонтова». На обороте ее Одоевский написал «Вид Крестовой горы». Это одна из лучших работ Лермонтова, и это те же места, тот же район Казбека. А ведь пять картин и пять рисун-

[1] «Демон», ч. I, строфа III.

ков — это только малая часть той коллекции, о которой Лермонтов сообщал Святославу Раевскому. Значит, Лермонтов не просто проехал через Дарьял и мимо Казбека, а прожил там, по крайней мере, несколько дней, бродил по окрестностям и, следовательно, имел полную возможность познакомиться с фольклором Казбегского района — услышать предания о заоблачном монастыре на Казбеке, и о пещерах Бетлеми, и о могилах среди вечных снегов, и легенды о «коварной Тамаре»...

Итак, сюжеты почти всех живописных работ Лермонтова, тех, что дошли до нас, нам удалось наконец определить. Только «Развалины на берегу Арагвы» по-прежнему остаются необнаруженными. Надо ехать в верховья Арагвы, хотя, по правде сказать, и не вполне понятно, как Лермонтов мог оказаться там и зачем туда ездил? Правда, Висковатов предполагал, что Лермонтов побывал там. Но ведь известно также, что к утверждениям Висковатова надо относиться с осторожностью.

Когда мы приехали в селение Кумлисцихе, расположенное на склоне Гуд-горы, в правлении овцеводческого колхоза шло заседание — обсуждался план эвакуации отар на зимние кизлярские пастбища.

Надо ждать. Но шоферу Вано Вардидзе не терпится. Он подходит с картинкой Лермонтова к членам правления.

— Как погнать баранов на зимние пастбища, это потом решите. Каждый год посылаете... А вот тут есть неотложный научный вопрос: ваши это места или не ваши? Написано: «Арагви». Ездим-ездим — нет желающих. Свои места должны знать? Хорошо посмотрите!

Члены правления колхоза начинают разглядывать фотографию, обмениваются суждениями:

— Если ищете крепость и церковь, как здесь нарисовано, нет у нас. Если место хотите видеть такое, Нико Кайшаури с вами пойдет, который ночью кооператив сторожит в Гудаури. И все покажет. Это выше колхоза Ганиси, в ущелье Гуда.

Поехали мы с Нико Кайшаури в машине к Крестовому перевалу. Остановились там, где дорога входит в тоннели, построенные на случай снежных завалов. Как раз тут и лежит груда обломков гранита, неизвестно когда и откуда упавших. Тех самых, что, по преданию, накидал здесь разгневанный Гуда.

Остановив машину, стали спускаться по тропе на дно двухверстной пропасти. Как серебряный ручеек, вьется Арагва на дне ее, и безлюдными кажутся крохотные макеты селений. В одном из них, как гласит легенда о любви Гуда, жила в древние времена красавица, которую полюбил дух. Ни звука вокруг. Только послышится иногда автомобильный сигнал — посмотришь наверх: машина, отвесив поклон перед поворотом, ускользает из глаз. Но вот сверху *уже* не доносятся звуки. А снизу *еще* не доносятся. Под ногами — крутая тропа, справа — скалистая стена, слева — пусто. Пространства с этой стороны так много, словно идешь в воздухе по крылу самолета. Как сказано у Пушкина в стихотворении «Кавказ»:

И пастырь
нисходит
к веселым
долинам,
Где мчится
Арагва
в тенистых
брегах...

Один из современных наших писателей процитировал недавно эти строки, расположив «лесенкой». И тогда стало еще яснее, как удивительно передал Пушкин в стихе это движение вниз... Кстати, Пушкин, вероятно, вспоминал те же места, что и Лермонтов; такую панораму можно увидеть только с Крестовой.

Сперва мы шли, потом мчались. Упираясь, отдуваясь, откинувшись всем телом назад, работая локтями, в надежде сдержать этот стремительный ход, жалея, что нет в теле тормоза, мы сбежали наконец на каменистое ложе пенистой, шумной Арагвы, к осетинским селениям, обведенным оградами из плоских камней.

Красиво в этом ущелье необычайно. Но разверстые глотки мечущихся возле тебя мохнатых чудовищ, их лай, надсадный до хрипа, до храпа, до клокотания внутри, их мелкие, как у хищных рыб, зубы и оттого еще более страшные кривые клыки, обрезанные уши, черные свирепые морды не составляют моих лучших воспоминаний.

Впереди, у самой Арагвы, против селения Урмис-сопели, на том берегу — гора. Нет, не гора! Огромная глыба словно скатилась откуда-то к самой воде, легла здесь и поросла густой рощей. Осенняя расцветка листвы — розовая, ржавая, рыжая, желтая, золотая, багряная — так

богата тонами, что кажется, гору покрыли пестрым, цветистым ковром. И это особенно удивительно потому, что ущелье безлесно.

Форма горы отчасти напоминает колпак, каким покрывают домашний чайник,— скаты крутые, а гребень длинный и узкий. На гребне — развалины крепости. Полезли наверх по обратному скату горы; он крут, но порос зеленой травой и опутан овечьими тропами: они тянутся одна над другой, как узенькие террасы, в несколько сантиметров ширины.

Забрались. Наверху — осыпь камней, остатки крепостной стены, башен, церкви, ступени разрушенной лестницы. Стоит часовня без крыши, сложенная без раствора из плоского шифера и кое-где хранящая следы обмазки.

День ясный. На солнце греются змеи и с шорохом ускользают при нашем появлении в расселины.

Внизу, под горой, уступами расположилось селение Хатис-сопели (Дзуар-кау по-осетински) — несколько домиков с плоскими кровлями.

Но вот мы спустились и снова выходим к руслу Арагвы, отошли от горы на расстояние примерно полукилометра вниз по течению, сравнили вид на гору с лермонтовским рисунком... она! Вот гора, покрытая рощей, вот повороты ущелья. Селение на другом берегу (Урмис-сопели), те же контуры дальних вершин. И развалины. У Лермонтова на рисунке крепость только еще начала разрушаться. А теперь уже осыпалось все почти до самого основания. Но, очевидно, церковь и тогда пустовала.

Теперь уже нет сомнений — Лермонтов был здесь! Не то заехал сюда от Квешети, сделав крюку верст пятнадцать, не то спустился от самой Крестовой, оттуда, где лежат камни Гуда, по той же тропинке, что мы.

Но как бы то ни было — ясно одно: он побывал в верховьях Арагвы, бродил по этим местам и не только нарисовал эти развалины: силой творческого воображения он населил их людьми, превратил в своей поэме в «замок Гудала», куда прилетает Демон, куда спешит нетерпеливый жених. А потом в эпилоге описал то, что изобразил на рисунке:

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.

Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...
Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;
И голосов нестройный гул
Теряется, и караваны
Идут, звеня, издалека,
И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река [1].

В этом описании есть все, что мы видим и сейчас в ущелье Гуда: и «аул» — Хатис-сопели, и роща на склоне горы, которую, по преданию, нельзя вырубать, а то дети в семье будут болеть оспой, и старинные развалины, и «плиты старого крыльца»:

Но грустен замок, отслуживший
Когда-то очередь свою,
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью.
И только ждут луны восхода
Его незримые жильцы:
Тогда им праздник и свобода!
Жужжат, бегут во все концы.
Седой паук, отшельник новый,
Прядет сетей своих основы;
Зеленых ящериц семья
На кровле весело играет;
И осторожная змея
Из темной щели выползает
На плиту старого крыльца,
То вдруг совьется в три кольца,
То ляжет длинной полосою
И блещет, как булатный меч,
Забытый в поле давних сеч,
Ненужный падшему герою!..
Все дико: нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала,
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его! [2]

Во всем этом описании имеется только одна неточность: «Кайшаурская» пишется через «а», но не через

[1] «Демон», ч. II, Эпилог.
[2] Там же.

«о», как послышалось Лермонтову. Эта непроизвольная ошибка повторена и в «Герое нашего времени». И только!

Кто касается имени властителя замка Гудала — его происхождение тоже не вызывает сомнений и служит подтверждением тому, что Лермонтов связал действие поэмы именно с этим ущельем — с ущельем Гуда, под Гуд-горой, над которым властвует легендарный дух Гуда, полюбивший красавицу, жившую в этих местах:

Высокий дом, широкий двор
Седой Гудал себе построил...
Трудов и слез он много стоил
Рабам послушным с давних пор.
С утра на скат соседних гор
От стен его ложатся тени.
В скале нарублены ступени;
Они от башни угловой
Ведут к реке, по ним мелькая,
Покрыта белою чадрой,
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой [1].

Выше Хатис-сопели, при слиянии Арагвы с другой, безыменной речкой, образуется выступающая мысом вперед гора, поросшая зеленой травой. На гребне ее видны другие развалины. Жители расположенного у подножия селения Эрето говорят, будто бы тут был монастырь, «в который попал гром». Осетин Самашвили Василий из Хатис-сопели называет эти развалины «амаглеба», то есть монастырем «вознесения».

Очевидно, это и есть та обитель, о которой говорил Висковатов, утверждавший, что на берегу Арагвы был монастырь, разрушенный громовой стрелой.

Сейчас это тоже развалины. На уцелевшей части стены висит небольшой колокол, на упавших обломках — почерневшие от времени «дроша» — «хоругви», ритуальные куски кисеи, ибо место почиталось священным.

В четырех километрах от Хатис-сопели, на левом берегу Арагвы, против селения Квемо Ганиси, в отвесной скале видна какая-то щель. Оказывается, это пещера, в которой, согласно легенде, томится богатырь Амирани. Понятным становится, почему в «Демоне» путник, до слу-

---

[1] «Демон», ч. I, строфа V.

ха которого доносятся рыдания безутешной Тамары, думает:

«...То горный дух
Прикованный в пещере стонет!»
И, чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит... [1]

Все эти места находятся необычайно близко одно от другого.

Любопытно, на каком основании Висковатов считал, что Лермонтов побывал в верховьях Арагвы? Ведь лермонтовского рисунка, изображающего развалины, он в то время не знал, рисунок известен нам с 1923 года. Остается предположить, что Висковатову рассказывал об этом кто-то из тифлисских старожилов, когда в 1881 году он ездил на V археологический съезд. До сих пор это существовало в лермонтовской литературе как ничем не подтвержденное предположение. Теперь это можно считать установленным.

Карабкаться обратно по той тропинке, по которой мы спускались, показалось мне и шоферу делом немыслимым. Мы решили идти вдоль Арагвы до Военно-Грузинской дороги, остановить там попутный транспорт и на нем добраться до машины, которую мы оставили у перевала.

Вышли к селению Млета. Высоко над Арагвой, на самом краю обрыва, в том самом месте, где в лермонтовские времена проходила дорога от Квешети к станции Кайшаури, виднеется часовня.

— Что за часовня?

Абрам Бурдули из селения Млета, случайный попутчик, старик, говорит, что существует предание, будто бы молитва в этой часовне помогала спасаться от врагов. Наш проводник слышал, что она «спасала от нападения разбойников». «Кто, бывало, войдет и помолится — в бою победит...» В свете этого предания понятным становится, какую роковую ошибку совершил жених Тамары, не помолившись возле часовни, где

...с давних лет почиет в боге
Какой-то князь, теперь святой,
Убитый мстительной рукой.
С тех пор на праздник иль на битву,
Куда бы путник ни спешил,
Всегда усердную молитву
Он у часовни приносил;

---

[1] «Демон», ч. II, строфа V.

И та молитва сберегала
От мусульманского кинжала.
Но презрел удалой жених
Обычай прадедов своих... [1]

Что же это, однако, за развалины над Хатис-сопели? Как называлась крепость, в каком веке построена?

На нынешних картах такой крепости нет — это понятно. Но и в старых путеводителях нет. Нет на картах XIX века. Только на рукописных картах 30-х годов XVIII столетия, составленных ученым-историком и географом Грузии Вахушти Багратиони, над нынешним селением Хатис-сопели, возле поселения Гуда, значится: «Монастырь всех святых» [2]. Вахушти отнес этот монастырь-крепость к разряду «калаки мцире» — небольших населенных укреплений.

Теперь, когда стало известно название, монастырь нетрудно отыскать в географических описаниях. И действительно, в «Географии» того же Вахушти, в том месте, где рассказывается об ущелье Арагвы, читаем: «Выше (то есть у истоков Арагвы.— *И. А.*) есть «Монастырь всех святых», ныне уже упраздненный» [3].

Итак, в первой половине XVIII столетия он уже пустовал. Значит, у Лермонтова зарисованы средневековая крепость и храм в том самом виде, в каком они находились в первой половине XIX столетия! Все оказалось так, как предполагали Русудан Закаидзе и директор Казбегского краеведческого музея.

И рисунок Лермонтова неожиданно приобрел значение архитектурного документа: поэт изобразил старинный памятник грузинского зодчества, более не существующий. И в скором времени мы увидим лермонтовский рисунок в издании по истории грузинского искусства. Потом, очевидно, в исторических работах о Мтиулетии, в путеводителях по долине Арагвы...

Но главное все же не в этом. Главное в том, что рисунок помогает понять творческую историю «Демона». Он рассказывает о работе поэта. Рисунки и картины Лермонтова могут, как выясняется, служить иллюстрациями к

---

[1] «Демон», ч. I, строфа XI.

[2] Карты Вахушти хранятся в Рукописном отделе Государственного музея Грузии и в Отделе древних актов ЦГИА Грузинской ССР.

[3] В а х у ш т и. География Грузии. Тбилиси, 1941, с. 65 (на грузинском яз.).

тексту его поэм и стихотворений. Но, кроме того, они играли в его работе роль «записных книжек», помогали ему закрепить то, что необходимо было ему в дальнейшем для воплощения поэтических замыслов.

Понятным становится теперь и другое: откуда Лермонтов знал легенды, предания и песни, распространенные именно в верховьях Арагвы, откуда знал про любовь Гуда, про Амирани, про часовню, мимо которой нельзя проехать, не помолившись, про смерть жениха в день свадьбы, о чем сложено так много песен в этом районе. То, о чем можно было только догадываться, сопоставляя стихи и прозу Лермонтова с произведениями грузинского фольклора, становится гораздо более убедительным, чем это казалось еще совсем недавно. Вспомним письмо к Святославу Раевскому: «Как перевалился через хребет в Грузию,— писал Лермонтов,— так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко...» Выясняется, что он не только «лазил наверх», но и спускался вниз — к истокам Арагвы. Вряд ли верхом: спуск от Крестовой так крут, что даже и Лермонтов, отменный кавалерист, предпочел, наверное, более утомительный способ...

Многое переменилось с тех пор на Военно-Грузинской дороге. Рядом со старинными башнями возникли новые укрепления. Неприступный дот сооружен в подножье скалы, на которой высится «Замок Тамары». Видна амбразура дота в «Ермоловском камне» — огромном валуне, лежащем посреди Терека. В отвесах дарьяльских скал черные квадратные окна — пулеметные гнезда. Это 1942 год — память о великой войне.

Ночью в Дарьяле электрические огни висят в черноте, как золотая гирлянда иллюминации, зацепленная за черный гребень гор. Машина выхватывает из мрака бледные скалы, и темнота исчезает за следующим поворотом, как за углом. Свет фар перекидывается через туманную пропасть, скользит по телеграфным проводам и вдруг, метнувшись обратно, устремляется вдогонку за темнотой. Царство Демона оглашает автомобильный сигнал.

Переночевали в Казбеги. В дорогу! Мелькнули домики поселка, возникшего близ разработок андезита... А в мыслях опять перевал, Гуд-гора за Крестовой, долина Арагвы, «Герой нашего времени» и поэт, навсегда запечатлевший все это!



Пакет из Стокгольма

1

В 1921 году в Стокгольме на русском языке под редакцией профессора Е. А. Ляцкого вышел роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» [1]. В то время в России только что окончилась гражданская война и блокада, дипломатических отношений со странами Запада, а тем более книгообмена не было. Издание это в советские книгохранилища не попало. И прошло около сорока лет, прежде чем мы узнали о том, что такое издание существует. Мне сообщил о нем литературовед А. В. Храбровицкий — он просматривал в Ленинской библиотеке библиографию русских авторов, изданных в послереволюционные годы за рубежом.

Более того: оказалось, что в свое время на это издание была рецензия, напечатанная в журнале «Slavia» за 1922—1923 год. «Украшением книги,—писал автор рецензии А. Бем,— служит воспроизведение неизданного рисунка Лермонтова из альбома Е. П. Вердеревского (ныне принадлежит Е. С. Грузовой), еще раз подтверждающего художественные способности Лермонтова» [2].

---

[1] М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. С портретом и оригинальным рисунком М. Ю. Лермонтова. Редакция, вступ. статья и примеч. Е. А. Ляцкого. Стокгольм, изд-во «Северные огни», 1921.

[2] «Slavia», 1922—1923, I, с. 170.

Ни о каком рисунке Лермонтова из альбома Е. П. Вердеревского, ни о самом Е. П. Вердеревском, ни о Е. С. Грузовой никто из лермонтоведов не слышал.

Я обратился к директору Русско-Шведского института в Стокгольме доктору философии профессору Нильсу Окё Нильссону и в Королевскую библиотеку с просьбой выслать мне фотографию той страницы, на которой воспроизведен лермонтовский рисунок. Фотографии получены, и мы можем рассмотреть репродукции [1].

Никаких сомнений в том, что это Лермонтов, нет. Об этом свидетельствует не только подпись, но и манера исполнения и самый пейзаж — вид Пятигорска с Академической галереи и — в правом углу — тот грот, который получил впоследствии название «Лермонтовского». Поэт любил сидеть в нем и прославил его в «Герое нашего времени».

«Сегодня я встал поздно,— записал Печорин в своем дневнике,— прихожу к колодцу — никого уже нет. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел... Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот... Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтоб не нарушать ее мечтаний, когда она на меня взглянула.

— Вера! — вскрикнул я невольно...»

Описание этой встречи, во время которой разразилась гроза, принадлежит к числу лучших страниц русской литературы. Теперь мы имеем возможность посмотреть на рисунок Лермонтова, представляющий собою как бы заставку к этому эпизоду в романе.

Как попал рисунок в альбом Е. П. Вердеревского? И кто такой Е. П. Вердеревский? Когда принадлежал ему этот альбом — в XIX веке или в XX? Кто такая Е. С. Грузова? Где она в настоящее время? На все эти вопросы готовых ответов у нас не имеется.

Поэтому попробуем для начала разобраться, кто носил фамилию Вердеревский.

---

[1] Пользуюсь возможностью выразить глубокую благодарность профессору Нильсу Окё Нильссону и доктору филологических наук Стаффану Далем, заведующему отделом обработки и каталогов Королевской библиотеки в Стокгольме.

В 1853 году в Тифлис из Перми прибыл чиновник, без особого успеха испробовавший свои силы в поэзии,— Евграф Алексеевич Вердеревский [1]. Причисленный к канцелярии кавказского наместника, он вскоре был назначен редактором газеты «Кавказ» и за короткое время службы в Тифлисе выпустил альманах «Зурна» и нашумевшую книгу «Плен у Шамиля» о похищении лезгинами из имения Цинандали в Кахетии княгинь Чавчавадзе и Орбелиани с детьми [2]. После отъезда его из Грузии вышла книга его записок «От Зауралья до Закавказья», в которой упоминается, что в Пятигорске о поединке Лермонтова с Мартыновым существует в памяти старожилов «три или четыре совершенно различных повествования» [3]. Из этого можно сделать вывод, что самого Лермонтова Вердеревскому в жизни встретить не довелось, иначе он, заговорив о нем, не преминул бы упомянуть о знакомстве. А кроме того, до 1841 года пути их не сходятся.

Но общих знакомых с Лермонтовым— особенно в Грузии — у Вердеревского было достаточно. И весьма возможно, что он выпросил у кого-то рисунок Лермонтова, чтобы украсить им свой альбом. Никаких оснований считать, что рисунок был нарисован в альбом, а не вклеен в него, у нас не имеется. Рисунок же сделан как раз в 1837 году, и легко допустить, что в том же году Лермонтов подарил его кому-то на память. К изобразительному искусству Вердеревский имел хотя бы то отношение, что, женившись на дочери жившего в Грузии художника, будущего академика живописи Машкова, унаследовал от него альбом, в котором было более сорока акварелей — изображений видов и типов Кавказа [4].

Может, правда, возникнуть недоумение: мы говорим о Е. А. Вердеревском, в то время как стокгольмский рисунок взят из альбома Е. П. Вердеревского.

Это не опечатка и не обмолвка. До Вердеревского Е. П. мы еще не дошли.

---

[1] Е. Вердеревский. Октавы, тт. I—II. СПб., 1847.

[2] Институт рукописей Академии наук Грузинской ССР (Тбилиси). Картотека Е. Г. Вейденбаума: «Вердеревский Е. А.»; «Зурна», «Закавказский альманах». Тифлис, 1855; Е. Вердеревский. Плен у Шамиля. В трех частях. СПб., 1856.

[3] Е. Вердеревский. От Зауралья до Закавказья. М., 1857, с. 137.

[4] Картотека Е. Г. Вейденбаума: «Вердеревский Е. А.»

У Евграфа Алексеевича Вердеревского был брат, по имени Петр, получивший свой первый офицерский чин именно на Кавказе и дослужившийся до чина штабс-капитана [1].

Был на Кавказе еще один — Владимир Николаевич Вердеревский, с 1840 года служивший в том самом Нижегородском драгунском полку, в котором за три года до этого Лермонтов отбывал свою первую ссылку. Этот Вердеревский умер в Рязани уже в нашем столетии — в 1907 году в возрасте восьмидесяти двух лет [2]. Был, наконец, Вердеревский Василий, печатавший посредственные стихи в альманахах 30-х годов — «Альциона» и «Северные цветы» [3].

Это — Вердеревские, современники Лермонтова. А тот Вердеревский, от которого унаследовала альбом Е. С. Грузова, жил не в XIX веке, а в нашем, и вовсе не на Кавказе, а в Петербурге.

С кем из упомянутых Вердеревских он состоял в родстве — покуда еще не установлено. Я для того и сообщаю здесь все имена, что надеюсь: кто-то подаст мне совет и поможет выяснить путь, по которому из рук в руки переходил альбом и с ним — лермонтовский рисунок. Так, Е. П. Вердеревского обнаружил, прочитав мою заметку в «Неделе» [4], известный в среде ленинградских коллекционеров инженер В. А. Меньшиков. От него я узнал, что Вердеревского, который до Октябрьской революции жил в Петрограде, звали Евгений Платонович. В справочной книге «Весь Петербург на 1914 год» значится, что это — коллежский советник, что служит он в конторе государственного банка в отделе вкладов на хранение. В той же книге находим крупного чиновника министерства финансов, в экспедиции заготовления бумаг — Николая Григорьевича Грузова [5]. Очевидно, работая в одной — финансовой — области, коллежский советник Е. П. Вердеревский поддерживал знакомство со статским советником Н. Г. Грузовым. И тогда это в какой-то степени может нам объ-

---

[1] Картотека Е. Г. Вейденбаума: «Вердеревский Петр».

[2] «Новое время», 1907, № 11172; В. Потто. История 44-го Нижегородского драгунского полка, т. V. СПб., 1894, с. 76—78.

[3] С. А. Венгеров. Источники словаря русских писателей, т. I. СПб., 1906.

[4] «Неделя», 1961, № 2, с. 17.

[5] «Весь С.-Петербург на 1914 год».

яснить, почему в 1921 году альбом Е. П. Вердеревского оказался в руках неизвестной нам Е. С. Грузовой, которая предоставила стокгольмскому издательству «Северные огни» право воспроизвести неизвестный лермонтовский рисунок.

Жила еще в Петербурге Аттеса Робертовна Грузова. Но у нее адрес другой [1]. Может быть, ее имя и отчество говорят о шведском происхождении и финансист Грузов здесь ни при чем? Во всяком случае, по справке, наведенной в Стокгольме, никто из носящих фамилию Грузов и Вердеревский в настоящее время в шведской столице не проживает.

Но это не значит, что альбома уже не найти. Во многих странах мира находятся альбомы и письма, рукописи и документы, рисунки, картины,— а не один альбом Е. С. Грузовой! — которые по сути своей представляют достояние нашей культуры. Надо искать их и добиваться их постепенного возвращения на родину. В частности, альбом Вердеревского — Грузовой не только обогатил бы нас оригиналом неизвестного рисунка Лермонтова, но, наверное, помог бы установить новые факты его творческой биографии.

2

Впрочем, один — и немаловажный — факт, благодаря стокгольмской фотографии, можно считать уже установленным.

Дело в том, что рисунок из альбома Е. П. Вердеревского почти полностью совпадает с картиной Лермонтова «Вид Пятигорска», написанной масляными красками в 1837 году. Это покамест единственный случай, когда один и тот же «сюжет» изображен Лермонтовым и на рисунке и на холсте. А это дает нам возможность представить себе впервые процесс работы Лермонтова-живописца.

Как уже сказано, в письме, отправленном в Россию из Грузии в 1837 году, Лермонтов говорит, что «снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал», и везет с собой «порядочную коллекцию».

Некоторые из этих рисунков уцелели: «Тамань», «Вид

[1] «Весь С.-Петербург на 1914 год».

Бештау около Железноводска», «Дарьяльское ущелье вовле станции Балта», «Дарьяльское ущелье. «Замок Тамары», «Развалины на берегу Арагвы», «Тифлис. Замок Метехи»... Нет сомнения, что Лермонтов потом, на досуге «отделывал» и поправлял их. Так, например, в рисунке «Развалины на берегу Арагвы» пейзаж, снятый с верхней точки, Лермонтов, прорисовывая, кое в чем изменил: в рисунке — два «горизонта». И точной позиции, с которой Лермонтов изобразил эти развалины, обнаружить не удается. Дальние планы рисованы с одного места, ближние изображены «прямолично» и соответствуют тому, что мы видим со дна ущелья.

Но когда написаны такие полотна, как «Вид Пятигорска», «Эльбрус», «Башня в Сиони близ Казбека», «Военно-Грузинская дорога близ Мцхета», «Тифлис», «Развалины близ селения Караагач в Кахетии», «Перестрелка в горах Кавказа»? Возил ли Лермонтов с собой холст и краски или ограничивался тем, что снимал кроки местности, а масляные работы писал не с натуры, а по этим наброскам? Этот вопрос никто специально не выяснял. Тем не менее и П. А. Висковатов и Н. П. Пахомов уверенно утверждают, что на Кавказе Лермонтов писал маслом с натуры: «часами проводил за альбомом или даже с кистью в руках»,— писал П. А. Висковатов [1]. «Выполнил целую серию карандашных и масляных зарисовок тех мест, в которых он жил или по которым «вояжировал»,— читаем у Н. П. Пахомова [2]. То же самое утверждал я [3]. Н. П. Пахомов, например, разделяет полотна Лермонтова на те, которые он писал с натуры, и сделанные на память. В частности, картину «Вид Пятигорска» он считает несомненно написанной на натуре.

Между тем искусствовед Э. Н. Ацаркина в разговоре со мною высказала как-то предположение, что Лермонтов вообще не писал на натуре маслом, особенно в путешествиях, а, как и многие его современники-живописцы, пользовался предварительными зарисовками, записывая тут же для памяти обозначения красок.

---

[1] П. Висковатов. Отражение кавказских преданий в поэзии Лермонтова.— «Кавказ», 1881, № 203.

[2] Н. П. Пахомов. Живописное наследство Лермонтова.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 89.

[3] Ираклий Андроников. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., «Советский писатель», 1955, с. 112.

То, что обнаружился рисунок, полностью совпадающий с композицией живописного полотна, решает этот вопрос окончательно. Хотя указаний Лермонтова, какие употребить краски на этом рисунке, на лицевой его стороне не находим, Э. Н. Ацаркина совершенно права, и не остается сомнения, что рисунок — это тот карандашный эскиз, по которому впоследствии Лермонтов написал картину. Потому что панорама Пятигорска в обоих случаях изображена с одной точки.

Справа вверх по склону Машука, поросшему кудрявым кустарником (возможно, что это лозы дикого винограда), к гроту в скале ведет петлистая тропинка, огибающая на переднем плане обломок скалы. Слева — кусты, почти совершенно скрывающие небольшой домик. Между правой и левой «кулисами» — терраса, с которой открывается вид на раскинувшийся внизу городок, на строения, взбегающие по склону подковообразного отрога горы. Еще дальше — долина Подкумка, петли реки, вершины Юцы и Джуцы, а за ними — он отчетливо виден на полотне — белый двуглавый Эльбрус. Никаких отличий на картине и на рисунке мы не находим, если не считать некоторых отклонений в изображении растительности. Дерево на рисунке закрывает часть горного склона. На полотне Лермонтов сделал его вдвое ниже. А еще вѐрнее — внес это изменение потому, что зрительным центром рисунка оказался не Пятигорск в глубине, а дерево. И Лермонтов в интересах композиционной стройности его «погасил».

Вглядываясь попеременно то в рисунок, то в полотно, можно обнаружить только, как говорят, «микроскопические» отличия. Я имею в виду пейзаж. Но тем не менее различие есть. И довольно существенное. Потому что рисунок — безлюден. А на полотне по тропинке спиною к зрителю, с тросточкой, в синем сюртуке и в цилиндре, поднимается к гроту кто-то из «водяного общества». А в центре картины едет на иноходце (Лермонтов сумел изобразить поступь лошади!) черкес в мохнатой папахе.

Допустить, что Лермонтов дважды «снимал» одно и то же место с натуры, нельзя. Таким образом, обнаруженный в стокгольмском издании рисунок представляет собой «снятый на скорую руку» вид одного из тех мест, которые Лермонтов «посещал», и принадлежит к той коллекции, которую Лермонтов вез из ссылки домой. Но, главное, он раскрывает процесс работы поэта над своими

полотнами. И позволяет считать, что и во всех остальных случаях, изображая пейзаж на основании своих предварительных зарисовок, «действие» — то есть пешеходов и всадников, караваны верблюдов, волов, запряженных в арбу,— Лермонтов вписывал потом, уже во время работы над полотном.

Но самое важное даже не в этом. Мы снова — и в который раз! — убеждаемся, что живописные пейзажи Лермонтова и снятые им с натуры рисунки связаны с его литературными замыслами и, не являясь прямыми иллюстрациями к текстам, соседствуют со страницами его поэм, стихотворений и «Героя нашего времени» — в данном случае с теми эпизодами «Княжны Мери», которых действие происходит на Академической галерее и в гроте. И это, пожалуй, самое важное из того, что дает нам неизвестный лермонтовский рисунок, оказавшийся в начале 20-х годов в Швеции, в издательстве «Северные огни».



Дар медсестры Немковой

1

Нашелся еще один старинный альбом — маленький, в картонном переплете, с изъеденным кожаным корешком. В нем две стихотворные строки, вписанные рукой Лермонтова...

Исследуя путь этих строк, мы вспомним имя вдохновительницы лермонтовских стихов, и брата ее — любимого друга Лермонтова, и московского студента, с которым Лермонтов пострадал за участие в университетской истории, и отца студента — московского сенатора и кавалера. Тут мелькнут имена фрейлин и кавалерственных дам, убитого народовольцами шефа жандармов, генерал-майора царской свиты, нижегородских мастеровых, кашинских монахинь, столичных поэтов и публицистов и, наконец, скромной медицинской сестры из города Серпухова.

От нее и пришел к нам этот альбомчик при обстоятельствах, которые еще несколько лет назад, может быть, показались бы необычными, а сейчас кажутся достойными уважения, но удивления не вызывают.

Поведу речь сначала.

25 сентября 1960 года в Москву, в редакцию «Последних известий по радио» приехала немолодая женщина и, обратившись к сотруднику редакции Юрию Гальперину, пояснила, что хочет передать в один из музеев страны альбом с автографом Лермонтова.

Гальперин позвонил мне. Я приехал.

Зовут эту женщину Анной Сергеевной Немковой. Долгие годы она работала медицинской сестрой, потом вышла на пенсию.

Она привезла альбомчик, хранившийся в ее семье едва ли не целый век. На одном из листков почерком Лермонтова торопливо вписаны две стихотворные строки из его «Думы». Внизу подпись — «Лерм» и характерный для него росчерк. И часто встречающаяся в его тетрадях концовка, отчасти напоминающая прописную, наскоро писанную букву «Д». Чернила выцвели и порыжели. Странички альбома раздерганы и покрыты желтыми пятнами.

В альбоме 21 листок. Девять — чистых. На остальных — записи, сделанные разными почерками. Среди этих записей несколько стихотворений Лермонтова: «Молитва» («Я, матерь божия, ныне с молитвою...»), вписанная кем-то из носителей фамилии князей Шахонских, юношеская эпиграмма Лермонтова «Избави бог от летних мушек», подписанная «Incognito», и четыре строки из Байрона «В альбом» («Как одинокая гробница...»), внесенные в альбом Николаем Губаревым в июле 1855 года.

Итак, на четырех из двенадцати заполненных листков воспроизведены тексты Лермонтова. Это невольно обращает внимание, потому что стихотворений других известных поэтов в альбоме нет: только безыменно-комплиментарные посвящения да французское четверостишие, подписанное, судя по инициалу, другим представителем семьи Шахонских.

Все эти записи не представляют никакого интереса и не отличаются от обычных посвящений в домашних альбомах молодых девиц середины XIX столетия.

Перечисляя записи, мы обошли только первую страницу альбома, на которой каллиграфически выведено:

Напрасно, Варенька, ты просишь
Меня в альбоме написать.
Если любишь — в сердце носишь,
А книгу можно потерять.

Софья Лопухина

Лермонтов... Варенька... Лопухина...

Вы уже готовы решить, что альбом принадлежал Варваре Александровне Лопухиной, которую Лермонтов

любил до последнего часа. И строки из «Думы» вписал в альбом для нее...

Не будем торопиться, однако, и послушаем Анну Сергеевну Немкову.

2

«Моя бабушка, Александра Дмитриевна Миклютина,— рассказывает Анна Сергеевна,— пережила драму: муж заболел в Нижнем Новгороде холерой и умер, оставив ее двадцати двух лет с двумя дочерьми — Прасковьей и Александрой. Своего дома не было — жила у деверя. Не имея своих детей, он жалел ребятишек и мою бабушку, но жену его раздражало это, она подсылала к бабушке женихов. Жить в кабале стало невыносимо. Она обратилась за помощью к княжнам Оболенским, Варваре и Софье — бабушка познакомилась с ними в Рыбинске.

У Оболенских было семейное горе: жених старшей посватался к младшей. И обе они надели на себя черные рясы и ушли в Кашинский монастырь. Сперва старшая, потом — младшая.

Эти сестры Оболенские приняли участие в бабушкиной судьбе, уговорили ее пойти в монастырь, а детей отдать в монастырскую школу. Игуменьей в монастыре была Мезенцева.

Монастырская жизнь не нравилась бабушке, но она все терпела ради детей. При монастыре была школа для неграмотных монахинь. Там же обучались моя тетка и мама. Оболенские преподавали музыку, рисование и иностранные языки.

Когда тете исполнилось восемнадцать лет, а маме семнадцать, бабушка вышла из монастыря. Нашлись добрые люди — сосватали: мама вышла за С. Е. Немкова в Дмитров, а тетя Саша — в Рыбинск за Крашенинникова.

Старшая Оболенская была другом бабушки. У нее был альбом. Когда она умерла, альбом Лермонтова перешел к бабушке, а от нее — к родным.

К Оболенской приезжали Лопухины и два мальчика — Голенищевы-Кутузовы, Трушка и Петрячок. Один из них — Петрячок — впоследствии был поэтом. Возможно, что они приезжали с Лопухиной.

Бабушка говорила, что в альбом стихи написал сам Лермонтов».

Вот рассказ Анны Сергеевны. Чтобы уточнить факты, она даже ездила к брату — он старше ее, больше общался с бабушкой. В 1960 году ему шел восемьдесят второй год.

3

Как оказался в альбоме автограф Лермонтова?

Анна Сергеевна больше того, что она рассказала, сообщить не может. Поэтому попробуем заняться расчетами и сопоставлением некоторых фактов.

В 1960 году брату Анны Сергеевны шел 82 год. Значит, он родился в 1878 или 79 году. Очевидно, мать Анны Сергеевны родилась в 50-х годах. И весь рассказ относится к 50—60-м годам.

Что это за сестры Оболенские — Варвара и Софья? Очевидно, это родившиеся в Москве и в Москве жившие — Варвара Сергеевна и Софья Сергеевна Оболенские — сверстницы Лермонтова. Одна 1814, другая 1815 года рождения. Обе не замужем. Младшая умерла в 1852 году, старшая в 1882 году [1].

Был ли в Кашине монастырь?

Был! Сретенский женский 2-го класса, в городе Кашине Тверской губернии [2].

Кто в этом монастыре игуменья?

Мезенцева. Антония. В миру Александра Павловна. В 1837 году поступила в монастырь, семнадцать лет спустя — в 1854 году — пострижена в монашество, в следующем году стала настоятельницей обители и посвящена в сан игуменьи. Руководила монастырем двадцать лет. В 1875 году умерла [3].

Имела ли отношение к Оболенским?

Имела. Ее двоюродная сестра Наталья Владимировна Мезенцева (сестра будущего шефа жандармов) была за-

---

[1] Г. А. Власьев. Потомство Рюрика. Материалы для составления родословий, т. I, ч. 2. СПб., 1906, с. 326.

[2] [А. Лебедев.] Описание Кашинского сретенского женского второклассного монастыря и его пустынно-кладбищенской церкви... Ярославль, 1866.

[3] Там же, с. 62.

мужем за Сергеем Александровичем Оболенским. А этот Сергей Оболенский — в свою очередь — двоюродный «Варваре и Софье» [1].

Имеют ли отношение ко всему этому мальчики Голенищевы-Кутузовы?

Имеют! Дочь Сергея Оболенского и жены его, урожденной Мезенцевой, вышла замуж за Александра Васильевича Голенищева-Кутузова [2], с которым в родстве Трушка и Петрячок. Петрячок, или Петр Аркадьевич, поэтом не стал, но в конце XIX — начале XX века был довольно известным публицистом [3]. Известным поэтом был Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов [4]. Правда, с ним как-то не вяжется имя «Трушка»...

Гораздо важнее выяснить, связаны ли с Оболенскими Лопухины.

Связаны. Кузина Варвары Сергеевны Оболенской, жившей в монастыре,— Варвара Александровна Оболенская (родная сестра Сергея Оболенского, женатого на Мезенцевой и выдавшего дочь за Кутузова-Голенищева) вышла в 1838 году замуж за Алексея Лопухина [5]. А это — с юных лет ближайший друг Лермонтова. Сестру его — Варвару Александровну Лопухину Лермонтов любил до конца своих дней. Чтобы не возникло недоразумения, рассею его заранее: брат Варвары Александровны Лопухиной женился на Варваре Александровне, которая тоже стала Лопухиной.

Впрочем, с Оболенскими Лермонтов был, как теперь выясняется, знаком еще раньше. С Андреем Оболенским — братом Варвары — он учился одновременно в Московском университете и был замешан с ним вместе в историю, связанную с именем профессора Ма́лова. Глупый, грубый и невежественный профессор Малов, как пишет Герцен, «делал студентам дерзости». Решив проучить его, слушатели двух отделений, собравшись на лекцию Малова, шумом и криками выгнали его из аудитории и гнали через университетский двор. Герцена, Оболенского и еще четверых студентов посадили за эту исто-

---

[1] Г. А. Власьев. Цит. соч., т. I, ч. 2, с. 322—323.
[2] Там же, с. 344.
[3] С. А. Венгеров. Источники словаря русских писателей, т. II. СПб., 1910, с. 5.
[4] Там же.
[5] Г. А. Власьев. Потомство Рюрика, т. I, ч. 2, с. 322.

рию в карцер [1]. Лермонтов тоже ожидал строгого наказания, но на первое время дело обошлось, хотя уход его из Московского университета был связан именно с этой историей.

Но только сегодня, благодаря альбому, доставленному Анной Сергеевной Немковой, мы устанавливаем, что Лермонтов был дружен с Андреем Оболенским, и обращаем, наконец, внимание на слова одного из знакомцев Лермонтова — в ту пору юноши, а впоследствии известного славянофила Ю. Ф. Самарина:

«В первый раз я встретился с Лермонтовым на вечере на Солянке у князя А[лександра] П[етровича] Оболенского. Он возвращался с Кавказа (начало 1838 года)» [2].

Перечисляя встречи свои с Лермонтовым в последний год жизни поэта, Самарин снова назвал Оболенских:

«За несколько дней до своего отъезда он провел у нас вечер с Голицыными и Зубовыми. На другой день я виделся с ним у Оболенских. Его занимала Катерина Васильевна Потапова, тогда еще не замужем» [3].

Катерина Васильевна Потапова, а в ту пору Катерина Васильевна Оболенская — племянница московского сенатора и кавалера Александра Петровича Оболенского, жившего на Солянке, и двоюродная сестра однокашника поэта Андрея Оболенского и Варвары — жены Алексея Лопухина [4]. Зубова — их родная сестра [5]. Другая — Софья — была женой близкого родственника поэта — Павла Евреинова [6]. Так что автограф Лермонтова в альбоме Варвары Сергеевны Оболенской — кузины всех этих многочисленных Оболенских, друзей поэта,— приводить в удивление не должен.

У нас нет подтверждения, что Варвара и Софья Оболенские поступали в Кашинский монастырь (кстати говоря, в монастыре можно было жить, не постригаясь в монахини), нет положительных сведений, что в монастырской школе преподавались иностранные языки, рисование и музыка. Но и того, что мы выяснили, довольно,

[1] А. И. Герцен. Былое и думы, гл. VI. «Маловская история».

[2] «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников». Пензенское кн. изд-во, 1960, с. 211.

[3] Там же, с. 212.

[4] Г. А. Власьев. Потомство Рюрика, т. I, ч. 2, с. 318.

[5] Там же, с. 321

[6] Там же.

чтобы понять окончательно: альбом исходит из круга Лопухиных — Оболенских и принадлежал одной из сестер — Варваре Сергеевне Оболенской. Есть и другие подтверждения, что это именно так: и мальчики Голенищевы-Кутузовы, которые навещали сестер, и Лопухины, и Шахонские, будучи тверскими помещиками, жили неподалеку от Кашинского монастыря. Итак, можно считать, что альбом принадлежал одной из сестер Оболенских — Варваре.

На первой странице альбома оставила стишок неизвестная нам Софья Лопухина. А Лермонтов, встретив Варвару Сергеевну еще до ухода ее в монастырь, записал по ее просьбе две строки из своей знаменитой «Думы». Альбом маленький: она вынула его из своего ридикюля.

Когда это могло быть?

Вернее всего, в начале 1838 года, когда Лермонтов проезжал через Москву, возвращаясь из кавказской ссылки в столицу, и Самарин встретил его на Солянке у Оболенских. Надо полагать, что «Дума» была уже в это время написана: она датируется 1838 годом.

Интересен выбор текста — беспощадное обвинение, которое Лермонтов адресовал своему поколению,— обвинение в глубоком ко всему равнодушии:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви.

Это — очень важные строки. И весьма характерно, что Лермонтов выбрал именно их.

Варвара Оболенская пожертвовала ради любви личной судьбой — ушла в монастырь: жалкий путь! Лермонтов по-другому пожертвовал «любви и злобе». Он решился сказать о своей ненависти к общественному «разврату», к бессилию, малодушию, покорности своих современников, неверию их в свои силы. Он пожертвовал все свое творчество любви — к свободе, к правде, к отечеству, к будущему. Покорствование рабству небесному и земному было нестерпимо ему:

Пусть монастырский ваш закон
Рукою бога утвержден,
Но в этом сердце есть другой,
Ему не менее святой:
Он оправдал меня — один
Он сердца полный властелин! [1]

---

[1] Лермонтов, т. IV, с. 21. «Боярин Орша», глава II.

Это сказано о законе свободы!

Чем обогатил нас альбомчик, доставленный Анной Сергеевной Немковой и переданный мною в Пушкинский дом Академии наук СССР? Только чертами лермонтовской руки? Ведь строки из «Думы» мы знали!

Нет! Он открыл еще один, пусть капиллярный ход к Лермонтову. Ввел еще одно лицо в его окружение. Подтвердил, как популярно было имя Лермонтова и слава его поэзии у современников. Показал, что сам Лермонтов расценивал строки из «Думы» как афоризмы. И вносил их в альбомы.

Но Анна Сергеевна открыла нам нечто большее. Ее подарок свидетельствует о том, как живет до сих пор в устной передаче то, что связано с Лермонтовым. Как в продолжение чуть не столетия люди хранят реликвии, освященные прикосновением лермонтовской руки. Как много еще можно найти документов о Лермонтове и вписанных в старинные альбомы лермонтовских стихов — и находить их не в государственных архивах, а у людей, казалось бы, не имеющих никакого отношения к поэту. И какую помощь в изучении Лермонтова, в приумножении бессмертной славы его могут оказать такие прекрасные и бескорыстные ценители его поэзии, как медицинская сестра Немкова из города Серпухова.



Неизвестная нам Мария

1

Обращение по телевидению к зрителям с просьбой помочь отыскать людей, у которых хранились письма Ломоносова и картины Лермонтова, передачи из московских музеев, библиотек и мемориальных квартир, рассказы о том, как были обнаружены неизвестные документы, рукописи, портреты, совет проявлять заботу по отношению к уникальным изданиям, художественным полотнам, литературным документам, редким вещам — ко всему, что составляет достояние нашей культуры и нашей истории, призывы пополнять музеи, архивы, библиотеки приношениями подобного рода,— не пропали в эфире. Они возымели действие, и чуть ли не каждый день приходят сообщения о новых бесценных материалах и вопросы о том, в какой из музеев или архивов лучше поместить их. Некоторые находки вызывают изумление даже у тех, кому пришлось на своем веку видеть величайшие редкости или каждый день держать в руках драгоценные манускрипты.

Одно из писем, полученных в ответ на очередную телевизионную передачу, содержало предложение заехать, когда мне случится быть в Ленинграде, на Васильевский остров, на Малый проспект за старинным альбомом, который владелица считает необходимым передать в какое-нибудь архивохранилище.

Случай представился раньше, чем можно было предполагать.

Вылетев из Москвы в Тбилиси, я собрался оттуда в Киев. Но Киев самолета не принял, и я прилетел в Ленинград.

Оставив чемодан в гостинице возле швейцара, я поспешил на Васильевский остров. Хозяйкой альбома оказалась научный сотрудник Института физиологии Академии наук СССР Антонина Николаевна Знаменская. Приветливо улыбаясь, она словно предвидела впечатление, которое должен был произвести на меня этот никому не известный альбом.

Внешний вид его весьма элегантен и даже несколько необычен. Это довольно большая, почти квадратная книжка в светло-коричневом сафьяновом переплете, обведенном по краю золотой узкой каемкой. Стальной замок. Посреди переплета — тисненная золотом цифра «1839». Эпоха ясна — два года спустя после гибели Пушкина.

Плотная английская бумага с водяным знаком «1837». Первая запись — «Царское село. 24 августа 1839». Листаю... Рука П. А. Вяземского — стихотворение «Молись!». С датой: «Марта 25-го 1840». Стихотворение Александра Карамзина... Французское стихотворение Евдокии Ростопчиной. И другое — по-русски — 1841 года, подписанное интимно: «Dodo». Но главное — ...Лермонтов! Два стихотворения, вписанные его рукой: «Есть речи — значенье...» и «Любовь мертвеца»:

Пускай холодною землею
        Засыпан я,
О друг! всегда, везде с тобою
        Душа моя.
Любви безумного томленья,
        Жилец могил,
В стране покоя и забвенья
        Я не забыл.

Без страха в час последней муки
        Покинув свет,
Отрады ждал я от разлуки,—
        Разлуки нет!
Я видел прелесть бестелесных
        И тосковал,
Что образ твой в чертах небесных
        Не узнавал.

Что мне сиянье божьей власти
        И рай святой?
Я перенес земные страсти
        Туда с собой!

Ласкаю я мечту родную
Везде одну;
Желаю, плачу и ревную,
Как в старину.

Коснется ль чуждое дыханье
Твоих ланит,
Душа моя в немом страданье
Вся задрожит.
Случится ль, шепчешь, засыпая,
Ты о другом,
Твои слова текут пылая
По мне огнем.

Ты не должна любить другого,
Нет, не должна!
Ты с мертвецом святыней слова
Обручена!
Увы! твой страх, твои моленья,
К чему оне?
Ты знаешь, мира и забвенья
Не надо мне.

Марта 10-го 1841. Лермонтов

Отличий от текста, который печатается в собраниях сочинений Лермонтова, в новом автографе почти никаких:

Строка 27. Вм.	*Моя душа* в немом страданье... *Душа моя* в немом страданье...
Строка 35. Вм.	*Ты мертвецу* святыней слова Обручена... *Ты с мертвецом* святыней слова Обручена...

До сих пор мы знали два текста стихотворения — черновой, написанный карандашом в походном альбоме поэта, хранящемся в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина [1], и копию Пушкинского дома, написанную неизвестной рукой на почтовом полулисте малого формата с незначительными поправками Лермонтова,— она была вклеена в экземпляр сочинений Лермонтова издания 1842 года и в 1852 году куплена вместе с книгой на Толкучем рынке в Петербурге [2]. В черновом автографе Лермонтов назвал стихо-

[1] А. Н. Михайлова. Рукописи М. Ю. Лермонтова. Описание. Л., 1941, с. 37—38.
[2] ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 524, оп. 1, № 25.

Любовь мертвеца

Пускай холодною землею
Засыпанъ я,
О другъ! всегда, вездѣ съ тобою
Душа моя;
Любви безумнаго томленья,
Жилецъ могилъ,
Въ странѣ покоя и забвенья
Я не забылъ.

Безъ страха въ часъ послѣдней муки
Покинувъ свѣтъ,
Отрады ждалъ я отъ разлуки,—
Разлуки нѣтъ!
Я видѣлъ прелесть безтѣлесныхъ,
И тосковалъ
Что образъ твой въ чертахъ небесныхъ
Не узнавалъ.

Что мнѣ сіянье Божьей власти
И рай святой?
Я перенесъ земныя страсти
Туда съ собой!
Ласкаю я мечту родную
Вездѣ одну;
Желаю, плачу и ревную
Какъ въ старину.

«Любовь мертвеца». Автограф Лермонтова. Из альбома, принадлежавшего А. Н. Знаменской. Институт русской литературы (Пушкинской дом) Академии наук СССР. Ленинград

творение «Живой мертвец». В копии оно носило название «Влюбленный мертвец» (значит, было списано с другого автографа). Но и это заглавие не понравилось Лермонтову. Исправляя копию, он переменил его на «Любовь мертвеца».

Вписывая текст в альбом, который оказался теперь в руках А. Н. Знаменской, поэт без колебаний дал стихотворению заглавие «Любовь мертвеца». Стало быть, этот автограф и составляет последнюю редакцию текста.

Долгое время «Любовь мертвеца» относили к 1841 году гадательно: по расположению черновика в походном альбоме поэта оно могло оказаться и 1840 года. Теперь это выяснено раз и навсегда. В альбоме, который я перелистываю в квартире на Васильевском острове, проставлена дата: «Марта 10-го 1841».

Другое стихотворение тоже сопровождается датой «4 сентября Ц. с.» — то есть Царское Село. Установить год нетрудно: 4 сентября 1840 года Лермонтов воевал на Кавказе; 4 сентября 1841 года его уже не было в живых; а 4 сентября 1838 года не существовало альбома. Следовательно, стихотворение вписано 4 сентября 1839 года. Между тем в собраниях сочинений оно датируется 1840 годом. И в этом нет никакой ошибки, потому что в альбом, принадлежащий Антонине Николаевне Знаменской, вписан совсем другой текст:

Есть речи — значенье
Порою ничтожно! —
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Тоскою желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья...

Надежды в них дышут,
И жизнь в них играет...
Их многие слышут,
Один понимает.

Лишь сердца родного
Коснутся в день муки
Волшебного слова
Целебные звуки;

Душа их с моленьем
Как ангела встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.

Лермонтов

Кому принадлежал альбом? — этого мы не знаем. Единственное, что можно извлечь из него — имя владелицы. Ее звали Мария. «Chère Marie...» — обращается к ней в приписке к своему посвящению поэтесса Евдокия Ростопчина.

Выяснить фамилию гораздо труднее. Антонина Николаевна Знаменская истории альбома не знает. Она получила его от тетки своего мужа — Александры Николаевны Малиновской, проживающей в настоящее время в городе Горьком. Но и А. Н. Малиновская знает не многим больше. Любительница старинных вещей, она приобрела этот альбом с рук в 1917 году в Петрограде, встретившись на Невском проспекте в антикварном магазине Дациаро с каким-то интеллигентного вида пожилым человеком. Кроме двух, уже известных нам русских стихотворений Лермонтова, в альбоме было третье, писанное им по-французски. Вместе с альбомом Александра Николаевна купила карандашные и акварельные рисунки Лермонтова, изображавшие, как вспоминает она, «небольшие портреты и виды Кавказа». На вопрос, кому принадлежали раньше все эти вещи, незнакомец ответить не захотел.

Пытаясь выяснить, кому же все-таки принадлежали купленные ею реликвии, Малиновская обратилась к какому-то журналисту, работавшему в газете «Новое время». Осмотрев альбом, он обещал ей помочь. После его ухода обнаружилось, что французское стихотворение Лермонтова исчезло. И действительно, в альбоме остался зазубренный корешок листа, торопливо вырезанного чем-то, похожим на маникюрные ножницы.

Так это стихотворение Лермонтова остается нам неизвестным и по сию пору.

Что же касается лермонтовских рисунков — они погибли во время последней войны в Воронеже, когда А. Н. Малиновской пришлось срочно покидать город и свою маленькую квартирку, «похожую на уголок музея».

Это все, что известно.

Как же узнать, в чей альбом вписал Лермонтов два из самых лучших своих стихотворений? Несомненно, это

Есть рѣчи — значенье
Темно иль ничтожно! —
Но имъ безъ волненья
Внимать невозможно.

Какъ полны ихъ звуки
Тоскою желанья!
Въ нихъ слёзы разлуки,
Въ нихъ трепетъ свиданья...

Надежды въ нихъ дышутъ;
и жизнь въ нихъ играетъ..
Ихъ многіе слышутъ,
Одинъ понимаетъ.

Лишь сердца родного
Коснутся въ дни муки
Волшебнаго слова
Цѣлебные звуки;

Душа ихъ съ моленьемъ
Какъ ангела встрѣтитъ,
И долгимъ біеньемъ
Имъ сердце отвѣтитъ.

Лермонтовъ

«Есть речи — значенье...». Автограф Лермонтова. Из альбома, принадлежавшего А. Н. Знаменской. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград

лицо из близкого окружения поэта. Лермонтов видится с ней в пору, когда служит в Царском Селе в лейб-гусарском полку осенью 1839 года. И снова — зимой 1841-го, когда на короткий срок приезжает с Кавказа в отпуск. Это знакомая его знакомых — Карамзиных, Вяземского, Ростопчиной...

Марией звали Марью Алексеевну Щербатову. Лермонтов был увлечен ею. Михаил Иванович Глинка вспоминал, что она была «прелестна: хотя не красавица, была видная, статная и чрезвычайно увлекательная женщина» [1]. А сам Лермонтов отзывался о ней, что «такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать» [2]. Щербатовой он посвятил одно из прекраснейших стихотворений своих:

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла...[3]

Но ведь этих стихов в альбоме Знаменской нет. Конечно, у Щербатовой могло быть и два альбома, но...

Марией звали также и Марию Петровну Соломирскую, судя по всему, не менее прелестную. Она была восторженной почитательницей поэзии Лермонтова, и когда, арестованный за дуэль с сыном посла Баранта, он сидел в заключении, Соломирская отважилась послать ему на гауптвахту записку без подписи со словами привета и ободрения. После того как Лермонтов вышел на несколько дней на свободу и они встретились, он понял наконец, кто прислал ему этот привет. Открыв альбом Соломирской, он записал в него благодарные строки:

Над бездной адскою блуждая,
Душа преступная порой
Читает на воротах рая
Узоры надписи святой.

. . . .

Так, разбирая в заточенье
Досель мне чуждые черты,
Я был свободен на мгновенье
Могучей волею мечты.

---

[1] Михаил Глинка. Литературное наследие, т. I. Автобиографические и творческие материалы. М.— Л., Музгиз, 1952, с. 192.

[2] А. П. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов.— «Лермонтов в воспоминаниях современников». Пензенское кн. изд-во, 1960, с. 27.

[3] Лермонтов, т. II, с. 142—143.

Залогом вольности желанной,
Лучом надежды в море бед
Мне стал тогда ваш безымянный,
Но вечно памятный привет [1].

«Досель мне чуждые черты» — черты пера Соломирской, почерк ее, которого он прежде не видел!

Этого стихотворения в альбоме, переданном мне Знаменской, нет! Конечно, и у Соломирской могло быть два альбома, а не один, но...

Подходят ли эти Марии к тому кругу людей, который дружески приветствует в этом альбоме неизвестную нам Марию?

К безличным пожеланиям и комплиментам, писанным главным образом по-французски аккуратно и неразборчиво и подписанным сокращенными именами и даже инициалами: «А», «Mary», «Sophie», «Olly», «Lise», кто-то из прежних, дореволюционных владельцев альбома — твердым почерком и твердым карандашом — приписал: «Государыня императрица Александра Федоровна», «Великая княгиня Мария Николаевна», «Кажется, графиня Рибопьер Софья Васильевна, рожденная княжна Трубецкая», «Великая княжна Ольга Николаевна, впоследствии королева Вюртембергская», «Кажется, графиня София Бобринская», «Графиня Баранова, рожденная Полтавцева»,— словом, мы находим в альбоме автографы жены Николая I, его дочерей Марии и Ольги, сына Константина, жены наследника — будущего Александра II и целого сонма придворных дам — графини Бобринской, Тизенгаузен, Рибопьер, графини Барановой и других. Судя по этому, владелица альбома пользовалась расположением царской семьи, но одновременно была близка к литературному кругу, собиравшемуся в салоне Карамзиных.

Нет никаких данных предполагать, что М. А. Щербатова и М. П. Соломирская были настолько близки ко двору, чтобы члены царской фамилии признавались им в дружеских чувствах. Это другая, еще неизвестная нам Мария, близкая к царской семье и в то же время часто встречавшаяся с Лермонтовым. Но прежде чем назвать эту фамилию, восстановим круг поисков, ибо, двигаясь

---

[1] Лермонтов, т. II, с. 157.

по этому кругу, мы пришли к знакомым поэта, о которых прежде не знали решительно ничего.

Я начал искать Марию среди приближенных императрицы, чья запись, открывающая альбом, сделана 23 августа 1839 года в Царском Селе.

Если мы возьмем «Придворный календарь на 1839 год» и «Памятную книжку на 1839 год», то среди фрейлин обнаружим не одну Марию, а двадцать шесть. Но одни из них не имеют отношения к салону Карамзиных, других нет оснований причислить к личным друзьям императрицы.

Поэтому заглянем в дневник императрицы, жены Николая I, который она заполняла из года в год. Свою запись в альбоме неизвестной Марии она датировала 23 августа 1839 года. Попробуем выяснить, кого же видела она в этот день.

Дневник отмечает, что с ней обедали «Madame Anttonoff et Alexandrine Pototzky (может быть, «Polotzky».— *И. А.*)[1]. Вторая из этих дам отпадает: Alexandrine — неподходящее имя. Мадам Антонову не удается обнаружить ни в адрес-календарях, ни в справочниках, ни в мемуарной литературе. Кроме того, имя Антоновой не связывается с литературным кругом, в частности с гостиной Карамзиных. По-видимому, интересующая нас Мария, которой принадлежал альбом, виделась с императрицей так часто, что последняя отмечала далеко не все встречи... Но вот в записи, сделанной через день — 25 августа, упомянута «Mary Paschkoff» — Мария Пашкова[2]. Посмотрим... Это имя появляется в записях дневника постоянно.

Мария Пашкова — лицо в высшей степени подходящее: дочь близкого друга императрицы, воспитательницы царских дочерей графини Юлии фон Барановой, урожденной фон Адлерберг[3]. До замужества Мери Баранова состояла фрейлиной в штате императрицы. В 1829 году она вышла за богача Михаила Васильевича Пашкова, причем в дневнике К. К. Мердера, которому было поручено воспитание наследника — будущего Александра II, отмечено, как важное дело: одиннадцатилетний сын импера-

[1] ЦГАОР СССР, ф. 672, оп. 1, № 416, л. 31.

[2] Там же.

[3] П. Долгоруков. Российская родословная книга, СПб., 1855, ч. 2, с. 272.

тора ходил поздравлять фрейлину Баранову, которая выходит замуж за Пашкова [1].

Что альбом, врученный мне Антониной Николаевной Знаменской, принадлежал в свое время Марии Трофимовне Пашковой, в девичестве фон Барановой, подтверждается целым рядом косвенных доказательств.

Брат этой Марии Трофимовны — Николай — был женат на Елизавете Николаевне Полтавцевой [2]. А запись этой Барановой, урожденной Полтавцевой, стоит в альбоме рядом с автографом Лермонтова!

В 1839 году Пашковы постоянно бывали у Карамзиных и у дочери П. А. Вяземского — М. П. Валуевой. Вот письмо П. А. Вяземского, отправленное 30 июня 1839 года:

«Вечером у Валуевых кое-кто пили чай: Карамзин, Пашковы, Смирнова, Репнина, поэт Лермонтов...» [3].

Запись в дневнике А. И. Тургенева за 12 сентября 1838 года:

«К Карам<зиным>: слушал чтение Лермонтова — повесть. К Валуевым: там вечер: Полу<эктов>, Пашков, Мерг<унов>, Лерм<онтов>, Саша <Карамзин> смешил до конвульсий» [4].

О том, что Лермонтов встречается с Пашковыми у Карамзиных, мы знаем из карамзинских писем, обнаруженных Ф. Ф. Майским в Крымском областном архиве [5].

Сестра Марии Трофимовны Пашковой — Луиза — состоит в браке с Михаилом Федоровичем Голицыным [6]. С этой супружеской четой Лермонтов, очевидно, тоже встречается у Карамзиных. «Вечер у Карамзиных»,— записывает в свой дневник Василий Андреевич Жуковский 5 ноября 1839 года.— Князь и княгиня Голицыны и Лермонтов» [7].

---

[1] «Записки К. К. Мердера».— Русская старина», 1885, № 3, с. 532.

[2] П. Долгоруков. Российская родословная книга. СПб., 1855, ч. 2, с. 272.

[3] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 3271, л. 35.

[4] «Дневник А. И. Тургенева».— ИРЛИ. Рукописный отдел. Ср.: Э. Герштейн. Дуэль Лермонтова с Барантом.— «Литературное наследство», т. 45-46. М., Изд-во АН СССР, 1948, с. 399.

[5] Ф. Майский. М. Ю. Лермонтов и Карамзины.— В кн.: «Михаил Юрьевич Лермонтов. Сборник статей и материалов». Ставропольское кн. изд-во, 1960, с. 135.

[6] П. Долгоруков. Российская родословная книга. СПб., 1855, ч. 2, с. 272.

[7] «Дневники В. А. Жуковского». СПб., 1903, с. 510.

Брат этого Михаила Голицына — Александр Федорович — однополчанин поэта, тоже бывает в доме Карамзиных [1]. В этом же салоне Лермонтов встречает еще одного члена этой семьи — Голицына Николая Сергеевича, сотрудника «Отечественных записок», писателя по военным вопросам. И не случайно в архиве этого Голицына сохранилось неизвестное письмо Лермонтова к Софье Николаевне Карамзиной [2]. Адрес Голицына записан Лермонтовым в книжку, которую ему подарил Владимир Одоевский [3]. Обо всех этих связях Лермонтова как-то ничего толком не сказано. А между тем это круг, в котором он проводит целые вечера в интересных и оживленных беседах. Тут стоит отметить, что все эти встречи с Пашковыми и Голицыными приходятся на 1839 год.

Сохранилась программа костюмированного бала в Михайловском дворце в Петербурге, затеянного уже после гибели Лермонтова, в 1844 году, для придворной аристократии [4]. В числе главных лиц, участвующих в спектакле «Двор калифа багдадского», находим Марию Трофимовну Пашкову, урожденную фон Баранову, и сестру ее — княгиню Голицыну, и Софью Васильевну Трубецкую, вышедшую замуж за Рибопьера, и урожденных Полтавцевых, и по мужу Полтавцевых, и Е. Пашкову, и А. Пашкову, и мадам Адлерберг, и Баранова 1-го, Баранова 2-го, Баранова 3-го, не говоря уже о сыновьях и дочерях царя Николая — Романова.

Но среди имен этих аристократов мы не встречаем ни Марии Соломирской, ни Марии Щербатовой. И мысль, что императрица и ее дочери могли писать в их альбомы интимно и дружески, исчезает сама собой.

Наиболее близкой к царской семье из всех возможных Марий, связанных при этом с домом Карамзиных, кажется, надо считать Марию Трофимовну Пашкову.

В 1839 году ей 32 года (1807—1887), она жена фли-

---

[1] К. Манзей. История лейб-гвардии Гусарского полка. 1775—1857. СПб., 1859, ч. III, с. 149; «Михаил Юрьевич Лермонтов. Сборник статей и материалов». Ставропольское кн. изд-во, 1960, с. 128.

[2] «Литературное наследство», т. 19-21. М., 1935, с. 512.

[3] А. Н. Михайлова. Рукописи М. Ю. Лермонтова. Описание. Л., 1941, с. 43.

[4] «Старинная афиша маскарада в Михайловском дворце».— «Русская старина», 1884, кн. III, с. 59—64.

гель-адъютанта Михаила Васильевича Пашкова. С 1838 года — он полковник, командует эскадроном... того самого лейб-гвардии Гусарского полка, в котором служит Михаил Юрьевич Лермонтов [1].

Лейб-гусарский полк квартирует в Царском Селе. И в Царском Селе Лермонтов встречается с Пашковыми, конечно, еще чаще, чем в салоне Карамзиных.

Это еще не все! С Пашковым Лермонтов находится в близком родстве. На тетке Пашкова был женат двоюродный дед поэта — Арсеньев [2]. Сейчас нам смешно считать их близкими родственниками. Но в дворянской среде того времени, особенно при любви Елизаветы Алексеевны Арсеньевой — бабки поэта — к соблюдению родственных связей, родство Лермонтова с Пашковым, при том что оба они служат в одном полку, обязывало к поддержанию знакомства и встречам. Но и это не все!

М. В. Пашков — двоюродный брат Евдокии Петровны Ростопчиной [3]. «Chère Marie» приходится ей невесткой. Это объясняет нам, почему знаменитая поэтесса подписывается интимно: «Додо».

Пашковы бывают в доме дочери Вяземского.

Становится совершенно понятным, почему на страницах альбома мы находим фамилии Лермонтова, и Вяземского, и Ростопчиной, и Александра Карамзина. Тут оставляют записи только очень знаменитые или очень знатные лица, которых хозяйка альбома имеет все основания считать в числе своих близких знакомых.

Родная сестра М. В. Пашкова замужем за Дмитрием Васильевичем Дашковым [4], старинным другом дома Карамзиных, входившим в молодости в литературное общество «Арзамас», группировавшееся вокруг Николая Михайловича Карамзина. В 30-е годы Дашков занимал высокий пост министра юстиции. Но по старой дружбе

---

[1] А. Б. Лобанов-Ростовский. Руская родословная книга, изд. 2-е. СПб., т. 2, с. 80, № 50; П. К. Мартьянов. Дела и люди века. СПб., 1893, т. 2, с. 149; «Русский биографический словарь», том «Павел — Петр», с. 443; «Сборник биографий кавалергардов», т. III, с. 347.

[2] А. Б. Лобанов-Ростовский. Цит. соч., с. 79, №№ 41 и 42.

[3] Там же, с. 80.

[4] Там же, с. 81.

до самой смерти (умер он как раз в 1839 году) бывает с женой в доме Карамзиных [1].

Сын другой сестры М. В. Пашкова, родной племянник его,— князь Александр Илларионович Васильчиков, будущий секундант на дуэли Лермонтова с Мартыновым.

В альбоме, предоставленном мне для изучения Антониной Николаевной Знаменской, встречаются имена: «Catherine Tisenhausen» и «Alexandrine Woyeikoff». Первая внучка М. И. Кутузова, старшая дочь Елизаветы Михайловны Хитрово от первого брака — Екатерина Федоровна Тизенгаузен, фрейлина императрицы, пользовавшаяся ее особым доверием и расположением [2]. Вторая — фрейлина великих княжон, дочь известного литератора Александра Александровича Воейкова [3]. И, наконец, еще одно лицо из окружения той, кому принадлежал альбом,— Софья Александровна Бобринская, жена внука Екатерины II графа А. Бобринского, одно из самых влиятельных лиц при дворе, ближайшая подруга императрицы, державшая в своих руках «жезл правления петербургскими салонами», как заметил один из политических деятелей Франции, посетивший в 30-х годах Петербург [4].

Весь этот круг людей, а также служебные отношения Лермонтова, родство, встречи в Царском Селе, в карамзинском салоне, в гостиной Валуевой, родственные отношения Пашковых с друзьями и знакомыми Лермонтова — все это в сопоставлении с именем владелицы альбома «Мари» заставляет прийти к заключению, что фамилия этой Марии — Пашкова!

И все-таки это не Пашкова! В альбоме есть запись, свидетельствующая о том, что до 1846 года он принадлежал незамужней Марии: в 1846 году, 27 августа (это одна из последних записей) сын Николая I Константин желает хозяйке альбома испытать счастье семейной жизни. А Пашкова замужем с 1829 года!

Коль скоро выяснилось, что Марию Трофимовну и

---

[1] И. Андроников. Я хочу рассказать вам... М., «Советский писатель», 1962, с. 91.

[2] Пушкин. Письма. Под редакцией и с примеч. Б. Л. Модзалевского, т. 2. М.— Л., ГИЗ, 1928, с. 358—359.

[3] П. Долгоруков. Российская родословная книга. СПб., 1856, ч. 3, с. 346.

[4] Эмма Герштейн. Вокруг гибели Пушкина.— «Новый мир», 1962, № 2, с. 218—219.

Михаила Васильевича Пашковых следует числить среди близких знакомых Лермонтова, не будем жалеть о затраченном времени — выяснение новых лиц из окружения поэта дело полезное, тем более мы знаем далеко не всех из этого круга, а главное — не много знаем о них...

А теперь назовем наконец имя той, которую ищем,— Мария Бартенева! Фрейлина. Сестра одной из лучших русских певиц первой половины прошлого века — Прасковьи Арсеньевны Бартеневой — тоже фрейлины и тоже пользовавшейся расположением двора. Сестра той Прасковьи Бартеневой, к которой семнадцатилетний Лермонтов обратился с мадригалом на новогоднем балу в Москве, а потом вписал этот мадригал в ее альбом. Той самой Прасковьи Бартеневой, что оказала немало услуг великому Глинке, ограждая его от унижения в придворном кругу и пропагандируя его сочинения.

Именно в 1846 году младшая сестра Прасковьи — Мария Бартенева вступила в брак с кавалергардом Дмитрием Нарышкиным [1]. Впрочем, это еще не все. Главное и бесспорное доказательство заключается в том, что стихи, вписанные в альбом, принадлежавший в последнее время А. Н. Знаменской, и Вяземский и Ростопчина напечатали с посвящениями. В собрании сочинений П. А. Вяземского под стихотворением «Молись!» помета — «(М. А. Бартеневой)» [2]. Под стихотворением Евдокии Ростопчиной «Что лучше?» — «В альбом Марии А. Бартеневой» [3]. И та же дата возле стихотворения, что и в «нашем» альбоме: «Петербург, 5 марта 1841 года». А рядом Ростопчина поместила стихотворение «На дорогу Михаилу Юрьевичу Лермонтову», помеченное 27 марта 1841 года [4].

Итак, имя ее установлено — Мария Бартенева. Годы жизни — 1816—1870 [5]. Эта девушка принадлежит к тому же самому литературному и великосветскому кругу, что и супруги Пашковы.

---

[1] «Из писем А. О. Россета к Смирновой».— «Русский архив», 1896, кн. 1, с. 308, ЦГАОР, ф. 614, ед. хр. 489—502 («Материалы М. А. Бартеневой»).

[2] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. IV. СПб., 1880, с. 238.

[3] «Стихотворения графини Ростопчиной», т. II, изд. 2-е. СПб., 1857, с. 54—55.

[4] Там же, с. 56.

[5] «Петербургский Некрополь», т. 3, с. 212.

6 января 1841 года, за месяц до последнего приезда Лермонтова в столицу, придворная знать веселится на маскарадном балу. Сохранилась программа вечера: король Боб — композитор М. Ю. Виельгорский. Королева Бобина — А. О. Смирнова-Россет. Роль коменданта исполняет сам царь, плац-майора — наследник. В свите Боба и Бобины находим и Евдокию Ростопчину и Владимира Соллогуба, Прасковью Бартеневу, Анну Григорьевну Философову, Трубецкую — в замужестве Рибопьер, Елизавету Николаевну Полтавцеву — по мужу Баранову и Баранову — по мужу Голицыну, Екатерину Федоровну Тизенгаузен, кавалергарда Нарышкина и — в ту пору еще девицу — Марию Арсеньевну Бартеневу в роли «Непостоянного мотылька» [1].

Итак, круг расширяется. Мы обнаружили среди лермонтовских знакомых Марию Бартеневу и знаем также, что в 1838—1841 годах поэт встречался в Петербурге с Прасковьей Арсеньевной Бартеневой. А это, в свою очередь, клонит к мысли о «музыкальных» знакомствах Лермонтова. Имя Даргомыжского уже мелькнуло в письме Е. А. Верещагиной вслед за именем Лермонтова. Уже несколько лет как выдвинуто предположение о личном знакомстве поэта с Михаилом Ивановичем Глинкой, для которого Лермонтов записал текст своего перевода гетевских «Горных вершин» [2]. Теперь снова — Прасковья Арсеньевна Бартенева, знакомство с которой идет еще с университетских времен. Но тут потребуются новые разыскания. Тем более что мы почти ничего не узнали о хозяйке новонайденного альбома и об отношении к ней Лермонтова. Однако то, что Александра Николаевна Малиновская в 1917 году кроме альбома купила еще и рисунки Лермонтова, служит подтверждением, что М. А. Бартенева принадлежала к числу хороших знакомых поэта, часто встречалась с ним и если даже не умела ценить его гениальное дарование, то, уж во всяком случае, хорошо понимала, что альбом ее должны украшать автографы молодого гусара, которого в доме Карамзиных называли преемником Пушкина.

---

[1] Я. И. Довголевский. Маскарад в С.-Петербурге в 1841 году.— «Русская старина», 1883, № 9, с. 411—420.

[2] «Глинка в воспоминаниях современников». Вступительная статья А. Орловой. М., Музгиз, 1955, с. 17.

Вот, кажется, все, что можно сегодня сказать об альбоме теперь уже известной Марии. Остается сказать о стихах, которые обнаружены в нем.

2

«Есть речи...», как и множество других поэтических шедевров Лермонтова,— стихотворение с долгой историей.

Мысль, что обычные, даже невыразительные слова наполняются огромным смыслом, если их произносят любящие, если они выражают неповторимое чувство,— эта мысль впервые отлилась в стихотворные строки еще в 1832 году, в обращении «К***»— очевидно, к Ивановой.

Есть звуки — значенье ничтожно
    И презрено гордой толпой —
Но их позабыть невозможно:
    Как жизнь, они слиты с душой;
Как в гробе, зарыто былое
    На дне этих звуков святых;
И в мире поймут их лишь двое,
    И двое лишь вздрогнут от них!..[1]

Возникнув однажды по какому-нибудь реальному поводу, поэтические идеи обретают в сознании Лермонтова самостоятельное существование и больше уже не зависят от этой первоначальной причины. Так, скажем, в поэме «Сашка» родились строчки,— и, возможно, это было вызвано воспоминаниями о каком-то реальном лице. Но через несколько лет Лермонтов включил эти строки в стихотворение, посвященное памяти декабриста Александра Одоевского. И, обращенные к нему, они обрели новый смысл. Тщетно относить к Одоевскому строфы «Сашки». Это — те же стихи, но люди разные. Лермонтов как бы «перепосвящает» Одоевскому написанные прежде стихи. Тем более что «Сашка» не напечатан и печатать его Лермонтов не собирается. Одна и та же поэтическая идея продолжает развиваться у Лермонтова на протяжении долгого времени и легко связывается с разными людьми и разными обстоятельствами. Поэтому не надо один и тот же поэтический мотив или поэтический образ, воплощенные в разное время, связывать с одним и тем же лицом, как не

[1] Лермонтов, т. II, с. 52; М. Лермонтов. Полн. собр. соч., т. I. М., Библиотека «Огонек», изд-во «Правда», с. 383, примеч.

следует каждое стихотворение, вписанное в альбом и не имеющее конкретных примет адресата (если только оно не посвящено лично обладательнице альбома!), связывать с нею, и только с нею одной. Одно и то же стихотворение Лермонтов мог вписывать в альбомы различных знакомых, а вдохновлено это стихотворение могло быть лицом или обстоятельством, к которому владелица данного альбома не имела ни малейшего отношения. Я не думаю, что гениальные «Есть речи...» и «Любовь мертвеца» обращены к Марии Бартеневой. У нас нет для этого никаких оснований. Они связаны с ней, поскольку украшают ее альбом. И не больше.

В 1839 году Лермонтов, как мы видим, вернулся к поэтическому сюжету 1832 года. Вновь обнаруженная редакция стихотворения составляет развитие этой же темы. Перечитаем текст, обнаруженный в альбоме Антонины Николаевны Знаменской:

Есть речи — значенье
Порою ничтожно!
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Тоскою желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья...

Надежды в них дышут,
И жизнь в них играет...
Их многие слышут,
Один понимает.

Лишь сердца родного
Коснутся в день муки
Волшебного слова
Целебные звуки;

Душа их с моленьем
Как ангела встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.

Но знаменитым это стихотворение стало в следующей редакции, напечатанной при жизни Лермонтова в первой книжке «Отечественных записок» 1841 года. С текстом, обнаруженным в новом альбоме, в этом стихотворении

совпадают две первые строфы (с переменою одного слова). Три остальных написаны заново.

* * *

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.

Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово;

Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу [1].

Историю, связанную с печатанием этого стихотворения, рассказал Иван Иванович Панаев, один из ближайших сотрудников «Отечественных записок» Краевского. Однажды утром, когда он находился в кабинете Краевского, приехал Лермонтов, который привез это стихотворение, и, прочитав его, спросил:

— Ну что? Годится?

Рассказ известен, но сейчас следует обновить его в памяти.

«— Еще бы! дивная вещь! — отвечал г. Краевский,— превосходно; но тут есть в одном стихе маленький грамматический промах, неправильность.

— Что такое? — спросил с беспокойством Лермонтов.

— «Из *пламя* и света рожденное слово...»—это неправильно, не так,— возразил г. Краевский,— по-настоящему, по грамматике, надо сказать из *пламени* и света...

---

[1] Лермонтов, т. II, с. 144.

— Да если этот пламень не укладывается в стих? Это вздор, ничего,— ведь поэты позволяют себе разные поэтические вольности — и у Пушкина их много... Однако... (Лермонтов на минуту задумался)... дай-ка я попробую переделать этот стих.

Он взял листок со стихами, подошел к высокому фантастическому столу с выемкой, обмакнул перо и задумался...

Прошло минут пять. Мы молчали.

Наконец Лермонтов бросил с досадой перо и сказал:

— Нет, ничего нейдет в голову. Печатай так, как есть. Сойдет с рук...» [1]

Много лет спустя, 16 августа 1878 года, А. А. Краевского в его квартире на углу Литейного и Бассейной навестил П. А. Висковатов, собиравший материалы для биографии Лермонтова. Краевский вспомнил тогда этот случай. Висковатов его рассказ записал.

«*Лермонтов* волочился за Соломирской, и волочился долго. Раз утром будит меня в 7 часов. Горничная говорит, что Л<ермонтов> приехал, я вскакиваю, п<отому> ч<то> даром же не приедет человек из Царского Села, ведь не по ж<елезной> д<ороге>. Накинул халат и выхожу к нему в кабинет: «Мих<аил> Ю<рьевич>, что с тобой случилось?» — «Ничего! Вот уж подл<инно> «счастлив в любви, несчастлив в картах». Вчера наконец удалось дело с Соломирской. Прихожу домой, сел с товарищами играть в карты и проиграл, брат, все. Денег нет ни гроша. Предлагаю им тетрадь своих стихов, никто копейки ставить на карту не хочет. Да оно и справедливо. А кстати, вот тебе новое стихотворение».

Л<ермонтов> вынул листок и подал мне. Это были

Есть речи значенье.

Я смотрю и говорю: «да здесь грамматики нет — ты ее не знаешь. Как же можно сказать

Из пламя и света?

Из пламени!»

Л<ермонтов> схватил листок, отошел к окну, посмотрел. «Значит, не годится?» — сказал он и хотел разорвать листок.

---

[1] И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1950, с. 134, 135.

«Нет, постой, оно хоть и не грамматично, а я все-таки напечатаю».—«Как, с ошибкой?»—«Когда ничего другого придумать не можешь. Уж очень хорошее стихотворение».—«Ну, черт с тобой, делай, как хочешь»,—сказал Лермонтов» [1].

Судя по тому, что стихотворение напечатано в первой книжке журнала за 1841 год и цензурное разрешение на выпуск выдано 1 января, что Лермонтов приезжал к Краевскому из Царского Села, стало быть, служил еще в лейб-гусарах, все это происходило еще в 1840 году, в самом начале, до поединка с Барантом и до новой кавказской ссылки, из которой Лермонтову удалось приехать ненадолго в столицу только в 1841 году в феврале; словом, эпизод с разговором о строке «из пламя и света» и попыткой поправить стихотворение относится к началу 40-го года.

Но сохранился еще один вариант этого же стихотворения, напечатанный в 1846 году В. А. Соллогубом в литературном сборнике «Вчера и сегодня» под заглавием «Волшебные звуки» с примечанием, в котором указано, что стихотворение это было уже напечатано, «но здесь некоторые строфы прибавлены, а некоторые совершенно изменены». Автограф остается нам неизвестным. Возможно, что озаглавил стихотворение сам Соллогуб. До сих пор невозможно было понять, в каком отношении находится это стихотворение к последней редакции. Текст, обнаруженный в альбоме Антонины Николаевны Знаменской, проясняет и этот вопрос. Но прочтем сначала стихотворение.

ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Тоскою желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья...
Их кратким приветом
Едва он домчится,
Как божиим светом
Душа озарится.
Средь шума мирского
И где я ни буду,

[1] ИРЛИ. Рукописный отдел, ф. 524, оп. 3, № 93.

Я сердцем то слово
Узнаю повсюду:
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
Надежды в них дышут.
И жизнь в них играет,—
Их многие слышут,
Один понимает.
Лишь сердца родного
Коснутся в дни муки
Волшебного слова
Целебные звуки,
Душа их с моленьем
Как ангела встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит [1].

В новом автографе, как и в тексте «Отечественных записок»— по пять строф. В «соллогубовской» редакции — восемь. Текст из новонайденного альбома входит в нее целиком и составляет 1, 2, 6, 7 и 8 строфы. 5-я строфа совпадает с текстом «Отечественных записок», 4-я (с некоторыми разночтениями) соответствует той же редакции. Новой, таким образом, оказывается только одна строфа — третья. Вместо:

Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово,—

возникло другое четверостишие, то самое, в котором Лермонтов пытается обойти срочку «из пламя и света»:

Их кратким приветом,
Едва он домчится,
Как божиим светом
Душа озарится.

Другими словами, тут совмещен текст двух редакций, а коренным образом переработана только одна строфа. Очевидно, это и есть та редакция, которая возникла после замечания Краевского, когда Лермонтов положил на бюро листок, по которому прочел Краевскому и Панаеву последнее и самое совершенное воплощение своего давнего

[1] «Вчера и сегодня». Литературный сборник. 1846, кн. II, с. 168.

замысла. Присоединив сюда же текст предыдущей редакции — 1839 года,— он принялся перерабатывать третью строфу, но, увидев, что получается хуже, бросил, сказавши: «Печатай так, как есть!» или: «Черт с тобой! делай как хочешь!»— что нисколько не противоречит одно другому. Соллогуб же, обнаружив шесть лет спустя в бумагах Лермонтова автограф с неизвестными строчками, воспроизвел его в сборнике «Вчера и сегодня», как совершенно самостоятельное стихотворение.

Вопрос запутался еще больше, когда в нем решил разобраться П. А. Висковатов. Ссылаясь на Соллогуба, с которым он беседовал в конце 70-х годов, Висковатов обнародовал рассказ о том, как Лермонтов в 1841 году сравнивал у Карамзиных редакцию, которую напечатал Краевский, с опубликованной впоследствии Соллогубом и рассказывал при этом, как «год назад» Краевский уличил его — Лермонтова — в незнании грамматики. И он — Лермонтов — при этом сказал будто бы:

— Я тогда никак не мог изменить стиха. Думал, думал, да и бросил, даже изорвать собирался, а Краевский напечатал, и напрасно: никогда торопиться печатанием не следует. Вот теперь я дело исправил.

И в качестве исправленного текста предъявил собравшимся гостям «Волшебные звуки».

«Поднялся спор,— пишет Висковатов,— кто был за первую, кто за вторую редакцию» [1].

Вывод из этого рассказа можно сделать только один: что Лермонтов считал стихотворение «Волшебные звуки» наиболее совершенной из всех редакций стихотворения.

Доверия этот рассказ Висковатова вызвать не может. Прежде всего потому, что, как пишет сам Висковатов, «граф Соллогуб... не помнил, о каком именно стихотворении шла речь». Висковатов «полагал», что речь могла идти только об этом, упустив из виду, что предположение становится еще более шатким, потому что напечатал «Волшебные звуки» именно Соллогуб. Внушив себе эту мысль, что разговор должен был идти о двух редакциях стихотворения «Есть речи...», Висковатов отверг гениальный текст со строчкой «Из пламя и света» и включил в собрание сочинений Лермонтова, которое редактировал, публикацию Соллогуба. «Я полагаю,— писал он по пово-

---

[1] Висковатов. Биография, с. 372.

ду разговора своего с Соллогубом,— что это могло касаться только этого стихотворения, ибо ни к какому другому, напечатанному в 1840 году, относиться не может».

Но дело в том, что стихотворение «Есть речи...» напечатано не в 1840, а в 1841 году. За крайне сомнительным утверждением следует ошибка уже безусловная. И хотя Соллогуб не помнил, о чем шла речь в салоне Карамзиных, у Висковатова Лермонтов прямо говорит об определенной строке. На самом же деле стоит внимательно прочесть «Волшебные звуки», как станет понятным, что в этом тексте между соседними стихами нет грамматической связи:

Не кончив молитвы,
На *звук тот* отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
Надежды *в них* дышут,
И жизнь *в них* играет...

В ком —«в них»?

В стихотворении 1839 года о звуках говорится во множественном числе: «в них дышут», «их слышут», «их встретит», «им ответит».

В стихотворении 1840 года начиная с третьей строфы Лермонтов от «звуков» переходит к «слову» и тем самым к единственному числу: «не встретит... слово», «услышав его», «ему навстречу»...

Покуда «в них» относилось к «речам» и «звукам», о которых идет речь в первых строфах, все было совершенно понятно, но в мгновенье утратило стройность, как только стало относиться к «слову» и «звуку».

Все понятно. покуда за строчками

Из пламя и света
Рожденное слово,—

идет строфа, в которой продолжена эта мысль:

Я сердцем то слово
Узнаю повсюду.

Однако в стихотворении «Волшебные звуки» «слово» заменено «приветом», а дальше текст не переработан, благодаря чему получается: «Их кратким приветом... душа озарится... я сердцем то слово // Узнаю повсюду».

Это отсутствие грамматического согласия объясняется, видимо, тем, что Соллогуб напечатал черновой автограф, работу над которым Лермонтов до конца не довел. А что перед нами недоработанный текст, можно судить еще и по тому, что в нем соседствуют две заключительные строфы, построенные на одной интонации:

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
Душа их с моленьем
Как ангела встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.

Новый автограф позволяет разобраться в истории создания этого замечательного стихотворения. Оно должно существовать в двух самостоятельных редакциях — 1839 и 1840 годов. А редакция «Волшебные звуки» хотя по времени и представляет собою последний этап работы, не отвечает художественным намерениям Лермонтова и оставлена им в недоработанном виде.

3

Не меньший интерес вызывает вписанное в альбом стихотворение «Любовь мертвеца», хотя это тот же самый текст, который печатается в собраниях сочинений и содержит всего два незначительных разночтения. Какой, казалось бы, особый интерес может представлять этот автограф?

Впрочем, дело не в самом тексте. Он вызывает интерес косвенный, который связан с записью графини Е. Н. Барановой.

Правда, на первый взгляд и эта запись не заключает в себе ничего примечательного. Заполнив две страницы текстом французского стихотворения, Баранова, не указывая имени автора, подписалась «Lise» и пометила, что запись сделана в Царском Селе 14 сентября 1839 года.

И все же запись не обратила бы на себя внимания, если бы не заглавие: «Le mort amoureux», то есть «Влюбленный мертвец». И если бы рядом с этим стихотворением не стояло вписанное полтора года спустя стихотворение Лермонтова «Любовь мертвеца».

Объяснить это совпадение случайным соседством нельзя. Тем более что связь между этими двумя стихотворениями уже отмечалась.

Весною 1841 года в Париже, в майском номере литературных сборников «Les Guêpes» («Осы»), было напечатано стихотворение французского поэта Альфонса Карра (он же был издателем сборников). Стихотворение называлось «Le mort amoureux» — «Влюбленный мертвец».

Указание С. В. Штейна на сходство «Любви мертвеца» с этим стихотворением казалось, в частности мне, недостаточно убедительным. Сходство между обоими текстами весьма отдаленное. В последний раз Лермонтов покинул Петербург в 1841 году 14 апреля, причем «Любовь мертвеца» к этому времени уже написал. А стихотворение Альфонса Карра можно было прочесть еще только в мае, и не в Петербурге, а в Париже. Все это делало гипотезу, высказанную еще в 1916 году, крайне сомнительной [1].

Новая находка меняет все представления. Хотя это и кажется неправдоподобным, но графиня Баранова вписывает в альбом М. А. Бартеневой стихотворение Альфонса Карра *в сентябре 1839 года*, тогда как в Париже оно опубликовано только полтора года спустя —*в мае 1841-го.* Либо нам неизвестна первая французская публикация, либо остается предположить, что в петербургском литературном кругу стихотворение Карра читалось в рукописи, что, вообще говоря, возможно, если вспомнить о постоянных разъездах А. И. Тургенева или о французских знакомствах С. А. Соболевского, у которого, кстати сказать, Лермонтов брал для чтения романы Альфонса Карра и который, как и Тургенев, был в курсе всех парижских литературных новостей.

Теперь не остается сомнений, что Лермонтов стихотворение Карра должен был знать. И не случайно «Любовь мертвеца» записана на соседней странице альбома Марии Бартеневой, которую занимает «Влюбленный мертвец» Карра. И недаром в авторизованной копии «Любовь мертвеца» называлась «Влюбленный мертвец»,

---

[1] С. В. Штейн. «Любовь мертвеца» у Лермонтова и Альфонса Карра.— «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук», 1916, т. XXI, кн. I, с. 38—47.

как у Карра. Заглавие это, хотя и зачеркнутое, говорит об этом с достаточной ясностью.

Представим себе, как это могло быть.

Встретив Лермонтова, ненадолго возвратившегося в столицу, Мария Арсеньевна Бартенева обращается к нему с просьбой украсить ее альбом новым автографом.

Раскрыв альбом (это могло быть только у нее в доме!), поэт находит свою прежнюю запись. Перед ней чистый лист. А перед этим чистым листом — страницы, покрытые бисерным почерком графини Барановой — стихотворение Карра «Влюбленный мертвец». Несомненно, Лермонтов знал это стихотворение, если в 1839 году его уже знали дамы карамзинского круга. И не только знал, но к этому времени уже создал свою «Любовь мертвеца»: не мог же он вписать в альбом беловой автограф без единой помарки. А кроме того, мы знаем, что записи «Любви мертвеца» в альбоме, обнаруженном на Васильевском острове, предшествовала работа Лермонтова над черновой редакцией стихотворения в собственном альбоме, привезенном с Кавказа. Потом Лермонтов перебелил текст, озаглавив его «Влюбленный мертвец». Кто-то списал этот текст на отдельный листок. Копию исправил сам Лермонтов, переменив заглавие на «Любовь мертвеца». Надо думать, что это стихотворение Лермонтов вписал не только в альбом Бартеневой, но в бартеневский вписал не другое, а именно это стихотворение демонстративно, чтобы противопоставить стихотворению Альфонса Карра свое. Это — предложение сравнить стихи, произведения, написанные на одну тему.

То же следует сделать и нам. И тогда мы убедимся, что внутренне между стихотворением французского поэта и лермонтовским общего весьма мало. Привожу прозаический перевод «Влюбленного мертвеца»:

«Я больше не чувствую камня, давящего мое холодное тело. Нежный и твердый голос говорит мне: «Проснись!» Открытые небеса являют глазам моим свое великолепие, и ангелы призывают меня — стать одним из них.

Ее любовь на земле была так дорога мне, что душа не надеется ни на что лучшее на небесах. Помоги мне, господи, в этом новом испытании. До тех пор, пока она на земле, небо — изгнание для меня.

Сделай так, о боже, чтобы мой рай был близ нее... Пусть моя душа сливается с ее ночными грезами, с цвет-

ком, который дарит ей свой опьяняющий аромат, с ветерком, который трепещет в ее прекрасных темных волосах.

Жизнь — испытание, полное борьбы для бедной осиротевшей души, которую я покинул на земле. Боже мой! молю тебя, даруй ей в жизни, на время бренного ее существования, все мое небесное блаженство»[1].

Тема любви за гробом — тема фольклорная, ставшая в романтической поэзии не только распространенной — ходячей. Довольно вспомнить лермонтовскую балладу «Гость», написанную задолго до стихотворения Карра, и прозаический пересказ этого же сюжета в романе «Вадим», где Лермонтов сопроводил его ремаркой: «Таково предание народное», чтобы отказаться от мысли видеть в стихотворении «Любовь мертвеца» прямое подражание Альфонсу Карру.

Стихотворение Карра скорее молитва о «ней» — того, кто мечтает о новой встрече за гробом. В лермонтовском стихотворении мертвец испытывает неутолимые страдания ревности и отвергает рай, мир и забвенье ради земного существования и земной любви.

Стихотворение наполнено другим содержанием, нежели у Альфонса Карра, ибо один мертвец просит даровать оставленной на земле любимой все небесное блаженство, которое досталось ему одному. Другой — отвергает небесную власть и блаженство.

Что мне сиянье власти
И рай святой?

То же происходит со стихотворениями Гете, Байрона, Гейне, когда их касается Лермонтов. Создаются собственные сюжеты, собственные концы, наполняющие вещь иным, лермонтовским смыслом. Это — не переводы, не подражания, даже не спор. Это — вызов, ибо в стихотворениях предстает неповторимый образный мир, рожденный в русских условиях 30—40-х годов прошлого века гениальным талантом и могучей мыслью, полный трагической страсти и той благородной энергии, которые до сих пор продолжает сохранять каждая лермонтовская строка.

Антонина Николаевна Знаменская передала альбом в Пушкинский дом Академии наук СССР.

---

[1] Лермонтов, т. II, «Academia», с. 238.



Кто такой Кодзоков?

В альбоме Лермонтова, принадлежащем Ленинградской Публичной библиотеке, который Лермонтов заполнял в 1840 году на Кавказе, а в 1841 году привозил с собой в Петербург и куда вписан черновой автограф стихотворения «Любовь мертвеца», на одном из чистых листов сохранились три неразгаданных строчки:

Лукманъ Бекъ-Мурзинъ Кодзоковъ.
Дмитрій Степановичъ Кодзоковъ.
въ Пятигорскѣ. 89 №.

Запись в альбоме Лермонтова (1840—1841). Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград

Запись эта мало кому известна, так как внесена в альбом не лермонтовской рукой и поэтому в описаниях лермонтовских автографов не фигурирует. Как попала в альбом поэта фамилия «Кодзоков», не установлено. Неизвестно, наконец, кто эту фамилию носил: попыток объяснить происхождение записи, насколько мне известно, никто до меня не делал.

Стоит, однако, обратить внимание на то, как начерта-

ны буквы в этой фамилии, и становится ясно: это рука самого Кодзокова — его подпись. В верхней строчке фамилия написана привычной скорописью с росчерком на конце; во второй строке повторена тем же почерком, но более спокойно и характера подписи не имеет, хотя снова кончается небольшим росчерком.

На первый взгляд может показаться, что Лукман Бек-Мурзин Кодзоков и Дмитрий Степанович Кодзоков — разные лица. На самом деле это два имени одного человека с очень интересной и необыкновенной судьбой.

До сих пор широко было известно имя Шоры Бек-Мурзина Ногмова — гениального кабардинца, литератора и ученого, видевшего путь просвещения своего народа в приобщении его к передовой русской культуре, составившего первую грамматику кабардинского языка на основе русского алфавита, создавшего по преданиям и песням «Историю адыгейского народа» — труд, находящийся на уровне лучших исторических исследований своего времени и не утерявший своего значения до сих пор. Теперь к числу первых высокообразованных кабардинцев мы должны присоединить имя лермонтовского знакомца Кодзокова, о котором мало знали даже в его родной Кабарде.

В конце 20-х годов мать поэта Алексея Степановича Хомякова — Мария Алексеевна — привезла в Москву с Кавказа, куда ездила на воды, мальчика — черкеса Лукмана. Он воспитывался в ее доме и в 1830 году, когда подрос, был окрещен под именем Дмитрия. Его крестным отцом был Алексей Степанович Хомяков, только что вернувшийся с Балкан с театра военных действий[1].

Кодзоков жил в доме Хомяковых в Москве, лето проводил с ними в их тульском поместье Богучарове и, как пишет биограф поэта, «пользовался постоянною дружбою своего крестного отца, отдававшего ему значительную часть своего времени»[2]. Имя Кодзокова встречается в письмах Хомякова к родным и друзьям. Кодзоков для него «Митя» и «Митенька», поэт пишет о нем с любовью и лаской. «Хотел письмо отправить с Митею,— обращается он к своему старинному другу Алексею Владимировичу Веневитинову, отправляя Кодзокова в Петербург,—

---

[1] «Русский архив», 1896, № 11, с. 355.
[2] Там же.

а он совсем не так скоро выехал, как мы ожидали». И дальше: «Отдаст тебе письмо наш Черкес, что прежде Лукман, ныне Дмитрий. Полюби его: малый славный, готовый к труду, умный и дельный. Ему приказано от меня тебе доложить про свои дела, свои хлопоты и надежды, а обещано, что ты поможешь ему советом; я уверен, что ты это сделаешь. Затем он едет в Питер, история длинная, и он тебе лучше ее расскажет, чем я могу это сделать в письме... Будь здоров, надеюсь на тебя для Кодзокова». «За Лухмана и за все твои одолжения бесконечно тебе благодарен»,— пишет он по возвращении воспитанника [1].

Это выдержки из писем 1839 года, из чего нетрудно сделать вывод, что вплоть до 1840 года Кодзоков прожил в России.

Из примечания П. И. Бартенева к одному из хомяковских писем, напечатанных в «Русском архиве», мы знаем, что, «выросши», Кодзоков «уехал на родину» [2]. Эти сведения подтверждаются данными журнала «Мусульманин», выходившего в Париже в начале нынешнего столетия. «Кодзоков, сын простого бедного кабардинца аула Тамбиевского,— пишет автор статьи М. Абаев,— маленьким мальчиком был взят кем-то из служивших на Кавказе русских в Россию, где его выкрестили и дали образование, так что он является первым кабардинцем, получившим в России университетское образование. Молодые годы он провел в лучшем литературном кругу 40-х годов прошлого столетия и был вполне интеллигентным лицом и, по-видимому, демократического направления» [3].

Зная, что Кодзокова взял в Россию не «кто-то», а именно Хомяковы и, следовательно, университетское образование он должен был получить в Москве, я обратился к архиву Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. И действительно, в МГУ сохранились документы Д. С. Кодзокова.

Первый — свидетельство, выданное 13 января 1830 года в крепости Нальчикской Кабардинским временным судом «малолетнему узденю Лукману Кодзокову, имеющему от роду двенадцать лет, в том, что он действительно законный сын Кабардинского второй степени узденя

[1] «Полное собрание сочинений А. С. Хомякова», т. 8, Письма. М., 1900, с. 14, 16, 40, 41, 44.
[2] «Русский архив», 1899, № 7, с. 470.
[3] «Мусульманин», 1911, № 14-17, с. 621.

Магомета Кодзокова». Содержащиеся в этом документе сведения — «1830 год» и «двенадцать лет» дают возможность определить год рождения Кодзокова: 1818.

Второе свидетельство составлено московской духовной консисторией и выдано не самому Кодзокову, а «отставному гвардии поручику Степану Александрову Хомякову» — отцу поэта на случай помещения его воспитанника «кабардинского узденя Магомета Кодзокова сына Лукмана, нареченного при святом крещении Дмитрием», в публичное учебное заведение. Из документа выясняется, что прошение «присоединить вышеозначенного воспитанника к греко-российской церкви» было подано С. А. Хомяковым 20 декабря 1829 года. Таким образом, примечание «Русского архива» о том, что Лукман Кодзоков был якобы взят Хомяковыми на воспитание летом 1830 года, когда они находились в Пятигорске, следует считать неправильным[1]. Оно не согласуется ни с датой крещения Кодзокова (4 февраля 1830 года), ни с обращением С. А. Хомякова в московскую консисторию по поводу Лукмана в декабре 1829 года. Однако вполне возможно, что, отправляясь летом 1830 года в Пятигорск, Хомяковы брали с собою и Лукмана.

Но самый интересный документ — третий: прошение Дмитрия Кодзокова в Правление Московского университета, датированное 7 августа 1834 года. «Родом я из черкесских узденей,— пишет Кодзоков,— от роду имею 16-ть лет, обучался в учебном заведении Г. Профессора Павлова следующим предметам: 1) языкам: русскому, латинскому, греческому, французскому, немецкому, английскому; 2) наукам: закону божию, священной и церковной истории, физике, логике, риторике, географии, статистике, истории русской и всеобщей, арифметике, алгебре, геометрии; 3) искусствам: рисованию и музыке». В заключение он пишет о своем желании «продолжать науки в императорском московском университете» и включить его по экзамену в число своекоштных студентов словесного отделения[2].

Сохранились ведомости, по которым можно судить об успехах Кодзокова, внесенного в список своекоштных сту-

---

[1] «Русский архив», 1899, № 7, с. 470.

[2] За помощь в отыскании сведений о Кодзокове в архиве Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова приношу благодарность В. В. Сорокину.

дентов словесного отделения, обучавшихся с 1834 по 1838 год. Он слушал лекции вместе с Ф. И. Буслаевым, Ю. Ф. Самариным, М. Н. Катковым. Буслаев, как известно, прославился впоследствии как выдающийся русский историк, искусствовед и филолог. Юрий Самарин вместе с К. С. Аксаковым и А. С. Хомяковым стал одним из лидеров славянофильства. Что же касается Михаила Никифоровича Каткова, то к концу 30-х годов он уже составил себе репутацию человека «с основательными филологическими познаниями и с замечательными способностями к отвлеченному мышлению и к критике идей» [1]. Он был членом кружка Станкевича и «своим» для Белинского. В 1839 году он начал сотрудничать в «Отечественных записках» Краевского и вместе с Белинским участвовал в обновлении журнала. Белинский дорожил Катковым и возлагал на него надежды, хотя с течением времени все более приходил к мысли, что Катков их не оправдывает. «Катков,— писал он в 1840 году,— будучи нашим... не наш» [2]. Так и случилось: вскоре Катков перешел в лагерь реакции. Но произошло это не в ту пору, которая нас интересует, а позже. В годы, когда Катков и Кодзоков кончали университет, да и по выходе из него, Катков примыкал к кругу единомышленников Белинского. Остановились же мы на фигуре Каткова особо в связи с тем, что Кодзоков обучался вместе с ним еще в пансионе, «был товарищем и приятелем М. Н. Каткова», и даже есть мнение, что, вероятно, Кодзоков «ввел в дом к Хомяковым, где М. Н. Катков некоторое время и жил» [3]. Судя по этому, Кодзоков должен был читать статьи Белинского, печатавшиеся в «Телескопе» и «Московском наблюдателе», и, уж во всяком случае, быть в курсе философских и политических споров, которые велись в кружке Станкевича.

Университетские лекции Надеждина и Павлова, влияние Хомякова, который, как уже сказано, проводил с Кодзоковым «значительную часть своего времени», дружба с Катковым, близость к кругу их друзей и знакомых, среди

---

[1] П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 187.

[2] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XI, с. 456.

[3] «Полное собрание сочинений А. С. Хомякова», т. 8, Письма. М., 1900, с. 40.

которых были Белинский, Станкевич, Грановский, Боткин, Бакунин, Киреевские, Аксаковы, Самарин,— в этой среде должен был сформироваться человек очень высокой культуры, с серьезными духовными и умственными запросами.

Московский университет Кодзоков окончил со званием действительного студента.

По каким делам ездил он в Петербург, о каких его «хлопотах и надеждах» предварял Хомяков А. В. Веневитинова, этого мы не знаем. Надо полагать, что поездка была связана с намерением молодого черкеса быть полезным своему народу и краю; потому что в следующем, 1840 году двадцатидвухлетний Кодзоков вернулся на родину: в альбом Лермонтова вписан уже его пятигорский адрес.

Очевидно, всю остальную жизнь Кодзоков провел на Кавказе. В 1860-х годах он возглавлял сословнопоземельную комиссию Терской области, проводившую в Кабарде крестьянскую реформу [1]. Умер он в 1880-х годах [2].

Вот и все, что удалось установить мне [3].

Но когда в 1960 году кабардинский историк Т. Х. Кумыков предпринял широкие поиски новых биографических материалов о Кодзокове и явилась возможность составить небольшую монографию об этом замечательном кабардинце, мы узнали, что в 60-х годах, во время проведения на Кавказе земельной и крестьянской реформы, Кодзоков, как глубокий знаток истории, обычаев и нравов горцев, как лицо, сведущее в правоведении, географии, статистике, политической экономии и сельском хозяйстве, был назначен председателем Комиссии по разбору личных и поземельных прав горцев. И, защищая идею общинного права владения землей, выступил против наследственных прав феодалов и самого принципа родовитости. Эти проекты были отвергнуты царским правительством, а на самого Кодзокова совершены феодалами покушения. Он выступал как прогрессивный деятель и просветитель, требовавший введения кабардинской письменности и образования на родном языке. При этом Кодзоков считал, что народы Северного Кав-

---

[1] «История Кабарды». М., Изд-во АН СССР, 1957, с. 120, 128.

[2] «Мусульманин», 1911, № 14-17, с. 621—622. На эту статью мне указал Х. И. Теунов.

[3] «Дружба народов», 1960, № 5, с. 200—203.

каза нуждаются в «приобретении основательного знакомства» с русским языком и наукой [1].

Хотя все эти сведения относятся к позднему периоду жизни Кодзокова, даже и они в известной мере дополняют наше представление о горце, с которым Лермонтов встретился в Пятигорске за год до своей гибели. Случайной была эта встреча? Или Лермонтов услышал имя Кодзокова еще раньше, когда, следуя в кавказскую ссылку, останавливался в Москве и беседовал с Хомяковым в погодинском саду на именинах Николая Васильевича Гоголя? Или, может быть, имя Кодзокова впервые возникло в разговоре с Самариным? Этого мы не знаем. Но что фигура молодого кабардинца, получившего блестящее образование и вращавшегося долгие годы в центре духовной и умственной жизни Москвы, не могла не заинтересовать Лермонтова, это, разумеется, вне сомнений. Черкес, получивший воспитание в России,— образ, который Лермонтов уже воплотил в юношеской поэме об Измаил-бее,— снова предстал перед ним, но уже не в преданиях, не в песнях, не в отрывочных рассказах старых кавказцев, а в облике современника, почти сверстника, интеллигентного человека, «умного, дельного, славного», свободно владевшего русской речью, способного быть не только собеседником, но и советчиком в работе над задуманным в ту пору романом — о кавказской жизни, о кровавом усмирении Кавказа, о диктатуре Ермолова. Именно в ту самую пору — в 1840 и 1841 годах — Лермонтов напряженно размышлял об исторических судьбах кавказских народов; с этими мыслями связаны и стихотворение «Спор», и очерк «Кавказец», и замысел неосуществленной трилогии в прозе с заключительным романом о кавказской войне. Разумеется, Лермонтову могли быть полезны и детские воспоминания Кодзокова, и первые впечатления по возвращении его на родину, и взгляд на судьбы кавказских народов человека, связанного и с Кабардой и с Россией.

Надо ли говорить о том, что Кодзоков ясно представлял себе значение Лермонтова, который уже широко печатался, был автором «Героя нашего времени» и которого лично знали и Хомяков, и Катков, и Самарин.

---

[1] Т. Х. Кумыков. Жизнь и общественная деятельность Л. М. Кодзокова, Нальчик, 1962.

И если бы даже он не имел собственного взгляда на лермонтовскую поэзию, то, уж во всяком случае, хорошо знал, как относится к таланту Лермонтова хотя бы тот же А. С. Хомяков. «Он с истинным талантом и как поэт и как прозатор»,— писал Хомяков 20 мая 1840 года, когда Лермонтов уже выехал из Москвы в кавказскую ссылку. И с тревогою добавлял: «Боюсь, не убили бы» [1].

Помимо того интереса, который возбудит личность Кодзокова у всякого, кого занимают кавказские знакомства Лермонтова,— это еще одна нить, свидетельствующая о связях поэта и с литературной Москвой.

Нам ничего не известно об отношениях Лермонтова с Кодзоковым, кроме самого факта их знакомства. Но кто знает: может быть, адрес, записанный в черновом альбоме поэта, разрастется когда-нибудь в целую главу еще далеко не дописанной советским литературоведением книги «Лермонтов и Кавказ».

[1] «Полное собрание сочинений А. С. Хомякова», т. 8. Письма. М., 1900, с. 94—95.



Лермонтов и Ермолов

1

В начале 1841 года для второго тома задуманного А. П. Башуцким сборника «Наши, списанные с натуры русскими» Лермонтов написал небольшой очерк «Кавказец» [1] — об офицере кавказских войск. Сборник, очевидно по цензурным причинам, в свет не вышел, очерк Лермонтова остался ненапечатанным и был обнаружен только в 1929 году.

«Во-первых,— начинает Лермонтов,— что такое именно кавказец и какие бывают кавказцы?

Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское; наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из России. Ему большею частью от 30 до 45 лет, лицо у него загорелое и немного рябоватое, если он не штабс-капитан, то уж, верно, майор. Настоящих кавказцев вы находите на Линии; за горами, в Грузии, они имеют другой оттенок; статские кавказцы редки; они большею частию неловкое подражание, и если вы между ними встретите *настоящего,* то разве только между полковых медиков».

Уже из этого отрывка видно, что Лермонтов решил развить в своем очерке образ штабс-капитана Максима Максимыча, в лице которого он отразил лучшие черты кавказского офицерства.

---

[1] Лермонтов, т. VI, с. 348.

Лермонтов сознательно подчеркнул это сходство. Подобно доброму штабс-капитану, кавказец его молчалив, «сидит себе да покуривает из маленькой трубочки». Он, точно так же как и Максим Максимыч, возит с собой только чайник, «ровно и в жар и в холод» носит под сюртуком архалук на вате и на голове баранью папаху; у него, по словам Лермонтова, сильное предубеждение против шинели в пользу бурки.

В этом типическом портрете кавказца, так же как и в образе Максима Максимыча, Лермонтов показал скромного труженика войны — русского офицера. Он показал его человеком независимых убеждений, большой души, огромного жизненного опыта, показал его романтически влюбленным в Кавказ, исполненным живого интереса к той стране и к тем людям, среди которых он живет. «Не зная истории России и европейской политики,— говорит о нем Лермонтов,— он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надежный и какой плут; кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легонько маракует по-татарски...»

О горцах кавказец отзывается так же, как и Максим Максимыч: «Хороший народ, только уж такие азиаты!»

В «Герое нашего времени» кавказец Максим Максимыч — случайный попутчик. Он замечательно рассказывает о своем сослуживце Печорине, трогательно передает грустную историю Бэлы, но читатель не многое узнает о его собственной жизни.

В очерке Лермонтов от начала до конца показывает служебный путь кавказского ветерана, восполняет не досказанное в «Герое нашего времени».

Любовь к Кавказу зародилась в нем еще в юности. «До 18 лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он потихоньку читал в классах «Кавказского пленника» и воспламенился страстью к Кавказу».

С десятью товарищами он отправляется туда на казенный счет «с большими надеждами и маленьким чемоданом».

Наконец он является в полк.

«Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидался всюду, где только провизжала одна пуля. Он думает поймать руками десятка два горцев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты».

Но неприятеля не видать, схватки редки, горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела своих уносят. Промелькнуло пять-шесть лет — все одно и то же: он приобретает опытность, становится холодно храбр и смеется над новичками, которые подставляют лоб без нужды. «Хотя ему порой служба очень тяжела, но он поставил себе за правило хвалить кавказскую жизнь; он говорит кому угодно, что на Кавказе служба очень приятна».

Декабрист А. Е. Розен, проехавший по Военно-Грузинской дороге в то же время, что и Лермонтов — в конце 1837 года,— вспоминает в своих записках «услужливого штабс-капитана Черняева... совершенно вроде Максима Максимыча, описанного Лермонтовым в романе «Герой нашего времени». Встретив Розена на станции Коби, Черняев объявил ему, что имеет повеление от своего начальства проводить его с семейством через самые опасные места — через Крестовый перевал и Гуд-гору до самого ее подножия, до Кайшаурской долины. «Штабс-капитан,— пишет Розен,— часто подъезжал к моему тарантасу и вроде доброго Максима Максимыча беседовал и заговаривал о былом времени, когда он служил под начальством А. П. Ермолова». «Теперь еще вижу,— продолжает Розен,— его усмешку, его кавказские замашки, его маленького рыжего коня, который спокойно и смело ступал по самому краю пропасти... штабс-капитан спокойно покуривал трубочку, и когда я упрашивал его не ехать по такому опасному месту, то он улыбаясь отвечал мне: «Мы и наши кони привыкли к таким местам: случается часто мне одному ездить по этой дороге, кажись, места довольно, а бестия рыжак все тянет к краю да к пропасти, и все, знаете, как-то тут ехать веселее и виднее» [1] .

В своем очерке Лермонтов с ласковым юмором описал образ настолько типический, что реально существовавшие кавказцы, вроде этого штабс-капитана Черняева или штабс-лекаря Тифлисского военного госпиталя Ге-

[1] А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, с. 226.

рарди, который, «увлекшись романтическим представлением о Кавказе», стал кавказским полковым врачом, делаются похожими на этот обобщенный портрет.

Но, по условию цензуры, Лермонтов очень тонко скрыл между строк своего описания самое главное. Однако стоит только вдуматься в текст «Кавказца» — и становится ясно, что если в 1840 году кавказец «от 30 до 45 лет», следовательно, настоящий кавказец в глазах Лермонтова — это тот офицер, который служил еще при Ермолове.

Ермолов был назначен на Кавказ в 1816 году, а оставил его в 1827 году. Тот кавказский офицер, которому в 1840 году исполнилось тридцать лет, еще застал его на Кавказе. Что же касается сорокапятилетнего, тот знал Ермолова со времени первых его экспедиций.

Не случайно в очерке сказано: «Бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча».

Ермолов долгие годы находился в опале. Прославлять его было нельзя. Лермонтов вышел из положения, упомянув его бурку.

В «Герое нашего времени» он отметил, что старый кавказец Максим Максимыч с гордостью и уважением вспоминает опального Ермолова и называет его по имени и отчеству.

«— А вы давно здесь служите?

— Да, я уже здесь служил при Алексее Петровиче,— отвечал он, приосанившись»,— пишет Лермонтов в «Бэле».

Одним только словом «приосанившись» да упоминанием об «Алексее Петровиче» Лермонтов сумел показать, чем был Ермолов в глазах рядового кавказца.

«— Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком,— прибавил он,— пишет Лермонтов,— и при нем получил два чина за дела против горцев» [1].

Ермолов награждал офицеров лишь после того, как они отличились несколько раз. Потому-то всякая награда, полученная по его ходатайству, ценилась так высоко.

Дибич, посланный Николаем I со специальным поручением отстранить Ермолова от управления гражданской частью в Грузии и от командования войсками Кавказ-

---

[1] Лермонтов, т. VI, с. 205.

ского корпуса, вынужден был сообщить царю, что нашел войска, одушевленные суворовским духом [1].

В 1816—1827 годах, в пору пребывания Ермолова на Кавказе, русские войска добились наибольших успехов, а демократические порядки, которые он ввел в армии, создали ему среди солдат и офицеров огромный авторитет. Каждому в Кавказском корпусе было известно, что Ермолов вставал, когда к нему подходил нижний армейский чин.

Итак, Максим Максимыч и кавказец из очерка — офицеры ермоловской школы. Вот кто был в глазах Лермонтова настоящим кавказцем. «Настоящий кавказец,— пишет он,— человек удивительный, достойный всякого уважения...»

Лермонтов оставил очерк Башуцкому, уезжая из Петербурга. А через несколько дней, в последний раз покидая Москву в апреле 1841 года, передал Ю. Ф. Самарину для редакции «Москвитянина» свое новое стихотворение «Спор», написанное уже после отъезда из Петербурга, и просил напечатать его «просто, без всяких примечаний от издателя, с подписью его имени» [2].

Теперь выясняется, что очерк и «Спор» имеют между собой глубокую внутреннюю связь.

2

С юных лет Лермонтов горячо сочувствовал борьбе горцев против власти российского самодержавия и приветствовал в своих стихотворениях и поэмах их свободолюбие и стойкость: мы уже говорили об этом.

В условиях того времени борьба эта не могла завершиться успехом для горцев, не могла обеспечить их независимости. Гази-Мухамед, Гамзат-Бек и, наконец, имам Шамиль, вставшие во главе сопротивлявшихся горских племен и провозгласившие «газават» — религиозную войну против России,— стремились присоединить Кавказ к отсталым феодальным странам мусульманского

---

[1] «Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его биографии, собранные М. Погодиным». М., 1864, с. 337.

[2] Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 6. СПб., 1892, с. 236.

Востока. Не собиралась уступать своих интересов на Кавказе и николаевская империя, утвердившая свое владычество в Закавказье. А поскольку на Кавказе интересы России сталкивались с интересами ее восточных соседей и Англии, горцы, независимо от исхода борьбы, самостоятельного существования обрести не могли.

Так понимаем ход тогдашней борьбы на Кавказе мы, воспринимая ее в перспективе исторического развития и располагая фактами, которые Лермонтову в ту пору не могли быть известны.

Но стихотворение «Спор», в котором Лермонтов в аллегорической форме рассказывает о кавказской войне, свидетельствует о том, что поэт во многом оказался впереди своего времени в оценке происходивших на Кавказе событий и в понимании перспективы исторического развития России и Кавказа. Из текста «Спора» становится ясным, что вопрос о том, покорятся или не покорятся «Северу» — то есть России — народы Кавказа, с русским «Севером» или с мусульманским Востоком придется идти им по пути дальнейшего исторического развития, был для Лермонтова в 1841 году уже решенным вопросом. И хотя сочувствие его по-прежнему оставалось на стороне «угрюмого Казбека», олицетворявшего в стихотворении борьбу кавказских горцев с царизмом, тем не менее продвижение России на Кавказ представлялось ему закономерным и исторически неизбежным, ибо, «добывая медь и злато», Россия знаменовала собою «промышленный век» — более высокую ступень экономического, политического и культурного развития. В этом и заключался спор покоренного Шата с еще не покоренным Казбеком. Война на Кавказе продолжалась, но исход ее был уже предрешен. Ход исторического развития развеивал миф о «неприступном Казбеке». Или с Россией, или со странами Ближнего Востока — с «дряхлым Востоком», как называл его сам Лермонтов,— третьего пути для народов Кавказа быть не могло. Об этом и идет спор между Шат-горой и Казбеком.

Окинув взглядом окрестные страны, Казбек видит у своего подножья феодальную Грузию. За ней ему видны страны Ближнего Востока: персидская столица Тегеран, Иерусалим — главный город Палестины, давно утративший свое былое значение на Ближнем Востоке. Он видит племена бедуинов — арабов-кочевников. Потом

переводит взгляд вправо и обозревает долину Нила и египетские пирамиды — Египет в то время был подвластен Турции. «Нет, не дряхлому Востоку покорить меня!» — заявляет Казбек. Тогда Шат показывает ему в сторону России.

Этот спор завершается в стихотворении Лермонтова картиной победоносного вступления на Кавказ русских войск, предводительствуемых генералом Ермоловым.

Имя Ермолова в стихотворении не названо, но современники легко угадывали его по строчкам:

И, испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.

Эти строки вызывали в памяти современников гравюру Дж. Доу, на которой знаменитый полководец был изображен с нахмуренными бровями, задрапированным в мохнатую бурку.

Ермолов выступает в стихотворении как символ покорения Кавказа. Но совершенно неясно: почему Лермонтов вспомнил о Ермолове в 1841 году? Ермолов был давно удален с Кавказа и уже четырнадцать лет жил на покое в России. Лермонтов не назвал его имени и почему-то просил редакцию «Москвитянина» напечатать стихотворение просто, без примечаний, словно был уверен, что издатель непременно захочет сопроводить стихотворение какими-то пояснениями.

До сих пор на эти вопросы не было никакого ответа. А между тем, связывая в 1841 году покорение Кавказа с именем А. П. Ермолова, Лермонтов тем самым вкладывал в свое стихотворение острый политический смысл. Политический смысл стихотворение приобретало именно потому, что Ермолов находился в опале.

Ученик Суворова, один из самых прославленных участников Отечественной войны 1812 года и заграничных походов, Ермолов после смерти Кутузова и Багратиона был в русской армии самой популярной фигурой. Политическое вольномыслие Ермолова, его ненависть к крепостничеству, презрение к придворной клике и к столичной бюрократии послужили главной причиной его назначения на Кавказ. Правительство Александра I опасалось его влияния и стремилось удалить из столицы.

Популярность его в кавказских войсках вызвала к не-

му еще более сильное недоверие. Николай I, еще до восшествия своего на престол, заметил как-то, говоря о Ермолове: «Этот человек на Кавказе имеет необыкновенное влияние на войско, и я решительно опасаюсь, чтобы он не вздумал когда-нибудь отложиться» [1].

Эти опасения усугубились, когда Александру I стало известно о существовании тайного общества. «Есть слухи,— писал он Николаю,— что пагубный дух вольномыслия или либерализма развит, или, по крайней мере, развивается между войсками, что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют при том секретных миссионеров для распространения своей партии: Ермолов, Раевский, Киселев, Михаил Орлов, Димитрий Столыпин и многие другие из генералов, полковников и полковых командиров» [2].

Александр назвал имена крупных военачальников,— в том числе деда Лермонтова, генерала Дмитрия Алексеевича Столыпина,— тесно связанных с идеологами и участниками декабристского движения. Но характерно, что первым в этом списке император выставил имя Ермолова.

И действительно: декабристы считали его «своим» и рассчитывали, что Ермолов во главе войск Кавказского корпуса примет их сторону. Рылеев и Кюхельбекер посвящали ему стихотворения. На собраниях тайного общества в Петербурге, намечая состав Верховного правительства, в руки которого должна была перейти власть после переворота, заговорщики, кроме имен Мордвинова и Сперанского, называли Ермолова [3].

Блистательная характеристика Ермолова, выражавшая отношение к нему декабристских кругов, принадлежит Грибоедову, служившему в Грузии под его начальством. «Патриот, высокая душа, замыслы и способности точно государственные, истинно русская, мудрая голова» [4].

---

[1] «Из анекдотов об А. П. Ермолове».— «Русский архив», 1893, № 2, с. 180.

[2] Н. Ф. Дубровин. Утверждение русского владычества на Кавказе, т. III, ч. 1, с. 356.

[3] См.: В. С. Иконников. Граф Н. С. Мордвинов. СПб., 1873, с. 44.

[4] А. С. Грибоедов. Сочинения. Подготовка текста, предисл. и коммент. Вл. Орлова, М., Гослитиздат, 1953, с. 541—542.

Ермолов, в свою очередь, любил и высоко ценил Грибоедова и, узнав о разгроме восстания 14 декабря, предупредил о грозившем ему аресте. Благодаря этому Грибоедов успел сжечь бумаги, которые могли открыть его связь с тайным обществом. Пушкин считал, что это были единомышленники. «Ермол[ов], Орл[ов], Кисел[ев],— записал Александр Тургенев со слов Пушкина в 1837 году,— все знали и ожидали: без нас дело не обойдется, Ермол[ов], желая спасти себя,— спас Грибоедова. Узнав, предварил его за два часа» [1].

Следственная комиссия по делу декабристов настойчиво искала улик против Ермолова. «Вы говорили Рылееву,— задавал вопрос Никите Муравьеву Бенкендорф,— что генерал Ермолов, встретившись с полковником Граббе, сказал ему: «Оставь вздор; государь знает о вашем обществе». Справедливо ли это? От кого вы узнали о сем отзыве генерала Ермолова? Какое сей последний принимал участие в действиях обществ и чрез кого именно?» [2]

Из показаний арестованных комиссия заподозрила существование планов о выступлении Ермолова во главе войск Кавказского корпуса.

Вскоре после окончания суда над декабристами Ермолов был заменен Паскевичем и отозван с Кавказа. С тех пор он оставался не у дел, жил сперва в Орле, потом в Москве и в подмосковной деревне, неизменно встречая выражения сочувствия со стороны прогрессивной части русского общества. В продолжение многих лет он намеренно отклонял попытки правительства привлечь его на гражданскую службу и сознательно оставался не у дел, выражая тем самым свое оппозиционное отношение к политике Николая I.

Имя его было символом протеста. Один из организаторов тайного студенческого общества в Москве, возникшего в 1827 году, Василий Критский — показал на допросе, что у них «была надежда иметь Ермолова во главе своего общества» [3]. «Главнокомандующий вечевой

---

[1] «Из дневника А. И. Тургенева».— В кн.: П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. М.—Л., ГИЗ, 1928, с. 285.

[2] «Восстание декабристов». Материалы, т. I, с. 298.

[3] М. К. Лемке. Тайное общество братьев Критских.— «Былое», 1906, № 6, с. 47.

армии» — так был назван Ермолов в одной из листовок тридцатых годов.

Личность опального генерала вызывала горячее сочувствие Пушкина. Направляясь в 1829 году на Кавказ, в ставку Паскевича, Пушкин сделал двести верст лишних, чтобы повидать Ермолова, жившего в ту пору в Орле, а в «Путешествие в Арзрум» включил блистательную его характеристику и перечислил темы, которых касались они в разговоре. «С первого взгляда,— пишет Пушкин,— я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом» (Доу.— *И. А.)*.

Пушкина поразило в Ермолове сочетание противоположных черт — прежде всего несходство фаса и профиля; поразили голова хищника и торс Геркулеса — благородная осанка богатыря. Неприятная, неестественная улыбка в обращении к собеседнику — и прекрасное выражение лица, когда задумывается и становится самим собой. Любезность, ставшая привычкой, умение говорить комплименты — следовательно, снова неискренность; с другой стороны — умение увлекаться в разговоре, глубокий ум, язвительность по адресу противников, не вяжущаяся с любезным тоном. Эти два лица Ермолова, две его сущности дали Пушкину ключ к постижению этого сложного характера, дали ему основания, высоко ценя замечательного государственного деятеля, замечательного полководца, в то же время в своем дневнике помянуть Ермолова как «великого шарлатана» [1].

Интерес к личности Ермолова и к его деятельности в Грузии побудил Пушкина обратиться к нему с письмом, в котором поэт изъявляет желание написать историю ермоловских войн на Кавказе или быть издателем его записок. «Напрасно ожидал я, чтобы вышло наконец описание Ваших Закавказских [войн] подвигов,— писал Пушкин в черновом наброске послания к Ермолову.— ...Прошу

---

[1] См.: И. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина. М., «Советский писатель», 1955, с. 300—302.

Вас [чтобы Вы] дозволить мне быть Вашим Историком — [если] [и]. Если в [праздности] праздные часы занялись Вы славными воспоминаниями и оставили записки о своих войнах, то прошу Вас удостоить меня чести быть Вашим издателем...»[1]

Пушкин имел, конечно, в виду прежде всего славные победы Ермолова в персидской войне.

В июле 1826 года Персия, поддержанная Англией, начала действия против России без объявления войны. Прежде чем русское командование успело стянуть к персидской границе войска Кавказского корпуса, персидская армия, предводительствуемая принцем Аббас-Мирзой, углубилась на территорию Закавказья. Задержанная полуторамесячной героической обороной гарнизона крепости Шуши, она была затем наголову разбита в сражениях под Шамхором и под Елизаветполем. С остатками своего войска Аббас-Мирза бежал из пределов Закавказья.

Военные действия возобновились весной 1827 года. Но Ермолов уже не руководил ими: ему было приказано передать командование Паскевичу и покинуть Кавказ.

После блестящих побед 1826 года перенесение боевых операций на территорию противника уже не представляло для Паскевича особо сложной задачи. Освободив Нахичевань, Аббас-Абад, Эривань, русская армия в октябре 1827 года вошла в Тавриз. Путь на Тегеран был открыт. 10 февраля 1828 года персидское правительство оказалось вынужденным принять условия Туркманчайского мирного договора, по одному из пунктов которого к России отходила часть армянских земель. Начальником этой вновь образованной Армянской области и командующим войсками на Персидской линии был назначен генерал Александр Гарсеванович Чавчавадзе.

Переговоры с Аббас-Мирзой и подготовку условий мирного договора русское правительство возложило на А. С. Грибоедова. В сентябре того же года Грибоедов уехал в Персию в ранге полномочного министра-резидента, а четыре месяца спустя погиб в Тегеране при разгроме русской миссии, который с помощью англичан спровоцировали враждебные России круги при персидском дворе. Так развивались на Кавказе внешнеполитические события, начало которых было связано с именем А. П. Ермолова.

---

[1] А. С. Пушкин. Письма. Редакция и примеч. Л. Б. Модзалевского, т. III, с. 90—91.

Но при этом важно помнить, что в пору своего управления Кавказом Ермолов прославился не только победами над войсками Аббаса-Мирзы, но и как жестокий царский колонизатор, именем которого пугали детей в горах. С особой свирепостью были подавлены при нем крестьянские восстания в Грузии в 1819—1820 годах, когда имеретинские и гурийские крепостные деревни поднялись против князей.

В свете всех этих фактов по-новому выглядит намерение Лермонтова писать роман о кавказской войне, с Тифлисом при Ермолове, с его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которых погиб Грибоедов в Тегеране. Хотя об этом замысле мы знаем по пересказу и слова «диктатура» и «кровавое усмирение Кавказа», может быть, и не принадлежат Лермонтову, тем не менее можно догадываться, что отношение Лермонтова к Ермолову, так же как и отношение к нему Пушкина, было сложным. Но широкое изображение кавказской гражданской и военной жизни во времена Ермолова, показ событий, связанных с персидской войной и последовавшей за нею тегеранской катастрофой, говорит о том, что герой задуманного романа мыслился Лермонтову как человек, близкий к Ермолову и Грибоедову.

Если вспомнить, что в последний год жизни Лермонтов подружился на Кавказе с Львом Сергеевичем Пушкиным и постоянно виделся с ним, что Лев Пушкин участвовал в персидской войне, будучи юнкером «лермонтовского» Нижегородского драгунского полка, то можно почти с полной уверенностью сказать: они беседовали о Персидском походе и Лермонтов знал от Льва Сергеевича о неосуществившемся замысле Пушкина писать историю ермоловских войн на Кавказе. Очевидно, собственный его замысел представляет своего рода «эстафету», принятую от Пушкина.

Но в самое последнее время обнаружены такие факты, которые проливают на историю этого замысла новый, яркий свет.

3

До недавнего времени оставался неизвестным тот факт, что Лермонтов написал «Кавказца» и «Спор» после свидания с Ермоловым.

Свидание это состоялось зимою 1841 года. Это явствует из чернового письма генерала Павла Христофоровича Граббе, командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории, к Алексею Петровичу Ермолову.

Письмо это, помеченное 15 марта 1841 года, обнаружено С. А. Андреевым-Кривичем в Центральном военно-историческом архиве в Москве.

«В <письме Вашем от 17 февраля>,— начинает и вычеркивает Граббе,— кн. Эристов доставил на прошедшей неделе нашего выборного человека с письмом Вашим от 17 пр. м-ца. В этом письме Вы упоминаете о г. Бибикове, о котором Вы за три дня перед тем <отправили> писали ко мне [слово вычеркнуто, неразборчиво] в ожидании его я замедлил ответом на последнее, не имея сведения, получены ли два письма мои к Вам, одно по почте, другое с г. Лермонтовым отправленные. <Это сведение я надеялся найти в>. Но ни г. Бибикова, ни этого сведения еще покуда нет. Долее откладывать ответа не смею и не могу» [1].

Этот документ потребует еще дополнительного изучения, но и без того ясно, что неофициальные сношения Граббе с Ермоловым, в которых Лермонтов принимал хотя бы косвенное участие, представляют собой очень большой интерес. Тем более что, направляя перед этим с письмом к Ермолову другого офицера — штабс-капитана Милютина, Граббе 15 февраля 1840 года писал:

«Приласкайте его и расспрашивайте о чем хотите. Он... передаст Вам изустно хорошо и подробнее, нежели позволило бы то письменное изложение» [2].

Очевидно, и Лермонтову было поручено что-то передать Ермолову на словах.

Итак, Лермонтов ехал в Москву к Ермолову с письмом от Граббе — человека ермоловского круга и ермоловского образа мыслей.

Граббе начал службу в 1805 году и через три года был определен адъютантом к Ермолову, с которым вместе

---

[1] С. А. Андреев-Кривич. Кабардино-черкесский фольклор в творчестве Лермонтова.— «Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института», вып. 1. Нальчик, 1946, с. 260.

[2] Письмо П. Х. Граббе к А. П. Ермолову от 15 февраля 1840 г. из Ставрополя («Алексей Петрович Ермолов. Материалы для биографии, его рассказы и переписка»).— «Русская старина», 1896, № 10, с. 107.

участвовал и в Бородинском сражении. «Совершенно отеческое его обращение со мною оставило во мне сыновнюю к нему привязанность,— писал Граббе в своих «Записках».— Мое отношение к А. П. Ермолову со времени моего адъютантства,— пишет он несколько дальше,— еще более походило на быт семейный» [1].

Якушкин посвятил Граббе в цели тайного общества, и в 1820 году он был принят Фонвизиным в «Союз благоденствия» [2].

Узнав, что Александр I получил донос о существовании тайного общества, Ермолов, как мы уже говорили, предупредил его участников через Граббе. Вскоре за тем Граббе был сослан за проявление «духа неповиновения», а вслед за декабрьским восстанием заключен на четыре месяца в крепость, откуда выпущен и снова обращен в военную службу [3].

Граббе, как передавал его сын П. А. Висковатову, «высоко ценил ум и беседу Лермонтова» [4] и старался ему покровительствовать, когда поэт, вторично сосланный, прибыл на Кавказ, в его штаб-квартиру. Сохранились сведения о том, что зимой 1840/41 года Лермонтов вместе с Львом Пушкиным совершенно запросто бывал в его доме в Ставрополе [5].

Первая встреча Лермонтова с Ермоловым произошла, очевидно, сразу же по прибытии поэта в Москву, то есть в первых числах февраля 1841 года.

О чем могли беседовать опальный поэт с опальным генералом?

Хотя Пушкин в «Путешествии в Арзрум» и пишет, что у него с Ермоловым «о правительстве и политике не было ни слова», на самом деле, как следует из текста того же «Путешествия», речь у них шла именно о политике: о персидской войне, о Паскевиче, о «Записках Курбского», о

---

[1] «Из памятных записок графа Павла Христофоровича Граббе». М., 1873, с. 17, 106.

[2] См.: И. Д. Якушкин. Записки, изд. 7-е, 1925, с. 26, 63—64; М. В. Нечкина. А. С. Грибоедов и декабристы. М., Гослитиздат, 1947, с. 202.

[3] «Восстание декабристов». Материалы, т. VIII, «Алфавит декабристов», с. 73.

[4] П. А. Висковатов. Михаил Юрьевич Лермонтов в действующем отряде генерала Галафеева во время экспедиции в Малую Чечню в 1840 году.— «Русская старина», 1884, № 1, с. 85.

[5] А. И. Дельвиг. Мои воспоминания, т. I. М., 1913, с. 297.

немецком засилии при дворе; кроме того, они говорили о Грибоедове. Дипломатическая служба и гибель Грибоедова — в их устах это тоже была политика...

Четверть века спустя, в 1854 году, Ермолова посетил молодой в ту пору историк и биограф Пушкина — Петр Ив. Бартенев. Разговор зашел о сдаче Москвы, о совещании в Филях. Ермолов вспомнил графа Ростопчина, Жуковского, помогавшего писать в 1812 году военные бюллетени, о любви к Жуковскому М. И. Кутузова.

Заговорили о том, что русские полководцы отличались блестящим образованием, и опальный генерал с увлечением стал рассказывать Бартеневу о Суворове, при котором служил. «Написать его историю никто не может,— говорил он,— его характер ускользает от описания».

Вспомнил, как Суворов, после взятия Праги, принимал в Петербурге Державина; от него перешел к Пушкину, к Лермонтову, сожалея о его ранней гибели... [1]

Интересно при этом, что Ермолов вспомнил о Лермонтове, рассказывая Бартеневу только о тех, кого знал лично...

Выяснив теперь, что замыслы романов из времени наполеоновских войн и о ермоловских войнах на Кавказе Лермонтов вынашивал уже после свидания с самим Ермоловым, можно с большей уверенностью предположить, что в беседе с прославленным полководцем поэта интересовали его суждения и об усмирении Кавказа, и о персидской войне, и о Грибоедове. Но с не меньшим интересом должен был вслушиваться Лермонтов в воспоминания его о Суворове, о Бородине, об оставлении Москвы, о взятии Парижа. Все эти события составляли этапы боевой славы Ермолова, и эти же темы отразились в планах последних замыслов Лермонтова.

...Поэт находился уже в Петербурге, когда туда «в связи с бракосочетанием наследника Александра Николаевича» прибыл Ермолов и тотчас по приезде, как сообщает биограф, просил военного министра Чернышева доложить государю о его приезде.

«Но день проходил за днем, и, наконец, наступил и канун свадьбы, а ответа все еще не было... Вследствие того Ермолов решился вторично написать Чернышеву, и

---

[1] См.: П. Б[а р т е н е в]. Разговор с А. П. Ермоловым (Из недавних записок).—«Русский архив», 1863, с. 436—442.

государь хотя напоследок и принял его, уже в самый день свадьбы, но без особой аудиенции, а просто перед разводом, в толпе других являвшихся, откланивавшихся и пр.»[1].

Это было 16 апреля 1841 года, на другой день после внезапной высылки Лермонтова из Петербурга. Срок пребывания в столице для свидания с бабушкой кончился, и Бенкендорф с Клейнмихелем поспешили удалить поэта в связи с предстоящей свадьбой наследника.

По дороге в Москву, в дилижансе, в альбоме, подаренном ему накануне отъезда В. Ф. Одоевским, Лермонтов написал «Спор», в котором изобразил могучее движение на Кавказ русских войск под предводительством генерала Ермолова. Стихотворение приобретало особо глубокий смысл именно потому, что из всех завоевателей Кавказа Лермонтов избрал фигуру полководца, близкого к декабристам, находившегося в опале и в оппозиции к николаевскому правительству.

От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки;
Веют белые султаны,
Как степной ковыль,
Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль;
Боевые батальоны
Тесно в ряд идут;
Впереди несут знамены,
В барабаны бьют;
Батареи медным строем
Скачут и гремят,
И, дымясь, как перед боем,
Фитили горят.
И, испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.
Идут все полки могучи,
Шумны, как поток,
Страшно-медленны, как тучи,
Прямо на восток.

В таком контексте имени Ермолова никогда бы не пропустила цензура и, если бы поняла, о ком идет речь, на-

[1] «Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его биографии, собранные М. Погодиным». М., 1864, с. 403.

Споръ

Какъ-то разъ предъ толпою
Соплеменныхъ горъ
У Казбека съ Шатъ-горою (*)
Былъ великій споръ.
„Берегись! сказалъ Казбеку
Седовласый Шатъ,
Покорился человѣку
Ты недаромъ, братъ!
Онъ настроитъ дымныхъ келій
По уступамъ горъ;
Въ глубинѣ твоихъ ущелій
Загремитъ топоръ;
И желѣзная лопата
Въ каменную грудь,
Добывая мѣдь и злато,
Врѣжетъ страшный путь.
Ужъ проходятъ караваны
Черезъ тѣ скалы,
Гдѣ носились лишь туманы
Да цари-орлы.
Люди хитры! хоть и труденъ
Первый былъ скачокъ,
Берегися! многолюденъ
И могучъ востокъ!„

(*) Шатъ — Елбрусъ.

«Спор». Автограф Лермонтова, Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва

верняка запретила бы стихотворение. Примечания от издателя могли только повредить делу.

Известие о гибели Лермонтова привело Ермолова в ярость. Старый полководец понял, что убийца отделался от наказания только потому, что выполнил давнишнее желание царя и придворной аристократии. «Уж я бы не спустил этому Мартынову! — говорил Ермолов Бартеневу, в гневе притопывая ногой.— Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать да, вынувши часы, считать, чрез сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься!» [1]

«Как хорош был сребровласый герой Кавказа,— замечает Бартенев,— когда он говорил, что поэты суть гордость нации!»

---

[1] П. Б[артенев]. Разговор с А. П. Ермоловым (Из недавних записок).— «Русский архив», 1863, с. 440—441.



Строки из писем 1841 года

Весть о том, что Лермонтов убит на дуэли Мартыновым, дошла до Москвы и до Петербурга в конце июля — начале августа с кавказской почтой и распространилась среди читающей публики только благодаря частным письмам. Напрасно тогдашний читатель Лермонтова стал бы искать в газетах или журналах объяснения причин его гибели. Писать о дуэлях было запрещено. Некоторые столичные журналы перепечатали глухую корреспонденцию из Пятигорска, помещенную в «Одесском вестнике»:

«15 июля, около 5 часов вечера,— говорилось в этом сообщении,— разразилась ужасная буря с молниею и громом; в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. С сокрушением смотрел я на привезенное сюда бездыханное тело поэта...»

«Нельзя без печального содрогания сердца читать этих строк»,— писал Белинский в «Отечественных записках», приведя это сообщение. И чтобы читатели могли понять, что Лермонтов умер не своей смертью, а убит на дуэли, великий критик процитировал строки из «Евгения Онегина» — описание гибели Ленского:

Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный

Увял на утренней заре!
Потух огонь на алтаре!..[1]

Это все, что можно было в ту пору узнать из печати.

Только в 60-х годах появились первые упоминания о дуэли Лермонтова с Мартыновым. Публикуя в 1869 году воспоминания о Лермонтове Е. А. Сушковой-Хвостовой, известный историк и публицист М. И. Семевский сопроводил их заметкой, в которой призывал лиц, знавших поэта, поделиться своими воспоминаниями, а Мартынова, жившего в ту пору в Москве, осветить обстоятельства, приведшие к трагической гибели Лермонтова[2].

Мартынов не отважился написать о том, как он убил Лермонтова, и ответил письмом. Назвав себя «орудием воли провидения», он рекомендовал обратиться к князю А. И. Васильчикову: тот был секундантом на этой дуэли и мог-де более объективно изложить причины столкновения и самый ход поединка[3].

Васильчиков отозвался на приглашение, и в 1872 году, тридцать один год спустя после трагического события, в журнале «Русский архив» появилась его статья «Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым»[4].

В этой статье Васильчиков охарактеризовал и эпоху, и нравы, и личность поэта, картинно описал его, стоящего под дулом пистолета Мартынова, вспомнил «спокойное, почти веселое выражение, которое играло на лице поэта», и черную тучу, разразившуюся ужасной грозой, и перекаты грома, певшие «вечную память новопреставленному рабу Михаилу»[5]. Но при этом изобразил дело так, будто Лермонтов сам напросился на дуэль и поставил своего противника в такое положение, что тот не мог не вызвать его.

Впоследствии П. А. Висковатов дознался от князя, что Мартынов некоторым лицам сообщал подробности «несо-

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. V, с. 455—456.
[2] «Воспоминания Е. А. Хвостовой. 1812—1835». С предисловием и заметкой М. Семевского.— «Вестник Европы», 1869, № 9, с. 341—346.
[3] «Записки Екатерины Александровны Хвостовой, рожд. Сушковой. 1812—1841 гг. Материал для биографии поэта М. Ю. Лермонтова», изд. 2-е. СПб., 1870—1871, с. 257—258.
[4] А. И. Васильчиков. Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым.— «Русский архив», 1872, № 1, с. 205—214.
[5] Там же, с. 211.

гласно с действительностью или, по крайней мере, оттеняя дело в свою пользу» [1], что высказать все печатно, покуда Мартынов своих сообщений в печати не делал, он, Васильчиков, не считал себя вправе, но теперь, когда Мартынов скончался и в печать «проскочило кое-что из сведений не в пользу Лермонтова», он уже не считает себя обязанным молчать о том, что Мартынов всегда хотел, чтобы секунданты его обелили [2].

В частности, когда Висковатов (уже после смерти Мартынова) спросил Васильчикова, почему в своей статье он ничего не сказал о том, что Лермонтов показывал явное нежелание стрелять в своего противника, князь ответил, что «не хотел подчеркивать этого обстоятельства, но поведение Мартынова снимает с него необходимость щадить его» [3].

Тем не менее Васильчиков умер (в 1881 году), так и не раскрыв подлинных обстоятельств гибели Лермонтова.

После смерти его были опубликованы факты, которые не только не сняли с него ответственности, а, наоборот, заключали в себе новые против него обвинения в том, что он подстрекал Мартынова и вел себя по отношению к Лермонтову двулично.

Действительно, если внимательно вчитаться не в мемуары, не в догадки биографов Лермонтова, не в писания падких на сенсацию журналистов прошлого века, а в документы, дошедшие до нас из 1841 года, невольно возникает сомнение в искренности заявлений Васильчикова.

Условия дуэли назначены самые страшные. Стрелять до трех раз, после первого промаха можно вызвать противника на барьер [4]. Другими словами, поединок предполагает почти верный смертельный исход. По совету полковника Траскина, переданному через Васильчикова и Глебова, Мартынов исключает из своих показаний упоминание об условиях дуэли [5]. «Покамест не упоминай

---

[1] Висковатов, Биография, с. 423.

[2] Там же.

[3] Там же, с. 425.

[4] В. С. Нечаева. Суд над убийцами Лермонтова («Дело штаба Отдельного Кавказского корпуса» и показания Н. С, Мартынова).— В сб.: «М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы» [Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Отдел рукописей]. М., Соцэкгиз, 1939, с. 21.

[5] Там же,

о условии трех выстрелов,— пишет Глебов,— если позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего, надо будет сказать всю правду» [1].

И в то же самое время — 30 июля 1841 года, две недели спустя после события,— Васильчиков пишет приятелю, что «не в первый раз... участвовал в поединке, но никогда не был так беззаботен о последствиях и твердо убежден, что дело обойдется п<о> к<райней> м<ере> без кровопролития» [2].

Может быть, он рассчитывал, что Мартынов не будет стрелять? Нет! Он сознается Висковатову, что «Мартынов... давно злился на Лермонтова» и «мы не раз говорили Лермонтову, чтобы он был осторожнее относительно Мартынова» [3]. С другой стороны, ему известно о миролюбии Лермонтова... Все это мало вяжется между собой

Родственники и приятели Мартынова словно ждали смерти этого последнего участника дуэли. И как только Васильчиков умер, в печать широко потекли рассказы, имевшие цель реабилитировать память Мартынова, свалить вину на убитого и заодно очернить его, обвинив в неблаговидных поступках, разглашение которых должно было объяснить и оправдать поведение его убийцы. Так, были напечатаны выдержки из семейной переписки Мартыновых [4], рассказ друга семьи князя Д. Д. Оболенского [5], «История дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым», писанная сыном убийцы [6], свидетельства в пользу Мартынова лиц, незнакомых с поэтом и не бывших в Пятигорске в 1841 году.

Это было началом долголетней дискредитации Лермонтова на страницах дореволюционных газет и журналов, повторявших рассказ о пакетах, отправленных Мартынову с Лермонтовым и распечатанных по дороге, и о том, что Лермонтов непонятно вел себя по отношению к сест-

---

[1] «Из бумаг Н. С. Мартынова».— «Русский архив», 1893, № 8, с. 600.

[2] Академик С. Ф. Платонов. Новый документ о кончине Лермонтова.— «Вестник знания», 1928, № 3, с. 130—131.

[3] Висковатов. Биография, с. 416.

[4] «Из бумаг Н. С. Мартынова».— «Русский архив», 1893, № 8, с. 585—613.

[5] Там же.

[6] С. Н. Мартынов. История дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым.— «Русское обозрение», 1898, № 1.

ре Мартынова, что современники узнали ее в образе княжны Мери.

Эти инсинуации разоблачены в работе Э. Г. Герштейн. Она доказала, что Мартыновы охотно принимали у себя Лермонтова в продолжение четырех лет с того времени, когда, по версии о распечатанных письмах, между ними и Лермонтовым должны были возникнуть напряженные отношения. Доказано, что «Герой нашего времени», вышедший в свет весной 1840 года, не помешал Лермонтову видеть после этого семейство Мартыновых, чего не могло бы случиться, если бы у Лермонтова с сестрою Мартынова был любовный конфликт, подобный роману Печорина с княжной Мери [1].

Словом, эти рассказы, омрачавшие память убитого, не согласуются с более точными данными — записями из дневника современника и перепиской самих Мартыновых. Выясняется, что между Лермонтовым и Мартыновым недоразумений до лета 1841 года, которые могли бы отразиться на их отношениях и привести их к дуэли, не было [2]. Впрочем, мартыновские защитники не щадили не только Лермонтова, но и сестры Мартынова, дабы снять клеймо убийцы с него самого.

Усилия не прошли даром. Многочисленные статьи и заметки попали в обзоры литературы о Лермонтове, клевета проникла в его биографии.

Между тем свидетельства современников, разоблачающие мартыновских адвокатов, не были известны в то время и до поры лежали под спудом.

...В 1891 году, перелистывая у лотка на базаре старые книги, самарский гимназист Акерблом обнаружил в одной из них старое письмо, отправленное из Пятигорска три недели спустя после гибели Лермонтова — 5 августа 1841 года. Оно было писано дальней родственницей поэта Екатериной Григорьевной Быховец, в ту пору молодой девушкой, проводившей лето на Кавказских Водах. Быховец часто встречалась с Лермонтовым и рассказывала в этом письме, как утром в день дуэли гуляла с ним в железноводском парке, как поэт жаловался ей, что его гонит судьба, говорил о своей любви к Варваре

---

[1] Э. Г. Герштейн. Лермонтов и семейство Мартыновых.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 698.

[2] Там же, с. 694—696.

Александровне Лопухиной. На дуэли ему надо было стрелять первому, но он не хотел, «и тот изверг имел духа долго целиться, и пуля навылет!».

Акерблом послал письмо в Петербург, в редакцию журнала «Русская старина», где оно появилось в одной из книжек 1892 года [1]. Однако сведения, сообщенные Екатериной Быховец, плохо согласовались с широко известной версией Мартынова и Васильчикова и остались надолго без внимания.

В советское время стали доступны для изучения семейные архивы прошлого века и хранящиеся в них письма и дневники. И в печати все чаще стали появляться рассказы людей, слышавших о том, как происходила дуэль, не по прошествии времени, а сразу же после этого трагического события, как только бездыханное тело Лермонтова было доставлено в Пятигорск. И эти рассказы подтверждали сообщение молодой девушки, которая последнею видела Лермонтова перед отъездом его на место дуэли.

До нас дошли:

1. Письмо столичного жителя Полеводина к некоему Александру Кононовичу, писанное из Пятигорска в Петербург 21 июля 1841 года — то есть через шесть дней после дуэли [2].

2. Письмо Н. Молчанова к В. В. Пассеку от 27 июля из Пятигорска в Москву [3].

3. Письмо К. Любомирского к К. и В. Смольяниновым, отправленное «вскоре после дуэли» из Ставрополя в Одессу [4].

4. Запись из дневника московского почтдиректора А. Я. Булгакова от 26 июля, когда в Москву дошло первое известие из Пятигорска [5].

---

[1] В. Акерблом. Михаил Юрьевич Лермонтов в июле 1841 года.— «Русская старина», 1892, с. 765—769.

[2] А. Михайлова. Новонайденное письмо о дуэли и смерти Лермонтова.— «Литературное наследство», т. 58, с. 489—490.

[3] В. Смотров. Письмо Н. Молчанова к В. В. Пассеку о последних днях и гибели Лермонтова.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 715—716.

[4] Н. Бродский. Дуэль и смерть Лермонтова в откликах современников. — «Литературный критик», 1939, № 10-11, с. 250—251.

[5] Л. Каплан. А. Я. Булгаков о дуэли и смерти Лермонтова.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 707—710.

Пятница утро 25 или 26 Сент. 1841 [illegible]

— 26 — а знаю только что год 1841

что погода [illegible] — осенняя — что [illegible]

[illegible] мало писать [illegible] — и [illegible]

и так — [illegible] — а у меня на этой

[illegible] три листика [illegible] письма — и [illegible]

всего — послать ли письмо Атаману — [illegible]

[illegible] — Ну [illegible] только — что [illegible]

[illegible] — и [illegible] 26

[illegible] — и [illegible] во

[illegible] — и [illegible]

[illegible] — [illegible] все отдать [illegible] в

Москве — только ли [illegible] —

[illegible] ли [illegible] у Атамана, [illegible] —

[illegible]? — [illegible] — [illegible]

[illegible] хоть два слова, свою — [illegible]

[illegible] — и [illegible] — [illegible]

[illegible]

в Москву — без [illegible] письма — [illegible]

[illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

Николай — [illegible]

[illegible] — [illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] Сеня [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible] — [illegible]

[illegible] окно — [illegible] цветы

[illegible] — и [illegible] все

убрали — [illegible]

[illegible] — [illegible] свои прекрасные

руки — [illegible] только — [illegible] — и

[illegible] труда [illegible] почти

Письмо Т. А. Бакуниной братьям и сестрам (сентябрь, 1841). Страницы первая и третья. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР, Ленинград

5. Письмо того же Булгакова к П. А. Вяземскому от 31 июля 1841 года [1].

6. Запись от 31 июля в дневнике Юрия Самарина. По письму, полученному с Кавказа [2].

7. Письмо пензенского помещика А. А. Кикина, соседа Мартыновых, к дочери своей Марии Алексеевне Бабиной от 2 августа из села Воробьева [3].

8. Письмо П. А. Вяземского к А. Я. Булгакову — ответное, от 4 августа из Царского Села в Москву [4].

9. Письмо Мефодия Каткова Михаилу Каткову, посланное из Москвы в Берлин в августе 1841 года [5].

10. Письмо Андрея Елагина к отцу — А. А. Елагину от 22 августа из Москвы [6].

11. Письмо Александра Тургенева к А. Я. Булгакову — ответное, из Шанрозе в Москву, отправленное 26 августа [7].

Выдержки из писем А. Елагина, М. Каткова, П. А. Вяземского и А. И. Тургенева опубликовала Э. Г. Герштейн. В ее сопроводительной статье были высказаны верные и важные суждения о дуэли и смерти Лермонтова [8].

Теперь ко всем этим откликам мы можем прибавить еще одно письмо, новое, обнаруженное в Рукописном отделении Пушкинского дома Академии наук СССР [9].

Сестра Михаила Александровича Бакунина — Татьяна Бакунина сообщает братьям и сестрам подробности о смерти Лермонтова, услышанные ею от приехавших с Кавказа Шейна и Ржевского.

Датировано письмо «Пятница, утро, 25 или 26 сентября не знаю, а знаю, что год 1841». Написано, по всей

---

[1] Л. Каплан. А. Я. Булгаков о дуэли и смерти Лермонтова.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 711—712.

[2] Э. Г. Герштейн. Отклики современников на смерть Лермонтова.— В сб.: «М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы». М., Соцэкгиз, 1939, с. 68.

[3] Н. В. Дризен. Современник о М. Ю. Лермонтове.— «Русская старина», 1896, № 2, с. 316.

[4] Э. Г. Герштейн. Отклики современников на смерть Лермонтова.— В сб.: «М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы». М., Соцэкгиз, 1939, с. 67.

[5] Там же.

[6] Там же, с. 66.

[7] Там же, с. 68.

[8] Там же, с. 64—66.

[9] С этим письмом познакомил меня Н. Г. Розенблюм.

видимости, из Москвы, хотя из семейной перепески Бакуниных, опубликованной А. Корниловым, и не видно, чтобы во второй половине сентября Т. А. Бакунина выезжала в Москву из Прямухина [1].

Текст, имеющий отношение к Лермонтову, находится во второй части письма, помеченной «вечер».

«Шейн и Ржевский приехали,— пишет Бакунина,— мы обрадовались все трое; рука у него на перевязи, но кажется, он здоров, по крайней мере говорил.

Сейчас рассказывал про Лермонтова, он видел его убитого, он знал его и прежде; почти поневоле шел он на дуэль, этот страшный дуэль, и там уже на месте сказал М<артынову>, что отдает ему свой выстрел, что причина слишком маловажна, слишком пуста, и что он не хочет стреляться с ним. Но М<артынов> непременно требовал, оба прицелились, Лермонтов повернул пистолет в сторону, а тот убил его.

Невыносимо это, всю душу разрывает, так погибнуть, погибнуть поневоле лучшей надежде России; горе во мне, какое бы ни было, как-то худо облегчается временем, напротив, это все увеличивающаяся боль, которую я все сильнее, все мучительнее чувствую, покуда она не обхватит всю меня и я как будто потеряюсь в ней.

Об Лермонтове скоро позабудут в России — он еще так немного сделал,— но не все же забудут, и по себе чувствую, что скорбь об нем не может пройти, он будет жить, правда не для многих, но когда же толпа хранила святое или понимала его.

Мне кажется, я слышу, как все эти умные люди рассуждают, толкуют об Лермонтове, одни обвиняют, другие с важностью извиняют его, просто противно. Если же не противно, так уморительно смешно. Мне кажется, «Мос<ковский> вестник» очень верное выражение этого общества, его ничтожества и чванно-натянутой важности...»

Письмо очень значительно. Прежде всего, мы видим, как воспринята гибель Лермонтова в среде читателей его поколения, к которым относится сама Бакунина, ее братья, сестры, друзья. Это круг людей мыслящих и высокообразованных, в котором смерть Лермонтова воспри-

---

[1] А. А. Корнилов. Годы странствий Михаила Бакунина. М.—Л., ГИЗ, 1925.

нята как гибель «лучшей надежды России». Ощущение своего умственного и духовного превосходства над окружающими приводит Татьяну Бакунину к предположению, что Лермонтов — поэт «не для многих», непонятный «толпе» и что о нем скоро позабудут в России, ибо он «еще так немного сделал». Но горе, которое «худо облегчается временем», выражено с большой силой, и значение Лермонтова для последекабрьского поколения русского общества становится от того еще более ясным.

Воплощением ничтожества и важных «чванно-натянутых» разговоров о Лермонтове для Татьяны Бакуниной служит круг «Московского вестника». На самом деле подразумевается «Москвитянин»: «Московский вестник» прекратил существование в 1830 году. Но тот же Погодин, тот же Шевырев составляют ядро новой редакции. От шеллинговского любомудрия издатели «Москвитянина» уклонились в сторону неприкрытого шовинизма и восхваления патриархальных устоев. И для Татьяны Бакуниной, разделяющей вместе с братом восторг перед немецкой философией, рассуждения группы будущих славянофилов представляются ничтожными и малозначительными. Кстати, близкий к «Москвитянину» Юрий Самарин, даже будучи дружен с Лермонтовым, писал, что Пушкин не нуждается в оправдании, но Лермонтова «признали не все, поняли немногие» и что «нужно было простить ему многое»... Очевидно, слова Бакуниной, что «одни обвиняют, другие с важностью извиняют его», представляют собою как бы ответ на те разговоры, которые ведутся в кругу «Москвитянина».

Сведения о дуэли Лермонтова с Мартыновым, заключенные в этом письме, очень важны. Прежде всего потому, что исходят от человека осведомленного. Владимир Ржевский — адъютант графа Строганова, приехавший с Кавказа раненым, принадлежит к числу личных знакомых Лермонтова («он знал его и прежде...»). Более того: Ржевский видел убитого Лермонтова. Стало быть, находился во время дуэли в Пятигорске и свидетельствует, что Лермонтов «почти поневоле» шел на дуэль, на месте заявил, что отказывается от выстрела («сказал, что отдает ему свой выстрел»), что не хочет стреляться, потому что причина пуста, маловажна, и «повернул пистолет в сторону». Но Мартынов требовал...

Все это совершенно совпадает с рассказами других современников и подтверждается еще одним документом, который следует рассмотреть в этой связи.

В 1913 году в журнале «Русская старина» был напечатан анонимный «Дневник поездки по России в 1841 году». Опубликовал его и снабдил пояснениями А. А. Гоздаво-Голомбиевский, старший делопроизводитель Московского архива министерства юстиции, который определил, что вел этот дневник сын липецкого штаб-лекаря Николай Федорович Туровский, в молодые годы служивший в столице [1].

Выехав в апреле 1841 года из Петербурга на ревизию казначейств, Туровский в начале июня прибыл в Пятигорск, где оставался до 20-х чисел июля, следовательно, в числе первых русских читателей услышал о гибели Лермонтова.

Этому событию в его дневнике посвящена пространная и очень важная запись, которая, как ни странно, хотя и опубликована полвека назад, ни разу не перепечатывалась и не рассмотрена как материал для биографии Лермонтова, если не считать двух фраз из нее, процитированных ставропольским исследователем А. В. Поповым [2], и нескольких строк, использованных покойной М. Ф. Николевой [3]. Но полностью запись эта в научный оборот еще не вводилась. Между тем она заключает в себе много важных подробностей.

Вот эта запись:

«*18 июля.* Лермонтова уж нет, вчера оплакивали мы смерть его. Грустно было видеть печальную церемонию, еще грустней вспомнить, какой ничтожный случай отнял у друзей веселого друга, у нас — лучшего поэта. Вот подробности несчастного происшествия.

«Язык наш — враг наш». Лермонтов был остер, и остер иногда до едкости; насмешки, колкости, эпиграммы не щадили никого, ни даже самых близких ему; увлеченный игрою слов или сатирическою мыслью, он не рассуждал о последствиях: так было и теперь.

15-го числа, утро провел он в небольшом дамском

---

[1] «Русская старина», 1913, № 9, с. 492—528.

[2] А. В. Попов. Дуэль и смерть Лермонтова. Ставропольское кн. изд-во, 1959, с. 21.

[3] М. Ф. Николева. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М., Детгиз, 1956, с. 268.

обществе (у В-р-х) [1] вместе с приятелем своим и товарищем по гвардии *Мартыновым*, который только что окончил службу в одном из линейных полков и, уже получивши отставку, не оставлял ни костюма черкесского, присвоенного линейцам, ни духа лихого *джигита*, и тем казался действительно смешным. Лермонтов любил его, как *доброго малого;* но часто забавлялся его странностью; теперь же больше, нежели когда. Дамам это нравилось, все смеялись, и никто подозревать не мог таких ужасных последствий. Один Мартынов молчал, казался равнодушным, но затаил в душе тяжелую обиду.

«Оставь свои шутки, или — я заставлю тебя молчать» — были слова его, когда они возвращались домой. *Готовность всегда и на все* — был ответ Лермонтова, и через час два новые враги стояли уже на склоне Машука с пистолетами в руках.

Первый выстрел принадлежал Лермонтову, как вызванному; но он опустил пистолет и сказал противнику: *«рука моя не поднимается, стреляй ты, если хочешь»...*

Ожесточение не понимает великодушия: курок взведен, паф, и пал поэт бездыханен.

(кн. Вас-в и кон.-гв. оф. Гл-в); [2] но как бы то ни было,

Секунданты не хотели или не сумели затушить вражды

а Лермонтова уж нет, и новый, глубокий траур накинут на литературу русскую, если не европейскую.

В продолжение двух дней теснились усердные поклонники в комнате, где стоял гроб.

17-го числа, на закате солнца, совершено погребение. Офицеры несли прах любимого ими товарища до могилы, а слезы множества сопровождавших выразили потерю общую, незаменимую.

Как недавно, увлеченные живою беседой, мы переносились в студенческие годы; вспоминали прошедшее, разгадывали будущее... Он высказывал мне свои надежды скоро покинуть скучный юг и возвратиться к удовольствиям севера; я не утаил надежд *наших — литературных,* и прочитал на память одно из лучших его произведений. Черные большие глаза его горели; он, казалось, утешен был моим восторгом и в благодарность продекламировал несколько стихов, которые и теперь еще звучат в памяти моей.

---

[1] Верзилиных.— *Примеч. А. А. Голомбиевского.*

[2] Васильчиков и Глебов.— *Примеч. А. А. Голомбиевского.*

Вот они:

И скучно, и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды;
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.
А годы проходят — все лучшие годы!..

Любить?.. но кого же? на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя лишь заглянешь? — там прошлого нет и следа.
И радость, и мука, и все там ничтожно...

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем
вокруг,—
Такая пустая и глупая шутка...

Так провел я в последний раз незабвенные два часа с незабвенным Лермонтовым».

Прежде всего из этой записи можно извлечь некоторые данные о самом Н. Ф. Туровском.

Он знает Лермонтова с университетской скамьи («как недавно, увлеченные живой беседой, мы переносились в студенческие годы; вспоминали прошедшее...»).

В 1841 году они встретились в Пятигорске. Разговор шел о судьбе Лермонтова, о его надежде выйти в отставку («покинуть скучный юг и возвратиться к удовольствиям севера»), о его литературных замыслах, о надеждах читателей. Туровский прочел поэту какое-то из его лучших стихотворений. Лермонтов ответил чтением другого, самый выбор которого кажется символическим: «И скучно, и грустно, и некому руку подать...».

Судя по тексту записи, они встречались и в Петербурге: «Так провел я в *последний раз* незабвенные два часа...» Значит, были другие — не последние — встречи!

С Лермонтовым разговаривает его почитатель, человек если и не одного круга с ним, то, во всяком случае, соприкасавшийся с поэтом на протяжении целого ряда лет и поэтому лучше многих других ощущающий размеры потери: убит «наш лучший поэт», «глубокий траур накинут на литературу русскую, если не европейскую».

Туровский присутствует на погребении Лермонтова. И, подобно другим очевидцам, пишет, что «усердные поклонники» теснились в комнате, где стоял гроб. Он видит

слезы «множества сопровождавших» и рисует нешаблонный портрет, называя поэта «веселым другом друзей», отмечая его увлечение «игрою слов или сатирическою мыслию».

Важные сведения содержатся в той части записи, где речь идет о поведении Лермонтова на месте дуэли. Подобно другим лицам, находившимся в те дни в Пятигорске, Туровский утверждает, что Лермонтов не стрелял и произнес фразу: «рука моя не поднимается, стреляй ты, если хочешь»...

И — важнейшее сообщение, отсутствующее в других письмах и дневниках и поддерживающее выводы современных исследователей: «Секунданты не хотели или не сумели затушить вражды (Кн<язь> Вас<ильчико>в и кон<но->гв<ардейский> оф<ицер> Гл<ебо>в)».

В свете этой записи, сделанной на третий день после убийства и представляющей, таким образом, первый из дошедших до нас откликов на дуэль и смерть Лермонтова,— иначе воспринимаются слова Мартынова, сказанные им незадолго до смерти сыну о том, что «...никаких шагов со стороны секундантов в дуэли его с Лермонтовым к примирению противников сделано не было» [1].

Конечно, и в этой записи, как и в других, имеются неточности, несообразности, вроде утверждения, что ссора с Мартыновым в доме Верзилиных произошла «утром» 15 числа, тогда как это случилось вечером до этого за два дня, или что «через час» после ссоры враги уже стояли с пистолетами: важны не отдельные подробности, но общий смысл документа. А документы эти очень согласны между собою в целом. Их было одиннадцать. Теперь к этим записям 1841 года прибавилось еще два свидетельства. Оба принадлежат знакомым поэта, находившимся в этот трагический момент в Пятигорске. Оба получили сведения о дуэли прежде, чем появилась официальная версия, сводящая на нет политический смысл события.

Сопоставление всех этих писем и записей в дневниках до нас еще не производилось в печати. Между тем оно выявляет весьма важные обстоятельства, которые не согласуются не только с писаниями князя Васильчикова, но

---

[1] С. Н. Мартынов. История дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым.— «Русское обозрение», 1898, № 1, с. 421.

и с тем, что в продолжение многих лет повторяли биографы Лермонтова.

Поэтому попробуем события последних трех дней жизни Лермонтова рассмотреть «поэтапно» — от столкновения в доме Верзилиных до оценки действий Мартынова и широкого осмысления утраты. Разделим историю события на «пункты»:

1. От кого последовал вызов?
2. Была ли предпринята попытка к примирению противников?
3. Каковы были условия дуэли?
4. Что говорил Лермонтов на месте дуэли?
5. Не заявлял ли о своем отказе от выстрела?
6. Кому принадлежал первый выстрел?
7. Когда и как выстрелил Лермонтов?
8. Выстрел Мартынова.
9. Оценка действий Мартынова.
10. Источники сообщений.
11. Авторы писем оговаривают неточность или неполноту своих сведений.
12. Мысли о судьбах русских писателей.

Начнем с момента, когда Лермонтов и Мартынов вышли из дома Верзилиных.

Как развивался их диалог, не слышал никто. Здесь у Мартынова был полный простор для выгодного освещения завязки конфликта. В показаниях он утверждал, что в ответ на предупреждение его, что если Лермонтов попрежнему будет выбирать его предметом своих острот, то он заставит его перестать, Лермонтов ответил ему:

— Вместо пустых угроз, ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я никогда не отказываюсь от дуэлей, следовательно, ты никого этим не испугаешь [1].

Васильчиков передает эту фразу иначе:

— Потребуйте у меня удовлетворения [2].

Полеводин, описывая преддуэльные события и самый момент дуэли, пользуется этой мартыновской версией, давая ей, впрочем, резко отрицательную оценку. Тем не

[1] «Из бумаг Н. С. Мартынова».— «Русский архив», 1893, № 8, с. 597—598.

[2] А. И. Васильчиков. Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым.— «Русский архив», 1872, № 1, с. 210.

менее факты изложены «по Васильчикову» и сделано примечание в скобках («все это сказание секундантов»).

«Мартынов, выйдя от Верзилиных вместе с Лер<монтовым>, просил его на будущее время удержаться от подобных шуток, а иначе он заставит его это сделать. На это Лермонтов отвечал, что он может это сделать завтра и что секундант его об остальном с ним условится».

Туровский интерпретирует это объяснение очень похоже:

«Готовность всегда и на все».

При этом авторы писем не подвергают сомнению, что *поводом* к вызову на дуэль послужили карикатуры и шутки Лермонтова:

«Лермонтов, в присутствии девиц, трунил над Мартыновым целый вечер» (Полеводин).

«Лермонтов любил его, как *доброго малого*; но часто забавлялся его странностью...» (Туровский).

«Нарисовал Мартынова, объясняющегося в любви и сидящего в положении на корточках,— пишет друзьям Любомирский.— Показал ему карикатуру первому».

«Рисовал карикатуры, но совсем не хотел обидеть его» (Быховец).

«Сочинил на него какие-то стихи, к коим присовокупил очень похожий портрет Мартынова в странном его костюме» (Булгаков).

В своих показаниях Мартынов вначале написал прямо: «Я первый вызвал его» [1]. Этот ответ испугал Глебова и Васильчикова, которые послали ему в тюрьму записку с инструкцией, как отвечать. Инструкцию же они получили, как отметила В. С. Нечаева, от начальника штаба войск Кавказской линии полковника Траскина. Поэтому во второй редакции своих показаний Мартынов направил свои усилия к тому, чтобы ответственность за вызов возложить на убитого Лермонтова, доказать, что он — Мартынов — не мог сделать шагов к примирению, ибо Лермонтов дал совет вызвать его и что этот совет «был не что иное, как вызов» [2].

---

[1] Вопросы следователей Н. С. Мартынову 17 июля 1841 года и его ответы на них. В статье В. С. Нечаевой «Суд над убийцами Лермонтова».— В сб.: «М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы». М., Соцэкгиз, 1939, с. 53.

[2] Там же, с. 55.

«Всякий согласится,— писал Васильчиков в 70-х годах,— что вышеприведенные слова Лермонтова «потребуйте от меня удовлетворения» заключали в себе уже косвенное приглашение на вызов, и затем оставалось решить, кто из двух был зачинщиком и кому перед кем следовало сделать первый шаг к примирению» [1].

Эта версия возникла во время следствия. По существу же, никто не сомневался в том, что вызов принадлежал Мартынову:

«Мартынов вызвал его на дуэль» (Любомирский).

«Мартынов вызвал его на дуэль» (Елагин).

«Мартынка глупый вызвал Лермонтова» (Быховец).

«Он давно искал случая вызвать Лермонтова» (Елагин).

Вопреки утверждениям Мартынова, что Лермонтов «миролюбивых предложений... не делал», и Васильчикова, будто бы секунданты «истощили в течение трех дней... миролюбивые усилия без всякого успеха», современники знали другое:

«Лермонтов был согласен оставить, но Мартынов не соглашался» (Полеводин).

«Лермонтов отговаривал его от дуэли» (Любомирский).

«Тщетны были все усилия Лермонтова, ему сделалось наконец невозможным отклонить настояния своего противника» (Булгаков).

«Хотел и тут отделаться, как с Барантом прежде: сказал, что у него руки не подымаются» (Кикин).

В своей статье, напечатанной в «Русском архиве», Васильчиков утверждал, что они с Глебовым отмерили 30 шагов, последний барьер поставили на 10-ти и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на 10 шагов [2].

Во-первых, это не согласуется с тем, что писал Мартынов. «Был отмерен барьер в 15-ть шагов,— показал Мартынов на следствии,— и от него в каждую сторону еще по десяти» [3]. По Мартынову выходит, что первоначально противников разделяло расстояние в 35 шагов. Од-

---

[1] А. И. Васильчиков. Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым.—«Русский архив», 1872, № 1, с. 210.

[2] Там же, с. 211.

[3] Вопросы следователей Н. С. Мартынову 17 июля 1841 года и его ответы на них. В цит. статье В. С. Нечаевой, с. 52.

нако после дуэли секунданты называли совсем другое число: «Отмерили для барьера пять шагов, потом от барьера по пяти шагов в сторону, развели по краïний след, вручили им пистолеты и дали сигнал сходиться»,— пишет в своем письме Полеводин, к этим-то словам и делая примечание: «Все это сказание секундантов».

Значит, не 35 и не 30 шагов, а 15! Стреляться в пяти шагах! «В шести шагах»,— поправляет в своем письме Любомирский.

На месте дуэли Лермонтов сказал Мартынову, что не имел желания обидеть его и готов попросить прощения.

«Там уже на месте сказал М<артынову>, что отдает ему свой выстрел, что причина слишком ничтожна, слишком пуста» (Ржевский в передаче Бакуниной).

«Лермонтов говорил на месте дуэли, что не имел намерения обидеть его» (Любомирский).

«Торжественно повторил Мартынову, что ему не приходило в голову обидеть или огорчить его, что это была одна только шутка, что он готов просить прощения» (Булгаков).

Как вызванному, Лермонтову принадлежал первый выстрел. В этом авторы сходятся единодушно. Тем самым решается и вопрос, от кого последовал вызов.

«Первый выстрел принадлежал Лермонтову» (Туровский).

«Ему надо было первому стрелять» (Быховец).

«Лермонтову должно стрелять первому» (Любомирский).

«Ему надо было первому стрелять» (Булгаков).

«Сказал М<артынову>, что отдает ему свой выстрел» (Ржевский в передаче Бакуниной).

«Стрелять он не хотел» (Быховец).

«Лермонтов заявил, что стрелять в Мартынова не будет» (Полеводин).

«Лермонтов говорил, что не хочет стрелять в него» (Любомирский).

«Не хочет стреляться с ним» (Ржевский в передаче Бакуниной).

«Рука моя не поднимается, стреляй ты, если хочешь» (Туровский).

«Сказал, что руки у него не подымаются» (Кикин).

«Не хочет стрелять» (Булгаков).

Сказав это, Лермонтов продемонстрировал свое миролюбие и разрядил пистолет в воздух.

«Выстрелил вверх» (Кикин).

«Повернул пистолет в сторону» (Бакунина — Ржевский).

«Отвел руку и выстрелил в воздух» (Любомирский).

«Лермонтов выстрелил в воздух» (Катков).

«Лермонтов выстрелил в воздух» (Елагин).

«Он выстрелил на воздух» (Булгаков).

«Лермонтов выстрелил в воздух» (Самарин).

Но... «ожесточение,— как пишет Туровский,— не понимает великодушия».

«Пускай твоя рука не подымается, моя зато подымется» и Лермонтов в самое сердце навылет прострелен был» (Катков).

«Мартынов убил его, стреляя почти в упор» (Самарин).

«Мартынов подошел и убил его» (Елагин).

«Мартынов выстрелил метко, и Лермонтова не стало» (Любомирский).

«Этот изверг имел духа долго целиться» (Быховец).

«Сказал, что у него руки не подымаются, но <Мартынов> несмотря на то убил его»,— пишет Кикин, полный ненависти к Лермонтову и сочувствия к Мартынову. Но даже и он, злорадно сообщающий, что «...Николай застрелил мерзавца Лермонтова на дуэли», не может скрыть, что Мартынов убил человека, отказавшегося стрелять и разрядившего пистолет в воздух.

Неудивительно, что современники расценили эту дуэль как «зверский поступок», как «бесчеловечный поступок» и пишут: «Дуэль сделана против всех правил и чести» (Полеводин).

«Все говорят, что это убийство, а не дуэль» (Елагин).

«Мартынов поступил как убийца» (Булгаков).

«Требуют предать виновного всей строгости закона, как подлого убийцу» (Полеводин).

«Сердечно жаль Лермонтова, особенно узнавшим, что он так бесчеловечно убит» (Вяземский).

Может возникнуть вопрос: кто мог знать о том, что происходило на месте дуэли, кроме Мартынова и секундантов — Васильчикова и Глебова?

Но, во-первых, кроме Васильчикова и Глебова, там присутствовали Столыпин и Трубецкой, которых, по совету полковника Траскина, решено было не впутывать в дело. А кроме того, может быть, находились и другие свидетели.

Самое важное сведение, подтверждающее достоверность всех этих сообщений, содержится в воспоминаниях Эмилии Клингенберг, впоследствии Шан-Гирей — дочери Верзилиной, в доме которых произошла ссора поэта с Мартыновым. В этих воспоминаниях есть очень важная фраза:

«...Лермонтов будто бы прежде сказал секунданту, что стрелять не будет, и был убит наповал, *как рассказывал нам Глебов»* [1]. (Курсив мой.— *И. А.*)

Значит, сообщение о том, что Лермонтов не стрелял и не собирался стрелять, идет от человека, выступавшего в роли секунданта Мартынова. Перед судом Глебов действовал в интересах убийцы, однако перед знакомыми, тем более причастными к столкновению Лермонтова с Мартыновым, не счел нужным скрывать того, что было на самом деле.

Между тем от судей то обстоятельство, что Лермонтов выстрелил в воздух,— нужно было скрыть прежде всего. Поэтому в тот же вечер секунданты объяснили пятигорским властям, что Лермонтов не успел сделать своего выстрела [2]. Так и записано в протоколе осмотра места дуэли, который производился на другой день. Но когда следственная комиссия установила, что пистолет Лермонтова оказался разряженным, то Васильчиков беззастенчиво заявил, что «из его заряженного пистолета выстрелил я гораздо позже на воздух» [3].

Когда событие отодвинулось вдаль, Мартынов уже безбоязненно рассказывал приятелям, что на месте дуэли Лермонтов, приостанавливаясь на ходу, продолжал тихо целить в него:

---

[1] Э. А. Шан-Гирей. Воспоминания о Лермонтове и о предсмертном его поединке.— «Русский архив», 1889, № 6, с. 318.

[2] Акт от 16 июля 1841 года об осмотре места дуэли Лермонтова с Мартыновым.— «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», Пензенское кн. изд-во, 1960, с. 304.

[3] ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 15. Впервые в статье: Э. Г. Герштейн. Отклики современников на смерть Лермонтова.— В кн.: «М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы». М., Соцэкгиз, 1939, с. 65.

«Я вспылил. Ни секундантами, ни дуэлью не шутят... и спустил курок...» [1]

В дошедших до нас первоначальных откликах на гибель Лермонтова важнее всего согласное утверждение, что дуэль выглядела как убийство, организованное «противу всех правил чести и благородства и справедливости» (Булгаков). И что, несмотря на то что «обстоятельства дуэли рассказывают различным образом» — «всегда обвиняют Мартынова, как убийцу» (Елагин). В этом главный смысл писем, отправленных лицами, находившимися в Пятигорске или получившими письма с Кавказа от хорошо осведомленных людей. Так, например, А. Я. Булгаков познакомился через Н. В. Путяту с письмом Владимира Голицына, который общался в Пятигорске с тем кругом молодых людей, к которому принадлежал Лермонтов. Сохранились свидетельства, что в последние дни — перед самой дуэлью — отношения Лермонтова с Голицыным осложнились. Однако, судя по тексту письма Булгакова, сообщение Голицына из Пятигорска писано в защиту Лермонтова и во всем обвиняет Мартынова.

Кикин знает подробности со слов матери Мартынова. Но даже и это не объясняет вполне злобного и даже злорадного тона его письма.

Туровский употребляет фразу, которую сказала Лермонтову Эмилия Клингенберг: «Язык мой — враг мой» [2]. Возможно, что он принадлежал к числу знакомых Верзилиных и записал с ее слов эту подробность.

Как бы ни связывал секундантов уговор выгораживать Мартынова, скрыть всех подробностей они не могли, да, как мы видели на примере Глебова, даже и не стремились. И слухи о том, что Лермонтов убит против правил, пошли по Пятигорску в тот же вечер. Недаром пятигорскому коменданту приходилось выходить на порог домика Лермонтова и уверять собравшихся, что это честный поединок, а не убийство [3].

Ему не верили.

Не верили потому, что чувствовали неслучайный ха-

---

[1] «Еще о дуэли Лермонтова...» II. Письмо г. Бетлинга из Ардатова (Нижегородской губернии).— «Нива», 1885, № 20, с. 475.

[2] Э. А. Шан-Гирей. Воспоминания о Лермонтове и о предсмертном его поединке.— «Русский архив», 1889, № 6, с. 317.

[3] Висковатов. Биография, с. 434—435.

рактер ссоры, и, отмечая настойчивое желание Мартынова драться, невольно сопоставляли гибель Лермонтова с гибелью лучших людей России.

«Мартынов — чистейший сколок с Дантеса»,— писал Полеводин.

«Страшная судьба наших современных литераторов»,— продолжал Любомирский.

«Все русские поэты имеют одинаковую судьбу» (Катков).

«Его постигла одна участь с Пушкиным,— замечает Самарин.— Невольно сжимается сердце, и при новой утрате болезненно отзываются старые: Грибоедов, Марлинский, Пушкин, Лермонтов...»

Это написано задолго до знаменитого «мартиролога» Герцена!

«Странную имеют судьбу знаменитые наши поэты, большая часть из них умирает насильственной смертью,— замечает почтдиректор Булгаков, сановник многоопытный и «всезнающий» по профессии.— Таков был конец Пушкина, Грибоедова, Марлинского (Бестужева)... Теперь получено известие о смерти Лермонтова».

«Судьба его так гнала. Государь его не любил, великий князь ненавидел, не могли его видеть»,— пишет Екатерина Быховец, может быть, даже не отдавая себе отчета, какое ценное сообщение содержат эти, переданные ею, лермонтовские слова. Лермонтов намекнул ей, что он обречен, что он «оклеветан молвой» — если вспомнить здесь строчку из его «Смерти Поэта».

Об этой обреченности пишет Вяземский. В письме, отправленном с оказией, он намекает, что покушения на русскую поэзию более успешны, чем на французского короля:

«В нашу поэзию стреляют лучше, чем в Лудвига-Филиппа. Второй раз не дают промаха... На Пушкина целила по крайней мере французская рука, а русской руке грешно было целить в Лермонтова, особенно когда он сознавался в своей вине».

Три недели спустя после дуэли прозорливый А. Я. Булгаков писал:

«Князь Васильчиков будучи одним из секундантов можно было предвидеть, что вину свалят на убитого, дабы облегчить наказание Мартынова и секундантов... Намедни был я у Алек<сея> Фед<оровича> Орлова и он

дуэль мне совсем уже иначе рассказывал. Что это за напасть нашим поэтам...» [1]

Последняя фраза достаточно прозрачно намекает на то, что дуэль Лермонтова была подготовлена, так же как и дуэль Пушкина.

Приговор станет известен только через пять месяцев, но Булгакову уже ясно, что Мартынов будет освобожден от наказания, и порукой тому князь Васильчиков — сын влиятельнейшего сановника Российской империи и любимца царя. А генерал-адъютант граф Орлов — ближайший сотрудник Бенкендорфа и будущий преемник его на посту шефа жандармов, распространяет по Москве новую версию гибели Лермонтова, сваливает вину на убитого, опровергает сведения, полученные с Кавказа от посетителей Минеральных Вод.

Булгаков не сообщил версии графа Орлова, но угадать, что тот рассказывал ему, большого труда не стоит.

Рассказ о том, что Лермонтов распечатал пакет с дневником Натальи Мартыновой, был опубликован по желанию ее семьи в 1893 году. Но впервые был пущен для того, чтобы затемнить политический характер убийства, сразу же после дуэли. В этом свете и карикатуры и шутки выглядели как предлог, а причиной становилась фамильная честь Мартыновых. Не исключено, что Мартынова убедили в этом еще до дуэли и тем самым спровоцировали столкновение.

Еще важнее другое:

«Натолкнул Мартынова на мысль о дуэли из-за сестры один из жандармских офицеров, находившихся в Пятигорске в 1841 году, во время производства следствия по делу о его дуэли с Лермонтовым, который в таком смысле донес тогда о причинах дуэли генералу Дубельту» [2].

Речь идет о жандармском подполковнике Кушинникове, входившем в состав следственной комиссии по делу Мартынова.

Все эти сведения в 1892 году сообщил в печати П. К. Мартьянов, ссылаясь на московского полицмейстера Н. И. Огарева, который, в свою очередь, ссылался на

[1] «Письма А. Я. Булгакова к П. А. Вяземскому».— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 712.

[2] П. Мартьянов. Новые сведения о М. Ю. Лермонтове.— «Исторический вестник», 1892, № 11, с. 380.

какого-то офицера, служившего под его начальством. В нашей памяти это освежила Э. Герштейн.

Подобную информацию при желании можно было бы взять под сомнение: имя офицера не названо, сведения исходят из «третьих рук». Да и Мартьянов не вполне надежный источник...

Тем не менее Герштейн права: рассказ достоверен. Мы имеем возможность привести подтверждение этого факта.

Легенда о вскрытых письмах стала распространяться по Петербургу «именно на той самой неделе, когда почта принесла... известие о дуэли и смерти Лермонтова». И распространял эту легенду не кто иной, как генерал Дубельт!

Сообщение исходит от В. П. Бурнашева [1]. На одном из вечеров у А. Д. Киреева — управлявшего конторой императорских театров, который, будучи родственником Святослава Афанасьевича Раевского, вел издательские дела Лермонтова, Бурнашев встретил Дубельта, постоянного посетителя киреевских карточных вечеров. И слышал от него своими ушами, что причиной дуэли была нескромность Лермонтова, распечатавшего чужие пакеты.

Надо ли доказывать, что Бурнашев был весьма при этом далек от мысли заподозрить Дубельта в желании дискредитировать поэта. Для Бурнашева — это «превосходный рассказчик», «человек, приятный в обществе», «всезнающий русский Фуше». В данном случае важно учесть, что «воспоминания петербургского старожила» — В. П. Бурнашева появились в печати в 1873 году — на двадцать лет раньше, чем мартыновские приятели пустили в ход семейную переписку, долженствовавшую доказать, что причиной дуэли послужил неблаговидный поступок поэта.

В то же самое время, когда Дубельт распространял по Петербургу рассказ о распечатанных письмах, по Москве пошел слух, что «Мартынов имел право» вызвать Лермонтова, «ибо княжна Мери сестра его» (Елагин). Но даже и этот корреспондент, признающий за Мартыновым право требовать сатисфакции для удовлетворения

---

[1] В. П. Бурнашев. Городская легенда о причине последней дуэли Лермонтова (Из воспоминаний петербургского старожила 40-х годов).— «Биржевые ведомости», 1873, № 150.

фамильной чести, обвиняет его: «зачем он не заставил Лермонтова стрелять». И отмечает, что «обстоятельства дуэли рассказывают различным образом и всегда обвиняют Мартынова, как убийцу».

Письмо Андрея Елагина датировано 22 августа 1841 года. Но слух о «княжне Мери» пошел в те самые дни, когда в Москву приехал Орлов — после 8-го числа. Уже в первой половине месяца эту новость сообщил своим сестрам Т. Н. Грановский [1].

Эти рассказы не вязались с пятигорскими письмами. Иные сомневались в правильности московских слухов относительно «княжны Мери». «Мартынов — брат *мнимой княжны*, описанной в Герое нашего времени...» — писал Мефодий Катков.

Тем не менее клевета свое сделала. Россказни о княжне Мери и о том, что в лице Грушницкого изображен сам Мартынов, сообщая происшествию скандальный характер, отвели общественное внимание в другую сторону и тем самым позволили, казалось бы, раз навсегда скрыть политический характер дуэли.

Вот почему так важны эти письма, содержащие первые сведения о гибели Лермонтова. Они помогают восстановить картину убийства и последующие усилия III Отделения оклеветать Лермонтова и дезинформировать русское общество.

Строки из писем 1841 года сообщают правду о гибели Лермонтова и о преступлении Николая I и всей его клики, направлявших руку Мартынова.

К числу этих свидетельств следует приобщить, наконец, еще одно — новое, обнаруженное среди бумаг Верещагиной, полученных от профессора Мартина Винклера и переданных в Литературный музей, а затем в Ленинскую библиотеку. Это — письмо Екатерины Аркадьевны Столыпиной к сестре (матери А. М. Верещагиной) Елизавете Аркадьевне, отправленное из Середникова 26 августа 1841 года. В этом письме содержатся подробности гибели Лермонтова, причем пересказываются они со слов... секунданта Глебова! Этот важный документ впервые опубликовали в сборнике Ленинской библиотеки сотрудницы Литературного музея, исследователи Лермонтова И. А. Гладыш и Т. Г. Динесман.

---

[1] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М., 1897, с. 128.

«Мартынов,— пишет сестре Екатерина Аркадьевна,— вышел в отставку из кавалергардского полка и поехал на Кавказ к водам, одевался очень странно в черкесском платье и с кинжалом на боку,— Мишель, по привычке смеяться над всеми, все его называл le chevalier des monts sauvages и monsieur du poignard <рыцарь диких гор и господин с кинжалом>. Мартынов ему говорил: «полно шутить, ты мне надоел»,— тот еще пуще, начинали браниться и кончилось так ужасно. Мартынов говорил после, что он не целился, но так был взбешен и взволнован, попал ему прямо в грудь, бедный Миша только жил 5 минут, ничего не успел сказать, пуля навылет. У него был секундантом Глебов, молодой человек, знакомый наших Столыпиных, он все подробности и описывает к Дмитрию Столыпину, а у Мартынова — Васильчиков. Сие несчастье так нас всех, можно сказать, поразило, я не могла несколько ночей спать, все думала, что будет с Елизаветой Алексеевной. Нам приехал о сем объявить Алексей Александрович <Лопухин>, потом уже Наталья Алексеевна ко мне написала...» [1]

Самое важное в этом письме— утверждение, что Глебов, а не Васильчиков был секундантом Лермонтова, а Васильчиков— секундантом Мартынова. Этот факт бросает новый свет на отношение Васильчикова к убитому и к убийце и служит подтверждением выдвинутых против него обвинений.

Что Лермонтов пригласил в секунданты Глебова, впервые сообщил в печати П. К. Мартьянов еще в 1870 году. Об этом рассказывал ему В. И. Чиляев, в доме которого Лермонтов жил летом 1841 года [2].

Пятнадцать лет спустя В. П. Желиховская обнародовала в «Ниве» рассказ Н. П. Раевского, который в 1841 году жил в Пятигорске, знал лично и Лермонтова, и Мартынова, молодежь, которая окружала поэта [3]. Раевский тоже утверждал, что Лермонтов под вечер 15 июля встретился в колонии Каррас с Глебовым, а Мартынов

---

[1] И. Гладыш, Т. Динесман. Архив А. М. Верещагиной.— «Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина», вып. 26. М., 1963, с. 53—54.

[2] П. Мартьянов. Поэт М. Ю. Лермонтов по запискам и рассказам современников.— «Всемирный труд», 1870, № 10.

[3] «Рассказ Раевского о дуэли с Лермонтовым. Записано В. Желиховской»,— «Нива», 1885, № 7.

поехал на место дуэли с Васильчиковым. Теперь сведения подтверждаются. Установлена новая подробность, все более вскрывается ложь, которой было обставлено в ходе следствия убийство поэта.

Уже два дня спустя после дуэли — 17 июля — Мартынов в своих ответах Пятигорскому окружному суду показал:

«...находились за секундантов,—у меня корнет Глебов, а поручика Лермонтова — титулярный советник князь Васильчиков» [1].

Свой черновик Мартынов переслал из тюрьмы Васильчикову и Глебову, чтобы согласовать показания. Один из пунктов испугал секундантов, и Глебов пересылает в тюрьму записку, в которой содержится совет переписать показания в том духе, в каком считает полезным для дела флигель-адъютант полковник Траскин:

«Надеемся,— пишет Глебов,— что ты будешь говорить и писать, что мы тебя всеми средствами уговаривали». И снова: «Скажи, что мы тебя уговаривали с начала и до конца, что ты не соглашался» [2],— совет существенный: Мартынов не писал об уговорах, потому что, очевидно, их не было. И тут же фраза, находящаяся в полном противоречии со всем остальным:

«Я и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и во всем, но и потому, что не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова и приписываем этот выстрел несчастному случаю...» [3]

В своих показаниях Мартынов упомянул об условиях поединка — каждый из дуэлянтов имел право стрелять до трех раз. При этом уже невозможно было бы говорить о «несчастном случае» и о пуле, пущенной без прицела. И Глебов — мы уже говорили об этом — предупреждает в записке Мартынова:

«Теперь покамест не упоминай о условии 3 выстрелов; если позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего: надо будет сказать всю правду» [4].

Несчастному случаю Глебов приписывает выстрел Мартынова и в письме к Дмитрию Столыпину. Другими

---

[1] А. Н. Нарцов. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Тамбов, 1904, с. 158.

[2] Там же, с. 162.

[3] Там же.

[4] Там же.

словами, повторяет ту ложь, которая была сочинена для того, чтобы оправдать Мартынова и секундантов. И — понятно — о трех выстрелах, которые должны были произвести противники по требованию Мартынова, он Столыпину не сообщает. А в сторону правды считает возможным отклониться только в одном: он — Глебов — был секундантом убитого Лермонтова. Дмитрий Столыпин — его товарищ по юнкерской школе, а к тому же — родственник Лермонтова. И тут Глебов позволяет себе сообщить то, что в глазах друга должно снять с него хотя бы часть тяжелой вины.

Хотя письмо Глебова остается нам неизвестным и мы вынуждены довольствоваться пересказом Екатерины Аркадьевны Столыпиной,— мы можем сделать также некоторые другие заключения и выводы.

На Кавказе находится друг поэта Монго Столыпин. Он присутствовал при поединке Лермонтова с Мартыновым. Лермонтов убит на его глазах. Тем не менее его родной брат Дмитрий Столыпин и вся столыпинская семья узнают «подробности» поединка не от него, а от Глебова. О своем участии в этом деле Столыпин не может сообщить даже родным. Это — условие, поставленное Глебовым и Васильчиковым опять же, по предложению Траскина: имена Столыпина и Трубецкого не будут фигурировать в процессе — это невыгодно для остальных: Трубецкой и Столыпин — в опале.

Письмо Глебова важно для нас не только тем, *что* в нем сказано, а тем, что в нем *мало сказано*. Поражает чрезвычайная краткость пересказа Екатерины Аркадьевны. Разве она умолчала бы в письме своем к Елизавете Аркадьевне, если бы Глебов написал, что Лермонтов не хотел стреляться с Мартыновым и разрядил пистолет в сторону? (Эмилии Клингенберг он о нежелании Лермонтова стрелять сказал!) Не говорилось в глебовском письме и о том, что Лермонтов готов был просить прощения за шутки, не приводится его последняя фраза: «Рука моя не подымается...» Нет оценки поступку Мартынова. А разве можно сомневаться, что Столыпина передала бы сестре осуждение Глебова поступку Мартынова, если бы он его высказал. Словом, неправильно было бы сделать вывод, что дуэль протекала именно так, как изобразил ее Глебов в письме к Дмитрию Столыпину. Глебов не может пролить света на поведение Лермонтова и Марты-

нова на месте дуэли, и объясняется это его участием в деле: он обязан молчать. Поэтому-то письмо очевидца события и его непосредственного участника содержит в себе куда меньше правды, чем письма осведомленных современников, следивших за отношениями поэта с Мартыновым и сопоставлявших факты с их официальной интерпретацией. В конечном счете письмо Глебова поддерживает официальную версию, созданную по приказу из Петербурга для оправдания убийцы и секундантов. И нет никаких оснований, как это делается в последнее время в некоторых статьях о гибели Лермонтова, реабилитировать Мартынова, печатая выдумку про стрелявшего из засады пьяного казака[1]. Письма 1841 года опровергают все эти легенды и приближают нас к раскрытию одного из величайших преступлений тогдашнего общества.

[1] А. Швембергер. Трагедия у Перкальской скалы.— «Литературный Киргизстан», 1957, № 2, с. 102—115; В. Стешиц, И. Кучеров. Кто убил М. Ю. Лермонтова? — «Знамя юности» (Минск), 27 и 29 мая 1962 г.; «Молодой ленинец» (Калуга) от 3 и 8 июня 1962 г.; «Комсомолец Таджикистана» (Душанбе), «Ленинская смена» (Алма-Ата), «Смена» (Смоленск). См. также опровержение: Н. П. Пахомов, И. А. Гладыш, А. И. Гребенкова, К. Н. Виноградова, П. Е. Селегей и др. Кто убил Лермонтова? По поводу одной сенсации.— «Литературная газета», 1962, № 106.



Первый биограф

Заглядывая в примечания к Лермонтову, мы обязательно встречаем ссылки на Хохрякова: «копии Хохрякова», «материалы Хохрякова»... А кто такой Хохряков? О нем почти ничего не известно даже специалистам-лермонтоведам. Между тем в изучении Лермонтова он сыграл немалую роль.

Но лучше расскажем все по порядку.

1

В сентябре 1854 года в Пензенском дворянском институте появился новый учитель — Владимир Харлампиевич Хохряков. В послужном списке его значилось, что родом он из мещан Вятской губернии, окончил курс в Казанском университете со степенью кандидата и три года преподавал историю в Нижегородской гимназии. Он оказался образованным передовым педагогом и скромным, сердечным человеком. С чувством глубокой признательности вспоминали потом воспитанники Дворянского института своих любимых наставников — отца В. И. Ленина, Илью Николаевича Ульянова, преподававшего математику, и Владимира Харлампиевича Хохрякова. Много лет спустя их ученик П. Ф. Филатов — отец выдающегося советского окулиста Героя Социалистического Труда академика В. П. Филатова писал: «Всматриваясь теперь в далекое прошлое институтской жизни, я задаю себе вопрос, почему многих из нас не исковеркало это заведение?.. Почему из нас вышли люди, а не нравствен-

ные уроды?» Филатов считал, что воспитанники Дворянского института были всецело обязаны этим влиянию учителей, которые вносили в их жизнь «честный взгляд», «высшие нравственные принципы» и знания. Филатов любил математику, «пока ее преподавал в институте Ульянов». Историю заставил его полюбить Хохряков. «Этот учитель,— вспоминает Филатов,— поразил меня своей методой преподавания, и предмет, ненавистный мне прежде, стал моим любимым». Он рассказывает, что Хохряков давал ученикам книги из собственной библиотеки и разбирал в классе ученические «трактаты из прочитанного» так, как будто это были серьезные научные труды. Филатову Хохряков поручил реферировать обширную монографию Костомарова о Богдане Хмельницком [1].

Переехав в Пензу, Хохряков сразу же заинтересовался историей и культурой края, где ему предстояло жить и работать. И прежде всего теми людьми, которые помнили Лермонтова. Со дня гибели поэта прошло уже больше десяти лет. Но никто не писал его биографии, никто не собирал для нее материалов.

В своем имении Апалиха, в трех верстах от Тархан, доживал век Павел Петрович Шан-Гирей, муж двоюродной тетки поэта, отец Шан-Гирея Акима. Хохряков побывал у него. Старик помнил Лермонтова ребенком, помнил офицером, когда поэт приезжал к бабке в Тарханы. Некоторые детские произведения Лермонтова, его ученические тетради, пансионский табель о его успехах, письма к тетеньке Марье Акимовне сохранились в семье Шан-Гиреев. Другие рукописи Лермонтова привез из Петербурга и отдал на сохранение отцу Аким Шан-Гирей: записи лекций, читанных в юнкерской школе, ученическое сочинение «Панорама Москвы», автографы «Боярина Орши», драмы «Люди и страсти», «Тамань», писанную под диктовку Лермонтова рукой Шан-Гирея, альбом, который поэт возил в 1840 году с собой по Кавказу, с его

---

[1] Формуляр В. Х. Хохрякова из картотеки Б. И. Цилли, хранящейся в Пензенском краеведческом музее; «Адрес-календарь на 1853 год», ч. II, с. 193; П. Филатов. Юные годы.— Журнал «Псовая и ружейная охота», 1905, кн. 8, с. 45, кн. 9, с. 72—73; «Пензенские губернские ведомости», 1916, № 94. Ряд справок о службе В. Х. Хохрякова в Пензе сообщил мне А. В. Храбровицкий.

рисунками и еще неизвестными стихами: «На севере диком» и «Любовь мертвеца»; в нем же — черновики «Последнего новоселья» и предисловия к «Герою нашего времени». Какой-то ребенок уже исчеркал карандашом многие страницы альбома.

Некоторые из этих рукописей Павел Петрович подарил Хохрякову, другие одолжил на время для изучения [1].

В то время в Пензе жил Раевский — человек гораздо более близкий Лермонтову, чем старик Шан-Гирей, тот самый Святослав Раевский, который в 1837 году пострадал вместе с Лермонтовым по делу о «непозволительных стихах» на смерть Пушкина и по «высочайшему повелению» был сослан в Петрозаводск.

Судьба Лермонтова, можно считать, была уже предрешена в дни гибели Пушкина, когда появилось замечательное стихотворение «Смерть Поэта», напомнившее жандармам «воззвания к революции» — агитационные стихи декабристов. В те же дни решилась навсегда и участь Раевского. Только с ним самодержавие расправилось по-другому. Образованный человек, прослушавший курс двух факультетов Московского университета, талантливый литератор и юрист, занимавший хорошее положение в одном из столичных департаментов, Раевский после ссылки уже не вернулся в столицу и прожил жизнь, можно сказать, не у дел. Служил недолго в губернской канцелярии в Ставрополе, потом поступил секретарем к хану Букеевской орды Джангру, кочевал с ним около трех лет в Астраханских степях, с 1844 года поселился в своем маленьком саратовском имении Раевское. Через несколько лет переехал в Пензу и снова вступил в службу — в канцелярию Пензенского депутатского собрания, а с 1858 года стал посредником межевания земель в Пензенском, Городищенском и Мокшанском уездах. При селе Бекетовке Пензенского уезда у него было небольшое имение. Но жил он больше в самой Пензе, на Троицкой улице, в доме Кирьянова [2].

---

[1] В. Х. Хохряков. Препроводительное письмо в Публичную библиотеку в Петербурге от 27 декабря 1870 г.— Рукописное отделение Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 524, оп. 4, № 86, л. 7.

[2] Копия с аттестата С. А. Раевского, полученная мною от внучки его З. В. Трембовельской и правнучки О. В. Раевской; В. Х. Хохряков. Препроводительное письмо в Публичную библиотеку от 27 декабря 1879 г., примеч.

Познакомившись с Шан-Гиреем и Раевским, Хохряков завел специальную тетрадку, которую озаглавил «Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова». «Мне посчастливилось,— написал он на первой странице,— видеть довольно много рукописей Лермонтова и говорить о Лермонтове с людьми, знавшими его. Расскажу о том, что видел, что слышал: может быть, и пригодится.— В. X. 1857 г.» [1].

В эту тетрадку Хохряков стал заносить факты, относящиеся к биографии Лермонтова и к истории создания его произведений. Так, например, узнал от Шан-Гирея, что Лермонтов был перевезен из Москвы в Тарханы шести месяцев от роду — и записал. Упомянул, что у Шан-Гирея видел детские рисунки поэта. Отметил в тетради, что у Шан-Гирея было «еще несколько картин, нарисованных масляными красками», и портрет, на котором Лермонтов изображен ребенком. Что в Тарханах у няни сохранился другой портрет Лермонтова и «вид Тифлиса».

У Раевского оказались письма к Лермонтову А. М. Верещагиной и А. А. Лопухина — Хохряков сделал из них выписки. Переписал ученическое сочинение Лермонтова о Бородинском сражении («Le champ de Borodino»). Теперь, когда этих оригиналов не существует, мы можем пользоваться только выписками, сохранившимися в хохряковских тетрадях.

Хохряков пользовался каждым случаем, чтобы собрать новые сведения о великом поэте или описать еще неизвестную его рукопись.

Черновик письма Лермонтова к Михаилу Павловичу, брату Николая I, Хохряков раздобыл у некоего Ивана Симоновича Самсонова, жившего в Саратове, «в доме малолетних Устиновых» [2]. Как попал этот документ к Самсонову и кто такой вообще этот Иван Симонович Самсонов — ничего не известно. Но адрес, записанный в хохряковской тетради, поясняет, что письмо это шло от

---

[1] В. X. Хохряков. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова (л. 1—61).— Рукописное отделение Института русской литературы АН СССР, ф. 524, оп. 4, № 85, л. 2.

[2] Пометка на автографе чернового письма к Михаилу Павловичу: «От Самсонова». См.: А. Н. Михайлова. Рукописи Лермонтова. Описание («Труды Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина», т. II. Л., 1941, с. 54); В. X. Хохряков. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова.— Рукописное отделение Института русской литературы АН СССР, ф. 524, оп. 4, № 26, тетрадь № 3, л. 7.

2

Матеріалы для біографіи
М. Ю. Лермонтова(1)

Первая страница тетради В. Х. Хохрякова «Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова». Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград

двоюродного деда поэта Афанасия Алексеевича Столыпина, до половины 40-х годов жившего в Саратове и в саратовском своем поместье Лесная Нееловка. «Малолетние» Павел и Мария Устиновы были племянниками жены Столыпина, урожденной Устиновой [1]. Очевидно, Самсонов — сын уездного учителя [2] — был воспитателем этих малолетних племянников.

В руках Хохрякова побывали копии с тетрадей Лермонтова, в ту пору еще никому не известных. А стихотворения «Крест на скале», «В рядах стояли безмолвной толпой...», эпиграфы и запрещенные цензурой строки из «Измаил-бея», строки из поэмы «Каллы», отсутствующие в авторизованном списке, и по сей день известны нам только в копиях Хохрякова.

2

В 1870 году в одном из номеров «Московских ведомостей» появился циркуляр министерства внутренних дел. В нем говорилось:

«Министр народного просвещения сообщил, что инспектор Уфимской гимназии Хохряков желает передать императорской Публичной Библиотеке имеющиеся у него рукописи известного нашего поэта Лермонтова, часть которых принадлежит ему лично, другие же получены им от Павла Петровича Шан-Гирея и теперь, за смертью последнего, должны считаться собственностью наследников покойного, сыновей его Якима и Алексея Павловичей Шан-Гиреев».

Министр обращался с просьбой содействовать «к указанию места жительства помянутых братьев Шан-Гиреев или, по крайней мере, одного из них» [3].

Называя Хохрякова инспектором Уфимской гимназии, министр не ошибался: в 1868 году Хохряков действительно был перемещен из Пензенской гимназии, где служил около десяти лет, в Уфу, на должность инспектора. Впрочем, в 1870 году он снова вернулся в Пензу, на новую дол-

[1] Ф. Ф. Вигель. Записки. М., 1892, ч. VII, приложение: «Потомство А. Д. Панчулидзева» (Родословие).

[2] «Месяцеслов и Общий штат... на 1837 год», с. 675, где указано, что Симон Самсонович Самсонов — учитель арифметики в Вольском уездном училище.

[3] «Московские ведомости», 1870, № 165.

жность — инспектора народных училищ — и прожил в этом, уже родном ему городе до самой смерти.

Братья Шан-Гиреи откликнулись. Они не возражали против передачи рукописей в Публичную библиотеку. И вот скромный пензенский педагог безвозмездно принес в дар родной стране труд многих лет — собранные им произведения великого русского поэта, в большинстве своем еще никому не известные. Надо сказать, что рукописи, пожертвованные Хохряковым, и посейчас составляют значительную часть лермонтовского фонда Ленинградской Публичной библиотеки.

«Получив копию с рапорта Акима Павловича Шан-Гирея и письмо Алексея Павловича Шан-Гирея,— писал Хохряков в препроводительной записке,— имею честь послать в императорскую Публичную Библиотеку следующие автографы и копии сочинений Лермонтова:

А. Автографы, полученные мною от Павла Петровича Шан-Гирея: 1. Черкесы. 2. Альбом в голубом бархатном переплете 1826 г. 3. Общая тетрадь 1829 г. 4. Шесть переплетенных тетрадей лекций (юнкерской школы). 5. Menschen und Leidenschaften. 6. Боярин Орша и 7. Альбом в коленкоровом переплете.

Б. Не автограф,— получен от Павла Петровича Шан-Гирея. 1. Тамань (писан под диктовку Лермонтова).

В. Автографы, принадлежавшие мне.

1. Три письма Лермонтова к тетке. 2. Пансионский табель. 3. Прошение его императорскому высочеству. 4. Панорама Москвы (подписано Лермонтовым) и 5. Письмо Елизаветы Алексеевны к Лермонтову.

Г. Копии с автографов:

1. Измаил-бей. 2. Герой нашего века. 3. Звезда. 4. Не думай, чтоб я был достоин сожаленья. 5. Поле Бородина. 6. Le champ de Borodino. 7. Моя душа, я помню, с детских лет. 8. Песнь ангела. 9. Прелестнице. 10. Отворите мне темницу. 11. Два великана. 12. Вы не знавали князь Петра. 13. Отрывок из Боярина Орши. 14. Сосна. 15. Выписки из писем В. и Л. к Лермонтову. 16. Е. Нарышкиной. 17. Княжне А. Щербатовой. 18. Его превосходительству Башилову. 19. Сушковой и 20. Умеешь ты сердца тревожить.

Д. Копии не с автографов:

1. Кавказский пленник. 2. Корсар (в одной тетрадке с Кавказским пленником). 3. Литвинка. 4. Аул Бастунджи

(в одной тетради с Измаил-беем). 5. В рядах стояли безмолвной толпой. 6. Арфа. 7. Каллы. 8. Челнок. 9. Посвящение. 10. Что толку жить!.. Без приключений. 11. Баллада (Куда так проворно, жидовка младая). 12. Он был рожден для счастья, для надежд. 13. Гусар. 14. Тростник».

«Покорнейше прошу,— писал в заключение Хохряков,— «Материалы для биографии Лермонтова» передать в редакцию «Русской старины» (г. Семевский желал напечатать их в издаваемом им журнале), копии «Героя нашего века», «Измаил-бея» и «Аула Бастунджи», когда будут ненадобны, возвратить мне, о получении автографов и копий сочинений Лермонтова почтить меня уведомлением» [1].

Директор библиотеки А. Ф. Бычков о получении рукописей уведомлением его «почтил», но надежда Хохрякова, что Семевский напечатает «Материалы для биографии Лермонтова», не осуществилась. Не повезло Хохрякову с его «Материалами»! Еще в 1857—1859 годах он выслал свои заветные тетради в Петербург некоему Шишкину «для помещения в каком-нибудь журнале». Шишкин передал их в редакцию «Отечественных записок». Редактор журнала С. С. Дудышкин подготовлял в то время двухтомное издание сочинений Лермонтова. В лермонтовских рукописях он разбирался слабо, биографическими сведениями не располагал и очень был рад случаю «просмотреть доставленную в редакцию тетрадь «Материалы для биографии Лермонтова» [2].

Просмотр этот кончился тем, что Дудышкин привел «дословно целые страницы из тетради Хохрякова», не указав источника [3].

Но бескорыстный и деликатный Хохряков после этого еще проверял вводный очерк Дудышкина. И если тот не

---

[1] «Дело управления Императорской Публичной библиотеки по желанию инспектора Уфимской гимназии Хохрякова передать в Библиотеку имеющиеся у него рукописи Лермонтова».— Рукописное отделение Института русской литературы АН СССР, ф. 524, оп. 4, № 86, л. 7—8.

[2] С. Дудышкин. Ученические тетради Лермонтова.— «Отечественные записки», 1859, т. CXXV, с. 245.

[3] С. Дудышкин. Материалы для биографии и литературной оценки Лермонтова.— В кн.: «Сочинения Лермонтова, приведенные в порядок и дополненные С. С. Дудышкиным», т. II. СПб., 1860, с. V—XXII; Висковатов. Биография, с. 132.

успел «исправить неточности», то потому только, что, как предполагал Хохряков, «получил от меня исправленные сведения по отпечатании» [1].

Многим был обязан Хохрякову редактор этого первого систематического издания Лермонтова. Хохряков сообщил Дудышкину никому еще не известные тексты «Литвинки», «Аула Бастунджи», «Каллы», «Menschen und Leidenschaften», стихотворений «Моя душа, я помню, с детских лет...» и «Поле Бородина» задолго до того, как передал копии этих произведений в Публичную библиотеку [2].

Не повезло Хохрякову и с тем экземпляром «Материалов», который он выслал для Семевского. Ими пользовался редактор Лермонтова П. А. Ефремов, но опубликованы они не были [3].

В 1881 году в лермонтовских местах побывал биограф Лермонтова П. А. Висковатов. Ни Павла Петр. Шан-Гирея, ни С. А. Раевского в то время в живых уже не было. По совету управляющего Тарханами П. Н. Журавлева Висковатов побывал в Пензе и «получил от г. Хохрякова рукописные материалы для биографии М. Ю. Лермонтова». «Частью ими,— замечает Висковатов,— пользовался Дудышкин...» [4] Частью, очевидно, не пользовался еще никто.

За десять лет, протекших с того времени, когда Хохряков передал лермонтовские рукописи в Публичную библиотеку, ему удалось отыскать в Пензенском крае новые ценные материалы. Заинтересованный только в одном — чтобы они как можно скорее стали общественным достоянием — и питая глубокое уважение к столичным редакторам, он передал эти материалы Висковатову. «Кое-что получил и я от него,— замечает Висковатов в одной из сносок к своей книге,— и не премину передать что имею тоже в императорскую Публичную библиотеку» [5].

---

[1] В. Х. Хохряков. Отношение к попечителю Казанского учебного округа.— Рукописное отделение Института русской литературы АН СССР, ф. 524, оп. 4, № 115.

[2] «Сочинения Лермонтова, приведенные в порядок и дополненные С. С. Дудышкиным», т. II. СПб., 1860, с. 654.

[3] Висковатов. Биография, с. 251, примеч. 2.

[4] П. Висковатов. М. Ю. Лермонтов. Неизданное юношеское стихотворение его «Исповедь».— «Русская старина», 1887, № 10, с. 109.

[5] П. Висковатов. Предисловие к первой публикации поэмы Лермонтова «Каллы».— «Русская мысль», 1882, кн. 11, с. 1—3; Висковатов. Биография, т. VI, с. 251, примеч. 2.

В отличие от Дудышкина, Висковатов неоднократно ссылается на Хохрякова и на его «Материалы», но обещания своего передать полученные от него рукописи в Публичную библиотеку он не выполнил. По крайней мере, копию лермонтовской поэмы «Исповедь», которую Хохрякову подарил незадолго до смерти Раевский, Висковатов в Публичную библиотеку не пожертвовал: в 1930-х годах она случайно обнаружилась в Москве в архиве семьи Якушкиных. Одно из писем Лермонтова к Е. А. Арсеньевой, принадлежавшее Хохрякову, попало после Висковатова в руки А. Ф. Кони, а от него в Пушкинский дом. Не передал Висковатов в Публичную библиотеку и другого письма поэта к бабушке: оно попало туда уже после его смерти [1]. Не попали в Публичную библиотеку и хохряковские «Материалы», которые были у Висковатова. Четыре тетради, из которых три имеют характер черновых, а четвертая — чистовая — хранит пометы Висковатова, каким-то образом попали в руки историка литературы И. Н. Кубасова. В 1931 году Кубасов передал их в Библиотеку Пушкинского дома, а из библиотеки они поступили в Рукописное отделение Пушкинского дома и сравнительно недавно стали доступны для изучения.

В одном из примечаний к своей книге Висковатов говорит, что «г. Хохряков собрался было писать биографию Лермонтова», в другом — называет его «Материалы» «опытом биографии Лермонтова» [2]. Однако известные нам тетради Хохрякова, заключающие описания рукописей, копии текстов, даты, отдельные биографические факты, наконец, соображения самого Хохрякова, никак не напоминают собою «опыта биографии»: в них не видно ни системы, ни последовательности, хотя бы хронологической. Если же внимательно читать висковатовскую биографию Лермонтова, становится ясным, что Висковатов располагал более полными материалами Хохрякова, чем те, которые поступили в Пушкинский дом. Из этого можно заключить, что часть хохряковских материалов и до сих пор остается нам неизвестной.

---

[1] Лермонтов. т. III, «Academia», с. 564. Примечание Б. М. Эйхенбаума к поэме «Исповедь»; А. Н. Михайлова. Рукописи Лермонтова. Описание («Труды Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина», т. II). Л., 1941, с. 56, № 47.

[2] Висковатов. Биография, т. VI, с. 132, примеч. 1, с. 251, примеч. 2.

3

Но не один Хохряков интересовался в Пензе рукописями Лермонтова. Старательно коллекционировал их техник Губернской земельной управы Иван Алексеевич Панафутин. Через своего отца, служившего землемером у Павла Петровича Шан-Гирея, он получил в собственность автограф поэмы «Сашка», и, очевидно, от Шан-Гирея же достались ему еще две драгоценные рукописи — автограф «Измаил-бея» и черновой «Героя нашего времени», носивший заглавие: «Один из героев начала века». Эти рукописи Панафутин разрешил скопировать Хохрякову. Потому-то они и вошли в число копий, переданных в Публичную библиотеку [1].

В тетради, которую Хохряков начал заполнять в 1857 году, имеется запись: «В школе (юнкерской) Лермонтовым были написаны 1) Литвинка, 2) Измаил-бей и, вероятно, 3) Аул Бастунджи, 4) Каллы и стихотворения: 1. Тростник. 2. Челнок (По произволу дивной власти). 3. Посвящение (к Измаил-бею). 4. Что толку жить!.. Без приключений. 5. Баллада. 6. Он был рожден для счастья, для надежд и 7. Гусар (Гусар, ты весел и беспечен)».

В примечании указано: «Говорю только о тех произведениях, которых автографы или копии были у меня» [2].

Далее, в той же тетради: «К тридцатым годам относятся стихотворения, собранные в одну тетрадь. Стихотворений 118. Они переписаны не Лермонтовым (кроме последних 12), а им поправлены. Большая часть стихотворений без годов, записаны не в хронологическом порядке, некоторые напечатаны...» [3]

---

[1] «Памятная книжка Пензенской губернии на 1868—1869 год». Пенза, 1867, с. 26; Предисловие П. А. Висковатова к первой публикации поэмы Лермонтова «Сашка».— «Русская мысль», 1882, кн. 1, с. 65; В. Х. Хохряков. Препроводительное письмо в Публичную библиотеку от 27 декабря 1870 г.— Рукописное отделение Института русской литературы АН СССР, ф. 524, оп. 4, № 86.

[2] В. Х. Хохряков. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова.— Рукописное отделение Института русской литературы АН СССР, ф. 524, оп. 4, № 85, л. 13—13 об.

[3] Там же, л. 15 об.

Вслед за этим Хохряков приводит перечень стихотворений, составляющих тетрадь, известную ныне под названием «двадцатой».

Но интересно, что о существовании этих перечисленных Хохряковым произведений Лермонтова, включая «Литвинку» и «Аул Бастунджи», стало известно гораздо позднее — только в 1875 году, когда в Саратове была найдена тетрадь с неизвестными лермонтовскими стихами. Некий Родюков, служащий саратовского полицейского управления, доставил тогда в редакцию газеты «Саратовский справочный листок» находку — толстую тетрадь, сшитую из трех тетрадей, в которой заключалось 131 произведение Лермонтова, из них 84 в ту пору еще не появлялись в печати. Родюков случайно нашел эту тетрадь в архиве одного из местных учреждений, в бумагах, оставшихся после умершего чиновника Корнилевского, известного саратовского библиофила. Корнилевский был хорошо знаком с М. А. Щербатовой — дочерью Афанасия Столыпина и, очевидно, от нее и получил рукописи Лермонтова, в том числе тетрадку, которая одно время находилась в доме малолетних Устиновых [1].

Теперь выясняется, что за восемнадцать лет до того, как «Саратовский справочный листок» оповестил о находке, Хохряков и Панафутин уже располагали текстами из этих тетрадей. Впрочем, Хохряков саратовских тетрадей сам не видел, а пользовался списками Панафутина [2].

Но и после обнаружения подлинных рукописей в Саратове хохряковским копиям еще предстояло сыграть свою роль.

Приключения саратовской тетради не кончились. В ре-

---

[1] «Саратовский справочный листок», 1875, № 246, 1876, № 1. В одну из тетрадей Марии Афанасьевны Щербатовой в Рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (фонд Щербатовых) вклеена программа ее благотворительного «литературного чтения», в котором принимал участие и Корнилевский, исполнявший песенки Беранже.

[2] В. Х. Хохряков. Препроводительное письмо в Публичную библиотеку, в котором сказано (л. 8), что посылаемый им текст «Аула Бастунджи» — копия «не с автографа». Между тем в Саратове был автограф этой поэмы. Полная копия нынешней «20-й тетради» была у Панафутина, который передал ее Висковатову (Висковатов, Биография, т. VI, с. 77).

дакции «Листка» ее снова расшили и Родюкову вернули две части из трех — первую (118 стихотворений) и третью (с «Аулом Бастунджи»). Родюков попробовал было протестовать, но смирился и продал рукописи в открывшийся в Петербурге Лермонтовский музей. Что же касается тетради, которая оставалась в редакции «Саратовского листка» и заключала в себе копию «Литвинки» и автографы девяти стихотворений,— она попала в Казань и обнаружилась там в частных руках только в 1947 году [1]. До этого все редакторы Лермонтова печатали содержавшиеся в ней тексты по копии Хохрякова, снятой со списка Панафутина.

Но, увы, Панафутин не был так бескорыстен, как Хохряков. Принадлежавшие ему автографы Лермонтова он отослал в 70-х годах к брату своему Степ. Ал. Панафутину, который вел в Петербурге крупную книжную торговлю [2]. Тот обратился в Публичную библиотеку с предложением купить у него автографы «Сашки», «Измаил-бея» и «Героя нашего времени», но в канцелярии ему объявили, что «Сашка» — произведение не Лермонтова, а Полежаева, и покупка не состоялась. Что поэма с этим названием была не только у Полежаева, но и у Лермонтова, чиновнику втолковать не удалось [3]. Впоследствии Публичная библиотека приобрела черновой автограф «Героя нашего времени» от сына книгопродавца Дм. Степ. Панафутина [4]. Что же касается автографов «Измаил-бея» и «Сашки», то они ушли в частные руки и до сих пор остаются нам неизвестными: очевидно, давно погибли. «Сашка» печатается по копии со списка Панафутина. Пропуски в тексте «Измаил-бея» восстановлены по копии Хохрякова.

---

[1] «Дела Лермонтовского музея». Письма А. Родюкова к А. Бильдерлингу.— Рукописное отделение Института русской литературы АН СССР, «Саратовский листок», 1884, № 56; Б. Эйхенбаум. Казанская тетрадь Лермонтова.— «Литературное наследство», т. 45-46, с. 3—10.

[2] В. Х. Хохряков. Препроводительное письмо в Публичную библиотеку.— Рукописное отделение Института русской литературы АН СССР, ф. 524, оп. 4, № 86.

[3] Предисловие П. А. Висковатова к первой публикации поэмы Лермонтова «Сашка».— «Русская мысль», 1882, кн. 1, с. 67.

[4] А. Н. Михайлова. Рукописи Лермонтова. Описание («Труды Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина», т. II. Л., 1941, с. 32).

4

Теперь, когда мы получили возможность ознакомиться с подлинными хохряковскими тетрадями и знаем «Дело управления императорской Публичной библиотеки по желанию инспектора Уфимской гимназии Хохрякова передать в библиотеку имеющиеся у него рукописи Лермонтова» (оно почему-то тоже попало в Пушкинский дом), становится наконец понятным, какими «материалами г. Хохрякова» пользовались первые редакторы Лермонтова и от кого собирал эти материалы сам Хохряков.

Впрочем, и теперь еще многое остается неясным. Из материалов Хохрякова не видно, например, кому принадлежали и куда девались неизвестные нам автографы Лермонтова «Звезда», «Поле Бородина», «Моя душа, я помню, с детских лет», которые были в его руках. Хохряков не всегда указывал источники разысканных им текстов. В 60-х годах почетным мировым судьей в Городищенском уезде был Владимир Александрович Шеншин — друг Лермонтова университетской поры [1]. Автографы тех юношеских стихотворений, которые особенно ценились в кругу «лермонтовской пятерки», вернее всего могли принадлежать Шеншину.

Хохряков располагал автографами Лермонтова «Не думай, чтоб я был достоин сожаленья», «Песнь ангела», «Прелестница», «Отворите мне темницу», «Два великана», но не теми, которые знаем мы: кому принадлежали они — неизвестно.

Непонятно, откуда достал Хохряков текст поэмы «Каллы». В его списке имеются одиннадцать стихов, отсутствующие во всех других копиях.

Много вопросов возникает также в связи с теми материалами, которые Хохряков получил от Раевского.

«Письма и некоторые стихотворения Лермонтова, попавшие в руки следственной комиссии по делу о стихах,— писал Висковатов,— по окончании его были отданы Раевскому, а последний многое подарил Хохрякову» [2].

---

[1] «Памятная книжка Пензенской губернии на 1868—1869 год». Пенза, 1867, с. 120.

[2] П. Висковатов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Неизданное юношеское стихотворение его «Исповедь».— «Русская старина», 1887, № 10, с. 110.

Между тем не из чего не видно, чтобы Раевский дарил Хохрякову какие-нибудь лермонтовские рукописи, кроме авторизованной копии «Исповеди».

«Большая часть материалов и сведений г. Хохрякова, пожертвованных им в Публичную императорскую библиотеку,— заявляет Висковатов в другом месте,— передана была последнему Раевским» [1].

Это — уже совершенно неверно! В препроводительном письме в Публичную библиотеку Хохряков точно указал, какие именно рукописи Лермонтова принадлежали Раевскому:

«Автографы «Le champ de Borodino»,— писал он,— отрывки из Боярина Орши, стихотворений: Е. Нарышкиной, А. Щербатовой, Сушковой, «Умеешь ты сердца тревожить», «Вы не знавали князь Петра» и писем В. и Л. к Лермонтову принадлежат Святославу Афанасьевичу Раевскому». В Публичную библиотеку Хохряков передал только *копии* с этих автографов. Оригиналы переданы в Публичную библиотеку не были, оставались у Раевского и, очевидно, пропали.

Автографы писем Лермонтова к Раевскому тоже не попали ни к Хохрякову, ни в Публичную библиотеку: одно Раевский передал Шан-Гирею, три «сообщил» своей племяннице С. А. Эллис, два в 80-х годах каким-то образом оказались в руках коллекционера И. Е. Цветкова — вот и все известные нам письма Лермонтова к Раевскому. Печатая их, Висковатов ссылался на Шан-Гирея, на Эллис и на Цветкова. Хохрякова при этом он даже не вспомнил[2]. Оригиналы всех шести писем утрачены. Какие рукописи мог передать Раевский Хохрякову, остается нам непонятным, тем более что некоторые письма Лермонтова Раевский не отдал вообще никому.

В 1899 году в газетах промелькнуло сообщение о том, что в Смоленске, у Наталии Святославовны Романовской, урожденной Раевской, имеются письма Лермонтова к ее отцу. «Среди этих писем,— сообщал «Одесский вестник»,— были такие, которые невозможно было напечатать». По словам газеты, в одной из записок «поэт отчаянно разругал Дубельта» [3], одного из руководителей III Отделения.

---

[1] Висковатов. Биография, т. VI, с. 251, примеч. 2.

[2] «Сочинения Лермонтова». Под редакцией П. А. Висковатова. М., 1891, т. V, с. 411, т. VI. Приложение, с. 21,

[3] «Одесский вестник», 1899, № 14.

В этом и заключалась причина, по которой Раевский не показал этих писем даже биографу — Хохрякову, почему вообще — всю жизнь — хранил такое упорное молчание.

Раевский горячо любил и по-настоящему понимал Лермонтова и до старости сохранил эту любовь. Прочитав в 1860 году рукопись воспоминаний о Лермонтове Акима Шан-Гирея, он писал: «Соглашаясь на напечатание избранных тобою его бумаг, которые я берегу, как лучшие мои воспоминания, я считаю необходимым к избранному тобою письму его, писанному ко мне в Петрозаводск, присовокупить мои объяснения. В этом письме Мишель, между прочим, написал, что я пострадал через него» [1].

Раевский разъяснял, что, упомянув на допросе его имя, Лермонтов не причинил ему тем никакого вреда: объяснения Лермонтова составлены были не в том тоне, чтобы сложить на него какую-нибудь ответственность. Просто уже раньше у него были несогласия по службе и окружавшие его служаки воспользовались предлогом, чтобы ходатайствовать об отдаче его — Раевского — под военный суд. «Записываю это,— заявлял он,— для отнятия права упрекать память благородного Мишеля» [2].

Написать свои воспоминания о Лермонтове Раевский не мог. Рассказывать о том, как были созданы и через кого распространялись «непозволительные» стихи, какие люди окружали в ту пору Лермонтова, о чем беседовали они — Лермонтов и Раевский, когда жили в Петербурге на одной квартире и «вместе писали» роман,— об этом писать было нельзя даже и в 60-х годах. Вспомним, что только в 1863 году было впервые сказано в печати о том, что Пушкин погиб на дуэли, только в 1858 году впервые было опубликовано в России — без заключительных строк — стихотворение Лермонтова. На политический смысл этих событий нельзя было в ту пору даже и намекать. Писать же о Лермонтове, как Аким Шан-Гирей,— перечислять житейские мелочи — Раевский, разумеется, не хотел. А отчасти, вероятно, по скромности, не желая объявлять себя в печати другом знаменитого поэта. Не многое рассказал он и Хохрякову. Тем более ценно каждое сообщение, записанное последним со слов Раевского.

Некоторые записи Хохрякова уже давно вошли в науч-

---

[1] Висковатов. Биография, т. VI, Приложение, с. 21.
[2] Там же.

ный оборот, некоторые еще не опубликованы. В одной из его тетрадей имеется важная, еще не появлявшаяся в печати запись, касающаяся работы Лермонтова над «Княгиней Лиговской». «В конце тридцатых годов,— записал Хохряков,— Лермонтов начал писать роман, названия которого рассказывавший мне не помнит. Роман состоял из нескольких глав: в них говорилось о Средникове. Об этом романе Лермонтов писал тому же лицу: «Роман, который мы с тобою начали...» [1]

«Роман, который мы с тобою начали» — это фраза из письма Лермонтова к Раевскому 1838 года. «Княгиню Лиговскую» Лермонтов диктовал ему в 1836 году: «о Средникове», или Середникове в дошедших до нас главах нет ни одного слова. Таким образом, из записи Хохрякова выясняется, что Лермонтов по возвращении из ссылки пробовал продолжить работу над этим романом, что существовали неизвестные нам главы, в которых «говорилось о Средникове», то есть шла речь о жизни Печорина в подмосковном имении. А главное,— совершенная новость! — что «Героя нашего времени» Лермонтов начал писать непосредственно после того, как бросил работу над «Лиговской». Тогда становится понятным и *продолжение* фразы в лермонтовском письме: «роман, который мы с тобою начали, *затянулся и вряд ли кончится*, ибо обстоятельства, которые составляли его основу, переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступить от истины».

Со слов Раевского, Хохряков приводит и другой, еще неизвестный факт. Когда появились заключительные строки стихотворения на смерть Пушкина, в которых Лермонтов клеймил придворных, их не только публично читать, но и слушать было небезопасно. «С этим стихотворением был такой случай,— записывает Хохряков,— дама, называемая тогда «Ядро Российской истории», остановила Лермонтова, и не одного, при разъезде из театра и начала во всеуслышание декламировать это стихотворение, но едва послышались всем знакомые энергические стихи, слушателей уже не было»[2].

«Всем знакомые энергические стихи» — это и есть за-

---

[1] В. Х. Хохряков. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова.— Рукописное отделение Института русской литературы АН СССР, ф. 524, оп. 4, № 84, л. 37 об.

[2] Там же, № 85, л. 49 об.

ключительные про «надменных потомков известной подлостью прославленных отцов».

«По внушению Св[ятослава] Аф[анасьевича Раевского], втягивавшего Лермонтова в нашу народность,— записано у Хохрякова в другой тетради,— Лермонтов написал, может быть, песнь про купца Калашникова»[1].

Это уже, конечно, соображение самого Хохрякова, сделанное на основании какого-то воспоминания Раевского. Для исследователей имеют значение решительно все записи Хохрякова, включая такие, где говорится о том, каких произведений Лермонтова ему «не довелось видеть», но о существовании которых он слышал. Так узнаем, что были стихи Лермонтова, которые до нас не дошли

* * *

В 1885 году Хохряков оставил пост директора Пензенской учительской семинарии, на котором пробыл больше десяти лет, проводя в жизнь педагогические идеи Ушинского, и вышел в отставку. Но продолжал трудиться в ученой архивной комиссии и в губернском статистическом комитете. Он много сделал как историк и краевед. Ему принадлежат ценные труды по истории Пензы и края. И все же главная его заслуга перед отечественной культурой в том, что он первый, по живым следам, начал собирать рукописи Лермонтова и материалы для его биографии. Как много вложил он в это дело благородной и бескорыстной любви! Стоит только представить себе, сколько времени и внимания, сколько кропотливого труда надо было потратить хотя бы на одно переписыванье рукописей! И все это в интересах Лермонтова, в интересах русской культуры!

А между тем имя Хохрякова, как первого биографа Лермонтова, сперва оставалось в тени, а мало-помалу оказалось и вовсе забытым. В 1914 году отмечалось столетие со дня рождения Лермонтова. Газетчики суетились в поисках материала. Но никто не вспомнил о Хохрякове.

Он умер в 1916 году.

Он заслужил, чтобы имя его знали все, кому дорога поэзия Лермонтова.

---

[1] В. Х. Хохряков. Черновые тетради «Материалов для биографии М. Ю. Лермонтова».— Рукописное отделение Института русской литературы АН СССР, ф. 524, оп. 4, № 26, тетрадь 2, л. 8 об.



Судьба Лермонтова

1

Когда впервые летишь из Москвы в Тбилиси на ТУ-144, то сперва видишь словно на гигантской географической карте равнину России, потом степи Северного Кавказа, потом на краю их появляется Шат-гора, или Эльбрус, величавый даже с этой великой высоты, и как на рельефном макете открывается взору гранитный, сверкающий серебром снегов Кавказский хребет — ледяные вершины Донгузоруна, Шхельды, Ушбы, Тетнульда, Безенгийской стены... И вдруг среди них возникает Казбек — в одном ранге с Эльбрусом! И приходишь в радостное волнение, потому что видишь еще невиданное и тем не менее уже предвосхищенное лермонтовским стихом:

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою
Был великий спор.
«Берегись! — сказал Казбеку
Седовласый Шат,—
Покорился человеку
Ты недаром, брат!
Он настроит дымных келий
По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
Загремит топор,
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь...»

Каким же великим даром воображения обладал он, какою силою поэтического прозрения, если в ту пору, когда почтовая повозка влекла его по каменистой дороге по самому дну сумрачной пропасти, он сумел увидеть Кавказ с орлиной заоблачной высоты и описать его таким, каким видим его мы,— с двумя снежными вершинами, застывшими в вечном споре перед толпой соплеменных гор!

Откуда знал Лермонтов, создавая своего «Демона», как выглядят сверху Дарьял и Казбек?

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял;
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял...[1]

Именно такими видим их мы сейчас из окна сбрасывающего скорость и высоту самолета, под крылом которого уже мелькают зеленеющие долины Грузии, слияние Куры и Арагвы, одинокий монастырь на вершине, в котором томился гордый Мцыри, Тбилиси со сверкнувшей излучиной Куры и узкими улочками старых кварталов, куда вернулся из семилетних странствований бедный Ашик-Кериб,— весь лермонтовский Кавказ, впервые открывшийся русской поэзии с такой достоверностью и полнотой в его бессмертных творениях. Тот Кавказ, о котором Белинский сказал, что, будучи колыбелью поэзии Пушкина, он стал потом и колыбелью поэзии Лермонтова.

Нет, время бессильно состарить могучий дух лермонтовской поэзии! Вот почему, собравшись для дружеской непринужденной беседы, мы можем заговорить о Лермонтове как о живом явлении искусства, как о своем, нечаянно привести его стих, его метафору или строфу из его бессмертной поэмы.

И потому, когда мы произносим имя: Лермонтов — к глубокому раздумию и бесконечному восхищению, которые всегда возбуждает его поэзия, примешиваются чувства сожаления и горечи, словно от недавней потери. Вряд ли во всей мировой литературе можно вспомнить другого, столь же великого поэта, жизнь которого оборвалась так рано. Лермонтов погиб, не достигнув двадцатисемилетнего возраста. А поэзия его составила целый этап в развитии

[1] «Демон», шестая редакция, часть 1.

русской литературы. Имя его стоит вторым в ряду имен величайших русских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, Маяковский...

Не много было в мире поэтов с такой напряженной и увлекательной, трагической и скоротечной судьбой! В двадцать шесть лет Лермонтов достиг величайших высот в поэзии лирической, эпической, драматической, философской и в своей удивительной прозе, от которой пошел психологический русский роман и психологическая русская повесть. Лермонтов являет собою одно из величайших выражений человеческой гениальности. Но как различны между собою образ поэта, что возникает из чтения его стихов, и воссозданный в мемуарах его знакомых и сослуживцев! Впрочем, это не удивительно. Пушкина успели признать великим при жизни и при жизни уже берегли каждую строчку, запоминали слова. А Лермонтов восемнадцати лет был отторгнут навсегда от Москвы, от друзей, от круга, в котором воспитывался, в двадцать два года покинул столицу, последние годы провел в беспрерывных скитаниях. Из тех современников, что ставили его высоко как поэта, мало кто знал его близко, а случайные люди и впечатления сохранили случайные — о человеке, внутренний мир которого они не в силах были постигнуть.

Дробь и мелочь разрозненных фактов, дошедших до нас, мешает понять эту удивительную судьбу. Поэтому перелистаем страницы его жизни и его книг.

2

...Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве 3 октября 1814 года [1] и шести месяцев был увезен в Тарханы — пензенское имение своей бабки Е. А. Арсеньевой.

Матери он не помнил: мать умерла, когда ему шел третий год. Воспитывала его бабушка. Отец не жил с ними. Бабушка не любила отца: скромный отставной капитан Юрий Петрович Лермонтов был человек незнатный и небогатый, не ровня Елизавете Алексеевне Арсеньевой — женщине состоятельной, гордившейся своим родством и связями в обеих столицах. Овдовев, отец уехал в свое маленькое имение под Тулой, сына навещал изредка. Так и

---

[1] 15 октября нового стиля.

рос Лермонтов — круглым сиротой при живом отце и великим баловнем бабушки, не чаявшей в нем души.

Самые первые, а потому и самые прочные его впечатления — это скромный, прелестный пейзаж Пензенской губернии: дубовые рощи, обрывистые берега степных рек, непыльные проселочные дороги, кое-где березы, белеющие среди желтых полей, и далеко-далеко, как волны, синеют холмы.

Здесь, среди этих русских просторов, прошли первые тринадцать лет его жизни. Здесь — в Тарханах — слышал он народные песни, неторопливые рассказы об Иване Грозном, о волжских разбойниках, об атамане Разине, о Емельяне Пугачеве. Пугачева хорошо помнили многие старики: он шел через Пензу, а в Тарханах побывали его казаки. Рассказывали в народе, будто поблизости от Тархан в темном лесу зарыт котел с золотом. А зарыл его вооруженный человек, присланный от Пугачева, чтобы оделить мужиков. Будто один старик повстречал этого человека, и тот открыл котел, отсыпал ему целый кошель золотых монет. Только с тех пор место, где зарыт котел, не найти.

Зимой на замерзшем пруду устраивались кулачные потехи: молодые ребята — дворня и деревенские — сходились стенка на стенку. Под троицу дворовые девушки отправлялись в лес ломать молодые березки, плели венки, водили хороводы. И Миша Лермонтов с ними. У народа учился он чистой русской речи. Надо ли удивляться тому, что именно он написал потом единственную в своем роде «Песню про царя Ивана Васильевича...», колорит которой, по словам Белинского, «весь в руссконародном языке»? [1]

Вокруг дома — аллеи старинного сада, за садом — спящий пруд, затянутый сетью трав, а напротив усадьбы — в два ряда дымные, черные избы и белая церковь — село Тарханы. Живут в этом селе крепостные Арсеньевой, многие из них недавно возвратились из заграничного похода, рассказывают, как били Наполеона, как бежал без оглядки «непобедимый», иные помнят про день Бородина. А вернулись домой эти герои — и по-прежнему они бесправные безответные рабы, товар, барская собственность. По-прежнему розги и кнут заменяют человеческие слова. То же и у соседей. И с малых лет стоят в глазах Лермон-

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 517.

това картины насилия и несправедливости горького, унизительного рабства и безудержного произвола.

В детстве Лермонтов часто болел, и Арсеньева повезла его на Кавказ, в Горячеводск, как называли нынешний Пятигорск. Ехали на своих лошадях, через всю Россию. Путешествие продолжалось недели три. Наконец на краю государства встали Кавказские горы, парили в небе орлы и открылся суровый край войны. Тут переезды совершались не иначе, как под охраною пушки.

Из Горячеводска ездили на Терек, в Шелковое — имение Е. А. Хастатовой — бабушкиной сестры.

И на Тереке и в Горячеводске Лермонтов видел черкесов в лохматых шапках и в бурках, скачки джигитов, слышал горские легенды и песни. Все в этом крае было необыкновенно и ново — обычаи, нравы, характеры и горцев и русских: казаков, солдат, офицеров, на которых наложили свой отпечаток кавказская жизнь и законы долголетней войны. Жизнь, полная тревог, опасностей и лишений, рождала героев. Много было на Кавказе людей, неугодных правительству, недовольных порядками царской России. И Кавказ с ранних лет вошел в сознание Лермонтова как край свободы и чести, как родина благородных и возвышенных страстей. Вот почему, когда он начал писать стихи, то посвящал их Кавказу, как посвящают друзьям:

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный,
Как сына ты его благослови
И осени́ вершиной белоснежной.

Детство кончилось. Лермонтов поселился с бабушкой в Москве и поступил в университетский пансион. Это уже четырнадцатилетний подросток, одаренный, серьезный, хорошо подготовленный домашними учителями. Но гениальные способности еще не раскрылись в нем.

В пансионе преподавали лучшие профессора Московского университета. Большое внимание уделялось урокам литературы, или, как тогда говорили, русской словесности. Раз в неделю происходили заседания пансионского «литературного общества», где обсуждались сочинения и переводы воспитанников. Пансион этот окончили многие юноши, принявшие потом участие в восстании 1825 года. И дух свободомыслия не угасает среди новых пансионеров. По рукам ходят тетрадки с запрещенными произведениями — «Думы» и «Войнаровский» Рылеева, «Деревня»,

«Кинжал», послание к Чаадаеву Пушкина, «Горе от ума» Грибоедова, поэма Полежаева «Сашка». Немало пансионеров втайне сочувствует декабристам; им известны подробности восстания, их волнуют высокие цели тайного общества.

Лермонтов поступил в пансион осенью 1828 года. Только два года прошло с того дня, как у внешних бастионов Петропавловской крепости в Петербурге были повешены руководители декабристского движения. Поэт Огарев, принадлежавший к тому же поколению, что и Лермонтов, писал спустя много лет:

Мы были отроки. В то время
Шло стройной поступью бойцов —
Могучих деятелей племя
И сеяло благое семя
На почву юную умов.
Везде шептались; тетради
Ходили в списках по рукам;
Мы, дети с робостью во взгляде,
Звучащий стих, свободы ради,
Таясь, твердили по ночам.
Бунт, вспыхнув, замер. Казнь проснулась...
Вот пять повешенных людей...
В нас сердце молча содрогнулось,
Но мысль живая встрепенулась —
И путь означен жизни всей.

Лермонтов воспитался под впечатлением этой исторической трагедии. «Он всецело принадлежит к нашему поколению,— писал о нем Герцен.— Все мы были слишком юны, чтобы принимать участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы увидели только казни и изгнания. Принужденные к молчанию, сдерживая слезы, мы выучились сосредоточиваться, скрывать свои думы — и какие думы! То были сомнения, отрицания, злобные мысли» [1].

Уже в первых стихах Лермонтова, которые он начал писать в пансионе, громко зазвучали темы декабристской поэзии. Следуя Пушкину, следуя примеру поэтов-декабристов: Рылеева, Кюхельбекера, Владимира Раевского, пятнадцатилетний подросток писал о крае, где «стонет человек от рабства и цепей», и с горечью признавался, что этот край — его отчизна. Чтобы не слишком бросался в глаза

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VII, с. 225.

противоправительственный смысл этого стихотворения, Лермонтов озаглавил его «Жалобы турка».

Поэзию Лермонтова вдохновляла любовь к отечеству и свободе. Эта любовь определяла темы всех лучших его произведений. Перелистаем его юношеские тетради. «Опять вы, гордые, восстали за независимость страны»,— обращается он к повстанцам, поднявшим в 1830 году знамя свободы. Затем следуют стихи об июльской революции в Париже. Рядом с ними — подражание русской народной песне. Вслед за первыми набросками «Демона» идут отрывки из поэмы о татарском нашествии. Юный поэт проклинает «низкое тиранство» царей, прославляет «знамя вольности кровавой», воспевает древний Новгород — «колыбель воинственных славян».

В одной из этих тетрадей написано «Предсказание». Оно начинается словами:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет...

Российское дворянство с ужасом вспоминало год пугачевского восстания и прозвало его «черным годом». А Лермонтов пишет рядом с заглавием: «это мечта». И уже по одному этому можно судить о его тогдашних политических настроениях.

Подобно поэтам-декабристам, он призывает в своих стихах и поэмах подражать древним славянским героям, отдавшим жизнь за честь и свободу родного народа. В поэме «Последний сын вольности» он воспел «последнего вольного славянина». Это — легендарный новгородский герой Вадим, поднявший в IX веке восстание против иноземного князя Рюрика. Вадим пал в борьбе за свободу древнего Новгорода. Благословляя его на подвиг, старый новгородец предсказывает ему бессмертную славу:

Но через много, много лет
Все будет славиться Вадим;
И грозным именем твоим
Народы устрашат князей,
Как тенью вольности своей.
И скажут: он за милый край,
Не размышляя, пролил кровь,
Он презрел счастье и любовь...
Дивись ему — и подражай!

О Вадиме писали Пушкин и Рылеев. Этот образ был символом свободы.

Но Лермонтов не только использовал излюбленную декабристами тему: несколько строк в этой поэме он посвятил самим декабристам, сосланным в Сибирь на каторгу и на поселение:

Но есть поныне горсть людей,
В дичи лесов, в дичи степей;
Они, увидев падший гром,
Не перестали помышлять
В изгнанье дальном и глухом,
Как вольность пробудить опять;
Отчизны верные сыны
Еще надеждою полны...

К декабристам обращается он и в одном из юношеских стихотворений:

Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!..
До наших дней при имени свободы
Трепещет ваше сердце и кипит!..
Есть бедный град, там видели народы
Все то, к чему теперь ваш дух летит,—

и озаглавил стихотворение «Новгород». Заглавие должно было говорить само за себя.

Как раз в это самое время в Москве и в провинции в людных местах появлялись листовки, в которых декабристы именовались «благороднейшими славянами». Листовки призывали к восстанию, призывали следовать примеру древних славян-новгородцев, не знавших власти тиранов-царей и подчинявшихся законам республиканского строя.

Эти воззвания распространяли участники революционных кружков — молодые люди, которые разделяли взгляды декабристов и восхищались их подвигом. Но в отличие от декабристов, опасавшихся народной революции, авторы этих прокламаций призывали к восстанию народ. Уже из одного сопоставления стихов Лермонтова с этими прокламациями становится ясным, что поэзия Лермонтова выражала мысли и настроения передовой молодежи 30-х годов.

Лермонтов не только славил героев: он и сам мечтал уподобиться им, мечтал о подвиге во имя отчизны. В одном из стихотворений 1831 года он говорит:

За дело общее, быть может, я паду,
Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу...

«Общим делом» декабристы называли республику. По-латыни «res publica» и означает «дело общее».

Поэзия Лермонтова исполнена призывов к мужеству, к действию, к свершению героических подвигов. Лермонтову не исполнилось еще семнадцати лет, когда он писал:

Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.

Перед ним был великий образец поэзии и поэта — Пушкин. Пушкин, приезжавший в Москву и ходивший по тем же улицам, Пушкин, который бывал в тех же домах, что и он — Лермонтов, и в то же время незнакомый ему, отдаленный от него возрастом, положением, славой...

Перед ним лежали поэмы Пушкина: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», первые главы «Онегина», томик лирических стихотворений. Лермонтов знает их наизусть. Он благоговеет перед Пушкиным. Об этом он сам потом говорил Белинскому.

Вначале — мальчиком — он старался пересказывать Пушкина своими стихами, перефразировал его стихи. Написал своего «Кавказского пленника» — с другим концом, непохожим на пушкинский. Строчки Пушкина встречались в его стихах то и дело. Со временем такие заимствования становились все реже. Но внутренняя связь с поэзией Пушкина сохранилась у него до конца.

В эти юные годы он испробовал множество жанров. Изо дня в день он пишет баллады, элегии, думы, стансы, песни, послания, посвящения, романсы, эпитафии, мадригалы, эпиграммы, сентенции, подражания, использует жанры письма, завещания, монолога, вносит в тетради размышления в стихах, напоминающие страничку из дневника, сочиняет поэмы, трагедии, используя все богатства стихотворных размеров. Даже в юношеских созданиях — его ритмы, рифмы, построения строф удивительны.

Для настойчивой мысли, для мучительного душевного состояния или поразившего его воображение события Лермонтов годами ищет все новые и новые воплощения. Неторопливый рассказ, который ведет старый «дядя» в стихотворении «Бородино», сложился не сразу: он созревал много лет. Вначале, в юношеском стихотворении «Поле Бородина» он звучал как полный патетики монолог отвлеченного романтического героя:

Что Чесма, Рымник и Полтава?
Я, вспомня, леденею весь,
Там души волновала слава,
Отчаяние было здесь.
Безмолвно мы ряды сомкнули,
Гром грянул, завизжали пули,
    Перекрестился я.
Мой пал товарищ, кровь лилася,
Душа от мщения тряслася,
И пуля смерти понеслася
    Из моего ружья.

А через два года Лермонтов написал балладу «Два великана», в которой это же великое событие изобразил в сказочно-аллегорической форме:

В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далеких чуждых стран...
. . . .

И пришел с грозой военной
Трехнедельный удалец,—
И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец.

Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал:
Посмотрел — тряхнул главою...
Ахнул дерзкий — и упал!

А еще через три года в поэме «Сашка» нашел новое воплощение той же, никогда не остывавшей для него темы — русского подвига в Отечественной войне и крушения могущества Наполеона.

Но это настойчивое возвращение к одним и тем же темам и образам ничего общего не имеет с частым совпадением одних и тех же строк в разных произведениях, скажем, в «Исповеди», в «Боярине Орше» и в «Мцыри». Эти «самоповторения» вызваны тем, что ни «Исповедь», ни «Боярина Оршу» Лермонтов в ту пору, когда работал над «Мцыри», печатать не собирался. И смотрел на них как на черновые заготовки для новой поэмы, откуда можно было заимствовать для «Мцыри» наиболее удачные куски готового текста. Разве мог он предвидеть, что будет издано полное собрание его сочинений, в которое войдут произведения юных лет, те, что еще подростком он считал

не заслуживающими внимания публики. Взыскательность Лермонтова была поразительна! Уже в последние годы, когда он начал печататься, он отобрал для своего стихотворного сборника две поэмы из тридцати. И почти из четырехсот стихотворений всего двадцать шесть, среди которых нет ни одного даже относительно слабого, даже отдаленно похожего на другое. Сборник поражает разнообразием и строгостью выбора.

Целых десять лет, начиная с пансионской скамьи, Лермонтов трудился вдохновенно и напряженно. И ничего не печатал.

Что удерживало его от этого шага? Робость? Неуверенность в своих силах? Нет! С юных лет в нем жила глубокая вера в свое великое предназначение, непоколебимое убеждение, что он родился для свершения подвига. Он жил в убеждении, что должен выстрадать право называться поэтом:

Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки.
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет.

И вся жизнь Лермонтова — это никогда не прекращавшийся труд, непрерывные поиски совершенства, стремление выразить в поэзии еще небывалое.

По словам человека, хорошо знавшего его в последний период, Лермонтов переносил жизненные невзгоды, как они переносятся людьми железного характера, «предназначенными на борьбу и владычество». Как много эта характеристика объясняет нам в его творчестве и судьбе!

Он не искал занять скромное место на журнальной странице. Он должен был произнести перед миром слово, какого не сказал ни Пушкин, ни Байрон, ни кто другой из поэтов. А вступить на поэтическое поприще ему предстояло в эпоху, сверкавшую поэтическими талантами. И он медлил. Отдал как-то в «Атеней» — журнал пансионского инспектора профессора Павлова — стихотворение «Весна». Но имя свое скрыл под латинскою буквою «L». И снова надолго отказался от мысли стать литератором.

3

Осенью 1830 года он вступил в число студентов Московского университета, где ему предстояло учиться вместе с Герценом, Огаревым, Белинским, будущим автором «Обломова» Гончаровым.

Напуганное событиями 14 декабря 1825 года, николаевское правительство пуще всего опасалось, как бы Московский университет не превратился в «рассадник возмутительных мыслей», и поэтому ставило своею целью не просвещать и не образовывать юношество, а воспитывать в университете верных престолу чиновников. И преподавали в ту пору в университете в большинстве люди отсталые, не ученые, а чиновники от науки. Но даже это казенное направление не могло до конца подавить идейные и умственные интересы молодежи. «Больше лекций и профессоров,— вспоминал Герцен в своей гениальной книге «Былое и думы»,— развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений... Московский университет свое дело делал...» [1] А в статье «Провинциальные университеты» Герцен прямо вспоминает о Лермонтове, как о своем однокашнике. «Москва,— пишет он,— ...была во все продолжение несчастного тридцатилетия воспитательным домом России, последним убежищем мысли, науки, человеческих убеждений... В Москве возникла, развилась, расщепилась и возмужала современная русская мысль, качаясь в своей колыбели между протестом Чаадаева и воззрением славянофилов. И если впоследствии *исполнительная* часть литературы, ее прилавок, перешел в Петербург, то ее тема, мысль, задача — из Москвы, то ее люди — из Москвы. Лермонтов, Белинский, Тургенев, Кавелин — все это наши товарищи, студенты Московского университета» [2].

Самостоятельно мыслившие студенты составляли дружеские объединения, читали запрещенную литературу, рассуждали о деспотизме, о подвигах, совершенных ради свободы. «Мы были уверены,— писал Герцен,— что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней». «Мы

---

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VIII, с. 123.
[2] Там же, т. XV, с. 20.

вошли в аудиторию с твердой целью в ней основать зерно общества по образу и подобию декабристов» [1].

На весь университет прославились диспуты «Литературного общества одиннадцатого нумера». Это общество возглавлял Виссарион Белинский. Составляли его студенты-разночинцы, жившие в университетском общежитии, в комнате № 11. Здесь обсуждались сочинения Пушкина и Грибоедова, Белинский читал свою драму «Дмитрий Калинин», в которой обличал крепостников-помещиков, присвоивших «гибельное право» мучить себе подобных [2].

В кругу этих идей Лермонтов провел почти два года. Было свое дружеское объединение и у него: двое Шеншиных, Закревский, Поливанов, Алексей Лопухин — так называемая «лермонтовская пятерка». Это были молодые люди с живыми идейными интересами. Двое из них — Закревский и Николай Шеншин — вместе с Лермонтовым учились в университете.

Этот дружеский кружок Лермонтов изобразил в драме, которую написал во время пребывания в университете и озаглавил «Странный человек». Молодые люди ведут в этой пьесе патриотический разговор о значении 1812 года в русской истории, спорят об исторических судьбах России. В одной из сцен старик крестьянин рассказывает об истязаниях, которым подвергаются крепостные в деревне. Помещица не только сечет без вины: она колет девушек ножницами, приказывает выщипывать мужикам бороды «волосок по волоску», вывертывать на станке руки. «О мое отечество! мое отечество! — стонет герой пьесы, выслушав этот рассказ.— Проклинаю ваши улыбки, ваше счастье, ваше богатство,— восклицает он, обращаясь ко всему дворянскому обществу,— все куплено кровавыми слезами!»

Сцена эта очень сходна по духу с драмой Белинского «Дмитрий Калинин». Обоих авторов роднит общая ненависть к миру крепостников и сочувствие к страдающему народу.

Друзья считали Лермонтова гениальным поэтом, ценили в его стихах глубокие мысли и огненные чувства. Видно, кто-то из них сравнил его с Байроном. Лермонтова не смутило это сравнение:

---

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VIII, с. 117.
[2] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I, с. 498.

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой...

Природа одарила Лермонтова разнообразными талантами. Он обладал редкой музыкальностью — играл на скрипке, играл на рояле, пел арии из своих любимых опер, даже сочинял музыку. Есть сведения, что он положил на музыку свою «Казачью колыбельную песню», да ноты пропали после его смерти и до нас не дошли. Он рисовал и писал маслом и, если бы посвятил себя живописи, без сомнения, мог стать настоящим художником. Он легко решал сложные математические задачи, слыл сильным шахматистом. Он был великолепно образован, начитан, владел несколькими иностранными языками. Живая и остроумная беседа его была увлекательна. Казалось, все в жизни давалось ему легко. И все же свой гениальный поэтический дар он совершенствовал упорным трудом.

Однако от мысли стать в будущем литератором пришлось отказаться.

Вместе с другими студентами, враждебно настроенными по отношению к реакционной профессуре, Лермонтов принял участие в шумной студенческой выходке в день, когда слушатели двух отделений, собравшись на лекцию профессора Ма́лова, выгнали его из аудитории, провожая криками «ату его!», кидая вслед забытые им калоши. За эту историю попали в карцер Герцен, приятель Лермонтова Андрей Оболенский. Да и сам Лермонтов ожидал строгого наказания. Но дело тогда обошлось. А когда через год у Лермонтова произошли осложнения с профессорами во время экзаменов и он, уличив их в невежестве, отвечал дерзко, ему было «посоветовано уйти». Так сказано в официальном документе. Этот совет «уйти» означал исключение. По словам современника, обучавшегося в университете одновременно с Лермонтовым, поэт вместе с другими студентами «был выгнан из университета» за «нарушение университетского устава» [1]. Нарушениями же университетского устава назывались любые проявления вольномыслия. Месяц спустя за политическую неблагонадежность был исключен из Московского университета Белинский. Тем самым для них закрывался доступ и в другие универ-

[1] См.: «Литературное наследство», т. 56, с. 397—416.

ситеты России. Лермонтов об этом, очевидно, не знал. Летом 1832 года он переехал в Петербург, чтобы поступить в тамошний университет. Его не приняли. И тогда ему ничего другого не оставалось, как поступить в Петербурге в юнкерскую кавалерийскую школу. Он был возмущен и опечален. «До сих пор,— писал он из Петербурга своим московским друзьям,— я жил для литературной славы, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и вот теперь я — воин». Его утешали, приводили в пример прославленного партизана Дениса Давыдова, который сочетал военную службу и занятия поэзией. Это не успокоило Лермонтова. Он просил друзей не забывать его в «будущем заключении», просил писать ему. Письма из Москвы, уверял он, послужат единственной связью между его прошедшим и будущим, которые «идут в разные стороны, и между ними барьер из двух печальных, тяжелых лет». «Москва моя родина,— восклицал Лермонтов в одном из писем,— и такою будет для меня всегда!»

4

Из аудиторий Московского университета он попал в обстановку бессмысленных маршировок и бесконечных парадов, его окружал разгульный и грубый быт. Какова была обстановка в юнкерской школе, можно судить по тому, что воспитанникам ее было запрещено читать художественную литературу.

«Если вы продолжаете писать, не делайте этого никогда в школе и ничего не показывайте вашим товарищам, потому что иногда самая невинная вещь причиняет нам гибель,— писала Лермонтову из Москвы его старший и верный друг Мария Лопухина.— Остерегайтесь сходиться слишком быстро с товарищами, сначала хорошо их узнайте. У вас добрый характер, и с вашим любящим сердцем вы тотчас увлечетесь».

Близкие друзья ценили в Лермонтове добрый характер и любящее, нежное сердце. Но воспитанники юнкерской школы этого Лермонтова не знали.

По уму, по понятиям своим, по жизненному опыту и по таланту Лермонтов был много выше его окружавших. Все его новые товарищи принадлежали к знатным аристократическим фамилиям и разделяли светские предрассудки своих родных и знакомых. Их взгляды и понятия в

большинстве своем были Лермонтову глубоко чужды. Все ложное, неестественное, все натянутое и пошлое он высмеивал беспощадно и зло. Многие боялись его метких острот и шуток. Но в затеях и шалостях юнкеров он принимал самое живое участие. Не отставал он от них и на учениях: был силен и вынослив, крепко сидел на лошади, хорошо фехтовал на эспадронах (на саблях). Этим оружием, кроме него, владел только юнкер Мартынов — тот самый, имя которого проклинает каждый, кому дорога поэзия. Их встречи привлекали внимание. Фехтовали они ловко и хорошо.

Но по ночам, тайком, забираясь в пустые классы, Лермонтов зажигал свечу и писал — роман о горбатом Вадиме, примкнувшем к отрядам пугачевцев, поэму о Демоне, «восточную повесть» «Хаджи Абрек»... Можно только удивляться тому, что в условиях казармы он продолжал серьезные занятия литературой. Удивляться, что количество написанного за эти годы ничтожно по сравнению с тем, что он создал в Москве, не приходится!

В конце 1834 года он вышел офицером в лейб-гвардии Гусарский полк, квартировавший в Царском Селе, под Петербургом, и окунулся в полковую и светскую жизнь. Однако смысл и цель его жизни по-прежнему составляли занятия поэзией.

Однополчане Лермонтова рассказывали, что, если под руками у него не случалось бумаги, он выдвигал ящик стола и записывал на дне его пришедшие ему в голову строки. Многим запомнилось, как Лермонтов за шахматной доской, покуда противник обдумывал очередной ход, брал перо и рассеянно чертил на клочке бумаги усатые профили, а рядом с ними — головы горячих, нетерпеливых коней, время от времени записывая стихотворные строчки. Бывало, что в продолжение игры он успевал набросать целое стихотворение. Но только самые близкие друзья знали, что многие свои произведения Лермонтов вынашивал долгие годы.

Над поэмой «Демон» Лермонтов работал около двенадцати лет. Он начал ее писать еще в пансионе, а в последний раз переделывал и поправлял за два года до смерти. Благодаря этому незрелое юношеское сочинение превратилось в замечательнейшее произведение русской и мировой поэзии.

Свои наблюдения над жизнью петербургского света Лермонтов использовал в романе «Княгиня Лиговская» и

в драме «Маскарад», которую хотел непременно видеть на сцене.

В студенческие годы он писал пьесы и в стихах и в прозе, но читал их только близким и друзьям и, очевидно, никаких попыток поставить их на сцене не делал. На этот раз он решил отдать свою пьесу в Александринский театр и представил ее в драматическую цензуру.

В «Маскараде» он следовал примеру Грибоедова. В своей комедии «Горе от ума» Грибоедов обличил и высмеял чиновную Москву — фамусовых, скалозубов, молчалиных. Лермонтов в «Маскараде» обличал аристократический Петербург, цвет императорской столицы — карьеристов, злых интриганов, темных проходимцев, шулеров, карточною игрою составлявших целые состояния. Он обличал алчность аристократии, ее лживость, высокомерие, ханжество, ее духовное ничтожество. Эту надменную знать он показал в игорном доме, на маскарадном балу и снова за картами. Он выбрал из жизни великосветского общества такие моменты, когда внешние светские приличия отбрасывались и выступали наружу одни обнаженные низменные страсти. Эта мысль — изобразить светский Петербург на маскарадном балу — дала Лермонтову возможность беспощадно раскрыть интимные тайны аристократического общества:

Под маской все чины равны,
У маски ни души, ни званья нет,— есть тело.
И если маскою черты утаены,
То маску с чувств снимают смело.

Но и в иное время — вне маскарада — Лермонтов видел перед собой в светской толпе лишь «образы бездушные людей, приличьем стянутые маски». Профессор С. Н. Дурылин отметил, что, таким образом, название пьесы относится не только к маскарадному балу, на котором завязалась трагедия Арбенина и Нины: «Маскарад» — весь блестящий аристократический Петербург, где под личиной внешней благопристойности и благовоспитанности скрываются порок и преступление. С поразительной смелостью клеймил Лермонтов это общество, выражал свое презрение к нему, свою непримиримую ненависть. «Как женщине порядочной решиться отправиться туда, где всякий сброд»,— говорится в пьесе о костюмированных балах в доме Энгельгардта, которые постоянно посещал сам Николай I и члены его семьи.

Герой пьесы Арбенин наделен мятежным духом, сильной волей, умом. Но он связан с великосветским обществом рождением и воспитанием и напрасно стремится обрести независимость и личную свободу. Он живет по законам общества, которое сам считает бесчестным, и, пытаясь защитить свою честь в его глазах, становится злодеем. Пороки Арбенина — это пороки общества: Арбенин — и «жертва» и «палач». Он не только страдает, но несет страдания другим.

Эту мысль Лермонтов развил потом в «Герое нашего времени».

Драматической цензурой ведал начальник III Отделения граф Бенкендорф. Он потребовал, чтобы Лермонтов переделал пьесу, выбросил нападки на маскарадные балы в столице и «дерзости против дам высшего общества». Более того: он потребовал, чтобы Лермонтов написал другой конец и завершил бы пьесу примирением между «господином и госпожою Арбениными». Дважды заставил он Лермонтова переделывать «Маскарад», но постановку так и не разрешили. Это понятно: никакие переделки не изменили, да и не могли изменить самый замысел — разоблачить аристократию, опору императорского трона.

А. Н. Муравьев, хорошо знавший закулисную историю этого дела, писал, что цензура III Отделения, познакомившись с «Маскарадом», «получила неблагоприятное мнение о заносчивом писателе, что ему вскоре отозвалось неприятным образом».

Жандармы сразу угадали в молодом драматурге дух Пушкина и Грибоедова, мятежный дух декабристов.

Лермонтов напряженно работал, переходя от стихов к драме, от драмы к прозе.

В основу романа «Княгиня Лиговская» легла история отношений Лермонтова с Варварой Александровной Лопухиной.

Он полюбил ее в Москве, в последний год своего пребывания в университете. С тех пор они не виделись. Прошло более трех лет; неожиданно Лермонтов узнал, что она вышла замуж за человека ничтожного и немолодого и приехала с мужем в Петербург. С этого и начинается роман: гвардейский офицер Жорж Печорин узнает о том, что девушка, которую он любил в юности, вышла за старика, стала княгиней Лиговской и приехала в Петербург вместе с мужем. Есть в романе и вторая линия, о которой мы уже говорили: столкновение Печорина с бедным чиновни-

ком Красинским. Печорин, типичный представитель столичной гвардейской молодежи, полный аристократического высокомерия и светских предрассудков, не может понять скромного труженика. Так, одновременно с Гоголем Лермонтов подымал новую тему и вводил в русскую литературу нового героя — чиновника.

Это произведение Лермонтов диктовал Раевскому, когда они вместе жили в петербургской квартире Е. А. Арсеньевой.

Через Святослава Раевского Лермонтов познакомился с Андреем Краевским, который в то время работал в редакции пушкинского журнала «Современник». Через Краевского, очевидно, и попало в редакцию «Современника» лермонтовское «Бородино».

Это было первое стихотворение, которое Лермонтов решил напечатать. Но тут разнеслась весть о том, что Пушкин стрелялся с Дантесом, что положение его безнадежно. Лермонтов написал «Смерть Поэта»... И еще прежде, чем «Бородино» появилось на страницах пушкинского журнала, имя Лермонтова и слава Лермонтова навсегда оказались связанными с именем Пушкина.

Все удивительно в этой громкой поэтической славе. И дерзкий вызов придворной знати. И прозвучавший в этом стихотворении голос общественного протеста — впервые после двенадцатилетнего молчания, воцарившегося в стране после декабрьской катастрофы. И сочетание двух огромных литературных и политических событий — гибели Пушкина и выступления молодого поэта, еще никому не известного, но уже зрелого, которому суждено отныне стать преемником Пушкина в осиротевшей литературе. И самое соседство великих имен в один из самых трагических моментов русской истории. Все это легендарно по историческому значению, по величию подвига, по одновременности совершившегося, что так редко случается в жизни и граничит с высоким искусством. Никто из поэтов не начинал так смело и вдохновенно, как Лермонтов! Ничья слава не бывала еще так внезапна! Вот он сказал слова правды о великом поэте, которого даже лично не знал. И уже обречен. И его ожидает та же судьба и такая же гибель — на поединке. Не много знает наша история таких колоссальных трагедий, вытекающих одна из другой, таких блистательных эстафет, являющих великие силы народа, способного послать одного гения на смену другому!

5

...Из ссылки Лермонтов привез в Петербург эпическую поэму, написанную в духе народных былин: «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». В этой поэме он возвеличил простого русского человека Степана Калашникова, который выходит на бой с царским любимцем и, убив его, не хочет повиниться перед царем. Трудно переоценить смелость этого замысла — воспеть непокорного, независимого человека, не пожелавшего держать ответа перед тираном.

Как возго́ворил православный царь:
«Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя
Ты убил насмерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца Кирибеевича?»

«Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что, про что — не скажу тебе,
Скажу только богу единому.
Прикажи меня казнить — и на плаху несть
Мне головушку повинную...»

Царь казнит Калашникова за то, что купец, не прося царской защиты, сам решил свой спор с опричником и не захотел оправдаться. О своей обиде он так и не сказал никому, кроме братьев, и, «постояв за правду до последнего», молча сложил голову на плахе. Но народу известно, что правда на стороне Калашникова, и смелый подвиг его остается жить в песне. Не забыта и безыменная могила его «в чистом поле промеж трех дорог»:

Пройдет стар человек — перекрестится,
Пройдет молодец — приосанится,
Пройдет девица — пригорюнится,
А пройдут гусляры — споют песенку...

В этих четырех строках заключен глубокий смысл лермонтовской поэмы: народные певцы под звон гуслей передают из поколения в поколение песню об удалом купце — человеке из народа, который не побоялся царского гнева и, убив царева опричника, смыл с себя позор и бесчестие.

Написанная в год смерти Пушкина, эта поэма невольно должна была наводить читателей на широкие сопоставления судьбы Степана Калашникова с гибелью величайшего русского поэта.

«Песня про царя Ивана Васильевича...» принадлежит

к лучшим произведениям русской и мировой поэзии. Лермонтов показал в ней величие русского национального характера и воссоздал дух и стиль народной поэзии, как мог это сделать только подлинно народный поэт.

Лермонтов, можно сказать, был воспитан на песнях народных. В Тарханах и в казачьих станицах на Тереке с детских лет слышал он песни — протяжные и плясовые, колыбельные и хороводные, любовные и величальные, ямщицкие, солдатские, «разбойничьи». Знал исторические песни. Еще подростком, в пансионе, он записал как-то в свою тетрадку: «Если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях». Он так глубоко постиг дух народного творчества, что современные исследователи справедливо сравнивают «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» с творениями народных певцов и сказителей. Недаром Белинский писал потом, что Лермонтов «вошел в царство народности как ее полный властелин и, проникнувшись ее духом, слившись с нею, он показал только свое родство с нею, а не тождество... показал этим только богатство элементов своей поэзии, кровное родство своего духа с духом народности своего отечества» [1].

Только один Пушкин умел создавать творения, столь близкие по духу песням и сказкам народным.

Написана была эта поэма, по словам Лермонтова, в три дня, когда по болезни он не мог выходить из дому. Напечатать ее было много труднее. Это удалось только после заступничества влиятельного в придворных сферах В. А. Жуковского. Но даже при этом цензура не разрешила выставить имени автора: над ним все еще тяготела опала.

Величайшую прозорливость проявил, прочитав поэму, Белинский. «Не знаем имени автора этой песни...— написал он,— но если это первый опыт молодого поэта, то не боимся попасть в лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобретает сильное и самобытное дарование» [2].

Белинский безошибочно угадал гений Лермонтова и с тех пор с восторгом встречал каждое его произведение.

Вскоре после своего возвращения в столицу Лермонтов

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 517.
[2] Там же, т. II, с. 411.

начал сотрудничать в журнале «Отечественные записки», которые с января 1839 года стали выходить под редакцией Андрея Краевского.

«Отечественные записки» теперь *единственный* журнал на Руси, в котором находит себе место и убежище честное, благородное и — смею думать — умное мнение»,— писал Белинский о новом составе сотрудников журнала, талантливых прогрессивных молодых литераторах того времени[1]. К участию в журнале Краевский привлек Лермонтова, Герцена, Огарева, Кольцова, Владимира Одоевского, Ивана Панаева. Но, конечно, более всего определяло «честное, благородное и умное» направление журнала участие в нем самого Белинского. Краевский уговорил его переехать из Москвы в Петербург и принять на себя ведение критического отдела.

Начиная с первого номера обновленных «Отечественных записок» и до самой смерти Лермонтов печатался только в этом журнале. Причиною тому были, конечно, не одни приятельские отношения его с Краевским, а и то, что он сочувствовал направлению журнала, главою которого был Белинский, и поддерживал это направление, воспитывавшее читателей в духе освободительных идей.

Знаменитый художественный и музыкальный критик Владимир Стасов, обучавшийся в ту пору в Училище правоведения, вспоминал потом о впечатлении, какое производили на них, подростков, статьи Белинского и стихотворения Лермонтова.

«Почти в каждой новой книжке «Отечественных записок»,— писал Стасов,— появлялось одно или несколько стихотворений Лермонтова, отрывки из «Героя нашего времени», непременно — одна большая статья Белинского и целый ряд мелких, все его разборы книг. Я помню, с какою жадностью, с какою страстью мы кидались на новую книжку журнала, когда нам ее приносили, еще с мокрыми листами, и подавали обыкновенно в середине дня, после нашего обеда. Тут мы брали книжку чуть не с боя, перекупали один у другого право ее читать раньше всех; потом, все первые дни, у нас только и было разговоров, рассуждений, споров, толков, что о Белинском да о Лермонтове»[2].

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. т. XII, с. 108.

[2] В. В. Стасов. Избранные сочинения в 3-х томах, т. II. М., 1952, с. 384.

Вскоре после возвращения Лермонтова из ссылки на страницах «Отечественных записок» появилась его «Дума». Уже самое название стихотворения воскрешало в памяти современников исполненные высоких гражданских идей «Думы» Рылеева. Обличительный пафос лермонтовской «Думы» роднил ее с «Гражданином» — одним из самых вдохновенных рылеевских стихотворений. С горечью начинает Лермонтов свою «Думу»:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья
    В бездействии состарится оно.

. . . .

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы,
Перед опасностью позорно малодушны,
И перед властию — презренные рабы.

«Дума» Лермонтова привела Белинского в восторг. Он увидел в ней «энергическое воззвание» к людям своего поколения, «громы негодования, грозу духа, оскорбленного позором общества». Он утверждал, что каждый мыслящий человек его поколения найдет в этом стихотворении разгадку собственного уныния, своей душевной вялости и бездеятельности.

Говоря о лермонтовской «Думе», Белинский не Лермонтова сравнивал с прославленным римским сатириком Ювеналом: наоборот — Ювенала сравнивал с Лермонтовым. «Если сатиры Ювенала,— писал он,— дышат такою же бурею чувства, таким же могуществом огненного слова, то Ювенал действительно великий поэт!» [1]

Может возникнуть вопрос: не пессимистические ли это стихи? Как трактовать их?

Нет! Пессимизм выражается в унылой бездейственноти, в тоске, вызванной утратой жизненной цели, в отсутствии общественных интересов. Но путь Лермонтова — путь мужественной борьбы. «Мужественная, грустная мысль никогда не покидала его чела,— она пробивается во всех его стихотворениях,— писал Герцен.— То была не отвлеченная мысль, стремившаяся украситься цветами поэзии, нет, размышления Лермонтова — это его поэзия, его мучение, его сила» [2].

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 522.
[2] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VII, с. 225.

А. М. Горький считал, что пессимизм Лермонтова — «действенное чувство»:[1] отрицая современную ему действительность, поэт влиял на общественное сознание, возбуждал протест и жажду борьбы. И действительно в беспощадном обличении своих современников, отказавшихся от выражения протеста, страстная активность лермонтовской поэзии выражается с не меньшей силой, чем, скажем, в описании подвигов Мцыри или в пламенных монологах Демона.

История ангела, восставшего против небесного самодержца, приобретала общественный смысл. Наделенный исполинской силой страсти и несокрушимой волей, воплотившей в себе идею свободы и отрицания, «познанья жадный» лермонтовский Демон воспринимался людьми 40-х годов как символ личности свободной, гордой, сомневающейся, мыслящей, непокорной. «Да, пафос его (Лермонтова), как ты совершенно справедливо говоришь,— писал В. Боткин Белинскому,— есть «с небом гордая вражда». Другими словами, отрицание духа и миросозерцания, выработанного средними веками или, еще другими словами,— пребывающего общественного устройства»[2].

Под духом и миросозерцанием, выработанным средними веками, Белинский и его друзья разумели христианскую мораль и христианское вероучение, узаконившие несправедливость, неравенство, рабство. Николаевскую деспотию и российское крепостничество они осторожно упоминали как «пребывающее общественное устройство».

Белинский назвал лермонтовского Демона «демоном движения, вечного обновления, вечного возрождения». «Он тем и страшен, тем и могущ,— писал Белинский,— что едва родит в вас сомнение в том, что доселе считали вы непреложною истиною, как уже кажет вам издалека идеал новой истины»[3].

Лермонтов в своей поэме ставил вопросы, над которыми мучительно размышляли лучшие люди эпохи.

Демон — не первоисточник зла. Он порождение зла и неизбежно становится его носителем, так же как и люди

---

[1] А. М. Горький. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939, с. 165.

[2] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 84; письмо В. Боткина см. в изд.: В. Г. Белинский. Письма. Редакция и примеч. Е. А. Ляцкого, т. II. СПб., 1914, с. 416—422.

[3] В. Г. Белинский. Полн собр. соч., т. XII, с. 84.

лермонтовского поколения, пороки которых поэт обобщил в «Герое нашего времени». Поэтому и Арбенин в «Маскараде» и Печорин имеют с образом Демона глубокую внутреннюю связь.

Современники узнали поэму Лермонтова в редакции, которую он создал по возвращении с Кавказа. Напечатать этот текст Лермонтов не мог по цензурным условиям. Но поэма разошлась во множестве списков и имела огромный успех. Белинский в одной из своих статей вспоминал в связи с этой поэмой об успехе, которым пользовалось в 20-х годах «Горе от ума». Это сопоставление сделано было не случайно: великий критик намекал на общественное значение лермонтовской поэмы, которая ходила по рукам, подобно грибоедовской пьесе, служившей целям революционной пропаганды декабристов.

О назначении поэзии — служить целям революционной борьбы — Лермонтов говорит в стихотворениях «Поэт», «Не верь себе», «Журналист, читатель и писатель». И недаром сравнивает искусство поэта с оружием, как в наше время любил это сравнение Маяковский.

Быть поэтом, утверждал Лермонтов,— значит совершать высокий гражданский подвиг. Тех поэтов, которые писали стихи только о себе, о своих страстях и страданиях, он не считал настоящими поэтами. Обращаясь к такому поэту, Лермонтов писал:

Какое дело нам, страдал ты или нет?
На что нам знать твои волненья,
Надежды глупые первоначальных лет,
Рассудка злые сожаленья?

Выступая против подобных поэтов, Лермонтов и в этом продолжал традиции декабристской поэзии. В статье, опубликованной за год до декабрьского восстания, Кюхельбекер, ратуя за создание «поэзии народной», высмеивал стихотворца, который говорит «об самом себе, о своих скорбях и наслаждениях».

Как и в представлении декабристов, в представлении Лермонтова настоящий поэт был вождем, народным трибуном, пророком.

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Лермонтов — один из величайших создателей русской политической поэзии, поэзии революционной, народной.

6

Личные отношения Лермонтова с Белинским сложились не сразу. Встречи в кабинете Краевского были короткими и официальными: серьезный разговор не налаживался. Лермонтов не принадлежал к людям, с которыми разговориться по душам легко и просто.

Стремясь объединить вокруг «Отечественных записок» все демократические силы литературы, Белинский хотел встретиться и поговорить по душам с поэтом о современных вопросах, о целях современной литературы. И вот, в марте 1840 года, когда Лермонтов, арестованный за дуэль с сыном французского посла Баранта, сидел в заключении в петербургской офицерской тюрьме — ордонанс-гаузе,— Белинский решил навестить его и сделать первый шаг к сближению.

«Недавно был я у него в заточении,— писал Белинский через несколько дней,— и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!.. Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине и целости своей» [1].

После первых, неловких фраз они заговорили о романтизме, о реализме, потом о Пушкине. Белинский стал расспрашивать Лермонтова о его взгляде на состояние современного общества.

«В словах его было столько истины, глубины и простоты! — восторгался он потом в редакции «Отечественных записок».— Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть!..» [2]

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XI, с. 508—509.
[2] И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1950, с. 136.

Они выяснили тогда, что во многом одинаково смотрят на искусство, на явления общественной жизни. Лермонтов горячо убеждал Белинского, что единственная поэзия, нужная в условиях тогдашней России,— та, которая обличает рабскую покорность общества, его бездеятельность, печальное состояние совести и духа их современников, неспособных к революционному протесту. Лермонтов считал, что назначение писателя — быть судьею общества, что долг его — говорить жестокую правду. Эту беспощадную правду сам Лермонтов уже высказал своим современникам. Как раз в эти дни были отпечатаны первые экземпляры «Героя нашего времени». И Белинский шел на свидание с Лермонтовым под впечатлением от этой книги.

Белинскому было ясно, что всякий, «кто мыслит и чувствует», увидит в ней «исповедь собственного сердца». Он воспринял роман Лермонтова как великое проявление свободной мысли, огромную силу и значение этой книги видел в том, что в ней была сказана жестокая правда, необходимо нужная для читателя.

«Таковы бывают все современные общественные вопросы, высказываемые в поэтических произведениях,— писал он несколько месяцев спустя в статье о «Герое нашего времени».— Это вопль страдания, но вопль, который облегчает страдание...» [1]

При свидании в тюремной камере, продолжавшемся четыре часа, Лермонтов и Белинский спорили о том направлении, которое впоследствии получило наименование критического реализма. «В созданиях поэта, выражающих скорби и недуги общества,— писал Белинский в том же году,— общество находит облегчение от своих скорбей и недугов: тайна этого целительного действия — сознание причины болезни чрез представление болезни» [2].

Болезнь тогдашнего общества выражалась в примирении с действительностью. Главную свою задачу Лермонтов видел в определении этой «болезни». «Будет и того, что болезнь указана,— писал он в предисловии ко второму изданию «Героя нашего времени»,— а как ее излечить — это уж бог знает!»

Критик П. В. Анненков утверждал, что «первым человеком на Руси», который заставил Белинского глубоко задуматься над этими проблемами, или, как он пишет, «кото-

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 267.
[2] Там же, с. 518.

рый навел Белинского на это созерцание», пустившее обильные ростки впоследствии, был именно Лермонтов[1]. В этом нет ничего удивительного. Ибо Белинский не только влиял на русскую литературу, но и сам испытывал на себе влияние таких писателей, как Гоголь и Лермонтов.

Свидание в ордонанс-гаузе сблизило Лермонтова с Белинским, помогло им выяснить общность их взглядов, осознать, что они вместе борются за дело великой русской литературы.

«Лермонтов... самостоятельными симпатиями своими принадлежал новому направлению,— говорит Чернышевский,— и только потому, что последнее время своей жизни провел на Кавказе, не мог разделять дружеских бесед Белинского и его друзей»[2].

Свидание с Белинским в ордонанс-гаузе позволяет думать, что сближение с формировавшимся тогда революционно-демократическим лагерем могло стать очень важным фактом в истории русской литературы. Но ссылка и ранняя гибель поэта — в пору, когда кружок Белинского в Петербурге только еще возникал,— помешали дальнейшей эволюции Лермонтова. Некрасов писал: «Лермонтов, кажется, вышел бы на настоящую дорогу, то есть на мой путь, и, вероятно, с гораздо большим талантом, чем я, но умер рано...»[3]

Не стоит гадать о том, как совершалось бы дальнейшее развитие Лермонтова. Важно, что в формировании демократического направления он, наряду с Гоголем, сыграл огромную роль, ибо его поэзию, его роман «Герой нашего времени» поколение Чернышевского восприняло как драгоценное идейное наследство. «Наши спасители»,— писал Чернышевский о Лермонтове и Гоголе. «Гоголь и Лермонтов кажутся недосягаемыми, великими, за которых я готов отдать жизнь и честь» [4].

Да, Лермонтов сознательно сотрудничал в журнале Белинского. Продержавшееся почти сто лет традиционное представление, будто он был одинок в современной ему литературе, оказалось неверным.

---

[1] П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1960, с. 181.

[2] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, с. 223.

[3] П. Безобразов. Воспоминания о Некрасове.— См в сб.: «Русские писатели о литературе», т. II. Л., 1939, с. 54.

[4] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. I, с. 58 и 66.

7

Вокруг Лермонтова шла напряженная борьба. Аристократические круги стремились примирить его с Зимним дворцом. В петербургских салонах ему уже льстили, стихи на смерть Пушкина готовы были считать неосторожной вспышкой, понятной в молодом поэте, сочинения его представляли ко двору.

Однако из этих попыток так ничего и не получилось. Каждое новое стихотворение Лермонтова, появлявшееся в «Отечественных записках», свидетельствовало о том, что в лице Лермонтова в русскую литературу вступил продолжатель традиции вольнолюбивой русской поэзии. Правительство Николая I опасалось все возраставшей славы молодого поэта. Оно сознавало значение Лермонтова и видело в нем выразителя общественного протеста. И тогда возобновилась борьба, которая началась еще в дни гибели Пушкина.

В конце 1839 года модный беллетрист граф Владимир Соллогуб написал повесть «Большой свет», в которой изобразил поэта под именем молодого офицера Мишеля Леонина. Леонин стремится попасть в избранный круг петербургской аристократии — в «большой свет»,— но это ему не удается. Соллогуб представил человека ничтожного, неспособного обратить на себя внимание.

В своих воспоминаниях, написанных четверть века спустя, Соллогуб признался, что в повести «Большой свет» изобразил «светское значение Лермонтова», что повесть была написана по заказу дочери царя — великой княгини Марии Николаевны — и еще в рукописи читалась в салоне императрицы [1].

Лермонтов понял замысел Соллогуба и повел себя очень умно: стал хвалить повесть. Столкновения не получилось.

Тогда враги решили испробовать другой, уже испытанный способ: подстроить столкновение поэта с кем-либо из иностранцев. Кто-то подал мысль французскому послу в Петербурге Баранту, что Лермонтов в своих стихах на смерть Пушкина заклеймил не одного Дантеса, но всю французскую нацию.

Дипломатические отношения между николаевской Рос-

---

[1] В. А. Соллогуб. Воспоминания. СПб., 1887, с. 188.

сией и Францией Луи-Филиппа в тот момент были необычайно напряженными. Даже частный факт, касавшийся отношения русских к французам, мог вызвать осложнения. К этому-то и стремился Бенкендорф: претензии французского посольства создали бы для него удобный предлог, чтобы удалить Лермонтова из Петербурга.

Действительно, посол забеспокоился и пожелал познакомиться с текстом стихотворения. Надо полагать, что он внимательно читал его, тем не менее должен был признать, что ничего оскорбительного для французов в нем не содержится.

Столкновения снова не получилось.

Лермонтов знал обо всех этих происках, знал, что они идут из придворных кругов и от членов царской семьи. И очень скоро дал понять, как презирает он «большой свет», как задыхается в аристократическом окружении.

В начале 1840 года, в первой книжке «Отечественных записок», появилось стихотворение Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен». В этом стихотворении говорится о том, как, созерцая блеск и суету аристократического маскарада — «приличьем стянутые маски», мелькание «бездушных людей» с их «затверженными речами», великосветских дам с бестрепетными руками продажных женщин («красавиц городских»),— поэт хочет забыться, уйти в мир мечты. Его посещает вдохновенье. И Лермонтов заканчивал это стихотворение строфой:

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник нéзваную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

Это стихотворение было ответом на попытки спровоцировать конфликт. Лермонтов заявлял, что между ним и великосветским обществом лежит глубокая и непроходимая пропасть.

В придворных кругах стихотворение было воспринято как вызов. Многие строчки показались царедворцам «непозволительными». На Лермонтова ополчились реакционные журналисты. Судьбу поэта можно было считать предрешенной.

Так, через три года после гибели Пушкина началась травля другого великого поэта России.

16 февраля 1840 года в доме графини Лаваль в разгар бала словно невзначай вспыхнула ссора Лермонтова с сыном французского посла де Баранта — Эрнестом.

Молодому французу сообщили эпиграмму Лермонтова, писанную еще в юнкерской школе по адресу совершенно другого лица, и уверили, что поэт оскорбил в этом четверостишии именно его, да еще будто бы дурно отзывался о нем в разговоре с одной дамой.

На балу Барант подошел к Лермонтову и потребовал от него объяснений.

Лермонтов заверил, что ничего плохого о нем не говорил.

Барант не успокоился.

— Если переданные мне сплетни верны,— сказал он,— то вы поступили весьма дурно!

Лермонтов остановил его.

— Выговоров и советов не принимаю,— строго сказал он,— и нахожу ваше поведение весьма смешным и дерзким.

Тогда Барант воскликнул запальчиво:

— Если бы я был в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело! Вы пользуетесь тем, что мы в стране, где запрещена дуэль!

— Это ничего не значит,— возразил ему Лермонтов.— Я весь к вашим услугам. Поверьте, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде. И мы, русские, меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно.

Дуэль состоялась 18 февраля рано утром на Парголовской дороге, за Черной речкой, недалеко от того места, где Пушкин стрелялся с Дантесом.

Дуэль окончилась бескровно: одна шпага переломилась, перешли на пистолеты, и Барант, хотя и целил, промахнулся, а Лермонтов уже после этого разрядил пистолет, выстрелив в сторону.

Противники помирились и разъехались.

Но тайными путями о дуэли стало известно начальству. Лермонтова арестовали и предали военному суду за «недонесение о дуэли». А молодому Баранту, чтобы не привлекать его к судебному следствию, министр иностранных дел граф Нессельроде в частной беседе посоветовал выехать на некоторое время за границу.

По Петербургу шли слухи, что дело окончится пустяками: Лермонтов вышел на дуэль, чтобы защитить честь

русского перед иностранцем. В чем можно было его обвинить?

Тогда, чтобы нанести урон чести Лермонтова — скомпрометировать его в глазах общества и вызвать новое недовольство во французском посольстве,— Бенкендорф пустил слух, что поэт дал на суде ложные показания, оскорбительные для его противника.

Слух этот достиг французского посольства, и молодой Барант, разъезжая с визитами, стал повсюду поносить Лермонтова, обвиняя его во лжи.

Узнав об этом, Лермонтов подкупил тюремную стражу и с помощью своих приятелей вызвал Баранта для объяснений. Француз, которому настойчиво рекомендовали покинуть Петербург, задержался и выехать не успел. Его привезли к Лермонтову на гауптвахту, и они условились снова стреляться на дуэли, после того как Лермонтов отбудет наказание за первую.

Таким образом, расчеты Бенкендорфа осуществились: суд еще не выносил приговора, а в запасе уже был новый выстрел.

В светских кругах шеф жандармов постарался изобразить дело так, что Лермонтова придется наказать, потому что этого требует французское посольство. Сам же всячески разжигал недовольство Баранта-посла.

Национальное достоинство русского поэта и офицера мало интересовало низкопоклонную знать Николая I. Мнение иностранцев было для нее куда дороже. Жалобы Барантов, которых подстрекали Бенкендорф и его приближенные, усиливали враждебное отношение к Лермонтову в кругах столичной аристократии. Распространялось мнение, что Лермонтов «дерзкий», «выскочка», «ядовитый», что он ведет себя «непозволительно».

Уже в наше время обнаружены документы, которые разоблачают зловещую роль в этом деле министра иностранных дел графа Нессельроде. Это они, Нессельроде и Бенкендорф, были лютыми врагами Пушкина и главными организаторами его убийства. Теперь выясняется, что они же были злейшими врагами Лермонтова и в подготовке его убийства играли точно такую же роль.

Эти материалы раскрывают гнуснейшее участие в травле Лермонтова французского посла де Баранта. Барант требовал удаления из Петербурга великого национального поэта России только на том основании, что его

сын Эрнест желает совершать дипломатическую карьеру при русском дворе и ему будет неприятно и «опасно» находиться в одном городе с Лермонтовым.

Невозможно читать эти документы без чувства глубокого возмущения и горечи!

Наконец приговор был вынесен и утвержден: царь распорядился снова сослать Лермонтова на Кавказ, в армейский полк, воевавший в самом отдаленном и опасном пункте Кавказской линии. Как раз в те дни Николаю I стало известно, что Тенгинский пехотный полк оказался в бедственном положении и несет жесточайшие потери. Вот в этот-то полк он и решил отправить Лермонтова — почти на верную гибель.

Сохранилось предание, что перед отъездом из Петербурга Лермонтов заехал проститься к друзьям, в доме которых постоянно бывал начиная с 1838 года,— к Карамзиным. Из окна были видны весенние тучи, плывшие над Фонтанкой и деревьями Летнего сада. И будто бы тут же Лермонтов сочинил и прочел стихотворение «Тучи», заключавшее в себе иносказательный смысл, намекавший на личную и политическую судьбу опального автора.

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

Что же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

8

В те самые дни, когда Лермонтов отправлялся в новую ссылку, в книжных лавках Петербурга появился роман «Герой нашего времени».

Книга расходилась с необычайной быстротой. Каждому хотелось знать, кого писатель назвал героем своего времени. Героям подражают, с героев берут пример...

Лермонтов представил в романе человека своего поколения, офицера, сосланного в кавказскую армию.

С огромным интересом следил читатель за судьбою Печорина.

Печорин умен, талантлив, блестяще образован. Он молод, красив, богат. А живет он без цели, без желаний, не зная счастья ни в любви, ни в дружбе. Лучшие годы его проходят в бездействии. Без пользы гибнут необъятные силы, которые он ощущает в своей душе. Мечты его о великих подвигах остаются мечтами. Он одинок и несчастлив. И людям, с которыми сталкивает его судьба, он несет только страдания и гибель.

Какая же болезнь состарила Печорина с юных лет? Отчего он не свершил великих подвигов, к которым стремился? Отчего втуне гибнут в нем исполинские силы?

Исполинские силы погибли в нем оттого, что он не знал, на что их направить. Он стремился к свершению подвигов, но подвиги не свершаются без цели.

Отчего же Печорин живет без цели? Отчего увядает в бездействии и старится без борьбы?

А живет он без цели и старится без борьбы оттого, что не видит цели жизни, не видит возможности борьбы.

В ранней юности Печорин был «готов любить весь мир»: его никто не хотел понять. И тогда он похоронил в глубине сердца лучшие свои чувства и привык равнодушно смотреть на страдания. Сначала он приходил в отчаяние от собственного бессилия, а потом привык ни во что не верить и ни на что не надеяться. Так превратился он, по его собственным словам, в нравственного калеку. И вот этого нравственного калеку Лермонтов называл героем своего времени.

«Какой же это герой? — спрашивал себя читатель.— Да это же горькая насмешка!»

«Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии»,— отвечал на эти вопросы Лермонтов в предисловии к роману.

И читатель понимал, что Печорин — герой поколения 30-х годов — жертва общественного порядка. И что зло коренится не в нем, а в условиях российской жизни.

Эту мысль Лермонтова поняли не только читатели и критики, но и царь. В одном из своих личных писем он с нескрываемой злобой назвал «Героя нашего времени» — одну из самых гениальных книг во всей мировой литера-

туре — «жалкой и отвратительной книгой», а Лермонтова — испорченным и неспособным писателем. И зная, что Лермонтова уже нет в Петербурге, что он снова отправился в ссылку, полную опасностей и лишений, послан почти на верную смерть, царь писал с угрожающей иронией: «Счастливого пути, господин Лермонтов!»

И дни Лермонтова были уже сочтены.

Он обречен был на ссылку до конца своих дней. Снова потянулись тряские дороги, замелькали подорожные столбы и раскинулся бесконечный горизонт.

В этом путешествии на лошадях через всю Россию Лермонтов наблюдал трагический контраст между блеском петербургских салонов и нищетой деревень, в которых после страшного неурожая 1839 года ели даже кровельную солому.

В кружках петербургской и московской молодежи тех лет шли споры об исторических судьбах России, о том, какова должна быть истинная любовь к отчизне. Отвергая крепостнический уклад, отрицая призывы сторонников старины вернуться к порядкам допетровской Руси, Лермонтов все яснее понимал, что его любовь — в любви к народу, к демократической России. Об этом он и говорит в своем удивительном стихотворении «Родина», образы которого зародились у него во время путешествия на Кавказ весною 1840 года. Теперь, когда знаешь, что открывалось взору поэта, по-иному читаются строки, в которых говорится об отраде, вызванной видом гумна и соломенной крыши!

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы

Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно...

В одном из писем 1841 года Белинский высказывал опасение, позволит ли цензура напечатать в журнале это патриотическое стихотворение: настолько отличалась любовь Лермонтова к родине, его народолюбие от официального патриотизма, утверждавшего самодержавие, православие и народность в ее националистическом смысле. Добролюбов писал, что Лермонтов, «умевши рано постичь недостатки современного общества, умел понять и то, что спасение от этого ложного пути находится только в народе» [1]. И доказательство этому видел в стихотворении «Родина», в котором Лермонтов, по его словам, «становится решительно выше всех предрассудков патриотизма и понимает любовь к отечеству истинно, свято и разумно».

В кровопролитных боях на Кавказе Лермонтов проявлял хладнокровие и отменное мужество. Он, о котором в петербургских салонах говорили как о человеке неприятном, высокомерном, насмешливом, читал скромным кавказским офицерам «Демона» в походной палатке. И долго спустя после смерти поэта боевые товарищи вспоминали его со слезами на глазах и уверяли, что характер поэта был полон женской деликатности и юношеской горячности.

Год, проведенный в кавказских походах — в Чечне,— принес русской поэзии несколько гениальных поэтических изображений повседневной солдатской жизни.

Чу — дальний выстрел! Прожужжала
Шальная пуля... славный звук...
Вот крик — и снова все вокруг
Затихло... Но жара уж спала,
Ведут коней на водопой,
Зашевелилася пехота;
Вот проскакал один, другой!
Шум, говор. Где вторая рота?
Что, вьючить? — что же капитан?
Повозки выдвигайте живо!
«Савельич!» — «Ой ли?» — «Дай огниво!» —
Подъем ударил барабан —

[1] Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 2. М.—Л., 1962, с. 263.

Гудит музыка полковая;
Между колоннами въезжая,
Звенят орудья. Генерал
Вперед со свитой поскакал...

В этом стихотворном рассказе о сражении на реке Валерик и в «Завещании» Лермонтов с новой силой раскрыл величие обыкновенных людей.

А царь тем временем отдал распоряжение, чтобы поэта не отпускали от фронта и не давали случая отличиться. Он отказывал Лермонтову в наградах и не пускал в отставку. Можно было рассчитывать только на рану...

Пока Лермонтов воевал на Кавказе, в Петербурге появилась в свет книга его стихотворений. Мало кто вступал в литературу с таким стихотворным сборником, в котором не было ни одной хотя бы относительно слабой вещи. Лермонтов включил в книгу два с половиной десятка стихотворений, «Песню про царя Ивана Васильевича...» и «Мцыри».

Белинский напечатал об этой книге замечательную статью, в которой писал: «Великий поэт, говоря о себе самом, о своем я, говорит об общем — о человечестве, ибо в его натуре лежит все, чем живет человечество». «Мы узнаем в нем поэта русского, *народного*, в высшем и благороднейшем значении этого слова,— писал он о Лермонтове,— поэта, в котором выразился исторический момент русского общества» [1].

Народными Белинский считал не только «Песню про царя Ивана Васильевича...» и «Бородино», но и «Демона», и «Думу», и лирические стихотворения Лермонтова, ибо «исторический момент русского общества» выразился в них с не меньшею силою, чем в тех произведениях, в которых поэт говорит о народе или же от лица народа.

Именно поэтому и в романтических образах поэзии Лермонтова Белинский видел конкретно-историческое содержание. В образе Демона он ощущал «беспощадный разум» Лермонтова и находил в поэме «миры истин, чувств, красот... роскошь картин, богатство поэтического одушевления, превосходные стихи, высокость мыслей, обаятельную прелесть образов...» [2].

«Не далеко то время,— писал он о Лермонтове,— когда имя его в литературе сделается народным именем, и гар-

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 521.
[2] Там же, т. XII, с. 86, 544.

монические звуки его поэзии будут слышимы в повседневном разговоре толпы, между толками ее о житейских заботах...»[1]

Статья о стихотворениях Лермонтова появилась в «Отечественных записках» в то время, когда Лермонтов после короткого отпуска, разрешенного ему для свидания с бабушкой, в последний раз уезжал из Петербурга в кавказскую ссылку. Срок пребывания в столице кончился: Бенкендорф предписал поэту покинуть столицу в сорок восемь часов.

Накануне отъезда Лермонтов заехал проститься с другом своим — писателем В. Ф. Одоевским. Он был грустен и говорил о скорой смерти. Одоевский успокаивал опечаленного поэта и на прощание подарил ему небольшой альбом в коричневом кожаном переплете. Все страницы этого альбома были чистые. На первой странице Одоевский сделал надпись: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную».

Если поэт должен был возвратить эту книжку «сам», значит, он говорил Одоевскому, что самому ему книжку возвратить уже не придется!

На другой день Лермонтов уехал из Петербурга.

Первые страницы альбома он заполнил, очевидно, в пути. Экипаж трясло, поэтому строчки получились кривые и неразборчивые. Сначала Лермонтов стал работать над стихотворением «Спор», потом написал «Сон», «Утес», «Листок», «Выхожу один я на дорогу» — стихотворения одно лучше другого. Сперва он писал стихи начерно с одного конца альбома, карандашом. Затем переворачивал альбом и с другого конца писал набело, чернилами.

С книжкой Одоевского он не расставался уже до конца жизни.

Вернувшись на Кавказ, он отправился не в полк, а в Пятигорск. Получив от тамошнего начальства разрешение лечиться, поселился вместе с другом и родственником своим Алексеем Столыпиным на самом краю города, в маленьком домике у подножья горы Машук.

Среди отдыхавших в Пятигорске было много военной и штатской молодежи. По соседству жили старые знакомцы Лермонтова — отставной майор Мартынов, корнет Гле-

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 547.

бов, титулярный советник князь Васильчиков; здесь лечились князь Сергей Трубецкой, отбывавший кавказскую ссылку, и родной брат А. С. Пушкина — майор Лев Пушкин, декабристы, переведенные из Сибири в войска Кавказского корпуса.

Остроумие и находчивость Лермонтова были неистощимы. С глубоким презрением, с уничтожающей иронией отзывался он об аристократическом обществе, о ничтожестве великосветской молодежи. В язвительных насмешках его, вспоминал декабрист Назимов, «слышалась скорбь души, возмущенной пошлостью современной ему великосветской жизни» [1].

Пользуясь досугом, Лермонтов много писал и много замечательного задумал. Он все надеялся, что, пока он будет лечиться на водах, бабушка в Петербурге сумеет выхлопотать ему отставку. Он не знал, что судьба его уже решена, что царь, Бенкендорф и военный министр граф Чернышев внимательно следят из Петербурга за каждым его шагом. Распорядившись о том, чтобы Лермонтов в сорок восемь часов покинул столицу и ехал к своему полку, Бенкендорф отдал секретное предписание жандармскому подполковнику Кушинникову неотступно наблюдать за поэтом.

В Пятигорске была своя аристократия, свое светское общество. Кроме того, съехались аристократы петербургские и московские. Очень скоро в этом кругу пошли разговоры о том, что Лермонтов — человек опальный, что его выслали из Петербурга за неумение вести себя и вот здесь, в Пятигорске, он снова острит и стремится играть роль и первенствовать.

С особенной злобой отзывалась о Лермонтове влиятельная среди пятигорской знати генеральша Мерлини. Как теперь выясняется, она была агентом III Отделения и действовала сообща с жандармом Кушинниковым.

Отношение к поэту в кругу пятигорской знати становилось все хуже и хуже. Враги искусно вели интригу, стараясь натравить на Лермонтова кого-нибудь из его знакомых. Пробовали подбить на это молодого офицера Лисаневича. Говорили, что Лермонтов шутит над ним зло и обидно, что офицеру неприлично терпеть это. Уговаривали его вызвать Лермонтова на дуэль, «проучить».

---

[1] «Голос», 1875, № 56.

Лисаневич отказался.

— У меня рука не подымется на такого человека,— сказал он.

У Мартынова поднялась. Человек самовлюблённый, обидчивый, ограниченный, Мартынов быстро поверил клеветническим слухам. Что именно говорили ему в эти дни об отношении Лермонтова к нему или к его семье, в точности неизвестно. Но цель была достигнута: Мартынов пришел в бешенство и затаил злобу.

Вечером 13 июля, выходя из гостей, Мартынов остановил Лермонтова и, придравшись к тому, что Лермонтов рисовал на него карикатуры, вызвал его на дуэль.

15 июля 1841 года[1] на склоне Машука, недалеко от Пятигорска, Лермонтов был убит...

«Поприще великое могло ожидать его,— восклицал Гоголь.— Никто еще не писал у нас такою правильной, прекрасной и благоуханной прозой... Готовился будущий великий живописец русского быта...»[2]

«...Содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественнейшей натуры, исполинский взмах, демонский полет — *с небом гордая вражда* — все это заставляет думать,— писал Белинский,— что мы лишились в Лермонтове поэта, который, по содержанию, шагнул бы дальше Пушкина»[3].

Словно продолжая мысль Белинского, Алексей Максимович Горький писал: «В стихах Лермонтова начинают громко звучать ноты, почти незаметные у Пушкина,— это жадное желание дела, активного вмешательства в жизнь»[4].

Еще при жизни Лермонтова критика, стоявшая на охранительных позициях, объявила талант Лермонтова «протеистическим», собирательным, заключающим в себе отголоски чужих влияний, отказывала ему в оригинальности. В противовес этому, прогрессивная критика и широкая публика вслед за Белинским и Чернышевским воспринимали поэзию Лермонтова как явление глубоко самобытное.

---

[1] 27 июля по новому стилю.

[2] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII. М., Изд-во АН СССР, 1952, с. 401—402.

[3] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 84—85.

[4] А. М. Горький. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939, с. 160.

С годами афористические строки лермонтовских стихов все больше входили в повседневную и литературную речь. Не раз заострял ими свои полемические статьи Владимир Ильич Ленин, цитируя строки из посвящения «А. О. Смирновой», из «Демона», стихотворения «Журналист, читатель и писатель», из «Думы»[1]. Томик Лермонтова лежал у него в ссылке возле кровати рядом с Пушкиным и Некрасовым, и, как пишет Надежда Константиновна Крупская, Ленин часто перечитывал их по вечерам. Говоря о своей любви к Лермонтову, Н. К. Крупская вспоминала:

«Владимир Ильич также любил Лермонтова, но тоже как-то «стихийно». Привлекала нас в молодости д[олжно] быть смелость и сила чувства, которые так ярки у Лермонтова»[2].

9

Одна из величайших заслуг Пушкина перед русской литературой заключается в том, что он сблизил книжный — литературный — язык с живой народной речью. Следуя Пушкину, Лермонтов шел в этом же направлении. Белинский восхищался его «полновластным обладанием совершенно покоренного языка, истинно пушкинскою точностию выражения»[3].

Высоко ценил язык Лермонтова А. П. Чехов. «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова,— говорил он по поводу «Тамани».— Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах,— по предложениям, по частям предложения... Так бы и учился писать»[4].

Действительно, простота и содержательность повествования доведены в «Тамани» до высочайшей степени совершенства. Сюжет развивается стремительно. Каждое слово точно и необычайно многозначительно.

«Герой нашего времени»,— отмечал Чернышевский,— занимает немного более половины очень маленькой

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, с. 432; т. 6, с. 166; т. 8, с. 371; т. 13, с. 88.

[2] М. Ф. Николева. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М., Детгиз, 1956, с. 290.

[3] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 545.

[4] С. Н. Щукин. Из воспоминаний об А. П. Чехове.— См. в сб.: «Чехов в воспоминаниях современников». М., 1960, с. 463.

книжки... Прочитайте три, четыре страницы... сколько написано на этих страничках! — И место действия, и действующие лица, и несколько начальных сцен, и даже завязка — все поместилось в этой тесной рамке»[1].

«При мне исправлял должность денщика линейский казак,— пишет Лермонтов на первой странице «Тамани».— Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина — молчат; стучу — молчат... что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет четырнадцати.

«Где хозяин?» — «Не-ма».— «Как? совсем нету?» — «Совсим».— «А хозяйка?» — «Побигла в слободку».— «Кто же мне отопрет дверь?» — сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась, из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы».

В этой повести Лермонтов изобразил людей бесстрашных, сильных, свободных. И каждая деталь этого сотканного из намеков повествования подчеркивает их любовь к свободе, к вольной, независимой жизни. Даже такая подробность, как украинская речь слепого.

Черноморское казачество происходит из Запорожской Сечи. Украинская речь слепого напоминает читателю о том, что люди, живущие над морским обрывом в Тамани,— потомки вольных запорожцев. В конце повести Лермонтов снова вскользь намекает на это: тот, кого зовут Янко,— удалец, бесстрашно переплывающий ночью через бурный пролив,— «острижен по-казацки». Ему везде дорога, «где только ветер дует и море шумит».

О «вольной волюшке» поет героиня повести. И все ее поведение — «быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности»,— ее «загадочные речи», ее «странные песни», сравнения ее с русалкой, с ундиной, самое название которой происходит от латинского слова «unda» — «волна»,— все это создает образ, как волна, неуловимый и вольный. Недаром Лермонтов изобразил эту девушку на фоне изменчивого морского пейзажа.

«...внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II. М., Гослитиздат, 1947, с. 466—467.

синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию...»

Это в начале повести. Дальше:

«Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить».

«Передо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся...»

Не знаешь, чему здесь более удивляться: постепенному изменению морского пейзажа, живописности изображения (виднеющийся в тумане фонарь на корме ближайшего корабля), сравнению шума моря с шумом засыпающего города, точному соответствию душевного состояния героя и окружающей его природы («ночною бурею взволнованное море» и «волнуемый воспоминаниями» герой) или поэтичности речи, напоминающей речь стихотворную! Невольно вспоминается совет Чехова разбирать «Тамань» «по предложениям, по частям предложения».

Но при всем том героиня не сказочная русалка, а девушка из народа. И более всего это сказывается в ее ответах офицеру, состоящих из народных поговорок и прибауток: «Откуда ветер, оттуда и счастье», «Где поется, там и счастливится», «Где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять не далеко»...

Но не только в речах героини — во всей повести ощущается таинственность, словно сознательная недоговоренность. Объясняется это и тем, что Лермонтов по цензурным условиям не мог прямо сказать в повести о самом главном, а выразил это посредством тонких намеков, подчинив все детали повествования выражению одной идеи — свободы.

Люди, с которыми судьба столкнула Печорина, тайно переправляли горцам оружие, которое доставлял им с крымского побережья отважный Янко. Странное их поведение не ускользнуло от внимания Печорина: он стал наблюдать за ними. Контрабандисты подумали, что он прислан, чтобы выследить их, и решают его утопить... Лермонтов назвал их «честными контрабандистами» и

даже подчеркнул эти слова — потому, что видел в их контрабанде средство к достижению свободы.

«Тамань» появилась в 1840, «Спор» — в 1841 году. В этот промежуток времени, проведенный в кавказской армии, Лермонтов заново осмыслил судьбы кавказских горцев и понял, что Россия, стоящая на более высокой ступени экономического и культурного развития, выступает как носитель прогресса.

Непокоренный Кавказ олицетворен в стихотворении в образе Казбека, Кавказ, подвластный России,— в образе Шат-горы. Советский исследователь, профессор Л. В. Пумпянский тонко отметил необычайную органичность «перевоплощений» Лермонтова: Казбек видит у своих ног то, что он может близко увидеть — Грузию. Переводит взгляд дальше — и перед ним предстает Персия, еще дальше — Палестина, кочевья арабов, переводит взор вправо и видит Египет. Пумпянский отметил, что Лермонтов видит здесь страны в том самом порядке, в каком их «видит» Казбек...

Тот же исследователь обратил внимание на характерную для «Спора» плакатную отчетливость красок. Каждая страна в этом стихотворении имеет свой точный цвет. У Персии жемчужный цвет, у Палестины мертвая бесцветность, для Аравии характерна темная синева звездного неба, у Египта цвет желтый. При этом каждое слово вызывает зрительные представления, усиливающие и поддерживающие свойства предыдущего слова:

Дальше, вечно чуждый тени,
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.

Нил желтый. Но «чуждый тени»,— значит, залитый солнцем, следовательно, тоже желтый. Ступени могил раскаленные. А раскаленный — тоже желтый или оранжевый.

Имеет свои цветовые приметы и русская армия: «белые султаны», «уланы пестрые», «фитили горят». Но краски эти скромные по сравнению с такими эпитетами, как «узорный», «цветной», «жемчужный», «раскаленный». В описании русской армии преобладают не эпитеты, а глаголы: полки «движутся», уланы «мчатся», барабаны «бьют», батареи «скачут и гремят». Богатству восточных красок при изображении «недвижимого» Востока противо-

поставлено в «Споре» могучее движение — России. Но,— прибавим мы от себя,— интересно в этом описании и то, что уланы «мчатся», батареи «скачут», а в целом войска движутся «страшно медленны, как тучи», и генерал «ведет» их. Движение передано здесь как на народных картинках, где изображение скачущих всадников сочетается с мерным шагом идущей пехоты. Благодаря этому Лермонтов сумел передать движение во времени — изобразить мощь целой армии, ее постепенное продвижение, а не колонну на походе. Таким образом, все стилистические средства в стихотворении оказываются подчиненными выявлению существа важнейшей политической проблемы — дальнейшего исторического пути кавказских народов.

При этом «Спор» — стихотворение чисто лермонтовское: в нем в высшей степени выражено своеобразие Лермонтова, его неповторимая индивидуальность, характерные особенности его стиля. «Самые первые произведения Лермонтова были ознаменованы печатию какой-то особенности,— писал Белинский,— они не походили ни на что, являвшееся до Пушкина и после Пушкина. Трудно было выразить словом, что в них было особенного, отличавшего их даже от явлений, которые носили на себе отблеск истинного и замечательного таланта. Тут было все — и самобытная, живая мысль, одушевлявшая обаятельно прекрасную форму, как теплая кровь одушевляет молодой организм и ярким, свежим румянцем проступает на ланитах юной красоты; тут была и какая-то мощь, горделиво владевшая собою и свободно подчинявшая идее своенравные порывы свои; тут была и эта оригинальность, которая, в простоте и естественности, открывает собою новые, дотоле невиданные миры и которая есть достояние одних гениев; тут было много чего-то столь индивидуального, столь тесно соединенного с личностию творца,— много такого, что мы не можем иначе охарактеризовать, как назвавши «лермонтовским элементом»... Какой избыток силы, какое разнообразие идей и образов, чувств и картин! Какое сильное слияние энергии и грации, глубины и легкости, возвышенности и простоты!.. все это блещет своими, незаимствованными красками, все дышит самобытною и творческою мыслию, все образует новый, дотоле невиданный мир...» [1]

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. V, с. 452—453.

Поэзия Пушкина выражала идеи людей декабристского поколения, поэзия Лермонтова — мысли и чувства передовых людей следующего поколения, которому, по словам Герцена, «совершеннолетие пробил колокол, возвестивший России казнь Пестеля и коронацию Николая»[1].

«Равен ли по силе таланта или еще и выше Пушкина был Лермонтов — не в том вопрос,— писал Белинский в 1843 году,— несомненно только, что, даже и не будучи выше Пушкина, Лермонтов призван был выразить собою и удовлетворить своею поэзиею несравненно высшее, по своим требованиям и своему характеру, время, чем то, которого выражением была поэзия Пушкина»[2].

Мучительные раздумья нового поколения, его отрицания, сомнения, мысль о будущих судьбах русского общества, составляющие основное содержание лермонтовской поэзии, требовали новых поэтических средств. И, следуя Пушкину, продолжая дело Пушкина, Лермонтов выступал как смелый новатор. Самостоятелен и самобытен он даже в тех произведениях, в которых сознательно использует пушкинские темы и образы: «Пророк» Лермонтова — это продолжение пушкинского «Пророка»; Лермонтов рассказывает о том, что стало с поэтом в условиях николаевской России, когда он обрел высокий дар «глаголом жечь сердца людей». «Журналист, читатель и писатель» — возобновление спора о положении поэзии, поднятого Пушкиным в стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом», но спор этот происходит в совсем иных исторических условиях.

Еще современники почувствовали связь между Печориным и Онегиным. Белинский объяснил, что связь эта заключается не в сходстве самих героев — по характерам они не похожи,— а в том, что Печорин представляет отражение своей эпохи, как Онегин был отражением своей. «Это Онегин нашего времени,— писал великий критик о Печорине,— *герой нашего времени*»[3].

Как Пушкин в Онегине, Лермонтов в своем романе обобщил черты целого поколения, поставил важный общественный вопрос о судьбе своего современника. Он показал молодого человека в новых исторических условиях, после разгрома декабристского движения. И в этом —

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. IX, с. 161.
[2] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, с. 105.
[3] Там же, т. IV, с. 265.

в изображении современного общества, в постановке важнейшей общественной проблемы — он следовал Пушкину, исходил из его опыта, воплощенного в «Евгении Онегине». «Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходимость, хотя, может быть, и не видимая самим поэтом,— писал Белинский.— Несходство их между собою,— замечал он по поводу Онегина и Печорина, развивая это сопоставление,— гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою» [1].

В самой фамилии лермонтовского героя Белинский усматривал признак «исторической преемственности».

Что касается поэтических средств Лермонтова и Пушкина, то они так различны, что в зрелых произведениях Лермонтова, даже там, где он использует «открытия» Пушкина, эта связь остается обычно неуловимой. Между тем несомненно, например, что описание танца Истоминой в «Евгении Онегине» вдохновило Лермонтова в работе над «Демоном» на описание пляски Тамары.

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина, она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

У Лермонтова:

В ладони мерно ударяя,
Они поют — и бубен свой
Берет невеста молодая,
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, глядит —
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка...

Вероятно, сам Лермонтов не думал о том, что эта строфа связана с пушкинской; между тем она есть след-

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 265.

ствие пушкинского реализма и сама представляет собою реалистическое — верное жизни, точное и такое же вдохновенное описание «летучей пляски».

В свою очередь, две небольшие книги — «Герой нашего времени» и «Стихотворения М. Лермонтова»,— вышедшие в свет еще при жизни их автора, и долгие годы ходившая в списках, запрещенная цензурой поэма «Демон» оказали огромное воздействие на всю последующую русскую поэзию и русскую прозу.

И современники Лермонтова — Герцен, Огарев, Некрасов, Тургенев — и писатели, вступившие на литературное поприще позже,— Чернышевский Добролюбов, Щедрин, Лев Толстой, Чехов, Горький, Блок, Маяковский, Есенин,— продолжая и развивая великие традиции русской литературы, традиции Ломоносова, Радищева, Крылова, Грибоедова, Пушкина, Гоголя,— очень многим были обязаны Лермонтову.

«Соседка», «Казачья колыбельная песня», «Завещание», «Родина» — те стихотворения Лермонтова, в которых вставала перед читателем демократическая Россия, предвещали существенные черты некрасовской поэзии. Некрасов сам сознавал это, когда говорил о том, что Лермонтов вышел бы на его путь.

Эту преемственную связь остро ощущал Маяковский, продолживший в русской поэзии линию Пушкина — Лермонтова — Некрасова. Обращаясь к Лермонтову в стихотворении «Тамара и Демон», построенном на образах лермонтовской поэзии, он выразил это в словах —

Мы общей лирики лента.

Сатирический пафос лермонтовских обличительных стихов, его «Думы», изображение общественных пороков «в полном их развитии», представленное в «Герое нашего времени», отозвались в творчестве Щедрина. Недаром лермонтовские строки «И дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью» Щедрин взял эпиграфом к своему первому прозаическому произведению — «Противоречия», на содержание и форму которого оказал влияние «Герой нашего времени» [1]. Наряду с Ра-

---

[1] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. I. М., Гослитиздат, 1941, с. 90.

дищевым, Грибоедовым и Гоголем Лермонтов был одним из основоположников обличительного направления русской литературы.

Как заметил еще Белинский, первые произведения Тургенева находятся в живой связи со стихом Лермонтова, особенно его поэма «Параша», эпиграф которой — «И ненавидим мы, и любим мы случайно» — Тургенев взял из лермонтовской «Думы». Ощущается эта преемственность и в зрелых вещах Тургенева, особенно в его повестях «Бретер» и «Три портрета».

Кавказские рассказы Л. Толстого представляют собою дальнейшее развитие того изображения войны, которое Лермонтов дал в своем стихотворении «Валерик». В толстовском рассказе «Набег» сохранен даже план лермонтовского стихотворения.

Лермонтовское «Бородино» сам Толстой считал «зерном» своей эпопеи «Война и мир». Небольшое стихотворение Лермонтова оказало влияние на огромный роман Толстого потому, что Лермонтов первый показал в «Бородине» только то, что мог увидеть и осмыслить рядовой участник события — обыкновенный солдат. У Толстого Бородинское сражение показано через восприятие Безухова, а военный совет в Филях — через восприятие шестилетней крестьянской девочки. Этот прием бесконечно расширял художественные возможности литературы, позволял читателю видеть исторические события глазами народа.

«Черты пушкинской, лермонтовской и гоголевской творческой силы,— писал Гончаров,— доселе входят в нашу плоть и кровь, как плоть и кровь предков переходят к потомкам» [1].

А. М. Горький пишет, что он впервые почувствовал «силу поэзии, ее могучее влияние на людей», когда прочел лермонтовского «Демона» своим товарищам в иконописной мастерской, где в то время работал [2]. Оказала поэзия Лермонтова воздействие и на самого Горького.

Если вспомнить при этом, что Лермонтов — родоначальник русской психологической прозы, которая в продолжение последних ста лет оказывает решающее влияние

---

[1] И. А. Гончаров. Собр. соч. в 8-ми томах, т. VIII. М., Гослитиздат, 1955, с. 77.

[2] А. М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XIII. М., Гослитиздат, 1951, с. 417.

на мировую литературу, то даже на основании этого признака становится понятным, какое важное место занимает Лермонтов в развитии мировой прозы.

10

Четыре года жил Лермонтов с того дня, когда впервые вслед за трагической вестью о гибели Пушкина по Петербургу стали распространяться стихи «Смерть Поэта». Только четыре года определял он направление русской поэзии. И в этот короткий срок создал то, что составляет лучшую часть его поэтического наследия: «Песню про царя Ивана Васильевича...», «Демона», «Мцыри», «Сказку для детей», «Героя нашего времени», книгу стихов и еще целый альбом стихотворений удивительных — по музыкальности, живописности, разнообразию, по безграничной мощи таланта. Тут и «Дары Терека», и «Молитва», «Казачья колыбельная песня», «Дума», «Три пальмы», «Сон», «Валерик», «Последнее новоселье», «Родина»... Все за четыре года! Написанное на постоялых дворах, в кибитках, в кордегардии, после светского раута, в перерыве между боями. Эти годы — время деятельной работы в журнале, горячих литературных и политических споров, сближения с Белинским. Это чудо — последние годы Лермонтова! До сих пор задумывается удивленный читатель, не в силах постигнуть, как мог все это создать человек, убитый на двадцать седьмом году!

Нет спору — юношеские творения Лермонтова означены чертами гения. И зрелый Лермонтов весь подготовлен этой подвижнической работой. Но какой внезапный взлет! Какое разнообразие в зрелых стихах, тогда как ранние написаны словно в одном ключе. И невольно каждый, кто перечитывает Лермонтова, стремится найти причины этой поразительной перемены.

Мало-помалу вы понимаете, что, перелистывая стихи, писанные Лермонтовым в юные годы, вы поминутно задумываетесь, стремясь представить себе вдохновившее поэта событие. Вот — продолжение разговора, которого мы не знаем. Вот — ответ на упрек, которого мы не слышали. Или памятная дата, ничего не говорящая нам. В юных стихах запечатлены «моментальные» состояния и настроения: недаром Лермонтов не хотел их печатать.

До конца их понимали лишь те, кто был вполне посвящен в его жизнь и душевные тайны.

В зрелые годы он уже осуждал опыты первых лет. А вместе с ними и то направление поэзии, которое утверждал с таким вдохновением. Все чаще уходил он от романтических гипербол — изображения неземной красоты, неистовых страстей, исступленной ненависти, смертельных мучений любви. Уже иронически признавался:

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.

Но красоты их безобразной
Я скоро таинства постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык...

Чем старше он становился, тем все чаще соотносил субъективные переживания и ощущения с опытом и судьбой целого поколения, все чаще «объективировал» современную ему жизнь. Мир романтической мечты уступал постепенно изображению действительности. Все чаще в поэзию Лермонтова вторгается повседневная жизнь и конкретное время — эпоха 30—40-х годов с ее противоречиями: глубокими идейными интересами и мертвящим застоем общественной жизни. Порожденные этим состоянием душевные конфликты людей своего времени Лермонтов, как никто, сумел выразить в стихах, в которых такое могучее впечатление производят его антитезы — столкновения противоположных понятий: «господа» и «рабы», «свобода» — «изгнанье», «холод» — «огонь», «злоба» — «любовь»:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

Скорбная и суровая мысль о поколении, которое, как казалось ему, обречено пройти по жизни, не оставив следа в истории, вытеснила юношескую мечту о романтическом подвиге. Лермонтов жил теперь для того, чтобы сказать современному человеку правду о «плачевном состоянии» его духа и совести,— поколению малодушному, безвольному, смирившемуся, живущему в тесных преде-

лах, без надежды на будущее. И это был подвиг труднейший, нежели готовность во имя родины и свободы погибнуть на эшафоте. Ибо не только враги, но даже и те, ради которых он говорил эту правду, обвиняли его в клевете на современное общество. И надо было обладать прозорливостью Белинского, чтобы увидеть в «охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь» веру Лермонтова в достоинства жизни и человека.

И все же не только внутреннее возмужание было причиною стремительного развития Лермонтова. С того дня, когда он, подхватив знамя русской поэзии, упадавшее из руки убитого Пушкина, встал на его место, он уже обращался к своему современнику, поднимал перед ним «вопрос о судьбе и правах человеческой личности» и отвечал на него всем своим творчеством. Вся читающая Россия слышала теперь его голос. И чем больше становилась его популярность, тем быстрее созревал он как поэт и писатель, принявший на себя, если снова применить здесь выражение Белинского, роль «вождя, защитника и спасителя» публики от «самодержавия, православия и народности» [1].

Но была еще одна причина бурного созревания его таланта. Обстоятельства увели его из узкого великосветского круга, оторвали от гусарских пирушек. Героический мир, в котором так удивительно сочетались война и свобода,— сражающийся Кавказ снова открылся ему. Читая свои произведения на биваках, он видел нового демократического читателя, бедных армейцев, офицеров провинциальных полков. Этот читатель, ставший героем последних творений Лермонтова, все более выявлял в его характере тот возвышенный взгляд на людей, который так трогает нас в описании обманутого в своих ожиданиях Максима Максимыча, при чтении «Казачьей колыбельной песни», «Соседки», «Валерика»... Богатый и трудный жизненный опыт, широкие взгляды и то, что мы называем «ответственностью перед читателем», формировали новый стиль Лермонтова, новое направление его творчества. И может быть, в этом разгадка секрета, почему так много зрелых стихотворений Лермонтова превратилось в народные песни. Их простота равна глубине содержания, они доступны подростку и сопровождают нас через

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, с. 217—218.

всю жизнь. Время идет. Но ни одно слово не устарело в его стихах, ни одно не требует пояснения. Даже у Пушкина встречаются имена из мифологии древних, порою, особенно в ранних гражданских стихах, обращает внимание нарочитая архаическая торжественность стиля. Читаешь Лермонтова — и кажется, язык не испытал за столетие с половиной никаких перемен. И воспринимаются его стихи как песенная, как народная речь, которая никогда не стареет:

Глубокая еще в груди дымилась рана,
По капле кровь сочилася моя...

Не только слово его: не стареют и никогда не перестанут восхищать и наводить на глубокие думы вызывающие глубокую грусть отношения чинары с дубовым листком, грезы одинокой сосны и пальмы, сговор Терека с Каспием, плач старого утеса по золотой тучке. Навсегда останутся непостижимо прекрасными та суровая простота, с какою произносит последние просьбы умирающий в «Завещании», «Выхожу один я на дорогу...» — мысли, полные внутренней музыки, произнесенные тихим голосом для себя. Сколько горьких сомнений в «Думе», смелой правды, сказанной без пощады и лицемерия. И сколько гордой и нежной любви к «печальным деревням» и проселкам в «Родине». При этом не перестаешь удивляться: «Бородино», «Памяти Одоевского», «Молитва», «Три пальмы», «Последнее новоселье» принадлежат одному поэту, и все это создано почти юношей. «На воздушном океане» Лермонтов написал в двадцать четыре года! И когда наиболее прозорливые современники сравнивали его с Байроном или называли его «русским Гете», они стремились не умалить его, а поставить в один ряд с величайшими поэтами века.

Вопрос о том, что сделал бы этот гениальный поэт, доживи он хотя бы до возраста Пушкина, мешает иным оценить наследие Лермонтова. Он погиб накануне свершения новых поразительных замыслов, которые открыли бы новые грани его таланта. Писали о нем как о юноше, который собирался, но не успел сказать главного. Это неверно: «Война и мир» не стала бы менее зрелой книгой, если бы Толстой не успел написать «Анну Каренину». В каждый момент гениальный поэт, обращаясь к читателю, вполне выражает себя. И стремление заглянуть

в будущее, которое так жестоко было у него отнято, не умаляет великих достоинств того, что Лермонтов создал.

Проходят годы, десятилетия. Но, перелистывая томики Лермонтова, мы снова каждый раз проникаемся героическим духом его поэзии, ее неповторимым лирическим содержанием и думаем о нем как об одном из самых великих поэтов мира и как о живом!

1936—1964



Пояснения к иллюстрациям

Воспроизведенный в альбоме портрет Лермонтова (№ 4) работы художника А. Челышева в собрания лермонтовских портретов не входит, ибо достоверным лермонтовским изображением не считается. Главная причина, которая мешала отнести его к числу лермонтовских потретов, заключалась в том, что представленный на нем юнкер изображен без усов, тогда как на миниатюрном портрете художника Заболотского Лермонтов изображен и в студенческие годы уже с густыми усами. А так как военные в те времена брить усы не имели права [1], то исследователи лермонтовской иконографии челышевский потрет в число лермонтовских изображений включить не решались [2].

Между тем на миниатюре художника Заболотского Лермонтов изображен отнюдь не в студенческие годы, а в 1840 году [3]. Соображение о том, что в юнкерской школе Лермонтов непременно должен был носить усы, отпущенные еще в университете, оказы-

[1] В. Шиман. Из записок и воспоминаний современника.— «Русский архив», 1902, № 3, с. 464—465. Ср.: А. Висковатов. Описание одежды и вооружения российских войск, т. XXIV, с. 11, Приказ от 8 июня 1832 г.

[2] Н. П. Пахомов. Лермонтов в изобразительном искусстве. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1940, с. 66. В альбоме И. С. Зильберштейна (изд. 1941 г.) и в других лермонтовских альбомах челышевский портрет не фигурирует.

[3] Мысль о необходимости передатировать портрет Заболотского и отнести его к 1840 году подсказана мной И. С. Зильберштейну, который, детально исследовав этот вопрос, самостоятельным путем пришел к такому же выводу. См. альбом «Лермонтов в портретах». Редакция и вступительная статья И. С. Зильберштейна, изд. Государственного Литературного музея. М., 1941, с. 30—31 (примеч. 134).

вается, таким образом, совершенно неверным. На самом деле ни в университете, ни в первый год обучения в юнкерской школе Лермонтов усов не носил и носить не мог — по той простой причине, что их у него еще не было. Вскоре после зачисления его в юнкерское училище М. А. Лопухина писала ему: «Как бы я хотела видеть вас в форме и с усами!»[1] Следовательно, в 1832 году, когда Лермонтов впервые надел военный мундир, усы у него еще не росли. А поэтому основной довод против подлинности челышевского портрета можно считать опровергнутым.

Портрет этот куплен Государственным Литературным музеем в Москве в 1934 году у И. Л. Поливанова. Сзади, на подрамнике, имеется надпись, сделанная его отцом, Л. И. Поливановым: «Поэт Лермонтов. Подарен мне фон Баумгартеном. Снят с натуры и находился у родственников поэта — Юрьевых».

Эта помета не оставляет сомнений в том, что сведения о достоверности портрета идут из самых авторитетных источников. С Юрьевыми Лермонтов находился в близком родстве, а с одним из них, Николаем Дмитриевичем, был особенно дружен как раз в те самые годы, когда оба они учились в юнкерской школе. С Александром Карловичем Баумгартеном, офицером гвардейского генерального штаба, и с его двоюродным братом, поручиком Алексеем Егоровичем Баумгартеном, командиром артиллерийского взвода, Лермонтов служил вместе в 1840 году на Кавказе[2]. Поэтому нет никаких оснований опасаться, что Юрьевы или Баумгартены могли признать за подлинное недостоверное лермонтовское изображение. Скорее можно было бы усомниться в том, действительно ли принадлежал портрет названным выше владельцам.

Однако и на этот счет не должно быть никакого сомнения. У потомков художника Г. Г. Гагарина в Ленинграде еще в 1936 году хранилась старинная, выцветшая фотография челышевского портрета с надписью: «Поэт Лермонтов. Подлинный портрет в имении Баумгартена «Сурочки», Княгининского уезда, Нижегородской губернии». В свое время эта фотография принадлежала самому Григорию Григорьевичу Гагарину, а он, как известно, в молодые свои годы находился с Лермонтовым в самых дружеских отношениях. Заметим кстати, что такая же старая фотография с подобной же надписью имеется в Литературном музее.

Таким образом, сведения о том, что оригинал составлял собственность Баумгартена, вполне совпадают с записью Поливанова на обороте челышевского портрета. Впрочем, в авторитетности

---

[1] Лермонтов, т. VI, с. 465.

[2] Сведения об этом имеются в воспоминаниях К. Х. Мамацева (Мамацашвили).

слов Л. И. Поливанова можно не сомневаться еще и потому, что это человек, весьма осведомленный в биографии Лермонтова через своего двоюродного брата Владимира Павловича Веселовского, женатого на «кузине» Лермонтова Екатерине Павловне, родной сестре Акима Павловича Шан-Гирея[1].

Поэтому можно считать, что на портрете Челышева изображен действительно Лермонтов — в пору его пребывания в юнкерской школе. Возможно даже, что самая мысль заказать этот портрет художнику возникла в связи именно с тем, что Лермонтов впервые надел военную форму. В таком случае портрет следует датировать второй половиной ноября — декабрем 1832 года.

Оригинал портрета, хранящийся в Литературном музее, реставрировался, но, к сожалению, неудачно и сильно испорчен. В этой книге он воспроизводится по фотографии, снятой еще до реставрации.

Кроме этого, несколько слов надо сказать о сопоставлении картин и рисунков Лермонтова с кадрами из кинофильма «Загадка Н. Ф. И.».

После того как я, путешествуя по дорогам Кавказа и Грузии, отыскал все изображенные Лермонтовым места, был задуман телевизионный фильм, в который наряду с другими научно-исследовательскими сюжетами должна была войти работа и по «опознанию» лермонтовских живописных работ.

Постановку этой картины осуществляла студия «Ленфильм». Ставил ее режиссер Михаил Шапиро, снимал оператор Вячеслав Фастович.

Во время экспедиции группы в Грузию — в Тбилиси и на Военно-Грузинскую дорогу — были сняты для сопоставления с работами Лермонтова «Замок Тамары» в Дарьяльском ущелье, селение Сиони, Военно-Грузинская дорога близ Мцхета, вид Тбилиси из Авлабара и вид на церковь Шушаны возле Метехи.

Все эти изображения совпали.

Но вид развалин на берегу Арагвы Лермонтов рисовал, очевидно, сверху, а потом, дорисовывая и дополняя свой скорый рисунок на память, внес в него другой «горизонт» и видоизменил детали пейзажа.

Найти одну строгую точку, с которой он его рисовал, не удалось. Кроме того, поскольку от самых развалин не осталось почти ничего, сходство рисунка с кинокадром следовало признать недостаточно броским.

---

[1] Примечание И. Л. Поливанова к письму Лермонтова к М. А. Шан-Гирей, хранящемуся в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина, Рукописный отдел, шифр 4835/86.

Тогда режиссер М. Г. Шапиро решил восполнить фотографическое изображение дорисовкой исчезнувшей церкви и крепости. В фильме эту «реконструкцию» выполняет рука художника Всеволода Улитко.

Сопоставление живописных работ Лермонтова с видами, снятыми с натуры уже в наше время, воспроизводится в конце книги, в альбоме под номерами 33—36.

Перечень иллюстраций

В тексте

«Гость». Баллада. Репродукция автографа Лермонтова в каталоге аукционной фирмы «Карл унд Фабер» (Мюнхен). Местонахождение оригинала неизвестно.

Посвящение к поэме «Ангел Смерти». Автограф Лермонтова. Из собрания профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва.

«К С. С...ой». Автограф Лермонтова. Из собрания профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва.

Страница письма Е. А. Верещагиной к А. М. Верещагиной от 6 ноября 1838 года со стихотворным экспромтом Лермонтова. Из собрания профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва.

«На смерть Пушкина». Автограф Лермонтова. Слова слуги Лопухиных — негра Ахилла, записанные рукою Лермонтова. Из альбома А. М. Верещагиной. Собственность барона доктора Вильгельма фон Кёнига (ФРГ, замок Вартхаузен).

«Баллада» («До рассвета поднявшись, перо очинил...»). Автограф Лермонтова из альбома А. М. Верещагиной. Собственность барона доктора Вильгельма фон Кёнига (ФРГ, замок Вартхаузен).

«Послание» («Катерина, Катерина!..»). Автограф Лермонтова из альбома А. М. Верещагиной. Собственность барона доктора Вильгельма фон Кёнига (ФРГ, замок Вартхаузен).

Автограф поэмы «Мцыри», л. 2. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

Первоначальный набросок «Тамани». Автограф Лермонтова. Из тетради «Чертковской библиотеки». Государственный Исторический музей. Москва.

«Любовь мертвеца». Автограф Лермонтова. Из альбома, принадлежавшего А. Н. Знаменской. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

«Есть речи — значенье...» Автограф Лермонтова. Из альбома, принадлежавшего А. Н. Знаменской. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

Запись в альбоме Лермонтова (1840—1841). Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград.

«Спор». Автограф Лермонтова. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва.

Письмо Т. А. Бакуниной братьям и сестрам (сентябрь, 1841). Страницы первая и третья. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

Первая страница тетради В. Х. Хохрякова *«Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова».* Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

В альбоме

1. *Пояснения неизвестного современника к тексту «Смерти Поэта».* Список из собрания Н. С. Дороватовского. Москва.

2. *Штабс-капитан Афанасий Алексеевич Столыпин.* Портрет из книги П. Потоцкого «Столетие гвардейской артиллерии». Государственная Историческая библиотека СССР. Москва.

3. *Полковник Дмитрий Алексеевич Столыпин,* «командир батарейной батареи в 1814—1817 годах». С портрета неизвестного художника. Масло. Государственный Артиллерийский музей. Ленинград.

4. *Лермонтов — юнкер лейб-гвардии Гусарского полка.* С портрета работы А. Челышева. Масло. Государственный Литературный музей. Москва.

5. *Варвара Александровна Лопухина в образе испанской монахини.* Акварель Лермонтова. Находилась в собрании профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственный Литературный музей. Москва.

6. *«Ангел Смерти». Обложка.* Автограф Лермонтова до реставрации собрания профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Воспроизводится в том виде, в каком хранилась у А. М. Верещагиной. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва.

7. *Обложка поэмы «Ангел Смерти» после реставрации* в лаборатории Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

8. *Александра Михайловна Верещагина-Хюгель.* С литографии Л. Ноэля. 1838. Из собрания барона доктора Вильгельма фон Кёнига (ФРГ, замок Вартхаузен).

9. *Лермонтов.* Автопортрет. Акварель. 1837—1838. Находился в собрании профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственный Литературный музей. Москва.

10. *Кавказский вид.* С картины Лермонтова. Масло. Хранилась в собрании профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственный Литературный музей. Москва.

11. *Сражение русских крестьян с французами.* Акварель Лермонтова. Собственность барона доктора Вильгельма фон Кёнига (ФРГ, замок Вартхаузен).

12. *Рисунок Лермонтова.* Карандаш. 1838. Из альбома, принадлежавшего семье Солнцевых. Дом-музей в селе Лермонтове Пензенской области.

13. *Обложка рукописи В. И. Анненковой.* «La vérité, rien que la vérité». ЦГАДА СССР. Москва.

14. *Вера Ивановна Анненкова.* С портрета масляными красками (высказывалось предположение о принадлежности его кисти К. П. Брюллова). Музей изобразительного искусства. Харьков.

15. *Страница воспоминаний В. И. Анненковой с рассказом о ее знакомстве с Лермонтовым.* ЦГАДА СССР. Москва.

16. *Тамань. Домик над морским обрывом.* Рисунок Лермонтова. Карандаш. 1837. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

17. *Эльбрус. Вид с Бермамыта.* Картина Лермонтова. Масло. 1837. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

18. *Вид Бештау около Железноводска.* Рисунок Лермонтова. Карандаш. 1837. Государственный Литературный музей. Москва.

19. *Дарьяльское ущелье возле станции Балта.* Рисунок Лермонтова. Карандаш. 1837. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

20. *Селение Сиони близ Казбека* (точнее: между Казбеги и Коби). Раскрашенная автолитография Лермонтова. 1838. Снабжена не вполне правильной надписью самого Лермонтова: «Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби». Между тем изображенная им гора — не Крестовая, а Кабарджина. Пейзаж представлен в перевернутом виде.

21. *Дарьяльское ущелье. «Замок Тамары».* Рисунок Лермонтова. Карандаш. 1837. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

22. *Лезгинка.* Рисунок Лермонтова. Карандаш. 1837. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

23. *Тифлис. Замок Метехи.* Рисунок Лермонтова. Карандаш. 1837. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

24. *Башня в селении Сиони близ Казбека.* Картина Лермонтова. Масло. 1837—1838. Дом-музей в селе Лермонтове Пензенской области.

25. *Башня в селении Сиони близ Казбеги.* Снимок сделан с той же точки. Кадр из кинофильма «Загадка Н. Ф. И.» (Лен-

фильм, 1959. Режиссер М. Шапиро. Оператор В. Фастович). Госфильмофонд СССР. Белые Столбы.

26. *Тифлис.* Картина Лермонтова. Масло. 1837. Художественная галерея г. Иваново.

27. *Тбилиси.* Снимок сделан с той же точки. Кадр из кинофильма «Загадка Н. Ф. И.» (Ленфильм, 1959. Режиссер М. Шапиро. Оператор В. Фастович). Госфильмофонд СССР. Белые Столбы.

28. *Развалины близ селения Караагач в Кахетии.* Картина Лермонтова. Масло. 1837. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

29. *Развалины близ селения Караагач в Кахетии.* Фото М. Гунченко. 1961.

30. *Военно-Грузинская дорога близ Мцхета.* Картина Лермонтова. Масло. 1837. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

31—32. *Военно-Грузинская дорога близ Мцхета.* Панорама сделана с той же точки. Кадры из кинофильма «Загадка Н. Ф. И.» (Ленфильм, 1959. Режиссер М. Шапиро. Оператор В. Фастович). Госфильмофонд СССР. Белые Столбы.

33. *Развалины на берегу Арагвы в Грузии.* Рисунок Лермонтова. Карандаш. 1837. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

34—36. *Развалины на берегу Арагвы в Грузии.* Реконструкция пейзажа. Кадры из кинофильма «Загадка Н. Ф. И.» (Ленфильм, 1959. Режиссер М. Шапиро. Оператор В. Фастович. Художник В. Улитко). Госфильмофонд СССР. Белые Столбы.

37. *Прасковья Николаевна Ахвердова.* С портрета неизвестного художника. Акварель. 1830(?)-ые годы. Отдел миниатюр. Третьяковская галерея. Москва. Публикуется впервые. Сообщено мне сотрудницей галереи — Л. И. Певзнер.

38. *Нина Александровна Грибоедова.* С фотографии 1850-х годов. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

39. *Александр Гарсеванович Чавчавадзе.* С портрета неизвестного художника. Литературный музей Грузии. Тбилиси.

40. *Мария Кайхосровна (Маико) Орбелиани.* Рисунок Г. Г. Гагарина. Карандаш. 1840. Государственный Русский музей. Ленинград.

41. *Мирза Фатали Ахундов.* С литографии. Институт литературы имени Низами. Баку.

42. *Николай Васильевич Майер.* Автопортрет. Воспроизводится по репродукции, принадлежащей наследникам профессора А. Г. Майера (Москва).

43. *Альбом «неизвестной Марии» — М. А. Бартеневой, принадлежавший А. Н. Знаменской.* Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

44. *Автограф Лермонтова из альбома, принадлежавшего А. С. Немковой.* Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

45. *Пятигорск.* Рисунок Лермонтова. Карандаш. 1837. Местонахождение оригинала неизвестно. Воспроизводится по репродукции, полученной из Королевской библиотеки в Стокгольме.

46. *Пятигорск.* Картина Лермонтова. Масло. 1837—1838. Государственный Литературный музей. Москва.

47. *Иван Васильевич Вуич.* С портрета 1830-х годов. Масло. Государственный Артиллерийский музей. Ленинград.

48. *Алексей Петрович Ермолов.* С гравюры Дж. Доу. Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.

49. *Владимир Харлампиевич Хохряков.* Фото. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград.

Вновь найденные рисунки из альбомов А. М. Верещагиной и В. А. Лопухиной

1—21. Рисунки.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Содержание

Лермонтов. Исследования и находки

Ираклий Луарсабович Андроников

Собрание сочинений

ТОМ 3

Редактор Т. Халилова. Художественный редактор С. Гераскевич. Технический редактор Л. Ковнацкая. Корректоры Г. Ганапольская и О. Стародубцева.

ИБ № 2148. Сдано в набор 03.06.80. Подписано к печати 27.04.81. А06757. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 34,44+альбом=37,8 усл. печ. л., 37,8 усл. кр.-отт. 35,78+альбом=38,74 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Изд. № III—448. Заказ № 758. Цена 1 р. 80 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 220005, Минск, Красная, 23